6

Константин Симонов

6

Константин Симонов



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Константин СИМОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Константин СИМОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ШЕСТОЙ

Живые и мертвые

Роман в трех книгах

Книга третья

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Р2
С37

Примечания
А. АЛЕКСАНДРОВОЙ

Оформление художника
Вл. МЕДВЕДЕВА

С $\frac{70304-115}{028(01)-81}$ подписное 4702010200

Книга третья

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Сорок четвертый год, так же как и минувший сорок третий, начался под грохот орудий в разгар нашего зимнего наступления. Но тогда, год назад, война шла еще в глубине России, в междуречье Волги и Дона, а теперь шагнула далеко на запад, за Днепр, в Правобережную Украину.

В конце января было окончательно разорвано кольцо блокады вокруг Ленинграда, в феврале в котле под Корсунь-Шевченковским погибло десять немецких дивизий. В марте и апреле немцам пришлось оставить почти всю Украину — Умань, Херсон, Винницу, Проскуров, Каменец-Подольск, Черновицы, Николаев, Одессу. Наши войска вступили в северную Румынию, освободили Крым и в начале мая штурмом взяли Севастополь.

Но даже все это, вместе взятое, было только началом тех огромных событий, которым еще предстояло развернуться до конца этого бурного года.

С середины апреля наступление стало постепенно затихать. Завершив свои операции, фронты один за другим останавливались на достигнутых к весне рубежах. А вслед за взятием Севастополя наступила общая глубокая и длительная пауза, означавшая собой начало подготовки к новому наступлению.

Удовлетворение сделанным соседствовало в сознании людей с предчувствием предстоящего. И от этого предчувствия, от все растущей уверенности в нашем, теперь уже бесповоротном военном превосходстве над немцами все чаще казалось, что приближающееся четвертое лето войны будет последним. Во всяком случае, хотелось так думать...

Только испытав это чувство, можно понять всю меру досады и тревоги военного человека, вдруг в это самое время силою случайных обстоятельств вырванного из гущи войны и очутившегося сначала на операционном столе, а потом на больничной койке. Разбившись на «виллисе», Серпилин попал в госпиталь с пере-

ломом ключицы и легким сотрясением мозга и теперь третью неделю долечивался в подмосковном военном санатории Архангельское. Был уже конец мая, а впереди все еще оставалось целых десять дней до врачебной комиссии и возвращения в армию, если пустят.

Авария произошла недалеко от местечка Студенец, на хорошо памятном по сорок первому году большаке, выходившем к железной дороге. Тогда, прорываясь к своим из-под Могилева, он ночью с остатками дивизии пересекал эту железную дорогу Кричев — Орша, а теперь, через три года, его армия после зимних боев сосредоточивалась в этих же самых местах перед все еще занятым немцами Могилевом.

Объездив знакомые места, Серпилин уже возвращался к себе в штаб, как вдруг шедший впереди «виллис» с офицером разведотдела, забуксовав на обочине, зацепил колесом за черт ее знает с каких пор лежавшую там мину.

Водитель Серпилина вывернул и врезался в дерево. Приехав теперь в Москву, чтобы быть под рукой у командующего, он до сих пор ходил как в воду опущенный, хотя действовал правильно, а врезался в дерево потому, что была ночь и его ослепило взрывом. Наверно, еще правильней было бы не вывертывать, а затормозить. Но этого Серпилин не сказал, не захотел добивать человека. Только подумал про себя: не сменить ли, когда вернемся на фронт? Как бы не стал после этого перестраховываться.

Серпилин жил в жестокой досаде на случившееся с той самой минуты, как по дороге в госпиталь, еще в машине, пришел в себя. Армия без него вышла на новое направление, без него пополнилась, без него изучала оборону противника и готовилась к летним боям,— а он все лечился. Еще плохо действовала левая рука, и приходилось каждый день заниматься гимнастикой с лечащим врачом. Лечили тут основательно — такой приказ. Пока затишье, медицина этим пользуется!

В Архангельском царила атмосфера ожидания и нетерпения. Все ждали лета. В прошлом году в это время тоже ждали лета, но ждали с тревогой: не пойдут ли немцы ломить нас еще раз?

А этого лета ждали с твердой верой в то, что с самого начала будем наступать мы.

Кроме военных в санатории лечились и разные другие люди. Среди них — знакомый Серпилину еще с тридцатых годов директор уральского артиллерийского завода. Его противотанковые пушки с большой начальной скоростью хорошо показали себя на Курской дуге, и теперь их начали ставить на танки. Этот человек, хотя его недавно еле отходили после тяжелого сердечного приступа, тоже, как понял из разговора с ним Серпилин, спал и

видел: поскорей вернуться к себе на Урал, на завод. Все спешили! Всем казалось, что без них не обойдутся ни на фронте, ни в тылу.

На войне все время в своей армии — с кем вместе воюешь, с тем и видишься. А тут, в санатории,— перекресток, люди с разных фронтов. Серпилин даже перестал удивляться тому, сколько знакомых встретил за три недели. С одним учился в академии, у другого стажировался, с третьим служил... А сегодня утром, после завтрака, гуляя по Архангельскому парку, вдруг услышал за спиной:

— Федор Федорович, ты?

И, повернувшись, увидел своего бывшего командарма Батюка в байковой теплой верблюжьего цвета пижаме и тапочках.

Несмотря на знакомую бритую голову и черные усы, Серпилин не сразу узнал его — настолько была неожиданна встреча, да и непривычен самый вид Батюка в этой байковой рыжей пижаме.

Когда после боев в Сталинграде Серпилин, еще не зная своей судьбы, уезжал в Москву по вызову Сталина и явился прощаться, Батюк стоял у своего «виллиса» одетый по-зимнему — в полушубке, папахе и бурках. Таким и запомнился; больше не виделись. А теперь эта пижама и тапочки!

— Здорово, Иван Капитоныч! — сообразив, что все же это Батюк, сказал Серпилин и пошел навстречу.

Может быть, не только Серпилин, но и Батюк почувствовал заминку, которая вышла прежде, чем они обнялись. Но когда уже обнялись, Батюк задержал его дольше, чем можно было ожидать. Наверно, хотел показать, что не в обиде за прошлое.

«Ну что ж, хорошо, коли так»,— подумал Серпилин и в душе еще раз поблагодарил тогдашнюю нелетную погоду за то, что избавила их обоих от трудных минут: Батюк отбыл в Москву поездом за сутки до того, как Серпилин прилетел сменить его на армии.

— Знал, что ты здесь,— сказал Батюк, выпуская Серпилина из объятий. — Вчера, как прибыл, стал выяснять обстановку: кто в инвалидной команде? Заходил к тебе, но сестра сказала: к докторше чай пить пошел. Решил не мешать. Дело твое теперь холостое.

Серпилин промолчал. Не ответил. Потом посмотрел на здоровое, загорелое лицо Батюка и спросил:

— А ты что, не в нашу, инвалидную?

— Бог миловал,— сказал Батюк. — Получил после Крыма две недели на отдых. Мою гвардейскую — в резерв Ставки, а ме-

ня — сюда. За себя временно оставил начальника штаба Варфоломеева. Как и ты, академик. Но командной жилки не имеет, так что не подсидит.

— А я тебя не подсиживал... для ясности,— сказал Серпилин спокойно, но в голосе его была нота, предостерегавшая от дальнейшего разговора на эту тему.

— Шучу и про него и про тебя! Знаю, что не подсиживал,— сказал Батюк,— а то бы не разыскивал тебя. Дорожек тут в парке много... Верные сведения имею, что не женился?

— Верные.

— А я свою сюда ожидаю. Авиаторы обещали сегодня из Омска доставить.

— Давно не видел?

— С начала войны. Было подумал, самому к ней туда, а потом решил, пусть в Москву прилетает. Сын на фронте, внуков нет.

— Где теперь сын? — спросил Серпилин, помнивший, что тогда, в сорок третьем, сын Батюка служил в артиллерии под Ленинградом.

— Все там же, на Карельском перешейке. Вторую войну там трубит. Все же у нас на южных фронтах веселее! Нынче здесь, завтра там.

— Да,— неопределенно сказал Серпилин, вспомнив, как в сорок втором они с Батюком отступали от Дона к Волге, и подумав, что еще неизвестно, где тогда было веселее — в Ленинграде или там, у них на юге. — Да... — помолчав, повторил он. — Теперь на юге, конечно, веселее.

Он подумал не о себе, а о войне, а Батюку по выражению его лица показалось, что о себе и своем погибшем на Воронежском фронте сыне.

— Хотели тогда с Захаровым перевести его поближе к тебе, в нашу армию,— сказал Батюк. — Но не успели. А успей — может, и жив был бы до сего дня. Хотя война такая...

Он не закончил фразу. Оба они достаточно хорошо знали, какая эта война и как трудно угадать, где на ней человек уцелеет, а где умрет.

— Мой только один раз легко ранен был, там же, в Ленинграде. Пролежал месяц — и опять в строй,— сказал Батюк о своем сыне. И без паузы спросил: — Про наши крымские дела наслышан?

Серпилин кивнул. Про крымские дела он был достаточно наслышан, как и все люди, жившие войной. Освобождение Севастополя на пороге четвертого лета войны казалось ему счастливым предзнаменованием на будущее. Он знал, что армия Батюка

действовала там, в Крыму, на главном направлении, но в первую минуту встречи, наверное из-за этой байковой пижамы, запамятовал, что Батюк был не только награжден за эти бои Суворовым первой степени, но и получил первое за войну повышение в звании — генерал-полковника. Об этом неделю назад было напечатано во всех газетах.

— Поздравляю тебя вдвойне,— сказал он, пожимая руку Батюка.

Батюк довольно улыбнулся: после успешных действий в Крыму он наконец обрел на войне положение, которое считал для себя давно заслуженным.

То, что он командовал теперь гвардейской армией и имел орден Суворова первой степени и звание генерал-полковника, а Серпилин, одно время после Сталинграда догнавший было его в звании, оставался генерал-лейтенантом,— все это делало Батюка в его собственных глазах как бы вновь старшим по отношению к Серпилину, несмотря на их одинаковые должности командармов. Между ними вновь установилась та дистанция, которая позволяла Батюку без насилия над самолюбием вспоминать время, когда они служили вместе и Серпилин был его подчиненным.

— Как твое хозяйство? — спросил Батюк. — Многих поменял, когда пришел после меня?

— Я почти не менял, война меняла. Одних под Харьковом, других на Курской дуге.

Он назвал Батюку несколько старших офицеров, убитых или тяжело раненных и уже не вернувшихся в армию.

— Членом Военного совета по-прежнему Захаров?

— По-прежнему он,— кивнул Серпилин. — А начальника штаба армии из Москвы дали — некто Бойко, был полковник, ныне генерал-майор.

— Неудачный, что ли? — спросил Батюк, которому почудилась неприязнь в слове «некто».

Но Серпилин употребил это слово не из неприязни, а по давней привычке, оставшейся еще с царской армии.

— Напротив, удачный,— сказал он. — А про Пикина, наверное, сам знаешь, в приказе было.

— Читал. Подвел он тебя, сукин сын. Счастье, что с рук сошло.

— Подвел,— согласился Серпилин. — Хотя в то, что сукин сын, не верю.

— Чего ж тут не верить? В приказе ясно сказано было, что попал в плен, имея при себе карту с обстановкой.

Серпилин поморщился. Сначала не хотел вдаваться в эту тяжелую историю, только чудом оставшуюся для него самого без

всяких последствий. Но потом превозмог себя и сказал то, что думал и писал в своих объяснениях тогда, в марте сорок третьего, под Харьковом: зная Пикина, не верит, что тот, из-за ошибки летчика приземлившись на связном «У-2» в расположении немцев, мог сдаться в плен, не уничтожив оказавшуюся при нем карту с обстановкой. Допускает обратное: не успел застрелиться и попал в плен потому, что в первую очередь спешил уничтожить эту карту.

— В приказе по-другому было. Что сдался в плен с оперативными документами.

— Было,— согласился Серпилин.

— Сами немцы у себя об этом писали. Оттуда и мы узнали.

— Писали, верно,— сказал Серпилин. — Но могли написать и для дезинформации, чтоб спутать нам планы. Раз попал в плен начальник оперативного отдела штаба армии, почему не написать, что с документами? Мы разве не пользовались случаем, не писали таких вещей?

— Все может быть,— сказал Батюк. — А не допускаешь мысли, что не случайно заблудились? Как ни говори, а все же в тридцатом году из кадров его вычищали — имели на то причины; до самой войны в запасе находился...

— Не допускаю. Столько раз видел его в боях, что не могу допустить.

— Так или иначе, а подвел он тебя крепко,— сказал Батюк. — Поторопился взять его на оперативный отдел.

— Это верно, поторопился.

Минуту или две после этого они продолжали идти рядом в молчании, за которым была отчужденность. Батюк с вдруг нахлынувшим раздражением за старое подумал, что Серпилин по-прежнему слишком много о себе понимает: «знаю», «видел», «не допускаю»... все «я» да «я». Считает в душе, как и раньше, что он всех умней.

А Серпилин шел и думал о себе и о Пикине: «Что верил ему и продолжаю верить — в этом прав. А что, получив армию, сразу взял к себе Пикина начальником оперативного отдела — это верно, поторопился. Начальник штаба был новый, незнакомый, захотел иметь рядом с ним своего человека, проявил пристрастие, вернее, слабость, в которой потом каялся. В дивизии Пикин был на месте, а на оперативном отделе растерялся от масштабов, тем более в неожиданно тяжелой обстановке под Харьковом. По своей вине опоздал довести до двух дивизий приказ об отходе, а потом, когда совсем потерял связь, сам напросился лететь туда: лично исправлять положение». И Серпилин на свою голову разрешил.

Потом ему хотели поставить это лыко в строку. А кончилось даже без выговора в приказе. Серпилин и до сих пор не знал до конца почему. Конечно, сыграло роль, что Захаров, как член Военного совета, написал во фронт то, что думал, как и всегда, не стремился угадывать, какие там у кого настроения. Но одного этого мало. Скорей всего — Серпилин уже не раз думал об этом,— когда доложили на самом верху, в Москве, Сталин, только недавно выдвинув тебя командармом, не отступился и не позволил сразу же снять. А что снять предлагали, сомнений нет. Ответственность на плечах лежала тяжелая. Одной своей верой в Пикина ее не снимешь, а других доказательств, кроме веры, нет.

— Барабанова помнишь? — вдруг спросил Батюк.

— Помню,— сказал Серпилин, поднимая на него глаза.

В вопросе Батюка ему послышался вызов. И напрасно: Батюк просто вспомнил о Барабанове как о человеке, который в свое время тоже, хотя и по-другому, подвел его, как Пикин Серпилина.

— Написал мне прошлым летом, после госпиталя, просил прощения за то, что накуролесил. Знал мою душу, что возьму его обратно.

— И взял?

— Взял. Прибыл ко мне на фронт тише воды, ниже травы, старшим лейтенантом — за попытку к самоубийству два звания долой. А теперь обратно майор.

— Адъютантом?

— Адъютантом. Просился в разведку, но я оставил у себя. Привык. Поверишь ли, скучал без него, адъютант он замечательный.

— Наверное,— сказал Серпилин. — Не навязал бы мне его тогда командиром полка, и ты без него не скучал бы и он бы не стрелялся.

Батюк внимательно посмотрел на Серпилина, словно вдруг увидев в нем что-то такое, о чем уже запамятовал:

— Да, вижу, с тобой не похристосуешься. Думаешь, не знаю ваших разговоров про меня, что горяч, доведи, могу так перекрестить, что и сам потом не рад? Но я горяч, да отходчив. А ты мягко стелешь, да жестко спать. Если уж кто стал тебе поперек горла, тот прощения не жди.

— Не мне он стал поперек горла, Иван Капитоныч, а делу,— сказал Серпилин тем самым, знакомым Батюку, опасно ровным голосом, который Батюк имел в виду, говоря «мягко стелешь». — Неужели и теперь не согласен, что не мог он полком командовать?

— Мог, не мог! Не пил бы, смог бы. Уже десять месяцев в рот не берет.

— Ну что ж, раз так, значит, теперь можно хоть на дивизию. — Серпилин рассмеялся, смягчив смехом суть сказанного.

— А ты как, по-прежнему разрешаешь себе,— спросил Батюк,— или уже здоровье не позволяет?

— После аварии воздерживаюсь. Все же, говорят, сотрясение мозга было. А до этого от прежней нормы не отклонялся. Подпишу вечером последнюю бумагу — и полстакана на сон грядущий.

— Тряхануло-то сильно?

— Не помню. Говорят, метров пять летел, пока приземлился.

— Не люблю этих «виллисов»,— сказал Батюк. — Без них не обойдешься, но не люблю. Опасная машина. Слыхал, как мой предшественник на «виллисе» на передний край к фрицам заехал — из пулемета в упор!

— «Виллис» тут, положим, ни при чем,— возразил Серпилин.

— Как ни при чем? — воскликнул Батюк. — Гонял на нем так, что охрана не поспевала. Умный, говорят, был человек, но в этом бесшабашный. Задним ходом выскочили обратно, но уже все! Двенадцать пуль в груди. Вот и убыл, как говорится. А я прибыл. И операцию начал со всеми теми, кто от него остался. Ни одного не переменил... Там, и в Таврии и в Крыму, кефир хороший. Еще с гражданской его запомнил. Как прибыл на армию, сразу потребовал, чтоб давали кефир и утром и вечером.

Серпилин улыбнулся. Вспомнил, как в столовой Военного совета для Батюка, что бы ни было, всегда квасили молоко. Спиртное он пил редко, только под настроение. И то потом все равно хлебал на ночь свою простоквашу.

Скольким людям за войну, когда Батюк багровел от гнева, казалось, что это не просто так, что есть на это хорошо известная причина. А на самом деле причины этой у Батюка не было, а кричал он и давал волю своему нраву от давней и непоколебимой уверенности, что все это требуется в интересах дела.

«Да,— подумал Серпилин,— посмотреть бы на него на фронте, какой он теперь. Насколько и в чем изменился? Ругать людей последними словами все больше выходит из обычая. И меньше причин, потому что больше порядка, и люди сильней, чем раньше, сопротивляются этому, потому что чем дальше, тем у них за душой меньше вины и больше гордости. А в конце концов все сводится к тому, что намного лучше воюем».

И Батюк, словно отвечая его мыслям, сказал, в сущности, о том же самом:

— Когда шли по Крыму, глядишь иной раз в степь и видишь: неубранные кости белеют — с сорок первого. Вспомнишь все, что пережили, и удивляешься людям: как все же выстояли тогда? И самому себе: как же ты живой остался после всего, что с тобой было? Глядишь на эти белые косточки и думаешь: кто только не ругал тогда и их, бедных, и самого себя за то, что здесь отступили, там не удержали!.. А сейчас бы, кажется, и воскресил и обнял, да некого... Я в Москве вчера был, мне там объяснили про новое обучение: что с этой осени в школах парней отдельно обучать станут. Не слыхал?

— Вроде бы так,— сказал Серпилин.

Он уже слышал об этом раздельном обучении, и ему казалось, что, если ребята начнут учиться отдельно от девочек, это будет лучше для допризывной подготовки, а значит и для армии. Боль сорок первого года продолжала бередить память: сколько же их было тогда, призванных прямо со школьной скамьи, готовых отдать свою жизнь, но до того необученных, до слез неумелых, что зло на них брало!

— Какого ты мнения по этому вопросу? — спросил Батюк.

— Рад, что так решили.

— Да, молодые,— сказал Батюк. — Хлебнули мы с ними горя в начале войны.

— А не они с нами? — неожиданно для себя спросил Серпилин, казалось, только что думавший так же, как и Батюк.

— Товарищ генерал-полковник, вам на рентген пора, опоздаете!

Они оба повернулись.

Догонявшая их медсестра стояла перед ними, смущенная тем, что чуть не налетела на них с разбегу, молодая, рослая, с розовым лицом и шеей.

— Верно, пора идти,— сказал Батюк, отвернув обшлаг пижамы. — Налетела, понимаешь, как танк...

Он посмотрел на ее во все стороны распиравшее тесный медицинский халатик большое молодое тело и сказал с каким-то странным, одновременно и добрым и грубым недоумением:

— Ишь какая! И куда мы только вас после войны девать будем?

Глаза медсестры налились слезами. И оттого, что лицо ее не успело перемениться и на нем все еще оставалась та испуганная улыбка, с которой она остановилась перед Батюком и Серпилиным, эти слезы своей неожиданностью были как удар в сердце, как напоминание о том, что касалось их всех и чего лучше не трогать словами.

Кто ее знает, может, вдруг подумала о самой себе и о том, кого оставит для нее война.

— Пойдем,— не глядя ей в глаза, сказал Батюк.

И, уходя, повернулся к Серпилину:

— Если жену сегодня не доставят, после ужина еще походим.

Серпилин кивнул.

Батюк и медсестра шли рядом по дорожке, удаляясь от него. Сейчас, когда он глядел им в спину, рядом с коренастым, тяжело шагавшим Батюком медсестра казалась еще выше и моложе.

«В самом деле, что будем делать с ними после войны?» — подумал Серпилин и вспомнил, что надо будет оставить от обеда сладкое для внучки. У жены его сына сегодня выходной, и адъютант привезет ее с внучкой после «мертвого часа» сюда, в Архангельское.

После обеда, прежде чем идти к себе отдыхать, Серпилин остановился в вестибюле санатория около большой, во всю стену, карты, на которой флажками была отмечена линия фронта, в одном месте, на юге, в Румынии, уже километров на сто шагнувшая за государственную границу. Последние дни флажки на карте не двигались: положение оставалось без перемен.

Когда и где начнется наше летнее наступление, пока знала только Ставка, но, судя по ряду признаков, намерения на лето были решительные. В майском приказе Сталина, который Серпилин прочел еще в госпитале, были достаточно ясные для военного человека оттенки: говорилось не только об очищении от врага всей нашей земли, но и о вызволении из неволи братьев — поляков и чехословаков. Достаточно было после этого взглянуть на карту, чтобы понять: задачи в будущих наступлениях, говоря военным языком, ставились на очень большую глубину. А если бы не ставились, вряд ли Сталин упомянул бы о поляках и чехословаках.

Серпилин стоял перед картой и, в который раз оценивая взглядом общую конфигурацию линии фронта на Западном направлении, думал о будущем лете.

Немцы, продолжая удерживать в своих руках большую часть Белоруссии, огромным выступом вдавались в наше расположение между Полоцком на севере и Ковелем на юге.

Недавно образованный за счет соседей новый фронт, в который вошла армия Серпилина, занимал участок напротив Орши, Могилева и Быхова, как раз там, где немецкий выступ глубже всего вдавался в нашу сторону.

«Скорей всего, главные удары будут наносить соседние фронты, справа и слева от нас, а мы окажемся на вспомогательном

направлении,— подумал Серпилин. — Предположить что-нибудь другое, глядя на карту, трудно».

Карта была от пола до потолка, и тот кусочек ее, на который уже без Серпилина вышла и встала его армия, выглядел совсем маленьким — в полспички. Штабные рабочие карты брать с собой в госпитали и санатории, строго говоря, не положено даже командарму. Можно бы, конечно, попросить в Генштабе или, посадив на «виллис», сгонять к себе в армию адъютанта и заставить привезти оттуда соответствующий чистый лист, без нанесенной на него обстановки... А впрочем, невелика беда. Этот лист карты и следующие за ним два листа к востоку, в сторону Ельни, и еще один лист, к западу, захватывающий Могилев,— все это намертво сидело в памяти с сорок первого года. Серпилин мог еще и теперь с закрытыми глазами вспомнить, как выглядела та склеенная из этих листов карта, по которой он сначала воевал, а потом выводил из окружения остатки дивизии. Он даже помнил наизусть, какие населенные пункты оказались на ее сгибах, так сильно потертых, что трудно было разбирать надписи.

Он мысленно видел перед собой эту карту-двухверстку и на ней, на втором ее листе, тот участок фронта под Могилевом, на который теперь без него вышла его армия. Когда они тогда, в июле сорок первого, вырвались из Могилева, то сначала пошли лесами, прямо на Благовичи, но не смогли пробиться и повернули на северо-восток, на Щекотово, Дрибень, Студенец, Татарск, шли как раз через этот район.

В его памяти все прожитое и пережитое за три года войны было нанесено на карты. Потом когда-нибудь, наверно, и войну не вспомнишь без этих оставшихся от нее карт.

А сейчас, даже когда их нет, они все равно у тебя перед глазами: и те могилевские, и подмосковные — сорок первого, и летние — сорок второго, когда отступали от Донца к Волге, и зимние — сталинградские, и весенние — под Харьковом и Белгородом, и новые — начатые в обороне на Курской дуге, а потом лист за листом подклеенные все дальше и дальше на запад, до верхнего течения Днепра.

Теперь вместо них скоро будут другие, новые, заранее отпечатанные топографическим управлением Генштаба. У немцев были заготовлены до Москвы и дальше, и у нас, надо думать, заготовлены до Берлина. А что и как в ходе боев нанесет на эти карты жизнь, увидим. Это зависит от многого, в том числе и от тебя самого. Отделенная от соседей справа и слева разграничительными линиями, проляжет по этим картам твоя полоса жизни, путь той армии, которой командуешь ты, а не кто-то другой... Сейчас эта полоса пересечена восточнее Могилева сплошной

синей змейкой немецких позиций. На карте сотри резинкой — и все. А в жизни придется потрудиться...

Серпилин испытывал некоторое волнение оттого, что судьба привела его именно в те места, где он начинал войну. Казалось бы, военному человеку должно быть все равно, где рассчитываться с немцами, лишь бы рассчитаться! Куда поставили, там и рассчитывайся, но, оказывается, нет, не все равно!

— Что, Федор Федорович, на карту смотрите? Все равно раньше срока не выпишем,— сказал за его спиной знакомый женский голос, и он почувствовал, что женщина не прошла мимо, а остановилась за его спиной, ожидая, что он обернется.

Он повернулся от карты, посмотрел на нее и снова, в который раз за эти дни, подумал, что она красива и что все это ничем хорошим не кончится.

— Разрешите вам доложить, Ольга Ивановна... — сказал он, глядя в глаза женщине.

— Раз «доложить», тогда уж по званию,— улыбнувшись, перебила она.

— Разрешите доложить, товарищ подполковник медицинской службы, что думал сейчас не столько о будущем, сколько о прошлом. А в будущем надеюсь на ваш здравый смысл. Вряд ли будете держать здесь лишнее время нелишнего для войны человека.

— Спасибо, что хоть в здравом смысле не отказываете. Не от каждого больного это услышишь,— сказала женщина и, посмотрев на большие мужские часы на запястье красивой руки, добавила: — И этот здравый смысл сейчас подсказывает, что вам пора идти отдыхать.

— Слушаюсь.

Серпилин чуть наклонил голову и, тоже посмотрев на ее красивую руку с большими мужскими часами, сказал:

— А вот ведь говорят, у хирургов руки какие-то особенные.

— В одной долото, в другой молоток? — спросила она без улыбки. — Сколько хирургов, столько и рук. Только моем их чаще и дольше, чем другие люди. И горячей водой с мылом, и щеткой, и спиртом, и от этого они не всегда выглядят так, как хотелось бы. А впрочем, сейчас, кажется, ничего,— добавила она, поглядев на свои руки с коротко обрезанными ногтями на длинных пальцах и улыбнувшись. — Потому что я тут не столько хирург, сколько няня при вас, генералах. Даже надоедать стало. Вот расстанусь с этим подмосковным раем и попрошусь к вам в армейский госпиталь ведущим хирургом. Что на это скажете?

— Не знаю, насколько это серьезно.

— Это верно. Я и сама еще не знаю, насколько это серьезно. Идемте. Или еще чего-то не досмотрели? — кивнула она на карту.

— Сейчас,— сказал Серпилин. — Еще пять минут — и пойду отдыхать. По-честному.

— Попробую поверить. А вечером приходите ко мне чай пить. Приглашаю заранее: до вечера не увижу.

— Спасибо. Но не слишком ли я к вам зачащу?

— Как хотите,— сказала она после маленькой паузы.

— Мне-то очень хочется,— просто сказал он.

— Ну и не подавляйте своих желаний. Говорят, это вредно.— Она рассмеялась и вышла из вестибюля, а он, зная, что она пойдет сейчас к себе в лечебный корпус, подошел к окну и увидел, как она идет по дорожке, наверное уже не думая о нем. Идет своим быстрым, деловым шагом и покачивает из стороны в сторону красивой головой в белой накрахмаленной медицинской шапочке, словно на ходу разговаривает сама с собой, о чем-то спрашивает себя или о чем-то спорит. И издали кажется совсем молодой, еще моложе, чем вблизи.

Вчера мимоходом она сказала, что ей скоро сорок. Значит, когда он видел ее в сорок первом году зимой, ей было тридцать семь... Но тогда она выглядела старше, чем сейчас.

Он смотрел до тех пор, пока женщина не завернула за угол здания, и не сразу заставил себя перестать думать о ней, когда, отойдя от окна, вернулся к карте.

ГЛАВА ВТОРАЯ

После обеда Серпилин так и не заснул.

Стал думать о Батюке, а потом нахлынули мысли о самом себе, и пролежал, глядя в потолок, до конца «мертвого часа».

Удивился тому, как обрадовался при встрече Батюк. Видимо, думал о нем хуже, чем заслуживал. А почему Батюку и не встретиться с тобой по-хорошему? Своих критических мыслей о нем по начальству ты не докладывал — к этому не приучен,— а помогал ему всем, на что был способен. И тем, как исполнял при нем обязанности начальника штаба, и тем, что, когда требовало дело, спорил с ним и склонял к решениям, которые считал верными, и даже тем, что, случалось, поступал по-своему, в пределах возможного для начальника штаба.

А что потом сменил его в должности командарма — тут уж ему не на тебя, а на Сталина обижаться надо.

Но и на Сталина обижаться нечего. То, что послал Батюка заместителем командующего второстепенным фронтом,— радость,

конечно, небольшая. Но и за обиду считать нельзя. А потом, через год, снова назначил на армию, притом на гвардейскую и в хороший момент — перед началом дела.

Вот только почему вдруг такое назначение? В роли заместителя командующего фронтом о себе не напомнишь, будь хоть семи пядей во лбу. Значит, все же Сталин держал Батюка в памяти. Война уже длинная, и счет на людей скупой, без большого запаса. Тем более только за последнее время заново сформировано одних танковых армий — шесть. Да несколько общевойсковых. И на каждую нужен командарм. Если порыться в собственной памяти, можно вспомнить, как сам колебался: выдвигать ли даже очень хорошего командира полка сразу в командиры дивизии? На полку был хорош, а каким покажет себя в другой роли, при других масштабах?

А решать, кого на армию, во много раз тяжелей. Иной раз рискнут, выдвинут нового, молодого, а в другой раз, наоборот, понадеются, что старый конь борозды не испортит. У Батюка за спиной все же почти два года командования армией. Разный, конечно, опыт. Но человек он волевой и по-своему трудолюбивый. В штабе лишнего часа не просидит, каждый день с утра в войсках, а это у нас ценят. И личную храбрость, которой Батюку не занимать стать, тоже ценят и даже порой придают ей чрезмерное значение; так уж повелось у нас на Руси. Вот и назначили. Пришел в хорошую армию, сложившуюся, устоявшуюся, с хорошим штабом, с боевыми традициями. Пришел и стал воевать дальше, судя по его словам, не ломая порядков, не перемещая людей. Да это сейчас и не так просто сделать: не дадут! И дело пошло в соответствии с уже продуманным планом операции, обеспеченной достаточными силами и средствами. Судя по результатам, не ошиблись: армия под командованием Батюка там, в Крыму, хорошо себя показала. А могла ли еще лучше показать себя при другом командующем, как проверишь? В том-то и трудность оценок на войне, в том-то и недоказуемость их окончательной справедливости или несправедливости!

Все мы набрались опыта, все или почти все стали лучше воевать, и Батюк тоже, наверно, не исключение. Но насколько лучше? Вот в чем вопрос. И для него, и для тебя, и для всякого другого.

Если без поблажек посмотреть на свои собственные дела за те пятнадцать месяцев, что прокомандовал армией, выходило, что воевал по-разному.

Принимал армию в благоприятной обстановке, позади был опыт сталинградских боев и то настроение после большой победы, когда людям кажется, что они и дальше горы своротят.

Но после такого начала, обещавшего, казалось, одно хорошее, пришлось первую же свою операцию проводить в самых тяжелых условиях. Армию спешно перебросили под Харьков, который снова заняли немцы. Снова пришлось переживать то, от чего уже отвык. Сперва затыкать дыру в тридцать километров, а потом отходить с боями, задерживая немцев на не оборудованных для обороны рубежах. И все это сразу, с колес, едва успев выгрузить армию из эшелонов в мартовскую распутицу, в снег и воду...

Обстановка была незапланированная, не хватало то одного, то другого, тылы выгрузились с опозданием и сразу стали отходить, не успев развернуться.

Не справившегося с критическим положением командующего фронтом заменили, назначили нового. На фронт приехал представитель Ставки; после сталинградского разгрома немцы в марте под Харьковом показали, на что они еще способны. И надо было хоть умереть, но остановить их. Пока останавливали, представитель Ставки трижды был у тебя. В последний раз разговор с ним обернулся так, что подумал: снимет с армии. И хотя делал все, что мог и умел, но, если б сняли, жаловаться было бы не на что, потому что отступал, не мог выполнить приказа — остановить немцев. Пришлось выслушать в последний раз и такое, что лучше бы не слышать: что и армия твоя не сталинградская, и сам ты не командующий, а... Смолчал. Потому что нечего было ответить.

А потом все-таки зацепился в одном месте, во втором, в третьем... Опять не удержался, опять отошел еще на несколько километров и снова зацепился одной дивизией, потом другой... Зацепился и выстоял. Остановил немцев в такой обстановке, в которой, наверно, в сорок втором не остановил бы. Остановил потому, что все-таки после Сталинграда и ты и твои люди были уже не те, что до него.

А после новой переброски началось третье лето войны — долгая, томительная пауза на Курской дуге. Такая томительная, что казалось, нервы не выдержат.

Нет худа без добра. То, что немцы там, под Харьковом, снова напомнили, на что они способны, заставляло готовиться к будущему со старанием, даже выходившим за пределы приказов. Что немцы летом ударят всей своей силой, какую только соберут, чувствовали все — сверху донизу. Такой глубокой обороны еще никогда не строили. Учили войска, не зная отдыха, как будто каждый день учения решал вопрос о жизни и смерти. Да так оно, по сути, и было.

Еще до начала немецкого наступления придали армии два полка самоходок, бригаду «катюш» и девять полков артиллерии. Приходилось учиться уже не тому, как латать дыры — это превзошел раньше,— а тому, как управлять всей этой музыкой.

Конечная проверка всегда одна — бой. И, несмотря на всю подготовку, на уверенность, что устоим, за первые три дня под немецкими ударами все же отступили — где на три, где на пять, а где и на восемь километров. И только ночью на четвертые сутки смогли наконец донести, что немцы перед фронтом армии остановлены повсюду.

На пятый день бои возобновились с прежним ожесточением. Стороннему глазу могло показаться, что происходит все то же самое. Но это было не так. Немцы продолжали действовать по приказу, уже начиная сознавать его невыполнимость.

А утром шестого дня Серпилин почувствовал, что теперь никакая сила не сдвинет его армию с места.

Он ждал и хотел, чтобы немцы снова пошли на него и истратили себя до конца в бесплодных атаках.

И когда минул тот утренний час, когда немцы обычно начинали, а они не начали, и прошел еще час, и еще, а они все не начинали, он испытал не облегчение, как это бывало раньше, в другие времена, а досаду, которая, в сущности, была чувством превосходства над врагом.

А потом перешли в наступление мы. И севернее — под Орлом, и на юге — под Белгородом, и там, где стояла в обороне армия Серпилина. На том направлении, где она шла, не было больших городов из тех, что на памяти у каждого, и она всего три раза попала в приказы Верховного Главнокомандующего за взятие населенных пунктов, о которых, наверное, те, кто слушал радио, только из этих приказов и узнали.

Зато вместо больших городов на долю армии выпало особенно много переправ через малые и средние реки, через торфяные болота и заболоченные поймы. Почти всегда, когда наступают на широком фронте, какая-нибудь армия прет через такую вот глухомань, то отставая, то обгоняя своих более удачливых соседей и обеспечивая им своими действиями лавры в приказах.

На войне складывается по-всякому. И надо иметь достаточно характера, чтобы сознавать необходимость того не всем заметного труда, который вынесла на своих плечах твоя армия, и не кипеть против соседей. А если шире своих разграничительных линий видеть не способен, если к тому, что там справа и слева у соседей, равнодушен — хоть трава не расти! — значит, ты еще не командарм, а куркуль с высшим военным образованием. Ко-

нечно, иной раз хочется в общем хоре такое соло рвануть, чтобы все услышали! Но сольного пения на войне сейчас мало и дирижеры строгие. И это хорошо. Это значит, что она вошла в свои рамки.

Человеку, далекому от войны, наверное, показалось бы диким само понятие: вошла или не вошла война в свои рамки. Как будто у войны могут быть какие-то рамки. Но Серпилин думал именно так.

Мысли о предстоящем летнем наступлении заставили его вспомнить про врачебную комиссию, назначенную через десять дней. Он вспомнил и потрогал ключицу: «Врачи говорят, что срослась хорошо, лучше не бывает. И правда, почти не болит. Но рука все еще как чужая».

Он встал с койки и сделал несколько осторожных движений двумя руками, те самые, которые делал на лечебной гимнастике. Потом несколько раз сжал и разжал левый кулак. Рука все-таки немела, и в пальцах покалывало.

А вообще он чувствовал себя намного лучше, чем когда его привезли сюда. И головные боли прошли, и уже не просыпался, как в первое время, по пять раз за ночь от слишком похожих на жизнь утомительных снов.

На фронте думал, как говорится, о душе, а про тело думать было некогда. Оно ездило на «виллисах», ходило по окопам, сидело над картами, говорило по телефону, два раза в сутки наспех ело, максимум возможного спало мертвым сном ночью и еще час или два дремало на ходу, качаясь взад и вперед на «виллисе». Исполняло все, что от него требовалось, не напоминая о себе. Но зато здесь, в Архангельском, врачи сразу чего только не наговорили. Еще недавно, до аварии, считал, что кругом здоров, а по их словам оказалось, кругом болен. Спорить не стал, выполнял все, что приказывали: уколы — уколы, ванны — ванны, гимнастика, электролечение — все, что требовалось. Раз кругом больной, лечите на полную баранку!

Относясь к лечению как к службе, он легче переносил разлуку с армией. Даже некоторые свидания, для которых надо было ездить в Москву, отменил, чтоб не мешали лечению. С самого начала сделал только одно исключение для жены сына, по выходным вместе с внучкой приезжавшей к нему в Архангельское после «мертвого часа».

Он посмотрел на часы и вышел из комнаты в парк. Адъютант задерживался на пятнадцать минут.

«Что у них там случилось? Может, внучка заболела?» — подумал он и почти сразу же увидел своего адъютанта Евстигнеева, шедшего по аллее к корпусу.

Видимо о чем-то задумавшись, Евстигнеев увидел Серпилина неожиданно для себя, и, когда увидел, на лице его был испуг.

— Что у них там случилось? — спросил Серпилин.

— Анна Петровна не приедет... — На лице адъютанта все еще оставалось выражение испуга.

— Как так не приедет? Почему?

— Вот вам записка.

Адъютант подошел и протянул Серпилину зажатую в кулаке записку.

На половинке тетрадочного листа в клетку было написано:

«Здравствуйте, папа! Простите, что я не приехала. Я не могу к вам приехать. Стыдно глядеть в глаза. Анатолий вам все объяснит. Аня».

— Объясняй, коли тебе поручено. — Серпилин медленно поднял глаза от записки на продолжавшего стоять перед ним адъютанта.

Адъютант стоял и молчал. На его круглом, добром юношеском лице были написаны мучение и страх перед тем, что ему предстояло сказать.

— Ну чего молчишь? — нетерпеливо повысил голос Серпилин, всегда, всю жизнь спешивший поскорей узнать плохое, раз уж его все равно предстояло узнать. — Какая там у них беда?

И услышал в ответ совершенно неожиданное и от несоответствия с тем, о чем думал, показавшееся нелепым:

— Мы сошлись с Анной Петровной. Я ее уговаривал, но она сказала, что теперь не смеет вас видеть.

— Что ты ее уговаривал? — все тем же резким тоном, с какого начал, спросил Серпилин и, уже спросив, понял, что Евстигнеев уговаривал ее ехать объясняться вместе, а она не захотела, отправила одного.

Адъютант продолжал стоять руки по швам; разговаривать с ним об этом дальше вот так, в положении «смирно», было неудобно.

— Пойдем на скамейку сядем,— сказал Серпилин. И когда сели на скамейку, добавил: — Фуражку сыми.

Адъютант снял фуражку, вытащил платок и вытер вспотевший под фуражкой лоб.

— Теперь объясняй. Раз тебе велено. Что значит сошлись, когда сошлись?

«Что значит сошлись»,— был, конечно, глупый вопрос. Что это еще может значить? Сошлись — стало быть, сошлись. А если хотел этим спросить, насколько все это серьезно, тоже зря. И так видно по лицу адъютанта.

— Вчера сошлись,— послушно ответил тот, вздохнул и снова надолго замолчал.

— Что ты вообще молчаливый, знаю,— сказал Серпилин. — Но все же придется объяснить, как-никак не ожидал от тебя такого доклада. Войди в мое положение.

Серпилин усмехнулся от сознания глупости своего положения, но адъютанту эта усмешка показалась признаком гнева, и он растерялся еще больше.

Что объяснять? Как они оба изо всех сил держались все эти две недели после того, как пошли вместе в кино и поздно вечером, возвращаясь вдвоем и прощаясь у ее двери, оба почувствовали, что это все равно будет? Объяснять, что он не виноват, потому что она вчера сама, первая, обняла его за шею и замерла и заплакала от своего бессилия что-нибудь изменить, а потом опять сама, первая стала целовать его? Объяснять, что он не виноват, если он все равно виноват, потому что допустил до этого, а допустил потому, что сам хотел этого? И он после долгого молчания сказал только одно то, что чувствовал в эту минуту:

— Виноват,— и привычно добавил: — товарищ командующий.

— Какой я тебе теперь командующий,— сказал Серпилин,— раз ты ко мне в родственники записался? — Сказал так, потому что, зная жену сына, ничего другого не подумал.

«Полюбила мальчишку. Если б не полюбила — так просто не стала б с ним — удержалась бы».

— Мы распишемся,— поспешно сказал адъютант. — Я сегодня хотел, но она не согласилась.

— Почему не согласилась? Что ей, мое разрешение на это требуется?

Серпилин встал, и адъютант вскочил вслед за ним, испугавшись, что это конец разговора. Как ни боялся он этого разговора, когда ехал сюда, но то, что весь разговор на этом и кончится, испугало еще больше.

— Сиди,— сказал Серпилин и, толкнув его на скамейку занывшей в предплечье рукой, стал ходить взад и вперед.

Серпилин ходил мимо скамейки, а адъютант водил за ним направо и налево глазами и вспоминал лицо Ани в это утро после того, как она торопливо заставила его встать и одеться ни свет ни заря, еще задолго до того, как проснулась девочка. Вспомнил ее слова о том, что она теперь несчастная, и ее глаза, говорившие, что, несмотря на эти слова, она все равно счастливая. Вспоминал, как она сунула ему в руки эту записку и вытолкала за дверь. И он опоздал к Серпилину потому, что, уже давно

приехав сюда, все ходил по парку и не решался явиться с такой запиской. Опоздал впервые за время своей службы.

А Серпилин шагал взад и вперед и думал не про него, а про жену сына. «Значит, не смеет приехать! Прислала вместо себя этого...» — он искоса глянул на адъютанта. То, что она так сделала, было не похоже на нее. Объяснение одно: наверно, написала, как чувствовала — не смеет явиться ему на глаза, не может себя заставить.

«Ну, а как же дальше-то? Так и будем, что ли, с ней через этого объясняться?» — подумал он без всякой злобы на «этого», просто как о нелепости, без которой следовало бы обойтись.

В сущности, он видел жену сына всего пять раз в жизни: два раза в один и тот же день, в феврале прошлого года, когда ждал у себя на квартире вызова к Сталину и когда потом вернулся от него, и три раза теперь, в Архангельском, когда она приезжала к нему с внучкой. Между тем и другим были только ее письма на фронт.

Вышло так, что она даже никогда не звала его по имени и отчеству — Федор Федорович. Тогда, в первый день их знакомства, говорила ему «вы», «сядьте», «покушайте», «прилягте», «отдохните». А потом в первом же письме на фронт написала: «Здравствуйте, папа». Наверное, в таких понятиях была воспитана. Считала, что как же иначе, раз он отец ее покойного мужа.

Письма от нее были частые, но короткие — тетрадочная страничка и внизу строчка печатными буквами за внучку, от ее имени.

Так, неизвестные ему раньше, до гибели сына, эта женщина и ребенок постепенно нашли свое место в его занятой делами войны жизни. Он отвечал через два письма на третье — чаще не выходило, переводил деньги по аттестату и посылал посылки — последний раз осенью, с этим самым адъютантом, ездившим по другим делам в Москву.

Тогда-то они и познакомились. Адъютант, вернувшись, описывал ему свое посещение, жену сына называл Анна Петровна и рассказывал, как она поила его чаем. Нет, тогда у них ничего не было. Он бы заметил: у адъютанта всегда все наружу. Честный, как некоторые выражаются, даже до глупости. За это, за возможность доверять ему без колебаний, прежде всего и ценил его.

Серпилин подумал о предстоящей утрате, может быть, и не такой чувствительной для человека менее одинокого, чем он. А что утрата будет, закрывать глаза не приходилось. Ей стыдно перед ним. И будет стыдно при ее характере. Не приехала се-

годня, стыдясь того, что его сын убит всего год назад, а она уже с другим. Стыдится, что писала ему на фронт «здравствуйте, папа», стыдится, что сошлась с другим, получая деньги по аттестату от него, от отца убитого мужа. И будет теперь отказываться от этих денег, уже, наверное, думала об этом.

Конечно, он сделает так, чтобы она и приехала и поговорила с ним, чтобы все это не выходило так по-дурацки. Но утрата все равно будет, ее не миновать.

И не просто утрата, а двойная утрата, потому что Евстигнеев, который, конечно, распишется с ней, теперь окажется тоже вроде родственника. А родственников в адъютантах не держат. Придется от него отказаться, хотя отказаться трудно: привык к его молчаливому присутствию, уже второй год на войне, день за днем рядом.

«И чего она в нем нашла?.. Очень просто, чего нашла: молодой и сильный. И ласковый, наверно, как телок. Чего же его не любить? И не таких любят. Хуже, что ли, сына? — с обычным своим стремлением к справедливости подумал Серпилин. — А баба второй год без мужика. Почему второй? — поправил он себя, вспомнив, что сын до своей гибели больше года не видел жены. — Не второй, а третий. Удивляться приходится, что так долго одна прожила».

Серпилин посмотрел на адъютанта, все продолжавшего водить за ним глазами, пока он ходил, и сказал:

— Голову отвертишь. Подвинься!

Закинув руки за спинку скамейки, он еще раз искоса взглянул на адъютанта. Тот сидел теперь, уставившись на кончик сапога. Пока стоял во весь рост, казался мужчиной. А вот так, сидя без фуражки, выглядел мальчиком — насупился и губы оттопырил, как маленький.

— Давай подробно выкладывай.

Адъютант еще больше оттопырил вздрогнувшие губы и хотя и тихо, но твердо сказал:

— Подробно — не буду, товарищ командующий.

Вообразил, что у него спрашивают подробности, как все это у них вышло.

— Как так «не буду»? Все же вдову за себя берешь, да с четырехлетним ребенком, да старше себя на шесть лет. На все ли готов, обо всем ли подумал? Про это спрашиваю!

— Ничего я не знаю и даже не думаю,— с каким-то счастливым отчаянием громким шепотом сказал адъютант. — Она еще сама не сказала мне, как будет. Как скажет, так и будет.

— «Скажет, скажет»,— проворчал Серпилин. — Что ж теперь, выходит, женщина за тебя еще и решать сама должна?

Он хотел добавить еще что-то в этом же духе, но вдруг пришедшая в голову мысль остановила его.

— Что, она у тебя первая в жизни, что ли?

— Первая,— тихо сказал адъютант и, подняв на Серпилина глаза, посмотрел ему прямо в лицо так пристально, словно от будущих слов Серпилина и даже от выражения его лица в эту минуту зависит, будет ли и дальше так же, как до этого, любить и уважать его этот вымахавший в сажень мальчик с офицерскими погонами на плечах.

«Она-то, конечно, не забыла и что старше тебя на шесть лет, и что в приданое за ней возьмешь чужого ребенка, сто раз все вспомнила,— чувствуя на себе этот взгляд, подумал Серпилин.— И все же как ни страшно, а решилась. Значит, поверила и в твою любовь и в свою силу».

И еще об одном подумал — о войне, о том, что вдовая женщина с ребенком бросается очертя голову на шею тому, кто через неделю будет вновь на фронте, вдали от нее.

А адъютант, глядя на спокойное, печальное лицо Серпилина, с возобновившимся чувством вины перед ним подумал, что лицо командующего стало таким потому, что он, верно, вспомнил о своем убитом сыне.

— Я маме сегодня написал,— сказал адъютант, продолжая глядеть в лицо Серпилина.

«Ну вот, стало быть, теперь еще и мама,— с тем же печальным выражением лица кивнув головой, подумал Серпилин. — Сидит за тридевять земель и ждет каждый день треугольничка, что жив и здоров, и боится каждый день извещения, что «пал смертью храбрых», а теперь сразу из одного треугольничка узнает про себя, что и свекровь и бабушка. Но о самой существенной для нее перемене она из этого письма все-таки не узнает. А самая существенная для матери перемена, которая к тому времени, как она получит письмо, скорей всего уже произойдет, будет не та, что сын женится на вдовой женщине с ребенком, а та, что он перестанет из-за этого быть адъютантом у командующего армией и начнет снова служить в строю, ближе к фронту, а значит, и к смерти. И ничего тут не поделаешь, потому что держать его дальше в адъютантах нельзя, а пристраиваться в тыловые канцелярии он сам не захочет».

— Вот что, Анатолий. — Серпилин непривычно для себя назвал адъютанта по имени, бессознательно стремясь смягчить этим то, что предстояло сказать. — Если нуждаешься в моем благословении, считай, что получил. Как вам обоим лучше, так пусть и будет. Но хочу внести ясность. Когда вернемся на фронт, подумай о новом месте. Ленин еще в двадцатом году нам посовето-

вал, чтобы родственники в одном учреждении не служили. — Он улыбнулся, еще и этой улыбкой смягчая бесповоротность сказанного.

— Я понимаю. Я ей сегодня утром уже сказал,— ответил адъютант, и по лицу его было видно, что не врет, действительно сказал ей, но видно было и другое, как поразила его быстрота, с которой принял это решение Серпилин.

— В какую она завтра смену? — спросил Серпилин о жене сына.

— Во вторую.

— Скажи, пусть завтра днем до работы ко мне приедет.— Он остановился, вспоминая, какие и когда у него завтра процедуры. — Дай ей «виллис», пусть к тринадцати часам приедет. Одна. — И, увидев на лице адъютанта тревогу, добавил: — Не бойся, не обижу ее. Ты в моих глазах не хуже никого другого, а может, и лучше. — Сказал, подумав не только о нем и о ней, но и о своем покойном сыне. — Поезжай.

Адъютант вскочил и надел фуражку.

— А как ей, дочку с собой к вам брать?

Наверно, решил, что ей будет легче приехать сюда с ребенком.

— Сказано: одной. — Серпилину хотелось увидеть внучку, но при завтрашнем разговоре, а может, и слезах девочка ни к чему, это не для нее.

Адъютант откозырял и пошел по дорожке.

— Евстигнеев! — окликнул его Серпилин.

— Слушаю вас, товарищ командующий!

— Как там с вызовом?

— Обещали завтра оформить.

— Если завтра оформят, послезавтра готовься ехать.

— Ясно. Разрешите идти?

— Иди.

Адъютант снова повернулся и пошел. А Серпилин стоял и долго, до поворота, глядел вслед. И выражение лица у него было такое растерянное, что адъютант, наверное, удивился бы, увидев это выражение на лице человека, который только что, казалось, так легко и быстро, в два счета решил его судьбу.

Растерянность Серпилина относилась к самому себе. Сказав адъютанту, что тот, на его взгляд, не хуже всякого другого, а может, и лучше, он выдал этим меру своей привязанности к нему.

В адъютанты попадают по-разному. Иногда благодаря чьим-то домогательствам. А иногда неизвестно почему. Раньше Евстигнеев был адъютантом у Батюка. Отправив своего Барабанова «расти» на командира полка, Батюк тогда же взял из офицерско-

го резерва этого Евстигнеева. И как-то за ужином, одобрительно отозвавшись о нем, что отлично водит машину, подменяет водителя, сказал про него, что это сын одного его покойного однокашника, с которым вместе кормили вшей еще в германскую войну, потому и взял в адъютанты, когда подвернулся.

Это было все, что знал Серпилин о Евстигнееве к тому времени, когда тот стал его собственным адъютантом.

Когда Серпилина вдруг вызвали в Москву, он отпустил своего прежнего адъютанта, чтоб зря не болтался, попросил, чтоб куда-нибудь пристроили. А вернувшись из Москвы с назначением и уже не застав Батюка, с удивлением увидел представившегося ему Евстигнеева. То ли Батюк не взял его с собой, то ли Евстигнеев сам захотел остаться в армии, Серпилин не стал спрашивать почему. Подойдет — останется, не подойдет — подберут другого.

По его поведению в первые дни увидел: не старается, чтоб оставил его при себе. И это было первое, что тогда понравилось ему в Евстигнееве. Был молчалив, исполнителен, грамотен, хорошо ориентировался по карте и на местности, ни разу не застрял и не заблудился, когда посылал его с приказаниями, всегда находил тех, к кому послан, что на войне свидетельство не только хорошей ориентировки, но и храбрости. Чаще всего не находят не потому, что не нашли, а потому, что не рискнули добраться. Этот всегда находил.

А через полтора месяца, под Харьковом, показал, что способен и на большее.

День был тяжелый с утра до вечера. Началось с того, что утром, поехав в одну из своих отходивших дивизий, наскочили на чьи-то, неизвестно чьи даже, перепутавшиеся и отступавшие чужие тылы. Свои или чужие, а пришлось задержаться для наведения порядка: в армии чужого нет!

Пока доехали до своей дивизии, попали под первую бомбежку, потом, когда добрались из этой дивизии в другую,— под вторую. А когда к концу дня возвращались с передовой на свой командный пункт, заехали под обстрел тяжелых немецких орудий, лупивших по перекрестку дорог. Водителя ранило в спину осколком. И «виллис» перевернулся бы, если бы не Евстигнеев, успевший сзади перехватить баранку и вывернуть машину. Переждав налет в залитом грязью кювете, мокрые, грязные по уши, снова влезли в машину. Водителя положили сзади, а за руль сел Евстигнеев.

Казалось, уже все позади, как вдруг из низких облаков, прямо над дорогой, вынырнули два «мессершмитта» и с визгом прошли над машиной. Евстигнеев, затормозив, всем телом навалился на Серпилина, подмяв его под себя и чуть не вывалив из

«виллиса». Серпилин даже не сразу понял, что адъютант хотел закрыть его собой. Понял только потом, когда все кончилось, «мессершмиттов» как не бывало, ушли снова в облака, смотровое стекло в трещинах, а пуля у Евстигнеева в предплечье, в мякоти. Это уже потом выяснилось, а сперва он ничего не сказал, вел машину еще три километра до командного пункта. Спас или не спас, когда кинулся и прижал тебя к сиденью, трудно сказать: пуля — дура. Может быть, спас этим как раз самого себя. Но хотел спасти тебя, о себе не думал.

Когда Евстигнеева отправили на неделю после этого в госпиталь, Серпилин, подписывая на него наградной лист, взял посмотреть его личное дело.

Отец — комполка, убит в 1929 году на КВЖД. Мать — машинистка. Единственный сын, пошел на фронт добровольцем восемнадцати лет в июле сорок первого. Медаль «За отвагу», сержант, ранение, госпиталь. Ускоренный выпуск пехотного училища, окончил с отличием, получил лейтенанта и снова на фронт.

Биография недлинная, но вызывала уважение.

В адъютанты к Батюку навряд ли все-таки с неба свалился. Мелькнула мысль: может быть, мать по знакомству написала, попросила за сына?

Когда адъютант вернулся из госпиталя, Серпилин от себя сказал ему «спасибо» и посмеялся, что от его ручищ неделю ходил с синяками. А от лица службы привинтил на грудь «Звезду».

С тех пор продолжали служить вместе, должно быть любя друг друга каждый по-своему. И служили бы и дальше, если б не сегодняшние новости.

«Да, тяжело его отрывать от себя. Ни разу не подвел, не вышел из веры, ни разу никому не снагличал, пользуясь своим положением адъютанта,— тоже много значит! Пожалуй, сможет пойти помощником начальника штаба полка по разведке: достаточно смелый для этого. Небось уже подъезжает сейчас туда, к своей. Ос[illegible]о если сам за рулем. Спешит обсудить с ней. А нам тоже надо [illegible] ужинать, есть свой творог с простоквашей. Каждому свое...»

Серпилин вздохнул: жизнь против его воли сама отшвыривала от него людей, то одного, то другого. Не вернуться ли в комнату за лежавшей там на столе коробкой «Казбека», не закурить ли по такому случаю? Но не вернулся, не стал нарушать уговора с самим собой — не курить до выписки.

По дороге в столовую нагнал шедшего туда же Батюка. Днем Батюк был в пижаме, а теперь в полной генеральской форме.

— Жену встречать ездил,— сказал Батюк.

— Встретил?

— А ну их к бесу! — Батюк сердито махнул рукой. — Обещали доставить и не доставили. Лучше б не обещали. Посадили ночевать в Куйбышеве, говорят, в Москве погоды нет. А как нет, когда она есть!

Серпилин посмотрел наверх. Небо было густо затянуто тучами.

— Может, дали прогноз на грозу?

— Какая гроза? Наверное, у пилота жена в Куйбышеве, вот и вся гроза. Разве это плохая погода?

Серпилин не стал спорить. Какая бы ни была погода, а Батюк надеялся встретить сегодня жену, которой не видел с начала войны. Понять можно!

— Федор Федорович,— пройдя рядом с ним несколько шагов, сказал Батюк,— когда ты был у товарища Сталина, он ничего про меня не говорил и не спрашивал?

Наверное, его еще утром тянуло спросить об этом.

— Меня ни о чем не спрашивал.

— А сам говорил? — настороженно спросил Батюк.

В ответ на прямой вопрос пришлось сказать, как было: что когда он спросил Сталина, на какую армию назначен, то Сталин ответил, что на место Батюка, и объяснил почему.

Понимая значение, которое имело для Батюка все сказанное о нем Сталиным, Серпилин повторил слово в слово то, что услышал тогда: что товарищ Батюк засиделся на армии и есть мнение его повысить, дать возможность шире развернуть свои способности!

То, что он почувствовал за словами Сталина какую-то непонятную ему тогда иронию, добавлять не стал, счел, что делать этого не обязан, да и зачем?

— Да,— задумчиво сказал Батюк,— возможно, проектировал тогда повысить, а потом какие-то друзья там, наверху, нашлись и ножку мне подставили... Спасибо, что сказал. Будет над чем подумать. — Потом вздохнул и добавил: — Так и не вызвал меня к себе оба раза: и когда на тот, богом забытый фронт посылал для укрепления, и когда на гвардейскую армию назначал.

То, что Сталин, так хорошо знавший его по гражданской войне, ни разу за всю эту войну так и не вызвал к себе, продолжало тревожить Батюка, хотя он и старался объяснить это в лучшую для себя сторону — просто непомерной занятостью Сталина. А между тем рядом с ним шагал человек, которого Сталин все же нашел время тогда, год назад, вызвать к себе.

— Мне Захаров объяснял,— снова помолчав, сказал он,— что тебя тогда по твоему письму о Гринько вызывали?

— Да.

— Ну и чего?

— Сказал, что вернут, если найдут.

— Видать, не нашли.

— Умер он,— коротко ответил Серпилин.

— Да, не дождался своего часа Павел Ефимович,— сказал Батюк. — А может, и вообще судьба его была б другая, кабы не поехал тогда к нам на Дальний Восток этот, знаешь его... — Батюк назвал хорошо известную в армии фамилию. — Ломал там дрова!

И вдруг без всякой связи с предыдущим сказал:

— А Евстигнеев, оказывается, у тебя до сих пор! Возвращаюсь с аэродрома, вижу, он отсюда на «виллисе» выезжает. Выходит, пришелся ко двору, раз «Звезду» ему дал.

— «Звезду» — за дело,— сказал Серпилин. — Был бы не мой адъютант, мог бы за это и «Знамя» получить. Чего ты его тогда оставил, с собой не взял?

Батюк покачал головой.

— Чудно́ рассуждаешь. Думаешь, только ты это испытал, когда в Москву вызывали: куда еду, знаю, а что будет, не ведаю! У меня тоже, когда вдруг приказ: «Армию сдать и явиться»,— кошки скребли. Все, что за душой было, перебирал, пока ехал. Куда ж тут за собой адъютанта с фронта тащить? Срывать человека с места, не зная, куда и для чего? Тем более парень стоящий, не проныра. Это хорошо, что он у тебя.

«Да, это хорошо, что он у меня,— подумал Серпилин. — Для нее, во всяком случае, оказалось хорошо»,— подумал он о жене сына.

Хотел было под настроение объяснить Батюку, что приходится теперь расставаться с Евстигнеевым, но не стал; они уже подходили к столовой.

— После ужина еще погуляем? — спросил Батюк.

— Пойду к себе, уже нагулялся сегодня,— слукавил Серпилин, помнивший, что приглашен пить чай, и не хотевший опаздывать.

— Что-то сердце сегодня щемит, на воздух тянет,— сказал Батюк. — Может, и правда погода меняется. С одной стороны, кулаком еще доску перешибу, а с другой стороны, как вспомнишь: в мировую войну одно ранение, в гражданскую — три, в эту — тяжелое, если все вместе сложить... Иногда все хорошо, а иногда защемит, и подумаешь: вот довоюешь до последнего дня, до победы, и помрешь!

— С чего это вдруг? — спросил Серпилин. — Я, наоборот, считаю, что победа всем нам здоровья прибавит. Только жить и жить, когда война кончится!

И, вспомнив о предстоящем отъезде на фронт, подумал о Львове, корпусном комиссаре, а теперь генерал-лейтенанте, о котором, заговорив про Дальний Восток, помянул Батюк.

— Между прочим, Львова при формировании нашего фронта членом Военного совета назначили.

Батюк даже присвистнул.

— Эту новость не слыхал еще! И куда его только не шлют с места на место! За два года, считай, на пятом фронте! Ни с одним командующим не уживается. И все как с гуся вода. Не завидую вашему командующему фронтом — работать с таким членом Военного совета.

— Не знаю. Первое впечатление от него у меня хорошее. — Серпилину не хотелось спорить с Батюком, но это была правда. — Может, и лишнее про него говорят. Дурная слава прилипчива.

— А сколько ты его видел? — спросил Батюк.

— Пока один раз.

— Ладно, продолжай знакомиться,— усмехнулся Батюк.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Женщина, к которой Серпилин собирался идти пить чай, сидела одна у себя в комнате и ждала его. Чайник, накрытый сверху салфеткой, а поверх нее ушанкой, стоял у нее под рукой. И, кроме этого чайника, сахарницы и тарелки с печеньем, на столе ничего не было. Она заварила чай заранее, потому что не любила хозяйничать.

Комната, в которой она сидела, была казенная, но она любила ее за чистоту и отсутствие лишних вещей, в которых сейчас, во время войны и разлуки с близкими, есть что-то бессмысленное. Она сидела, положив на стол свои нравившиеся Серпилину красивые руки с длинными пальцами и коротко обрезанными ногтями, и думала о том, что ей сегодня сорок лет и хорошо, что в этот день к ней придет человек, которого она хочет видеть.

Она не собиралась говорить Серпилину, что ей сегодня сорок лет, потому что это могло бы повернуть их разговор как-то по-другому, не так, как она хотела. Он бы мог, пожалуй, вернуться к себе в комнату за бутылкой коньяка, стоявшей у него на столе рядом с папиросами, как он смеялся: для борьбы с соблазнами. А ей хотелось, чтобы их разговор сегодня стал продолжением того, вчерашнего, после которого она, кажется, начала понимать, почему ее так тянет к этому некрасивому и немолодому, старше ее на десять лет, человеку.

Она знала Серпилина уже давно, с тех пор как восемь лет назад ее, убитый теперь, муж познакомил их на вокзале; и муж и Серпилин уезжали тогда из академии на большие маневры в Белоруссию. Потом она видела Серпилина мельком еще два раза и смотрела на него тогда, до войны, с интересом и неприязнью, потому что он сам неприязненно относился к ее мужу. Так говорил ей муж, и она верила этому.

Но все эти встречи почти не запомнились ей, а запомнилась та, последняя, уже во время войны, в декабре сорок первого, когда муж был убит при выходе из окружения и она заходила к только что вернувшемуся из госпиталя и вновь уезжавшему на фронт Серпилину, чтобы узнать, как это было.

Эта встреча заставила ее много думать о Серпилине и тогда, сразу, и еще больше потом, через год.

Серпилин, когда она пришла к нему, солгал ей, что ее муж пал смертью храбрых, хотя на самом деле все было иначе. Как потом объяснил ей другой человек, ее муж не пал смертью храбрых, а без документов и переодетый был встречен ими в лесу и, выходя после этого вместе с ними из окружения, где-то по дороге застрелился, не выдержав тяжести физических и нравственных испытаний.

Может быть, она так и не узнала бы всей правды от этого человека, если бы не напросилась на нее, сказав, что Серпилин до войны плохо относился к ее мужу и что ее мучает мысль, действительно ли все было так, как сказал ей Серпилин.

Эта мысль мучила ее, потому что тогда, при разговоре с Серпилиным, ей показалось, что он чего-то недоговорил, сделал странную паузу перед тем, как сказать, что ее муж пал смертью храбрых. Словно заколебался, что ей ответить.

И тогда этот человек, видимо любивший Серпилина, оскорбился за него и ответил, что, наоборот, Серпилин слишком хорошо отнесся тогда к ее мужу, потому что, как он считает, ее муж в той обстановке за свою трусость заслуживал расстрела, и если бы это решал он один, без Серпилина, так и было бы сделано.

Она не заплакала и не вскрикнула от его жестокости, но потребовала от него, раз он посмел ей это сказать, объяснить подробно, как все было. Он объяснил, и она, понимая, что все это правда, и молча выслушав эту правду, спросила только: «Это все?» — и, услышав: «Да, это все», ушла от него, не прощаясь.

С тех пор у нее сохранилось чувство вины перед Серпилиным.

Три недели назад здесь, в Архангельском, в списке прибывших накануне вечером она увидела фамилию Серпилина и

2*

утром, на медицинской летучке, оставила его за собой, хотя его могли наблюдать и другие хирурги. Сделала так потому, что хотела ближе узнать этого занимавшего ее мысли человека.

Однажды ей даже захотелось написать ему. Это было после Сталинграда, когда она прочла его фамилию среди фамилий других награжденных орденами генералов. Но подумала, что это будет глупо. Потом ей уже не приходило в голову писать ему, но она следила за его фамилией в газетах и радовалась, что он жив и командует армией. И для такой радости у нее были свои личные причины.

Острота их была связана с воспоминаниями о собственном муже. За несколько лет до войны муж, которого она приучила посвящать ее в свои служебные дела больше, чем это обычно принято у военных, рассказывал ей о своих стычках с Серпилиным, который со странным для такого умного человека упорством не желает понять, что незачем воспитывать слушателей академии на военных примерах, подчеркивающих сильные стороны деятельности германского генерального штаба. «Это наш будущий противник, и слушателей академии незачем размагничивать преувеличенными представлениями о его силе».

Сердясь на Серпилина, а может быть, ревнуя к его авторитету у слушателей, муж говорил тогда и разные другие вещи, которые исчезли из ее памяти. Остался только их общий смысл, с которым она была тогда согласна, потому что смотрела на будущую войну глазами мужа.

Однажды муж вернулся из академии поздно вечером — она хорошо запомнила, как это было,— и возбужденно сказал, что сегодня Серпилин поймал его с глазу на глаз и пытался найти с ним общий язык, обратить в свою веру: «Трезвое сознание силы предполагаемого противника — залог собственной силы», «Лучше переоценить, чем недооценить», «Недовооружить наших слушателей знанием противника — значит разоружить их» и все прочее из его репертуара. И все это свысока, даже не допуская мысли, что я веду свой курс, тоже думая о пользе армии. Пришлось отбрить. Разошлись, не простившись.

Она запомнила этот разговор не только из-за волнения мужа, но и потому, что через неделю после этого Серпилина арестовали. Она не подумала, что ее муж, полковник Баранов, мог куда-то написать о своем разговоре с комбригом Серпилиным, не думала тогда и не думала сейчас. Ее просто ужаснуло: только что говорили, спорили, только что ее муж сердился на Серпилина, возмущался им — и вот его уже нет...

Узнав об аресте, муж развел руками и сказал: «Достукался» — так, словно только этим все и могло кончиться.

Потом, задним числом, вспоминая это «достукался», она доказывала себе, что ее муж не мог быть причастен к этому; если б был причастен, не посмел бы сказать при ней это слово.

Она думала так, но Серпилин мог думать иначе. А может, и думал.

А вскоре все это ушло куда-то далеко, потому что случилось несчастье в их собственной семье, и ее муж перед лицом этого несчастья повел себя так, как, по ее представлениям, не мог и не должен был вести себя мужчина.

Забрав с собой младшего сына, она уехала к своей матери в Саратов и уже второй год жила и работала там, почти приучив себя к одиночеству, когда Баранов приехал за ней и умолил ее вернуться.

В день его приезда туда, в Саратов, она острей, чем когда-нибудь, почувствовала, как он сильно любит ее. Нелегкое сознание, если у тебя самой к этому времени осталось только чувство жалости сильного к слабому да привычная, но уже не дающая прежнего счастья потребность близости.

Есть женщины, которые даже испытывают необходимость чувствовать себя сильнее мужчины. Она знала женщин, для которых как раз это составляло главную остроту счастья, но сама не принадлежала к ним. Жизнь на правах сильнейшего изнуряла ее бессмыслицей душевного неравноправия.

А потом началась финская война, и полковник Баранов уехал на эту войну. Он три месяца воевал там, в оперативном отделе одной из армий, а она и дети боялись за его жизнь и ждали от него писем.

И он вернулся, и не просто так, а с орденом на груди.

Но когда после всех положенных радостей такой встречи они остались на всю ночь, до утра, вдвоем, без детей, эта ночь оказалась ужасной, потому что у него сдали нервы и он на правах слабейшего, на которых уже привык жить рядом с нею, стал, захлебываясь, говорить, говорить без конца, почти в истерике от всего, что он видел на фронте.

Он попал не на Карельский перешеек, где после бестолковщины первых недель, начав заново, хотя и дорогой ценой, все-таки сделали все, что требовалось. Он попал на север, в Карелию, в ту самую неудачливую из всех армий, от которой поначалу больше всего ждали, но которая, так и не успев сделать ничего существенного, понесла потерь больше других.

То, что он рассказывал о большой крови — раньше она от него всегда слышала только о малой,— не так уж удивило ее, потому что она работала хирургом в госпитале и знала, какое количество раненых поступало с этой войны. Но то, как он отзывался

о нашем неумении воевать, с каким самооплевыванием и презрением не только к другим, но и к самому себе говорил об этом, поразило ее. Она почувствовала не только силу пережитого им потрясения, но и его собственную слабость перед лицом этого потрясения.

Она слушала его и молча вспоминала все то, совсем непохожее, что он говорил ей о будущей войне за год, и за два, и за три до этого.

Выговорившись и обессилев, муж сказал ей тихим и страшным шепотом то, что потом еще несколько раз повторял ей в минуты откровенности, совпадавшие у него с минутами слабости:

— Боюсь немцев. Если нападут на нас в нашем нынешнем состоянии, даже не знаю, что они с нами сделают!

Так это было в ту ночь. И она помнила об этом в сорок первом году, когда провожала его на войну. Ею владел не только страх женщины, матери двух его сыновей, но и другой страх: каким он будет там, на этой, наверно, действительно страшной войне? Ведь он так боится ее, хотя, уезжая, выглядел одинаково с другими людьми!

И вот прошло три года войны, и она, потеряв мужа, отправив на фронт старшего сына и сама пробыв там два года из трех, встречала свои сорок лет здесь одна, в этой казенной комнате, и кроме своих сыновей, которые не могли приехать, потому что один был на фронте, а другой в военном училище, хотела видеть сегодня только одного человека — Серпилина. Человека, которого она заново узнала здесь всего двадцать дней назад. «Нет, девятнадцать»,— сосчитала она и вспомнила, как он сидел перед ней в первый день в операционной, отдыхая от боли после того, как она сняла с него неподвижную повязку и осмотрела ключицу. Улыбнувшись сквозь непрошедшую боль, он сказал, что у него мурашки в пальцах, и внимательно посмотрел на нее.

— Я вас хорошо помню, вы были у меня в декабре сорок первого дома.

— Да,— сказала она.

— Только в первый момент усомнился, потому что у вас теперь другая фамилия. Вышли замуж?

— Нет,— сказала она. — У меня всегда была другая фамилия. Когда я выскочила в двадцать втором году за военного, не захотела смешить своих родителей, беря фамилию мужа. Они у меня оба из земских врачей, люди вольных взглядов, сами расписались только в тридцать втором году, когда им вдруг понадобилось получать паспорта. Так и осталась жить с девичьей фамилией. А вам тогда назвалась Барановой, чтобы сразу поняли, кто я.

— Где ваш сын? Воюет?

Оказывается, он помнил то, что она сказала ему тогда про старшего сына. Она ответила, что ее сын теперь старший лейтенант и воюет на Третьем Украинском фронте, в противотанковой артиллерии. И не был за все это время ни разу ранен.

— Видели с тех пор?

— Один раз.

— А младший?

Оказывается, он запомнил и это, про младшего. Она ответила, что младшему исполнилось семнадцать лет и он пошел в артиллерийское училище.

— Вообще-то правильно. Хорошо бы, война кончилась, прежде чем их выпустят. А сами вы, помнится, служили тогда в каком-то из московских госпиталей. На фронт не попали?

— Попала. Наш госпиталь тогда же отправили на Западный. А здесь оказалась, как и вы, после ранения,— добавила она. — А потом здесь и оставили.

— Куда вас ранили?

— В грудь, в плечо и в лицо во время бомбежки госпиталя.

Он поморщился.

— Чего поморщились?

— Не могу привыкнуть к тому, что убивают и ранят женщин. Хотя пора бы. У меня в армии их ни мало ни много... — Он не договорил, посмотрел ей в лицо и, кажется, только теперь увидел тот довольно заметный шрам над бровью, о котором она помнила, считая, что этот шрам портит ее. Вот и весь их первый разговор, после которого было много других, иногда совсем коротких — когда он приходил к ней на осмотр или на лечебную гимнастику,— а иногда длинных, когда они несколько раз вместе гуляли после ужина в парке.

Вчера, когда она впервые позвала его к себе, их разговор начался с вопроса, который все равно рано или поздно пришлось бы задать ему:

— Почему вы мне тогда сказали неправду про Баранова?

— Неправду? — не отрицая и не подтверждая, переспросил он. — А кто сказал вам правду? С кем говорили после меня?

— Со Шмаковым, с вашим комиссаром.

— Когда с ним говорили?

— В сорок втором году.

— Давно потерял из виду. — Он ничего не добавил, словно считал вопрос исчерпанным.

Но она этого не считала и вновь спросила у него то же самое: почему он сказал ей тогда неправду?

— А вы что, непременно хотели тогда от меня правды?

В глазах его мелькнул отблеск чего-то жестокого, что иногда и раньше проскальзывало в его разговорах с ней, напоминая, что этот человек не только способен жалеть людей, но и способен посылать их на смерть.

— Да, я хотела правды, хотя и боялась ее. Во всяком случае, ложь мне была не нужна.

— А мне показалось — нужна. Хотя бы для сына. После того как узнали от Шмакова, написали сыну все, как было в действительности?

— Нет, не написала. Но когда потом увиделась с ним, сказала. Он самый близкий мне человек, и я не могла заставлять его думать другое, чем думала я.

— Не пожалели его.

— Я его люблю, а не жалею.

— Может, и правы,— сказал он. — Меня жена ругала тогда, что соврал вам.

Он не сказал: «Моя покойная жена», но она знала, что жена его умерла. И знала когда. Такие вещи в госпиталях и санаториях знают с первого дня.

Она никогда не видела покойной жены Серпилина и сейчас не хотела представлять себе, какой она была, его жена, и как выглядела. Но, услышав ответ Серпилина, подумала о ней, что, наверное, это была сильная женщина, под стать ему. Подумала о ней, как о себе самой, а о нем, как о человеке, которого хорошо знает. Она понимала, что до конца оценить нравственную силу такого человека, как Серпилин, можно только там, на фронте, где он воюет, а не здесь, где он лечится, но все равно чувствовала в нем эту силу.

Ей нравилось, как он ходит по аллеям Архангельского своей быстрой, негенеральской походкой, в своем старом синем лыжном костюме, про который не то серьезно, не то смеясь говорит, что когда-то сдавал в нем нормы на значок «Готов к труду и обороне». И в его походке и в его жилистой, широкоплечей фигуре чувствовалась незаурядная выносливость, связанная у таких, как он, людей не столько с физическим здоровьем, сколько с силой духа.

Нравилось ей и его длинное, совсем некрасивое, но сильное и умное лицо, и глаза, где-то в глубине продолжавшие оставаться печальными и когда он улыбался, и когда он сердился, как это было вчера, когда она сказала ему, что у нее там, на фронте, бывали приступы злобы на них, генералов, когда в госпиталь день за днем, ночь за ночью продолжали, как по конвейеру, идти всем своим видом вопившие о спасении, изорванные, изрублен-

ные осколками, посиневшие от контузий, истерзанные людские тела. И так каждое наступление...

— Неужели вы не можете воевать как-то иначе, как-то лучше, чтобы всего этого было хоть немного меньше? — спросила она, подумав в эту минуту не только о тех тяжелораненых, которые чаще всего попадали к ней, как к ведущему хирургу, но и о тех двоих, еще ни разу не лежавших вот так ни на чьем операционном столе, о собственных своих сыновьях.

— Видимо, не можем, не способны,— зло ответил он. — И никогда не будем способны сделать так, чтобы у вас работы не было,— добавил он еще злее,— сколько бы ни старались. А если думаете, что мало стараемся, делаем хоть на грош меньше того, на что способны, так возьмите и плюньте мне в рожу, чем разговаривать. Какой может быть со мной разговор, раз вы так думаете? — сказал беспощадно, а глаза где-то в самой глубине продолжали оставаться печальными.

— Я так не думаю.

— А не думаете, так не трепитесь на такие темы, от которых и без вас три года душа болит. И будет болеть до последнего дня войны. Или хоть держитесь от них подальше, пока обстановка позволяет.

Ее задело не то, что он оборвал ее и сказал «не трепитесь», а эти последние слова — насчет обстановки. Она услышала в них незаслуженный упрек себе, что находится здесь, в Архангельском, а не на фронте.

— К вашему сведению,— сказала она зло и спокойно,— я неделю назад прошла медицинскую комиссию и написала рапорт: прошу отправить меня снова в армейский госпиталь. Еще какие-нибудь вопросы есть?

— Прошу прощения. — Он ощутил глубину ее обиды. — Может, я выразился по-дурацки, но и вы меня тоже не по-умному поняли. Как могли подумать, что я вам, женщине, сделаю такой упрек? Не знаю, как кто, а я лично считаю, что по гроб обязан каждой женщине, которая пошла на фронт. И был бы рад обойтись без этого. Просто хотел сказать вам, чтоб старались освобождать себя от таких мыслей. Это закон войны, нельзя все время об этом думать.

— Хорошо,— сказала она, поверив, что он не отступил перед ее обидой, а действительно думает так, как сказал, и примирительно положила руку поверх его тяжело лежавшего на столе кулака. — Не обиделась. Поняла, вопрос исчерпан... И нечего на меня кулаки сжимать!

Он разжал кулак и усмехнулся.

— Это не на вас. На войну, наверно. — И мягко, другим голосом добавил про то же, о чем говорили до этого: — Вот вы про то, что гоним их к вам на стол. Да, гоним. Но сколько же перед каждой операцией ломаем голову, какая она ни на есть — умная или глупая,— над тем, как сделать, чтобы он к вам на стол не попал! Грош цена тому, кто эти слова: «Беречь людей» — только для сотрясения воздуха произносит! Их не говорить, а закладывать в план операции надо! Так у нас, так и у вас, наверно. Разве у вас хорошим врачом считают того, кто громче всех над больным охает?

После этого как-то само собой зашла речь о том, почему она стала хирургом. Она сказала, что теперь, когда давно уже считает это своим призванием, трудно разобраться, как все было вначале.

— Я была близка с родителями, а наш дом жил медициной. Наверно, сыграла роль вера в них, в то, что эти два лучших на свете человека занимаются самым лучшим на свете делом. Да и студенты от нас не вылезали. Отец был из тех профессоров, к которым домой ходят...

Он перебил ее, спросил: живы ли родители? Она ответила, что нет, умерли оба, один за другим, в последний предвоенный год. И продолжала говорить о себе с готовностью, даже удивившей ее самое.

Начав вспоминать про свои два года на фронте, вдруг сказала:

— Хотя и расхвасталась тут перед вами, не думайте, что я человек без сучка и задоринки. Я и с сучками и с задоринками. Даже прошлой осенью, на сороковом году жизни, роман имела с одним выздоравливающим подполковником.

— Ну и как, он выздоровел? — как-то непонятно, по смыслу словно бы шутя, а по выражению лица серьезно, спросил Серпилин.

— Выздоровел.

— А вы? — спросил он так, что она почувствовала: нет, не верит в тот легкий тон, который она взяла, и понимает, что ей почему-то необходимо сказать ему об этом.

— Поставила точный диагноз и выздоровела,— ответила она все в том же легком тоне, от которого не могла избавиться. — Я же хирург, у меня все должно быть просто и ясно.

— Не верю тому, как вы говорите о себе,— сердито сказал он.

И правильно сделал, что не поверил. Все это было совсем не просто, и никакой она не хирург по отношению к себе самой; попробовала и не смогла отсечь в себе то чисто женское, что

влекло ее к тому человеку, от всего остального человеческого, и тоже женского, что сопротивлялось в ней этой близости, догадывалась о его духовной нищете. Нравственной близости не могло получиться и не получилось, а физическая так быстро превратилась в какую-то торопливо повторяемую по ночам безрадостную гимнастику, что оборвать все это оказалось проще, чем длить. Она тогда бранила себя за это уродом и насмехалась над собой: занимаюсь решением душевных уравнений там, где все ясно как дважды два — четыре.

И вот с глупым видом согрешившей девицы зачем-то выложила все это перед человеком, который ей действительно и серьезно нравился, который сам никогда не спросил бы ее, сорокалетнюю женщину, ни о чем подобном. И вряд ли хотел слышать это от нее.

А все-таки она почему-то должна была сказать ему об этом. Не так по-глупому, но должна была. И не потому, что все это было так уж важно, а потому, что без этой недавней и неудачной попытки раздвоения на душу и тело она тоже не была бы самой собой. А он должен знать, какая она на самом деле. Иначе вообще все бессмысленно.

После того как он ей ответил «не верю тому, как вы говорите о себе», они оба долго молчали. Потом он сказал:

— То, о чем сказали, было и прошло. Или не так вас понял?

— Поняли правильно.

— А зачем рассказали? — строго спросил он.

«В самом деле, зачем?» — снова подумала она и, растерявшись, попробовала отшутиться:

— Такой уж, видно, стих нашел,— говорю вам все подряд, как на духу.

— Зря,— сказал он,— а то как бы и меня не потянуло. Много лишнего наслушаетесь.

И прежде чем она успела ответить, что не боится этого, поднялся и стал прощаться, так и оставив ее в недоумении, что хотел сказать этим: то ли пригрозился рассказать в ответ о чем-то своем, то ли вспомнил о чем-то, имевшем отношение к ней и к ее мужу, чего считал лучше не касаться.

Сейчас, когда она вспомнила об этом, ей снова сделалось не по себе и даже показалось, что он может не прийти к ней сегодня.

Через приотворенное окно вдруг послышались его шаги на дорожке. Она выглянула, но там никого не было. Сердясь на собственное волнение, она закрыла окно, чтобы больше не прислушиваться,— как раз в ту минуту, когда Серпилин постучал в дверь.

— Простите, что припоздал. Но оказался за одним столом с генерал-полковником Батюком и никак не мог доужинать.

— Что, так вкусно?

— Не сказал бы: творог. Но за творогом обсуждали, как будем воевать летом; и возник длительный спор на тему: можно ли нашего брата в тридцать семь лет командующим фронтом назначать, как это недавно с одним молодым генералом было сделано? Не слишком ли нежный возраст для такой должности? И можно ли к таким незрелым еще годам превзойти все необходимые для войны науки?

— А вы считаете, можно?

— Я считаю, можно,— сказал Серпилин. — Но генерал Батюк разбил меня в пух и прах по всем пунктам. Говорю ему: «Нам с тобой уже по пятьдесят, а всех положенных нашему брату наук все равно еще не превзошли». Отвечает: «Если и не превзошли, зато имеем большой опыт». Говорю: «Давай вспомним гражданскую войну — были же на ней командующие фронтами и по тридцать лет и менее того?» Отвечает: «Это — другое дело, тогда мы вообще все молодые были». Говорю ему, что Наполеон в тридцать три года главнокомандующим был. Отвечает: «Наполеон нам не указ, у нас Суворов и Кутузов есть, а они вон в каком возрасте победы одерживали...» В общем, кто моложе нас годами, выше нас лезть не должен! Я даже на авторитет товарища Сталина пробовал ссылаться. Но и это не помогло. Говорит: «Конечно, товарищу Сталину виднее, но все же эту кандидатуру кто-то подсказал ему. А он только утвердил. И дай бог, чтоб не пожалел!» Так и не пришли к соглашению.

— Хоть не очень кричали друг на друга? — спросила она в тон Серпилину, радуясь, что он пришел в хорошем настроении.

— Умеренно. Здоровья не повредили... Если бы, как в приключениях барона Мюнхгаузена, заморозить все наши генеральские споры здесь, в Архангельском, а потом, после войны, разморозить да послушать, много любопытного услышали бы и о войне и друг о друге.

— Если бы всю войну дневник вести, но только все подряд, потом было бы интересно прочитать даже мой,— сказала она.

— Дневники нам и по закону не положены, и времени на них не отпущено,— сказал он. — Но все равно война после себя столько бумаг оставит, что потом сто лет читай — не перечтешь. Боевые донесения, оперсводки, разведсводки, дневники боевых действий, да еще в каждом полку, каждый день, если есть потери, ПНШ-4 пишет свой синодик: с именами, со званиями, с адресами родственников, с обстоятельствами гибели и местом погребения. И в каждой роте старшина пишет, сколько едоков на

довольствии для получения всего по штату положенного. А сколько их, таких старшин, в армии! И все сидят по вечерам и пишут. А ваши медицинские рапортички, сопроводительные, истории болезней? Вся эта ваша бумажная карусель от поля боя до команды выздоравливающих, через все пепеэмы, медсанбаты, эвакогоспитали, санпоезда... Наверное, только одними вашими медицинскими бумагами можно будет после войны четырехэтажный дом набить.

— Почему четырехэтажный?

— Считаю по этажу на год. Или хотите пятиэтажный?

— Уж лучше четырехэтажный.

— И вы будете сидеть там, в этом доме, разбирать эти бумаги и задним числом по ним диссертации писать.

— Что-то вы ополчились сегодня на медицину!

— Напротив. Думаю о серьезности вашего дела, какая сила у вас, врачей, в руках. Из каждых четырех раненых троих даете нам обратно, в строй. Допустим на минуту, что вы нам с начала войны никого обратно не вернули, сегодня воевать уже некем было бы! Я сам, кабы не попал в армейский хомут, наверное, как и вы, стал бы врачом. А может, остался бы фельдшером. Получил бы по случаю войны повестку и по три кубаря на петлицы и служил бы у вас под началом в вашем армейском госпитале. Вы в какой армии были?

— В сорок девятой.

— Допустим, в сорок девятой, направление: Таруса — Кондрово — Юхнов... Так?

— Так. Но что-то плохо представляю себе вас в роли фельдшера,— сказала она.

— И напрасно. Потому что я как раз и был на той мировой войне фельдшером, пока после Октябрьской революции комбатом не выбрали. И отец у меня фельдшер. И по сей день фельдшером, там же, где пятьдесят лет назад был, в Туме, во Владимирской, по-старому, губернии.

— Сколько же ему лет?

— Семьдесят семь. Еще, может, увидите его. Пропуск ему хлопочу, чтобы сюда повидаться приехал. Адъютанта за ним пошлю. Вчера вас спросил, как врачом стали, а вспомнил о себе — как мечтал об этом. И у нас в доме тоже был дух медицины, конечно, не профессорской, как у вас, а скудной, сельской, но зато на все руки. Вам, например, роды приходилось принимать?

— Один раз ассистировала на пятом курсе во время практики.

— Вы ассистировали, а я принимал троекратно и благополучно. Так что, сложись жизнь по-другому, мог бы и до сих пор там у нас, в Мещерской стороне, фельдшером работать.

— А я думала, вы совсем других кровей.

— В каком смысле? — Он в первую секунду не понял ее.

— Думала, вы из военной семьи, как... — хотела заставить себя сказать «как мой муж», но почему-то не смогла и сказала: — Как Баранов.

— Вот уж этого греха, что из дворян, за мной не было,— рассмеялся Серпилин. — Чего не было, того не было. Даже в такое время, когда всякое на меня писали, до этого не додумались.

Так они наткнулись на то, что она все равно считала неизбежным. Можно было уклониться, но она не уклонилась и спросила:

— Федор Федорович, что вы думали и что думаете о Баранове?

Он медленно поднял на нее глаза, и она поняла: не хотел говорить с ней об этом, но, раз заговорила сама, не отступит и скажет.

— Не знал, что это вам нужно, и сейчас не уверен,— сказал он каким-то не своим, тяжелым голосом и замолчал, словно все еще ожидая, что она избавит его от этого.

Но она не избавила, несмотря на опасность, которую почувствовала в его голосе; смотрела ему в глаза и молчала. И он понял, что придется говорить.

— Учтите,— сказал он,— не способен по правилу: «О мертвых или хорошее, или ничего». Говорю о мертвых, как о живых, то, что думаю. А думаю о нем бесповоротно плохо. — Он замолчал, словно к этому нечего было добавить, но, подняв на нее глаза, все-таки добавил: — Говорю не о войне. Не один он в первые дни струсил. Знаю и других, давно доказавших, что это пора с них списать. Допускаю: останься жив — и с него было бы списано. Не уверен, но допускаю. А думаю о нем бесповоротно плохо по тем временам, которые вы знаете.

— Думаете, что он виноват перед вами? А я не верю в это!

— Вы меня не так поняли.

— Как я вас могла не так понять, господи! — воскликнула она и остановилась под его тяжелым взглядом.

— Ольга Ивановна,— сказал он,— я не хочу говорить об этом даже с вами. И не из страха божьего, а потому, что считаю: долг таких, как я, не вспоминать об этом. Только этого нам сейчас, во время войны, не хватает: рассказов обо всем том, что мы имеем несчастье помнить! А насчет вашей веры в мужа — оставайтесь

при ней. Видя, какой вы человек, хочется разделить ее с вами. Хотя это мало что меняет.

— Как это может мало менять?..

— Опять не так меня поняли,— снова перебил он. — Что там было или не было лично со мной — дело десятое. И не про это сказал вам, что я бесповоротного мнения о Баранове, а про то, каким он был в те годы, в академии, и в тридцать шестом, и в тридцать седьмом, до последнего дня, когда его видел. Разве можно было слушателей так готовить, как он готовил,— к такой войне, какую мы с вами видим! И если бы просто язык хорошо подвешен! А то ведь действительно знающий человек был! Но знал одно, а говорил другое. Заведомых неправд глашатай! Да куда бы мы пришли со всем с этим, если б после финской, хоть и с запозданием, за ум не взялись?

Он поднялся и заходил по комнате из угла в угол, недовольный тем, что сорвался и наговорил все это хорошей и даже, может быть, прекрасной женщине, которая ни сном ни духом не виновата в том, за что он не любил ее мужа.

— А вы с самого начала не верили в то, что он так и думает, как говорит? — спросила она.

— Не верил,— не останавливаясь, на ходу сказал Серпилин и мотнул головой.

— А я тогда верила.

— А я не верил. Были и такие, которые искренне считали, что единым махом семерых побивахом! Этим бог простит. Если живы... А он не мог в это верить. Был слишком умен и знающ для этого.

Следя за тем, как он мрачно ходит по ее тесной для него комнате, она уже почти готова была рассказать ему о том давнем, страшном для нее разговоре с Барановым. Сразу после финской войны.

Но удержала себя: нет, не так-то все это просто было тогда. И тот ее ночной разговор с мертвым теперь человеком принадлежал только ей. А старый спор Серпилина с ее мужем — кто был прав и кто неправ — давно решила сама война. Ее муж только делал вид, что не боится этой войны, а Серпилин...

«Серпилин... Что Серпилин?..» Она потеряла продолжение собственной мысли и, глядя на Серпилина, подумала совсем о другом: что он все-таки чуть-чуть прихрамывает после того ранения в сорок первом году, которое записано у него в истории болезни.

Ни разу не замечала этого, а сейчас, когда он заметался взад-вперед по ее комнате, заметила.

— Федор Федорович...

— Что?

— Садитесь. Пришли пить чай, так давайте пить. Наверное, уже остыл...

Серпилин сел за стол, снял с чайника ушанку и салфетку, сам налил себе стакан чая и вдруг отодвинул от себя.

— Простите, но еще несколько слов, для ясности.

— Ну что ж, послушаем, чего нам еще не хватает для ясности,— попробовала пошутить она.

Он перемолчал ее шутку с неподвижным выражением лица.

— Знаю, что наговорил вам много тяжелого. Но при всем своем глубоком уважении к вам ничего из сказанного обратно взять не могу.

— И не берите,— сказала она. — Услышала от вас мало веселого, это верно. Но я ведь веселого и не ждала. И не думайте, что сделали для меня какие-то особенные открытия. К большинству из них я сама пришла. Не сразу, правда. И заговорила с вами обо всем этом не по женской слабости, а тоже, как вы выражаетесь, «для ясности». Так вот, «для ясности»: я уже давно существую сама по себе. «Отдельно стоящее дерево», как говорят топографы. Понятно вам? И когда вы отодвинули от себя стакан с таким видом, словно скажете мне что-то такое, после чего нам с вами и чаи гонять будет нельзя, мне захотелось ответить: ладно уж, пейте.

Они пили чай и молчали, чувствуя одновременно и облегчение и усталость. Сейчас, когда этот разговор остался позади, казалось, что он не мог выйти иным, чем вышел. Но на самом деле он мог выйти и иным, как всякий такой разговор, в котором достаточно лишь в одном месте не суметь или не решиться понять друг друга, чтобы дальше все пошло таким колесом, которого уже не повернешь вспять, даже общими усилиями.

— Чего это вам на ум взбрело, что я дворянской кости? — допив чай, спросил Серпилин.

— Есть в вас что-то до того неистребимо военное, словно бы вдобавок еще и с детства в этом воспитаны.

— «Вдобавок»,— усмехнулся Серпилин.

— Чего смеетесь?

— Подумал: неужели к тридцати годам моей собственной военной службы нужен какой-то добавок, чтобы я стал еще более военным человеком, чем есть? С тех пор как погоны ввели, иногда замечаю в разговорах излишнее умиление перед нашим старым русским офицерством. Не разделяю. Всякое оно было. И злаки и плевелы. Уж кто-кто, а я, как фельдшер, разного навидался... Недавно услышал от одного умника про командующего тем фронтом, где я раньше был, что, дескать, он очень интеллигентный

человек — с чем не спорю,— но почему? Потому, видите ли, что еще в царской армии прапорщиком был! Оказывается, то, что он после этого нашу Академию Фрунзе окончил, в Красной Армии еще в мирное время дивизией и корпусом командовал, а на этой войне — армией и фронтом и такую операцию провел, как в Сталинграде,— все это еще не доказывает, что он интеллигентный человек! А вот то, что он прапорщиком в царской армии был,— вот это да! И добро бы от какого-нибудь лейтенантика это услышал, а то ведь от человека зрелых лет!

— Кстати,— рассмеялась она, вдруг передумав не говорить ему этого,— с сегодняшнего дня я тоже человек зрелых лет. Ровно сорок.

Он посмотрел на нее так, словно она пошутила, слишком уж неожиданными показались ее слова.

— Вполне серьезно. Даже от сыновей два письма получила к этому дню неделю назад. Написали с запасом, чтобы не опоздать. Как почта идет, известно. И не поднимайтесь за своим коньяком, знаю, что он у вас есть, но сегодня не хочу. В другой раз и по другому поводу.

— Благодарен вам, что позвали в такой день,— помолчав, сказал Серпилин. — Поздравляю вас.

Она думала, что он сейчас поцелует ей руку, но он почему-то не поцеловал.

— Это не мне, а вам спасибо, что пришли,— сказала она. — Кроме вас, никого не хотела видеть сегодня, никому и не сказала. Сыновей, конечно, хочу видеть еще больше, чем вас, но это невозможно. Напишу теперь им отчет, как принимала вас у себя и поила чаем с печеньем!

Она решила превратить весь этот разговор о своем дне рождения в шутку, но вышло наоборот; Серпилин неожиданно для нее спросил:

— Напишете сыновьям, что я у вас был?

И она поняла по его лицу, что он посмотрел на то же самое совсем с другой стороны, чем она.

— Напишу,— ответила она так же серьезно, как он спросил. — Я им всегда пишу обо всем важном в своей жизни.

— Для меня это тоже важно,— сказал Серпилин.

— А я поняла это,— сказала она. И после этого так долго молчала, словно ушла из комнаты, словно ее тут и не было.

Вспомнив про ее младшего сына, недавно поступившего в артиллерийское училище, Серпилин заговорил о том, что уже обсуждал сегодня с Батюком,— о введении раздельного обучения для мальчиков и девочек. Спросил, как она думает: много ли даст это с точки зрения физического воспитания.

— С точки зрения физического воспитания, может, и хорошо,— сказала она,— а со всех остальных мне не нравится.

— Почему?

— А вам нравится?

— Мне нравится.

— Тогда первый и скажите: почему?

Он сказал, что в школах, где будут учиться одни мальчики, установится более спартанский дух, в армию после войны начнет приходить более закаленное для военной службы поколение.

— А зачем вам оно? Да еще закаленное, как вы выражаетесь. После войны снова воевать собираетесь? Для этого?

— Насчет «собираемся» — сильно сказано, но думать об этом придется. Такая уж наша стезя.

— Ну, допустим, я задала неумный вопрос, допустим, вы уже сейчас обязаны думать об этом. Но при чем тут девочки? Чем они вам, например, мешали?

— Когда я учился, их, положим, не было. Тем более в фельдшерской школе.

— Ладно, не ловите меня на слове. Спрошу вас по-другому: чем вам женщины в жизни мешали, когда рядом с вами были? Мешали вам быть военным, быть храбрым, долг выполнять вам мешали? Или, может быть, они теперь на войне вам мешают? Отдельную армию из них, что ли, сформировать?.. Нет, нет,— она заметила, что он улыбнулся. — Я очень серьезно. Вот была у вас жена, много лет делила с вами все, что бы ни выпало на вашу долю. Неужели ее присутствие когда-нибудь мешало вам стать тем, кем вы стали? А может, наоборот, помогало?

— Разве я об этом говорю? — Серпилина ошарашила простота, с какой она заговорила о его покойной жене. — Я говорю о школе, о мальчиках и девочках.

— А что ж, вы хотите, чтоб восемнадцатилетний парень, выйдя из школы, смотрел на девушек как баран на новые ворота? Считаете, что это мужества ему прибавит? Не знаю, как у кого, а мои сыновья росли возле моей материнской юбки, и пока ничего худого из этого не вышло. Хотя я военной суровостью воспитания не отличалась. Просто умела говорить им четыре слова: «да», «нет», «хорошо» и «плохо».

Серпилин молчал. Молчал и думал не о раздельном обучении и не о сыновьях этой, все сильней нравившейся ему женщины, а о собственной жизни и собственном сыне, о том, о чем уже не раз, встречая разных людей, с горечью думал на фронте: как далека от истины бывает поговорка «Яблочко от яблоньки...».

— Почему молчите и не спорите? — спросила она.

— Пропала охота. Вспомнил, как сам до двенадцати лет, пока мать не умерла, ходил, как вы выражаетесь, возле ее юбки. Она была у меня татарка, ушла из дома и крестилась, чтоб выйти за отца. И у нее не было ни родни, никого, это все было отрезано, только отец и я. Двое братьев, старше меня, умерли, я единственный, во мне все. Как она только меня не баловала! Иногда думаю, на всю жизнь вперед набаловала, сколько успела.

Она почувствовала в его словах горечь и что-то затаенное, нежное, что, наверное, за его трудную жизнь ему не раз приходилось душить в себе, но оно все равно жило в нем, как отзвук рано оборвавшегося и счастливого детства.

— Отчего она умерла?

— Ее бык убил. Выбежала меня спасти. — Его лицо даже сейчас, через столько лет, содрогнулось от воспоминания о том, как это было. — Сутки промучилась, пока отошла, бредила по-татарски, никто не понимал, только я один. Немножко знал от нее по-татарски и до сих пор знаю.

— Ваш отец, верно, сильно любил ее? — спросила она то, что, наверно, и должна была спросить женщина.

Но Серпилин только молча кивнул, не ответил. В чем дело, что случилось? Что она такого сделала, эта сидевшая перед ним женщина, чтобы вдруг заставить его говорить здесь, при ней, о себе столько, сколько он, кажется, век никому не говорил? Какого черта его потянуло на эту исповедь и как это вообще можно заново рассказывать кому-то свою жизнь, когда тебе пятьдесят лет? И как она выглядит в ее глазах, эта твоя жизнь? Что она о ней думает? И надо ли, чтобы она вообще что-то думала о твоей жизни? При чем тут она?

Он замолчал и уперся, сам себе сопротивляясь. И на его лице от этой борьбы с самим собой появилось то жестокое выражение, которое она сразу же заметила. Он умел быть жестоким к самому себе, таким был и сейчас. Но она не поняла этого; ей показалось, что он сейчас молча упрекает не себя, а ее.

— Не сердитесь, что я проголосовала на дороге и вскочила к вам на подножку. Я могу и соскочить... Но мне не хочется.

И в этот момент — не раньше, когда она ждала этого, а сейчас, когда не ждала,— он наклонился над столом и поцеловал ее лежащие на столе руки: одну и другую. А потом, разогнувшись и откинувшись на стуле, сказал:

— Это не вы проголосовали, а я. Так что если кого и спихивать с подножки, то как раз меня!

Это было сильно сказано. Пожалуй, даже слишком сильно, так, что вроде уже нечего было больше говорить.

Если угодно, это было признание в том, что ты ему необходима, и в устах такого человека оно звучало куда значительнее расхожих мужских слов о том, как ты хороша собой и как ты нравишься. То, что она все еще хороша собой, она знала, то, что нравится, не раз слышала и тоже знала. Знала и сейчас. А вот с какой силой, оказывается, он способен сказать ей про ее необходимость для него — этого не знала. И ни здравый смысл, напомнивший ей сразу же о тысяче вещей — о войне, о годах, о сыновьях, ни ее склонный к иронии ум — ничто не смогло помешать рождению простой и до глупости счастливой мысли: «Вот так и сводит людей судьба!» Хотя судьба еще не свела их и могла не свести.

Ничего не ответив на его слова про подножку, только сказав глазами, что никуда они оба не соскочат, она заговорила о делах. Сегодня — она знала это от начальника санатория — в Москву звонили по ВЧ из штаба фронта и нетерпеливо интересовались здоровьем Серпилина. Говорить ему об этом она не хотела, чтобы зря не волновать его, но некоторые меры считала нужным принять.

— На днях у нас здесь будет на консультациях главный терапевт армии, я вас к нему приведу, а вы уж потрудитесь произвести на него хорошее впечатление своим состоянием здоровья и видом, чтобы вдруг не застрять потом на комиссии. Не хочу, чтоб комиссия закончилась не так, как вы ждете. Если вас задержат, все равно душой будете уже не здесь, а там... А нам таких не надо.

Она улыбнулась, а он подумал, что раз зашла речь о его лечении, наверное, пора подниматься.

— Идите, вам и правда пора,— сказала она, встретив его выжидающий взгляд.

Сказала так потому, что сейчас, после всего уже сказанного ими обоими, ей осталось только одно из двух: или это, или «останьтесь».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В тот день, когда Серпилин с Батюком вдали от фронта, в Архангельском, вспоминали о члене Военного совета фронта генерал-лейтенанте Львове, Львов тоже вспомнил о Серпилине и, позвонив члену Военного совета армии Захарову, вызвал его к себе.

— Когда прибыть? — спросил Захаров.

— Сейчас,— тоном ответа Львов подчеркнул неуместность вопроса. — Сколько вам надо на дорогу?

— Два часа.
— Жду вас.

Тому, что вызывал глядя на ночь, даже не спросив при этом — можете ли сейчас выехать? — удивляться не приходилось. У Львова свой распорядок дня — любит работать по ночам, а какой распорядок у других и когда они успевают спать, его не интересует.

Чертыхнувшись, Захаров надел шинель и, прежде чем ехать, зашел к исполняющему обязанности командарма, начальнику штаба Бойко.

— Поужинаем? — спросил Бойко.

Обычно они — так это было заведено еще Серпилиным,— закончив все дела и подписав все бумаги, намечали планы на будущий день и вместе ужинали.

— Не могу,— сказал Захаров. — Зачем-то понадобился товарищу Львову.

— Сейчас?

— Лично, срочно! Даже поинтересовался, за сколько доеду. Чего-либо особого в штабе фронта сегодня не почувствовал?

— Наоборот. За весь день всего два раза звонили.

— Значит, он в сегодняшнем номере нашей армейской газеты что-нибудь на ночь глядя обнаружил. Или передовая не такая, или сверстали не так. Или свежая идея пришла, с которой подождать до завтра сил нет... Мог бы и по телефону, но, наверно, решил лишний раз поднять по тревоге, проверить мою боевую готовность!.. Бывай здоров.

— А как же с поездкой в семьдесят первый корпус? — спросил Бойко.

— Поедем в семь, как условились. Как встанешь — позвони, разбуди. А если надолго задержит, прямо там и съедемся, в дороге посплю.

Захаров вздохнул, устало погладил круглую седую голову и вышел.

Водитель дремал, навалясь на руль.

— Поехали, Николай,— сказал Захаров, толкая его в плечо и садясь рядом. — Если засну, учти: за час пятьдесят минут должен довезти до места.

Но, несмотря на усталость, против ожидания спать не потянуло.

— Товарищ генерал,— заметив, что Захаров не спит, спросил водитель, ездивший с ним еще до войны, когда Захаров служил в Московском военном округе,— не слыхали, когда командующий армией вернется?

— Кто его знает. Писал, что поправляется, но последнее слово не за ним, а за медиками. Почему спросил? Так просто или солдатская почта что-нибудь на хвосте принесла?

— Так просто. Вижу, вы без него скучаете...

Захаров действительно скучал по Серпилину, хотя скучать времени не было. Армия пополнялась людьми и техникой, готовилась к боям и к форсированию водных преград. Каждый день то учения и тренировки, то сборы командного и политического состава, то поверки. Считается затишьем, а на деле ни сна, ни отдыха.

«Скучать» — это слова! Это проще всего. А суть дела — чтобы и без Серпилина все шло своим чередом.

«Бойко молодой, еще год назад — полковник, а тут — один в двух лицах: на плечах и то, что сам раньше тянул, и то, что — Серпилин. Разрывается, но делает, и даже нельзя сказать про него, что разрывается. Весь в поту, а мыла не видно»,— с уважением вспомнил о Бойко Захаров, не любивший людей, которые везут свой воз кряхтя, всем напоказ.

«Зачем он меня вызвал?» — думал Захаров о Львове.

В прошлый раз вот так же глядя на ночь вызвал и приказал сделать в армейской газете полосу об опыте снайперского движения и целый час объяснял, как именно надо составить эту полосу. Объяснял со знанием дела, но непонятно: почему ночью? И почему вызвал тебя?

При всей важности такой полосы в газете все же не члену Военного совета ее верстать, а тому, кому положено,— редактору. За все сразу хвататься — можно и главного не успеть!

Правда, есть и другая постановка вопроса: как же так? Я, член Военного совета фронта, во все вхожу, все успеваю, а у тебя, у члена Военного совета армии, времени на это нет?

Казалось бы, что возразишь? Но возразить можно. Все, что я упустил или не успел,— это тебе сверху видно, или считается, что видно, и если тебе там, наверху, ударило в голову встрять самому в какую-нибудь мелочь, то я, конечно, должен от этого в восторг прийти! Это ясно! А вот не упустил ли ты сам там, наверху, за всеми этими мелочами чего-нибудь поважней — об этом мне спрашивать не положено. Хотя вполне возможно, что так оно и есть. И спи ты хоть по два часа в сутки, всего на свете все равно сам не переделаешь. А раз так — значит, все же надо делить: одно делаешь сам, а другое — другие. Если они, конечно, на своих местах сидят. А сделать так, чтобы они на своих местах сидели,— это и есть самое главное, без чего, в какие бы мелочи ни влезал, далеко не уедешь.

«Интересно, зачем все же вызвал? — еще раз подумал Захаров. — Может, после того как знакомился с армией, надумал кого-

нибудь, кто понравился, к себе в Политуправление фронта забрать?.. Хорошо бы Бастрюкова от меня забрал. Кажется, понравился ему, два часа ночью на беседе у него сидел. И вышел такой довольный, словно яичко снес. Отдам — не охну...»

Он даже рассмеялся от мысли, какой подарок, сам того не подозревая, сделал бы ему Львов, забрав наконец от него Бастрюкова.

— Что, товарищ генерал? — спросил водитель.

— Анекдот вспомнил. Как фрицы начальника военторга в плен взяли. Командующему доложили и спрашивают: «Прикажете отбить?» А командующий говорит: «Не надо, мы с ним уже два года мучаемся, пускай теперь они помучаются...» Подумал про одного работничка. И вспомнил. Не слыхал?

— Слыхал. Вы один раз рассказывали.

— А чего ж ты по второму разу смеешься? Значит, память у меня уже не та, не смеяться, а плакать в пору...

Приехали в штаб фронта и остановились у избы, которую занимал Львов, без опоздания, ровно в час ночи.

Захаров скинул шинель и бросил ее на сиденье «виллиса».

— Будешь спать — накройся.

Он потер левой рукой правую, озябшую, пока всю дорогу на ветру держался за переднюю стойку «виллиса», предъявил документы автоматчику, поднялся на крыльцо и открыл дверь.

За столом, привалясь к стене, подложив под толстую щеку толстую руку, спал толстый полковник, уже давно состоявший при Львове одновременно и адъютантом и офицером для поручений и, как хвост, ездивший за ним с фронта на фронт.

«И как он только сохраняется такой рыхлый при таком беспокойном начальстве? Другой бы на его месте давно последний вес потерял»,— подумал Захаров о спящем полковнике и озорно гаркнул так, что тот подпрыгнул на стуле:

— Явился по приказанию генерал-лейтенанта! Прошу доложить...

Подпрыгнув на стуле и проснувшись, полковник неохотно встал и, моргая, сказал недовольным голосом, что товарищ Львов еще не вернулся от командующего. Сказал, называя своего начальника не по званию и не по должности, как принято в армии, а именно «товарищ Львов», по привычке вкладывая в эти слова свой особый смысл: то, что его начальник был сейчас генерал-лейтенантом, имело меньшее значение, чем то, что он был и оставался «товарищем Львовым».

Полковник постоял несколько секунд за столом напротив Захарова и наконец, словно делая ему одолжение, кивнул на дверь:

— Пройдите, подождите там.

Захаров прошел в соседнюю комнату, оставив дверь открытой. Его заставило сделать это какое-то едва уловимое колебание в тоне полковника.

Он оглядел комнату. В прошлый раз Львов принимал его не здесь, а в соседней деревне, в Политуправлении фронта: там, где вдруг вспомнил про эту полосу в газете, туда и вызвал.

Комната была довольно большая, с бревенчатыми, чистыми, может быть, даже специально вымытыми, стенами. На стенах ничего не висело: ни старого, оставшегося от хозяев, ни нового.

Один угол комнаты был завешен от пола до потолка сшитыми в два ряда плащ-палатками, а на всем остальном пространстве стояли только стол со стулом, несгораемый ящик и еще четыре стула напротив стола, по другой стене. Больше ничего.

На столе лежали: большой чистый блокнот, толстый карандаш — с одного конца синий, с другого — красный — и очешник. Ни бумаг, ни карт — ничего.

Правда, стол был канцелярский, с ящиками, и, наверное, и бумаги и карты — все, без чего не обойтись, лежало там и в несгораемом ящике. Но сейчас, когда в комнате не было хозяина, ничего этого на виду тоже не было.

Захаров прошелся по комнате, сел и вдруг почувствовал себя не членом Военного совета армии, а сидевшим на стуле у стены посетителем.

Стул был жесткий, желтый, крашеный, канцелярский. Такой же, как четыре других стула — еще три у стены и один там, с той стороны, за столом. И стол был такой же точно — желтый, крашеный.

Захаров подумал, что, наверно, все это возилось с собой — с фронта на фронт. О Львове было известно, что он до сих пор подолгу нигде не задерживался.

И эту занавеску на кольцах, сшитую из шести плащ-палаток, скорей всего тоже возили с собой. Что там — за ней? Наверное, всего-навсего складная койка да один чемодан.

Почему-то при мысли о Львове казалось, что он может возить за собой этот канцелярский стол и стулья, но что у него больше одного чемодана, в голову не приходило. Да и этот свой чемодан и койку он отгородил занавеской от чужих взглядов, чтобы, не дай бог, не подумали, что и он, как все люди, и спит на койке и чистое белье в чемодане держит.

Комната была такая, что даже не требовалось надписи: сделал свое дело — уходи. И так не засидишься!

Сидя на стуле у стены и почему-то даже не закинув по привычке ногу на ногу, Захаров думал о Львове и о том не до конца

еще понятном ему самому впечатлении, которое производил на него этот человек.

Слышал о нем больше чем достаточно и даже один раз был у него пятнадцать минут по вызову на Дальнем Востоке. Но та встреча не в счет, другие обстоятельства. По сути, знакомство состоялось здесь, на фронте, и больше всего за те три дня, что Львов недавно пробыл у них в армии.

Разное было за эти три дня: и понятное и малопонятное. Были вызовы и разговоры по ночам, когда только что заснувшие и не ожидавшие вызова люди хлопали, не выспавшись, глазами и чувствовали себя виноватыми перед лицом бессонного начальства. Хотя, наверное, если взять на круг, они не меньше его трудились и не больше его спали.

Один Бастрюков, как видно загодя разузнав привычки Львова и благополучно выспавшись днем — он это умел,— глядя на ночь был как огурчик.

Конечно, строго говоря, на войне ночи нет. Должен быть как штык — в любое время суток. Если действительно необходимо. Но Львов, как показалось Захарову, любил держать людей в напряжении — надо или не надо. Как будто им этого и так не хватает на войне!

На передовой Львов много лазил по переднему краю, и это в разных случаях вызывало в Захарове разные чувства. В одном полку Львов не только по всему переднему краю прошел, но и в ячейки боевого охранения залез, в переднюю яму к переднему солдату. И оказалось потом — не просто так, а имел сигнал, что по двое суток горячей пищи туда не доставляют, люди сидят даже без сухого пайка. И полез сам и докопался, и в одной роте оказалось — верно, так и было. И пришлось старшину роты под трибунал. И замполиту полка влетело, и замполиту дивизии, и самому Захарову пришлось краснеть...

Но в других местах Львов лазил по переднему краю непонятно зачем. Лазил так, словно хотел выбрать участок для прорыва, оценить передний край противника. А на самом деле и не выбирал, и не оценивал, и не задавал вопросов, которые бы имели к этому отношение. Просто лазил, таская за собой без необходимости целую свиту: от замполита корпуса до замполита полка, заставляя их белеть от страха не столько за свою, сколько за его жизнь. Лазил, словно хотел уязвить их, что они без него там не бывали, а вот он приехал — и им пришлось! А они и без него там бывали, когда требовалось.

Говорил там, в окопах, со многими, иногда подолгу, особенно когда немцы, заметив шевеление, открывали огонь; как бы испытывал этим окружающих. Узнал, что у солдат махорка кро-

шится по карманам: не в чем держать,— и приказал тыловикам немедленно пошить кисеты. А в то же время ни одного теплого человеческого слова так никому и не сказал, не запомнилось.

Были и обижавшие людей мелочи. Что ночевал все три ночи у них там, в армии, и одну из этих ночей на передовой,— хорошо. А вот что с собой, оказывается, возил закатанный в валик тюфячок, тощенький, как подстилка, и этот тюфячок, и свои простыни, и одеяло приказывал класть поверх постеленного, это уже ни к чему. Вшей, что ли, боялся или думал, что ему в армии чистого белья не найдут и не постелят... И водки ни разу ни с кем ни глотка не выпил, как бы отодвигая людей от себя. И главное, этот его Шлеёв, полковник, за ним не только термос, но и отдельный стакан возил, и в пергамент завернутые какие-то диетические котлетки, и что-то там еще, тоже свое, отдельное. А при всем этом был способен днем, на брюхе, в грязь доползти до боевого охранения...

Захаров, посмотрев на часы — он ждал уже тридцать минут,— еще раз оглядел комнату Львова, которая, казалось, говорила о своем хозяине, что ничего, кроме порученного ему дела, в его жизни не было и не будет, и вдруг вспомнил рассказ своего однокашника по Толмачевке, начальника Политуправления фронта Гаврилина, о жене Львова: жена его, уже немолодая, даже пожилая женщина, оказывается, работала начальником аптеки в одном из фронтовых госпиталей и за это время несколько раз приезжала к мужу. От этого госпиталя до штаба фронта километров сорок, и Гаврилин узнал стороной, что жена Львова в первый раз приехала и уехала на перекладных, на попутных машинах. Он при случае спросил Львова: как же так вышло? Если у него машина была занята, нашли бы другую! А Львов ответил: «Я для нее особых условий создавать не буду. Пусть добирается, как все другие люди». «Выход из положения, конечно, нашли,— посмеиваясь, сказал Гаврилин. — Пришлось мне после этого разговора — сердце не камень! — в другие разы посылать за ней свою машину». А Захаров, услышав это, подумал тогда и снова подумал сейчас, что в такой сверхщепетильности Львова есть что-то показное, обдуманное, дающее ему возможность с высоты своей принципиальности беспощадно обрушиваться на других людей за всякую мелочь...

— Здравствуйте, товарищ Захаров,— сказал за спиной Захарова голос Львова.

Львов вошел, закрыл за собой дверь и, наскоро подав руку поднявшемуся со стула Захарову, прошел за стол и сел.

— Берите стул. Поговорим.

Захаров взял стул и сел к столу, напротив Львова.

— Вспомнил сегодня, что мы встречались с вами в Хабаровске,— сказал Львов.

«Три дня был у нас в армии и не вспомнил, а сейчас вдруг вспомнил,— подумал Захаров. — Не иначе как моим личным делом интересовался».

И он покосился на несгораемый ящик в углу, как будто его личное дело должно было лежать именно там, в этом ящике.

— Был у вас в Хабаровске по вашему вызову в мае тысяча девятьсот тридцать восьмого года,— сказал Захаров. — Вы многих из нас тогда вызывали. Думал — забыли.

— Нет, не забыл. Вопрос о вашей судьбе стоял тогда достаточно остро.

Захаров ничего не ответил.

«К чему и для чего такое начало разговора? — подумал он. — Напомнить, что давно знакомы, можно бы и по-другому. Или хочет подчеркнуть, что от него тогда зависела моя судьба? Вроде бы как по молчаливому согласию стараемся пореже вспоминать то, что болит. А он, видишь ли, вспомнил. У него, видно, не болит».

— Чаю хотите? — спросил Львов.

— Спасибо, с дороги неплохо бы.

— Шлеёв! — своим высоким, резким голосом громко через дверь крикнул Львов.

И сейчас же в открывшейся двери появился его толстый полковник, с невыспавшимся белым лицом.

— Нужно чаю,— сказал Львов.

Полковник исчез, закрыв за собой дверь.

Львов придвинул к себе блокнот и, взяв со стола карандаш, поставил в блокноте синюю цифру «один» и за ней скобку, но больше ничего не написал.

Лицо у него было худое, треугольное: узкий подбородок и широкий лоб, а над ним густая шапка черных, жестких, курчавых волос.

Сейчас, когда он сидел, глядя на блокнот, опустив тяжелые веки, и по этим векам и по морщинам у глаз было видно, что он человек немолодой и усталый.

«На двенадцать лет старше меня, но я давно седой, а он все еще черный. — Захаров поглядел на аккуратно, наверное, только сегодня подстриженные парикмахером виски Львова, в которых едва заметно пробивалась седина. — Ну так что же будет во-первых?»

Львов поднял глаза от блокнота и посмотрел на Захарова, словно сам еще не решил, что же будет во-первых и что во-вторых.

Теперь, когда он поднял глаза, он опять казался моложе своих пятидесяти восьми. Глаза его смотрели не прямо в глаза Захарову, а чуть повыше, в лоб. Как будто ему были интересны не настроение сидевшего перед ним человека, не выражение его лица и глаз, а те мысли, которые спрятаны там, за лбом, и которые надо знать.

— Черненко,— сказал Львов своим отрывистым голосом. Ничего не добавив, опустил глаза на блокнот, написал синим карандашом вслед за цифрой «один» и скобкой «Черненко» и лишь после этого, подняв глаза, спросил: — Какого вы о нем мнения?

Бригадный комиссар, а теперь полковник, Черненко был на глазах у Захарова уже два года подряд, со дня своего прибытия в армию. В сорок втором, во время отступления, заменил убитого начальника политотдела, на второй день сам был ранен навылет в шею, но остался в строю и потом еще два раза за эти два года опять оставался в строю, получив еще два, правда, уже более легких ранения.

Захаров знал Черненко как облупленного, со всеми его достоинствами и недостатками, с храбростью, грубостью, горячностью, с его ненавистью к писанине, с его способностью самыми простыми словами поднять людей на подвиг и с его неспособностью планомерно внедрять в их сознание какую-нибудь мудреную директиву. Черненко был неутомим в боях, ленив в дни затишья и имел привычку спасаться от начальства на передовой.

Захаров считал, что Черненко — золотой человек с крупными недостатками. Такого человека легко отстранить, но трудно заменить.

Будь перед Захаровым не Львов, а кто-то другой, способный понять, как это может сочетаться в человеке — что он и такой золотой и такой трудный, Захаров, на свой характер, выложил бы все, что думал о Черненко. Но Львов, по мнению Захарова, понять этого не мог, и поэтому Захаров насторожился и сухо ответил, что Черненко занимаемой должности соответствует.

— Вполне ли? — спросил Львов.

И стал перечислять прегрешения Черненко: не обращает внимания на то, как ведется в их армии газета, не понимает ее значения; слишком многое переваливает на плечи заместителя, даже последнее совещание политработников по приказу 512 проводил не сам: поручил заму, а сам в это время болтался где-то в тылах армии. С политдонесениями поступает как бог на душу положит — то подмахивает не читая, то вымарывает из них отрицательные факты, которые, по его мнению, малосущественны, а на самом деле показательны.

Слушая все это, Захаров подумал, что тогда, ночью, просидев два часа у Львова, Бастрюков времени не терял: не только перечислил ему грехи своего начальника, но и успел познакомить его со своими простынями — с черновиками политдонесений, которые потом сокращал Черненко.

— Насчет недочетов в работе — правильно, товарищ генерал-лейтенант,— сказал Захаров, хорошо знавший, что Львов любит, когда его называют не генерал-лейтенантом, а «товарищем Львовым», но не желавший доставлять ему этого удовольствия. — А насчет болтания по тылам — неточно: не болтался по тылам, а с ведома Военного совета присутствовал на учениях, когда мы людей в тылу танками обкатывали. И сам с ними в окопах сидел, показывал, что не так это страшно... Остаюсь при своем мнении. О недостатках в его работе буду иметь с ним беседу, а в целом считаю — должности соответствует.

— Оставаться при своем мнении — это хорошо,— сказал Львов. — Людей, быстро меняющих свои мнения, не уважаю. Но мнение должно основываться не на упрямстве, а на фактах. А из приведенных фактов вы пока оспорили только один.

— Есть и другие факты, товарищ генерал-лейтенант. Три ордена Красного Знамени, три ранения, не выходя из строя. Если до сих пор не Герой Советского Союза — только потому, что политработникам не густо дают, сами знаете. А то был бы! Армия представляла. В боевой обстановке всегда в частях, на самых опасных участках. Факты говорят за него.

Сказал все это, считая, что Львову, который ценит личную храбрость и не терпит трусов, будет трудно возразить. Но Львов возразил:

— Бывает и так, товарищ Захаров, что, казалось бы, все факты за человека, а должности он все же не соответствует. И те же самые факты будут иметь другую цену, если переместить его на другую должность. Вот и подумайте: может, правильней переместить Черненко на должность замполита корпуса? Будет и поближе к передовой и подальше от той сферы деятельности, с которой в полном объеме не справляется. А на его место другого выдвинем. Или мы вам дадим, или у вас поищем — найдем.

Насчет «дадим» — это так, слова. А насчет «у вас поищем — найдем» — было понятно и где поищем, и кого найдем. Поищем и найдем Бастрюкова.

Конечно, если Черненко переместить на замполита корпуса, он от этого не заплачет. И хорошо воевать будет и в душе ничего не затаит. Но вот Бастрюкова взамен него на политотдел — на это рука не подымается!

«Чего-чего, а этого не будет! — решил Захаров. — Костьми лягу, а не дам! Ишь ты, успел, наскрипел!» — вспомнил он ровный, скрипучий голос Бастрюкова и сказал вслух:

— Товарищ генерал-лейтенант, заместителей командиров корпусов у нас два, и оба на своем месте. И начальник политотдела армии, как я считаю, на своем месте. Перемещать не вижу оснований.

Говоря это, хорошо понимал, что обостряет отношения, понимал, что, если бы Львов мог сейчас сместить начальника политотдела армии, не спрашивая твоего мнения, если бы у Черненко были не просто недостатки, а какой-то такой факт обнаружился, после которого можно — раз! — и за жабры, тогда и разговор был бы другой. Но пока этого нет! Если бы ты был согласен, можно и сместить. А раз ты, член Военного совета армии, не только не согласен, а, наоборот, возражаешь, наверху могут не понять и не поддержать Львова. А должность у Львова не прежняя, не та, что когда-то была, и он вынужден с этим считаться!

«А хотя кто его знает, может, и напролом пойдет!» — подумал Захаров, глядя в глаза Львову, по-прежнему смотревшему поверх его глаз, в лоб.

— Хорошо, пока отложим,— сказал Львов ровным голосом, таким, словно не придавал всему этому разговору особого значения. — Хотя думаю, что вы потом раскаетесь.

И, повысив голос, снова через дверь крикнул:

— Шлеёв!

В дверях появился полковник.

— Как чай?

— Готов. — Шлеёв, не закрывая двери, снова исчез.

Было слышно, как в той комнате наливают чай, и Захаров ждал, что сейчас с этим чаем войдет ординарец, но вошел опять-таки Шлеёв, неся на блюдечках два стакана.

Вошел, поставил на стол и вышел, закрыв за собой дверь.

«Лицо-то у него отечное,— наверное, такой рыхлый оттого, что сердце больное. А спать не дают!» — с внезапным сочувствием подумал о нем Захаров.

— Пейте,— Львов взял с блюдца ложечку, стал размешивать в стакане сахар.

И Захаров так и не понял, почему надо было второй раз кричать «Шлеёв!» после того, как уже было сказано, чтоб принесли чай.

Может быть, тут заведен такой порядок, чтоб без вызова никому не появляться, даже с чаем?

Шел уже третий час ночи.

«Раз пьем чай, значит, еще что-то услышим»,— подумал Захаров.

Львов хотя и мелкими глотками, но очень быстро выпил свой чай, вынул из кармана бриджей белый носовой платок, так тщательно вытер им губы, как будто не чай пил, а ел кашу, и сказал в упор, без предисловий:

— Ваша армия почти месяц без командарма. Я сегодня звонил в Москву и справлялся. Не берут на себя дать точный ответ, через сколько дней он прибудет обратно к месту службы. Зависит от медицинских показаний. Это создает нетерпимое положение. Начальник штаба армии в период предстоящей операции, не имея достаточного командного опыта, на должность командарма выдвинут быть не может. События надвигаются, а командарм неизвестно когда вернется. Но если и успеет вернуться,— все так же жестко продолжал Львов,— здоровье его еще до войны подорвано, и в начале войны перенес тяжелое ранение, а теперь, после аварии, имел сотрясение мозга... Если и будет возвращен в строй врачами, еще вопрос, сможет ли такой болезненный человек командовать армией в полную силу. Возникает вопрос: не лучше ли использовать его на другой работе?

Сказав все это, Львов замолчал. Так, словно сам уже все решил и спрашивать не у кого и не о чем.

Однако после паузы все же спросил:

— Согласны с этим?

— Не согласен, товарищ генерал-лейтенант,— не потратив ни секунды на размышления, отрубил Захаров.

— Почему не согласны и с чем именно? — быстро спросил Львов.

— Не согласен, что болезненный,— сказал Захаров и, посмотрев на Львова, подумал: при всем выпавшем на долю Серпилина, он, к счастью, оставался еще таким крепким мужиком, что, понадобись, сгреб бы такого, как ты, в охапку. И ты пикнуть бы не успел!

Но своей шальной мысли, разумеется, вслух не высказал, а добавил, что неоднократно сам был свидетелем, как молодые высовывали языки от усталости, а командарм продолжал работать, как машина, и ничего ему не делалось.

— Теперь врачи, очевидно, другого мнения, чем вы,— сухо сказал Львов,— раз до сих пор не могут сообщить, когда вернут его в строй. А тем временем положение в армии создается все более нетерпимое.

— Не знаю, почему вы пришли к такому выводу, товарищ генерал-лейтенант. Как член Военного совета армии, докладываю вам, что генерал Бойко с исполнением обязанностей коман-

дарма за этот период справлялся нормально. А что касается меня, то хотя имел упущения, но что в армии создалось нетерпимое положение, не слышал до сих пор ни от вас, ни от кого другого.

— Не «создалось», а «создается»,— сказал Львов. — И речь не о ваших упущениях; они есть, и их надо исправить. Но не переводите разговор на себя. Речь идет о затянувшемся отсутствии командарма. Это сейчас главное.

— Этот вопрос не мне решать, товарищ генерал-лейтенант. Но мнение свое, если потребуется, везде, где потребуется, изложу,— сказал Захаров, давая понять, что права свои помнит и, будучи не согласен со Львовым, все, что сможет сделать поперек, сделает. Другой вопрос, чем кончится, но сделать — сделает.

Сказал твердо, но с тревогой подумал при этом, что уж больно уверенно держится Львов. Характер характером, но кроме характера для такой уверенности должны быть еще и основания! Может, уже говорил с командующим фронтом и склонил его? Только что от него вернулся...

А с другой стороны, почему все-таки вышел с этим вопросом на меня? Значит, все же нуждается в моем содействии? Чтобы камень с горы покатить, иногда лишь толчка не хватает. Толкнешь... и пошел!

Он покосился на лежавший перед Львовым блокнот и увидел, что там уже была проставлена синим карандашом цифра «2» и за ней скобка и слово «командующий» — без фамилии, с вопросительным знаком.

Львов потянулся рукой к стоявшему на краю стола телефону так, словно хотел позвонить кому-то, кто сразу все решит и сделает дальнейший разговор бессмысленным. Но не дотянулся, передумал и, взяв стакан, допил глоток остывшего чая.

«Сейчас отпустит,— подумал Захаров. — О чем еще говорить?»

Но Львов не отпустил его.

— Как член Военного совета армии, изложите мне свое собственное мнение о командующем,— сказал Львов спокойно, нажав, однако, голосом на слово «собственное» так, словно заранее не обещал принимать его во внимание.

Захаров начал с того, что Серпилин командовал в их армии дивизией, а потом стал начальником штаба. Не забыл упомянуть, что выдвижение его на должность командарма произошло после вызова в Москву, к товарищу Сталину.

Львов слушал не перебивая и делал пометки в блокноте. Писал все тем же синим карандашом, но теперь мелко, и Захаров уже не видел, что он пишет.

— В историю можете не вдаваться,— в первый и единственный раз за все время прервал его Львов, когда он стал перечислять операции, в которых участвовала их армия. — Меня интересует не ход действий, а ваши оценки.

Как их отделишь на войне, одно от другого, оценки — от хода действий? Но когда докладываешь начальству, времени у тебя не сколько тебе нужно, а сколько тебе дадут. И, зная за собой привычку, увлекшись, выходить за пределы военной краткости, Захаров остановился и спросил:

— Еще пять минут имею?

И когда Львов молча кивнул, сказал за эти пять минут о Серпилине все то хорошее, что знал; сказал как положено и обо всем, о чем положено говорить политработнику, давая характеристику командиру, с которым давно бок о бок воюешь. Добавил и то, чего по букве не требовалось: что из трех командующих, с которыми работал, Серпилин самый сильный и перспективный.

На этом и закончил.

— Перспектива пока неясная,— сможет ли и дальше командовать,— сказал Львов так, словно пропустил мимо ушей все остальное. — У вас все?

— Все.

— Об отрицательных сторонах сказать нечего?

— Такого, что заслуживало бы внимания, нечего.

— Странная позиция для члена Военного совета. Вместо того чтобы смотреть на командарма партийным глазом, складывается такое впечатление, что, наоборот, смотрите на все его глазами и за пределы этого не выходите.

— На оперативную обстановку, верно, обычно смотрю его глазами,— сказал Захаров. — Учусь и многому научился у него. Не отрицаю. А в остальном имею собственные глаза, ими и смотрю.

Он лез на рожон, но уже не мог сдержать себя. Знал, хорошо знал, что в свое время Львов был понижен в звании, стал из армейских комиссаров корпусным как раз потому, что, подмяв под себя командующего, сам, один, взялся решать оперативные вопросы и такого наворотил, что до сих пор все помнят.

Однако Львов, против ожидания, никак не показал, что задет его словами, только перемолчал с минуту да хрустнул зажатым в пальцах карандашом и тем же самым тоном, сухим и спокойным, каким говорил до этого, сказал:

— Речь не о том, что он плох, а о том, что вы в нем не видите ничего, кроме хорошего, а значит, вообще ничего не видите. В чем он действительно на высоте и в чем нет, из ваших подобострастных речей вывод сделать трудно. А вывод, что вы

сами не на высоте положения как член Военного совета, начинает складываться. Во всяком случае, партийностью в ваших речах и не пахнет.

— Не знаю,— Захаров встал,— наверно, самого себя плохо видать! Партия на это место поставила, партия, если надо, и снимет.

— Если надо, снимет,— так и не повысив голоса, как эхо, сказал Львов.

Захаров повернулся, взял стул, на котором до этого сидел, пошел с ним в руках через комнату, поставил его у стены, там, где он раньше стоял, подвинул так, чтоб был в линеечку с другими, и, при помощи этих размеренных, неторопливых движений совладав с собой, повернулся и, бросив руки по швам, спросил:

— Разрешите идти?

— Идите,— сказал Львов, но, прежде чем Захаров успел повернуться, добавил: — Полосу об опыте снайперского движения видел. Заголовки вялые, в остальном оцениваю как удовлетворительную. Запланируйте солдатские отклики.

— Запланировали,— сказал Захаров, продолжая стоять в положении «смирно».

— Идите.

Спустившись с крыльца, Захаров посмотрел на часы. Уже четвертый час — имеет смысл ехать прямо в корпус. Езды туда часа два с половиной. Можно даже и выспаться в дороге, только хрен заснешь после такой беседы...

Привыкая к темноте, Захаров поискал глазами машину. Но машины не было ни перед домом, ни справа, ни слева от него.

— Где моя машина? — спросил Захаров у автоматчика.

— За восьмым домом налево, товарищ генерал, в проулке. Приказано туда машины отгонять. Ваш водитель уже приходил сюда, ждал вас и опять к машине вернулся.

Захаров пошел налево по длинному деревенскому порядку, считая дома.

Все было правильно. Машины было положено отгонять. Но сейчас, после разговора со Львовым, его разозлило даже и это.

«Небо в тучах, можно бы в такую ночь и не отгонять, никто их с неба не увидит...»

Ночь была не такая уж холодная, а он и зимой привык ходить нараспашку, но сейчас, выйдя от Львова, почувствовал, что зуб на зуб не попадает.

«Что ж это получается? До того напугался, что мороз по хребту? — сердясь на себя, с усмешкой подумал Захаров. — Нет, врешь! Хотя и довел до белого каления, но все же не испугал. С Черненко — понятно — спасибо товарищу Бастрюкову за ин-

формацию. А с Серпилиным? Чего он вдруг полез командарма снимать? Почти не видав его! Откуда такое нетерпение? Надо будет Федору Федоровичу письмо туда, в Архангельское, написать. Дать понять, что не только он там, а и мы здесь дни считаем. И послать с письмом кого-нибудь из оперативного отдела. Увидимся в корпусе, посоветуемся с Бойко...»

Занятый своими мыслями, Захаров обсчитался, прошел мимо восьмого дома, завернул не туда, не нашел своей машины, повернул обратно и услышал голос своего водителя:

— Я здесь, товарищ генерал. Сюда, направо!

— Почему не спишь? Я ж тебе спать велел. Теперь вот повезешь, не выспавшись, и навернешь меня, как Гудков командующего.

— Я спал, товарищ генерал. Шаги ваши услышал, когда мимо прошли, и схватился... Шинель наденете?

— Надену.

Водитель наклонился в глубь машины, достал оттуда шинель и хотел помочь Захарову одеться.

— Отдай. Сколько раз тебе говорил, что не люблю этого.

— Так темно ж, в рукава не попадете,— улыбнулся в темноте водитель.

— И правда темно,— сказал Захаров, надевая шинель в рукава и чувствуя приятное тепло. Видимо, Николай не соврал, действительно до последней минуты спал, накрывшись ею.

— Поехали,— сказал Захаров, садясь и запахивая вокруг колен полы шинели.

— Куда? Домой?

— Нет, прямо в семьдесят первый.

Они предъявили документы на выезде у шлагбаума и выехали на дорогу.

Захаров ехал и долго, целых полчаса, молчал. Потом, покосившись на водителя, подумал: «А все же что-то такое уже просочилось по солдатской почте. Без этого не спросил бы меня, когда ехали сюда, скоро ли вернется Серпилин...»

— Разрешите узнать, товарищ генерал... — заметив взгляд Захарова, сказал водитель.

— Что, молчать надоело? — усмехнулся Захаров. — Подожди, еще намолчишься, когда командующий вернется. При нем не то что при мне, за баранкой не поговоришь.

— Да, если когда в нашей машине с ним едем, тут уж рот на замок,— сказал водитель.

— Ничего, тебе полезно. Ты и так чересчур разговорчивый. Что узнать хотел?

— Отчего у вас настроение сегодня плохое, товарищ генерал?

— Не плохое, а, можно сказать, хреновое,— сказал Захаров,— потому что по ночам спать надо, а спать не дают.

— А вы сейчас поспите. Дорога еще долгая.

— Попробую, если вопросов задавать не будешь.

Водитель замолчал, а Захаров подумал, что, с одной стороны, зря распускает его больше, чем нужно, бывает, что Николай держит себя слишком уж вольно. А с другой стороны, уже который год сидит слева от тебя за баранкой, и днем и ночью, почти всякий день по многу часов, человек, каких поискать, готовый все, что может, сделать и все, на что способен, отдать, вплоть до жизни. И это не слова, а так и есть, потому что проверено. И после только что кончившегося длинного разговора там, в этой превращенной в канцелярию избе, сейчас было очень важно, что рядом с тобой едет Николай, с которым вы оба, каждый по-своему, любите друг друга.

И это, казалось бы, самое простое, немудрящее чувство делало Захарова сейчас, в трудную для него минуту, чем-то сильнее того оставшегося там, в избе, человека, которого не только не любил сам Захаров, но и, как казалось Захарову, не могли любить и все другие люди, потому что он сам не мог и не умел любить их.

«Интересно, какой он был в гражданскую войну, когда его послали комиссаром в ту Четырнадцатую Железную бригаду, которая начинала под Воронежем, а кончала в Польше? Неужели и тогда был такой, как сейчас? Трудно себе представить. И что ему дался Серпилин? Выходит, плохо, что мы живем с командующим душа в душу? А если я по-другому не умею и не хочу? Значит, я, по его, уже не политработник? Дал понять, что «спелись» с командующим. Очевидно, так смотрит на это. А мы не «спелись», а сработались. А для него нет разницы. Что сработались, что спелись — для него одно и то же. А что я, капать, что ли, ему на хорошего человека должен, чтобы доказать свой партийный глаз? И было бы на что капать, все равно бы не капал. А поставил вопрос открыто и ребром. Рука бы не дрогнула... Бывало в жизни и такое...»

И, вспомнив, как это бывало у него в жизни, Захаров с удовольствием подумал, что не отступил сегодня. Понадобилось схлестнуться, и схлестнулся! Неужто Львов в самом деле думает про тебя, что, если б понадобилось, ты не схлестнулся бы с Серпилиным? С ним, с членом Военного совета фронта, понадобилось, и схлестнулся, а со своим командармом не схлестнулся бы? Плохо же Львов понимает в людях при всем своем уме! А Серпилин лечится в санатории и не знает, какие тучи у него над головой...

Захаров вдруг вспомнил ту свою давнюю встречу со Львовым, в Хабаровске, и с неприятным холодком в душе, связав одно с другим, подумал о тогдашней судьбе Серпилина.

«Чего ты так стараешься? — подумал он про Львова. — Может, тебе это в Серпилине не нравится, биография не устраивает?.. Товарища Сталина устраивает, а тебя нет?..»

ГЛАВА ПЯТАЯ

После того как Захаров ушел, Львов еще с минуту неподвижно просидел за столом, продолжая смотреть прямо перед собой в стену, туда, где раньше стоял Захаров.

Потом вынул из кармана бриджей ключ от несгораемого ящика, вышел из-за стола, нагнулся, открыл ящик, достал оттуда книжку с бланками шифротелеграмм, снова закрыл ящик, спрятал ключ в карман и сел за стол, поморщившись от головной боли.

Он редко ложился спать раньше пяти утра. Но сегодня в четвертом часу ночи чувствовал себя усталым больше, чем обычно.

Разговор с заупрямившимся Захаровым был только концом длинного и трудного, восемнадцатичасового рабочего дня, в течение которого он потратил на себя лично всего двадцать минут: десять на обед и десять на ужин. Завтрак не в счет: два стакана крепкого утреннего чая он, как всегда, выпил, просматривая в это время с карандашом в руке очередные номера фронтовой, армейских и дивизионных газет.

Потом поехал во второй эшелон, выслушал там доклад заместителя командующего по тылу, записал в блокнот полученные данные и до позднего вечера ездил по фронтовым тылам, проверяя, как обстоит дело в действительности.

Он побывал на двух артиллерийских складах, потом на складе горючего, потом проверил поступление авиационных заправок на одном из аэродромов, оттуда заглянул в госпиталь, который вопреки докладу все еще не передислоцировался вперед, и, наконец, поехал сначала на одну, потом на другую станцию снабжения, куда по железной дороге поступала главная масса тех грузов, без которых нельзя было начинать наступление.

Собственно говоря, по распределению обязанностей основной контроль над всем, что относилось к тылам и снабжению, лежал не на нем, а на втором члене Военного совета. Но, считая, что тот не справится с этим, Львов действовал через его голову.

Привычка считать почти всех работавших с ним людей недостаточно сильными для того дела, на которое их поставили,

была для него неотъемлемой частью сознания собственной необходимости.

Если бы он считал иначе, он бы недоумевал: зачем он здесь и почему послан?

Сознавать себя человеком, предназначенным исправлять чужие промахи, настолько вошло у него в плоть и кровь, что, еще направляясь к новому месту службы, он уже заведомо считал, что те, с кем ему предстоит встретиться, не делали до его приезда всего, что должны были делать.

Он вернулся сегодня после поездки по тылам одновременно и недовольный и удовлетворенный. Недовольство деятельностью других людей вызывало в нем чувство удовлетворения собственной деятельностью.

Нельзя сказать, чтобы дело со снабжением их фронта к предстоящему наступлению шло плохо. Но картина выглядела менее безоблачной, чем в утреннем докладе заместителя командующего по тылу.

Вопреки графику не подошло несколько эшелонов, на одной из станций простаивали порожние вагоны, а на другой грузы первой очереди были загнаны на дальние пути и разгружались позже грузов второй очереди.

Кроме того, имелись основания думать, что по крайней мере два из неподошедших эшелонов были кем-то задержаны по дороге и переадресованы на соседний фронт.

Обо всем этом, помимо внутренних мер, предстояло написать три резких шифровки в Москву: в НКПС, в Генштаб и Штаб тыла.

Этим он и занялся сейчас, положив перед собой рядом свой блокнот с записями и книжку с бланками шифротелеграмм.

Написав все три шифровки, Львов крикнул через дверь: «Шлеёв!» И когда тот со своим заспанным лицом появился в дверях, приказал ему позвать шифровальщика.

Шлеёв вышел. Львов поднялся из-за стола, чтобы убрать книжку с бланками шифротелеграмм обратно в несгораемый ящик, и, сделав это, снова сел за стол. Превозмогая усталость и желание перенести на завтрашний день писание того самого главного документа, который ему предстояло послать в адрес Сталина, он все-таки решил сделать это сегодня, не откладывая. Надо было только еще раз подумать над всеми сторонами дела, а главное, над ясностью и краткостью своих аргументов.

То, о чем Захаров, уезжая от Львова и злясь на него, думал как о главном, для самого Львова главным не было. И намерение переместить начальника политотдела армии Черненко, и желание найти поддержку своей идее заблаговременной замены Серпили-

на — все это, вместе взятое, было только частью тех тревог, которые владели Львовым перед лицом предстоящего летнего наступления.

Полтора месяца назад, когда тот фронт, где Львов довольно долго, дольше, чем на других фронтах, был членом Военного совета, разделили на два, назначив на оба фронта новых командующих, самого Львова послали сюда, где, по сути, все создавалось заново.

И хотя после разделения на том, другом, фронте оказалось вдвое больше сил, чем на этом, Львов не позволил себе усомниться, что его назначение на этот второстепенный фронт было правильным и нужным для дела. Видимо, Сталин счел, что именно он, Львов, не отступая перед трудностями, сделает все, что необходимо для будущей боеспособности этого вновь созданного фронта. А если кто-то будет мешать, доложит без колебаний, невзирая на лица.

Мысль о том, что его судьбой, как бы она ни оборачивалась, всегда распоряжается сам Сталин, и никто другой, эта мысль, имевшая основания и давно превратившаяся в уверенность, облегчала Львову самые тяжелые часы его жизни. С этой уверенностью он без раздумий принимал на себя обещавшие трудную жизнь поручения. С этой уверенностью после неудач готов был безропотно пойти хоть на полк, если это сочтет нужным Сталин.

Кто знает, что осталось бы от этой безропотности, если бы он усомнился: а не причастен ли к решению его судьбы еще и кто-то другой? Но как раз этого ему в голову не приходило, и он под ударами судьбы оставался самим собой, человеком, беспощадно докладывавшим Сталину о действительных и мнимых ошибках и пороках других людей и еще ни разу в жизни не попросившим снисхождения для себя самого.

Конечно, когда его вдруг назначили на этот фронт, ему пришлось заставить себя счесть это в порядке вещей. Но привычка к насилию над собой, над первыми естественными чувствами обиды и горечи уже давно стала такой неотъемлемой частью его натуры, что он даже гордился своей способностью не считаться с собственными чувствами.

Он был не из тех, кто гладит против шерсти только других. Он был способен гладить против шерсти и самого себя. И как раз на этом жестоком отношении к самому себе основывал свое право на беспощадность к другим людям.

Когда он сегодня сказал Захарову про Черненко: вы еще раскаетесь! — он вовсе не хотел постращать этим Захарова. Он имел в виду только одно — реальный ход событий. Черненко при

его храбрости, которую никто не отрицает, в силу своей так называемой нелюбви к канцелярщине, за которой на самом деле скрывались лень и недисциплинированность, не годится и не будет годиться в начальники политотдела. И это все равно будет доказано в ближайшем будущем. И Захарову все равно придется раскаяться в своем упрямстве и согласиться уже не на перевод, а на снятие Черненко, притом в обстоятельствах худших, чем сейчас, и для Черненко, и для Захарова, и для дела.

За три дня пребывания в армии Львов решил, что Захаров как член Военного совета на месте, что он опытный политработник, много бывающий в войсках. Намекам на необъективное отношение Захарова к Черненко, услышанным в разговоре с заместителем начальника политотдела армии Бастрюковым, Львов не придал излишнего значения. Вызывая к себе Захарова, он считал, что пусть даже в этом есть доля истины, но у Захарова достанет здравого смысла и решить вопрос о перемещении Черненко и тем более понять ненормальность положения, когда в армии накануне наступления четвертую неделю нет командующего!

К сожалению, в своих взглядах на Черненко Захаров оказался недостаточно зрелым человеком. А в вопросе с Серпилиным проявил себя еще хуже. За два года работы настолько сросся с командующим и привык к той легкой жизни, которой можно жить в таких случаях, что даже в ущерб делу стремится сохранить все по-прежнему. Пусть армия страдает от отсутствия командующего, лишь бы не прислали в нее кого-то другого, непривычного.

Словом, член Военного совета армии Захаров оказался гораздо хуже, чем можно было думать о нем, и Львову не приходило и не могло прийти в голову, что Захаров, наоборот, оказался гораздо лучше, чем он о нем думал.

Другого человека могла бы ожесточить сама резкость отпора, который дал ему подчиненный, в данном случае Захаров. Но для Львова это говорило скорей в пользу Захарова. Человек, способный так отвечать тебе, наверное, в иных обстоятельствах способен так же резко отстаивать свою точку зрения и в споре с командующим армией — что от него и требуется! Но при этом он, как видно, из тех людей, которые теряют способность к резкой постановке вопросов, когда слишком долго работают на одном месте и начинают смотреть на все глазами тех, с кем работают, а не собственными. Чтобы такой человек, как Захаров, снова оказался на своем месте, надо разъединить его с теми, к кому он привык, и соединить с теми, к кому не привык. Создать для него другие обстоятельства, и он окажется еще не потерянным для политработы.

Если находящийся на излечении командарм все-таки вернется на армию, придется менять члена Военного совета. А если придет новый командарм, посмотрим. Вопрос остается открытым, хотя это плохо, когда слишком много вопросов слишком долго остаются открытыми!

Захаров ошибался, думая, что Львов уже согласовал с командующим фронтом вопрос о Серпилине. Наоборот, идя говорить с командующим, Львов заранее ждал, что они не сойдутся во взглядах. Но тем не менее пошел, потому что хотел ясности.

Он заговорил о замене Серпилина другим командармом в той прямой и напористой форме, в какой привык ставить такие вопросы, но командующий фронтом не занял той резко отрицательной позиции, которой ждал от него Львов. Ждал и даже предпочел бы ее, потому что резко отрицательная позиция облегчала возможность перенести спор наверх и драться там за свою точку зрения. Сейчас, а не потом, когда будет поздно.

Командующий воспротивился напору Львова, не переходя на басы. Вместо прямого «нет!» уклончиво сказал, что Львов рано бьет тревогу. Бойко пока что безукоризненно, даже сверх ожиданий, исполняет обязанности командарма, и это дает возможность повременить, еще раз запросить реальные сроки возвращения Серпилина. Говорил, что армия Серпилина поставлена им на будущее направление главного удара потому, что она единственная из трех армий фронта уже имеет за плечами опыт наступательных операций на большую глубину, а обе другие армии и их командармы такого опыта еще не имеют. И хотя его самого не радует временное отсутствие Серпилина в период подготовки операции, все же это — меньшее зло по сравнению с тем, которое принесет поспешное назначение на ударную армию нового человека, еще не сработавшегося со штабом и не знающего войск.

— А если он вернется не только с запозданием, но еще и в неполноценном физическом состоянии после перенесенной им аварии и сотрясения мозга? — спросил Львов.

— Не будем подменять собой врачей,— сказал на это командующий. — Они, а не мы, несут ответственность за то, в каком состоянии выписывают человека. И, очевидно, при этом знают, что выписывают его на фронт, а не в инвалидную команду. Подождем! Не спешите с выводами.

Тем и кончилось — как в вату!

Своими «рано» и «пока» командующий поставил Львова в затруднительное положение для тех немедленных действий, которые ему не терпелось предпринять. В желании этом не было ничего личного. Его тревожила суть дела: в период подготовки

к наступлению почти месяц без командарма как раз та армия, которой предстоит наносить главный удар. Ну, а если нового командарма все же придется назначить, и не сейчас, а впритык перед наступлением — что тогда? А если назначить его сейчас, почему заранее предполагать, что он окажется хуже Серпилина? И почему он за оставшееся, еще вполне достаточное время не успеет освоиться в армии и сработаться с штабом? Что это за незаменимость? Незаменимых людей нет! Заменили его, Львова, на том фронте другим человеком, и работает другой человек. И готовит тот фронт к наступлению. А он, Львов, приехал на этот, вновь образованный, фронт и делает свое дело здесь. И нечего разводить шаманство вокруг слова «сработаться»! На войне где приказано, там и работают.

Был бы сейчас этот Серпилин живой и здоровый, здесь, на месте, очевидно, и не возник бы о нем вопрос. А раз его нет на месте — возник!

После разговора с командующим Львов думал о Серпилине с раздражением, как о препятствии, мешавшем созданию той полной ясности, к которой он стремился. Но когда Захарову пришло в голову, что Львова вдобавок ко всему может не устраивать еще и биография Серпилина, он был не так уж далек от истины.

Не то чтобы Львов не доверял Серпилину или имел основания плохо думать о нем как о командарме. Этому не давали достаточных оснований ни состояние армии, ни личное впечатление от единственной встречи. А в то же время с первого дня своего назначения на этот фронт Львов со смутным чувством неудовольствия все время помнил, что одной из трех оказавшихся в его подчинении армий командует человек, четыре года просидевший перед войной в лагерях.

Львов знал о Серпилине все, что следовало знать. Знал, что Серпилин писал Сталину, знал, что Сталину понравилось его письмо и что он выдвинул его командармом. Знал и дальнейшее — то, о чем сам Серпилин только догадывался. Когда немцы выпустили листовку, что в их расположении сел и сдался им в плен начальник оперативного отдела армии Пикин, и Серпилина, давшего личное разрешение на этот плохо кончившийся полет, уже собирались снять и доложили об этом Сталину, Сталин не дал согласия, сказав: «Я ему доверяю».

Все это Львов знал. И тем не менее испытывал неудовольствие и оттого, что Серпилин оказался на его фронте, и оттого, что именно к такому человеку так некритически относится член Военного совета армии, и именно его особенно высоко ставит командующий фронтом, твердит об его опыте.

И хотя как раз сейчас была полная возможность расстаться с ним по разумным, деловым причинам, все, как сговорившись, хотели помешать этому.

Сам Львов был человеком бесповоротным, его затрудняла необходимость общаться на войне с людьми, вернувшимися оттуда, откуда, как он раньше считал, они уже никогда не вернутся. Он не мог относиться к ним так, словно с ними ничего не случилось, словно в них ничего не переменилось, словно они и после этого оставались такими же, какими были до этого.

Их нынешнее должностное положение на войне вынуждало его скрепя сердце мириться с тем, что некоторые из них командуют десятками тысяч людей и при этом чем дальше идет война, тем больше пользуются наверху доверием, наравне с другими, в чьих биографиях не было ничего такого.

Но там, где это всецело зависело от него самого, он никогда не брал в свое прямое подчинение не только таких, как Серпилин, но и вообще никого, в чьей биографии усматривал какие-нибудь изъяны: ни того, кто выбирался в одиночку из окружения, ни того, кто когда-нибудь в былые годы ездил по заграницам. Он хотел быть подальше от всех этих людей и чтобы они были подальше от него.

Он любил ясность, а в них для него всегда оставалась какая-то неясность.

Сталин брал таких людей на работу, даже поручал им командовать фронтами. А он бы на месте Сталина не брал. Так он считал в глубине души,— нет, не брал бы! И без них бы провоевали.

Все, что делается в жизни, должно делаться бесповоротно! Он считал, что этому его научил сам Сталин. И ценил это в Сталине и видел именно в этом самую сильную его сторону как политика. А уж если бесповоротность, то лучше без исключений.

Преданность Сталину составляла суть существования Львова, всего, чем он жил и что делал. Но, быть может, как раз в силу сознания огромности и бескорыстия собственной преданности он считал себя вправе не одобрять в душе некоторых поступков Сталина. И прежде всего тех, которые хоть в чем-то нарушали его давно сложившиеся представления о Сталине, о том, какой он был, есть и должен быть.

То, что Сталин вернул в армию многих таких, как Серпилин, вернул и приказал им самим и всем другим забыть все, что с ними было, казалось Львову какой-то почти необъяснимой слабостью Сталина. Во всяком случае, ему хотелось, чтоб Сталин обошелся без этого.

Будь на месте Серпилина кто-то другой, Львов все равно был бы обеспокоен заблаговременной заменой больного командарма. Но раз этим командармом оказался человек с биографией Серпилина, Львов тем более спешил заменить его и был раздражен сопротивлением, с которым столкнулся.

Пришедший по вызову шифровальщик взял со стола три заполненных бланка телеграмм и вопросительно посмотрел на Львова.

— На сегодня все,— сказал Львов.

Шифровальщик повернулся и вышел, топоча тяжелыми сапогами. Эта внезапная громкость отдалась в ушах Львова. По ней, а не по пробившемуся сквозь замаскированные окна свету он почувствовал, как поздно.

Но записку Сталину все равно надо было писать сейчас, чтобы утром отправить в Москву фельдсвязью.

За всеми другими тревогами, связанными с трудностями существования вновь образованного фронта, стояла одна, главная. Чем дальше, тем больше у Львова складывалась уверенность, что командующий фронтом уже сейчас не справляется, а в дальнейшем тем более не справится со всем, что ляжет на его плечи. Слишком нетребователен, мягкотел и доверчив. Сказать, что мало занимается подготовкой к будущей операции, было бы неправдой. Занимается. Но как? Слишком уверен, что, если он сказал, все так и будет сделано. Слишком редко проверяет, как сделано. Даже в одном разговоре проскользнула нота: что, дескать, все время давать людям чувствовать, что ты не надеешься на их совесть,— значит лишать их чувства собственного достоинства, подрывать их веру в самих себя.

Вообще слишком много разговоров о совести и собственном достоинстве и мало конкретной, черновой работы по проверке всех и вся.

Сейчас, в период подготовки, так и быть, можно еще ждать, что́ и какие результаты даст. Но если так будет и потом, в боях, это может стать опасным и даже гибельным. Там ждать некогда!

В работе аппарата штаба фронта, в аппарате связи, вообще во всем, что связано с управлением войсками, было достаточно неполадок. И не удивительно: фронт только сформировался. Но командующий, по мнению Львова, слишком терпимо относился к этим неполадкам. А главное, к людям, которые были в этом виноваты. Все у него рука не поднималась — ни снять, ни переместить даже тех, кого, по убеждению Львова, уже нельзя было терпеть.

Во вред делу не любит портить отношений? Не далее как сегодня, когда Львов сказал ему о расхождениях между докла-

дом заместителя по тылу и фактическими данными за день,— что сделал командующий? Когда Львов назвал заместителя по тылу «липачом», остановил жестом руки и сказал: «Ну, это уж вы слишком, сплеча».

А потом позвонил этому своему заместителю и, вместо того чтобы взгреть его, сказал укоризненно, называя его по имени-отчеству, что не ожидал от него таких неточностей и надеется, что это никогда не повторится...

Так пронадеяться можно и до начала наступления! А потом окажется, что по именам-отчествам друг друга звали, друг на друга надеялись, а боекомплектов и бензозаправок недобрали!

Пробуя объяснить себе эту мягкотелость, эту размагниченность командующего, казалось бы не сочетавшуюся с некоторыми страницами его прежнего боевого опыта, когда он, командуя армией, прославился упорством в тяжелых оборонительных боях, Львов находил этому частичное объяснение в том, что командующий сейчас прибаливал. У него было обострение сахарной болезни, наверное, чувствовал себя из-за нее неуверенно. Даже в войска ездил, посадив с собой сзади, на «виллис», женщину-врача; она по два раза в день делала ему уколы.

Львов прямо сказал ему сегодня, что, если нужны уколы, все же лучше ездить в части с кем-то другим. Можно даже кого-нибудь из постоянно сопровождающих офицеров оперативного отдела научить этому: уколы инсулина — дело несложное.

Командующий только сердито крякнул:

— Эх, хоть бы в это вы не лезли...

А как не лезть в это, когда есть сигналы снизу: идут разговоры о том, что командующий ездит по передовой с врачом. В чем дело? Что с ним случилось? Это уж помимо всего прочего...

Да, нездоров и, очевидно, поэтому недостаточно уверен в себе и требователен к другим. Это одно с другим почти всегда связано.

И еще одно — тоже тревожное: за плечами у этого человека нет опыта крупного наступления. Опыт обороны, главным образом в масштабах армии, есть. А опыта в наступлении нет. Потому так и цепляется за Серпилина и поставил его армию на направление главного удара. У Серпилина есть опыт наступления, а у самого нет.

Лично — человек храбрый, доказано. Когда знал: или ни шагу назад, или сбросят в море! — неплохо решал свою тяжелую, но простую задачу.

А вот как он будет наступать, командуя целым фронтом? Как будет день за днем толкать вперед войска при отсутствии достаточного опыта и достаточной жесткости и требовательности?

Где-то в глубине души примеряя все, что он думал о других, к самому себе, Львов считал, что жесткость и требовательность способны возместить недостаток опыта и знаний. Но если нет ни опыта, ни требовательности, что тогда?

Его тревожило будущее наступление. То, что он был послан Сталиным на этот вновь образованный фронт, требовало от него с первых же шагов проявить твердость, которой от него ждали: написать Сталину, что командующий фронтом не справится, что здесь нужен другой человек, более волевой, более требовательный.

На втором году войны, в дни самой тяжкой для него жизненной катастрофы, Львов ожегся, взяв всю власть в свои руки, подмяв под себя хотя и знающего, но нерешительного командующего. Тогда, до самого момента катастрофы, Львова вполне устраивало положение, при котором он, по сути дела, командовал сам, а забывший о своих действительных правах, нерешительный человек состоял при нем в роли советчика. Но теперь, когда память об этой катастрофе уже два года, как тень, ходила за Львовым по всем фронтам, куда бы его ни посылали, он, наоборот, боялся, что рядом с ним будет воевать человек недостаточно требовательный, не способный проявить волевое начало и довести до конца операцию. А именно таким человеком ему и казался командующий фронтом.

Да, были времена, когда Львов по своему положению и самочувствию мог решиться оттеснить в сторону командующего и взять все в свои руки. Эти времена в армии прошли, и нет признаков, что они могут вернуться. Но все-таки Сталин послал его сюда и, значит, продолжает на него надеяться. Тревога, что командующий не справится с фронтом в будущем наступлении, а он, Львов, будет при сем присутствовать, опоздав исправить положение, угнетала его все последние дни.

У него созрела решимость написать об этом Сталину, заодно поставив вопрос и об отсутствующем до сих пор командарме. Решимость была, но все-таки он сидел сейчас за столом, перед ним лежали блокнот и карандаш, которым надо было написать эту записку,— сидел и не мог заставить себя сделать это. Мешала мысль о возможных последствиях.

Вдруг Сталин не поймет его, не захочет понять?

Та катастрофа в сорок первом году, когда он сначала подменил собой командующего фронтом, а потом провалил операцию, была трагедией для него самого.

Когда она произошла, он сделал все, что от него зависело, чтобы спасти всех, кого еще можно было спасти. При этом он так мало думал о собственной жизни, что потом о нем говорили

как о человеке, искавшем смерти. Это была неправда. Он не искал смерти, потому что не думал ни о себе, ни о том, что с ним будет потом.

Катастрофа была таких размеров, что он мог ждать для себя любых последствий. Они казались ему нестрашными по сравнению с тем, что он не оправдал надежд Сталина, подвел его.

И когда его после этого, сняв с должности и понизив в звании, послали на фронт членом Военного совета армии,— все эти перемены в служебной судьбе были для него ничто рядом с надеждой, что Сталин все-таки не вычеркнул, оставил его в числе тех, кто мог пригодиться.

Ему дали дело в десять раз меньшее, чем раньше, но это дело ему доверил лично Сталин. Потому что после всего случившегося только Сталин мог решить, как с ним поступить.

Он знал, чего от него ждали те, кто его не любил и не понимал,— ждали, что теперь он станет тише воды и ниже травы.

Но вопреки их ожиданиям он остался самим собой. И, поехав работать членом Военного совета армии, находясь в самом невыгодном положении, тем не менее почти сразу же написал прямо Сталину о непорядках, которые увидел на фронте и которые были существенны не только для их армии, но и вообще для ведения войны. Написал и внес свои предложения, часть которых была принята.

Сталин не захотел его видеть после той катастрофы. Так и не смог простить. Но то, что он писал Сталину, Сталин читал и, когда считал нужным принять меры,— принимал. И после того, как он пробыл несколько месяцев членом Военного совета армии, назначил членом Военного совета фронта.

И вдруг в сорок третьем году ему впервые показалось, что Сталин перестает его понимать. Во всяком случае, так, как понимал раньше.

Раньше, опираясь на доверие Сталина, он присвоил себе право не доверять никому. В этом видел свою роль и сам на нее напросился. Считая свое собственное недоверие к людям нормой политической жизни, он, невзирая на лица, информировал Сталина обо всем, на что следовало обратить внимание, обо всем, что могло вызывать недоверие к тому или иному человеку, что требовало повышения бдительности или усиления контроля.

Он не придумывал отрицательных фактов, но в собирании их был тщателен и непреклонен, считая, что сами по себе факты не делятся на заслуживающие и не заслуживающие внимания, ибо любой так называемый мелкий факт в определенной обстановке мог приобрести крупное значение.

Если у людей нет крупных, то есть всем очевидных, недочетов, значит, есть мелкие, то есть не всем очевидные. Иначе не бывает. И надо искать и находить эти не всем очевидные недочеты, которые тоже могут сделаться опасными.

Став в начале сорок третьего года членом Военного совета фронта, он поспешил написать Сталину о недочетах командующего фронтом, пока о так называемых «мелких».

Через два месяца его отозвали с этого фронта и послали на другой. Как он потом узнал, командующий фронтом пожаловался Сталину и попросил его решить, кто из них двоих, он или член Военного совета Львов, останется на фронте. Вдвоем они работать, наверно, не смогут.

Почти то же самое повторилось на следующем фронте. Он не нашел общего языка с командующим. Не впервые. Не находил в своей жизни и с другими. Не искал, да и не считал, что поиски общего языка — часть дела, которое ему поручено. Просто-напросто непреклонно доносил обо всех недостатках, ошибках и нарушениях, которые усматривал в чьей бы то ни было деятельности. Писал и о корыстных и морально нечистоплотных поступках тех или иных лиц. Или о том, что считал такими поступками. И в результате через пять месяцев снова оказался на другом фронте. На этом, третьем, фронте они с новым командующим опять не нашли общего языка и, одновременно поставив вопрос перед Сталиным, на этот раз были сняты оба сразу.

Фронт, который полтора месяца назад был разделен на два, был для него четвертым по счету, а этот — пятым. Но он сам оставался тем же, кем был. Не давал наступать себе на ногу, не стал тем битым, за которого двух небитых дают. Писал Сталину все, что считал себя обязанным написать, невзирая на последствия.

Не менял ни принципов, ни отношений с людьми. Везде и всегда жил и работал не вместе, а отдельно от командующих. Не срастался с ними, не искал себе спокойной жизни. Едва прибыв, сразу вносил ясность: что не дает поблажек другим и не попросит себе.

Считал, что ведет себя так, как должен вести человек, несмотря ни на что не утративший доверия Сталина и обязанный оправдывать это доверие везде и всюду, чего бы это ни стоило.

Но чем дальше, тем больше на войне с ним происходило что-то не так, он не до конца понимал, что именно, но считал, что все это происходит только потому, что Сталин перестал его понимать. А почему перестал? Почему в начале войны, в самые трудные дни, когда дела шли хуже, он вроде бы оказывался на своем месте? А сейчас, когда при всех недостатках дела шли на-

много лучше, чем раньше, он вроде бы стал хуже, не на своем месте! Почему? Или все то, что он делал, что раньше считалось таким нужным, сейчас хотя и нужно, но уже не так? Почему те или иные его донесения об упущениях и непорядках теперь все чаще пропускались мимо ушей? Когда, где и с чего это началось?

Вспоминая сейчас все, что происходило с ним за последние полтора года, он хорошо, даже слишком хорошо понимал всю меру опасности, которую могла таить сейчас для него самого записка Сталина о желательности замены командующего фронтом, да еще вдобавок — одного из трех командармов.

Человек, почти никогда и никому до конца не доверявший, он нес сейчас в собственной душе ни с кем не разделенную трагедию, не понимая, почему Сталин доверяет ему теперь меньше, чем раньше. И, наоборот, больше, чем когда-нибудь раньше, верит людям, которые при всех своих победах и знании военного дела остаются младенцами в политике по сравнению с ним, Львовым.

Почему? Что изменилось?

Как было бы просто сейчас отступить! Какая сила соблазна таится в примирении с обстоятельствами, в которых он оказался! Какое легкое самооправдание: не верит — и не надо, не считается — и не надо.

Он подумал об этом с презрением к людям, для которых такие мысли оказываются важней всего остального. Подумал и, придвинув к себе блокнот, надел очки, взял карандаш и своим резким, крупным почерком написал наверху листа: «Тов. Сталину».

Так он всегда писал ему — и в двадцатые, и в тридцатые годы, и теперь. «Тов. Сталину» — без имени и отчества. Имя, отчество — это все из позднейших привычек других, позже пришедших людей. А у него в его отношении к Сталину сохранились еще привычки тех, двадцатых годов, когда он только начинал работать со Сталиным, только учился у него работать, находясь рядом с ним.

«Тов. Сталину»,— написал он в заголовке и то же самое повторил еще раз в тексте.

«Тов. Сталин, считаю необходимым сообщить Вам...»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Командир 332-го стрелкового полка Герой Советского Союза подполковник Ильин возвращался к себе в штаб вместе с майором из оперативного отдела армии, с которым они весь день, с утра, лазали по переднему краю полка, проходившему вдоль

болотистой поймы реки Проня, в пятидесяти километрах от Могилева. Это — если считать по прямой; когда пойдем наступать, выйдет, конечно, длиннее...

Весь день ходили пешком, а теперь возвращались верхами. Ильин приказал прислать к вечеру двух лошадей с коноводом; левофланговый батальон стоял в лесу, и дорога оттуда до штаба полка не просматривалась.

Правда, немцы несколько раз в сутки открывали одним-двумя орудиями беспокоящий огонь. Но, месяц простояв в обороне, в полку уже знали, в какие часы и по каким квадратам они чаще всего бьют. А остальное — дело случая.

Погода была пасмурная, но теплая, пыль на дороге прибило прошедшим под вечер дождичком, и, намаявшись за день, было приятно ехать домой, в штаб, на ходком, выезженном коне. Зимой, став командиром полка, Ильин сразу же приказал заменить клячу, которая была у его предшественника. Раз по закону положен конь, он должен быть хороший. А ездить верхом Ильин и любил и умел. Он вообще не любил чего-нибудь не уметь.

С утра, когда позвонили, что в полк едет офицер из оперативного отдела штаба армии, Ильин был не в духе. Откуда бы ни явился офицер оперативного отдела — из корпуса или из армии,— считается, что способен помочь тебе полком командовать. На войне все только и делают, что друг другу помогают. Даже когда мешают, и то считается, что помогают.

А у Ильина был грех — не любил, чтобы ему помогали. Командир полка и так не один — у него штаб есть, заместители, вся та помощь, какая по штату положена. А если, кроме нее, ему еще и сверху все время помогать будут — дело плохо!

Так думал Ильин, в свои двадцать четыре года уже пятый месяц командовавший стрелковым полком. Думал не от молодого задора,— потому что после трех лет войны молодым себя не чувствовал, — а просто знал по опыту: командир полка не забор, если сам на ногах не стоишь, ничем тебя не подопрут — напрасные старания!

Неделю назад в полку вышла неприятность. Считались образцовыми не только в дивизии, а и в армии и вдруг споткнулись на гладком месте. И сразу в полк зачастили проверяющие. Откуда только не ехали! Даже замкомандующего по тылу приезжал. Ильин извелся от этих поверок, однако, увидев сегодняшнего майора, обрадовался и отбросил заранее приготовленное в душе недоброжелательство. Из оперативного отдела армии на этот раз приехал сослуживец Ильина по сталинградским боям, бывший его комбат Синцов. Ильин слышал про Синцова, что тот,

вернувшись после ранения, работает в штабе армии, но у себя в полку за все время ни разу его не видел. И думал о нем, что из-за протеза на левой руке его, наверно, держат только на бумагах.

Оказалось, что, напротив, Синцов много ездил в части. Но все время в другие дивизии. И если бы не заболел желтухой обычно ездивший к ним майор Заварзин, не встретились бы и сегодня.

— Хоть одно доброе дело сделал — вовремя заболел,— сказал Ильин про Заварзина.

— Вижу, не любишь его? — спросил Синцов.

— Вообще вашего брата, наблюдающих, не люблю.

— Ясно,— усмехнулся Синцов. — Все, кто в строю,— ангелы, а все, кто в штабах,— бабы-яги, только в штанах. Оставим эту вечную тему. Расскажи лучше про полк, кого нет и кто есть из тех, кого знаю.

Разговор этот, начавшийся утром, не кончился еще и теперь, когда ехали обратно в штаб полка. Конечно, весь день занимались не только воспоминаниями. Ильин показывал передний край полка, а Синцов смотрел — проверял. Как ведется наблюдение за передним краем противника, что там наблюдается и как фиксируется? И как выполняется отданный две недели назад строгий приказ о стабильном режиме огня и передвижений в наблюдаемой немцами зоне — чтобы сколько людей появлялось вчера, столько же и завтра, тогда же и там же. И стрелять не реже и не чаще, чем вчера и позавчера.

Такой строгий приказ значил, что предстоит наступление. В тылу идет подготовка, а передовой приказано жить не тише и не громче, чем раньше, чтоб немцы не отметили перемен. Выполняя приказ со всей щепетильностью, на какую был способен, Ильин еще с утра надеялся, что Синцов никаких нарушений не обнаружит. Так оно и вышло, и это оставило им время для разговоров на другие темы: и там, в батальонах, и теперь, когда ехали обратно. Коновод трусил в двадцати шагах позади, а кругом стояла предвечерняя тишина.

Ильин с утра приглядывался, как Синцов управляется со своей инвалидной рукой. От большого пальца осталась только нижняя фаланга, а четырех совсем нет. Вместо них — железные, твердые, затянутые в черную кожаную перчатку. Может, и не железные, но как-то неудобно спросить — из чего? Прижимает обрубком большого пальца к перчатке вилку и ест. И планшет этим обрубком расстегивает, когда достает карту.

Утром Ильин спросил, имея в виду руку:

— Как, на коне можешь?

— Конечно,— сказал Синцов.

Ильин приглядывался, приглядывался и в конце концов забыл об этом думать. Только сейчас, когда подъехали к броду, поглядел на Синцова — как управится? Ничего, управился, понудил коня перейти речку.

«Да видать, привык»,— подумал Ильин о Синцове, хотя не мог представить себе, как бы он сам привык к такой вот чужой кисти. А Синцов привык, как будто так и надо. А как иначе на фронте жить с такой рукой? Иначе нельзя.

— Привык? Не мешает она тебе? — спросил Ильин вслух, когда они переехали речку. Почувствовал, что сейчас можно об этом спросить.

— Нельзя сказать — привык... Но работе вроде не мешает. Хотя, когда по настоянию командующего взяли в оперативный отдел, были не рады. В первый же день, не вовремя войдя, услышал: «Навязали на шею, будет теперь своей клешней карты рвать». С тех пор стараюсь, не рву.

— А как сама ваша работа? По тебе или нет?

— А мне другой не предлагали,— сказал Синцов. — Месяц от белого билета отбивался, месяц упрашивал, чтоб на фронт пустили. После этого куда назначили — на том и спасибо! А ты что, считаешь, оперативный отдел — дело десятое, можно и без него? Приказал — и пошли?

— Да уж без вас пойдешь! Без вас теперь и захочешь — шагу не сделаешь! Спасибо, что напомнил.

— А как же! Раз теперь сижу на этом деле, должен доказывать, что нужен!

— Нужны-то вы нужны. Только вопрос: где, когда и сколько? А то, бывает, сидите над душой, когда этого вовсе не требуется.

— Сколько прикажут, столько и сидим. Думаешь, у такого, как ты, над душой сидеть — легкий хлеб? А бывают и похуже тебя.

— А чем я плох? — рассмеялся Ильин.

— А тем, что, наверно, любишь так: приказали, выполнил, донес. А чтоб мы при сем присутствовали, когда ты приказ выполняешь,— не любишь. И чтоб помимо тебя доносили, как у тебя дела идут, тоже небось не любишь. Тем и плох. Что ж в тебе хорошего, с нашей точки зрения?

Синцов начал так серьезно, что Ильин не сразу уловил иронию. Но потом понял и усмехнулся:

— А хорошие попадаются?

— Попадаются и хорошие,— в том же тоне сказал Синцов. — Только получит приказ и уже смотрит — где же помогаю-

щие, дух поддерживающие, положение выправляющие? Где они, а если нет — когда прибудут? Вот это для нашего брата — хороший человек! Тут мы можем и совет дать, и свои оперативные способности развернуть, и донести потом, что помогли и обеспечили. С таким человеком нам есть где развернуться. А с тобой что? На-кася выкуси?

— Неужели у вас и в самом деле так на это смотрят?

— Смотрят по-разному, разные люди. Но ведь и вы тоже разные. Есть среди вас и такие, что не дай ему костыля — захромает. Не проверь его донесения — наврет. Не бывает?

— Начальником штаба пошел бы ко мне? — вдруг спросил Ильин.

— Считал до сих пор, что он у тебя есть.

— Есть. Но ты мне ответь. Если бы вакансия открылась?

— Если бы да кабы,— сердито сказал Синцов. — Когда откроется, тогда и поговорим.

— Тогда поздно будет. Я здесь буду, а ты там...

— Ну, пошел бы. — Синцов остановил лошадь. — Что дальше? Зачем спросил?

— Хотел бы с тобой служить.

— Положим, и я бы хотел. Давно бы ушел из оперативного отдела, да навязываться кому-то со своей рукой неудобно. Только не вижу смысла в нашем разговоре. Заводить его при живом начальнике штаба некрасиво.

— Почему некрасиво? Что я его, под пулю, что ли, подвожу? Он сам рапорт подал, уходить хочет, мне комдив говорил.

— А почему уходить хочет? — спросил Синцов. — Кадровый офицер, по первому впечатлению человек разумный и в годах. Может, ты свой характер на нем показываешь?

— Я характер не показываю,— сказал Ильин,— но имею, это верно. А тут видишь, как сложилось: когда Туманян с полка начальником штаба в дивизию пошел, остались я и этот Насонов. Я — заместитель по строевой, он — начальник штаба. Он кадровый, по званию уже подполковник, я майор и офицер доморощенный, в полку вырос. Он считал, что назначат командиром полка его, а назначили меня. Я ему ямы не копал, но раз меня назначили, значит, мне командовать, а ему подчиняться. Человек с опытом, но малоподвижный. А тут еще забрал себе в голову: почему Ильин, а не я? Из-за этой мысли все другие шарики крутиться перестали. Теперь вопрос предрешенный — уйдет. Возможно, в нашу же дивизию, заместителем по тылу. А мы с тобой, если придешь, над полком поработаем, сделаем лучшим во всей армии!

В Ильине откровенно прорвалось то молодое, задорное, двадцатичетырехлетнее, что все-таки было в нем, несмотря на его самоощущение зрелого человека.

Синцов улыбнулся:

— А может, если я в строй попрошусь, мне должность повыше дадут, чем ты сулишь? Все же год в оперативном отделе провел!

— Пошлют на большее — иди, пойму тебя.

— Пошутил. Какое там — большее! На войне всего сразу не превзойдешь: пока одного опыта набираешься, другой теряешь. Напротив, я рад твоим словам.

— Будешь возвращаться, скажи о нашем разговоре комдиву. По-свойски. Все же он тебе свояк.

— Давно было, забыто и похоронено,— сказал Синцов.

— Ну и что ж? Товарищами-то вы с ним остались? И речь не о том, чтоб с передовой — в тыл, а наоборот.

— Если обстановка позволит, скажу,— пообещал Синцов.

— Как твоя... — Ильин, подумав о Тане, было уже сказал «жена», но остановился. Чего на войне не бывает! Тогда, в Сталинграде, думали пожениться, а может, потом вышло по-другому... — Как твоя Татьяна?

— Еще в марте с фронта отправил. Девочку родила.

— Выходит, вы времени не теряли! — неловко сказал Ильин и, сознавая, что сказал неловко, покраснел.

Но Синцов даже не заметил неловкости его слов. Все, что было и до отъезда Тани и теперь, было так непросто, что, заговори он с Ильиным по душам, это потребовало бы долгих объяснений.

— А сам-то ты как?

— Живу вприглядку. На большее времени нет,— сказал Ильин. — Служба такая — полк. После войны отыграюсь, за всю войну сразу.

Несколько минут они оба молча ехали вдоль рано и густо зазеленевшей опушки леса. Весна была дождливая и теплая, и зелень в лесах была гуще, чем обычно в это время.

— Мы через эти места в июле сорок первого из окружения с Серпилиным выходили. — Синцов продолжал глядеть на опушку леса. — Когда были у тебя во втором батальоне, там, где ручей в овраг уходит, даже показалось, что как раз по этому оврагу шли тогда к большаку на Кричев.

— А что у вас о командарме слышно, вернется он, позволит здоровье? — спросил Ильин. И в его вопросе вместе с человеческим сочувствием был заметен еще и оттенок того низового, солдатского равнодушия к возможности перемен там, наверху, ко-

торое невольно, само собою, рождается и редкостью встреч с большим армейским начальством и величиной дистанции от тебя до него.

— Слышно, что должен вернуться. Никаких других разговоров пока не было.

— Если вернется, ему теперь по знакомым местам наступать, это хорошо,— сказал Ильин, удерживая себя от желания спросить Синцова: как считаешь, когда все же начнется?

Все равно ответить на это Синцов ему не мог, если б даже и знал: о таких вещах не говорят. А вообще-то ясно, что наступление не за горами. Ильин уже много раз планировал про себя, как это будет. После долгого стояния на передовой их дивизию, скорей всего, должны были в последний момент заменить и вывести во второй эшелон. Так уже бывало, но Ильин не хотел и думать об этом. По его плану — наоборот: фронт уплотняли справа и слева другими частями, их дивизия оказывалась на острие прорыва, а его полк — в первом эшелоне.

— В ночь на двадцать седьмое вырвались из Могилева через Днепр, а тридцатого все, кто жив остался, были уже здесь,— снова вспомнил Синцов о прошлом.

— Неплохо бы и обратно — за три дня отсюда до Могилева,— сказал Ильин. — Но пока до Днепра дойдешь — водные преграды одна за другой. И у всех, как на смех, названия бабьи: Проня, Бася, Фрося, Маруся.

Синцов улыбнулся. Фроси и Маруси — таких рек здесь не было, но Проня и Бася действительно были, и их форсированию отводилось немало места в предварительных планах, которые и так и эдак прикидывались в оперативном отделе.

Они ехали рядом и думали друг о друге. Ильин думал о том, почему Синцов не захотел говорить о своей Татьяне. Уехала и родила. Больше ни слова не сказал. Может, что не так у них? Молчит, характер имеет. Да разве без характера с такой рукой обратно на фронт попал бы? Сказал, что послан в дивизию на три дня, по дню на полк. Надо оставить ночевать у себя, а утром отправить к соседу. Заночует, тогда и поговорим. Если кто-нибудь на голову не свалится, как на прошлой неделе член Военного совета фронта.

Ильин вспомнил этот приезд, кончившийся и для него и для полка большими неприятностями, и поморщился, как от зубной боли. Было обидно до слез, что именно у тебя, в лучшем полку не только в дивизии, но и в корпусе, у тебя, с твоей привычкой жить без выволочек, в одной роте все сошлось как назло: командир роты приболел, а старшина наблудил, солдаты в боевом охранении некормленые сидели. Позор не только полку, а всей

дивизии. Член Военного совета фронта понадобился — раскопать все это!

Ильин покосился на Синцова и подумал: «Интересно, знает или не знает?»

— Дошло до тебя, что у нас тут было?

— Дошло.

— А я думал, не дошло, раз не спрашиваешь.

— А что ж спрашивать? Когда у хорошего командира полка такая осечка — это все равно что шальная пуля. Что ж спрашивать, откуда и почему? На то и шальная.

— Насчет хорошего командира полка теперь еще подумают,— с горечью сказал Ильин. — Имели раньше мнение, что хороший, но могут и переменить.

— Если б переменили, не оставили бы на полку. Считают, что хороший, раз оставили.

— Веришь ли,— сказал Ильин,— когда все это вышло, две ночи вовсе не спал. Думал: как же так?

— Почему не верю? Раз узнал, что солдаты некормленые остались, из-за этого положено не поспать. Тем более навряд ли один маялся! Подчиненным тоже небось спать не дал?

— Не дал.

— Так и подумал,— сказал Синцов. — Думаешь, я тебя не помню? Я тебя помню.

Ильин кивнул. Он знал, что подчиненным служить с ним не легко, некоторые даже считали — тяжело. И гордился таким мнением о себе, считая это похвалой своей строгости.

Слова Синцова хотя и царапнули его по самолюбию, но понравились прямотой. Хорошо, если Синцов действительно придет в полк начальником штаба. Ершистых подчиненных, таких, что не гнутся, Ильин не боялся. Боялся тех, что гнутся. Кто перед тобой гнется, тот и перед бедой согнется. Самого упрямого из комбатов — Чугунова — Ильин, став командиром полка, сразу же выдвинул на свое место заместителем по строевой. Потому что хотя и собачился с этим человеком еще в Сталинграде, когда тот был командиром роты, но знал, что Чугунов перед немцами еще упрямей, чем перед начальством.

«Интересно, за что ему четвертый орден дали? — глядя на Синцова, думал Ильин, всегда замечавший, сколько у кого орденов. — Под Сталинградом пришел в батальон с двумя. Третий орден в приказе был, за взятого в плен генерала. А четвертый откуда?»

— Когда «Звездочку» получил?

— Зимой,— сказал Синцов и чему-то усмехнулся.

— Чего смеешься? — спросил Ильин.

— Да так. Даже и не светила, а потом сама с неба свалилась. Помнишь, на Слюдянке в феврале плацдарм захватили, а расширить не смогли?

— Помню.

— Послали меня в двести вторую дивизию — она уже третий день считалось, что наступает,— лично проверить, где передний край. Я на брюхе проверил. И сразу же на доклад к нашему Бойко, начальнику штаба. По моему донесению — где были, там и остались. А у него — по всем другим данным — продвинулись, сколько приказано. В таких случаях известно, кому верить — тому, кто по карте дальше шагнул! А перепроверить не удается. Пурга, раций не слышно, телефонную связь порвало. Бойко мне: «Отстраняю вас! Не верю, что были на переднем крае! За ложное донесение пойдете под трибунал!» И по телефону приказывает: «Соедините с прокурором». Подходит комендант штаба: «Идите со мной». Приводит в караульное помещение, приказывает сдать наган и сажает тут же в углу под охраной красноармейца.

Сижу час, сижу два. Приходит комендант, отпирает стол, возвращает наган: «Идите». — «Куда?» — «Приказано отдать вам оружие и сказать, чтоб шли к себе в оперативный отдел». А через месяц в очередном списке среди других и мне орден. Сам Бойко наградной лист написал.

— Извинился этим орденом,— сказал Ильин.

— Считаю так. Других извинений от него не слышал.

— Выходит, у вас обстановка тоже бывает злая,— сказал Ильин. — О начальнике штаба, я слышал, командир дивизии отзывался, что крут.

— Крут, когда врут. А вообще сильный начальник штаба. Справедливый и трудолюбивый. И здоровый как бык. Тоже имеет значение. И молодой. Всего на три года старше меня. С девятого. В тридцать пять лет генерал.

— Да, это рванул! — с какой-то радостной завистью сказал Ильин, наверно подумав сейчас о самом себе и о том, когда и как он сможет стать генералом.

Они продолжали ехать рядом, конь в конь, и Синцов искоса поглядывал на Ильина, маленького, худощавенького, длинноносого, цепко сидевшего на своем крупном рыжем жеребце, про которого утром сказал, что взял его у разведчиков. Как они ему морду ни заматывали, все равно жеребец ржал — не годился для разведки!

Но сейчас Синцову подумалось, что Ильин выбрал себе этого коня, наверно, еще и за рост: сам себе кажется выше, когда сидит на нем. По-прежнему переживает свой росточек.

Он смотрел на Ильина и думал, что они не так уж долго и прослужили вместе. Пришел в батальон после госпиталя, девятого января вечером, в канун наступления, а сдал Ильину батальон после своего ранения второго февраля утром. Все знакомство — двадцать пять суток. Но за эти двадцать пять суток узнал об Ильине достаточно. Особенно запомнился один из первых откровенных разговоров, когда Ильин объяснял ему, почему, чувствуя в себе военное призвание, не пошел после семилетки в военную школу. Как раз в ту весну умер его отец, и ему уже нельзя было уехать в другой город, оставив мать с тремя младшими сестрами. Пришлось пойти там же, у себя в районном центре, в педучилище, а по вечерам подрабатывать на семью. Но когда окончил и стал учительствовать, все равно решил, что через три года, как только призовут в армию, останется в ней навсегда. И жизнь сама заторопилась навстречу: в августе тридцать девятого вышел закон призывать не в двадцать два, а в девятнадцать, и Ильин ушел в армию и встретил войну под Тирасполем старшим сержантом, писарем в штабе дивизии. А дальше сама война уже не давала ему терять время.

Шла большая война, а маленький Ильин пер и пер на ней вперед. Заменив убитого, явочным порядком из писарей стал начальником штаба батальона, раньше, чем получил лейтенантское звание. Потом заменил раненого Синцова на батальоне. И тоже, как и в первый раз, сперва только исполнял должность, потом утвердили; после младшего лейтенанта сразу дали старшего, перешагнув через одно залежавшееся представление. Курскую дугу встретил комбатом. В первый день боев пропустил через себя немецкие танки, а пехоту не пропустил. Как ни возвращались, как ни утюжили, а не вылез и не побежал, остался. И когда снова пошла немецкая пехота, снова: по пехоте — огонь! И так четыре раза. До ночи, пока не приползли из полка с приказом: если живы — отойти.

Об этом потом писали и в армейской и во фронтовой газетах. И в батальоне дали Героя сразу четверым: трем мертвым и одному живому — Ильину. Сразу и Героя и капитана. А через три месяца Туманян взял его к себе в замы по строевой. А потом, зимой, остался за командира полка вместо Туманяна — майор! А в последнем, майском приказе — подполковник.

Шел быстро, но навряд ли ему чего-нибудь передали сверх того, что заслужил. Конечно, то, что Герой, известную роль в выдвижении сыграло. Но ведь на войне как? Если сам по себе Герой, а как командир слабый, за одно то, что Герой, теперь двигать не станут. Наказать — иногда задумаются. А двигать — нет! Себе дороже.

Синцов думал об Ильине без зависти. Такое прошел за войну, что не жалко для него ни полка, ни звания подполковника, ни Звезды на грудь. Все дали, и правильно сделали. Если в чем и повезло на войне Ильину, в одном: что не только жив, но и ни разу не ранен. Ни разу за всю войну ни на что, кроме войны, времени не терял. Ни на переформировки, ни на тыловое сидение, ни на госпитали. Так и прошел все три года без царапины, не то что ты. Тьфу, чтоб не сглазить!

Война идет. И люди на ней или помирают, или растут, как Ильин. «Хотя бывает и так, что война идет, а люди на ней стоят. Она их за собой вперед тащит, а они все равно: затылком вперед, а взглядом назад, в прошлое»,— усмехнувшись, подумал Синцов и вдруг спросил:

— Двадцать пять еще не стукнуло?

— Смотря для кого,— сказал Ильин. — Для других считается: раз с девятнадцатого года — двадцать пять. А для себя пока считаю двадцать четыре. Хочу еще пять месяцев молодым пожить!

Он улыбнулся, но за тем, что сказал, почувствовалось серьезное. Наверно, вел счет с самим собой, что успел и чего — нет. А может, и ревниво думал: нет ли в их армии командира полка еще моложе его? Хотя теперь, кажется, такого не было. Был один в двести второй дивизии, да убили зимой, в тех зимних боях на Слюдянке.

«Честолюбивый и цену себе знает. Хотя человеком от этого не перестает быть»,— подумал Синцов и вспомнил один случай в Сталинграде, казалось бы, незначительный, но много открывший ему в Ильине.

Как-то уже к концу боев, когда они заняли под КП подвал, где раньше был штаб немецкой дивизии, он вошел и услышал, как Ильин сам себе читает вслух одну из тех бумаг, что остались после немцев везде: и на столах и под столами. И, насколько мог судить Синцов, читал Ильин эту бумагу довольно бегло, не ломая языка.

— Выходит, ты немецкий знаешь? — спросил Синцов. — Чего ж скрывал до сих пор?

— Разве это называется знаю? Просто поинтересовался, могу ли прочесть. Там у нас, в Балашове, много немцев Поволжья жило, и я в педучилище вместе с ними учился. Прислушивался к их языку...

В этом был весь Ильин, весь его характер. Рыбочкин, тот, зная пятьдесят слов, уже и пленных переводить брался. А Ильин — нет! Знал намного больше Рыбочкина, но ни разу не сказал. Не желал краснеть за свое слабое умение ни перед немцами,

ни перед своими. А втихомолку читал немецкие документы, проверял свои знания.

— Как, пока не виделись, в немецком языке дальше продвинулся? — вспомнив об этом, спросил Синцов.

— Нихт зо гут,— сказал Ильин,— абер айн бисхен бессэр, альс ин дер альтен цайт нах Сталинград! — сказал довольно бойко и сам рассмеялся этой бойкости. — В Германию войдем — пригодится. С тех пор как снова с Завалишиным судьба свела, подучиваюсь у него, выбираем время.

— За счет чего, за счет сна, что ли? — усмехнулся Синцов.

Ильин кивнул. Можно было и не спрашивать. За счет сна, конечно. За счет чего же еще могут выбрать время командир полка и замполит? На этих должностях у порядочных людей свободного времени мало.

Заговорив о Завалишине, Ильин сказал, что замполита чуть было снова не отозвали в седьмой отдел Политуправления фронта, как тогда, после Сталинграда. Еле отбился.

Этой новости о Завалишине Синцов еще не знал. Тогда, после капитуляции немцев, Завалишина на два месяца брали для работы с пленными, но он добился возвращения в строй. И вышло даже, что с повышением. Ушел в седьмой отдел с замполитов батальона, а вернулся замполитом полка.

— Дрожал, что заберут его у меня,— сказал Ильин о Завалишине, как о чем-то до такой степени своем, что забрать у человека невозможно. — Стремлюсь ни к кому не иметь слабостей, а к нему имею.

Что Ильин старается ни к кому не иметь слабостей, Синцов уже заметил. В своей роли офицера оперативного отдела он достаточно много бывал в разных частях у разных командиров и умел отличать показную аффектацию, которой тешат слабых и ненаблюдательных начальников,— все эти наспех гаркнутые: «есть», «понятно», «будет сделано»,— от той действительной напряженности, которая появляется у подчиненных в общении с действительно строгим и тонко знающим свое дело командиром.

У Ильина в полку не просто тянулись. У него делали то, что приказано. И дважды одних и тех же приказаний ни повторять, ни выслушивать не привыкли. Это чувствовалось и в поведении самого Ильина и в поведении подчиненных ему людей, даже и в том, как сейчас коновод, взяв дистанцию двадцать шагов, за всю дорогу так и не нарушил ее.

«А лет тебе двадцать четыре...» — подумал Синцов об Ильине и вдруг спросил:

— Сколько сейчас сестрам?

— Старшей — девятнадцать, средней — семнадцать, младшей — шестнадцать. Сестры у меня красивые. Я в отца пошел, а они в мать. Только боюсь, женихов война возьмет. После такой войны всех трех сестер замуж не выдашь.

— Да навряд ли,— сказал Синцов.

— А моей матери знаешь сколько сейчас? — сказал Ильин.— Сорок три года. Она меня девятнадцати лет родила. А тридцати пяти вдовой осталась. В сорок первом мне на действительную в Тирасполь письмо прислала — просила моего благословения по второму разу замуж выйти.

— Что значит — благословения? — спросил Синцов.

— Если б дал ей понять, что против, не вышла бы.

— Благословил?

— Конечно. Ей всего сорок было. И человека этого знал... В мае своей матери счастья с новым мужем пожелал, а в сентябре, когда написал ей, что вышли из окружения, ответ получил: «Спасибо, хоть ты нашелся. А Федор Иванович погиб, похоронная пришла». В тридцать девятом, когда я на действительную уходил, была еще молодая и красивая. С тех пор не видел. Хотя в Сталинграде близко от нее были. Двести верст.

— Не говорил мне тогда.

— А зачем зря душу рвать? Кто бы мне тогда отпуск дал? Написал на прошлой неделе старшей сестре, она на почте работает: раз пока по закону не берут, добровольно иди в армию, в связистки. Приедешь на фронт — замуж выдам. Только здесь и можно... Чего смеешься? Думаешь, мало таких, которые из-за этого на фронт стремятся? И ничего плохого не вижу, если при всем при том служат честно.

— Слушай, Николай. Неужели у тебя в самом деле так-таки ничего на фронте не было?

— Что было, то проехало,— сказал Ильин. — А сейчас нет и не было, с прошлого лета, как снова воевать начали. А ты так и хотел — дочь? Или сына?

— Она хотела дочь.

— Почему дочь?

— Не знаю,— пожал плечами Синцов. — Не объяснила.

— А по-моему, лучше сына,— сказал Ильин. — Женщин и так после войны больше чем надо останется.

Сказал и сам усмехнулся своим словам.

— По привычке все на войну мерим, чтобы побольше мужиков... А к тому времени, как ваша дочь вырастет, все так на так будет, как до войны...

Синцов ничего не сказал, только кивнул в ответ и вспомнил, как они с Таней прощались около армейской автомастерской.

Оттуда через час или два должен был идти грузовик в Москву за запчастями. Ее обещали взять в кабину, но Синцов не мог ждать, пока она уедет, ему надо было возвращаться к своим обязанностям. Она осталась там ждать грузовика, а он сел в «виллис» и уехал. Она хотела дочь, а ему было все равно — кто будет, тот и будет, лишь бы с ней самой ничего не случилось. Он беспокоился за нее, особенно когда она стала перетягиваться, чтобы не замечали ее беременности.

Странно это было все: как она сначала ни за что не хотела и сердилась на него, когда ей вдруг казалось, что он неосторожен. А потом, после того как месяц не виделись, вдруг сказала спокойно: раз так вышло, буду рожать!

И когда он стал винить себя и оправдываться, что не уберег ее, покачала головой: «Какой же ты глупый, даже не понимаешь, как я тебе благодарна за это! Хочу быть женщиной, как все... Неужели ты этого не понимаешь?» И потом ночью, которую удалось провести вместе, потому что все сложилось хорошо — один из двух соседей Синцова по землянке уехал на передовую, а второй ушел ночевать в другое место,— до утра шептала ему глупости: «Я же нежная, я же добрая, я женщина»,— как будто он не знал этого, что она женщина и что она нежная и добрая. Шептала ему на ухо, как что-то самое затаенное: «Я теперь, после того как узнала, больше ни грамма водки не выпью, ни одной папиросы в жизни не выкурю. Ты что думаешь, я не замечаю, что у меня голос стал сиплый, что я грубая стала, что выматериться могу?»

А потом сказала, отвечая на тот вопрос, который был у него в душе с самого начала: «Рожу, выхожу и маме оставлю, а сама к тебе вернусь!»

— Роди сначала,— сказал Синцов. — Может, и война вся кончится.

— Не кончится,— сказала она. — А я себя знаю, я не смогу, чтоб ты здесь, а я там. Если бы мы оба оказались там — другое дело...

— Что глупости говорить,— рассердился он. — Как это мы можем там оба оказаться? А ты теперь можешь. Кто же от грудного ребенка на фронт едет? Это никаким законом не положено.

— Молчал бы уж, что положено, что не положено,— сказала она.

И он понял, что это о его руке. И еще понял, что она так устала от войны, что была бы счастлива, если бы он сейчас тоже мог уехать вместе с ней. Но сказать этого не скажет и о себе самой считает, что у нее только отпуск с фронта.

Он долго не мог прийти в себя от неожиданности ее отношения ко всему этому. Как будто вдруг случилось что-то такое, что все в ней перевернуло навыворот. Раньше ни за что не хотела ребенка, повторяла: не хочу! Грубила, вспоминая свою прошлогоднюю поездку в Ташкент, говорила, что в тылу баб теперь разливанное море, а мужиков наперечет — как же ты хочешь, чтоб я от тебя отлипла! Думаешь, нет среди нас таких бедняг, что мечтают хотя бы здесь, на фронте, бабой побыть? Здесь хоть кто-нибудь на нее посмотрит. А там и глядеть некому! Говорила о том же самом, о чем сегодня заговорил Ильин, вспомнив своих сестер.

Когда она в июне прошлого года вернулась после тифа, после госпиталя и четырехмесячной жизни в тылу, худая и коротко стриженная, и сидела, не выпуская самокрутку, и говорила как-то по-другому, чем раньше, грубее, прямее, нарочно надсаживаясь, чтоб не обнаружить своей слабости, ему показалось, словно вся она незажившая рана, а на ране корка.

Здесь, на фронте, нагляделась на людское горе, притерпелась, привыкла. А там, в тылу, не могла перенести того, как тяжело живут люди. Жалела их, злилась от невозможности помочь и поэтому грубила. Ему — первому.

Злилась, что свидания их слишком редки: то ей у него нельзя остаться, то ему нельзя к ней приехать. И хотя она делала для этого все, что могла, все равно жили, как в разных городах. Без того, чтобы не забыть о других, на фронте счастья нет. Даже на одну ночь. На фронте счастье всегда короткое, всегда зажмурясь от всего остального, потому что у других и этого нет! А все остальное время приходится думать, что вам можно и чего нельзя, если хотите оставаться людьми в глазах других людей.

Один раз, испугавшись, что забеременела, она наговорила на себя, что это будет бегство с войны и еще невесть чего... И нельзя было ее переубедить, пока сама не поняла, что обошлось. А когда поняла, устало и горько, сквозь слезы, шептала ему: «Это, наверное, мне мой тиф помог, что ничего не вышло. Такая дохлая стала, что теперь вообще рожать не смогу».

Но потом все равно помнила об этом и напоминала ему. Говорила зло: «Ты что, меня с войны угнать хочешь?»

А ему порой и в самом деле хотелось угнать ее с войны. Чтобы только она боялась за него, а он за нее — нет.

Когда он заговаривал о ребенке, она сердито обрывала: «Замолчи! Если не смогу родить, возьмем после войны на воспитание». Или, вспомнив, что, может, еще найдется его дочь, начинала объяснять, какой она станет хорошей мачехой.

— Тебе своего ребенка надо иметь,— возражал он.

— Надо, надо, конечно,— вдруг соглашалась она. — Дай только война кончится. Будем где-нибудь вместе жить и каждую ночь стараться.

Злясь на войну, нарочно дразнила его своей грубостью. Но нежность иногда просвечивала сквозь эту грубость с такой силой, что он любил ее за это, кажется, еще больше.

— Будет смолить, хватит, перестань! — ругал он ее, видя, как она снова и снова вертит свои самокрутки.

— Брошу... Как война кончится, на следующий день брошу. Или хочешь, в тот же день брошу?! — говорила она, продолжая затягиваться.

— Дымом от тебя пахнет.

— Не целуй меня, раз противно.

— Да нет, мне не противно. Но ты посмотри, на кого ты похожа! Брось, пожалуйста. У тебя же...

— Не считай моих болезней, надоело! Сама знаю, что гнилушка! Брось меня к черту, зачем тебе такая дохлая! — сердилась она. Сердилась и смеялась над собственными словами, над собственной злостью и продолжала смолить свои самокрутки.

А иногда вдруг говорила:

— Ну какие мы с тобой муж и жена? Мы с тобой только так, приходящие друг к другу...

Ее мучила неестественность положения женщины на войне. Она знала, что он полюбил и продолжает любить ее такой, какой ее сделала война, но все равно хотела стать снова просто-напросто женщиной: взять и родить ему и себе ребенка. И чем больше отрекалась от этого, как от невозможного, и чем больше старалась, чтобы этого не было, тем больше хотела. Наверное, поэтому все так и перевернулось за один день. Перевернулось не потому, что она стала другой, чем была, а потому, что с ней вдруг все-таки случилось то, чего она хотела, но чего не позволяла себе. И когда случилось, она подчинилась этому.

По числам выходило, что она родила раньше, чем думала. Только доехала — и родила. А может, и не доехала. Он беспокоился из-за штампа на ее письме: «Арысь». Почему не Ташкент, а эта Арысь, не доезжая до Ташкента? Из-за почерка, которым было написано письмо, и из-за того, что после этого письма от нее больше ничего не было.

«Может, вернусь в штаб армии — получу»,— подумал он и, посмотрев на дорогу, которая огибала впереди острый мысок леса, спросил Ильина:

— Вроде бы подъезжаем к твоему штабу. Не там ли, за этим мыском?

— А ты откуда знаешь? Ты же ко мне не с этой стороны, а из дивизии подъезжал?

— Когда второй месяц на одном месте стоим,— сказал Синцов,— и каждый день наносим на карту все ту же обстановку, нашему брату карта по ночам снится. Закрою глаза — и вижу на карте и этот мысок, и за ним развод оврага, и кружок с крестиком — твой штаб. Не так, что ли?

— Так точно,— сказал Ильин. — Еще пять минут, и приехали. — И вдруг спросил: — А все же пойдешь ко мне начальником штаба, если вакансия откроется?

Синцов удивленно посмотрел на него. После всего, о чем говорил с Ильиным, не ожидал такого вопроса.

— Что это ты по второму кругу пошел?

— Услышал, как тебе карты по ночам снятся, и подумал: все же работа у вас чистая. Может, не захочешь оставить?

— Работа у нас разная. Могу подробней объяснить, если не знаешь. Хотя должен бы знать. Все же как-никак командир полка!

— Прости, если обидел, не имел в виду,— сказал Ильин.

— Бог простит. Я не обидчивый.

— А Татьяна твоя как бы посмотрела на это дело, если б тут была? — спросил Ильин, продолжавший испытывать чувство неловкости от нескладно повернувшегося разговора с Синцовым.

— Если б тут была? Не знаю,— сказал Синцов. — Беспокоюсь за нее. Известие, что родила, получил быстро, на шестнадцатый день. А с тех пор — двадцать шестые сутки — ни слова нет. Здоровье у нее не богатое: тиф был тяжелый, чуть не умерла. До этого ранение тоже тяжелое—в живот, и тоже чуть не умерла...

— Ничего,— сказал Ильин,— мы, маленькие, жилистые. Сколько во мне весу — кости да хрящи. А двухпудовую гирю по утрам десять раз бросаю и ловлю.

— Спасибо, успокоил... Теперь все ясно. Больше вопросов нет,— рассмеялся Синцов той солдатской находчивости, с которой Ильин без колебаний привел в пример самого себя.

— Козьмин, принимайте коней! — крикнул Ильин коноводу и легко соскочил на землю.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Первым, кого, оставшись ужинать и ночевать в полку, увидел Синцов, был Иван Авдеевич, его сталинградский ординарец.

Иван Авдеевич на вид почти не переменился; пожилых людей война вообще меньше меняет, чем молодых. Только разбогател

за это время еще на две медали да ушел еще на тысячу верст дальше от дома, от Александрова Гая, где жила его семья.

— Хотя и дальше, а почта ныне все же исправней идет,— сказал он, когда Синцов умывался перед ужином. — Тогда, при вас, ни одного письма не получил, а теперь пишут и пишут.

— А что пишут?

— А все то же — чтоб со скорою победой! Спешат войну закончить, думают, мы не спешим!

— Как с подполковником живете? — спросил Синцов про Ильина, помня, что Иван Авдеевич его недолюбливал.

Иван Авдеевич посмотрел с укоризной: разве время сейчас, в нынешней его солдатской должности, спрашивать у него, какие они были и есть, его начальники на войне? Вот отслужит, придет домой, тогда и спрашивай!

Но, посмотрев с укоризной, все же не уклонился — раз спрошено, ответил:

— Чересчур самолюбивый, а так все при нем. — И, считая нужным объяснить свои отношения с Ильиным, добавил: — Остаться при нем не просился и уйти от него не искал. Так и живем.

Синцов, перед тем как умываться, снял с левой руки протез, и Иван Авдеевич, сливая ему воду, смотрел на лежавшую на пеньке черную перчатку и на изувеченную руку Синцова. Потом спросил, не болит ли, не натирает ли, и Синцов ответил этому старому, расположенному к нему человеку то, чего не ответил бы кому-нибудь другому: что сначала и болело и натирало, а сейчас меньше, только зимой мерзнет культя.

— Что ж у нас за медицина такая,— сказал Иван Авдеевич, когда Синцов стал пристегивать перчатку. — С таким ранением— и обратно — воевать!

Синцов понял, что Иван Авдеевич сказал это не о медицине, а о нем самом: зачем лезешь на фронт с такой рукой? Можно было, конечно, ответить, как на медицинской комиссии,— что в порядке исключения... Но Иван Авдеевич был любитель порядка и не уважал исключений.

— Как думаете, Иван Авдеевич,— спросил Синцов, надевая гимнастерку,—подполковник по случаю встречи фляжку выставит?

— А как же. Он еще днем звонил, чтоб подготовили.

— Это хорошо,— сказал Синцов. — А то я было подумал, у вас сухой закон. Днем в батальоне и намека не было.

— А он днем по всему полку запретил,— одобрительно сказал Иван Авдеевич. — Разрешает только вечером, после всего...

Штаб полка размещался за обратным скатом холма в веселом, молодом и густом сосновом лесочке. Здесь, как и всюду в

полку, чувствовались те особенные чистота и порядок, которые возникают, только когда войска надолго становятся в оборону.

К леску из лощины подходила всего одна автомобильная колея, лишних вензелей кругом наезжено не было. По лесочку были протоптаны только необходимые тропки, а щели возле штабных землянок и палаток обложены дерном.

— Как, сухо здесь? — спросил Синцов, поднимаясь вместе с Иваном Авдеевичем по склону от родничка, к которому ходили умываться.

— По месту глядя, должно. Но сыровато. То ли весна такая, то ли у них всегда так, кто их знает,— сказал Иван Авдеевич о Могилевщине так, словно это бог весть какая далекая от его привычек и понимания земля.

Домик командира полка, в который Синцов уже заходил перед тем, как идти умываться, был одной стеной врезан в скат холма, а тремя выходил наружу. Имелись в нем и дверь и два окна, как в самом настоящем доме, а бревна были по-плотницки перенумерованы.

— За собой, что ли, таскаете? — спросил Синцов у Ивана Авдеевича. — Саперы перенумеровали?

— Да нет, сруб тут, недалёко, в лесу нашли, когда позицию занимали. Видать, еще до войны хозяева́ и́збу разобрали и на новое место перевезли. А подполковник увидел.

Синцов зашел в домик, а Иван Авдеевич не пошел, остался снаружи. Синцов знал за ним эту привычку: пока делал, что приказано или что требовалось по его обязанностям,— охотно откликался, если с ним заговаривали, и мог показаться словоохотливым человеком. Но, исполнив свой долг, сразу же исчезал или, если некуда было уйти, замолкал, словно бы переставая присутствовать до следующего приказания.

Ильина в домике не было. Он, как приехали, ушел в штаб.

По сторонам от двери, у окон, стояли два стола на крестовинах, один поменьше, другой побольше, и около них — по две лавки. На большом столе был собран ужин, накрытый газетами. Вторая половина домика была отделена сбитой из чистенького горбыля перегородкой; там стояли два застланных топчана.

«С кем он здесь живет, с замполитом?» — подумал Синцов про Ильина. И, повернувшись, увидел входившего в домик Завалишина, так сильно раздавшегося за год, что его было не узнать.

— Ильин сейчас придет,— сказал Завалишин после того, как они обнялись. — Задержался, чтобы потом уже не отрываться.

— Понятно. — Синцов глядел на Завалишина, улыбаясь от неожиданности происшедшей с ним перемены.

От одних людей можно ожидать, что они переменятся, а другие, кажется, навсегда должны остаться такими, как ты их запомнил. Именно таким человеком остался в памяти Синцова Завалишин.

Но он переменился, да еще как! Даже его круглые очки, раньше, на тощем лице, казавшиеся большими, теперь, на потолстевшем, выглядели маленькими.

— Что смеешься? — Завалишин улыбнулся, но и улыбка у него тоже вышла не прежняя — раньше, на тощем лице, она была быстрая и робкая, а сейчас, на круглом,— медленная.

— Признаться, не ожидал, тем более от такого беспокойного человека, как ты,— сказал Синцов.

— Сам не ожидал,— усмехнулся Завалишин. — Успокоился после Сталинграда, что победа будет за нами, и вот тебе результат... Ездил прошлый месяц в армейский госпиталь,— сказал он, перестав улыбаться. — Один говорит: сердце плохо качает. Другой говорит: обмен веществ. Третий вообще чушь городит: надо на исследование класть... Загадка природы: хожу столько же, ем и сплю столько же, работаю больше, психую не меньше, а результат — как видишь.

— А может, все же сердце?

— Все может быть,— сказал Завалишин. — А может, сама природа так запроектировала: половину войны продержать меня тощим, как неукомплектованную часть, а потом довести до комплекта. Те, с кем вместе живу, уже перестали замечать. Ильин не говорил тебе, как меня чуть было не загребли от него для тарыбары с фрицами?

— Сказал.

— А знаешь, как отбился? Когда рапорт по команде подал, что не хочу,— меня сразу во фронт, к самому товарищу Львову. Явился, раб божий, стою перед ним. «Почему отказываетесь идти в седьмой отдел? Важность этой работы понимаете?» — «Так точно, понимаю». — «Языком владеете?» — «Так точно, владею». — «Так в чем дело? Какие мотивы?» Отвечаю: «Прошу оставить на передовой. Других мотивов нет». Он мне на это с иронией: «Не такая уж это передовая — если вы замполит полка!» — «А вот в этом уж не виноват,— говорю. — На войну пошел рядовым и о присвоении званий просьб не подавал. Если считаете, что оказался далеко от передовой, готов вернуться к тому, с чего начал».

— Так и сказал?

— Дословно. Так обиделся на него, что в тот момент все трын-трава.

— И что ж он?

— После всего этого услышал от него только одно слово: «Идите». И через левое плечо кругом, в дверь — и в полк! Как уже потом узнал, спас себя тем, что разозлился. У него, оказывается, слабая струнка: любит закатывать на передовую. И считает: кто перед ним дрожит, тот этого боится. А я, наоборот, голос повысил! Даже потом, когда приезжал, делал нам тут раздолб, все же не снял меня. Только для проверки потаскал за собой по переднему краю. Сумасшедший человек! Как ему только до сих пор голову не оторвало!

Синцов слушал Завалишина и понимал, что в нем изменилась не только внешность. Он заматерел на войне, и в нем исчезла прежняя мягкость. Исчезла вместе с той прежней быстротой и робкой улыбкой, которую уже трудно представить на его лице.

— А если как на духу, почему при своем знании языка не представляешь себя работником седьмого отдела?

Вслух задавая этот вопрос Завалишину, Синцов молча задавал его и себе: почему захотелось сюда, в полк? Чем тебе плохо там, где ты есть?

— Видишь ли как,— сказал Завалишин. — Насчет языка. Немецкий язык для меня — язык детства, язык наивной и доброй книжки с картинками, по которой меня учила мама еще до школы. И хотя у меня русская мать, но из-за того, что мы жили вдвоем и она все детство учила меня немецкому языку, для меня это не только язык детства, но язык мамы, которая потом умерла от голода там же, в Ленинграде, потому что я не смог вывезти ее оттуда, а не смог ее вывезти потому, что был в это время на войне, а был на войне потому, что... Мне не легче, а трудней говорить с этими нынешними немцами из-за того, что я знаю их язык с детства. Да и не их это язык для меня! Тот язык, который я знаю с детства,— для меня совсем другой язык совсем других немцев... Конечно, если б изнасиловали, пошел бы и в седьмой отдел. Но охоты к этому нет. Наше дело их в плен взять. И — побольше. А дальнейшие беседы об их прошлом и будущем — пусть с ними другие ведут! В общем, подальше от надстройки, поближе к базису,— невесело усмехнулся Завалишин. — Был в нашем батальоне?

Синцов молча кивнул. И Завалишин понял его молчание. Именно их батальон тогда, на Курской дуге, под командой Ильина, зацепился и не ушел из-под танков, а потом, когда ночью отвели оттуда, от всего батальона осталось счетом девятнадцать человек. А после этого — еще почти год войны...

— Да, третий батальон, третий батальон,— задумчиво сказал Завалишин. — Тогда, на Курской дуге, я уже замполитом

полка был,— добавил он, словно оправдываясь, что остался жив. Потом спросил: — Капитана Харченко видел?

Спросил о единственном человеке из их прежнего батальона, которого Синцов мог теперь там увидеть и действительно видел.

— Прошу прощения, что задержался,— прервав Завалишина, сказал вошедший Ильин. — Почему не за столом?

— Ждем ваших приказаний,— сказал Завалишин.

— Садитесь. — Ильин стянул покрывавшие стол газеты и сел первым.

На столе лежала фляга, стоял большой графин для воды с налитой в него темной жидкостью, четыре кружки, тарелка с горой нарезанного ломтями хлеба, тарелка с мятыми крупными солеными огурцами, две банки с американским колбасным фаршем и накрытый крышкой котелок.

Ильин, как только сел, сразу снял крышку с котелка и заглянул туда.

— Картошка еще горячая, в мундире. Разбирайте. Котлеты и чай принесут. Чугунова ждать не будем. — Ильин кивнул на четвертую кружку: — В батальоне задержался. Явится — догонит. Ну что ж, каждому по потребности.

Он взял графин с темной жидкостью и налил себе полную кружку.

— Что это у него? — спросил Синцов.

— А это он лично для себя гонит самогонку из сухого компота,— усмехнулся Завалишин. — С утра ест сухофрукты, а из фирменного графина на ночь глядя пьет юшку. А мы с тобой как, по-нормальному? — Он отвинтил крышку и держал наготове флягу.

— Давай по-нормальному,— сказал Синцов.

Завалишин разлил водку, и они чокнулись с Ильиным.

— За встречу,— сказал Ильин и одним духом выпил всю кружку компота.

— Позволь тебе представить,— выпив водки, сказал Завалишин и кивнул на Ильина, закусывавшего компот соленым огурцом. — Командир полка, подполковник Ильин Николай Петрович. Он же Коля. Не курит, не пьет и не выражается. Сразу после войны отправим на выставку.

— На какую выставку? — улыбаясь, спросил Синцов.

— Уж не знаю. Будет, наверное, какая-нибудь. А куда же девать такое чудо? Получит на ней первое место как образцовый командир полка, если к тому времени не станет командиром дивизии.

— Картофель бери, а то проговоришь, пока не останется.— Ильин пододвинул Завалишину котелок с картошкой.

Сам он, пока Завалишин шутил над ним, успел покончить с огурцом и, очистив и помакав в соль, съел три картошки.

— О том, что у меня ночуешь, а утром доставим к соседу, я уже позвонил. Комдива на месте нет, в корпусе, а начальник штаба дал «добро»,— сказал Ильин, принимаясь чистить еще одну картошку.

— Вчера, когда я к работе приступал, комдива тоже не было,— вспомнил Синцов. — Один Туманян в штабе.

— Всё учения и учения,— сказал Ильин. — То учения, то рекогносцировки. Что-то нашей дивизии долго гвардейской не дают. Может, после этой операции получим?

— После какой операции? — поддразнил его Синцов.

— А что, все лето тут стоять будем? Трепать языком не положено, но доходить своим умом не запрещается! Хотя бы до простых истин, что дважды два — четыре?

— Что дважды два — четыре, не запрещается.

— На позициях первого батальона, у дороги, в болоте три наших танка «БТ-7» видел?

— Видел,— сказал Синцов.

— Так с сорок первого года и стоят, бедные, ничего внутри нет, одни пустые коробочки. А краска зеленая все же местами осталась — заметил? И еще один броневичок видел, на повороте? Почти каждый день их вижу, и такое зло за сорок первый год берет! Когда же мы за все, до конца, рассчитаемся? Если хочешь знать, я за тобой следил, когда в бывшем нашем батальоне были. На весь батальон одно знакомое лицо встретил, так?

— Так. Но после таких жестоких боев ничего другого и не ждал. Увидел Харченко — и на том спасибо.

— Говоришь, жестокие бои,— сказал Ильин. — А я этих слов не признаю. Какие такие «жестокие»? Бои бывают или удачные, или неудачные. Каждый бой для кого-то из двух неудачный. А жестокий бой — что это за слова? Кто с кем жестоко поступил? Мы с ними или они с нами? Если мы их больше положили,— значит, для них этот бой жестокий, а если они нас,— значит, для нас. Я на всякий бой так смотрю: больше дела — меньше крови. Исходя из этого, и командую. И еще одно желательно: солдатскую жизнь поближе на своей шкуре познать. Это наилучшее понятие дает, что можно и чего нельзя на войне. То, что ты жестокими боями называешь, я понимаю как решительные, когда приняли верное решение и обеспечили себя заранее так, чтобы действительно добиться всего, что решили. Таких жестоких боев я не боюсь, они для немцев жестокие. А для нас жестокие — это когда тыр-пыр, тыр-пыр — и ни с места; как на Слюдянке в конце этой зимы. Продолжать наступление уже сил

нет, а перейти к обороне еще приказа нет. Самые безрадостные бои. А тут еще, как назло, вашего брата — при сем присутствующих — как горох сверху насыплют: одного — из дивизии, второго — из корпуса, третьего — из армии. И все тебя в спину толкают и каждое твое донесение проверяют. Я не против проверки. Но тогда чтоб уж всех одинаково! Думаешь, нашему брату командиру полка достаточно сказать о самом себе: я человек щепетильный — как есть, так и докладываю, а как мои соседи докладывают — мне дела нет! А что значит доложить не так, как твои соседи? И ты и те, кто слева и справа от тебя, положим, имели малый успех — только одно название. Но ты доносишь об этом строго, а сосед с допуском: у тебя противник потерял двадцать человек, а у него — «до роты». А что значит «до роты»? Все, что меньше роты, можно считать «до роты». И выходит, при одинаковой обстановке и при одинаковых действиях с соседом, если ты доложил ближе к истине, ты хуже, чем он. И не в тебе самом вопрос, а весь твой полк получается вроде бы хуже других!

— И какой же выход предлагаешь? Как все же нам, проверять или не проверять вас? — усмехнулся Синцов.

— А выход только один: лучше воевать, чтобы действительно было о чем докладывать,— сердито сказал Ильин. — А то ведь как у нас некоторые делают? О своих потерях донесет, как они есть,— их никуда не денешь. Свое продвижение тоже укажет близко к истине,— если соврет, рано или поздно обнаружится. Значит, простор для фантазии, особенно если неудача,— только в одном: какой страшный противник перед ним оказался! Где против него два батальона из разных полков действовали — доложит, что два полка, где роту уничтожил — укажет «до батальона», и если поверят, значит, с него и спросу нет. Стандарт преувеличений — вещь опасная! Привыкнуть недолго, а поди потом выскочи из него! Хорошо еще, чем дальше, тем меньше таким горлодерам верят. Раньше, бывало, доложил — и ладно. А теперь требуют: докажи!

Ильин повернулся к Завалишину:

— Расскажи ему этот случай.

Завалишин улыбнулся своей медленной улыбкой.

— Весной в политотделе корпуса разбиралось одно политдонесение из полка соседней дивизии,— сказал Завалишин. — Бои были, как Ильин выражается, безрадостные, успехи — чуть-чуть, а политдонесение один мудрец составил, что противник потерял до двухсот человек только убитыми и бежал в панике. Раз в панике, значит, уже не догонишь и подтверждения у него не спросишь. А вот где двести убитых? Поехали, проверили; действительно, когда опушку леса заняли, двадцать девять немецких

трупов на своем переднем краю закопали. Подтвердилось. А где остальные? Ну, этот мудрец, когда его спросили, не растерялся. «Остальных, говорит, с собой утащили. Они всегда стараются трупы утаскивать!» Что стараются утаскивать — это верно, но как же так, все сразу, вышло, что и в панике бежали и сто семьдесят трупов при этом с собой тащили? Смех смехом, а автора донесения сняли. Сам начальник политотдела армии Черненко приезжал, занимался этим. Он такой лжи ни от кого не потерпит.

— Еще мало у нас за это снимают,— сказал Ильин. — А то иногда подписываешь донесение, в котором все правда-матка, а сам про себя думаешь: лопух ты, лопух!

— Что-то не пойму: ругаешь себя или хвалишь? — спросил Завалишин.

— Хвалю,— огрызнулся Ильин.

— Ну, а раз хвалишь, не забудь, что не ты один такой лопух. Есть и другие. И докладывать по совести не хуже тебя умеют...

— Давай, давай,— сказал Ильин. — А то давно меня за ячество не прорабатывал!

— А как же,— сказал Завалишин. — Между прочим, в русском языке для местоимения «я» даже специальные ловушки имеются. Вот скажи, например: как будет от глагола «побеждать» будущее время первого лица единственного числа? «Я победю»? «Я побежду»? Или: «Я побежу»?.. Или как? «Побегу» — есть, а «победю» — нет. Почему? Видимо, для того, чтобы во множественном числе этот глагол употребляли. Глядишь, оно и ближе к истине будет.

— Когда эту байку придумал? — спросил Ильин. — Еще не слышал ее от тебя.

— Сегодня. Возвращался из батальона, шел один. Вспомнил тебя и придумал.

— С утра делом занимаемся, а глядя на ночь — самокритикой,— сказал Ильин, кивнув на Завалишина. — Считается, что не дает мне спуска.

Синцову показалось, что Ильин расскажет сейчас Завалишину о своем предложении насчет начальника штаба. Но Ильин так и не заговорил об этом за все время, что сидели вместе. Только спросил, давно ли Синцов видел Артемьева.

— Полгода назад,— сказал Синцов.

— Считал, вы, как свояки, все же чаще видитесь.

— Два раза за все время.

— Сначала, когда после Кузьмича на дивизию пришел, он мне не показался,— сказал Ильин. — Слишком формально всех гонял, фасон давил. А потом, в июне, перед Курской дугой, жена к нему приехала. На позиции лазила, пушку за шнурок дерга-

ла — считается, стреляла, на коне ездила, «виллис» водила, даже разбила... Хотя и говорится, что жена, а...

— Ну давай выскажись, чего мучаешься,— сказал Синцов.

— Еще чего! Уже девятнадцать месяцев зарок держу. Под танками лежал, и то не выматерился... Пока здесь жила, насколько могла, подорвала в дивизии его авторитет. Но потом, за время боев, худого о нем не скажу, командовал дивизией твердо. И сам грамотный и инициативу командиров полков не зажимает. Когда идет война, нервы нам не портит, не звонит каждые пять минут: что, как и почему? Это, я считаю, хорошо. А когда между собой соберемся, все равно Кузьмича вспоминаем.

И Ильин, вдруг изобразив Кузьмича, выкрикнул тонким, быстрым голосом:

— Молодец, молодец! Двадцать годов тебе уже есть? Есть!.. Ну, тогда иди вперед без мамки, да пошибче иди, туда, где вечером будешь, туда к тебе и приду... Туточки вам, пожалуйста!

Изобразил так похоже, что Синцов рассмеялся:

— Здорово запомнил!

— А чего запоминать? — сказал Завалишин. — Он с тех пор, как в армию вернулся, уже три раза в дивизии был, из них два раза в полку. Где ты сейчас сидишь, неделю назад сидел, пил чай и стыдил нас за тот случай, когда в боевом охранении люди некормлеными остались. Не знаю, как у меня, а у Ильина уши красные были.

— У тебя тоже,— сказал Ильин. — Так совесть заговорила, что даже очки вспотели.

— Стыдил, стыдил нас,— Завалишин снял и протер очки,— а потом спрашивает у Ильина: «Кто ты есть в первую очередь?» Ильин, конечно, заявляет, что он в первую очередь командир полка. «Нет, это ты во вторую очередь, а кто ты есть в первую?» Ильин молчит. Не знает. «А в первую очередь ты, говорит, есть солдат революции, и если у тебя в полку старшина бойцовский паек зажимает, ты как солдат революции слышать это должо́н за три версты вдаль и на три сажени вглубь. Так у нас, говорит, на гражданской войне было заведено. А что ты подполковник, а я генерал-лейтенант, так это все, говорит, дальнейшее... Война, говорит, производит людей во всякие чины. И в ангельские — тоже. Живем в ожидании дальнейшего производства, а война, глядишь,— раз! — и мимо всех других чинов сразу — в ангельский! А того свету нету. И на нем грехов, что при жизни сделал, не поправишь. Мертвого не воскресишь и голодного не накормишь. А раз так, пока жив, помни, что война — дело святое и жить на ней надо безгрешно». Прочел нам эту лекцию, потом поворачивается к своему адъютанту: «Баян!» Адъютант у него баянист и

в «виллисе» баян возит. Приказал принести баян и сыграть «Раскинулось море широко». Послушал сам, пригорюнясь, напомнил нам этим, что все люди смертны, поднялся и, больше слова не сказав, уехал. А мы, как видишь, запомнили.

— А командарма я после Сталинграда за все время только раз в полку видел,— сказал Ильин. — В прошлом году, в марте, когда из-под Харькова отступали. Приехал, потребовал, чтобы рубеж до ночи держали, ночью даст приказ отвести, а до этого — ни шага.

— Отвел? — спросил Синцов.

— Отвел. И мы сделали, как обещали, и он — тоже. И с тех пор в полку не был,— сказал Ильин и, словно заподозрив себя в несправедливости, добавил: — А чего ему в полки лазить, если обстановка нормальная? Ты там в штабе чаще его видишь. Как-никак ближе к нему.

Синцов ничего не ответил, только усмехнулся про себя. Несколько раз как дежурный офицер докладывал Серпилину обстановку. Четыре раза сопровождал, ездил с ним в войска. Чаще — это верно. А насчет «ближе»... За весь год один разговор не по службе, когда Таня после тифа вернулась. Спрашивал о ней и привет ей передавал. И все. Да так оно и должно быть. А то много охотников найдется: один, как ты, вместе с командующим из окружения выходил, другой в госпитале лежал, третий в академии учился... Недавно рассказывали, что в штабе тыла служит старичок ополченец — капитан старой армии, в ту германскую войну комбатом был, а командующий у него — фельдшером. Что ж теперь с ним делать? Чаи к нему туда в штаб тыла ездить пить?

— Захарова, члена Военного совета, чаще у себя видели,— сказал Ильин, не дождавшись ответа от Синцова. — Черненко, начальника политотдела, тем более,— раз десять был. Любит ездить. А хотя его такое дело — ездить. Если не ездить — что делать?

— Опять цепляешь политработников,— сказал Завалишин.

— Опять цепляю. Согласился бы на седьмой отдел, имел бы дело не со мной, а с фрицами.

— А что, может, еще и подумаю, с кем легче?

Ильин стал расспрашивать Синцова о том, как получилось, что Кузьмич, почти год пробыв на излечении, снова оказался в их же армии и притом на должности заместителя командующего.

Но Синцов и сам толком не знал, как это произошло. В оперативном отделе ходили слухи, что вроде бы Кузьмич написал Серпилину, прося найти ему место в армии, а потом уже сам Серпилин предложил его на эту должность.

— Все же староват для такой работы,— сказал Ильин. — Пятьдесят восемь лет.

— Ваши бы с ним годы соединить и переполовинить,— сказал Завалишин. — Как раз и выйдет зрелый для войны возраст.

— А ну тебя,— отмахнулся Ильин. — Я серьезно. Если эта должность нужная, тогда он стар для нее. А если ненужная — зачем она?

— А что ты к нему прицепился? — сказал Завалишин. — Сам же говорил, когда он дивизией командовал, что старик золотой

— А я и сейчас не говорю, что он медный. Я говорю, что старый. Когда он от нас уезжал, как он с лавки вставал, видел?

— Видел. Ну и что?

— Раз «ну и что», значит, не видел. А я видел. Он же за три войны весь из кусков составленный.

Ильин сказал это со всей силой симпатии к Кузьмичу, на какую только был способен при своей жесткой натуре. Но рядом с этой симпатией в нем жила молодая непримиримость к тому, что человек, по его мнению уже истративший все свои главные силы, опять вернулся на фронт, да еще на такую должность. Неужели в целой армии не нашлось на нее кого-то помоложе?..

— Вот кончится война. — Завалишин заранее улыбнулся, давая понять, что все, что он скажет вслед за этим,— шутка. — Долго ли, коротко, а дослужится наш Коля до командарма или еще выше и сразу всех своих подчиненных, кто окажется старше его, уволит в запас. Оставит только тех, кто моложе его.

— А что я, когда командармом стану, большего ума наберусь, чем сейчас имею, не допускаешь? — усмехнулся Ильин.

— Ума — не знаю,— продолжая улыбаться, сказал Завалишин. — Ум у тебя в норме. А что присвоение званий вносит свои поправки в психологию, пожалуй, верно...

В этот момент принесли котлеты и чай. Принес все это и поставил на стол не Иван Авдеевич, а другой солдат, молодой, здоровенный, в натянутой поверх обмундирования белой поварской куртке.

— Дюжий для такой службы,— заметил Синцов, когда солдат вышел. — Такому бы «Дегтярева» на плечо!

Заметил потому, что с застарелой неприязнью относился к тому, когда в штабах около начальства паслись отъевшиеся молодые ординарцы. Другое дело — в батальоне или в роте; там сейчас ординарец, а через минуту автоматчик.

— Понадобится, подгребем на передовую,— сказал Ильин.— Что же это Чугунова нет? Непохоже на него.

Покрутив ручку телефона, Ильин стал искать через связистов Чугунова. В том батальоне, где он должен был находиться, его не было. Оказывается, пошел в другой.

— Если и там нет, значит, в дороге,— сказал Ильин, не отрываясь от трубки.

Но Чугунов был не в дороге, а оказался как раз в этом, другом, батальоне.

— Василий Алексеевич, куда ж ты пропал? — сказал Ильин, когда его соединили с Чугуновым, но что-то другое, сказанное на том конце провода Чугуновым, сразу переменило выражение его лица. — Слушаю вас,— сказал он. — Когда?.. Вынесли?..

Он несколько раз повторил: «Правильно», одобряя какие-то действия Чугунова там, в батальоне, и, сказав: «Оставайтесь, разрешаю», положил трубку и все с тем же изменившимся выражением лица посмотрел на Синцова, как будто только что увидел его здесь.

— Извини, забыл ему от тебя привет передать.

Потом повернулся к Завалишину и сказал:

— Максименку убили.

— Когда?

— В сумерки. Чугунов говорит: около двадцати одного часа слышали выстрел, а в двадцать один сорок пять подползли сменить — лежит убитый. Входное — в левом глазу, выходное — за правым ухом.

Из дальнейшего разговора Синцов понял, что речь идет о снайпере, про которого уже рассказывал сегодня Ильин. За последние две недели он не только убил нескольких немцев, но и подметил в их обороне некоторые подробности, раньше ускользавшие от нашего внимания. Когда Синцов был в батальоне, Ильин жалел, что нет возможности расспросить самого Максименко, потому что он до смены будет дежурить на своей точке.

А теперь этот Максименко убит немецким снайпером, и Чугунов хочет за ночь скрытно выдвинуть за передний край наблюдателей и утром с нескольких точек засечь немца.

Ильин отговорил Завалишину все то деловое, что было связано с этой смертью и для чего Чугунов остался там, в батальоне,— отговорил и замолчал.

С делами было закончено, а смерть осталась.

И она, эта смерть, присутствовала сейчас здесь, за столом, среди трех живых людей, из которых двое знали убитого, а третий не знал. Но дело было не в том, кто знал и кто не знал, а в другом — в самом моменте, когда убили этого человека.

На войне есть разные дни. Есть дни, когда от многих потерь подряд люди деревенеют и теряют чувствительность до такой

степени, что только потом, отойдя, постепенно, начинают осознавать все, что с ними произошло, и заново поодиночке вспоминать всех, кого уже нет.

Есть дни, когда в ожидании наступления, как и всякий раз, надеясь потерять в нем как можно меньше людей, в то же время заранее знают, что многие неизбежно будут убиты. Но, несмотря на это, не хотят и не просят отодвинуть то неотвратимое, что все равно должно произойти.

Но есть на войне дни такой тишины, когда почти ко всем людям на время возвращается первоначальное, нормальное человеческое чувство, и, как бы заново услышав слова «человека убили», они опять начинают сознавать, что это значит, что вот вдруг взяли и убили человека! Было все тихо, и он был жив, а потом его вдруг убили, и надо теперь зарывать в землю человека, час или два назад еще совершенно живого, не хотевшего и не собиравшегося умирать...

Ильин, Завалишин и Синцов не говорили сейчас друг с другом об этом. Но именно это чувство, вызванное внезапным присутствием смерти, породило то молчание за столом, в котором они сидели целых две или три минуты.

— Сколько дней похоронных не писали? — спросил Синцов.

— Шесть дней ни одной похоронной,— сказал Завалишин.— Ранения были, а похоронной ни одной не написали. Хотя нет, один, из хозроты, от гнойного аппендицита умер. Перемогался, не говорил, а пока довезли — перитонит.

— А что в похоронной написали?

— Написали «умер»,— сказал Ильин. — Если умер при исполнении служебных обязанностей в действующей армии, пенсия все равно устанавливается. Закон это предусматривает.

«Да, много все же людей умирает на войне не от самой войны... Так и Таня могла тогда от тифа...»

Синцов снова с тревогой подумал о том, почему на треугольнике ее письма стоял этот штамп: «Арысь»...

Ильин и Завалишин в это время говорили, что надо позвонить в дивизию и еще раз подтвердить представление Максименко на «Отечественную войну» первой степени, чтобы хоть — посмертно! А потом послать орден — спецпакетом — по месту жительства, чтобы его через военкомат — семье...

— А хотя,— вдруг усомнился Ильин,— он же с Западной Украины, его места вроде еще не освободили, что-то я не помню.

— Он не с Западной,— сказал Завалишин,— он из-под Каменец-Подольска, его места еще в начале весны освободили. Он оттуда уже и письмо получил, говорил мне неделю назад.

— Раз освободили, значит, и военкомат опять на своем месте,— сказал Ильин. — Тирасполь, где я войну начинал, давно свободный. Они там, на юге, вон где! А тут, перед нами, еще вся Белоруссия!

— Не вся,— сказал Завалишин. — А считай, пол-Белоруссии. Полтерритории под немцами, а в половине Советская власть — партизанские края.

— Посмотрю я, вы, политработники, на такие подсчеты чересчур размашистые,— сказал Ильин. — Да разве можно на войне считать, что половина территории — это половина страны? За все то главное, что им для войны нужно,— города, узловые станции, магистрали — немцы еще и теперь почти по всей Белоруссии ногтями и зубами держатся! Зачем же так размахиваться — пол-Белоруссии! Вроде нам только полдела сделать осталось. А у партизан никто не отнимает. Партизаны тут... Кабы такое, как тут, везде и всюду... — Ильин не договорил и усмехнулся. — Тут мы две недели назад «языка» взяли. Прежде чем разведчикам сдать, сам побеседовал с ним, для практики. Унтер-офицер, немолодой уже. Так он знаешь как здешних партизан высоко ставит! Всю зиму и весну между Минском и Барановичами на охране железной дороги был, а потом в чем-то проштрафился — и на передовую! Так ему тут, на передовой, после партизан, знаешь как понравилось? Тишина! Зо гут, зо руиг, зо айнэ штилле! А там, говорит, в тылу, плохо — шлехт! Зер шлехт! Еде нахт шпренгунген, юберфэлле, шюссе... В общем, каждую ночь — ЧП! А на фронте, говорит, тишина! Только не повезло, не вовремя и не под тот куст по нужде сел! У нас, конечно, тут тоже не совсем тишина. Пять дней назад, наверно, читал, мы доносили,— засекли ночью у немцев, прямо против себя, мощный взрыв; на торфяных болотах, на узкоколейке мост — капут! А кто? Партизаны, больше некому! И где? Буквально рядом с передовой! Как им должное не отдать? — повторил Ильин, давая понять, что заспорил с Завалишиным совсем не для того, чтоб умалить заслуги партизан.

— Разрешите войти?

В дверь вошел и, войдя, закрыл ее за собой низенький капитан со знакомым Синцову лицом.

— Слушаю вас,— сказал Ильин после короткой паузы.

— Вы сказали, сразу же вам доложить, как выясню,— сказал капитан. — Ведущий хирург медсанбата не подтвердил заключения. Отверг наотрез! И предложил доследовать. Остальные подробности могу утром. Пойду спать.

— Не подтвердил? Ну и ну! — Ильин удивленно мотанул головой.

— А что, плохо, что ли? — спросил Завалишин.

— Наоборот, так хорошо, что даже не верится. — Ильин посмотрел на капитана. — Куда же ты спать? Раз зашел, попей с нами чаю. Вот Синцов явился, ужином его кормим.

Капитан ничего не ответил, снял пилотку и шинель, повесил их на гвоздь и, вынув из кармана расческу, прежде чем подойти к столу, причесал растрепавшиеся редкие волосы. И пока он делал все это, Синцов сообразил, кто он.

Пришедший капитан был уполномоченный особого отдела полка, старший лейтенант Евграфов, которого тогда, под Сталинградом, Синцов встретил в первый же день, как принял батальон, и потом часто видел у себя, особенно вначале.

— Как, выпьешь по такому случаю? — показав на Синцова, спросил Завалишин, когда Евграфов сел за стол.

Евграфов кивнул, и Завалишин налил в кружку водки: ему побольше, себе и Синцову поменьше — по второму разу.

— С разрешения командира полка, еще раз будь здоров,— сказал Завалишин и чокнулся с Синцовым. Евграфов кивнул, чокнулся и тоже выпил. Потом, закусив, спросил у Синцова:

— В оперативном отделе?

— Да.

— Мне сообщили,— сказал Евграфов,— что к нам офицер из оперативного отдела армии приехал, только фамилии вашей не назвали.

— Выходит, недоработали твои люди? — усмехнулся Завалишин.

— При чем тут мои люди? — сказал Евграфов. — Кутуев, ординарец, сказал, что вы не один. Колебался: заходить или нет. А потом, раз обещал командиру полка сразу же доложить, решил зайти.

— А вы все время здесь, в полку? — спросил Синцов.

— А куда он от нас денется? — сказал Завалишин. — Так и живем с ним, как при тебе. Ни мы ему лишних осложнений не создаем, ни он — нам. Был уполномоченный, а стал — старший уполномоченный. Одну звездочку за полтора года добавили — только и всего.

— А у нас, пока нам чего добавят, еще пять раз подумают,— сказал Евграфов. — Если мне по общему закону, как на передовой положено, звания добавлять, я бы уже подполковник был. А раз подполковник — то меня с моим званием уже в дивизию или в корпус надо переводить. А кто у нас в полку сидеть будет?

— А ты что жалуешься? Ты же к нам привык.

— Что к вам привык, два раза уже слышал. Не от вас.

— Что это ты — известия хорошие принес, а сам невеселый? — спросил Завалишин.

— А чего веселого, если человека чуть было зря под трибунал не отдали.

Евграфов посмотрел на молчавшего все это время Ильина, потом на Синцова: говорить ли сейчас, при нем, все, что выяснил, или оставить до завтра? И рассказал историю, какую не каждый день услышишь.

Только что прибывший из училища лейтенант на третьи сутки службы в полку прибежал на рассвете в санроту с простреленной левой кистью. Просил скорей перевязать и отпустить обратно, говорил, что хочет остаться в строю. Про свое ранение объяснял, что перед рассветом, поднявшись над бруствером окопа, смотрел в сторону немцев, и вдруг его ударило в руку.

Сначала все показалось ясным: левая рука, пуля прошла через ладонь, по краям раны ореол ожога,— значит, выстрел в упор или почти в упор — самострел! Словами, что хочет остаться в строю, думал отвести от себя подозрение, а существующего порядка, что при любом подозрении на самострел сразу докладывают по команде,— не знал.

Непонятным оставалось одно: как мог пойти на такую подлость лейтенант, только что с отличием окончивший училище, один из тех, кто, как правило, спит и видит поскорей оказаться на фронте, боится опоздать на войну?

Откуда и почему такой урод? Отвечая на вопросы Евграфова, лейтенант до конца стоял на своем, плакал от обиды, что ему не верят, и, словно так и не поняв, что его уже арестовали, все продолжал проситься обратно в роту — рана, мол, небольшая, он ее на ногах переходит.

Его под конвоем свезли в медсанбат на экспертизу.

Ведущий хирург очень долго смотрел рану, заставил лейтенанта повторить свои объяснения про то, как его ранили немцы, выслушал не перебивая, а после этого, оставшись вдвоем с Евграфовым, заявил, что считает рассказ лейтенанта святой правдой. Выстрел произведен не из личного оружия, как написали в санроте, а из винтовки, и не в упор, а издали, но только пуля была, видимо, пристрелочная, с фосфором на головке, поэтому у входного отверстия имеет место подобие ожога, а порошинки и следы копоти, которые всегда бывают при выстреле, произведенном в упор, отсутствуют.

Сказал, что один такой случай на его памяти был. Значит, не исключен и второй. А как пуля именно в ладонь попала — это уж глупости войны! Возможно, от избытка молодых сил потянулся,

руки развел — вот тебе и пуля в ладонь. Если поискать, возможно, где-нибудь там и эта пуля найдется.

— К доследованию приступили? — выслушав все это, спросил Ильин.

Евграфов пожал плечами:

— Что одиночные выстрелы трассирующими в ту ночь со стороны немцев в районе этой роты были, уже доследовали — подтверждается. Считаю, что на этом дело можно закрыть. А пулю искать — навряд ли найдем,— не в комнате стреляли. Если только прикажете всей ротой ползать...

— Шутки отставить! — уловив иронию в словах Евграфова, сердито сказал Ильин. — Раз не надо — не надо! А если б ради чести полка потребовалось — сам ползал и искал бы!

— Это понятно,— сказал Евграфов,— а все же сам себе теперь задним числом рад, что не поверилось в это.

— Тебе не поверилось, а я поверил,— сказал Ильин. — Почему-то казалось: пришла беда — отворяй ворота. Весь день сегодня из головы не выходило. Сам бы, казалось, ему пулю в лоб влепил за такое пятно на полк!

— При чем тут полк,— сказал Завалишин,— когда он всего три дня, как в полк прибыл.

— Всего три дня, как прибыл! Посмотрел бы, как ты это в политдонесении объяснил! Когда бы ни прибыл, а уже твой! Все понимают, что еще не твой, а все равно — твой. Если пополнение получишь, и его в первый день — в бой, и все — как по маслу — успех, и люди живые остались, и ордена им положены, что ж, воздержишься, что ли, их представлять? Эти, скажешь, еще не мои, еще и двух дней нет, как пришли, рано им ордена давать! Что-то не слышал этого еще ни от кого! И от тебя тоже.

Ильин заглянул в кружку Евграфова и налил ему чаю.

— Пей! До сих пор, как вспомню того старшину, так руки чешутся. И днем и во сне. А тут, не дай бог, еще бы и этот оказался.

— Ладно,— сказал Завалишин. — Хватит переживать! Что было — то было! Зато век не забудем, как вшестером с членом Военного совета фронта, с членом Военного совета армии, с начальником политотдела армии, с замполитом дивизии в таком, можно сказать, обществе, среди бела дня, ползем с тобой на пузах в боевое охранение и от страха за начальство только что богу не молимся! Есть что вспомнить!

Но Ильин даже не улыбнулся.

— Не спорю, храбрый,— сердито сказал он про Львова. — Но одной немецкой мины на всех нас тогда вполне бы хватило!

— Дуролом он! — зло отрубил молчавший до этого Евграфов. Его плоское, широкое, казавшееся до этого Синцову таким спокойным лицо налилось кровью от напряжения, с которым он старался сдержать себя. Но не сдержал — вырвалось.

— О ком это ты? — усмехнулся Завалишин.

— О том, о ком надо. Вы эту храбрость тут в первый раз видите, а я ее еще на Тамани видел, когда из-за него по всему проливу бескозырки да пилотки... Видел его там, как он на берегу распоряжался до последнего! А черта мне в его храбрости, когда из всего нашего подразделения только двое живыми на камере выплыли! В одном две пули, в другом — три. Полгода по госпиталям вспоминал его храбрость, пока к вам не попал.

— Никогда не слышал от тебя этого,— сказал Завалишин.

— Услыхал — и забудь.

— И забуду.

Евграфов дохлебал чай и, не сказав больше ни слова, встал.

— Куда? — спросил Ильин.

— Спать пойду. Устал.

Надев шинель и пилотку, Евграфов, не прощаясь, вышел из домика.

— Сколько ему лет? — спросил Синцов у Ильина.

До сих пор воспринимая Евграфова как человека немолодого, он не задумывался, сколько же ему лет.

— Сорок два,— сказал Ильин.

— А откуда он, где до армии был?

— Ты его не спросил, когда комбатом был? — вскинул голову Ильин.

— Нет.

— Ну и я не спросил. Что сам о себе скажет — за то и спасибо. Будем спать ложиться? Сейчас Иван Авдеич со стола уберет, две лавки тебе сдвинем, сенник есть, постель тоже есть...

Ильин потянул к уху трубку неожиданным зуммером затрещавшего телефона.

— Ильин слушает... Здравствуйте, товарищ первый... У меня... Ничего с ним не делаем, спать думаем... Есть!

— Командир дивизии звонит,— сказал Ильин, передавая трубку Синцову. — Говори, тебя просит.

— Синцов слушает.

— Что, уже ночевать расположился? — спросил в трубке голос Артемьева.

— Собрались.

— Не выйдет. Приказано, чтоб ты до утра был обратно в штабе армии. На полчаса заедешь ко мне — хочу тебя видеть,—

и отправлю дальше. А ко мне тебя Ильин доставит. У него и трофейный «опель» зажат и водитель есть... Дай трубку Ильину...

— Есть,— сказал Ильин в трубку. — Есть... Будет сделано...

Говорил все это безразличным служебным тоном, но, когда положил трубку, лицо у него было обиженное.

— Некрасиво поступает.

— Почему? — спросил Синцов.

— Командир полка пригласил к себе в гости, а он забирает. Так не делают.

— Объяснил, что меня в штаб армии вызывают.

— Тогда другое дело. А зачем?

— Не сообщил.

— Может, повышение дать хотят,— полусерьезно-полушутя сказал Ильин и, открыв дверь, крикнул в темноту: — Кутуев, быстро сюда!..

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Дивизия стояла в обороне на широком фронте. Из штаба полка в штаб дивизии надо было ехать почти десять километров без света, потому что в последнее время было настрого запрещено ездить вблизи передовой даже с маскировочными сетками на подфарниках. Поднятый среди ночи недовольный водитель молчал, а Синцов сидел рядом с ним в тесном трофейном опелечке «кадет» и думал о себе. Зачем вдруг вызвали, бесполезно угадывать. На войне себе не принадлежишь, а в оперативном отделе — меньше, чем где-нибудь. Думал не о том, зачем вызвали, а вообще о своей жизни. Все сегодняшние разговоры толкали на это.

«Да, когда Ильин сегодня предложил идти к нему начальником штаба, я захотел этого. А почему? Хочу быть ближе к делу? А что, я сейчас не делом занят? Неужели за год службы в оперативном отделе пришел к такой мысли? Ильин говорит: «наблюдающие». Конечно, к этому не сводится. Все же чаще всего и прежде всего ставят задачу: помочь! Но и о непорядках докладывать приходится. Этого не минуешь. И тут, конечно, радости мало. Иной раз, доказывая чужую неправду, в пекло лезешь, а потом, когда докажешь, на душе тяжесть. Потому что знаешь: неточно докладывают и даже врут чаще всего не от подлости, а от тяжести сложившегося положения. А поменяй тебя местами с тем, кто не нашел в себе сил до конца выполнить задачу, чуть-чуть не дошел, не дополз, не дотянулся, кто знает, сумел бы ты сделать это лучше и доложить правдивей, чем он? Иногда кажется, сумел бы! А иногда представляешь, как залез бы опять

сам в его шкуру, и сомневаешься в себе, потому что уже привык к другому: приезжаешь и уезжаешь, приезжаешь и уезжаешь, имеешь передышки, чтобы отдохнуть от опасности, а люди остаются все там же, в бою... Идешь на передовую зимой, в оттепель, в распутицу, в мокрых валенках, проваливаясь на каждом шагу в снег. А снег после долгого обстрела весь в воронках. И убитые еще не убраны. И одиночные мины, напоминая о себе, ноют над головой. Идешь как в ад. А ведь не бог весть куда идешь — всего-то на командный пункт батальона, не дальше него!»

Синцов вспомнил, как после зимнего боя за одну из высот на плацдарме, за рекой Слюдянкой, когда после шестого приказа — взять! — ее под вечер все же взяли, командир дивизии генерал-майор Талызин, выпив на НП треть фляги, пошел сам под эту высоту подбирать раненых:

— Пойдем со мной, майор!

Раненых было много, они лежали подо всей высотой. И Талызин, несмотря на треть фляги, шел не пьяный и даже не выпивший, а только какой-то странный, прибитый. То ли хотел оправдаться в душе перед своими ранеными солдатами, лежавшими под этой высотой, то ли жалел их, то ли не знал, что с собой делать, такая тоска его взяла после тяжелого боя, и потащил за собой Синцова, и своего адъютанта, и ординарца, и двух автоматчиков. И вместе с бродившими по скатам высоты санитарами подбирал раненых в глубоком, мокром снегу. Иногда только помогал, а иногда, найдя сам кого-нибудь в стороне, взваливал на плечи и тащил к носилкам. Потом вдруг вспомнил о руке Синцова, когда тот плохо, неловко помог ему, и сказал:

— Ты ладно, ты иди. Зачем ты со мной пошел?

Но куда уже было идти от него? И они еще час ходили и подбирали. Чего не бывает на передовой! Рассказать кому-нибудь, не поверят. И сам Синцов, когда снова попал к тому же командиру дивизии, когда уже все было в порядке, когда пошли дальше, вперед, не узнал его, увидел совсем другого человека. Как будто не только та высота осталась далеко позади, но и тот человек, подбиравший раненых, тоже остался там, под этой высотой...

«Да, я-то хорошо знаю, что такое передовая,— вспомнив о Талызине, подумал Синцов. — И кем бы я ни пошел — командиром полка или начальником штаба,— до конца войны еще натерплюсь страхов. И все-таки хочу ближе к делу. Раз тогда, после госпиталя, не взял белый билет, теперь хочу идти до конца».

Он думал о том, о чем уже не раз думал на войне. «Бывает и так: хорошее делает человека хуже, а плохое — лучше... Меня, во всяком случае, именно плохое сделало другим, чем я был до

войны. Как я забуду ту переправу через Днепр, когда немцы рубили нас из автоматов сверху, с берега, по головам, как капусту сечкой? Или тот отбитый у немцев под Сталинградом лагерь наших военнопленных, где я нашел Бутусова? Он и теперь живой и воюет. И уже после лагеря был разжалован в рядовые за то, что, командуя ротой, несмотря ни на какие приказы, немцев в плен не брал. И разжалован, и ранен, и недавно написал, что опять в строй вернулся и опять ротой командует. И тоже, как я, не хочет, чтоб без него война кончилась. А чего я хочу на войне для самого себя? Как и все, хочу быть живым. А кроме этого, ничего особенного для себя не хочу. Ильин спросил, как бы Татьяна посмотрела на то, что я стремлюсь в полк, одобрила или нет? Вслух сказала бы: да! А что про себя подумала бы, не знаю. Какой она хочет быть — это одно, а насколько у нее на это хватает сил — другое. Человек многого хочет от себя. Но не на все из этого он способен. Так со мной. Так и с ней»,— подумал он о Тане с новым приступом тревоги за нее.

Водитель резко тормознул; перед машиной, преграждая путь, стоял солдат с автоматом, сзади него темнела перекладина шлагбаума.

— Редко видимся,— были первые слова Артемьева, когда Синцова привезли в избу, где квартировал командир дивизии. — В последний раз пять с лишним месяцев назад...

— Скоро шесть,— сказал Синцов.

— Тем более. Чаю? — Артемьев кивнул на стол. Там стояли термос и два стакана. — Другого не предлагаю, знаю — уже было.

— И чаю не буду.

— А я буду. Тянет глядя на ночь. Иногда и среди ночи просыпаюсь, пью. — Артемьев налил себе из термоса полстакана черного чая и завинтил крышку.

— Зачем меня вызывают, не знаешь?

— Представления не имею, видимо, понадобился им. Сам ваш Перевозчиков звонил: закончил или не закончил у нас работу, а чтобы к шести ровно был там!

— Не закончил. В двух полках был.

— Это знаем. Ну и какие твои наблюдения — поделись!

Артемьев привычно потянул к себе по столу блокнот и стал слушать Синцова. Но заметок делать почти не пришлось. По мнению Синцова, в дивизии, там, где он был, за редкими исключениями, все обстояло нормально и с маскировкой и с соблюдением режима огня и передвижения. А по триста тридцать второму полку, по Ильину, вообще не было замечаний.

— Ильин всегда тянется быть первым,— выслушав Синцова, сказал Артемьев. — А после того случая с харчами — вдвойне.

Да что говорить, все тянемся. Наша жизнь на войне знаешь из чего состоит?

— Из чего?

— Как и всякая жизнь, только из двух вещей: из хорошего и плохого. Хорошего теперь намного больше стало, но и плохого еще достаточно, не при начальстве будь сказано!

— Уж не меня ли имеешь в виду?

— А хотя бы и тебя. На войне, кроме солдата, все — начальство. Завтра по твоим следам вдоль переднего края пройду. Не исключаю, что могли штабному товарищу и очки втереть.

— Не думаю,— сказал Синцов.

— Зря. Все же ты не кадровый и всех наших тонкостей не знаешь.

— А Ильин знает? — спросил Синцов.

— А Ильин знает, хоть и не кадровый. Он все превзошел. А что ты себя с ним равняешь? Ильин и через сорок лет в гроб ляжет в военном обмундировании. Ильина, если его раньше этого в отставку уволят, считай, что при жизни убили! А ты воюешь — пока война. Ты свое, можно считать, отвоевал, теперь только твоя добрая воля.

— Ладно, оставим это. — Синцов поморщился.

Говорить с Артемьевым о предложении Ильина теперь, после его слов, стало труднее. Но Синцов все же переступил через эту трудность.

— Поторопился Ильин,— выслушав его, недовольно сказал Артемьев. — Верно, что Насонов рапорт подал, но удовлетворять его просьбу пока не будем. Когда Туманян с полка ушел, они оба могли претендовать. Насонов — по прошлому опыту, Ильин — в перспективе на будущее. Остановились на Ильине. Временно обидели неплохого офицера. Откроется возможность — у нас или не у нас,— и Насонов тоже, возможно, пойдет на полк. А пока подержим их вместе. Обоим полезно! После твоих слов тем более в этом уверен. Так что извини.

— Напротив, извини, что начал этот разговор. Если б не Ильин...

— То-то и оно,— рассмеялся Артемьев. — Говоришь, очки не способны тебе втереть! Ильин, твой друг, первый же и втер! Выдал желаемое за действительное. А это и есть на войне самая опасная форма уклонения от истины.

Он перестал улыбаться.

— Что стремишься обратно в полк, уважаю. Если б мог, пошел бы навстречу. Но сейчас не в силах.

«Не в силах так не в силах». Синцову показалось, что, говоря «пошел бы навстречу», Артемьев замялся. Насчет уважения —

это в принципе! А к себе в дивизию брать не хотел. Помнил, что свояк, и именно поэтому не хотел.

И, словно спеша подтвердить догадку Синцова, Артемьев заговорил о том, что их связывало:

— Если представить себе маловероятную вещь, что мы, как сейчас стоим, так и попрем по карте, никуда не сворачивая, вдоль своей пятьдесят четвертой параллели, то прямо перед нами сперва Могилев, потом Минск, потом Лида. А меридиан Гродно пересечем всего в двадцати километрах от города. Но это, конечно, только в сказках бывает, а не на войне... Еще до этого одних рокируют, другим разграничительные линии изменят, третьих в резерв выведут...

Он так напористо перечислял все эти возможности, словно сам хотел отговорить себя от маловероятной, но все же запавшей ему в голову мысли, что их армия и его дивизия в конце концов могут выйти именно к Гродно.

— Что ж самих себя обманывать! — сказал Синцов. — Какие бы ни были разграничительные линии, а все равно думаем с тобой об этом!

Думать об этом — значило думать о старой женщине и маленькой девочке, о матери Артемьева и дочери Синцова, оставшихся там, в Гродно. Кроме всего другого, что их связывало в жизни, у них была еще эта общая память. Ни Артемьев, командовавший полком в Забайкалье, ни Синцов, вместе с женой оказавшийся в отпуску в Крыму, не могли быть виноваты в том, что эта старая женщина с годовалой девочкой не успела уехать или уйти пешком из военного городка под Гродно, в котором немцы оказались через шестнадцать часов после начала войны.

И все же тяжесть этой вины лежала у них обоих на душе, как лежит она на душе у всякого здорового — телом и духом — мужчины, на глазах у которого погибает кто-то беспомощный. Даже при полной физической невозможности помочь другим человек, сам только случайно спасшийся при катастрофе, все равно чувствует себя виноватым перед неспасшимися. Особенно если это женщины и дети.

Что-то схожее с этим чувством жило и в Артемьеве и в Синцове. Хотя ни про того, ни про другого нельзя было сказать, что они спасали себя на этой войне. То есть, конечно, спасали в пределах разумного, когда надо лечь под обстрелом или пригнуть голову. А в остальном не спасали. Сначала, как могли, останавливали войну, когда она катилась и хотела перекатиться через них и через миллионы других людей. А теперь, остановив, катили ее обратно, туда, откуда она началась.

Люди привыкают к неизвестности трудней, чем к чему бы то ни было другому. Но и к ней привыкают. Трехлетняя привычка — не знать, что с этой старой женщиной и девочкой,— и для Артемьева и для Синцова стала частью их существования на войне. Но это уже привычное неведение, словно заросший мясом осколок, иногда напоминало о себе старой болью. Так вышло и сейчас, когда Артемьев заговорил о Гродно.

Они оба по многим признакам понимали, что предстоящее летнее наступление уже не за горами. Куда бы ни вышла их армия, но в ближайших планах войны, очевидно, записано освобождение всей Белоруссии, а значит, и Гродно. То, что еще недавно казалось далеким, приблизилось. И неизвестность, ставшая за три года привычкой, должна была кончиться и превратиться или в радость, или в горе. Зажмуривайся или не зажмуривайся от страха в ожидании того, как ответит на это жизнь, а все равно одно из двух!

— Ты меня, конечно, извини,— сказал Артемьев,— но я, когда думаю,— все о матери и о матери... Дочку вашу видел только на фотографии. А с матерью вся жизнь...

Синцов кивнул:

— Конечно, как же еще.

Он и сам плохо представлял себе свою дочь. Тогда ей был год. Теперь, если жива, четыре. И чтобы он признал ее сейчас, нужно, чтобы другие люди сказали ему про нее, что это — она.

— Как Таня? — спросил Артемьев. — Зимой слышал от тебя, что ожидаете прибавления?

— Отправил к матери в Ташкент. Дочь родила,— сказал Синцов, не вдаваясь в свои тревоги.

— Поздравляю. Самое время! Тем более что здесь скоро каша заварится. Они там «ладушки, ладушки!», а мы тут пока Белоруссию освободим. Глядишь, после этого и я хоть на день в Москву вырвусь под предлогом или без. Терпенья уже нет. С ноября прошлого года Надежду не видел! На одни сутки в Москву выскочил, незадолго перед тем, как с тобой тогда встретились. И с тех пор все! Позавчера седьмой месяц пошел, куда это годится? Хоть греши, хоть прибинтовывай!

Артемьев снял портупею, расстегнул ворот гимнастерки и, засунув руки в карманы бриджей, прошелся взад и вперед по избе.

— А сама навестить тебя здесь после этого не могла? — спросил Синцов.

— Она да не могла! — усмехнулся Артемьев. — Она все может. Это я не могу, чтобы она ко мне приезжала. Запретил ей это, наотрез. Спрашиваешь, а сам, наверно, в курсе дела, как

она тут летом начудила! И у вас там прокатывались на мой счет, и здесь, в дивизии, языки трепали. Не слепой и не глухой, знаю!

Он расхохотался и хлопнул себя по ляжкам.

— Треску много было! Хотя, по сути, никому ничего плохого не сделала. Адъютанта-дурачка обвела; и на передний край вдруг явилась: захотела меня в боевой обстановке посмотреть! Артиллеристов уговорила — из пушки пострелять! На коне скакала — подумаешь, невидаль! И даже то, что «виллис» навернула, так тоже никого не убила, только сама из него высыпалась. С другой бы — на все это никто и внимания не обратил. Ну, ходила, ездила, ну, в аварию попала. А у этой все на виду! Такая баба! Даже когда не хочет, все равно у всех на виду! А тем более когда хочет! Хлебал и буду хлебать с ней горя...

Вопреки словам Артемьева, в его голосе было больше радости, чем обреченности. Сказал и, сам себя услышав, рассмеялся:

— Не могу вспоминать о ней без удовольствия. Что ты будешь делать!

Все то двужильное и неунывающее, что всегда сохранялось в его натуре, вдруг, оттеснив остальное, вылезло из него, напомнив Синцову о том Пашке Артемьеве, который не был еще никаким командиром дивизии, а только еще собирался из последнего класса школы в военное училище и говорил про Надьку Караваеву, что пусть не воображает, что он долго будет за ней ходить.

— Рад видеть тебя в хорошем настроении!

— Настроение неплохое, это верно,— сказал Артемьев.— Шестнадцатый месяц на дивизии. И разведчиком и оператором работал, а нашел себя все же здесь, на командной! А ведь летом, перед Курской дугой, чуть не слетел! И все из-за Надежды. И затишье было, и приехала ко мне как законная, и разрешение получила от такого начальства, что не подкопаешься! Но Серпилин в таких делах злой! Не любит, чтоб бабы на фронте околачивались. Взял ее в поле зрения и, когда она раз, другой, третий учудила, вызвал меня, посадил напротив и спрашивает: «Что вам дороже: жена или дивизия?» Я было думал отшутиться: «Обе дороги, товарищ командующий. Человек есть человек». А он в ответ: «Верно. Но военная служба есть военная служба. И ее суть в том, что она требует от нас забыть, что человек есть человек. Иногда ненадолго, а иногда надолго. Супруге вашей обстановка действующей армии, как выяснилось, противопоказана. Если намерены и дальше командовать дивизией, сделайте так, чтобы ваша супруга через сорок восемь часов покинула пределы вверенной мне армии. Мотивы — на ваше усмотрение. Вы свободны!» С ним разговор по часам — две минуты. С ней после этого часов на двадцать! В результате она — в Москве, а я, как ви-

дишь, все еще на дивизии. Работы хватает. И вроде справляюсь. Хотя и я того разговора не забыл и командующий помнит. Чувствую: не любит меня с тех пор.

— Не знаю, по-моему, он человек справедливый,— сказал Синцов.

— Возможно, и так. Но лучше не на его справедливость, а на самого себя полагаться. Любит или не любит, а раз я уже в три приказа Верховного попал со своей дивизией, этого никто не отнимет!

— Думаю, никто и отнимать не собирается,— сказал Синцов. — Повторяю, он человек справедливый.

— Тем лучше для него. Но у меня сейчас без него, с Бойко, лучше складывается. У меня, если хочешь знать, свои трудности как у командира дивизии. С сорок второго года я третий по счету. А где прежние? Оба тут! Командующий армией до меня этой дивизией командовал. Заместитель командующего армией до меня этой дивизией командовал. С одной стороны, неравнодушны к ней, и это неплохо. А с другой стороны, не слишком ли много воспоминаний о том, как они ею до меня командовали? Как было при них и как при мне? И в самой дивизии есть охотники, особенно когда за что-нибудь хвоста накрутишь, сравнивать меня, не в мою, конечно, пользу, с предшественниками: один был душа человек, притом самородок, у другого — опыт не чета моему, недаром командующим армией стал! А я когда такой намек в глазах прочту, спуска не жди.

— А не читаешь в глазах то, чего нет? — спросил Синцов.

— Возможно,— усмехнулся Артемьев. — Но кому-то надо все это выложить? Вот тебе и выложил. Не всякому встречному скажешь.

— А как у тебя с Бережным?

— Вот именно, как с Бережным,— сказал Артемьев. — Тоже вопрос. Уважать друг друга уважаем, а что касается — любить, я на безответную любовь плохо способен. Приезжал не так давно генерал-лейтенант Кузьмич. Как положено, доклад, обстановка, а потом мне: «Ты, командир дивизии, человек занятой, не хочу тебя отрывать...» И на Бережного: «Матвей Ильич, его дело комиссарское, он все же посвободней тебя, с ним и походим по полкам». Что на это ответишь? И ходили два дня по полкам в обнимку, по старой памяти. А в итоге заместитель командующего армией отбывает из дивизии, не заехав к командиру; получаю от него привет и благодарность через Бережного. Теперь жду, может, и командующий армией таким же порядком дивизию посетит. Мне — здравствуйте! — и поехал дальше со своим бывшим замполитом, благо он у нас один на всех троих оказался. Мы

меняемся, он все тот же. Хоть бы они его от меня на повышение куда-нибудь взяли!

— Однако ты стал горяч. Не знал этого за тобой.

— Не служили вместе, потому и не знаешь,— сказал Артемьев. — Строевая служба в одну сторону характер гнет, а штабная — в другую. Вот и вышло, что я стал горячей, а ты прохладней. Может, если засох там, в штабе, тебе и на самом деле в строй пойти. Начнутся бои — начнется и убыль; вам туда наверх сразу доложат, где какая дырка. Серпилин тебя все же лично знает, найди случай, попросись. Только лучше до боев, заранее...— Артемьев, не договорив, взглянул на часы. — Давай езжай. Что я, в самом деле, разболтался, как баба. Вроде бы все мыслимое и немыслимое уже переговорили. Хотя, с другой стороны, когда еще увидимся? Жене писать будешь, привет от меня!

— И ты тоже.

Хотя Синцов по старым школьным воспоминаниям недолюбливал Надю, но какое это имело теперь значение?

— Мне Таня рассказывала, как они с твоей Надей виделись, тогда, в сорок третьем, в Москве, у нее на квартире. Она ей понравилась тогда.

— Эх, Ваня, Ваня! — вдруг сказал Артемьев и с силой хрустнул пальцами. — Плохо жить на войне, когда у тебя тыл ненадежный. Только тебе, как брату. И никому дальше.

— Кому дальше?

— Даже Татьяне...

— И этого предупреждения тоже не требуется!

— Когда она со мной,— сказал Артемьев,— знаю, лучше меня для нее нет и никого другого не надо. А когда не со мной, не знаю. И знать не хочу. А иногда, наоборот, хочу! Несколько раз писала мне, требовала, чтобы я ее как жену взял сюда, на фронт, машинисткой, кем смогу! Зачем ей это, если я ей не нужен? Что ей, в Москве плохо? Здесь будет лучше? А с другой стороны, думаю: почему она от меня этого требует? Сама себя, что ли, боится: одной там быть? А что я могу сделать, когда знаю: если будет рядом, воевать не смогу.

Они оба уже встали, оставалось проститься.

— Выйду, провожу тебя. — Артемьев, сдернув с гвоздя, накинул плащ-палатку и, словно сам себе удивляясь, повел под ней широкими плечами. — Знобит что-то к вечеру. Первый раз в этом году искупался утром в речке, возможно, простыл. Погоди, звонят!

Артемьев вернулся от дверей к столу и, перед тем как взять трубку, недовольно посмотрел на часы — для звонков было поздновато, если чего-нибудь не случилось...

Однако из разговора по телефону Синцов сразу же понял, что ничего не случилось.

— Пока здесь. Задержал немного у себя, чтоб поделился наблюдениями. Ясно, ясно! — несколько раз повторил Артемьев. — Есть! Понятно! Сей же час отправлю его, раз так!

Но, положив трубку, сказал Синцову совершенно обратное:

— Раз так, задержу тебя еще на пять минут. Присядь! — И, скинув с плеч плащ-палатку, положив ее рядом с собою на лавку, усмехнулся недоумению Синцова. — Перевозчиков звонил.

— Это я понял,— сказал Синцов.

— Узнавал, выехал ли ты. А узнавал потому, что ему самому член Военного совета звонил. Оказывается, тебя в Москву проектируют послать с каким-то поручением, а перед тем, утром, в семь ровно, приказано явиться к члену Военного совета. За такое известие с тебя причитается.

Синцов пожал плечами. На его памяти офицеры оперативного отдела два или три раза ездили, минуя штаб фронта, прямо в Москву с разными поручениями. Но почему теперь в Москву посылают именно его, не приходило в голову. Да и тревожные мысли о Тане мешали радоваться поездке.

— Могли бы найти кого-нибудь другого, кто спит и видит.

— Вот так у нас всегда и выходит,— усмехнулся Артемьев. — Тех, кто, как я, спит и видит, не посылают. — Он потянул к себе блокнот. — Посиди, я записку Надежде напишу. Отдашь ей в Москве из рук в руки и расскажешь, какой я тут без нее... Газеты посмотри. — Он пихнул Синцову по столу папку, в которую были заложены газеты. — В «Звездочке» статьи интересные — об истории русского офицерства. Я их вырезаю. Вчера четвертая была, ты, наверно, еще не видел.

Но Синцов не стал смотреть вырезанные Артемьевым статьи об истории русского офицерства. Сейчас ему было не до них. Он вдруг сообразил, что в Москве можно попробовать сделать то, чего не сделаешь отсюда, из действующей армии: можно сходить на Центральный телеграф и послать «молнию» с оплаченным ответом в Ташкент, Таниной матери. Узнать, почему больше нет писем. И что это был за штамп на первом письме: «Арысь»? Что она, не доехала, родила в Арыси? Или кому-то для скорости отдала там, в Ташкенте, письмо, чтобы опустил в Москве, а он не довез, бросил по дороге в этой Арыси?

Пять дней назад, вновь не получив письма с очередной полевой почтой, он выпросил машину и съездил во второй эшелон, в санотдел, поговорить с Зинаидой Сергеевной, врачихой, подругой Тани; втайне надеялся успокоить себя этим разговором с ней.

Но она, узнав, что Синцов так и не получил больше ни одного письма, стала ругать Таню:

— Упрямая, как козел! Я же ей говорила: с таким, как у нее, ранением уж кому-кому, а ей бы разрешили аборт! Даже тебе хотела сказать, чтобы ни за что не разрешал ей оставлять! Да побоялась, что съест меня потом, если узнает! И не доносила, и в Арыси, вполне возможно, с поезда сняли — все возможно! — говорила она, вовсе и не собираясь успокаивать Синцова, потому что сама любила Таню и в душе считала, что переживает за нее не меньше, чем Синцов.

Он уехал от нее не успокоенный, а, наоборот, еще больше встревоженный, только теперь поняв до конца, что Таня сама заранее, лучше всех других знала меру риска, на который шла.

— Я пишу Надежде,— перебив мысли Синцова, заговорил вдруг Артемьев,— чтобы ты у нее там харчился и ночевал, тем более если задержишься. Там у нас на квартире и помыться хорошо можно: газ есть. А в комендатуре только зарегистрируешься и адрес сообщишь — это старшему офицерскому составу разрешается.

— Ладно, там разберусь,— Синцов не хотел отрываться от собственных мыслей.

Он думал о том, что завтра утром, до отъезда, надо зайти на полевую почту — вдруг что-нибудь пришло за эти два дня. А может, сегодня вернется — а на койке лежит письмо и в нем все хорошо!

— У нее и от нашей старой квартиры ключи есть. Если хочешь, возьми их, сходи туда, она, по сути, теперь твоя,— снова прервав мысли Синцова, сказал Артемьев, как раз сейчас писавший об этом Наде.

Синцов кивнул, а про себя подумал об этой квартире: «Наша, моя, твоя — не разберешь теперь, чья она, эта старая двухкомнатная артемьевская квартира на Пироговке!» Когда он начал ходить туда, они с Павлом учились в седьмом классе, а Маша была еще совсем маленькая — третьеклассница... Потом, когда они перед войной поженились с Машей и уехали в Гродно, а Артемьев служил в Чите, эта квартира, где оставалась жить только бабушка, считалась как бы общей, предназначенной для всех, кто мог оказаться в Москве. Артемьев, женившись на Наде, наверное, после войны будет жить с ней в ее большой, оставшейся от первого мужа, от Козырева, квартире где-то на улице Горького, а эта старая квартира на Пироговке...

— Ты что, платишь за нее? — спросил он Артемьева.

— А как же,— сказал Артемьев, продолжая писать. — Не век же война! Как бы ни сложилось, а пригодится. Тебе в первую

очередь. — Он оторвался от письма. — Ты что, думаешь, если мать жива, она твою Татьяну не примет, не поймет тебя?! Только бы жива была!

Сказал и снова уткнулся в свое письмо.

А Синцов подумал: «Ну что ж, и зайду, раз есть ключи и есть эта квартира. Это хорошо, что есть эта квартира. Навряд ли после войны с такой рукой оставят в кадрах. А раз есть эта квартира, можно будет жить в Москве».

Жизнь человека, который давно в армии и давно на войне, чем-то сложней всякой другой человеческой жизни, а чем-то и проще. Сами военные порядки ставят предел его заботам о близких. Он делает для них то, что может и должен, но за каким-то пределом он уже ничего не может и ничего не должен. Война как бы освобождает его от ответственности за то, что он все равно не в состоянии сделать.

Но сейчас, выведенный своими мыслями из этого привычного состояния, Синцов с какой-то оторопью подумал о том, что после войны ему придется жить совсем по-другому, чем он живет сейчас, пока идет война.

— Все. — Артемьев встал и сложил пополам несколько листков бумаги, которые он успел исписать. — Клади в карман. Задержал тебя не на пять, а на двенадцать минут.

— Мог бы и дольше. Раз являться утром, запас времени имею.

— А, — махнул рукой Артемьев,— все равно всего не напишешь. Ответ привези. А главное, хочу от тебя услышать, как ты у нее был. Как вернешься, сразу дай знать.

— Все будет сделано.

Синцов сложил письмо еще вдвое и застегнул пуговицу на гимнастерке.

— Не забудь в китель переложить, когда в Москву поедешь.

— А я, скорей всего, в этой же гимнастерке и поеду,— сказал Синцов, подумав, что надо будет до утра подшить чистый подворотничок.

Артемьев снова накинул на плечи плащ-палатку и с непокрытой головой вышел из избы вслед за Синцовым.

— На старую квартиру все же зайди,— посоветовал Артемьев, уже стоя около своего «виллиса», с которым отправлял Синцова в штаб армии.

И Синцов, услышав это, подумал, что старая квартира и для самого Павла как запасная позиция. Может быть, иногда все же приходит в голову, что не уживется со своей Надеждой.

— Калашников,— обратился Артемьев к водителю,— во-первых, не гоните: ночь темная, лес и встречное движение машин

с боеприпасами. Во-вторых, на выезде из леса развилку быстрей проскакивайте. Они там бьют по ночам. Вчера полуторку прямым попаданием разбили...

Это он сказал уже не водителю, а Синцову и, повернувшись к водителю, спросил:

— Понятно?

— Все понятно, товарищ полковник.

— Тогда езжайте,— приказал Артемьев.

Обниматься с Синцовым не стал, но руку стиснул крепко и долго не отпускал. Отпустил, лишь когда Синцов стал садиться в «виллис». И когда «виллис» уже тронулся, все еще стоял, глядя ему вслед...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Вручишь командующему. А помимо письма, сам дай почувствовать, что ждем его. Способен на это? Полагаю, способен,— сказал Захаров, отдавая письмо Синцову. — Подумали — будет рад тебя видеть. Слыхал от него, как ты с ним в трудный час не по долгу службы, а по своей воле остался. В этих самых местах. Было так?

— Было.

— Значит, если захочет, есть что вспомнить вместе с тобой там, на отдыхе. — Захаров усмехнулся. — Когда-нибудь все только и делать будем, что войну вспоминать... — И снова стал серьезным: — Нам отсюда не видать, насколько он здоров. Вопрос деликатный — и торопить не вправе, и поторопить возникло желание. Вот и ориентируйся между тем и другим.

Больше Захаров ничего не сказал и отправил Синцова к начальнику штаба.

Генерал Бойко тоже передал свою записку для Серпилина в запечатанном конверте. На ощупь у него записка была короткая — в один листик.

— Узнаете в оперативном отделе утреннюю обстановку и доложите ее командующему. Карту взять разрешаю, но без обстановки. Доложите на память. Кроме того, для сведения командующего.... — Бойко понизил голос, хотя в хате не было никого, кроме них двоих, приказал сообщить Серпилину ту самую последнюю армейскую новость, которая еще не была отражена на штабных картах.

Синцов ждал, что за этим последует обычное «выполняйте», но Бойко, молча посмотрев на него, добавил:

— На вопросы командующего отвечайте правдиво. Без прикрас и домыслов; в пределах собственной осведомленности.

Сказал так, словно заранее дал выговор. Имелась у него такая привычка заглядывать в будущее.

А после всего этого была дорога до Москвы, занявшая больше времени, чем сначала думали. И резина оказалась лысая, и запаска тоже старая; пришлось три раза качать и клеить; и одна рессора по дороге полетела, а под конец сел аккумулятор; ехали на буксире, пока не завелся мотор.

Синцов считал, что раз он повез письма командующему, то машину дадут хорошую, можно, не проверяя, сесть и ехать. И ошибся. По дороге от водителя выяснил, что у командира армейского автобата был свой расчет: послал в Москву собственный, видавший виды «виллис», на котором давно требовалось сменить и резину, и аккумулятор, и задний мост, и еще что-то. И дал водителю записку в Москву к своему фронтовому другу, начальнику ремзавода. По этой записке за то время, что «виллис» пробудет в Москве, на нем должны были заменить все, что только можно, и вернуть на фронт новеньким. А до Москвы, считалось, и на таком, как есть, можно добраться: майор из оперативного отдела не велика птица!

Это, конечно, верно, но все же, учитывая поручение, с каким ехал Синцов, командир их армейского автобата был нахал и основывался на тройном расчете: авось доедут, а не доедут — авось не доложат, а если и доложат — авось обойдется!

Синцова тревожило, что они не поспевают в Москву даже к восьми утра, к подъему там, в Архангельском, когда приказано явиться к Серпилину. В конце концов, хотя и выбившись из сил, они все же среди ночи добрались до последнего перед Москвой КПП и по просьбе водителя, свернув с дороги в лесок, как мертвые проспали там три часа прямо в машине.

Зато вкатили в Москву ясным, солнечным утром; на Большой Полянке поливали мостовую, как в мирное время; только дворниками были теперь одни женщины.

А потом увидели с Каменного моста Кремль, стоявший, как и стоял.

И хотя Синцов не раз слышал, что за всю войну на Кремль так и не дали упасть ни одной немецкой бомбе, все-таки вид Кремля, продолжавшего стоять целым и невредимым, заставил его вспомнить, как седьмого ноября сорок первого года он в последний раз был здесь, в Москве; стоял в строю на Красной площади и сквозь все гуще сыпавшийся снег смотрел на Мавзолей и на Сталина, а после парада проходил под уклон, вниз, мимо Спасских ворот, а потом по набережной, а потом по Большой Полянке и дальше через Серпуховскую площадь на фронт, навстречу наступавшим на Москву немцам.

...На улице Горького уже не поливали, кончили. Асфальт был сильно побит за войну, но от еще не просохшей воды все равно казался свежим.

Синцов остановил «виллис» на углу, напротив Центрального телеграфа, и перешел улицу.

На телеграфе было немного народу, но в этот ранний час работали не все окошечки, и Синцову пришлось переждать несколько человек, прежде чем очередь дошла до него.

Сидевшая за окошечком худая девушка с такой длинной цыплячьей шеей, что жалко было смотреть, долго, как спросонок, думала, прежде чем ответить на его вопрос: за сколько часов могут доставить в Ташкент телеграмму-«молнию»? Потом сказала, что за шесть часов должны доставить.

— Должны доставить или доставят? — спросил Синцов.

Она страдальчески пожала плечами, словно не понимая, для чего он мучает ее такими вопросами, и опять не сразу ответила, что, наверно, доставят.

— А вы с оплаченным ответом «молнии» принимаете?

— Принимаем.

— А за сколько она оттуда дойдет, если дать обратный адрес сюда, к вам, до востребования?

Девушка снова подумала и сказала, что если до востребования, то «молния» должна дойти оттуда быстрей, чем туда: не нужно будет времени на доставку.

Синцов взял у нее бланк, подошел к столу и в ожидании, когда освободится единственная ручка, стал еще раз считать, как все это может выйти, если он пробудет сутки в Москве, а «молния» действительно дойдет туда за шесть часов и сразу застанет дома Таню или Танину мать, и они сразу же пойдут на телеграф и отправят ему ответ. Выходило, что он тогда получит от них ответ завтра утром или даже сегодня вечером. Но если его «молния» не застанет их дома, если Таня еще в больнице, а мать в дневной смене и вернется только к ночи,— выходило, что он не получит от них ответа за эти сутки и, если не задержится в Москве, уедет, так ничего и не узнав.

Ручка наконец освободилась, и он, царапая по шероховатой, с соломинками бумаге брызгавшим чернилами пером, торопливо написал уже мысленно составленный текст:

«Молнируйте здоровье Центральный телеграф востребования буду Москве сутки целую Ваня».

Что еще напишешь в «молнии»?..

— На сколько слов оплаченный ответ? — спросила девушка, когда он подал телеграмму.

— На тридцать слов.

Девушка сделала наверху на телеграмме свои надписи, потом, шевеля губами, долго считала, сколько надо заплатить за эту «молнию», и, когда он заплатил, сказала:

— Вы вечером зайдите, товарищ майор, вдруг ответ быстро придет. Все же это «молния».

Синцов услышал в ее голосе сочувствие к своей тревоге, которую она вычитала в телеграмме, и, беря из ее тонких, как у ребенка, пальцев квитанцию и сдачу, подумал, что эта девушка за окошком так медленно тянет слова и так медленно думает и считает, наверное, не потому, что не выспалась, как он сперва сердито подумал о ней, а просто потому, что она слабая, изголодавшаяся и ей все трудно: и говорить, и считать, и сидеть там, за этим окошком.

«Получает, наверно, служащую карточку, да еще иждивенцев имеет...»

Он вспомнил прошлогодние рассказы Тани о том, как живут люди в Ташкенте, с новым приливом страха за нее подумал: «Что же все-таки случилось, почему не пишет?» — и пошел из телеграфного зала на центральную переговорную: решил попробовать, кроме «молнии», сделать еще вызов по телефону, чтобы они тоже пришли там, в Ташкенте, на переговорную.

В переговорной стояла густая толпа; вот уж где сразу, за одну минуту, можно было понять, скольких людей война обрекла на разлуку! Люди медленно шевелились, проталкиваясь и тесня друг друга, стояли у стен, сидели на стульях, скамейках, подоконниках. Одни вздрагивали от каждого доносившегося из хриплого репродуктора вызова в кабину, а некоторые, наверно ждавшие еще с вечера, спали, притиснутые друг к другу.

В окошечке, к которому он все же протолкался, потратив на это полчаса, Синцову сказали, что линия с Ташкентом сейчас повреждена, а если ее восстановят, то новые заказы будут принимать только после двадцати четырех часов, значит, в три ночи по ташкентскому времени. А кто их там, в Ташкенте, будет искать среди ночи и вызывать на переговорную?

Оттесняемый другими, протискавшимися вперед людьми, он постоял еще с минуту у окошечка и двинулся к выходу.

Большие часы на стене переговорной показывали без четверти семь. Вынув из кармана гимнастерки свои часы, он подвел их на две минуты. Раньше носил ручные, но теперь если носить их на правой руке, то пока со своим протезом застегнешь браслетку — целая история! А по-прежнему носить на левой — тоже неудобно: надо надевать часы поверх ремня, на котором держится протез.

Уже пора было ехать в Архангельское к Серпилину. На дорогу хватит сорока минут, но надо иметь запас.

Кладя часы в карман, Синцов вспомнил о письме Артемьева и, достав его, посмотрел адрес: Горького, четыре, квартира шесть, буквально здесь же, напротив телеграфа.

На конверте не было фамилии, только адрес, телефон и имя-отчество: «Надежде Алексеевне». Он и раньше смотрел на этот конверт, но только сейчас подумал, почему на нем нет фамилии.

Наверно, когда выходила замуж за Артемьева, не переменила прежней. Хотя Козырев давно погиб, но все равно его имя у всех на памяти, еще с Испании. Вот и не переменила. А Павел из самолюбия не захотел писать на конверте не свою фамилию. Очень просто.

Синцов подошел к автомату и набрал стоявший на конверте номер: решил сразу с утра сказать хотя бы по телефону, что привез ей письмо от мужа.

В трубке один за другим раздавались длинные гудки. Он досчитал до десяти и повесил. Наверное, там еще спали.

До Архангельского Синцов добрался быстрей, чем думал. Узнав в регистратуре, в каком корпусе и в какой палате находится генерал-лейтенант Серпилин, и пройдя пешком через парк, он уже без пятнадцати восемь оказался на месте. В штабе армии хорошо известно, что командующий встает всегда в одно и то же время — в шесть ровно, но как здесь, на лечении, кто его знает... Раз приказано явиться к восьми, незачем раньше и соваться.

Синцов присел на лавочку у выхода из аллеи, расстегнул полевую сумку, проверил еще раз все, что лежало в ней, и, снова застегнув, подумал, что, если проситься обратно в строй, надо сегодня поговорить об этом прямо с командующим: другого такого удобного случая не будет.

Он посмотрел на часы — оставалось ждать еще десять минут, а когда положил часы обратно в карман, увидел вышедшего на крыльцо корпуса Серпилина в тапочках и в синем лыжном костюме.

Довольно жмурясь на солнце, он то разводил руки в стороны, вниз ладонями, то сжимал их в кулаки и сводил к плечам,— наверно, радовался, что может это делать.

Потом открыл глаза и увидел подошедшего и стоявшего теперь в пяти шагах от него Синцова.

— Смотри-ка,— сказал он почти без удивления и шагнул с крыльца.

— Товарищ командующий... — Синцов, отрапортовав все, что положено — кто он есть и по чьему приказанию явился, стал отстегивать ремешок на полевой сумке, чтобы достать письма.

Но Серпилин остановил:

— Погоди. Отдашь. Во-первых, здравствуй. — Он пожал руку Синцову с такой силой, что у того заныли пальцы,— созорничал, хотел показать, что выздоровел. Пожал — и сам улыбнулся. — На лавочку пойдем сядем. Жалко от солнца уходить. Видишь, какое оно сегодня? Выздоравливающие — самые счастливые люди на свете. Всему радуются, даже до глупости.

Серпилин читал письма без очков, только подальше отодвигая листки от глаз. А Синцов сидел рядом на лавочке и, искоса глядя на него, думал, что командующий выглядит сейчас моложе, чем в последнее время на фронте, и что в этом своем синем лыжном костюме он похож на какого-нибудь тренера по футболу или по боксу: хотя и худощавый, но кость крепкая и под курткой чувствуются мускулы.

Письмо Бойко Серпилин прочел один раз, а письмо Захарова — два. Прочитав во второй раз, нахмурился и минуту над чем-то думал. Потом повернулся к Синцову, спросил:

— Карандаш имеешь?

Синцов подал ему карандаш и положил на колено полевую сумку, чтобы командующему было удобнее расписаться на пакетах.

Серпилин расписался, пометил день и час получения и отдал Синцову пакеты, а письма продолжал держать в руке.

— Карта при тебе?

— Так точно.

— Тогда пойдем в хату, доложишь обстановку.

«Хата» у командующего была хорошая, просторная, с большой никелированной кроватью, зеркальным шкафом и мебелью в парусиновых чехлах. На середине комнаты стоял круглый стол, накрытый плюшевой скатертью. На столе — стопка книг и графин с водой.

Серпилин кивнул, показывая, что здесь надо будет разложить карту для доклада, и, взяв стопку книг, сам отнес ее на подоконник. Синцов поставил графин на тумбочку около кровати и стал снимать со стола плюшевую скатерть. Серпилин, вернувшись к столу, сделал такое движение, словно хотел помочь, но Синцов быстро управился со скатертью, свернул и повесил на стул. То, что со стороны казалось трудным при его покалеченной руке, на самом деле не так уж затрудняло его, а трудными были как раз такие мелочи, о которых никто и не думал, например застегнуть две пуговички на правом обшлаге гимнастерки...

Разложив карту, Синцов стал докладывать обстановку, делая карандашом только слабые пометки, которые потом можно будет стереть резинкой. Такой доклад по чистой карте, на которой не обозначены ни наш передний край, ни передний край противни-

ка, ни первые, ни вторые эшелоны, ни командные пункты, ни тылы, ни огневые позиции, требовал напряжения памяти. Синцов старался оказаться на высоте и не допустить ни одной неточности, хотя понимал, что главное для Серпилина сейчас не сами контуры огневых позиций или флажки командных пунктов, а совсем другое, то, что постепенно вырастало перед ним за всеми этими подробностями. Главное для Серпилина состояло в том, что, судя по нарезанной его армии узкой полосе, при которой на переднем крае стояли только две дивизии, а четыре оставались в глубине, можно было предполагать, что именно здесь, в полосе его армии, и собираются наносить главный фронтовой удар. Если бы его армию поставили на вспомогательное направление, навряд отвели бы ей такую узкую полосу и так глубоко эшелонировали ее дивизии.

Переведя дух и на этот раз вовсе не прикасаясь к карте, Синцов острием карандаша обвел над ней в воздухе, примерно в тридцати километрах от линии фронта, круг, захвативший лесной массив и несколько населенных пунктов.

— Генерал Бойко приказал доложить вам, что сюда, в нашу полосу, начинает прибывать стрелковый корпус, который намечено передать в состав нашей армии.

— С этого бы и начинал! Какой корпус? Кто командир? — весело спросил Серпилин.

По его лицу было видно, как он обрадовался известию об этом корпусе: раз дают еще один корпус, значит, армия действительно будет наносить главный удар.

— Не могу знать, товарищ командующий.

— И на том спасибо,— все так же весело сказал Серпилин. — Карту сложи и оставь мне.

Синцов сложил карту и достал из сумки полевую книжку.

— Прошу расписаться, товарищ командующий.

Серпилин расписался, бросил на стол карандаш и заходил по комнате, словно не зная, что ему теперь делать и с самим собой и со стоявшим перед ним Синцовым. Потом остановился и спросил:

— Завтракал? Только не ври!

И, услышав, что нет, пока не завтракал, сказал, что за большее не ручается, но творогом или манной кашей накормит. А все другие вопросы — после, на сытый желудок.

— Пойдем, только полотенце возьму, у меня сразу после завтрака процедура, а ты подождешь в парке, соберешься с мыслями: вопросов много будет!

Он взял со спинки кровати полотенце и, перекинув через плечо, спросил:

— А другие, попутные поручения в Москве у тебя есть? Не может быть, чтобы не дали! Не такой человек генерал Бойко...

Синцов не успел ответить. Отворилась дверь, в комнату вошла высокая женщина в белом медицинском халате — наверное, врач — и строго, как начальник подчиненного, спросила Серпилина:

— Почему вы до сих пор не на завтраке? Я вас обыскалась. Главный терапевт приехал... Уже сговорилась с ним, что вы сейчас же придете, а вас нигде нет...

Она лишь теперь заметила стоявшего в другом углу комнаты Синцова и недовольно посмотрела на него.

— Не видела, что у вас гости.

— Это мой офицер. Привез письма и доложил обстановку. А помимо всего прочего товарищ по оружию, из окружения с ним выходил... Познакомьтесь.

Серпилин начал неуверенно, даже непохоже на себя, словно стеснялся присутствия этой женщины. Но последние слова договорил с улыбкой и даже, взяв Синцова за плечо, подтолкнул к ней.

— А я лечащий врач вашего командующего,— сказала женщина. — Понимаю, что помешала, но надо идти!.. Сейчас самое главное для вас — главный терапевт!

Она сказала это уже не Синцову, а Серпилину, первой выходя из комнаты. Так и шла потом по аллее впереди них, иногда оборачиваясь, торопя их идти за собой.

Идя сзади, Синцов заметил то, чего нельзя было не заметить, глядя ей в спину: что она сложена — лучше не бывает и, когда идет впереди, выглядит как двадцатилетняя.

«Хотя на самом деле, наверно, старше меня,— подумал Синцов, вспомнив красивое, но не такое уж молодое лицо женщины. — Лет тридцать пять, не меньше...»

Серпилин первые сто шагов шел молча, а потом, покосясь на Синцова, шедшего, как положено, чуть сзади начальства, и пригласив его этим взглядом идти вровень, сказал:

— Вернемся к разговору. Как с поручениями: есть или нет?

Синцов ответил, что поручения есть: приказано попутно явиться в топографическое управление Генштаба и получить там новые листы карт.

— Какие листы?

Синцов назвал литеры листов, которые он должен был получить, и Серпилин довольно усмехнулся: все одно к одному — листы карт, которые предстояло получить Синцову, тоже говорили о предстоящем наступлении.

— Раз имеешь поручение,— помолчав и пройдя еще несколько шагов, сказал Серпилин,— сделаем так: сейчас поезжай, занимайся делами, а завтра в девять прибудешь сюда за ответом на письма, уже готовый в дорогу... Как думаете, Ольга Ивановна, сколько меня сейчас главный терапевт продержит?

— Не могу вам этого доложить, Федор Федорович,— повернувшись на ходу, но не замедляя шага, сказала женщина. — Думаю, что вам на главного терапевта времени жалеть не надо. Сколько продержит — столько продержит, лишь бы в вашу пользу.

Сказала и пошла дальше.

— Товарищ командующий, разрешите обратиться по личному вопросу,— попросил Синцов, прикинув, что идти до главного корпуса остается всего несколько минут, а поговорить с Серпилиным лучше до того, как он напишет письма в армию.

— Ну что ж, обращайся,— весело, как почти все, что он говорил в это утро, сказал Серпилин. — Тем более хорошие известия из действующей армии в стольный град Москву привез; при царях за одно это курьерам кресты давали!

Синцов сказал, что побывал недавно в сто одиннадцатой, в своем бывшем полку, у Ильина, и потянуло пойти обратно в строй. К руке за год привык, надеется, что и в строю помехой не будет.

— Вернусь — подумаем. Можем послать начальником штаба полка... — Мысленно перебрав ступеньки фронтовой службы Синцова, Серпилин чуть было не добавил: «а можем и командиром». Но удержался: лучше обещать меньше, а сделать больше, чем наоборот. Сказал вместо этого коротко: — К началу боев будешь в строю. Эту просьбу выполню. Других нет?

— Других нет, товарищ командующий.

— А про нашу сто одиннадцатую завтра утром мне расскажешь, давно в ней не был... За сколько до Москвы доехал?

Синцов, не вдаваясь в жалобы, доложил, как было,— за двадцать один час, но добавил, что обратно доедут быстрей.

— Долговато,— сказал Серпилин, наверно подумав о самом себе и своей будущей дороге на фронт.

Впереди был главный корпус, а налево ворота, за которыми Синцов оставил машину.

— Завтра в девять, если плохая погода, ищи меня в хате,— сказал Серпилин,— а если хорошая, буду гулять здесь.

— Ясно, товарищ командующий.

Серпилин простился с ним, и женщина-врач тоже протянула ему руку с таким подобревшим лицом, словно он сделал для нее что-то хорошее.

— Желаю, чтобы никогда ни одна пуля вас больше не тронула!

И пошла вместе с Серпилиным в главный корпус.

Синцов так и не понял, почему она вдруг так от души это сказала. То ли обратила внимание на его руку и нашивки за шесть ранений. То ли еще почему-то, неизвестно почему...

Дел у Синцова хватило на весь день. Сначала поехал в Московскую комендатуру отметиться, получить талоны в столовую и разрешение на койку в офицерском общежитии для приезжающих там же, при комендатуре; потом надо было заехать с водителем на ремзавод около Яузского моста. И не просто заехать, а своими ушами услышать, что завтра к восьми «виллис» будет на ходу. Оставив машину там, добрался на трамвае в центр и час ждал в бюро пропусков, звоня по телефону начальству, которое могло распорядиться выдачей пропуска, а дозвонившись, ждал, когда спустят заявку. Получив пропуск и поднявшись наверх, выяснил, что разрешение на выдачу комплекта карт зависит не только от того начальства, к которому попал, а еще и от другого,— пришлось ждать и этого другого. А сам комплект карт, оказалось, должны были выдать не в этом, а в другом отделе, который находился в другом конце города; пока ехал туда, пока опять звонил там и опять дожидался пропуска, дело подошло к шести вечера. Чтобы забрать карты, приказали явиться завтра к десяти утра. Остальное все, что полагалось, правда, было уже сделано. Да и то, что карты получать завтра, к лучшему: куда с ними таскаться остаток вечера по Москве без машины? Будешь ходить как привязанный, не выпуская их из рук.

Знал, что рано, что ответа на телеграмму еще не могло быть, но все-таки поехал на Центральный телеграф, протолкался к окошечку «До востребования», сунул в него удостоверение личности и услышал, что никаких телеграмм на имя И. П. Синцова нет.

После этого еще раз позвонил по автомату жене Артемьева. Звонил ей за день уже три раза — никто не отвечал. Не ответили и теперь.

«Надо будет на всякий случай зайти, бросить письмо в ящик, а потом еще позвонить. Может, она куда-нибудь взяла да уехала, кто ее знает... — с мимолетным интересом подумал Синцов о Наде. — Сколько ни мучила Павла тогда, в школе, когда все вместе учились, сколько потом ни швыряло от него в разные стороны, а все же под конец кинуло к нему. Дождался своего. Тогда всем было по семнадцать, по восемнадцать, а теперь ей тоже тридцать два, как и Павлу, самое меньшее — тридцать один...»

Словно ударившись открытой раной о жесткий угол, он опять вспомнил Таню в одну из самых счастливых их ночей. Вспомнил, как она, выздоровев от тифа, вернулась на фронт, и нашла его там, и всю ночь не хотела спать, и, смеясь, рассказывала ему всякие подробности своей жизни, которых раньше, до этого, так и не успела рассказать. И среди них вдруг о том, как познакомилась с Надей и с ее матерью, как пуганула у них на квартире из пистолета спекулянта, когда тот делил с Надиной матерью свой спекулянтский сахар. А про Надю говорила, что она хорошая баба. И он тогда не спорил с ней — какие тогда споры, в ту ночь. Это было в конце июня, за неделю до начала Курской битвы...

Синцов вышел из здания телеграфа и пошел вниз по улице Горького, то и дело прикладывая руку к козырьку фуражки, приветствуя или отвечая на приветствия шедших навстречу военных. Военных в Москве много, он заметил это еще с утра. Война большая, и пути ее и с фронта в тыл и с фронта на фронт для многих идут через Москву. Синцов весь день сегодня чувствовал эту величину войны, и когда ждал в бюро пропусков, и когда ходил по разным управлениям и отделам.

Приехавший с фронта по служебным надобностям фронтовой майор чувствовал себя здесь, в Москве, только песчинкой этой войны. Никто не устраивал проволочек в его деле, наоборот, относились к нему доброжелательно, даже с уважением глядели на его четыре боевых ордена, две медали, за Москву и Сталинград, и шесть нашивок за ранения — три золотых за тяжелые и три красных за легкие. Но дело, по которому он приехал, было всего-навсего одним из многих тысяч дел, которые провертывались ежедневно в этой военной машине, управлявшей одиннадцатью воевавшими фронтами и двумя невоевавшими — Закавказским и Дальневосточным, десятком военных округов, транспортом, связью, тысячами госпиталей и тысячами всяких иных неисчислимых и разных учреждений и ведомств. И само многолюдство военных на улицах Москвы было только житейским отражением мощи и необозримости всей этой военной машины.

Дойдя до низу улицы Горького, Синцов пересек ее и стал подниматься наверх по другой стороне. Судя по номеру, Надя должна была жить во втором большом доме по этой, правой руке.

Он остановился, вспомнив это хорошо знакомое ему место таким, каким оно было в октябре сорок первого года. В последний раз он проходил тут мимо не в октябре, а уже в ноябре, в строю, на парад, и от того метельного ноябрьского утра остались в памяти не дома, а танки, стоявшие цепочкой, один за другим, вдоль всей улицы Горького. А шестнадцатого октября запомнились именно дома и разные подробности: телефон-автомат с раз-

битыми стеклами и болтавшимся без трубки шнуром, обрывки обгорелых бумаг, выброшенных сверху из окон, закрытые доверху мешками с песком витрины магазинов. Сейчас мешков не было, витрины были целы, вымыты, и за ними толпились люди.

Остановившись, он заметил прошедшего мимо и мельком, с любопытством взглянувшего на него короткого рыжего человека в рыжем, как волосы, костюме, с туго затянутым узелком пестрого галстука. Подумав, что они где-то виделись, Синцов продолжал стоять и смотреть на людей, толпившихся за стеклами магазина, как вдруг этот человек снова оказался перед ним.

— Привет, к-к-комбат! — Человек так заикнулся на слове «комбат», что Синцов сразу вспомнил, где он видел этого рыжего заику,— у себя в батальоне, под Сталинградом, в первые сутки зимнего январского наступления, вместе с Люсиным.

— Я Гурский,— сказал рыжий. — Если, к-конечно, не п-путаю, был у вас в б-батальоне на высоте сто тридцать семь и два, к-которую вы взяли сверх п-приказа, как говорится, п-по собственному желанию. Поэтому и запомнил. Не об-бознался?

Он протянул Синцову покрытую рыжим волосом веснушчатую руку.

— Не обознались, я,— сказал Синцов.

— Рад вас видеть на этом с-свете, п-плохо приспособленном для д-длительного п-проживания на нем п-пехотных комбатов,— сказал Гурский. — Вообще радуюсь, когда вижу людей по второму разу. П-при моей п-профессии — нынче здесь, а завтра там — не так часто уд-дается. Что п-поделываете в Москве?

— В кратковременной командировке. Завтра снова на фронт.

— На к-какой, если не секрет?

Синцов назвал свой фронт.

— Вон вас куда м-метнуло. А я п-последние месяцы в Москве околачиваюсь. Несмотря на мое н-незаконченное среднее образование, редактор заставил п-писать п-подвалы об истории русского офицерства. М-может, читали?

— Первые два читал. Но не подумал на вас, думал, это какой-нибудь ваш однофамилец из старых офицеров.

— К оф-фицерскому сословию даже сейчас, к сожалению, не п-принадлежу п-по п-причине п-полной негодности к военной с-службе. — Гурский показал пальцем на свои толстые марсианские очки. — П-по-прежнему остаюсь вольнонаемным н-необученным. А по-по социальному п-происхождению — сын сапожника, как т-товарищ Сталин.

Синцов улыбнулся. Помнил, конечно, по биографии, что Сталин — сын сапожника, но сейчас, после трех лет войны, было както чудно́ вспоминать об этом.

— П-принимали пищу?

— Пока нет,— снова улыбнулся Синцов той необычной манере, в которой Гурский говорил самые обыкновенные вещи.

— Им-меете какие-нибудь личные п-планы?

— В общем-то нет. Только письмо надо забросить в ящик, тут в одну квартиру... — Синцов показал рукой на дом, около которого они стояли.

— Идите забрасывайте,— сказал Гурский,— а я п-подожду. П-приглашаю вас от-тобедать. Как говорится, з-запросто. Т-тет-а-тет.

Сказал щеголевато, так, словно взял эти слова напрокат из своих собственных статей об истории русского офицерства. И Синцов улыбнулся этому.

— Где будем обедать?

— А это уж по м-моему усмот-трению. С-сегодня моя очередь угощать в ответ на ваш ст-талинградский харч.

— Что-то не помню, чтобы мы вас угощали.

— Вы не п-помните, а я п-помню, ваш к-кондер с т-тушенкой и д-двойную порцию сп-пирта, которую мне уступил замполит вашего п-полка. К-как он, ж-жив-здоров?

— Убит.

— Ст-транное дело. П-почему-то хорошие люди чаще т-торопятся отправиться на т-тот свет, чем п-подонки. Ладно, ступайте, б-буду ждать вас здесь, не сходя с м-места.

Когда Синцов, поднявшись на четвертый этаж и на всякий случай позвонив, бросил письмо в прорезь для почты и вернулся, Гурский ждал его, действительно не сходя с места и даже в той же позе — стоял и о чем-то думал.

— О чем задумались? — спросил Синцов.

— О н-несовершенстве этого мира, о чем же еще д-думают п-порядочные люди, ост-таваясь наедине с собой,— сказал Гурский без улыбки. — Пойдем тут, н-немного п-повыше, м-меня там иногда к-кормят за т-те же деньги, чт-то и в других коммерческих рест-торанах, но ч-чуть-чуть п-получше.

— А не прогорим? — Синцов вспомнил, что у него с собой мало денег.

— Вы не п-прогорите потому, что я вас п-приглашаю, а я не п-прогорю потому, что только что п-получил деньги, сразу за т-три передовых. Б-более чем достаточно на п-пол-литра с п-приличной закуской.

— Когда я работал в газете, не любил писать передовые,— сказал Синцов. — Хотя у вас в «Красной звезде» бывают неплохие — берете быка за рога.

— Спасибо,— без улыбки сказал Гурский, так, словно похвала Синцова относилась прямо к нему и именно он писал те передовые, в которых брали быка за рога.

Он придержал Синцова за локоть:

— Н-не п-попадите под машину, неп-подходящая с-смерть для фронтовика, д-даже если п-по привычке нап-пишут, что п-пал смертью х-храбрых. А я люб-блю писать передовые. — Он продолжал придерживать за руку Синцова, хотя они уже перешли улицу и снова шагали по тротуару. — Воспитал в себе п-привычку чувствовать себя б-безымянным героем. А к-кроме того, м-может быть, вам известно изречение М-мольтке об офицерах генерального штаба: «Б-больше б-быть, чем к-казаться».

— Слышал от нашего начальника оперативного отдела,— сказал Синцов. — Любит утешать себя этим.

— А вы теперь в оп-перативном отделе? — спросил Гурский и, прежде чем Синцов успел ответить, кивнул на его руку: — Г-где это вас?

— Еще там, в Сталинграде, в последний день.

— П-понятно.

Они прошли молча несколько шагов, и Гурский вдруг задержался на месте так, словно его остановило что-то невидимое.

— Когда вы сказали про п-последний д-день, п-подумал о тех, кто п-погибнет в п-последний д-день войны. Оч-чевидно, родственники будут их жалеть б-больше всех ост-тальных. Как будто в п-последний д-день войны этого м-могло не случиться. Хотя на самом деле именно п-потому, что это п-последний день в-войны, в этот день должны будут п-погибнуть и п-последние несколько сот или т-тысяч людей. А то, что у войны неп-пременно будет п-последний день, зап-планировано обеими сторонами с ее п-первого дня. Вопрос только, к-когда и где он будет.

— Ну и как, по-вашему, когда или хотя бы где?

— Логика событий п-последнего времени подсказывает, что в Берлине, если только нас не уп-предят наши с-союзники, что н-нежелательно, исходя из п-послевоенных соображений.

— Послевоенные соображения! — усмехнулся Синцов. — Не рано ли о них?

— П-почему рано? Когда п-послевоенные с-соображения возникают п-после войны, это п-поздно. Они д-должны возникать во время войны и оп-пределять собой длину п-паузы между двумя войнами, этой и с-следующей. А те соображения, к-которые будут возникать уже п-после этой войны, п-перед с-следующей, б-будут называться уже не п-послевоенными, а п-предвоенными сооб-бражениями. К с-сожалению, с исторической точки зрения, это именно т-так.

— А ну вас к черту с вашей исторической точкой зрения!

— С-согласен. Но к-куда ее д-деть? Если она с-существует и ни в з-зуб ногой? Как сказал Маяковский по д-другому п-поводу. Ут-топить ее в водке, что ли? К сожалению, не сп-пособен, даже п-после литра на д-двоих. История вообще вещь для в-веселья мало об-оборудованная, как говорил т-тот же М-маяковский. Говорю вам это с г-грустью, как историк по п-призванию.

Синцов вспомнил, как Гурский при встрече сказал о своем незаконченном среднем образовании, и пошутил:

— Хотя и с незаконченным средним?

— С-совершенно в-верно. Образованный ч-человек тем и отличается от н-необразованного, что продолжает считать свое образование н-незаконченным. Н-не так ли?

Синцов ничего не ответил на это, подумал, что разные люди по-разному стремятся показать свое превосходство над тобой: один спешит показать, что снисходит к тебе с высоты своего служебного положения, а другой из кожи вон лезет, чтобы втемяшить в тебя, какой он умный! И чаще всего это от их собственных неладов с жизнью: один не способен делать то, что ему поручено, а другому не дают делать то, на что он считает себя способным.

Умничанье Гурского не рассердило его, и он даже с каким-то сожалением посмотрел на этого слишком умного рыжего человека.

— Чего на меня см-мотрите? — с какой-то звериной чуткостью встрепенулся Гурский под его взглядом.

— Умный вы человек.

— П-представьте, иногда д-даже сам за с-собой это з-замечаю,— усмехнулся Гурский.

«Сам-то ты замечаешь,— подумал Синцов. — Да другие, видно, не всегда спешат заметить».

Они вошли в ресторан и сели в углу за столик, на котором лежала бумажка «занято».

— Н-не люблю слова «з-занято», есть в нем какая-то н-несправедливость. — Гурский перевернул бумажку и подозвал некрасивую и немолодую официантку: — Д-диночка, б-будь так добра, д-дай нам п-пол-литра и к-какой-нибудь з-закусочки на т-твое усмотрение. И п-попроси на к-кухне у Коли две соляночки на ск-ковородке.

Немолодая и некрасивая женщина улыбнулась, поставила на стол пепельницу и ушла.

— Часто бываете здесь? — спросил Синцов.

— К-как п-позволяет бюд-джет. Н-не особенно. Но приплачиваю к счету, чтоб не заб-были. А т-то люди забывчивы,— ска-

зал Гурский и без паузы спросил: — Ваш замп-полит полка когда погиб?

— Тоже в последний день под Сталинградом.

— А к-как?

— Обыкновенно, как люди погибают. А через минуту после этого тишина. Вообще все кончилось. Наверно, вы правы, что больше всех будем жалеть тех, кто в последний день погибнет.

— Если на от-ткровенность, м-можете мне не верить, но мне еще т-тогда показалось, что он не жилец на этом с-свете.

— Почему?

— Слишком п-прямой человек. К-когда человек зигзагом идет, в него реже п-пули попадают. К-конечно, в б-более широком смысле с-слова...

Официантка принесла водку и хлеб, Гурский налил рюмки и, не дожидаясь, пока принесут закуску, отломил корку хлеба, густо намазал ее горчицей и посолил.

— Советую п-последовать моему п-примеру. Б-будьте здоровы.

Он опрокинул рюмку, не дожидаясь Синцова.

— Нашу ст-татейку п-про тот день, когда мы б-были там у вас, ч-читали?

— Читал,— сказал Синцов.

— Б-более или м-менее близко к истине? — спросил Гурский.

Синцову не хотелось отвечать на его вопрос, и Гурский это заметил.

— Д-давайте без в-виражей, выходите на п-прямую.

Синцов сказал, что, конечно, когда прочли о себе корреспонденцию в газете, да еще в «Красной звезде», чувствовали себя именинниками. Но, наверно, бой вообще трудно описать близко к истине. Если бы в гуще боя вдруг появился какой-то неуязвимый человек, способный спокойно наблюдать все, что вокруг него делается, наверно, только он смог бы написать потом все близко к истине. А когда сам себя вспоминаешь, каким ты был и что делал в бою, сам себе не веришь: неужели все это так и было с тобой?

— Чеп-пуха,— сказал Гурский. — Ваш н-неуязвимый человек н-не поймет в бою ни б-бельмеса. Чтобы что-нибудь п-понять, к-как раз н-надо оказаться хотя бы н-немножко уязвимым. А к-корреспонденция наша, в-вы правы, п-получилась н-ниже среднего: м-мой последний опыт к-коллективного творчества с вашим п-приятелем Люсиным.

Синцов почувствовал: Гурский ждет, чтоб он спросил его о Люсине. Но спрашивать о Люсине не хотелось. Если жив — пусть живет. А если убит — мир праху.

— Т-товарищ Люсин теперь б-большой человек — н-начальник отдела,— так и не дождавшись вопроса, с не покидавшей его лицо усмешкой сказал Гурский. — Еще г-годик-п-полтора войны — и будет п-полковником и зам-местителем ред-дактора.

«А шут с ним, пусть хоть редактором будет, пусть хоть в какой угодно газете будет и редактором, и генералом, и кем угодно, только бы с Таней все было хорошо»,— неожиданно подумал Синцов. Подумал, сам сознавая, как нелепа его мысль, и все-таки почему-то связывая одно с другим, словно речь шла не о боязни за жизнь дорогого ему человека, а вообще о борьбе между добром и злом, и этому злу надо дать какой-то выкуп за жизнь и здоровье Тани.

— Д-думаете, всуе сказал п-про год-п-полтора,— по-своему истолковав молчание Синцова, спросил Гурский. — Считаете, война раньше к-кончится?

— Я совсем о другом сейчас задумался,— с трудом отрываясь от своих мыслей, сказал Синцов. — А насчет сроков — на фронте всегда живешь или происходящей, или предстоящей операцией — о ней и думаешь, за редкими исключениями. Правда, недавно в разговоре между собой даже с циркулем прикидывали, сколько до чего нам осталось. И вышло, что от того леса, в котором сидим со своим оперативным отделом, до Могилева — восемьдесят, до Минска — двести пятьдесят, до границы — пятьсот, до Варшавы — семьсот, до Берлина — тысяча двести. При любых темпах наступления расстояние еще приличное. Им до Москвы еще и теперь вдвое ближе, чем нам до Берлина. Если по карте.

— К-как известно из в-военной истории, во время п-первой мировой войны Германия запросила п-пардону, когда ее войска еще находились н-на территории Франции.

— Это мне тоже известно,— сказал Синцов. — Но когда что будет, судить не берусь. Война к конкретному мышлению приучила: сидя в оперативном отделе армии, вижу перед собой на карте Могилев — думаю о Могилеве. А вернусь из Москвы, перейду на должность начальника штаба полка, буду иметь перед собой на переднем крае болото и лес, а в глубине три высоты и деревню — о них и буду думать.

— А п-почему вы... — начал было Гурский, но замолчал.

Наконец-то к их столику шла официантка. Он уже несколько раз до этого, нервно высучивая из воротничка заросшую рыжим волосом шею, смотрел в сторону дверей на кухню и сейчас, кажется, собирался укорить официантку, но, увидев у нее на подносе кроме тарелки с кетой и нарезанным колечками луком судок с горячей картошкой, сказал:

— К-картошечка! Молодец, Д-диночка! Вот теперь в-вижу, что ты меня д-действительно помнишь.

Они выпили еще по рюмке водки, закусили соленой кетой и картошкой с маслом, и Синцов похвалил и кету и картошку, потому что все это действительно было вкусно и потому что хотел сделать приятное Гурскому, который просто просиял при виде этой картошки.

— М-мыслящий человек д-должен уметь извлекать б-большое удовольствие из м-мелких радостей жизни,— сказал Гурский, жуя свою картошку и уже не в первый раз за время их разговора словно угадывая то, что подумал Синцов. — П-потому что чем у него б-больше в голове ст-тоящих мыслей, тем у него м-меньше в жизни к-крупных радостей. Вся н-надежда на м-мелкие. Д-давайте выпьем еще по одной, чтобы их все-таки было п-побольше. А т-теперь задам вам вопрос, от к-которого отвлекла к-картошка. П-почему из оп-перативного отдела армии в начальники штаба полка?

— Ближе к делу,— сказал Синцов, и Гурский удовлетворился этим, не стал больше спрашивать.

— К-когда начнете н-наступать, приеду к вам в п-полк. Д-думаю, что н-найду. У н-нас редакция хорошо информированная. Только надо закончить мою ист-торию русского офицерства, пока вы еще наступать н-не начали, так и не ус-спев д-дочитать п-перед этим.

— Пока не дочитаем, не начнем,— улыбнулся Синцов. — Читают, между прочим, с интересом. Много еще будет?

— Дело к концу. От П-петра Великого до Ск-кобелева уже д-добрался. А русско-японская и германская войны, к сожалению, н-не изобилуют п-положительными п-примерами. Интересно,— помолчав, сказал Гурский,— что у вас там г-говорят в в-вашем офицерском кругу о вт-тором фронте?

— Говорим мало. Надоело толочь воду в ступе,— сказал Синцов.

Гурский усмехнулся.

— В вопросе о сроках открытия второго фронта есть своя д-диалектика,— сказал он. — С од-дной стороны, к-каждый день задержки второго фронта — это лишние г-головы, к-которые мы кладем в б-боях. И это их вп-полне уст-траивает. А с д-другой стороны, ч-чем раньше они его отк-кроют, тем у них б-больше шансов п-первыми войти в Берлин. Т-теперь скоро откроют. После того, как мы в-весной вышли к г-границам Румынии, для м-меня л-лично это п-почти оч-чевидно. Они не м-могут себе п-позволить, чтобы мы, не д-дожидаясь их, освободили слишком б-большой к-кусок Европы.

— А я иногда думаю вовсе о другом,— сказал Синцов,— станет или не станет им наконец совестно?

— А к-кому именно должно, по-вашему, стать с-совестно? — спросил Гурский. — Ч-черчиллю д-должно стать с-совестно? П-почему?

— Не знаю,— сказал Синцов. — Но, по-моему, им где-то в глубине души все-таки должно быть совестно.

— Ну что ж, м-может быть, кому-то из них и совестно, т-тем более в г-глубине души. Но второй фронт они откроют не п-потому, что им с-совестно, а п-потому, что им это н-нужно.

— Так думать проще всего,— сказал Синцов. — Только жить при этом как-то неохота.

Сказал не о втором фронте, а о чем-то отдаленном и страшном, стоявшем за словами Гурского и касавшемся не только второго фронта, а всей жизни вообще.

— А м-мы вообще ж-живем не п-по личному желанию, а п-по необ-бходимости,— сказал Гурский. — К-как вам известно, мы в н-нормальных обстоятельствах не п-приемлем самоубийства. К-казалось бы, п-просто: н-не хочешь жить, н-не живи. А н-на самом деле от т-тебя требуется д-другое. Не хочешь жить, а ж-живи. П-поскольку в этом есть общественная н-необходимость. Д-даже когда сталкиваешься с т-такой грубой п-правдой, от к-которой жить н-не хочется. Все равно ж-живи.

— А ну вас к черту! — сказал Синцов. — Все вы думаете как-то навыворот, взявшись правой рукой за левое ухо.

— Н-не всегда, но ст-тараюсь,— усмехнулся Гурский. — К-когда думаешь, н-находясь в таком н-неудобном положении, это изб-бавляет от п-первых попавшихся мыслей и н-наталкивает на б-более содержательные.

В это время им наконец подали солянку. Гурский снова обрадовался ей так же, как давеча картошке,— и тому, что ее подали прямо на сковородке, и тому, что, только что снятая с плиты, она еще шипела.

Под эту огнедышащую солянку они быстро незаметно допили всю водку.

— Что, ут-томил вас разговорами об отвлеченных материях? — спросил Гурский.

— Да, на мою слабую фронтовую голову с непривычки тяжеловато,— сказал Синцов без улыбки.

— М-молодец, комбат, щ-щелкнул меня по носу и даже н-не улыбнулся. Считать себя умней собеседника — м-моя с-слабость! П-перейдем на конкретные т-темы. Не устроить ли вас п-переночевать?

— Спасибо, уже устроился, в комендатуре.

— П-первый вопрос отпал. Несколько п-позже иду в гости к одной д-даме. Предп-полагаю, что там могут быть и д-другие. М-могу взять с с-собой, ост-тальное зависит от вас.

— Нет охоты,— сказал Синцов. — Боюсь, у меня что-то с женой случилось. Дал ей в Ташкент «молнию» и жду ответа.

— Д-думаю, что, если вы хорошо п-проведете вечер в М-москве, это не п-принесет никаких б-бед вашей жене в Т-ташкенте. Т-тем более на т-таком большом расстоянии. Но, конечно, в-вам видней,— сказал Гурский и поднял руки. — Н-не сердитесь. Иногда шучу глуп-пей, чем следует. Рас-сматривайте как п-процент неп-попадания!

Он взял у официантки счет и стал расплачиваться.

— Может, я все же приму участие? — спросил Синцов.

— С-следующий обед за вами. У вас в п-полку.

Гурский расплатился, и они встали.

Когда пошли между столиками к выходу, из-за дальнего стола, где сидело несколько женщин и мужчин, штатских и военных, кто-то поднялся и замахал Гурскому руками:

— Боря, иди сюда.

Тот сделал ответный жест, что еще вернется к ним, вышел вместе с Синцовым в вестибюль ресторана и продолжал стоять и ждать, пока Синцов брал в гардеробе фуражку.

— Ну что ж,— Синцов надел фуражку. — Спасибо за угощение и за разговор на отвлеченные темы.

— Не б-будьте м-мстительны,— сказал Гурский. — Н-несмотря на мое старание б-блеснуть перед вами, я в основном хороший п-парень. Б-будьте с-счастливы, комбат, н-насколько это в-возможно. И, р-ради бога, п-пусть с в-вашей женой все будет в п-порядке, т-только этого вам не хватало, в с-самом-то д-деле!

Он крепко пожал руку Синцова, и тот, уже выходя за дверь, почувствовал спиной, что Гурский продолжает стоять и смотреть ему вслед, не торопясь уйти к своим, ждавшим там, в зале ресторана, московским знакомым.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Когда Синцов, простившись с Гурским, еще раз зашел на телеграф, в окошечке «До востребования» сидела другая девушка, но ответ был тот же: телеграммы нет. Оставалось ехать ночевать в общежитие при комендатуре.

Уходя с телеграфа, он для очистки совести позвонил Наде и после первого же гудка услышал:

— Алло!

— Надежду Алексеевну!

— Это ты, Ваня? — поспешно сказал женский голос.

— Я.

— Я только что вернулась и прочла письмо. Павел пишет, что ты зайдешь. Заходи сейчас же. Где ты?

— Не так далеко.

— Зайдешь, да? — повторила Надя тревожно, словно боясь, что он почему-то не зайдет.

— Сейчас зайду.

— Ты знаешь адрес? Хотя ты же принес письмо! Скорей приходи.

Когда он поднялся на четвертый этаж, дверь квартиры была приоткрыта. Но он все-таки позвонил.

— Входи, входи,— раздался женский голос из глубины квартиры. — Я на кухне, сейчас...

Надя вышла ему навстречу с перекинутым через плечо кухонным полотенцем и, приподнявшись на носки, расцеловалась с ним по-родственному. Потом, потянув за руку из полутемной передней в столовую, где уже горел свет, стала разглядывать его.

— Вон ты какой стал! Майор...

Пересчитала глазами нашивки за ранения.

— Сколько же тебя?!

И, скользнув взглядом по кожаной перчатке, спросила:

— Болит?

— В общем — нет.

Надя стояла и продолжала смотреть на Синцова словно откуда-то издалека, сравнивая его, нынешнего, с тем, какого в последний раз видела на выпускном школьном вечере.

И он тоже стоял и смотрел на нее. Таня говорила про нее, что она красавица. Может быть, и красавица. Тогда, в школе, и Надя и ее бросавшаяся в глаза красота казались ему какими-то нахальными. А сейчас в глазах у нее была растерянность, неизвестно почему. Может, не знала, что с ним теперь делать, хотя сама же торопила, чтобы скорей пришел.

Он хотел сказать ей, что немножко посидит и пойдет, но она опять потянула его за руку, теперь к столу.

— Сядем, договоримся, как все будет. Начала собирать тебе ужин, но не успела. Откуда ты звонил?

— С телеграфа.

— Когда едешь обратно?

— Завтра утром.

— Тогда я сейчас соберу поужинать, за ужином и поговорим. А потом помоешься с дороги и ложись спать. Постелю тебе здесь, на диване. За ночь напишу письмо, а утром накормлю зав-

тракомм, и поедешь. Договорились? Павел написал, чтоб, если захочешь, дала тебе ключ от старой квартиры. Но, по-моему, это глупости. Ночевать там одному, в пустой квартире... Я, правда, убрала там месяц назад, даже полы помыла, но все равно. Нечего тебе там делать. Разве я не права?

— Права.

— Значит, договорились?

— Нет. — Он объяснил, что уже обосновался в общежитии при комендатуре; утром туда за ним приедет водитель и будет искать.

Кажется, Надя огорчилась, что он не заночует. Может, хотела, чтобы рассказал потом Павлу, как она его по-родственному приняла. Но спорить не стала. Только предложила:

— Помойся, по крайней мере. До комендантского часа далеко.

Он подумал и кивнул:

— Спасибо.

В самом деле, зачем ему торопиться отсюда в комендатуру? Чего он там не видел? Жаль только, что сверток с чистым бельем, мочалкой и мылом оставил в «виллисе». Думал, на обратном пути, если будет теплая погода, помыться где-нибудь в речке.

— Ты помоешься, а я на стол соберу,— сказала Надя.

— Слушай,— не совсем уверенно обращаясь к ней на «ты», сказал Синцов. — Может, сделаем по-другому? Посидим, поговорим, потом помоюсь, а потом уж перекусим. По правде говоря, я недавно обедал.

— Как хочешь,— сказала Надя. — Мне еще лучше! Я тебя сразу спрашивать начну.

Она пересела так, чтобы смотреть ему прямо в глаза, и положила на стол перед собой обе руки. Синцов только теперь заметил, как она одета. В черное шерстяное платье с длинными рукавами до кистей и с глухим воротом, из-под которого виднелся еще один, узенький белый воротничок.

«Как монашка»,— почему-то пожалел он ее в эту минуту.

Она стала расспрашивать его, как все это было, когда он позавчера ночью видел там, на фронте, Павла.

Расспрашивала такие подробности, что он под конец усмехнулся.

— Ей-богу, не помню, что и где у него стоит и лежит, тем более ночью был и о другом думал. Хата и хата!

— А как, по-твоему, есть у него кто-нибудь?

— Кого имеешь в виду? — насмешливо спросил Синцов.

— Не говори со мной, как с дурочкой.

— А как с тобой говорить? Неужели, когда спросила, ждала от меня, что скажу: есть?

— Нет, не ждала. Верно. Ну, а все-таки? Наверно, трудно без этого?

— Наверно, трудно. — Он подумал про себя, что иногда трудно, но чаще не до этого. Не только говорится так, а действительно не остается сил ни на что, кроме войны.

— Может, и поняла бы его, но все равно бесилась бы ужасно! — сказала Надя, и, наверное, сказала правду; даже от одной этой мысли у нее сделалось злое лицо.

— А чего тебе понимать? По-моему, и понимать пока нечего.

— Да разве я хочу об этом думать! — с внезапной силой сказала она. — Не хочу, а думаю. Так уж скверно устроена! — И, помолчав, спросила другим, смирным голосом: — А когда ты его еще, перед этим, видел?

— Почти так же давно, как и ты, в ноябре.

— Но хоть по телефону-то разговариваете?

— Два раза за это время говорили, когда я оперативным дежурным был.

— Всего два раза? — В ее голосе было такое удивление, словно она до этого думала, что они с Павлом только и делают, что говорят друг с другом по телефону.

— Ты все же, наверно, плохо себе представляешь реальную обстановку, в которой работает командир дивизии, да и вообще все мы, грешные,— не удержался он от усмешки.

— А я не виновата, что плохо себе это представляю,— с вызовом сказала она. — Я-то хотела!.. Он не захотел. Это ты знаешь? Это он тебе говорил?

И хотя Синцов кивнул, дав ей понять, что уже знает все это, она все равно стала рассказывать ему, какой Павел упрямый и нелепый человек, не понимающий, что там, на фронте, она не принесла бы ему ничего, кроме счастья, а все остальное — ерунда.

По ее голосу чувствовалось, что она отступила, но не смирилась.

— Разве когда человек счастлив, он хуже воюет? — вдруг спросила она. — Тебе это лучше знать!

Это был прямой вопрос, а что на него ответить? Сказать ей: тебе нельзя быть на фронте с Павлом! А Тане со мной — можно. Ты не умеешь себя там вести, не умеешь и не сумеешь! А Таня умеет. Как это сказать ей в глаза? Как взять на себя такую смелость — судить чужую жизнь да еще ставить при этом в пример собственную?..

— Чего молчишь? — спросила Надя. — Думаешь, как выкрутиться, чтобы и меня не обидеть и Павла не подвести?

— Вот именно. Об этом и думаю.

— Ну и что надумал?

— Ничего не надумал. Вы с ним живете, вы с ним и разбирайтесь.

— А ты смелый! — Надя поглядела на него так, словно он сказал ей что-то удивительное. — Другие со мной боятся так разговаривать.

— А я вот почему-то не испугался. Ты уж извини.

— Наоборот, люблю, когда меня не боятся. Привыкла, что мужики передо мной хвостами виляют по первому требованию. Берегись, будешь и дальше такой храбрый, как бы не влюбилась!

Она мимолетно улыбнулась собственным словам, как чему-то, что несбыточно лишь оттого, что она сама сейчас не допускает такой возможности, и снова спросила про Павла:

— Расскажи мне, как ты его в предпоследний раз видел.

Синцов пожал плечами:

— Так это уже когда было, почти полгода назад, и притом мельком.

— А я его еще дольше не видела. Ни мельком — никак. Мельком или не мельком, все равно расскажи мне, как это было.

Синцов рассказал, как это было. Как его послали к командиру дивизии, чтобы передать пакет, в котором содержалось приказание о передислокации. Пакет требовалось вручить лично командиру дивизии. Но Артемьева в штабе дивизии не оказалось: с утра уехал в один из своих полков на занятия.

— Какие занятия? — спросила Надя.

— Ну какие занятия? В данном случае получили пополнение и учили его наступать за огневым валом.

— Что значит за огневым валом? — снова спросила Надя.

— За огневым валом — значит: ведут огонь несколькими батареями и наступают так, чтобы пехота шла вслед за этими разрывами в двухстах — двухстах пятидесяти метрах, не отставая.

— А когда учение, как стреляют, холостыми?

— Почему холостыми? Обыкновенными, боевыми.

— А если вдруг что-нибудь... Если не долетит?

— Убьет людей. Не должно быть недолетов. На этом все и построено.

— Ну, ладно,— поморщилась Надя. — Как же ты его увидел?

— Увидел в поле. Он шел в цепи, вместе с солдатами. Я пошел вслед за ними и, когда догнал, вручил ему пакет. К этому времени как раз дали отбой.

— А какой он был?

Синцов рассмеялся:

— Главным образом грязный. Снег выпал и сошел, наступали в грязи по уши. Какой у него вид был? В комбинезоне, весь грязью забрызганный. Я подошел, доложился, он повернулся, платком утерся. Потом из фляги руки помыл, прежде чем пакет взять. Наверно, пока занимались, где-нибудь споткнулся, упал на руки.

— А он что тебе сказал?

— Принял пакет, расписался и сказал: «Можете ехать».

— И все?

— Пока расписывался на пакете, спросил про Таню — жива, здорова ли?

— А про меня не сказал тебе, что ездил ко мне в Москву?

— Видимо, не успел. Только теперь это от него услышал. А тогда была такая обстановка: вручил пакет — и мотай дальше, в следующую дивизию!

— И все?

— Все.

— Надоела тебе своими расспросами?

— Есть немножко.

— Мы, бабы, в этом смысле глупее вас, мужиков. Вам достаточно про нас знать, что мы живы-здоровы. А нам, если любим человека, мало этого. Мы все себе хотим представить: как он выглядит, как встает, как ложится, как сидит, как ходит, какое у него выражение лица, когда про нас вспоминает. Поэтому и расспрашиваем вас так по-глупому. Таня твоя, думаешь, другая? Такая же самая! Я так за вас обрадовалась, когда прочла в письме Павла, что у вас теперь дочь! Таня мне тогда, в ту зиму, очень понравилась. Просто на редкость!

Она подошла к стоявшему у стены большому серванту, выдвинула ящик и поманила Синцова:

— Иди посмотри. Наверно, никогда не видел такой прелести.

Синцов подошел, не понимая, зачем она его зовет. А когда понял, не знал, что сказать. Да и некуда было вставить слово. Она продолжала говорить, не останавливаясь ни на секунду:

— Это теперь все твоей дочери! Когда я в сороковом году вышла за Козырева и ждала ребенка, он попросил — у него товарищи летали за границу — привезти приданое. Так все и лежит с тех пор. У меня на седьмом месяце...

Она резко повела рукой, объяснив этим жестом, что с ней произошло.

— Не люблю этого слова... Врачи сказали: из-за того, что до этого сделала подряд несколько абортов... Может быть, и так, только не уверена, что это заслуженное наказание...

Она усмехнулась:

— Да и за что, собственно? Доброй была, жалела вашего брата. Сама любила не помнить себя от счастья и вас не заставляла ни об чем помнить. А выходит, что за это бог наказывает. По-моему, несправедливо... Дашь мне адрес, и я завтра же все это пошлю.

— Спасибо. Пока не надо. Как бы беды не накликать! — не глядя на нее, хмуро сказал Синцов.

Она закрывала ящик и от неожиданности больно прищемила пальцы.

— Какой беды? — спросила она, прикусывая ушибленные пальцы, а выражение лица у нее было такое, словно она готова заплакать, не то от боли, не то от того, что услышала.

— Уже второй месяц не имею никаких известий,— сказал Синцов. — Не понимаю и боюсь.

Он не хотел говорить ни о Тане, ни о ребенке, ни о своих тревогах. Но сейчас пришлось сказать. Этот ящик, полный уже пятый год лежавшего здесь детского белья, сам по себе был несчастьем. И заставил подумать о несчастье.

— Почему же мне Павел не написал? — Надя продолжала держать пальцы во рту.

— Он не знает.

— Как не знает?

— А откуда ему знать, когда я сам еще ничего не знаю.

— Какие-то вы каменные все! — Надя наконец выпустила пальцы изо рта. — Подожди, пойду под кран! Думаешь, гримасничаю, а я видишь как...

Она протянула руку, и Синцов увидел, что она действительно сильно отдавила пальцы: через ногти шла сине-багровая полоса.

— Сейчас приду.

Она ушла, и он, слыша, как льется пущенная во весь кран вода, думал о том, что женщины вообще терпеливее к боли, так уж они созданы: «Сильней нас в этом смысле».

Надя вернулась, помахивая в воздухе рукой.

— Так мне и надо. Бог наказал за тупость. У вас, мужиков, всегда все на роже написано. Должна была догадаться по тебе сразу, как пришел, что ты себе места не находишь.

Синцов сказал о посланной в Ташкент «молнии». Надя кивнула.

— Может, и правда, к утру обернется. А если до твоего отъезда ничего не будет, я получу ее за тебя и в тот же день сообщу тебе на фронт.

— Как ты сообщишь?

— Я найду как сообщить, это уж мое дело.

Сказала так уверенно, словно хорошо знала, как это сделать. По военному проводу, что ли? С нее станется!

И хотя ему не хотелось чувствовать себя обязанным ей, он поверил, что она сделает это. Было в ее словах что-то, заставлявшее так думать.

— Не перерешил, не останешься ночевать? — спросила Надя.

Он покачал головой.

— Тогда мойся и будем ужинать. Что тебе, ванну или душ?

— Лучше душ. В ванне только грязь разводить.

— Пойду зажгу газ. — Надя вышла и отсутствовала довольно долго. Он слышал, как она хлопала дверью, пускала воду, как потом уходила еще куда-то в глубину квартиры, что-то открывала и закрывала. Квартира была большая. Потом вернулась и сказала:

— Там я тебе положила белье. Совершенно чистое, сама Павлу стирала, доказывала, какая я хорошая жена, что надо на фронт меня взять. А он не взял. Надевай, если влезешь. Смотри, какой вымахал. — Она окинула его взглядом, в котором было что-то привычно женское, хотя сейчас и не имевшее к нему отношения.

Потом, когда он уже был у дверей, спросила неуверенно:

— Может, тебе помочь надо?

Он обернулся, сначала не понял, но, увидев ее глаза, понял. Это о руке.

— Спасибо. — Он рассмеялся. — Я к ней уже привык. Все ею делаю. Только на рояле не играю.

Он не спеша вымылся, надел белье Павла — белье оказалось впору, только чуть коротковато, прикрепил на руку протез, надел гимнастерку, причесался. Осталось перепоясаться. Он повесил ремень с портупеей и кобурой на вешалке в передней: не хотел брать с собой в ванную. Надо было выйти в переднюю, но выходить туда было неудобно, потому что несколько минут назад там начался какой-то еще не вполне понятный ему скандал. Кто-то, придя в квартиру, шумел там, в передней, и Надя отвечала сначала тихо, а сейчас все громче.

— Оставь меня в покое, уходи! Сколько раз объясняла, чтоб не являлся без звонка. Что за наглость!

— К тебе только так и надо являться,— отвечал громкий мужской голос.

— Сейчас же уходи, слышишь? — Надя сдерживалась, но ее голос был все равно слышен. — И откуда только ты на мою голову свалился?

— Я же тебе сказал,— отвечал мужской голос. — Мы раньше вернулись из поездки, чем думали. И прямо к тебе. А ты...

— Уходи.

— Почему?

— Потом поговорим. Уходи.

— Сначала ответь: кто у тебя? — Голос мужчины стал требовательным. — Воображаешь, что я слепой, а я не слепой!

Услышав это, Синцов подумал о своей фуражке и портупее. Неизвестно, что хуже: оставаться в ванной и поневоле слушать все это через дверь или выйти в переднюю.

— Уходи! Не желаю с тобой говорить!

— Вообще или сейчас?

— Сейчас. И вообще! Уйдешь ты наконец или нет?

Синцов откинул крючок и вышел. В передней горел свет; около открытой настежь наружной двери, прислонясь к стене и заложив руки за спину, стояла Надя с выражением непритворной ярости на лице.

На другом конце передней, в проеме двери в столовую, упершись руками в косяки, в вызывающей позе человека, чувствовавшего себя здесь как дома, стоял молодой мужчина в штатском, в застегнутом до горла плаще, с какими-то странного цвета выгоревшими волосами.

Лицо его показалось Синцову знакомым, но все дальнейшее произошло так быстро, что он не успел задуматься, где же он видел этого человека.

— Вот оно, явление Христа народу! — увидев Синцова, пьяным голосом сказал молодой человек. — Теперь, по крайней мере, все ясно.

— Ясно или не ясно, уходи! Уходи вон, слышишь! — крикнула Надя, и лицо ее дрогнуло.

Кажется, она не хотела, чтобы Синцов выходил. Но теперь уже было поздно.

— Моя помощь не требуется? — спросил Синцов, поворачиваясь к Наде и сознавая, что попал в положение, из которого все равно нет ни одного вполне разумного выхода.

— А он что, тут вышибалой при тебе состоит? — спросил за спиной Синцова молодой человек.

Надя ответила не сразу. Сначала посмотрела туда, за спину Синцова, умоляющим взглядом, словно надеялась, что ее еще могут послушаться.

— Сделай что хочешь, Ваня, но пусть он уйдет. Уже надоело его просить!

Синцов повернулся и пошел к молодому человеку со знакомым лицом; тот в прежней позе стоял в дверях и удивленно смотрел на Надю, словно не мог поверить, что она произнесла эти слова.

— Вы бы лучше послушались и ушли!

Как всякий нормальный человек, Синцов не представлял себе, что надо говорить в таких случаях, но знал: как бы там ни было, а теперь этот парень должен уйти.

— А вы бы лучше не подходили ко мне,— сказал молодой человек, глядя прямо в глаза подходившему к нему Синцову, и быстро и дерзко ударил его наотмашь по лицу.

Синцов понял, что его ударят, но не успел вовремя перехватить руку. Перехватил уже после удара и, вложив в это всю свою силу и вес, оторвал молодого человека от двери и с хрустом завернул ему руку за спину.

Молодой человек попробовал вывернуться, взмахнул левой рукой, даже задел Синцова по протезу, но Синцов своей правой рукой еще выше завел ему завернутую за спину руку. И тот, застонав, понял свое положение.

— Пусти!

— Выведу за дверь, пущу,— сказал Синцов. — Иди спокойно, а то больно сделаю!

Он заметил, что, когда этот парень застонал, Надя чуть не кинулась к нему, но сдержалась и снова прислонилась к стене. Сказала только тихо, сквозь зубы:

— Руку ему не сломай.

— Ничего я ему не сломаю. Только пусть идет спокойно.

Молодой человек не сказал больше ни слова ни Синцову, ни Наде, молча переступил порог, прошел еще два шага по лестничной площадке и остановился.

Синцов отпустил его руку и, не двигаясь, продолжал стоять за его спиной. Вернуться в квартиру и поспешить захлопнуть за собой дверь было почему-то неловко.

Молодой человек пошевелил за спиной рукой, словно пробуя, цела ли она, потом опустил ее, сделал еще шаг и повернулся к Синцову. На его лице была не злость, а удивление: не думал, что его так скрутят. Может, и ударил потому, что увидел протез. Если так — сволочь! А может, просто спьяна.

Не то удивляясь, не то запоминая, молодой человек несколько секунд простоял перед Синцовым и пошел вниз по лестнице.

Когда Синцов вошел в квартиру, Надя продолжала стоять все там же, у стены.

— Вот так,— сказал Синцов, не зная, что сказать, и потрогал рукою лицо. Из носа шла кровь.

— Сними,— сказала Надя, отрываясь от стены и подходя к нему. — У тебя на гимнастерку накапало. Я застираю, а то после не отойдет.

Он не стал спорить и стянул через голову гимнастерку.

— Сейчас я застираю,— повторила Надя. — А ты посиди в столовой. Закинь назад голову, быстрей пройдет.

И он пошел в столовую и сел. Вытащил из бриджей платок, вытер кровь и продолжал сидеть, закинув голову и думая об этом парне, расквасившем ему нос. Пьяный или трезвый, все равно ясно, что в отсутствие Павла у него тут в доме свои права. Только бы она не объяснялась, не выкручивалась! Хоть бы без этого обошлось...

— Как? -- входя, спросила Надя.

— Вроде прошло.

Синцов встал с кресла и поглядел на накрытый по всем правилам на два прибора стол. На нем стояли и водка, и колбаса, и еще какая-то закуска, и даже неизвестно где добытые свежие огурцы.

— Гимнастерка пока пусть повисит, посохнет,— сказала Надя. — Садись за стол так. Не больно он тебя ударил?

— Как курица лапой. У меня нос слабый. Всегда так было, еще в детдоме. Чуть по носу зацепят — и готов. Я даже отказывался драться до первой крови, считал невыгодным для себя,— засмеялся Синцов неожиданности собственного детского воспоминания.

— Какой-то он оголтелый! Верно? — сказала Надя. — И так всегда, когда выпьет! — Сказала как о человеке, которого Синцов должен был знать и до этой встречи. — Может откуда-то вдруг свалиться, явиться без звонка. И вообще вести себя так, что можно бог знает что подумать! То, чего совершенно нет.

— Слушай, не вдавайся, а?.. — сказал Синцов, и было в его голосе что-то, заставившее ее замолчать.

— Закуску клади себе сам, я не знаю, что тебе больше нравится. — Надя наливала в рюмки водку. И пока Синцов накладывал себе закуску, рассмеялась.

— Чего смеешься?

— Испугалась, что ты ему руку сломаешь. А вообще смешно! Наверно, теперь не смогу на него без смеха смотреть, когда увижу. Только не хватало, чтобы ты ему руку сломал, вот была бы история! — сказала она так, словно этому человеку никак нельзя было ломать руку и Синцов должен понимать это.

Синцов снова попытался вспомнить, где же он видел этого человека, но не вспомнил. А спрашивать не хотел.

— Не буду тебе врать,— сказала Надя,— я с ним раньше, до Павла, знакома была. И он этого до сих пор никак забыть не может.

— Просил тебя, не вдавайся,— повторил Синцов.

— Хорошо, не буду. Неужели ты расскажешь об этом Павлу, сделаешь эту глупость?

— Не волнуйся, не сделаю. Хватит с него там забот и без тебя.

— Вот именно — без меня. А была бы я с ним там, не было бы ничего этого здесь. Думаешь, я всего этого хочу? Думаешь, когда Павел со мной, мне кто-нибудь еще нужен? А когда его нет, вот так все и получается...

На этот раз, кажется, была искренней, объяснила, как было на самом деле, не выкручиваясь. И Синцов не прервал ее.

— Да, вот так все... — после молчания задумчиво сказала Надя и, взявшись пальцами за рюмку, но не подняв ее, покрутила и поставила обратно. — А ехать к нему на фронт хочу и готова хоть завтра.

— Извини меня, конечно,— сказал Синцов,— но выходит, судя по твоим же словам, так: или Павел должен таскать тебя за собой, или у тебя здесь, в Москве, другого выхода нет, чем все это...

— Да, выходит так. Выходит, другого выхода нет. А какие другие выходы? Это в театрах разные выходы: главный, запасной, пожарный, еще какие-то. А в жизни из каждого положения только один выход. Не умею я одна жить, вот и все! Другие в этом не признаются, а я признаюсь. Только в этом и разница. И с тобой свела бы судьба в другое время, и на тебя, наверно бы, глаз положила. А что ты Павлу ничего не скажешь, лучше для него. А если б сказал, все равно врала бы ему отчаянно до последней возможности. Клялась, божилась бы, не знаю, чего бы только не придумала, потому что боюсь его лишиться. А боюсь лишиться потому, что люблю. Если хочешь знать, даже когда за Козыревым замужем была, все равно Павла помнила. Так уж меня к нему судьба приговорила. Такую, какая я есть, к такому, какой он есть. И вы, мужики, должны понимать такие вещи...

Синцов слушал и думал о том, что понятие «вы, мужики» для нее и любимое и враждебное — все вместе. И он для нее тоже часть этого понятия, тоже мужик — не сейчас, так в другое время, как она сама выразилась. И разговоры о том, что он должен ее понять, могут слишком далеко завести...

Он поднял рюмку:

— Не входя во все остальное, давай за Павла.

— Только если веришь, что я люблю его. Если нет, лучше не пить!

Синцов ничего не ответил на это. Молча взял и выпил. Все это слова. Любит, не любит! Пускай сами разбираются. «Пашка тоже не маленький. Пусть будет здоров там, на фронте. И подальше от всего этого, хотя бы пока война!»

— Спасибо, что все-таки выпил за него со мной,— прочувствованно сказала Надя. Она тоже выпила свою рюмку до дна и сразу налила новую. — А теперь я за твою Таню! Я так хочу ей добра, что пусть лучше со мной будет какое-нибудь несчастье, чем с ней! Готова на это. Искренне тебе говорю!

Синцов поморщился. «Допустим, искренне, а все же есть в твоих словах что-то такое, чего люди не должны говорить друг другу, даже если им в ту секунду кажется что они говорят искренне».

— Не надо так говорить,— сказал он вслух. — Меня война суеверным сделала.

Он выпил свою рюмку, и она тоже выпила. И, выпив, спросила с любопытством:

— Неужели война правда сделала тебя суеверным?

— Как тебе сказать? И правда и неправда, середка наполовинку. Есть что-то на войне, что толкает людей к суеверию.

— А я не суеверная. Когда Козырев погиб, у меня никаких предчувствий не было совершенно. Напротив, когда провожала его на войну, думала, что уж с кем, с кем, а с ним ничего не будет.

Синцов поднял глаза от тарелки и посмотрел на Надю. В свое время в Сталинграде, рассказывая Павлу, с чего начал войну, он рассказал и о том, как все это вышло тогда с гибелью Козырева. Но говорил ли ей об этом Павел? Может, и не говорил...

Синцов выжидающе смотрел на Надю, а она, глядя в стенку, задумчиво катала по скатерти хлебный шарик. Потом сказала ровным голосом:

— Расскажи мне подробно все, как это было, как он застрелился. Все время хочу тебя об этом спросить и все не могу решиться. А сейчас решилась.

«Значит, все-таки сказал ей, за язык потянуло! — с неудовольствием подумал Синцов об Артемьеве. — А хотя чего не скажешь женщине, с которой живешь? Подошла минута, и сказал».

Она просила подробно, а ему казалось, что как раз этого и не надо: куда и как стрелялся Козырев и как выглядел после этого? Застрелился и застрелился. Про такое чем меньше рассказывать, тем лучше.

Рассказав, как они нашли Козырева там, в лесу под Бобруйском, и как он, приняв их за немцев, стрелял в них, а потом выстрелил в себя, Синцов не стал говорить ей больше никаких подробностей. Не сказал и о своем ранении. «Наверно, уже знает об этой глупости от Павла, а если не знает, незачем ей и знать».

Надя молчала. Потом сказала, продолжая смотреть в стенку:

— В одном только перед ним была виновата: вышла за него замуж, меньше любя, чем он хотел. А больше ни в чем не была виновата. И ждала его с войны так, что, если действительно, как в стихах уверяют, ожиданием можно спасти, спасла бы. Но всё это ерунда! — добавила она глухо.

И, оторвав наконец взгляд от стенки, посмотрела на Синцова мрачными, влажными глазами.

«Действительно ерунда»,— с какой-то здравомыслящей легкостью подумал Синцов. Он сначала поддался мрачности ее тона, но, когда она сказала про себя «ждала с войны», вдруг подумал: «Зачем она так? Когда ждала? И сколько? Ведь все это случилось уже на седьмой день войны...»

«Действительно ерунда»,— мысленно повторил он с непримиримостью человека, прожившего на войне три года и знающего, почем фунт лиха, если это в самом деле лихо, а не разговоры о нем.

Но Надя не заметила перемены в его настроении и продолжала, уже невпопад, говорить все тем же мрачным тоном, который теперь казался ему фальшивым:

— Когда освободят эти места, поеду искать его могилу. Не успокоюсь, пока не найду. Единственный долг, который остался за мной. Больше я ему ничего не должна. А это должна.

— А разве тебе не сообщили тогда, где он похоронен?

— Нет. Мне тогда позвонили о его гибели и сказали, что решено похоронить его в Москве, что уже погрузили гроб на машину, дали сопровождающих и повезли. А они оказались такие сволочи, что не довезли, бросили. И я еще разыщу их!

— Почему сволочи? Зачем так говорить? — сказал Синцов. — Вполне могли погибнуть по пути вместе с машиной под какой-нибудь бомбежкой. Наверно, не представляешь себе, что тогда на дорогах делалось. Люди, возможно, погибли, а ты их сволочами обзываешь. Зачем это?

Все, что она теперь говорила, задевало его, и ему хотелось противоречить. Казалось бы, худшие вещи выслушал от нее спокойно: и про то, что изменяет Павлу, и про то, что смотрит на это как на неизбежное. Слушал и не спорил: шут с вами, разбирайтесь сами! А вот сейчас, когда заговорила об этом своем давно погибшем Козыреве, вдруг задела какая-то неправда в ее словах.

Стало стыдно за нее перед этим погибшим тогда человеком, и перед всеми теми, кто тогда погиб, и вообще перед тем временем.

«Сволочи, гроб не довезли», «Еще разыщу их...»! Нашла о чем думать, вспоминая то время!

— Гимнастерка моя не просохла?

— Сейчас посмотрю. — Надя вышла из комнаты и вернулась с его гимнастеркой. — Можешь надевать.

Но прежде чем отдать ему в руки, задержала. И, показав пальцем на нашивки за ранения, спросила:

— Мне Павел говорил про Козырева, что он ранил тебя, когда вы хотели его спасти. Это правда?

Синцов кивнул и взялся за гимнастерку, но Надя все еще держала ее.

— Когда с маху сказала тебе про эти нашивки, потом почувствовала, что по-глупому сказала: ведь одна из-за него, да?

«Ничего ты тогда глупого не сказала,— подумал Синцов. — А вот сейчас говоришь глупости, что-то из себя строишь».

— Он мог тебя убить,— задумчиво сказала Надя.

— Давай на другую тему! — Синцов забрал гимнастерку. — Мог убить, мог не убить! А может, наоборот, спас? Откуда ты знаешь? Не попади я в госпиталь, вдруг бы меня как раз за это время убили? Если на войне начать разбираться, почему, из-за кого, отчего, кто жив и кто помер, психом станешь.

Говоря все это, он натянул гимнастерку, прошел за ремнем и портупеей в переднюю и вернулся обратно.

— А с этими нашивками иногда думаешь: лучше б их не вводили, чтоб и на вопросы не отвечать и самому поменьше помнить. Что в этом хорошего?

— Вижу, ты уже собрался,— сказала Надя, выбитая из колеи его тоном. — Но все-таки, как теперь любят говорить, мы с тобой русские люди. Давай выпьем посошок на дорогу. А то пути не будет.

— Путь будет! Дальше фронта никуда не денусь! — усмехнулся Синцов. — Только бы дождь завтра не пошел. Тогда действительно последние пятьдесят километров будет не путь, а мука.

Он налил рюмки себе и Наде и подцепил на вилку кусок колбасы потолще. Они чокнулись и выпили.

— Позвони мне завтра утром, если не получишь «молнии».

— Хорошо,— сказал Синцов. — Если не получу, позвоню.— И вдруг вспомнил: — А как же с твоим письмом Павлу?

— Не буду ему писать.

— Как не будешь?

— Нет настроения. Увидишь — расскажи обо мне.

— Могу не сразу увидеть.

— Ничего, сам тебя найдет. Он же знает, что ты у меня был. Найдет, не беспокойся,— повторила Надя с покоробившим Синцова сознанием своей власти над человеком, о котором говорила. — Если бы села сегодня писать, мучилась бы, как получше наврать про себя, чтобы спокойно жил, не волновался. И перед тобой было бы неловко, что ты повезешь такое письмо. А на словах что захочешь, то и говори. Твое дело.

«Да, дерзка ты,— подумал Синцов с каким-то даже удивлением перед решимостью этой женщины взвалить все — и правду и неправду — на его плечи. — И дерзка и расчетлива — все вместе! Почти уверена: не скажу ее мужу ничего из того, чего он не должен знать. И права. Действительно не скажу».

— Звони про телеграмму. Получишь или не получишь, все равно звони,— сказала Надя. — Если после десяти, позвони на работу.

Она оторвала уголок от лежавшей на столе газеты, написала на нем телефон и протянула Синцову.

— Удивляешься, что работаю?

— Нет, почему? — Синцову стало неудобно, что он и в самом деле удивился этому.

— Ничего, не ты первый. А я уже давно работаю.

— Кем?

Надя рассмеялась:

— На это трудно ответить. Если в двух словах — «палочкой-выручалочкой». В театре работаю,— добавила она серьезно. — Заведовала костюмерной, была администратором, роли на машинке печатала. Делала все, что просили. Муж убит, мамочка в эвакуации, а я — животное общественное. В начале войны пошла туда с тоски, а потом привыкла. В последнее время перешла в помрежи.

— Это что значит? — Синцов слабо разбирался в театральной жизни.

— А это тот, кто спектакль ведет. Разве тебя не удивляет, что все артисты всегда вовремя выходят и уходят со сцены, и за сценой стреляют вовремя, и море вовремя шумит, и собаки вовремя лают... Так вот все это я!

Как только Надя стала рассказывать о театре, Синцов вдруг понял, кто был тот выставленный им за дверь парень, о котором она говорила так, словно его нельзя было не знать.

Ну конечно же он знал этого человека по нескольким ролям в кино еще до войны и теперь, во время войны. Это был очень хороший артист, во всяком случае Синцову он нравился. А странные, словно выгоревшие волосы, которые помешали сразу узнать

его, наверно, покрашены для съемок в какой-нибудь новой картине.

«Вот наделал бы делов, если б ему руку сломал»,— с запоздалой тревогой подумал Синцов. Подумал беззлобно, потому что при всем своем хорошем отношении к Артемьеву не мог сочувствовать ему до конца.

«За что боролся, на то и напоролся». Но тут же, оправдывая Павла, подумал: «А что ему делать, если любит ее?»

И вспомнил лицо артиста, когда тот стоял в дверях и смотрел на Надю.

«А может, и этот любит?»

— Значит, Павел так и не удосужился сказать тебе, что я работаю? — спросила Надя.

— Нет, не говорил.

— Потому что для него это неважно! Он и на фронте смеялся, когда я говорила, что пойду к нему машинисткой. И напрасно. И все остальное бы успевала, что ему нужно,— она усмехнулась,— и отличной машинисткой была бы. У меня золотые руки. Правда, в самом деле! В случае чего, прокормлюсь. — Она снова усмехнулась, кивнув па обеденный стол: — Хотя это, конечно, не на мою карточку и не на мою зарплату. Но, между прочим, и не на его аттестат. Остатки былой роскоши. По старой памяти, как Козыревой, дают ежемесячно лимит по твердым ценам. И от прежней поликлиники пока что не открепили. И мамочку и других родственничков подкармливаю и лекарства, когда они хворают, достаю. Павел злится на меня, что фамилию не сменила. Напрасно. Когда вышла за него замуж, где-то там не одобрили, считали, что должна еще вдовой побыть. Но и не настолько рассердились, чтобы лишить благ жизни. Пользуюсь пока что. Хорошая колбаска была?

— Неплохая.

— Видишь, как хорошо. А то бы хвост селедки да от силы винегрет.

— Обошлись бы и этим.

— Конечно, обошлись бы. Лишат — не повешусь. Только мамочка и родственнички ужасно на меня за это рассердятся. Ладно. Давай прощаться. Поцеловать тебя на прощание после всех происшествий можно? Господь храни тебя от бед, как наши театральные старухи говорят...

И она, сделав серьезное, даже трагическое лицо, перекрестила Синцова.

Спускаясь вниз по лестнице, он слышал, как Надя все еще стоит там, наверху, в тишине, у открытой двери. Во всем этом прощании было что-то, снова раздражавшее его против нее.

Прощалась так, словно свечку за тебя в церкви ставила, сама в это не веря.

«Сейчас попам опять хорошая жизнь, опять свечками торгуют»,— уже выходя на улицу, подумал он с враждебностью мальчишки, выросшего в детском доме.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Господь не сохранил Синцова от бед.

Встав в пять утра, он пешком пришел из общежития при комендатуре на телеграф, рассчитывая успеть обернуться, прежде чем водитель пригонит отремонтированный «виллис».

В окошко «До востребования» протянул удостоверение заснувшей, упав лицом на стол, девушке. Не той, что была первые разы, когда он заходил вчера днем, и не той, что была в последний раз, когда он зашел уже поздно вечером, после Нади, а новой, третьей. Она тяжело проснулась и, взяв у него удостоверение, стала перебирать пачку писем и телеграмм. Перебрала всю от начала до конца, зажмурилась, протерла глаза и стала перебирать снова. Во второй раз нашла. Последняя телеграмма в пачке, оказывается, была для него. Все-таки он добился своего, дождался своей беды!

Он стоял у окошечка и раз за разом перечитывал телеграмму, до тех пор, пока кто-то не тронул его за плечо:

— Подвиньтесь от окошечка, товарищ военный.

Синцов подвинулся, еще два раза перечел телеграмму, не то чтобы не понимая ее — чего уж тут непонятного! — а не в состоянии свыкнуться с тем, что она существует.

В телеграмме после адреса стояло: «Роды преждевременные Верочка скончалась письма получили Таня двадцать шестого выписалась двадцать восьмого вылетела армию запретила писать хотела сказать сама *Овсянникова».*

Он отошел от стойки и, поискав глазами, где бы сесть, опустился на лавку и стал думать, что же ему делать теперь, после этой телеграммы.

«Верочка скончалась...» Зимой, начав думать о своем отъезде, Таня как-то спросила, как звали его покойную мать. Не сказала, зачем спрашивает, но, значит, еще тогда решила: если будет девочка, назвать ее именем матери. И назвала. Оказывается, только для того, чтобы вспоминать, что Верочка скончалась. Сколько лет будет теперь вспоминать об этом — год, два или пять, или пока не родит другого ребенка, если родит? На все это сейчас никто не ответит. И она сама тоже.

Да, ненадолго назвали дочку Верочкой. Все так и вышло, как он боялся. Не доехала. Родила девочку там, в Арыси, где-то в конце первой недели апреля, похоронила. А сама, выходит, выписалась из больницы только через пятьдесят дней после родов. Значит, тяжело болела. И могла умереть.

Тогда, весной сорок третьего, заболев тифом, она была уже при смерти и выжила только чудом, как потом, смеясь, сказала ему: «Твоими молитвами!» А сейчас, если целых пятьдесят дней в больнице, значит, было так плохо, что не хотела ни врать, ни писать правды, потому что его к ней с войны все равно никто не отпустил бы.

Он любил ее такой, какая она была,— маленькой, худенькой, легкой, как ребенок. Такой, что, пока она не забеременела, ее шутя можно было поднять на руки. Он испытывал и страсть и нежность к ее телу — именно такому, а не другому. Но сейчас вспомнил это тело с испугом — и его легкость и его худобу, потому что во всем этом была опасность для нее. Хотя в телеграмме и сказано, что она выписалась из больницы, но это еще вопрос, как выписалась и в каком состоянии. Решила не сообщать о смерти ребенка, сказать самой. И не сообщала. Решила, что довольно быть в больнице, и выписалась. И мало того, что выписалась, вырвалась на фронт первым же самолетом, на какой попала.

А почему родила в Арыси? Почему раньше времени? Почему?.. Да нечаянно толкнули, и все! Что ее стоит толкнуть? Или поскользнулась, упала где-нибудь с подножки.

Его передернуло, когда он представил себе, как все это могло быть. А может, ничего такого и не было, просто ей нельзя было рожать. И нельзя будет дальше. И это для нее самой еще страшнее, чем если бы она упала.

Двадцать восьмого — это позавчера. Значит, пока он ехал сюда, она уже вылетела из Ташкента. Наверно, устроилась на один из самолетов, которые оттуда перегоняют. Так и тогда летела из Ташкента под Сталинград.

Что они там получили его письма, это хорошо. Хотя из-за военной цензуры ничего прямо не скажешь, но он постарался дать ей понять, куда передислоцировали их армию. Написал: «Живу напротив того места, откуда мы шли, когда я первый раз тебя встретил». Цензура навряд ли вымарала это. А она, не глядя на карту, могла понять, что они теперь стоят напротив Могилева. Остальное, имея на руках документы о возвращении в свою часть, могла уточнить по дороге.

Конечно, она имела возможность остаться там, в Ташкенте. После неудачных родов и пятидесяти дней больницы дали бы отпуск по болезни. И мать, наверно, уговаривала. Но, значит, не

уговорила. Если бы остался жив ребенок, осталась бы. А раз нет ребенка, не захотела.

Может быть, она сейчас даже и не рада, что осталась жива. Хотя для него самого эта мысль была нелепой: будет или не будет у них ребенок, все это даже и рядом не стояло для него с ее жизнью и смертью.

«Как все теперь сложится у нас?» — подумал он. И вспомнил, как почти год назад она вернулась после тифа в армию и, прежде чем являться к себе в санитарный отдел, приехала прямо к нему, вся с головы до ног в пыли слезла с попутной машины. И когда он пошел докладываться начальнику оперативного отдела полковнику Перевозчикову, что к нему после госпиталя приехала жена и останется до завтра у него в землянке, Перевозчиков недовольно сказал: «До завтра разрешаю. А вообще устраивать вам здесь, в оперативном отделе, семейную жизнь не обещаю».

«А кто это может обещать во время войны? Кто и кому? Никто и никому»,— подумал Синцов уже не о том, что было год назад, а о том, как будет теперь, когда они снова окажутся вместе на фронте. И почему-то представил себе ее, как в прошлом году после тифа, остриженной, хотя сейчас этого не могло быть. Почему ей быть стриженой? Правда, она как-то говорила ему, что когда женщины мечутся и во время родовых схваток сбивают себе целый колтун на голове, то им обрезают, укорачивают волосы. «Но я не дамся,— сказала она. — С таким трудом отрастила!» — «Как же так не дашься?» — «Перехитрю их. Не охну, пока не рожу».

Да, теперь все это было позади...

У выхода с телеграфа висела на стене вчерашняя сводка: немцы вели разведку боем под Тирасполем, мы потопили в Финском заливе их подводную лодку, партизанский отряд, действовавший в Могилевской области, взорвал три немецкие автомашины, а какие-то насильно призванные в немецкую армию французы из Лотарингии Жозеф Б. и Пьер В. перешли к нам, хвалили нас и ругали немцев...

Синцов видел эту сводку еще вчера, но она продолжала висеть, потому что новые газеты еще не вышли. И хотя между душевным состоянием, в котором он смотрел на нее вчера и сегодня, была огромная разница, сводка оставалась та же самая. И война была та же самая. И что-нибудь изменить на ней могли только общие усилия миллионов людей. А твое собственное горе ничего не меняло!..

Только одно непонятно: почему именно с Таней должно было случиться все это? На том свете, что ли, отплатится? Некоторые

считают, что верующим людям легче думать о смерти. Легче или не легче — неизвестно, а вот что бога нет, это точно!

Все еще не в состоянии думать ни о чем другом, он дошагал до комендатуры, увидел стоявший около нее «виллис», поздоровался с водителем, спросил его, все ли в порядке, услышал в ответ, что бензина хватит до места, сходил в комендатуру, отметил предписание, взял оставшиеся в общежитии шинель и плащ-палатку, сел в машину и поехал в Архангельское к Серпилину.

Он ехал так глубоко задумавшись, что даже не заметил, как по дороге начался дождь; водитель, остановив машину, стал натягивать тент.

Только уже в Архангельском, идя по мокрой аллее, под мягкий шум затихавшего дождя, Синцов окончательно взял себя в руки, чтобы явиться к начальству, как положено военному человеку, отрешенным от собственных чувств и способным выполнять чужие приказания.

Серпилин ждал Синцова у себя в комнате и был в прекрасном настроении, не покидавшем его со вчерашнего дня.

Неизвестно, что больше подействовало вчера на главного терапевта: откровенность, с которой Серпилин объяснил, почему ему надо скорей оказаться на фронте, или история болезни с приложенными к ней анализами, которые показала главному терапевту Баранова, или сам медицинский осмотр, после которого, похлопав Серпилина по голому плечу крупной белой рукой, главный терапевт с веселым удивлением сказал: «Крепкий вы, однако, на удивление!» В итоге все вышло как нельзя лучше. Главный терапевт приказал придвинуть комиссию на целых три дня и, прощаясь, кивнул на Баранову:

— Другие страхуются, норовят продержать своего больного лишнюю неделю, а она, наоборот, только и думает, как бы вас поскорей на фронт выпихнуть! Ваше счастье, что с лечащим врачом повезло!

Сказал шутя, сам не зная, как верно сказал. Действительно счастье! Как ни странно, Серпилин до конца понял, что она любит его, именно там, у главного терапевта, когда почувствовал, с какою силой она хочет для него того же, чего он сам.

А вечером она захотела, чтобы он остался у нее, и он остался, и понял, что ей хорошо и будет хорошо с ним.

И сегодня все утро после этого находился в том, наверное даже смешном со стороны, откровенно счастливом состоянии, которое с особенной остротой испытывают немолодые люди.

Когда Синцов постучал и вошел, Серпилин выглядел уже не по-санаторному, а был, как обычно, в гимнастерке, только без пистолета на ремне.

— Не удалось погулять: дождь помешал,— сказал он. — В дорогу готов? Карты получил?

Синцов ответил, что и сам он и машина наготове, но карты получит только после десяти часов.

Серпилин посмотрел на часы.

— Начнем с писем. — Он взял со стола два конверта и отдал Синцову. — Если приедешь ночью, никого не тревожь. Сообщи оперативному дежурному, что явился, а с утра доложись обоим — и Захарову и Бойко. Если полюбопытствуют, можешь сообщить личные впечатления.

Серпилин сказал «можешь», но Синцов почувствовал по его тону, что именно этого он и хочет.

— Я им там, в письмах, пишу, что через пять суток буду на месте. Сегодня с утра, как видишь, оделся; договорился в Генштаб съездить, дать о себе знать. А после обеда сниму, похожу еще в санаторном. Тут, когда наш брат, не дождавшись выписки, форму надевает, с подозрением относятся: имелись случаи бегства.

Серпилин с удовольствием повел плечами и, по-солдатски засунув под ремень большие пальцы, проверив заправочку, сел к столу.

— Есть личный разговор. Присядь, Иван Петрович.

Синцов сел. Серпилин давно не обращался к нему так, с того дня, как после госпиталя вызвал в армию и взял в оперативный отдел.

— Ты мне нужен,— помолчав, словно в последний раз примерясь, сказал Серпилин.

Синцов ждал, что дальше: раз нужен, значит, нужен. А все же для чего?

— Вчера, когда ты был, обещал исполнить твою просьбу — вернуть в строй. А уже без тебя подумал: возможно, предложу тебе другое, раз все равно уходишь с прежнего места. Пока я тут лечился, жена моего сына вышла за Евстигнеева, вторым браком. Приобрел родственника, но лишаюсь адъютанта. До фронта доедем, и отпущу. А про тебя вчера вспомнил, как был у меня за адъютанта, когда из окружения шли. И надумал повторить. Требуется твое согласие. Для ясности уточню: превращать адъютанта в денщика, как делают некоторые, привычки не приобрел. А теперь, если есть вопросы, задай.

На самом деле он не ожидал вопросов; ему казалось, что Синцов будет рад состоять при нем. Чем дальше шла война, тем больше он верил, что подчиненные любят служить под его началом, за исключением тех, кого он сам считал негодными к службе. И привычка считать так постепенно превратилась у него в

уверенность, отчасти самодовольную, чего, впрочем, он сам за собой не замечал.

Синцов никак не был готов к предложению стать адъютантом Серпилина. Но слова «ты мне нужен» не давали ему права ответить отказом человеку, без помощи которого он вообще не вернулся бы в армию. Сказать «нет» было нельзя, а об остальном еще найдется время подумать.

— Если подхожу вам, вопросов нет.

— Тогда спасибо. — Серпилин считал с этой минуты дело решенным, но, вспомнив о вчерашней просьбе Синцова, для очистки совести добавил: — Если плохо себя почувствуешь в этой роли, придешь и скажешь. Держать не буду. Отпущу после того, как подберу другого.

«Подберу другого... Если буду хорош для тебя, подбирать другого не станешь. А если сам считаю, что не буду хорош для тебя, зачем идти?» — подумал про себя Синцов. Отвечать: «Поживем — увидим» — не полагалось, а отвечать что-то другое не хотелось.

Им все еще владело какое-то странное равнодушие. Он с такой силой тревоги продолжал думать о Тане, что все остальное куда-то отодвинулось и на время перестало казаться важным.

— Ну что ж! — Серпилин принял его молчание за решимость служить адъютантом и не думать ни о чем другом. — Готовься к исполнению новых обязанностей. А пока работай по-прежнему, в оперативном. Как там у вас, что думают о будущем?

— У нас в оперативном отделе, товарищ командующий, пока не получено приказа «думать», не думают, тем более о будущем. — Синцов впервые за все время улыбнулся.

— Не верти вола. — Серпилин тоже улыбнулся. — Когда и что начнется, будем считать, как всегда: никому, кроме Ставки, неведомо. И нам с Захаровым и с Бойко — тоже. А вот когда вы лично, товарищи офицеры оперативного отдела, собираетесь наступать? Что у вас младотурки об этом думают?

Младотурками, подшучивая над ними, Серпилин называл тех задиристых молодых операторов, которые в разговорах между собой все планировали по-своему и в душе считали себя людьми мыслящими, самое малое, наравне с командующим армией, а то и повыше.

— Чего молчишь? Доложи. Никому не скажу.

— У нас в оперативном отделе большинство склоняется к тому, что начнем в середине июня.

— А поточней?

— Точней — единого мнения не сложилось.

— А что в середине июня — сложилось?

— Сложилось. Даже нашего метеоролога упрекали, что плохой прогноз дает по осадкам на середину июня.

— А такой мысли, что немец и этим летом, как на Курской дуге, первым начнет наступать, не допускают у вас в оперативном отделе?

— Этого не думают. Ни одна разведсводка не дает оснований. Все, что против нас стояло и на фронте и в глубине, так и стоит без изменений.

Серпилин взглянул на часы:

— Десять минут еще имеем. Расскажи хотя бы коротко, как живет наша с тобой сто одиннадцатая?

Синцов стал рассказывать про сто одиннадцатую, как она живет и кого там видел. Когда дошел до Ильина, Серпилин покачал головой, словно сам себе удивился:

— Давно не видел Ильина. С Курской дуги, с присвоения Героя. Нет, еще раз видел, зимой, когда командиров полков собирал. Теперь на войне порядок, каждому — свое,— сказал Серпилин с неожиданным для Синцова оттенком грусти. — Слишком большое хозяйство под руками. И хотел бы, как прежде, дотянуться до командира полка, да не всегда дотянешься. Так где, говоришь, штаб Ильина стоит?

— В лесу, три километра южней Селищи.

Серпилин наморщил лоб и задумался. Потом сказал:

— Раз так, то у него на правом фланге большой овраг проходит, недалеко от Кричевского большака. Мы в этом овраге в ночь на тридцатое июля накапливались, а потом к большаку поползли. Так или нет?

— Так,— сказал Синцов.

— Сейчас вспомнил?

— Нет, там. Как увидел, сразу вспомнил.

— Вспомнил, а мне не рассказываешь.

— Всего не расскажешь, товарищ командующий. Там на каждом шагу то об одном память, то о другом...

— Да, это верно, что там на каждом шагу память,— задумчиво сказал Серпилин.

И, наверно, оттого, что вспомнил сорок первый год, вышел из состояния веселого возбуждения, в котором был все утро, и заметил осунувшееся лицо Синцова.

— Что-то ты невеселый? Вчера веселей был.

Заметь Серпилин это раньше, Синцов избавил бы его от исповеди, нашел бы в себе силы сказать, что все нормально. Но воспоминание об этом овраге, где они тогда ночью, притаясь, лежали в нескольких шагах друг от друга — и Серпилин, и он, и Таня,— заставило Синцова сказать, что случилось.

— Вон какая у вас с ней беда. А я даже и не спросил, из головы вон... Стыдно перед такой, как она, женщиной... Говоришь, обратно в армию вылетела? — переспросил Серпилин.

— В телеграмме так.

— Да,— сказал Серпилин. — Если б родила, на пушечный выстрел не подпустил бы обратно к войне. Но раз такое дело, понять ее, конечно, можно. — И, покачав головой, повторил: — Как же так, даже не спросил тебя о ней! Мозги, что ли, при этой аварии так тряхануло, что память отшибло? Так нет, вроде врачи не подтверждают, говорят, напротив, счастливо отделался.

Он поднялся из-за стола и впервые за все время задержался взглядом на руке Синцова в черной перчатке.

Синцову показалось, что Серпилин сейчас что-то скажет про его руку. Но Серпилин сказал совсем другое. Постоял, помолчал и спросил:

— Помнится, говорил, что рано сиротой остался, через детдом прошел? Так? Не вру?

— Все правильно, товарищ командующий...

— Чего ж тут правильного? — неожиданно для Синцова возразил Серпилин. — Наоборот, неправильно, когда человек с малых лет растет без отца, без матери. А сколько их теперь после войны будет, таких... — И так же неожиданно вдруг сказал о себе: — А мне вот уже полсотни. И живого отца имею. Жду к себе сегодня. Евстигнеева за ним в Рязанскую область послал. Пропуск оформил, чтоб в Москву пустили... А ты поезжай. Скоро увидимся.

У ворот санатория рядом со своим «виллисом» Синцов увидел другой, знакомый «виллис» Серпилина и знакомого серпилинского водителя Гудкова, с которым командующий попал в аварию. Синцов не думал, что Серпилин после такой аварии оставит его у себя водителем. Оказывается, оставил.

Водители разговаривали, а по площадке, на которой стояли «виллисы», заложив руки за спину, ходил взад и вперед адъютант Серпилина Толя Евстигнеев.

— Здорово, Толя! — окликнул Синцов.

В оперативном отделе они все звали его Толей и за молодость лет, и из хорошего отношения к нему, потому что, приходя в оперативный отдел с разными поручениями командующего, Евстигнеев никогда не стремился подчеркнуть свое адъютантское положение.

— Как раз вас поджидал, когда вы от командующего вернетесь,— сказал Евстигнеев.

Синцов было подумал, что Евстигнеев догадывается о разговоре, который имел с ним Серпилин, и хочет узнать, чем этот

разговор кончился. Но Евстигнеев интересовался другим: что новенького там, в штабе армии.

Синцову, в свою очередь, хотелось спросить Евстигнеева, что представляла собой его адъютантская служба. Одно дело — издали, а другое — вблизи. Но удержался. Пока человек еще исполняет свои обязанности, узнавать у него такие вещи неловко. Вместо этого, взглянув на забрызганный грязью «виллис» с прикрученными к нему запасными канистрами, спросил:

— Услышал сегодня, что ты за отцом командующего ездил. Привез?

— Не привез. — Евстигнеев уклонился от подробностей. — Пойду докладывать.

Они простились, и Синцов, садясь в «виллис» и глядя вслед Евстигнееву, почувствовал себя без вины виноватым перед ним. Хотя, если бы не согласился занять его место, ничем бы ему не помог. Раз Серпилин решил сменить адъютанта — так и так сменит.

— Опять дождь собирается,— поглядев на небо, сказал водитель. — А в дождь той скорости не разовьешь.

— Дождь или не дождь, а приказано к подъему начальства быть на месте. И хотя бы два часа в запасе надо иметь. Значит, к четырем утра. Отсюда и рассчитывайте,— сказал Синцов.

И вдруг, когда машина уже тронулась, подумал не о том, о чем думал все это утро, а о том, что все-таки самого страшного не случилось: Таня жива! И если она обогнала его, то завтра днем или вечером он увидит ее там, на фронте. Просто увидит, как видят друг друга люди, не когда-то там, через год, или после войны, а завтра! И можно будет подойти к ней и дотронуться до нее, до живой...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Сегодня в час должна была состояться врачебная комиссия, а на завтрашнее утро Серпилин заранее назначил отъезд в армию.

Получив привезенное Синцовым письмо, Бойко в дополнение к «виллису» прислал в Москву для страховки «додж-3/4» с водителем и техником-лейтенантом из армейского автобата.

Хотя Серпилин и сказал вчера с маху этому технику-лейтенанту, что зря приехали, без вас бы добрался, но сделали правильно. Ехать одной машиной, рискуя застрять из-за какой-нибудь неисправности, командующему армией нет расчета. И возможности другие, чем раньше, и время, как никогда, дорого.

На предотъездный день скопились отложенные или сами собой оттянувшиеся дела.

После обеда должна была приехать жена Геннадия Николаевича Пикина, которую Серпилин никогда до сих пор не видел и не особенно хотел видеть, но она прислала два письма — и пришлось согласиться.

Вообще выходило, что у него сегодня какой-то женский день. После обеда — Пикина, а сейчас, с утра, предстояло увидеться с женой сына. Она два раза присылала к нему внучку, а сама заладила, как дятел: «Стыжусь вас видеть». Но вчера, когда срок отъезда подошел вплотную, он велел Евстигнееву передать ей: чтобы приезжала, или он ее знать не хочет. Долго говорить не о чем, а увидеться надо. И пусть не боится — не съем!

В ожидании ее приезда он прогуливался по аллее, которой ей все равно не миновать, когда пойдет от главного входа. В том, что на этот раз приедет, был уверен.

Он увидел ее еще издали, в конце аллеи. Она шла так, словно боялась встретить его, хотя для этого и приехала. Но, увидев, заторопилась навстречу, а последние несколько шагов не прошла, а пробежала и ткнулась ему в грудь лицом.

— Извините меня! — не сказала, а выдохнула.

Из-за силы владевшего ею напряжения шепот этот был как крик.

Серпилин погладил рукой ее соломенные, жесткие, сожженные на концах перманентом волосы и без раздумий сказал первые пришедшие на ум слова:

— Буде плакать-то! Какая у тебя вина передо мной? А того, кто помер, уже не воротишь; значит, и перед ним — без вины.

Жена сына оторвалась от Серпилина, вытерла рукою свои заплаканные и переплаканные глаза, в которых уже и слез-то не было,— наверно, ревела и дома и по дороге,— и стояла перед ним теперь, как виноватая девочка, беспомощно шмыгая носом и по-солдатски, по швам, опустив руки.

Стояла стройная, тощая, с выпиравшими из-под вязаной кофточки ключицами, перемученная, бледная, с искусанными широкими губами и с синевой под глазами от слез, или бессонницы, или от всего вместе.

— На кого ты похожа! — сорвалось у Серпилина. — Зачем и для чего себя так доводишь? Стараешься доказать ему, что старше него на шесть лет?

— А я, думаете, ему не говорила? Я ему с самого начала доказывала.

— Сколько б ни доказывала, а, видать, не доказала,— улыбнулся ее горячности Серпилин. — Красивая женщина, все у тебя

есть, что надо. Можно у нас при входе вместо этой, гипсовой, с веслом, поставить, даже лучше ее будешь. Он на тебя любоваться должен, а ты до чего себя довела?

— Не об этом мои мысли,— сказала она полуудивленно-полуобиженно.

— Как не об этом, раз замуж за него выходишь? Как раз об этом у тебя и должны быть мысли. О чем же еще? Пойдем в дом, поговорим. Чего мы тут стоим?

— Давайте лучше здесь сядем. — Не дожидаясь Серпилина, она первая устало опустилась на скамейку.

— Торопишься, что ли? — спросил Серпилин, садясь на другой конец скамейки.

К его удивлению, она кивнула.

— И куда ж спешишь?

— Мы в загс с ним идем расписываться. Он настоял, чтоб сегодня.

— И правильно сделал. Завтра чуть свет в дорогу. Чего ж ты другого от него ждала?

— Хотела до этого поговорить с вами.

— Давно могла бы.

— Не могла я... раньше. — Она закусила губу. — Стыдно было перед вами, потому что сама ему на шею кинулась. Он перед вами ни в чем не виноват. Только одна я.

— Слушай-ка, Аня. — Несмотря на искусанные губы и синяки под глазами, ее лицо в эту минуту полного душевного самоотвержения все равно казалось Серпилину прекрасным. — Не обижайся, если спрошу у тебя одну вещь.

— Спрашивайте чего хотите,— сказала она, все с той же готовностью к самоотвержению.

— Когда ты за моего Вадима выходила, у тебя до этого никого не было?

Она покраснела и посмотрела ему в глаза.

— Нет. — И вдруг вскрикнула от собственной догадки: — Не мог он вам этого сказать про меня!

— А он ничего и не говорил. Я сам тебя спрашиваю,— сказал Серпилин, после этой вспышки уверенный, что она сказала и будет говорить ему правду. — И за то время, пока с Анатолием не встретилась, тоже никого не имела?

Она ничего не ответила на это, только слезы выступили у нее на глазах, и она сердито вытерла их ладонью.

— Вот видишь. Вадим у тебя был первый в жизни. Анатолий — второй. А ты у него, насколько понял, вообще первая. О чем ты говоришь? О каких своих винах? Вот уж истинно солдатская жена, какую только пожелать можно. Был бы у меня

второй сын, лучшей бы для него не искал. И Анатолий твой может считать, что в сорочке родился.

Серпилин сказал все это, желая поднять ее в собственных глазах, никак не думая, что именно от этих слов она и расплачется.

Он смотрел на нее, ждал, когда она кончит плакать, и думал о себе, что, наверно, так горячо доказывал ее правоту еще и потому, что это было самооправданием для него самого, для человека, который в свои пятьдесят лет, после долгой и хорошо прожитой жизни с хорошей женщиной, оказывается, с трудом может жить один и всего через полтора года после ее смерти не только готов любить другую женщину, но и плохо себе представляет, как будет существовать без нее.

В том, что происходило между облегченно плакавшей сейчас рядом с ним на скамейке Аней и ее двадцатилетним Анатолием и между двумя уже немолодыми людьми — им и Барановой,— при всех различиях было и сходство. И состояло оно в том, что людям плохо жить в одиночку, что они не умеют и не хотят этого делать, хотя иногда притворяются перед другими или перед самими собой, что и умеют и хотят...

— Как у тебя дела на работе? — спросил Серпилин у Ани, когда она отплакала свое и остановилась.

— Без перемен. Девушки хорошие, привыкли друг к другу. Меня уважают... Что бригадиром стала, я вам еще зимой писала...

Она помолчала, припоминая, что бы еще рассказать ему, потом вздохнула:

— Одной прошлую неделю про брата из Крыма прислали: пропал без вести. Если бы, как раньше, отступали, а то ведь наступали, как же так — без вести?

Объяснять ей, почему и во время наступления люди тоже пропадают без вести, было бы долго. Да и требовались ли сейчас эти объяснения?

Серпилин промолчал и спросил:

— А что шьете?

— Как и раньше — гимнастерки-гимнастерочки.

«Да, гимнастерки-гимнастерочки,— в тон ее словам, в которых промелькнуло что-то песенно-печальное, подумал Серпилин. — Раньше шили с отложными воротниками, а теперь со стоячими... В них и воюют, в них и в земле лежат. И те, на кого похоронные пришли, и те, о ком пока пишут: «Без вести...»

— Я теперь по аттестату не могу от вас получать,— сказала Аня. — Вы отмените с первого числа.

— Одна над этим думала или вместе с Анатолием?

— Одна. А что, я не права, что ли?

— Если и права — от силы наполовину. Хотя плечи у старшего лейтенанта Евстигнеева, согласен, широкие, но все же перекладывать на них заботу о прокормлении своей внучки не вижу причин. О тебе пусть старший лейтенант Евстигнеев заботится, а о ней — позволь мне.

— А если он ее удочерить хочет? — спросила Аня даже с каким-то вызовом.

— Желание понятное, раз тебя любит. Но разум подсказывает — внучку оставить на моем иждивении. Потерпеть с этим, пока не отвоюемся.

Она сказала «спасибо» одними губами, без голоса.

Слова «пока не отвоюемся» прозвучали для нее напоминанием, что люди смертны и не рано ли старшему лейтенанту Евстигнееву удочерять девочку, когда у него впереди еще не оконченная война. Она сдерживала себя, но любовь и страх так завопили внутри нее, что все-таки вырвались наружу:

— Вы только не отсылайте его от себя. Если можно. Пусть с вами и дальше будет. — И снова повторила: — Если можно!

«Можно-то можно,— подумал Серпилин. — Да вот почему-то нельзя. Все-таки решилась, заговорила об этом! Все остальное, наверно, заранее обсудили вдвоем. А это — нет! Это взяла на себя».

— Только ему не говорите, что я вас просила! — сказала она, подтверждая догадку Серпилина.

— Адъютантом ему у меня не быть,— сказал Серпилин. — Неудобно и нельзя для нас обоих. А на смерть его никто посылать не собирается. Через две недели напишет тебе и где, и кем, и насколько жизнью доволен.

Жена сына вздохнула. Серпилин все еще мысленно называл ее так. Вздохнула, качнула головой, словно сама себе ответила на какой-то вопрос, и, подняв глаза на Серпилина, сказала:

— Мне ехать надо, а то не успеем сегодня.

— Где жених-то твой? — вставая, спросил Серпилин. — Небось у машины дожидается? Провожу тебя до него.

— Нет, он в загсе. Очередь занял.

— Какая же там теперь очередь? — идя рядом с ней по дорожке, спросил Серпилин.

— А там все вместе — одна очередь,— объяснила она.

И Серпилин вспомнил, что загс — это ведь не одни женитьбы и рождения, а еще и разводы и смерти... Главное теперь, во время войны,— смерти. Справки для единовременных пособий. Справки для пенсии. Да, конечно, там много народу. И, подумав,

что не больно-то весело расписываться в этой общей очереди, сказал ей:

— Завтра, когда через Москву поеду, заеду чарку за вас выпить. Коньяк мой, а ты картошки поджарь с луком. Здесь завтракать не буду, расчет на тебя. Найдется?

— Найдется. У меня и консервы есть. Вы когда приедете?

— А ты когда с ночной смены вернешься?

Она покраснела.

— Меня отпустили сегодня. Я не иду. Обменялась с подругой, потом отработаю за нее.

— К девяти ровно приеду. — Серпилин подумал, что сегодня у них последняя ночь с Евстигнеевым, когда будет следующая, неизвестно, и добавил: — Анатолию скажи, чтоб не ездил сюда, за мной. Пусть машину пришлет к восьми тридцати, чтоб прямо к корпусу подъехала, а сам ждет там, у тебя. Ясно?

— Хорошо.

— Слушай-ка,— вспомнил Серпилин, когда они уже подходили к воротам. — Имею к тебе просьбу.

— Какую? — спросила она с готовностью. Обрадовалась, что у него еще и теперь может быть к ней какая-то просьба.

— Анатолий тебе про моего отца объяснял?

— Говорил.

— Теперь, выходит, отец меня уже не застанет. Пусть у тебя остановится, если приедет.

— Я знаю. Анатолий предупреждал.

— Походи за ним несколько дней, как тебе работа позволит. Все же он немолодой. Семьдесят семь.

— Хорошо. Анатолий говорил. Я все сделаю.

— Ну, а в случае чего, думаю, тебе соседка поможет. Как с ней живете?

— Ничего,— не сразу, с запинкой сказала она.

— Вижу, не договорила? Не ладите, что ли?

— Нет, ладим. — Видимо, ей не хотелось говорить то, что предстояло сказать. — Ладим, когда не выпивает.

— Как так выпивает? — У Серпилина не вязалось в голове одно с другим: воспоминание о соседке Марье Александровне, какой он ее видел, когда приезжал хоронить жену, и мысль, что эта женщина стала выпивать. — С чего вдруг и на какие заработки?

Жена сына пожала плечами:

— Она на эвакопункте через сутки работает, дежурит. А сутки дома. Не всегда, конечно, но выпивает. Хлеб меняет, вещи одну за другой продает.

— И давно это у нее?

— Как сын осенью на фронт уехал.

То, что сын соседки, Гриша, уехал на фронт, Серпилин знал. Не только знал, но и готов был помочь ему уехать. Но помогать не понадобилось. Новый командир той гвардейской дивизии, которой раньше командовал его отец, сделал все сам. Удовлетворил ходатайство и зачислил мальчика в музыкантскую команду. Гриша тогда написал Серпилину, что в музыкантскую команду — это только по штату, а на самом деле его берут в дивизионную разведку. Обещал писать еще, но больше не написал. Как видно, короткая его привязанность к Серпилину здесь, в Москве, заменилась теперь там, на фронте, другими, посильнее. Так и должно быть. Тем более если оказался среди хороших людей. А почему среди плохих? Конечно, среди хороших. А вот мать, оставшись одна, выходит, сплоховала. Кто бы мог подумать?

— Поговорю с ней завтра утром,— сказал Серпилин.

— Не поговорите. Она сегодня с обеда на сутки дежурить уйдет. Уже не увидите ее.

«Что же сделать? Как повлиять на женщину? — подумал Серпилин. — Написать ей? Усовестить? Пригрозить, что сообщу сыну? Но у кого рука подымется написать в армию мальчику, что мать его пьет с горя, оттого что муж погиб, а сын на фронте?»

— Ты бы хоть приглядывала за ней,— неуверенно сказал Серпилин.

— А что я, не гляжу? И на работу к ней ходила в свой выходной, говорила, чтобы повлияли. А как удержишь, когда она через сутки дома, а я каждый день на работе?

— Да, вот еще что,— вспомнил Серпилин. — Там в шкафу набор на сапоги и отрез на шинель лежат...

— Лежат, я нафталином пересыпала,— сказала Аня.

— Отдай их отцу, когда приедет. Анатолий говорит, что обносились они там.

Аня молча кивнула.

— Ладно, до завтра,— сказал Серпилин, когда они дошли до ворот.

Жена сына остановилась, словно ждала от него еще каких-то слов перед тем, как поедет в загс. Но говорить было уже нечего.

Она уехала, а он, придя в комнату, сел за стол и положил перед собой вынутый из полевой сумки блокнот. Надо было, если отец приедет, оставить ему письмо. Но что писать после стольких лет разлуки?

Особой близости с отцом у Серпилина никогда не было. Отец был человеком грубым и веселым, в молодости способным на за-

дор и отчаянность. Когда взял мать — заставил ее креститься и как умел защищал ее и от пересудов и от чужой грубости. А сам мог и пригрозить и замахнуться на нее, хотя на памяти Серпилина ни разу не ударил. Когда умерла, тосковал и пил, но не прошло года — женился. И женился так, что о матери больше в доме и памяти не было. Так себя сразу же поставила новая молодая жена Паня — Пелагея Степановна, которая и за глаза и в глаза звала пасынка татарином. Не потому, что был похож на татарина, а потому, что хотела отделить его этим названием от себя и от своих трех, одна за другой родившихся дочерей. Но он и без этого чувствовал свою чуждость в новой семье и упрямо звал ее не матерью, а тетей Паней, а потом, во взрослые годы,— Пелагеей Степановной. Она была женщина трудолюбивая и скаредная, не щадившая ни себя, ни других и все в жизни измерявшая тем: принесет ли это что-нибудь в дом или отнимет из дому. Не мешая отцу показывать на людях свою отчаянность, она втихомолку подчинила его себе, хотя и делала вид, что он продолжает жить по своей воле.

Всякую душевную связь с родительским домом Серпилин утратил еще до первой мировой войны, когда уехал из Тумы в Рязань, в фельдшерскую школу. Из-за гибели матери детство было заслонено чем-то печальным и черным, и Серпилин вспоминал его так, словно в затмение смотрел на солнце через закопченное сажей стекло. От детства осталась лишь память о матери как о навеки добром начале да острое чутье ко всякой несправедливости, а вся остальная натура была заквашена позже, на германской и гражданской войнах. В родительском доме Серпилин объявился лишь через много лет, в двадцать третьем году, едучи из Царицына — где он сдал полк — в Москву, на курсы усовершенствования комсостава. Стояла зима, и он заехал домой во всей красе тогдашней формы, в буденовке-богатырке, в шинели с красными «разговорами», с нашивкою комполка на левом рукаве — звезда и четыре кубаря.

Отец в то время жил хорошо. Знал и свое фельдшерское дело и всю ту пользу, какую оно способно дать умелому человеку в сельской местности. Имел дом, и хозяйство при доме, и сад, и огород, и пасеку. Старшая из дочерей была просватана за кооператора. Жили сыто и хотели жить еще сытей. И, судя по разговорам отца и мачехи, ни о чем другом не думали. С удивлением узнав от Серпилина, какой малый оклад он получает, несмотря на свои нашивки, отец даже спросил, не думает ли он демобилизоваться и пойти обратно в фельдшера. И когда Серпилин ответил, что нет, не собирается, сказал неодобрительно:

— Тебе видней...

Узнав, что сын женился на вдове товарища, да еще взял ее с ребенком, тоже не одобрил:

— Молодой еще, мог бы взять за себя без довеска.

После многих лет разлуки прожили рядом три дня, не поняв и не позавидовав друг другу.

Следующий раз увиделись еще через тринадцать лет, в тридцать шестом году. Тут уже Серпилин приехал не сам, а по вызову мачехи. Она написала об отце, что тот приболел «и хорошо бы вам, Федя, к нему приехать». Написано было на «вы». А вспомнила о нем, наверно, потому, что в газетах были напечатаны списки комсостава, получившего воинские звания. Он тогда уже служил в Москве, преподавал в академии, и ему было присвоено звание комбрига.

Он взял отпуск и поехал. Один. Валентину Егоровну, жену, с собою не брал. Считал, что эта поездка не принесет ей радости.

Отец действительно приболел, но богу душу отдавать не собирался и, когда Серпилин приехал, уже похаживал в валенках по дому, собирался идти на работу. Хотя ему уже тогда было под семьдесят, о пенсии еще не думал.

Скорей всего отец поддался на уговоры мачехи: закинуть удочку на будущее — не начнет ли сын помогать? Возраст позволял заговорить об этом. Все три дочери вышли замуж и жили теперь отдельно. Две здесь же, в Туме, одна за кооператором, другая за директором школы, а третья за железнодорожником, в отъезде. Судя по намекам мачехи, Серпилин понял: дочки помогать не склонны. Или потому, что знают пока безбедное положение родителей, или не так воспитаны.

Серпилин, не долго думая, пообещал каждый месяц высылать из получки небольшую сумму.

— Не спеши, с женой посоветуйся,— сказал на это отец.

И опять не поняли друг друга. Отец, зная свою Пелагею Степановну, не понимал, как можно сделать такое, не посоветовавшись. А Серпилин, зная свою жену, полагал, что тут не о чем спрашивать.

После того как он начал переводить деньги, из Тумы стали регулярно приходить родственные письма, подтверждавшие получение переводов и сообщавшие домашние новости. Близости к родным письма эти не прибавили, да и переписка длилась недолго...

Потом, в сорок третьем году, в своем первом после шестилетнего перерыва письме, отец объяснил Серпилину, что он не стал тогда писать Валентине Егоровне, чтобы не растравлять ее горя — словами не поможешь.

Словами, верно, не поможешь, но мог бы сделать и по-другому, позвать ее: приезжай, поживи у нас. Но если б даже отцу и пришло это в голову, Пелагея Степановна все равно бы не разрешила.

Отец написал Серпилину в сорок третьем году, в марте, после того как прочел в газете о награждении генералов орденами Кутузова за Сталинград.

Адресованное в Наркомат обороны, отцовское письмо зигзагом, через Москву, пришло к Серпилину только в мае, уже на Центральный фронт. В письме были приветы жене и сыну. Серпилин ответил, что их обоих нет на свете, и дал распоряжение начфину армии переводить на адрес отца часть своих полевых денег.

Тогда у него не возникло мысли повидаться с отцом. Она возникла недавно, когда уже здесь, в Архангельском, получил пересланное с фронта отцовское письмо, из которого узнал, что пришла похоронная на второго зятя. Вспомнил, как сам недавно чуть не отправился на тот свет, вспомнил, что отцу уже семьдесят восьмой, выхлопотал ему пропуск для поездки в Москву и послал за ним Евстигнеева на «виллисе».

Но отец, против ожидания, с Евстигнеевым не приехал. Почему так поступил, трудно понять. Евстигнеев объяснить не мог; с вечера старик сказал, что утром поедет, а утром, когда пора было ехать, объявил, что ему неможется и нужен срок на сборы; приедет потом сам, поездом, через Рязань.

Если послушать Евстигнеева, старики по военному времени жили неплохо. Вечером накормили его яичницей с салом, а утром напоили чаем с молоком: держали козу.

— Почему он все же, по-твоему, не поехал? — расспрашивал Серпилин, но Евстигнеев лишь пожимал плечами. То ли не понимал, то ли не хотел говорить.

«Что ж, пусть как хочет, так и едет, не второй же раз за ним гонцов слать,— подумал Серпилин. — Довольно и того, что один раз «виллис» за ним гонял. «Виллис», водителя, адъютанта. Да, возможностей у нас, конечно, больше стало и по-разному ими пользуемся. Бывает, что и дурно!»

Думая так, он, однако, не имел в виду себя, считая, что за отцом в его возрасте «виллис» послать был вправе.

Написать отцу надо, потому что и он уже старый, и ты немолодой; и все люди смертны. Но что написать, так и не придумал; вместо этого вспомнил, что надо еще не забыть оставить Ане приготовленные для отца деньги...

В дверях комнаты появилась нянечка:

— Товарищ генерал, к вам женщина просится.

Серпилин едва успел встать из-за стола, как дверь позади нянечки отворилась и в комнату, мягко оттеснив сухощавую старушку, со словами «Федор Федорович, извините великодушно, это я, Пикина» вошла полная немолодая женщина с расплывшимся добрым лицом.

Серпилин поздоровался, пригласил ее сесть и убрал со стола блокнот.

— Извините, бога ради, помешала вам!

— Ничего вы не помешали. Только должен буду уйти через полчаса на врачебную комиссию. А кабы приехали ко мне, как условились, после обеда, располагал бы временем.

— Ничего, ничего,— сказала она, быстро и радостно улыбаясь. — Я вас не задержу. Машина случилась, подвезла меня сюда. Вы уж извините!

Глядя на нее, Серпилин вспомнил, как Пикин, бывало, говорил про ее письма: «Пишет мне моя дуреха». Может, и правда глупая, но, наверное, добрая. Доброта была не только написана на ее расплывшемся, когда-то красивом лице. Доброта была и в спокойных движениях, которыми она поправляла накинутый на плечи теплый платок, и в ее руках, толстых и мягких, с добрыми мягкими подушечками на пальцах. И полуседые волосы были добро и спокойно зачесаны на прямой пробор и затянуты сзади большим спокойным узлом.

«А вот уж бриллиантовые серьги в ушах, наверно, от глупости,— подумал Серпилин. — Чего это она, едучи ко мне, нарядилась в свои серьги?»

— Очень рада вас увидеть, Федор Федорович,— сказала Пикина, несколько раз глубоко вздохнув перед этим, не от печали, а чтобы отдышаться. — Я вас сразу узнала. Мне Геннадий Николаевич фотографию присылал, где вы вместе сняты. Но сейчас вы лучше выглядите. И моложе. Как ваше здоровье? Совсем поправились после аварии?

Оказывается, она знала, по какому поводу он здесь.

— Поправился,— сказал Серпилин. — Еще раз врачи посмотрят — и на фронт!

Она поняла это как напоминание и заторопилась:

— Я не задержу вас, не беспокойтесь,— и, вынув из сумки конверт, пододвинула его по столу своей мягкой рукой с подушечками на пальцах. — Возвращаю вам с великой благодарностью присланную вами после всего случившегося сумму. Обстоятельства позволили не прикасаться к ней, но не решилась послать ее вам обратно, чтобы не быть превратно понятой. Ждала случая лично поблагодарить вас за проявленное милосердие.

— Какое там милосердие! — не беря лежавшего на столе пакета, сердито сказал Серпилин. — Сделал, как считал лучше, думал, пригодится. Неужто вам до такой степени деньги не нужны, что истратить не смогли?

— Сейчас я вам все объясню.

Она сложила перед собой ладошками внутрь свои пухлые руки таким жестом, словно собиралась объяснять все это ребенку. Серпилин чуть заметно улыбнулся, но она не заметила, лицо ее было серьезно.

— Как вы знаете, в двадцать пятом году Геннадию Николаевичу пришлось демобилизоваться из армии из-за брата моего Сергея Петровича.

Серпилин до сих пор все вспоминал, как же ее звали. Пикин говорил, а он забыл. Теперь вспомнил. Ее звали Надежда Петровна.

— Сергей Петрович был в миру богатым по тому времени человеком, имел крупную фирму. Был сам и инженером и предпринимателем, тогда это считалось в духе времени. Но потом оказалось...

Она остановилась, подыскивая выражение, а Серпилин механически отметил сказанные ею странные слова — «в миру». «В миру, в миру, что бы это могло значить — в миру?»

— После изъятия ценностей, когда Сергея Петровича за отказ от добровольной их сдачи сослали на Соловки, это, как вы знаете, отразилось и на нашей с Геннадием Николаевичем судьбе: ему на гражданскую службу пришлось перейти счетоводом.

— Знаю. Он мне объяснял.

— Но совсем лишить брата своей заботы я, конечно, не могла; я и на Соловках его посещала, и в Томске на вольном поселении. Он оставил там, в Сибири, мирские дела и принял духовный сан. А перед войной был рукоположен на воронежскую епархию и покинул Воронеж уже под бомбами по настоянию своего духовного руководства.

«Вон, оказывается, где ее братец был летом сорок второго! — подумал Серпилин. — Неподалеку от нас, грешных, в тех же местах. Только та разница, что он по настоянию своего руководства покинул те места под бомбами, а мы, грешные, по настоянию своего руководства хотя и под бомбами, а не покидали их до последней возможности».

Да, о том, что его шурин стал не то архиереем, не то даже митрополитом, Пикин не говорил. Или стеснялся, или боялся, что Бережной над ним шутить будет.

— Брат в миру был Сергей, а с тех пор, как принял сан,— Никодим,— сказала Пикина так, словно, услышав это имя, Серпилин должен сразу понять, кто ее брат.

Он действительно помнил это имя по газетам. Этот Никодим был не то членом комиссии по расследованию фашистских злодеяний и подписывал ее документы, не то его подпись стояла под призывами об участии верующих в сборе средств на танки и самолеты для Красной Армии.

— С тех пор как он переехал в Москву, я веду его хозяйство. Ну, какое хозяйство! — Пикина развела руками, словно поясняя этим жестом: какое может быть хозяйство у духовного лица. — Однако о хлебе насущном думать не приходится. Да и потом,— после маленькой нерешительности добавила она,— у меня от нашей мамы еще сохранилось. Два ее кулона и брошь я в начале войны пожертвовала. Но все-таки немножко оставила и на черный день.

Она чуть заметным движением руки показала на серьги в ушах.

«Вот зачем ты их надела,— подумал Серпилин. — Чтобы доказать мне, что не нуждаешься».

Тем временем Пикина той же рукой, которой до этого показывала на серьги, деликатно подвинула по столу конверт.

— Ладно, не надо так не надо.

Серпилин взял конверт и сунул его в лежавшую на столе полевую сумку, решив добавить эти внезапные деньги к тем, что собирался оставить отцу.

— Вы не знаете ничего нового о Геннадии Николаевиче? — спросила Пикина, которая давно ждала возможности задать этот главный для нее вопрос, но не хотела приступать к нему, не разрешив волновавшую ее неловкость с деньгами.

— К сожалению, не знаю,— сказал Серпилин. — Нам таких сведений не сообщают. Да, возможно, и сами не имеют.

Он действительно ничего не знал о Пикине. Ровно ничего. Осенью прошлого года, когда история с Пикиным осталась позади и без последствий, после Курской дуги и полученных за нее новых наград, Серпилин написал в интендантское управление запрос: какие права на получение единовременного пособия и пенсии имеют жены оказавшихся в плену генералов?

Пикин буквально накануне плена получил звание генерала, но в горячке боев так и не успел переобмундироваться и в сообщениях немцев прошел как полковник. А по нашим интендантским документам числился уже генералом.

Ответ пришел довольно быстро. Интендантское управление сообщало, что семьи попавших в плен генералов обеспечиваются

пенсией и единовременным пособием только в том случае, когда об этих генералах имеются данные, что они не являются предателями.

Мысль, что жена Пикина могла бы получать пенсию, пришлось оставить. И сейчас незачем было рассказывать ей обо всем этом.

— Остается верить в крепкое здоровье Геннадия Николаевича — что выдержит плен. Тем более до конца войны теперь не так долго. А что ведет себя в плену как положено, лично я не сомневаюсь,— добавил Серпилин то главное, что, как он считал, следовало ей сказать.

— Ну какие же тут могут быть сомнения? — сказала она тихо и просто, как о самой обыденной вещи, в которой никто и не мог сомневаться. — Только бы здоровье не подвело. У него ведь диабет перед войной начинался!

— Что-то не замечал за ним,— сказал Серпилин, подумав, что, наверно, Пикин не давал этого за собой замечать, был не из тех, кто жалуется на здоровье.

— Еще одного боюсь,— вздохнула Пикина. — Пишут о бомбежках Германии нашими союзниками, что это ужасные бомбежки! Как бы он не пострадал! Ведь они куда попало все это бросают. Я пыталась через Красный Крест выяснить его судьбу. Попала к самой Пешковой, Екатерине Павловне. Приятная, воспитанная женщина. Но она сказала, что Красный Крест ровно ничего не знает. Мы, оказывается, в свое время какой-то там взаимной конвенции не подписали и теперь ничего не можем узнавать о пленных. Англичане и американцы могут узнавать, а мы не можем.

Серпилина чуть не передернуло от удивления. Да, он знал, конечно, и даже хорошо помнил по той мировой войне, что был Красный Крест и через Красный Крест узнавали о пленных и даже посылки посылали пленным офицерам. Но соотнести все это с войной, происходившей сейчас, не приходило в голову: «Какой Красный Крест? При чем тут он в этой войне с фашистами? Какие конвенции? Какая взаимность?»

Просто невозможно было себе представить, что между нами и фашистами могла сейчас действовать какая-то конвенция о Красном Кресте, по которой можно было бы узнать, что там сейчас делается у них в плену с мужем этой сидящей перед ним женщины,— жив он или умер и в каких условиях находится.

Мысль об этом до такой степени не сочеталась со всем, что происходило на войне все эти три года, что казалась дикой.

— А Пешкова — очень приятная женщина,— повторила жена Пикина. — Вы с ней не знакомы?

— Не знаком.

— И сама так внимательно ко мне отнеслась. И секретарь ее так внимательно ко мне отнесся. Все они в Красном Кресте были такие внимательные... Правда, я к ним с письмом от брата пришла,— добавила она.

«Да,— подумал Серпилин,— вот уж именно неисповедимы пути твои, господи! Ее муж, коммунист, сидит где-то в фашистском плену, а она приходит в Красный Крест с письмом от своего брата, который был нэпманом, десять лет просидел в Соловках, а теперь не то архиерей, не то митрополит, и ее там, в Красном Кресте, принимают с особым вниманием, потому что у нее письмо от брата».

Сложившееся у Серпилина еще с гражданской войны непримиримое отношение к церкви было для него таким естественным чувством, что он еще никогда в жизни не сомневался в своей правоте. Но, как ни странно, с приходом этой добродушной толстухи жизнь вдруг повернулась к нему еще каким-то одним боком, и внутри нее обнаружился еще какой-то иной, плохо ему понятный, но реально существующий мир других людей, других надежд на будущее и, наверно, других взглядов на прошлое, чем у него.

Он молчал, охваченный неожиданными для себя мыслями, а жена Пикина поняла его молчание по-своему — что разговор окончен и надо идти.

— Наверно, вам уже пора. — Она поднялась.

Он тоже поднялся и посмотрел на часы.

— Потихоньку пройдемся с вами по аллее до ворот, как раз и выйдет время. И будем считать, что в следующий раз увидимся после войны все вместе, с Геннадием Николаевичем.

— Только бы у него с диабетом не обострилось! У него уже раз перед войной было обострение, пришлось делать уколы... А там, наверно, это невозможно...

«Да уж там уколы!» — подумал про себя Серпилин, но ничего не сказал.

— Завтра опять на фронт? — спросила она, когда они вышли в парк.

Он кивнул.

— Если бы верующий были, надела бы на вас ладанку со Старого Афона. Я Геннадия Николаевича просила, когда он уезжал, а он отказался,— сказала она так горестно, словно только это и было причиной всему, что потом случилось.

Серпилин не нашелся что ответить. Он никогда не понимал, как это сколько-нибудь образованные люди могут верить в бога. Знал, что бывает, но все равно не представлял себе, как это мо-

жет быть. А женщина, шедшая рядом с ним, наверно, наоборот, не представляла себе, как это человек может не верить в бога.

«И она — тоже Россия, как и я, как и все другие»,— подумал он вдруг, вспомнив, как на Курской дуге они хоронили геройски погибшего прямо под танками у себя на артиллерийских позициях сорокапятилетнего капитана, пришедшего из запаса, а после похорон доложили, что вместе со всеми документами покойного в отдел кадров сдан нательный крестик, который оказался у него на шее, и непонятно было — то ли он и раньше скрывал, что верит, то ли во время войны уверовал. Да и не было времени думать над этим. Серпилин, узнав тогда, что сняли с покойника этот крестик, даже накричал на того, кто докладывал:

— С чем умер, с тем и надо было хоронить!

Так рассердился, словно над покойником была совершена несправедливость. А может, так оно и было?

— Откуда вы узнали, что я здесь, если не секрет? — спросил Серпилин.

— Одна из наших прихожанок про вас сказала.

«Наверное, какая-нибудь няня отсюда, из Архангельского, а может, и медсестра»,— подумал Серпилин, но спрашивать не стал.

— Церквей мало осталось,— сказала Пикина. — Сколько людей изо дня в день ждут, если хотят, чтобы не просто в поминание вставили, а отдельную панихиду об убиенном воине отслужили, как в очереди какой-нибудь, до слез жалко бывает!

— Понятно. Где война — там и панихиды,— сказал Серпилин.

Идя с ним по аллее, она продолжала рассказывать, сколько стало молящихся; что теперь и военные, приезжая с фронта, тоже иногда бывают в церкви, хотя еще редко. Она говорила все это так, словно Серпилин должен был непременно сочувствовать тому, что стало больше верующих.

Серпилин вовсе не разделял ее чувств, но за наивностью, с какой их высказывала эта добрая и неумная женщина, была сила убеждения. Она говорила с ним так, словно он идет на фронт защищать не Советскую власть, а ее православную церковь, и он чувствовал, что это не составляет для нее сейчас разницы, кажется ей почти одним и тем же.

Когда они подошли к самым воротам, она подняла на Серпилина глаза и сказала, глубоко вздохнув:

— Мой Геннадий Николаевич до тридцати пяти лет был верующим, только в церковь не ходил, когда служил в Красной Армии. А потом, пока учился в вечернем экономическом инсти-

туте на бухгалтера, стал неверующим. Но не бросать же нам было из-за этого друг друга... Как он там сейчас? С этим засыпаю, с этим просыпаюсь.

И Серпилин, глядя на ее лицо, сделавшееся старым и несчастным, с уверенностью подумал: «Не только засыпает и просыпается с этим, а и молится, чтобы ее муж вновь обратился к богу и спасся своею верою там, в стенах фашистского ада. Ну что ж, пусть молится. Тем более если при этом еще и на танки жертвует. Молитвами — навряд ли, а силой оружия спасем».

Он вспомнил о своем, о том, что хорошо бы на время наступления получить мехкорпус, и, наклонившись, поцеловал добрую пухлую руку женщины.

— Вместе с вами верю, что вернется.

Поцеловал, поднял глаза и увидел у ворот машину и около нее Баранову.

— Не в аптеку, а прямо в операционную снеси и старшей хирургической сестре отдай,— говорила она кому-то в машине.

Потом заметила Серпилина и подошла — высокая, в ловкой, по фигуре сшитой гимнастерке и в таких же ловких хромовых сапогах на маленьком каблучке.

— Анестезирующие средства ездила в Москву получать, чтоб мимо носа не проехали!

Серпилин познакомил женщин, и Баранова, коротко сказав Пикиной, что слышала от Федора Федоровича много хорошего о ее муже, приложив руку к пилотке, пошла к лечебному корпусу.

И, лишь отойдя на двадцать шагов, обернулась и крикнула Серпилину:

— Смотрите, не опоздайте на комиссию!

Она была уже далеко, а Серпилин подвел Пикину к привезшей ее «эмке», которая, оказывается, ждала здесь.

За рулем «эмки» сидел немолодой мордастый человек в прорезиненном плаще и парусиновой фуражке.

«Может, тоже прихожанин,— усмехнулся Серпилин, открывая Пикиной дверцу машины. — А может, у ее брата своя «эмка» есть, кто их теперь знает».

Пикина уже на ходу машины помахала ему через стекло, и он повернулся и пошел — опаздывать действительно не годилось.

В вестибюле около вешалки стояла Баранова. Стояла и поправляла перед зеркалом волосы.

За это время она могла успеть подняться по лестнице на второй этаж. Значит, ждала его здесь, хотела что-то сказать.

Когда он вошел, она повернулась от зеркала, быстро пошла навстречу и, остановившись перед ним, взяла его за руку, не обращая никакого внимания на стоявшую за гардеробной стойкой и смотревшую на них санитарку.

Она держала за руку Серпилина и стояла к нему так близко, что он видел сверху вниз, почти вплотную, ее поднятые на него глаза, ее чуть порозовевшие сейчас щеки, ее губы и подбородок.

— Я очень хочу,— как ему показалось, чересчур громко, на весь вестибюль, сказала она своим ясным, чистым голосом,— чтобы они тебя выписали и разрешили завтра ехать, чтобы все вышло именно так, как ты хочешь. Я очень этого хочу...

И она крепко стиснула ему руку, словно еще и этим хотела объяснить, что все это правда.

— Иди, я сейчас приду вслед за тобой...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Не спеша одеваться в надоедавшую за целый день военную форму, Баранова ходила из угла в угол в тапочках на босу ногу, в майке и в трикотажных брюках, в которых каждое утро делала гимнастику у себя в этой комнате.

Было семь утра. Серпилин только что ушел от нее собираться, потому что в восемь тридцать уезжал на фронт, а ей еще раньше, к восьми, надо было идти в лечебный корпус на пятиминутку.

Когда Серпилин уходил, она, обняв его на прощание и посмотрев на его лыжный синий костюм, рассмеялась:

— Мы с тобой как два «старичка»! Даже вспомнила сейчас, глядя на тебя, как играла когда-то в баскетбол за женскую сборную округа.

Серпилин, как и следовало ожидать, ответил, что он-то действительно старый, а она еще молодая.

При всем своем уме никак не мог отлепиться от глупой темы старости. Все еще не мог поверить, что ей с ним действительно хорошо. Хорошо, как молодой с молодым или как немолодой с немолодым,— неизвестно, как это назвать, главное, что хорошо.

— Ну, на что ты мне нужен, если бы мне не было хорошо с тобой? Ну сам подумай,— сказала она ему сегодня на рассвете.

И это правда. Хотя она всегда в своей жизни считала, что не это самое главное, но самого главного без этого тоже не было бы.

«Вот и разбери тут, что главное и что не главное»,— подумала она легко и счастливо, радуясь сознанию своей красоты, увиденной его глазами. Как будто она не знала о себе, как выглядит, две недели или месяц назад! Прекрасно знала и месяц назад, а радовалась сейчас.

— Если бы нас с тобой не потянуло друг к другу,— сказала она ему сегодня утром,— разве ты стал бы мне рассказывать все, что рассказал про себя? И я тоже так впопыхах все выпалила, что теперь — хоть придумывай! Все вспоминаю и никак не могу вспомнить, что бы такое еще рассказать тебе.

Счастье делало ее смешливой, ей хотелось шутить и даже дурачиться, и несколько раз за эти дни она ловила на его лице удивленное выражение.

Она выпаливала сразу то, что приходило в голову, а он чаще всего говорил, уже заранее решив для себя все «да» и «нет». И это значило, что им обоим еще придется привыкать к тому, что у них и разные привычки думать и разные привычки говорить.

Вот только где и когда они будут привыкать к тому, что они разные люди и у них разные привычки...

Он предложил ей выйти за него замуж. Она ответила, что, если он через несколько дней уедет на фронт и останется там до конца войны, а она тоже уедет и окажется на фронте совсем в другом месте, их поездка в загс никому не нужна, ни ему, ни ей. Он не новобранец, а она не барышня, с которой на всякий случай надо сочетаться браком, прежде чем уйти на действительную. Другое дело, если бы они оказались вместе на фронте; хотя любая семейная жизнь на фронте все равно несправедливость в глазах тех, кому это и присниться не может, все же люди меньше обижаются, когда начальство на фронте живет с законной женой.

Тогда он промолчал, ничего не ответил ей.

Ответил на другой вечер. Сказал, что думал над ее словами и не может с ней согласиться. Она должна сама понимать, как он хочет быть вместе с ней, но он никогда не считал это возможным для себя. Наоборот, считает, что этого вообще не должно быть в армии. Если бы всем, кому только возможно, давали краткие отпуска для свидания с семьями — это было бы меньшим злом для службы.

— Это в теории,— сказала она. — А на практике не так.

— На практике не так,— согласился он.

— Неужели, узнав меня, ты способен думать, что я не сумела бы там, на фронте, жить рядом, не мешая тебе?

— А я не о тебе говорю. Я о себе.

— Что значит о себе?

Он стал объяснять, что это значит: что на его плечах армия и что от каждой его ошибки и упущения будет зависеть жизнь людей и успех дела. Что у него, как у всякого человека, ограниченные силы и он обязан отдавать их войне и не думать на фронте ни о чем другом, в том числе и о ее безопасности...

— О своей безопасности я бы и сама подумала, но ладно, так тому и быть! Не поеду! — перебив его, сказала она со спокойной горечью.

Он поднял глаза так, словно она вынесла ему приговор.

— Что смотришь на меня? — Она рассердилась, что он ее не понял. — Что я тебе такого плохого сказала? Не поеду к тебе на фронт, не буду жить с тобой под одной крышей. Начнем жить под одной крышей, когда кончится война. А сейчас поеду на фронт в другую, не в твою армию и буду писать тебе письма. Иногда длинные, а ты можешь отвечать короткими, но каждый раз.

Он поцеловал ее руки и спросил:

— А почему ты все-таки не хочешь...

— Потому что это было бы глупо, бежать в загс, словно не верим друг другу. Для чего нам это нужно, пока мы не вместе?

Как ни странно, прошло всего четыре дня и четыре ночи с тех пор, как он в первый раз остался у нее, или с тех пор, как она в первый раз оставила его у себя. Как это вышло, в конце концов не суть важно. Важно, что это было и что они оба этого хотели и сделали так, как хотели.

Три ночи из этих четырех они были вместе, а одну у нее украло дежурство по санаторию. И они наутро встретились так, словно были в долгой разлуке.

Да, все это будет очень трудно, хотя бы и с очень длинными письмами — все равно трудно.

Все, о чем они говорили в эти дни и ночи, и лежа в постели, и сидя друг против друга за столом, и встречаясь на дорожках в столовую или в лечебный корпус, урывками, случайно и намеренно,— все это сложилось сейчас в одно длинное объяснение друг другу: кто ты — каждый из вас. И почему вы оба — каждый из вас — так нужны друг другу?

Она, улыбнувшись, вспомнила, как они сначала путались, потому что то одному, то другому казалось странным говорить «ты».

— При тех отношениях, которые у нас теперь с тобой сложились... — сказал он в то первое утро, когда проснулся у нее.

Эта фраза показалась ей глуповатой, и она перебила:

— Когда «теперь»? Отношения не начинаются с этого и не кончаются этим. И, как ни смешно, иногда обходятся без этого.

У нас с вами, слава богу, не обошлось. И я рада этому. Но при чем здесь «теперь»? Теперь так? А до этого как?

Он сказал ей тогда «ты», а она ответила «вы». И усмехнулась, защищая себя от разговора, к которому не была готова. Всего за минуту до этого она сама подумала, что теперь хочет ехать вместе с ним на фронт, и это слово «теперь», которое она не произнесла, а он произнес вслух, в сущности, было ее собственным словом.

Но он, остановленный тогда ее усмешкой, на следующий день все-таки договорил, предложил ей выйти за него замуж.

Оказывается, это он и собирался сказать, начав с глуповатой фразы про «отношения, которые теперь сложились».

Почти все, о чем они говорили друг с другом за эти дни, все равно или выходило из войны, или уходило в войну.

Она знала войну. Хирург, сделавший около тысячи операций, не может не знать войны. Но как-то она сказала, что он, наверно, во много раз лучше ее знает солдатскую жизнь.

Он сначала кивнул, а потом, будто не согласился сам с собой, сказал:

— Вообще-то как не знать, если в августе стукнет тридцать лет службы. Знать — не знаю. Но своими глазами, как живет солдат на войне, теперь вижу реже, чем раньше. Армия — это уже не дивизия и не полк. Сколько я вижу его, солдата, до атаки, в которой он или живой останется, или умрет, или попадет к тебе на стол раненый? Минуту-две. С наблюдательного пункта, в бинокль или в перископ. Вижу: сидят в окопах, начинают по сигналу вылезать, бегут, падают, скрываются в дыму, который стоит после артподготовки. Перед боями, когда проводим рекогносцировки, ползаем на брюхе по переднему краю, выбираем место для прорыва, тут, конечно, вижу солдат и чаще и ближе, чем в другое время. Поговоришь с одним, со вторым, с третьим... Остановишься, а если надо, и задержишься, посидишь, солдаты хорошо чувствуют разницу между тем, кто действительно хочет их расспросить — узнать их настроение, их мнение о местности и противнике, и тем, кто делает это напоказ. А в разгар боев современная война оставляет командующему армией мало возможностей для прямого общения с солдатами. Если сумятица, окружение, то, что переживали раньше,— там, конечно, другое, там и сами порой оказывались на положении солдата или младшего командира. А сейчас, когда война, как говорится, вошла в свои рамки...

Выражение «рамки» показалось ей тогда странным и даже бесчеловечным, как будто война — что-то такое, что может войти в рамки или выйти из рамок. Но то, как он ответил на ее расхо-

жие слова про хорошее знание солдатской жизни, заставило ее снова подумать о своей все усиливающейся любви к нему; он был глубже, чем казался ей сначала.

— А знаешь,— помолчав, сказал он,— о чем важней всего услышать солдату перед новым наступлением, когда у тебя во втором эшелоне стоит свежая дивизия и он уже понимает, для чего стоит, только дня не знает, когда начнется. Как думаешь, в чем солдат заботу о себе видит, каких слов ждет от тебя? Что и артиллерии у нас много к наступлению приготовлено, и тяжелой и самоходной, и гвардейских минометов! И что танки к нам придут! И что авиация штурмовая будет нас поддерживать, когда пойдем! Главное — штурмовая. Солдат прежде всего в штурмовую авиацию верит. Говоришь ему обо всем, что будет за его плечами, потому что перед наступлением — много ли мало будет у него за плечами — это для него вопрос жизни и смерти... А еще важней твоих слов, если сам услышит, как по ночам танки грохочут, или увидит, как тяжелая артиллерия в лесах на закрытые позиции становится. Тут безвыходная диалектика: по букве закона, для сохранения тайны, не надо, чтобы солдат все это видел и слышал, а для его настроения, наоборот, надо. — Он помолчал. — Перочинным ножом не много наоперируешь... Хотя читал в газетах, что и так приходилось. Так и мы: когда инструмента нет, какие из нас операторы? Хотя бывало, что и приходилось...

Как-то, неожиданно зайдя к нему, еще давно, две недели назад, она застала его за книгой. На столе лежала целая груда других книг с закладками.

— Не слишком ли много читаете, Федор Федорович? — спросила она тогда.

— А разве это бывает, чтобы человек слишком много читал? — Он, сняв очки, посмотрел на нее. — Чтобы слишком мало человек читал — сталкивался. А чтобы слишком много... Не понял вас. Видимо, чего-то недодумываю.

— Я говорю конкретно про вас здесь, сейчас, в санатории.

— Конкретно — жадничаю. Многое упущено. За недостатком времени и излишком дел.

— А что вы читаете? — спросила она. — Что вам больше всего сейчас нужно?

— Что нужно? Военному человеку в моем положении почти все нужно. От метеорологии до психологии. Легче сказать, чего нашему брату не нужно. В идеале, конечно. А на практике... — Он положил перед ней книжку в сером потрепанном переплете. — Сейчас, например, дочитываю некоего Сикорского. Слышали про такого?

— Строитель самолетов?

— Нет, генерал. Воевал с нами в польскую войну, а потом был председателем первого эмигрантского польского правительства в Лондоне. А потом, когда у нас стали польские части формировать, приезжал к нам договариваться. А потом угробился над Гибралтаром. Ходят слухи, что англичане его угробили за то, что он якобы слишком далеко нам навстречу пошел. Допускаю такую возможность.

Ей в душе не хотелось допускать такой мерзкой возможности, тем более во время войны, которую мы вместе с англичанами вели против немцев. Но она промолчала. Наверное, он знает лучше, раз говорит.

— В тридцать четвертом году, когда в отставке был, он книгу написал «Будущая война». Вот эту. Генералы, когда они в отставке, любят книги писать. Может, и мы, когда будем в отставке, тоже начнем,— усмехнулся он.— Книга неглупая, даже умная. Десять лет назад писал в ней, что будущая война будет непохожа на войну четырнадцатого года, потому что прибавились новые факторы: большевизм и его антитезис — фашизм. И поэтому столкновение наций приобретает в этой войне политико-социальный характер, чему мы с вами четвертый год свидетели... Ну и многое другое,— он перелистнул и закрыл книгу,— уже прямо по нашей специальности. О возрождении маневра, о темпах наступления, о действиях механизированных войск... Писал, между прочим, что для Польши сближение с Германией было бы не политической ошибкой, а самоубийством. Интересно читать, как люди оттуда, из прошлого, думают об этой войне, которая идет на твоих глазах... Тут у вас, в Архангельском, хорошая библиотека. Даже на удивление. Такое сохранилось, что и не представлял себе!

Она потом несколько раз вспоминала этот стол с книгами, за которым он сидел, как сильно проголодавшийся человек, с маху назаказавший больше, чем может съесть. Раньше ей всегда казалось, что она много читает, а теперь, после встречи с ним, не казалось.

Она призналась в этом, и он улыбнулся:

— Ничего, ты моложе меня на десять лет. Еще перегонишь. Будем после войны читать: я книгу — ты две, я две — ты три.

— А что ты думаешь делать после войны? — спросила она.

— Как что делать? Служить до предельного возраста. Надо думать, установим его после войны. Хватит ума. Как ни обидно, но армия стареть не имеет права.

— Ну, а все-таки ты лично, чего ты хочешь для себя после войны?

— Меня как-то мой бывший командующий Батюк укорял: у тебя, говорит, две души на одно тело, одна строевая, а другая штабная. Близко к истине, хотя не вижу в этом беды. Штабная душа хочет по окончании войны кафедру оперативного искусства получить в академии Генерального штаба, а строевая просится округом командовать, если дадут. Кстати, куда Батюк исчез, и сам и жена? Вы, медики, все знаете — и что положено и чего не положено.

— На этот раз не знаю,— сказала она. — Знаю только, что позавчера его в Москву вызывали, вернулся, выписался и уехал.

— Должно быть, назначение получил. Интересно, куда его теперь?..

Сегодня под утро, когда проснулись, она вдруг сказала ему:

— А я знаю вашего начсанарма.

— Генерала Нефедова?

— Теперь генерал, а был профессор — патологоанатом. Он у нас на третьем курсе читал. И уже тогда казался всем нам немолодым.

— А он и есть немолодой, мой одногодок,— усмехнулся Серпилин.

— К тебе это не относится,— рассмеялась она и спросила: — А вот будет у нас с тобой ребенок, что тогда? Не подумал об этом?

— Не подумал.

— А зря. Я вполне на это способна, только еще сама не знаю, хочу этого или нет. Кажется, все-таки не хочу. Поздно.

Он молчал.

Она смутно в полутьме видела его лицо, и ей показалось, что ему странна сама мысль, что у него еще может быть дочь или сын.

«И в самом деле это было бы странно»,— подумала она не о себе и не о нем, а о своих взрослых сыновьях; подумала и улыбнулась.

— Что ты? — спросил он.

— Немолодым людям надо поменьше говорить о своих страстях, хотя иногда и хочется. Наверно, это смешно, если смотреть на нас со стороны.

— А кому это надо — смотреть на нас?

— Может, и не надо. — Она продолжала поддразнивать его. — Но ведь не запретишь. Смотрят. Люди не слепые. А моя жизнь здесь на виду. Соседка вчера утром прямо так и спросила: «Что у тебя с ним? Это серьезно?»

— А что ты?

— Сказала: «Еще как!» А что ж мне отнекиваться? В моем возрасте как-то и вовсе смешно. Ты не находишь?

— Скрывать нечего. Но и говорить об этом ни с кем не хочется.

— Я и не стала говорить. Просто ответила ей: «Да». А вот как своим сыновьям, двум взрослым людям, написать об этом, еще не придумала.

— А ты не придумывай. Напиши, что я просил тебя выйти замуж, а ты ответила, что решишь после войны. И больше ни о чем не пиши.

— Не сумею. Если писать, надо всю правду. И говорить тоже. Только как это сделать, как набраться храбрости?

В самом деле, как набраться храбрости написать об этом сыновьям? Один на фронте, другой скоро поедет на фронт, а ты здесь, без них, чувствуешь себя счастливой... Как можно это написать? Хотя это и на самом деле так и хотя ничего не отнимает у них...

«Нет, неправда. Вот тут-то и неправда. Отнимает! Хотя бы потому, что уже не только о них будешь думать и не только за их жизнь бояться. Душа все та же — одна, но уже не на двоих, а на троих. Поэтому и надо набраться храбрости, чтобы написать им».

— Чемодан прийти тебе собрать? — спросила она. — Вашему брату обычно или жены собирают, или адъютанты, или ординарцы. Как правило, вы сами не умеете.

— Я исключение. Умею. Когда зайдешь — буду готов. Лучше десять минут посидеть перед дорогой.

Оставшись одна, она распахнула настежь окно. Из окна дул холодный ветер, и она подумала о том, как он будет ехать на фронт. Не растрясет ли его с отвычки на «виллисе» — все-таки пятьсот километров да объезды...

Она одевалась, стоя у открытого окна, а в голове мелькали обрывки мыслей о нем и о себе.

Надо попросить его не сдавать в библиотеку ту книжку Сикорского, которую он показал ей, и еще одну книжку, про которую он говорил, — о Мещерских лесах между Рязанью и Владимиром, где он родился и вырос... И пока будет пятиминутка, надо, чтобы медсестра набрала ему аптечку на дорогу...

Она еще застегивала пуговицы на гимнастерке, а в дверь уже постучала соседка, с которой они по утрам всегда вместе шли в лечебный корпус.

— Можно к тебе?

— Входи.

Вошла соседка, рентгенолог Розалия Павловна — худая, маленькая, в очках, с седыми перекрашенными волосами, которые она зачем-то стала отпускать, хотя раньше, когда она коротко стриглась, это было ей больше к лицу.

Розалия Павловна, которую, несмотря на возраст, все звали без отчества, Розочкой, следила за собой, делала маникюр и занималась гимнастикой, а теперь вот даже отпускала волосы, но все равно, глядя на нее, казалось, что она совершенно не думает о своей внешности, такая уж она была какая-то вся нескладная, особенно в военной форме.

— Ну, как? — спросила Розочка.

— Давай для разнообразия помолчим.

— Отчего ты такая грубая?

— Я не грубая. Я неразговорчивая. Пойдем, а то опоздаем.

Легонько подтолкнув, она пропустила соседку вперед.

Попавшаяся им навстречу в аллее молоденькая девчонка-нянечка поздоровалась с ней с таким выражением лица, как будто тоже что-то знала. А может, только показалось: на воре шапка горит!

Встретив нянечку, она усмехнулась тому, как и эта и другие нянечки звали их с соседкой: ее — молодой докторшей, а Розочку — старой, хотя Розочка старше не так уж намного, всего на семь лет.

— Чего фыркаешь? — спросила Розочка.

— Ничего,— сказала она, подумав про себя: «Вот и мне будет через семь лет — сорок семь, как Розочке, и я буду старой докторшей... Нет, я не буду... А вообще, что будет через семь лет? Разве можно сейчас представить себе, что с кем будет через семь лет?»

И она еще раз тревожно вспомнила о своих взрослых сыновьях...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Серпилин положил поверх белья и меховой безрукавки пачку книг, которые достал по его заказу в Москве Евстигнеев, защелкнул чемодан и поглядел на часы — даже обидно, что так быстро собрался. Семь сорок. В восемь тридцать — по коням. А она придет самое раннее за десять минут до этого. Не успеет раньше. Это у них только так называется — пятиминутка.

Оглядев комнату — не забыл ли чего, он увидел на подоконнике отпитую на треть бутылку коньяка и, покрепче вдавив в нее пробку, снова открыл чемодан и положил бутылку.

Коньяку он выпил вечером — оскоромился по случаю неожиданного прихода Шмакова. Оказывается, Шмаков уже несколько дней лечился здесь же, рядом, в санатории. Но только вчера вечером узнал и приковылял на костылях, незадолго до отбоя.

Просидели полтора часа за коньяком, вспоминая, как все это было тогда, в сорок первом, когда Шмакова прислали в полк комиссаром.

Шмаков после своего ранения вернулся на кафедру экономики в Московском университете. Как был отличный человек, таким и остался. Только ноги нет, по самое некуда, до бедра, и мучается с этим — культя болит, не дает покоя. Одну операцию сделали, грозят второй.

Шмаков приводил на память данные о военном потенциале немцев, взятые по американским источникам,— с чем начинали и с чем остаются; выходило, что, несмотря на все американские и английские бомбежки, уровень выпуска военной продукции у немцев по многим пунктам все еще не падал, а по некоторым — даже рос. Но это из последних сил. Потенциальные возможности на пределе.

Слушая все это, Серпилин с уважением вспомнил, как еще тогда, летом сорок первого, идя из окружения, его комиссар говорил, что немцы зарываются, спешат заглотать больше, чем могут. И видел в этом их страх перед долгой войной, на которую не хватит потенциала.

Теперь, задним числом, корень из этой задачки извлечь не так уж мудрено, но в сорок первом надо было иметь хорошую голову на плечах, чтобы при непосильной тяжести обстоятельств продолжать думать, а не просто выть от горя.

И не в Архангельском за коньяком тогда все это говорилось, а в лесу, грызя размоченный в воде последний сухарь, у обочины дороги, по которой всю ночь с грохотом шла немецкая техника.

«Да, это был комиссар! — подумал Серпилин, глядя на Шмакова, сидевшего напротив него, прислонив к столу костыли. — Вот уж воистину повезло мне тогда!»

— Стою теперь почти там же, где начинали с тобой воевать.

— Подзатянулась война, плохо немцы считали,— сказал Шмаков.

— У нас перед войной тоже не сказать, чтоб все хорошо сосчитано было.

— Верно,— согласился Шмаков. — С одной поправкой: их отсчет войны — с того дня, какой сами себе выбрали, признали себя готовыми. А наш — вынужденный, мы с двадцать второго

июня начинать свой отсчет не собирались. Надеялись, что начнется в сорок втором или даже в сорок третьем...

— То-то и плохо.

— Ну, это уже другая материя. Мое дело — считать. И то, что у немцев война была худо сосчитана, чем дальше, тем очевидней.

— Вообще-то они счетоводы неплохие,— сказал Серпилин. — Только, может, те из них, которые поближе к истине считали, в свое время слова для доклада не получили? — Он посмотрел на Шмакова и подлил в рюмки коньяку. — Выпьем, Сергей Николаевич.

Ему вдруг надоел весь их умный разговор про немецкую бухгалтерию войны, потому что был на земле еще и другой счет — своим могилам на своей земле. Пока все еще на своей. Только на юге несколько румынских уездов заняли, а все остальное пока на своей. А надо к этой осени шагнуть так, чтобы уже не на своей.

Шмаков вспомнил, как Серпилин в первом их откровенном разговоре там, в Могилеве, сказал ему: «Эх, Сергей Николаевич, брат мой во Христе и в полковой упряжке...» — вспомнил и рассмеялся:

— Подумал тогда, что ты из семинаристов. А ты, оказывается, из фельдшеров!

Его снова потянуло на воспоминания, но Серпилин не поддержал и перевел разговор на другое. Боялся, что Шмаков вдруг заговорит о Баранове. А касаться этой темы сейчас не хотелось.

Он проводил Шмакова уже после отбоя и немного опоздал к Барановой. Сказал ей, что задержал сослуживец.

Она не упрекнула, только подняла на него глаза, словно ожидая, не объяснит ли еще чего-то. Но он не стал объяснять, а под утро у них вышла из-за этого первая размолвка; оказывается, у нее были такие требования к нему, к которым он не привык.

— Почему не сказал мне, что у тебя сидел Шмаков? — спросила она. — Во-первых, глупо: мы все равно тут все знаем. Но пусть бы даже я не знала. Еще хуже. Это же не просто так для тебя — Шмаков. Вы же, наверно, говорили с ним и вспоминали о чем-то важном для тебя. А это и для меня важно.

— О тебе не говорили и не вспоминали.

Она огорченно вздохнула:

— Да разве меня только это интересует? А я и не думала, что ты можешь заговорить с ним обо мне. Наоборот, зная, что он сидит у тебя, была уверена, что такой человек, как ты, не захочет говорить с ним обо мне.

— И правильно. Как раз не хотел говорить с ним о тебе, даже нарочно повернул разговор так, чтоб не возникло.

— Вот видишь! И все-таки не понимаешь, как для меня все это важно?

— Что?

— Все. И почему не захотел говорить с ним обо мне, и о чем говорил с ним, и что вспоминал, и почему пришел ко мне после этого такой чужой и грустный, словно перед этим долго стоял и смотрел в открытую могилу. И не сразу стряхнул с себя это, хотя и старался, я видела... Как я могу чего-то не знать о тебе? Я про теплые носки, про то, что ел и пил, спрашивать не умею — может, и плохо, но не умею! А что ты думал, почему пришел ко мне не такой, а другой... Как я могу этого не знать? Сам подумай! Мы должны знать друг о друге или все, или ничего. А если ничего, тогда и вообще ничего не надо. Мне, во всяком случае.

Он отшутился, сказал:

— Виноват, исправлюсь.

И был рад, что она улыбнулась и больше не говорила об этом.

Да, есть привычки, через которые не сразу перешагнешь. Он и так удивлялся себе, сколько было в жизни такого, о чем, казалось, никогда и никому не скажешь! А за эти несколько дней взял и сказал. Наверное, никто о себе заранее не знает, что сможет, а чего так и не сможет рассказать женщине.

И он не знал.

Но теперь, из этого утреннего разговора, выходило, что ей нужно знать про тебя столько же, сколько знаешь сам. К такой степени близости он не привык и недоумевал: как же это у них будет?

Обычно он старался уклоняться в мыслях от сравнения того, что есть, с тем, что было, с той жизнью, которую он прожил с Валентиной Егоровной. Но сейчас подумал об этом. Та, ушедшая в прошлое, жизнь была правдивой с обеих сторон. Иной и не могла быть с такой женщиной, как Валентина Егоровна. Но та правдивость была другой, чем эта, которой сейчас требовали от него. Раньше он давал правдивый отчет в своих поступках и решениях, но думать над своими решениями привык один. Как говорится, «знакомил с выводами». А как и почему пришел к ним — оставлял при себе. И если были несогласны друг с другом, чаще всего молчали.

Но теперь от него ждали отчета уже не в поступках, а в мыслях и чувствах. А за этим, если поглядеть в корень, стояло желание вместе думать и вместе решать. Но как это так — вместе решать? Вот уж к чему жизнь действительно не приучила!

И, стремясь отстоять в себе то привычное, что хотела поколебать эта женщина, вспомнил: вот решил же сам, без нее, что нельзя ехать вместе на фронт! А потом подумал, нет, неправда, что без нее! И когда решал и когда говорил ей, все время чувствовал, как она, борясь с собою, дает ему возможность принять это решение.

Нельзя себе представить, что она потом упрекнет его: «Зачем ты так решил тогда?» Если и скажет, то: «Напрасно мы с тобой так решили». Других слов от такой, как она, не дождешься.

Он подумал о ее двух сыновьях и о том, как она напишет им о нем. Что могут почувствовать, получив ее письма, эти неизвестные ему старший лейтенант и курсант артиллерийского училища? Каким будет после этого их отношение к матери? Он знал, что в армии такие вещи переживаются тяжелее, чем где бы то ни было, и чувствовал себя виноватым перед ее сыновьями.

Вроде бы все правильно: они там, где им положено быть, и делают то, что им положено делать. Их отец — хорош или плох он был — три года как погиб. И мать прошла через фронт и снова туда поедет. А если она в свои сорок лет еще продолжает хотеть для себя женского счастья, оно ни у кого не украденное. Все так. Но непонятное чувство вины перед ее сыновьями все равно остается, и мысль о них неотделима от мысли о женщине, которую он любит и которая любит его.

Старший воюет уже третий год, а в училищах ускоренный выпуск — войны еще хватит и на младшего. Они могут не вернуться с нее, и один из них и оба, и тогда это настолько переменит жизнь их матери, что от этой жизни вообще ничего не останется.

Не потому ли она не согласна сейчас выходить замуж? Хочет сначала встретить с войны сыновей, а потом уже решать свою судьбу. Но тогда почему не сказала об этом? Или это такая вещь, которую даже она не в силах сказать?

А почему все же дала согласие идти замуж, если бы ехали вместе на фронт? Потому что хочет быть рядом. Боится не только за сыновей.

Простая догадка, что она боится и за его жизнь, сейчас впервые пришла ему в голову. Они ни разу не говорили с ней об этом и, как ему казалось, не думали. Во всяком случае, он не думал. На войне все и со всяким может случиться, но сейчас не сорок первый и не сорок второй год, и командующих армиями, можно считать, не убивают.

«Не за меня, а за них надо беспокоиться».

— Товарищ командующий, разрешите?

Дверь была открыта, и в ней стоял Евстигнеев.

Серпилин удивленно посмотрел на него, потом на часы — ровно восемь.

— Тебе что, приказания не передали? Зачем явился?

— Папашу вашего привез.

— Где он?

— Там, в «виллисе» сидит. Пригласить?

— Сам встречу. Когда и на чем приехал?

— На поезде из Рязани вчера в двадцать три часа, прямо к Анне Петровне на квартиру. Не решились вас беспокоить, да и уставши он был.

— Где ж вы его там устроили?

— В комнате на кровать положили.

«Да, испортил он вам последнюю ночь перед разлукой»,— подумал Серпилин, надевая фуражку.

«Виллис» стоял тут же возле корпуса за углом.

Отец еще не вылезал из него, сидел на переднем сиденье, рядом с водителем, и, повернувшись к нему, о чем-то расспрашивал.

Когда Серпилин подошел, до него долетел обрывок вопроса:

— Ну, а если, скажем, жены у кого нет, кому аттестат?

— Здравствуй,— сказал Серпилин, вплотную подойдя к «виллису» с той стороны, где сидел отец.

Отец, еще не поворачиваясь, словно не расслышав, приложил руку к уху. И только потом повернулся и стал слезать с «виллиса» навстречу сыну.

Серпилин поддержал отца под локоть, помогая ему слезть, и, скинув фуражку, трижды расцеловался с ним, почувствовав запах махорки с той особой силой, с какой это испытывает человек, недавно бросивший курить.

Отец по-старчески прослезился, чего раньше за ним не водилось, и первые слова — «вот и свиделись» — сказал незнакомым, дрогнувшим голосом. Но сразу же добавил окрепшим, знакомым:

— Генералом стал, Федька! И читал и слыхал, а глазам не верю — попривыкнуть все же надо.

«Федька»,— сказал нарочно, не потому, что так звал про себя, а потому, что захотел так назвать сына при всем его генеральском штате — при водителе и адъютанте: для них генерал, а для меня все равно Федька.

Серпилин отдаленной, смутной памятью вспомнил мать и ее безропотную, покорную любовь к отцу. Все же было в нем тогда что-то, заставившее мать без оглядки пойти за него.

Слабый отблеск этого чего-то — озорного и властного — все еще оставался в отце и теперь, несмотря на его очевидную старость.

— Пойдем в дом. — Серпилин взял отца под руку и поглядел искоса, сверху вниз, на его чуть подрагивавшую голову в выгоревшей, старой фуражке с артиллерийским черным околышем без звездочки. Отец, одетый в засаленный солдатский ватник, мешком висевший на когда-то широких, а сейчас пригнутых годами плечах, показался ему ниже, чем он помнил, а может, так оно и было.

— Товарищ генерал,— остановил Серпилина Евстигнеев,— какие будут теперь приказания?

— Приказания? — Серпилин полуобернулся от отца к Евстигнееву и задумался.

Ломать дорогу было уже поздно. В армию уже сообщено, и на границе его тылового района с двадцати двух часов приказано ждать маяку. Да и навряд ли там будет только маяк, скорей всего выедут встречать или Бойко, или Захаров.

— Приказания прежние. С той поправкой, что тронемся немного позже.

Серпилин посмотрел на Евстигнеева и подумал: «Золотой ты все же парень. Не отправил отца одного с водителем, а из уважения к нему и ко мне потратил свой самый дорогой последний час».

Он усмехнулся, вспомнив молодость и ту цену, какую имеет такой час, и решил вернуть этот час Евстигнееву.

— Поезжай помоги Ане завтрак подготовить, а «виллис» сразу пришли за нами.

— Завтрак у нее подготовлен,— честно сказал Евстигнеев.

— Делай, как приказано,— сказал Серпилин и об руку с отцом пошел в дом.

— А то, может, разом с ним и поедем? — спросил отец.

Но Серпилин, зная, что теперь Баранова зайдет к нему при отце и отец все равно увидит ее, сказал, не уклоняясь:

— Тут еще ко мне прощаться зайдут. Прощусь, вернется машина — и поедем.

Когда зашли в дом, отец, прежде чем сесть, внимательно оглядел комнату, и Серпилин, заметив это, тоже, как бы заново, увидел ее уже не своими, а отцовскими глазами.

Комната была просторная, даже слишком просторная для одного человека, и обставленная хорошей мебелью в белых парусиновых чехлах.

Серпилин ожидал, что отец, так внимательно оглядывавший комнату, что-нибудь скажет о ней. Но отец ничего не сказал, не захотел. Повесил на стоявшую у двери никелированную вешалку свою артиллерийскую фуражку и сел к столу.

— Может, скинешь ватник?

— Ничего, пар костей не ломит. Простыл в поезде: то одно окно отворят, то другое. Остерегаюсь!

— Чего ж машиной не поехал? Для того ведь и посылал за тобой.

— Что же за мной посылать! Сам бы к нам приехал, милости просим. Не те уж мои года, чтобы с вечера прислал, а поутру ехать.

— Я бы приехал, да лечащие врачи не пустили бы.

— Тебя — врачи, а меня — Панька,— сказал отец; съёрничал, назвав так за глаза свою Пелагею Степановну. В противоречии со смыслом сказанного хотел этим уменьшительным именем дать понять, что не больно-то ее боится. — Пока сборы, то да се, да еще водитель твой у ней на глазах аккурат перед хатой в грязи юзом пошел, чуть не перевернулся. Вот она и побоялась за меня. Уговорила на поезд. Да еще... — Отец хотел объяснить что-то еще, из-за чего он не поехал сразу, но не договорил, раздумал. — А за пропуск — спасибо: Москву давно не видели, с тридцатого еще года,— сказал он о себе во множественном числе. — А нельзя было пропуск на двоих выправить?

— Не подумал об этом,— сказал Серпилин.

На самом деле думал, но не захотел, чтобы отец приезжал к нему вдвоем с мачехой.

— Значит, решил про меня, что и один, без старухи, доеду, здоровье позволит,— сказал отец с оттенком самодовольства. — Панька говорит, что усыхать стал, а так я еще крепкий. А она старая стала, уже не та, что была, прибаливает,— сказал таким тоном, что было не понять: не то жалеет ее, не то радуется, что, несмотря на ее более молодые годы, первой прибаливать стала она, а не он.

Серпилин смотрел на отца и думал, что тот все же переменился меньше, чем можно было ожидать за эти восемь лет, из них три года войны. Лицо у отца было еще крепкое и здоровое, с лиловым старческим румянцем на туго натянутых скулах; только вокруг глаз всё в морщинах, но глаза те же — маленькие, голубенькие, востренькие, так и не выцветшие.

И голос у отца был все тот же, знакомый — тоненький тенорок, без стариковской трещинки.

— Все еще поешь? — спросил Серпилин, вспомнив, как и в молодости и уже в немолодые годы отец, выпивши, пел своим удалым, отчаянным тонким тенором самые разные песни — и старые деревенские, и духовные, и озорные солдатские, находя особое удовольствие в том, чтобы неожиданно до оторопи переходить от одного к другому.

— Теперь только и петь,— сказал отец.

Серпилин, сердясь на себя, подумал: «Действительно, нашел о чем спрашивать!» Но отец, оказывается, имел в виду другое.

— Теперь не только спирт, а и денатурат в аптеке под печатью. На цельный день приема больных — вот такой пузырек дают!

Он показал двумя пальцами, какой это пузырек.

— Тут уж для себя, как ни хоти, не оставишь — совесть не пропили. А водка не по зубам. А самогон гнать не из чего. А на сухое горло какие песни?

И вдруг высоко и сильно, без единой фальшивой ноты, вывел:

Спаси, господи, люди твоя
И благослови достояние твое.
Победы на супротивные даруя...

Вывел — и оборвал.

— Вот победу даруете, спою вам где хошь — хошь на клиросе, хошь на собрании. Когда все же победу даруете, а? — спросил отец вдруг шепотом, как о чем-то секретном, на что так же секретно должен был ответить Серпилин.

— Когда расточатся врази, тогда и даруем,— ответил Серпилин запомнившимися с детства словами из церковного песнопения.

— Хорошо хотя бы к той весне,— сказал отец. — А то опять на коровах да на бабах пахать.

Вспомнив, как отец сказал про сухое горло, Серпилин открыл чемодан и достал начатую бутылку коньяка.

— Может, выпьем с тобой?

— А закусить есть? — спросил отец.

— Закуски нет. Закуска там, когда приедем.

— Там и выпьем.

Серпилин положил бутылку обратно в чемодан и снова сел за стол.

— Про нашу жизнь адъютанта своего исповедовал? — спросил отец.

— То, что видел и слышал, сказал мне.

— Много он слышал! Поел, поспал, обратно поел, да и уехал. Послушал бы с мое, как в доме бабы воют...

И отец стал рассказывать о том, когда и как в их дом пришли одна за другой похоронные на всех трех зятьев.

Первая похоронная была не похоронная, а просто письмо от младшей дочери, вышедшей за железнодорожника и жившей вместе с ним с тридцать девятого года во Львове. Его убило на второй день войны, когда выгонял из депо паровозы. От нее пришла открытка с пути, из Тарнополя, когда бежала с детьми

от немцев. Бежала, да, видно, не добежала: писем за всю войну больше не было.

— Тарнополь еще в марте освободили.

— Читал,— сказал отец. — А писем нет. Может, куда в Германию угнали. Пишут в газетах, что угон большой был!

И стал рассказывать дальше, без выражения, ровным голосом, как человек, давно привыкший и уставший обо всем этом думать.

Старшей дочери, той, что была за кооператором, пришло сообщение, что ее муж, старшина, пропал без вести. Только полевая почта, а где, откуда — так и не вычитали.

— Где-то в России, а Россия большая,— с вдруг прорвавшейся горечью сказал отец. — Как раз в страстную субботу пришло. Разговелись слезами и стали дальше ждать: может, еще найдется — с одним на нашей улице так было.

Средней дочери, той, что была за директором школы, похоронная пришла в прошлом году, в сентябре, и в письме все было сказано: и где, и как погиб старший политрук, и где памятник над братской могилой стоит — хутор Юрьевка, в десяти километрах от станции Комаричи.

Услышав это, Серпилин подумал, что если на десять километров южнее Комаричей, то это была полоса его армии, и муж сводной сестры, возможно, служил в ней. Но спрашивать теперь, южнее или севернее Комаричей этот хутор Юрьевка, не стоило. Какая теперь польза от такого вопроса?

Спросил вместо этого, не ездила ли вдова туда, на могилу.

— Вот и видать, что ты нашу жизнь плохо знаешь,— сказал отец. — Какая теперь езда!

Серпилин промолчал. Нет, жизнь он знал, пожалуй, не так плохо. И знал, что не пришло еще время ездить на могилы. О собственном сыне тоже знает, где и как похоронен, даже схемку оттуда прислали, второй год в папке лежит. А съездить не съездил — не смог. Но женщины, бывает, делают невозможное. Поэтому и спросил.

— От одной известий нет, другая день и ночь под боком скулит, а третья за двадцать верст живет, на совхозной усадьбе, но зато уж как приедет да заведет... — отец махнул рукой. — А Пелагея за всех трех голосит. Одно спасение, что времени у ней много нету. В молодые годы — что ей от бога надо было: крашеные яички да с бабами в церкви язык почесать. А теперь богомольной стала.

О себе и собственном горе отец так и не сказал. Спрятал это горе под невеселой насмешкой над бабьими слезами. И была в этой грубости к другим, соединенной с забвением самого себя,

какая-то сила и гордость, и это, несмотря на их давнее взаимное отчуждение, сейчас вдруг приблизило Серпилина к отцу.

Как бы там ни было у них с отцом, а теперь и он тоже был для Серпилина — Россия, натерпевшаяся горя по самое горло, наработавшаяся и продолжающая работать до упаду и терпеливо ожидающая от своих сыновей только одного: чтобы рано ли, поздно ли, но так как надо кончили эту проклятую войну бесповоротной победой.

— Ты-то как сам? — спросил Серпилин. — Анатолий говорил, с начала войны опять работаешь.

— Не с начала. С начала еще задумывался: все же семьдесят пятый пошел. А потом, как к первой зиме стали мужиков под гребенку мести, надумался, пошел врачевать...

— Тяжело?

— А что ж, на печи лежать да волком выть легче, что ли? А если про саму работу — на пустой желудок у людей болезней меньше. Травмы там или кожное что... А так другого чего — мало. Чирьев, правда, много, от истощения,— вспомнил он. — Ну, а если болезнь такая, что ее только хлебом с маслом лечить, тут чем поможешь? Ветеринар некормленую корову и ту без сена на ноги не подымет. С работой при своих годах справляюсь. Врачую. Чиряк или флегмону вскрыть — руки не дрожат. И зуб, коли надо, могу вырвать... Тебе не надо?

Серпилин усмехнулся, и, заметив при этой усмешке стальные мосты у него на передних зубах, отец спросил:

— Где делали?

— Где делали — теперь меня нет.

— Теперь такие мосты поставить, если даже в Рязань поедешь, навряд ли! Техники говорят, ничего у них для этого дела нет, хоть шаром покати...

— Как внуки растут?

— Старшего мало вижу, с матерью в совхозе работает. Повестки ждет. Семнадцать уже. А младшие при нас живут... Картошка в прошлом году хорошая была — и посадить хватило, и еще два мешка есть. Молока от козы — чай забелить хватает. Живем лучше многих, врать не буду. Да и в школе в этом году постарались. Какой-никакой суп, а по тарелке для детей дают. Советская власть о тех, кому дальше жить, все же лучше заботится, чем о тех, кому помирать пора.

Серпилин в первый момент не понял, потом догадался: «Это, наверное, о пенсии».

И спросил:

— Сколько у тебя пенсия?

Отец усмехнулся:

— Если на червонцы — большая, жить можно. А если по нынешним базарным ценам — на два кирпича хлеба с довеском. Наверно, после войны твоя пенсия будет все же поболе моей.

— Пока не думал. Дожить надо.

— Война кончится — доживешь,— сказал отец. — Вон сколько теперь вас, генералов: какой приказ в газете ни прочтешь — по десять генералов. Одни генералы при содействии других генералов... Кто ж его знал, что ты генералом будешь. И звание раньше считалось царское, да и дошел ты до него не сразу... Перерыв был.

— Перерыв был, это верно,— сказал Серпилин.

— Когда в прошлом году прочел о тебе в газете, что генерал и что орден дали, две недели в околотке всем, кто ни придет, газету показывал. И в райисполком с ней ходил. Железа на починку крыши сразу мне дали, безо всякого. Как же это тебя вдруг взяли и выпустили? — спросил отец.

Серпилин не захотел отвечать на этот вопрос, потому что за ним стояло удивление не перед тем, что взяли, а перед тем, что выпустили. Так ничего и не ответил.

— Далеко был? — спросил отец.

— Без малого Америку видно.

— Дорогое дело,— сказал отец,— один провоз туда сколько государству стоит. А коли еще и обратно...

И было не понять: всерьез ли он подумал об этом убытке государству или созорничал по своей привычке.

— Вот ты мне скажи, вот ты генерал,— сказал отец после молчания. — Ты товарища Сталина сам видел?

— Видел.

— Какой он из себя? Как на портретах? Или, говорят, рябоватый, оспой тронутый?

— Есть немного.

— Но ведь умный же он человек, можно сказать, изо всех самый умный... — сказал отец так, словно его нынешнее представление, что Сталин самый умный изо всех, вступало в противоречие с чем-то, что думал о нем раньше. — Так или нет?

— Так. А почему спрашиваешь? По-моему, само собой разумеется.

— Война больно тяжелая вышла,— сказал отец. — Кто ее знал, что она такая будет... Мне семьдесят седьмой, младшему внуку девятый. А отцы где?

На этих словах постучали, и Серпилин, уже понимая, что это пришла Баранова, и заранее поднимаясь ей навстречу, крикнул:

— Входите.

Баранова широко открыла дверь, готовая что-то сказать, но, увидев сидевшего к ней спиной старика, остановилась, поняла, что это отец Серпилина, который уже не должен был приехать и все же приехал.

Поняла и сказала совсем другое, чем собиралась:

— Товарищ генерал, принесла вам аптечку на дорогу. Думала прямо в «виллис» положить, но его что-то нет...

Отец быстро, с любопытством повернулся к ней, а Серпилин сказал ей так, словно тут и не было отца:

— За аптечку спасибо. А поговорить с тобой нам все-таки надо.

И, взяв Баранову под руку, сказал отцу:

— Посиди, сейчас приду.

Они вышли из дома и остановились за углом у начала длинной аллеи, которая вела к желтевшему вдали главному корпусу.

— Отец? — спросила она.

Он кивнул.

— Я так и поняла. Почему не познакомил меня с ним?

— Пожалел время на это. У нас и так его мало. Вернусь — объясню. Все равно спросит.

— Наверное. Оглядел меня всю от макушки до щиколоток. Я по-другому его себе представляла,— сказала она, и Серпилин почувствовал, что отец ей не понравился. — Когда же ты теперь едешь?

— Как только машина вернется.

— Не задержишься из-за него?

— Теперь уже не могу.

— На́ тебе аптечку.

Она все еще держала под мышкой эту аптечку, а сейчас отдала ему. И у него руки оказались занятыми, а у нее — свободными. Она обняла его и спросила:

— Как же ты теперь будешь жить без меня? Все время думала это о себе, а сейчас вдруг о тебе.

Серпилин краем глаза заметил: кто-то прошел невдалеке. И она заметила, что он это заметил.

— Ничего,— сказала она. — Как мне сын писал: «Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут». В крайнем случае скажут или напишут, что путается врачишка с хорошим человеком. А я подтвержу: действительно, путаюсь. Как, подтвердить?

И остановила его, не дав ответить:

— Что ты! Я же дурю. Просто все еще не придумаю, как жить без тебя. Заревела бы сейчас — есть, говорят, и такой способ выражения чувств. А говорить нечего. Все сказали.

Она посмотрела мимо него, словно о чем-то вдруг вспомнила, и, сняв с руки большие мужские часы, протянула ему:

— Возьми с собой.

Он знал от нее, что эти часы были памятью об отце и что она уже несколько лет носила их не снимая, но как раз это и не позволило ему возразить. Он молча взял часы и надел на руку. А свои, снятые с руки, держа за расстегнутый ремешок, нерешительно протянул ей. Она улыбнулась и на секунду закрыла глаза, давая понять, что этого и ждала от него, что так и надо было сделать; потом взяла часы и опустила их в карман своего белого халата.

— До свидания, родной... Ну что тебе еще сказать?

Она несколько раз поцеловала его.

— А теперь мне на обход надо. А ты иди в дом.

— Почему?

Ему не хотелось идти в дом. Ему, наоборот, хотелось, чтобы она пошла туда, к главному корпусу, по этой длинной аллее и он мог бы еще долго смотреть ей вслед.

— Иди, иди. Это же не ты меня, а я тебя провожаю. Иди.

И, снова крепко поцеловав, оторвалась от него и повторила еще раз, строго:

— Иди.

Он почувствовал, как ей трудно, повернулся и ушел. Зайдя в комнату, не глядя на отца, подошел к окну и стал смотреть ей вслед, чувствуя себя виноватым, словно она ему запретила, а он все-таки тайком делает это.

Она шла по аллее, теперь уже далеко, в надетом поверх обмундирования белом накрахмаленном халате, который, смеясь, называла своей парадной формой.

Аллея была длинная, и он смотрел ей вслед еще долго. Потом повернулся к отцу.

— Это кто? — спросил отец.

— Лечащий врач.

— Эта, что ли, не пустила тебя ко мне приехать?

— Эта,— сказал Серпилин. — Когда война кончится, женюсь на ней.

— А согласие дала?

— Дала.

— Понятно.

И была в этом отцовском «понятно» чуть заметная усмешка: «Конечно, дала согласие. Как не дать согласия тебе, генералу?»

— Видная женщина,— помолчав, сказал отец. — Но все же ты, извини, мужик потраченный. Не молода она для тебя?

— Ничего,— сказал Серпилин с уверенностью, за которую был благодарен ей.

— Понятно,— повторил отец с новой, другой, чем раньше, интонацией, теперь, наверное, подумав не о сыне, а о себе и собственной семье: «Раз женится, значит, все, что будет, ей».

Серпилин почувствовал эту озабоченность, за которой стояла долгая совместная жизнь со скупой и хваткой женщиной, и вспомнил о деньгах, которые надо дать отцу: и тех, что отложил сам, и тех, что вчера принесла Пикина. Расстегнул полевую сумку, достал из нее оба конверта и положил перед отцом:

— На вот деньги. Тут на всех, посмотри сам, кому сколько. Антонину с сыном тоже не забудь,— на всякий случай сказал он о жившей отдельно от отца сестре. — Тут восемь тысяч.

Отец взял конверты, поколебался — не сосчитать ли, но считать не стал, а, расстегнув ватник, долго укладывал деньги там, под ватником, в разные карманы — и слева и справа.

— Спасибо. Считай, на внуков дал. Мы с Пелагеей и так бы прожили. Нам с ней много не надо.

«Там уж надо или не надо...» Серпилин вспомнил обрывок отцовской фразы у «виллиса»: «Ну, а если, скажем, жены у кого нет, кому аттестат?..»

— Теперь куплю гостинцев на толкучке,— сказал отец. — Пелагея провожала, говорила: хорошо, если бы мануфактуры какой...

— Откуда же у меня мануфактура? — Серпилин не сдержал мгновенной вспышки неприязни. — Набор на сапоги для тебя и отрез на шинель есть, из сукна ребятам зимнее пошьете. Там у Ани лежит. Возьмешь у нее. Я уже велел ей дать.

— Ничего она мне не сказала,— испуганно и сердито сказал отец.

И Серпилин снова подумал о его долгой жизни с Пелагеей Степановной.

«Другой он был в молодости. По-всякому бывало, но другой. Как много может сделать дурная женщина за долгую жизнь с человеком... Хотя почему дурная? Для меня дурная, а для него, может, и хорошая».

— Никуда она их не дела — не из таких,— сказал он об Ане, все еще продолжая думать о мачехе. — Просто забыла тебе сказать.

— Как так забыла?

Серпилин не ответил, вспомнил о сегодняшней ночи и о том, что соседки нет, она на дежурстве и, как говорила Аня, теперь запирает свои комнаты, когда уходит... Значит, они положили

отца на кровать, а девочку на диван, а самим осталось идти в эту последнюю ночь только на кухню.

«Но об этом у него и в мыслях нет,— подумал он об отце. — А вот что про набор на сапоги сказать забыла...»

— Верно говорят, что расписались? — спросил отец.

— Верно.

— Стало быть, расписались...

В словах отца опять была озабоченность, может быть даже самому еще непонятная. Наверное, не успел обдумать, как это: хорошо или плохо для него и для его домашних. С одной стороны, если расписались, значит, баба с возу, пусть о ней теперь старший лейтенант думает. А с другой стороны... Кто его знает, что там с другой стороны.

Серпилин услышал, как за окном развернулась машина.

— Приехали за нами,— сказал он отцу.

И, посмотрев на принесенную Барановой картонную коробку с аптечкой, подвинул ее по столу отцу:

— Возьми для своего околотка. Говоришь, лекарств не хватает, тут, верно, много чего есть.

— Товарищ генерал!..

В дверях стоял водитель.

— Забирай чемодан, поехали!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Уже девятый час подряд «виллис» и шедший за ним «додж» прыгали по выбоинам и ухабам Варшавского шоссе.

Малоярославец, Медынь и Юхнов остались позади, но до Кричева, за которым предстояло свернуть на свою армейскую дорогу, было еще почти двести километров.

Серенький, для первых чисел июня холодный, но сухой день позволял идти по графику, со средней скоростью в сорок километров, хотя шоссе, несмотря на все старания дорожников, было так размолочено войной, что даже эту скорость удавалось держать с трудом.

Евстигнеев, подменивший дремавшего теперь на заднем сиденье водителя, пытался делать невозможное: вести машину поосторожней, не снижая скорости. Но она все равно, как козел, прыгала на побитых участках дороги. Заснувшего час назад Серпилина так резко дергало вверх и вниз, что Евстигнеев все время боялся, как бы с головы командующего не слетела новенькая генеральская фуражка, купленная для него вчера в Москве, в Военторге.

«Все же здоровый он»,— искоса взглянув на Серпилина, продолжавшего и во сне цепко держаться рукой за стойку ветрового стекла, подумал Евстигнеев.

И вспомнил, как позавчера, когда еще неизвестно было, выпишут ли, доктор Ольга Ивановна подстерегла его одного, без Серпилина, и строго сказала, чтоб везли генерала поаккуратней. Объяснила, что после той аварии долгая тряска на «виллисе» ничего хорошего не даст.

— Ни в коем случае не везите его сразу дальше Рославля, в крайнем случае соврите, что машина сломалась!

«Наверное, воображает, что он какой с ней, такой и с нами. Попробуй соври ему, когда он уже вырвался из Москвы и больше ни о чем, кроме своего приезда в армию, не думает! Приказано: что бы ни было, а сегодня быть на месте. За все время только раз на пять минут разрешил остановиться — бензина в бак долить. А чай из термоса пили и закусывали по очереди, на ходу. Все время кто-нибудь за баранкой. И на «виллисе» и там, сзади, на «додже»...»

Снова посмотрев на продолжавшего спать Серпилина, Евстигнеев вспомнил, как сегодня утром завтракали и прощались там, на квартире у Ани.

Серпилин, как приехал и вошел в квартиру, сразу по-родственному расцеловал и Аню и его — поздравил. И девочку, подняв с полу, поцеловал несколько раз в волосики; чувствовалось, что жалеет с ней расстаться.

Но как только опустил девочку на пол, сразу сказал:

— На харч и прощание имеем тридцать минут. В десять — по коням!

И потом хотя не торопился, не напоминал, а все равно все по часам.

Сидел за столом рядом со своим отцом так, словно все, что им надо было друг другу сказать, уже сказано. Говорил только с девочкой и с Аней. Даже запретил Ане унести на кухню грязные тарелки: «Сиди, потом уберешься».

А когда Аня сказала ему: «Вы об нас там, на фронте, не беспокойтесь; у вас, военных, и без нас хлопот много»,— вдруг спросил: «Сколько за этот год гимнастерок пошила?»

Аня сказала, что не считала.

Тогда он протянул через стол свою длинную руку, погладил ее по голове и сказал: «Сама не считала, так мы когда-нибудь сочтем. Думаешь, только те военные, у кого погоны на плечах? Нет. Военные — это все те, у кого война на плечах». Сказал так, словно чувствовал себя в чем-то виноватым перед ней. У нее даже слезы брызнули.

А отец генерала все сидел и молчал. Как и вчера, оглядывал комнату: что в ней есть? А может, просто скучал оттого, что разговор не с ним, а с Аней. Потом сказал: «Поживу у вас три дня и поеду». И стал расспрашивать, как добираться до той большой московской толкучки на станции Салтыковка, о которой ему говорили в Рязани. Оказывается, они еще зимой боровка закололи, и он привез оставшееся сало. Хочет это сало продать, а мануфактуры купить.

«Ну привез и привез! Ну и продай и купи, а зачем об этом при генерале? — с осуждением думал Евстигнеев. — Подожди, пока на войну уедет. Останешься с Аней, объяснит тебе, как в эту Салтыковку проехать...»

Он невзлюбил отца генерала заранее, еще не видя его, потому что из-за этой поездки пришлось на два дня и одну ночь оставлять Аню. А дни и ночи были и так считанные; теперь до конца войны никто ничего не добавит.

Сначала он не давал воли своей неприязни; даже пристыдил себя, когда, приехав в Туму, узнал, что у стариков все дочери вдовые, а трое внуков — сироты.

Но когда утром старик вдруг отказался ехать, неприязнь к нему вспыхнула в Евстигнееве с новой силой.

Если сразу не поехал, значит, не так уж стремился к сыну. Выходило, что можно было за ним и не ездить, пропуск по почте послать.

Когда явился вчера на ночь глядя, тоже радости было мало. Хотя ничем не показали этого с Аней и говорили с ним, сколько ему захотелось, и помыться приготовили, и ждали, пока помоется, и на свою постель положили... Сделали все, как нужно было сделать, из уважения.

Но себя, конечно, пожалели. Своих последних часов. А тут еще с утра завел про боровка и мануфактуру...

Генерал промолчал, но Евстигнееву показалось, что и ему это не понравилось. Даже на минуту стало жалко генерала, что у него такой отец.

Завтрак закончили раньше, чем было назначено.

Генерал встал из-за стола и сказал девочке:

— Пойдем на двор, поглядим мою машину.

— Я ее уже видела,— сказала девочка.

Но генерал объяснил:

— У меня еще другая есть, большая, которой ты не видела.

И, взяв отца под локоть, тоже потянул за собой:

— Пойдем с нами, дадим людям проститься.

— И мы с вами,— застеснялась Аня, но генерал остановил ее.

— Мы пойдем, походим, поговорим там, а вы не спешите, прощайтесь, сколько потребуется. Можем и в десять пятнадцать выехать. На дворе сухо, в дороге нагоним.

И ушел на улицу вместе со своим отцом и девочкой, оставив им с Аней еще эти последние пятнадцать минут, на которые уже не надеялись. Наверное, заранее так решил.

«Да, в чем другом, а в этом он добрый оказался»,— подумал Евстигнеев о Серпилине, вспомнив заплаканные глаза Ани и ее самый последний вопрос: «А может, все-таки оставит тебя...»

Вспомнил, затормозил машину перед шлагбаумом на переезде и, повернувшись, посмотрел на Серпилина.

Серпилин, оказывается, уже не спал — проснулся при остановке и сам смотрел на Евстигнеева. И когда их глаза встретились, Евстигнеев снова подумал то, что не раз говорил Ане: «Не оставит у себя».

В этом он и не добрый и не злой, а просто сделает, как решил. И, значит, надо проситься или в штаб полка, или на батальон, и чем скорее попросишься, тем больше сохранит к тебе уважения.

— Ну что, родственник,— улыбнулся Серпилин. — О чем думал, пока я спал?

— О себе, о своем рапорте, товарищ командующий.

— Если о рапорте, значит, не о себе, а обо мне. В таком деле, чем самому приказывать, все же легче на рапорте написать «согласен». Спасибо. Сколько проехали, пока спал?

— Поворот на Людиново проехали. Скоро направо поворот на Спас-Деменск. До Рославля еще девяносто пять километров. Это станция Ерши.

Старуха в черной железнодорожной шинели открыла шлагбаум.

— Пока по графику,— сказал Серпилин. — День серый. При солнце земля все же веселей смотрела бы.

И, поглядев на небо, сразу за переездом отвернулся от Евстигнеева и замолчал.

Сейчас, по дороге на фронт, у него было такое чувство, словно одна жизнь, не успев начаться, кончилась, а другая, не успев кончиться, опять началась. И эта прежняя жизнь, ненадолго прерванная всем тем, что было с ним в Москве, снова напоминала о себе: что она и есть та единственная жизнь, которой он будет теперь жить до конца войны.

Варшавское шоссе было для него дорогой воспоминаний. Все, мимо чего сегодня ехали до Юхнова и за Юхновом, было так или иначе памятно по зиме сорок первого и сорок второго годов.

Проехали Подольск, где шили для его дивизии маскхалаты...

Проехали Кресты, где в последние дни немецкого наступления на Москву он принимал дивизию...

Проехали станцию Воскресенская, которую он брал на третий день наступления; она так и оставалась с тех пор в руинах...

Проехали Юхнов, во взятии которого он тоже участвовал, и за Юхновом тот поворот налево, к райцентру Грачи, до которых дошла его дивизия и по его плану, глубоким обходом, почти без потерь взяла эти Грачи. Но с опозданием и не так, как вначале приказали; и за то, что не тогда и не так, его сняли с дивизии, хотя те, кто снимал, понимали, что он прав.

Сейчас бы за это не сняли. Возможно, наоборот: за умелый маневр благодарность в приказе получил бы. А тогда сняли.

На том повороте к Грачам даже хотел на минуту задержаться, но не стал. Много воды утекло с зимы сорок второго...

Серпилин услышал, как сзади, на сиденье, зашевелился и крякнул спросонок водитель, и, не поворачиваясь, спросил:

— Как, Гудков, выспались?

Евстигнееву было приказано сменить водителя, чтобы тот отдохнул перед последним, самым тяжелым участком пути.

— Выспался, товарищ командующий,— подавив зевок, сказал Гудков. — Прикажете сменить старшего лейтенанта?

— Пока не надо — после Рославля смените. Отдыхайте. Если хотите курить, курите, пока не за баранкой.

— Есть закурить, товарищ генерал! — весело отозвался Гудков.

Он хорошо знал, что, сколько бы часов подряд ни ехать за баранкой с Серпилиным, нет никакой надежды не только закурить, но и рот открыть: с водителем, когда он за рулем, генерал — ни слова. За исключением команды, где и куда свернуть.

— Не имел случая вас спросить,— сказал Серпилин,— как провели время в Москве? С родными виделись?

У Гудкова под Москвой, в Мытищах, жила старшая сестра.

— Четыре раза виделись, товарищ командующий. Два раза с ночевкой. Поговорили за всю войну.

— Как они живут?

— Живут по настоящему времени неплохо, товарищ командующий. И сестра и свояк работают — он на Мытищинском заводе, она на станции, имеют две рабочие карточки. У него на заводе обед. Зимой, говорит, обеды хорошие были, сейчас, правда, слабее. Ту добавку, которую за счет подсобного хозяйства имели, до лета не дотянули.

— А почему вдвоем? Детей нет?

— Почему нет? Есть. Только не на отцовских харчах, а в действующей — сами по первой норме там получают.

— Где они там?

— Дочь в дорожной службе, регулировщицей, а сына взяли в зенитную.

— В зенитную — повезло, все же больше веры, что жив будет,— сказал Евстигнеев и осекся, вспомнил, что Серпилин не терпит, чтоб отвлекались за рулем.

— А что сестра и свояк по карточкам получают? Хватает?

— Как сказать, товарищ командующий. Хлеба по двум рабочим на двоих — тысяча двести граммов. Хлеба хватает. А в остальном не сказать, чтоб хорошо. Если б все, что в карточках обозначено, в точности давали... А то одно вместо другого: то вместо мяса яичный порошок, то вместо крупы картошку, то вместо сахара конфеты дадут. Кусок сахара — поколешь его,— и на утро и на вечер хватит, а конфету, как ее растянешь? И потом, как и когда получать? Он на производстве, она на станции, у него карточки в одном продмаге прикреплены, у ней — в другом. И тут стоять, и там стоять... А если сразу, когда объявят, не пойдешь — опять же риск: вдруг хотя и объявлено, а уже нет! Значит, пропали талоны...

Гудков остановился на полуслове, наверно, решил, что развел лишнюю панихиду, и добавил другим, бодрым голосом:

— А все же как-никак живут люди и не жалуются. Тем более считают: война теперь недолгая.

«Живут-то живут,— подумал Серпилин,— и жалуются так редко, что шапку за это перед ними надо снять. А ты при своем генеральском положении если и не ешь на фронте по целым дням, лишь потому, что некогда об этом вспомнить. Живешь, освобожденный от мысли, чем набить желудок. И правильно: слишком много всего на твоих плечах, чтобы думать еще и об этом. А все же вспомнишь, как люди в тылу живут, и вроде неловко перед ними...»

Гудков вдруг фыркнул за его спиной.

— Анекдот, что ли, вспомнили?

— Вот именно анекдот, товарищ командующий. Вспомнил, как свояк про посылку рассказывал. У него в Тамбове вдовая сестра живет, на служащей карточке. Так он для нее два месяца сухари сушил. А как отправить? Чтобы посылку отправить, надо талон иметь. А талон только военнослужащим дают, и не всякий запросто так его уступит. Так они с женой сперва сухари сушили, а потом еще месяц бутылки собирали. За десять пустых бутылок в магазине пол-литра водки дают. Бутылки набрали, пол-литра взяли, у одного стрелка железнодорожной охраны на талон обменяли и по этому талону сухари послали. Вот ведь какая канитель — смех сквозь слезы!

После рассказа Гудкова об этих сухарях для вдовой сестры Серпилин непонятно даже почему вдруг представил себе свою собственную, давно умершую мать, без него и без отца, затерянно живущую где-то в глубоком тылу... Останься она жива, ей было бы сейчас семьдесят один год. Вспомнил, как мать в детстве изредка готовила им с отцом татарское блюдо — баур-тарак — запеченную в сальнике, мелко нарубленную баранью печенку с луком и яйцами. Готовила, но сама почему-то не ела, а любила сидеть рядом и смотреть, как едят они с отцом...

— Рославль,— доложил Евстигнеев.

Серпилин запомнил Рославль приветливым зеленым городком. На девятый день войны их эшелон остановился здесь, на станции, и никому еще не приходило в голову, что ехать осталось всего ничего до Могилева...

Машина поднялась в гору по исковерканной булыжной мостовой. Главную улицу Рославля было не узнать; две стоявшие при дороге старые церкви разрушены. Одна избита снарядами и вся в дырах, у другой колокольня обрушилась горой битого кирпича: бомба ударила под самый корень.

По обеим сторонам улицы все, что было деревянного, сгорело; среди пустырей полуразбитые каменные дома — нежилые и жилые, с пробоинами, на скорую руку залатанными кирпичом, взятым с других развалин.

От прежнего уцелели только деревья, но и их стало меньше, чем раньше,— спилили на дрова.

Серпилин хотел остановиться здесь, в Рославле,— размяться. Но раздумал. Лучше сделать это, выехав из города. Все же веселее.

Едва миновали Рославль, как увидели впереди хвост колонны «студебеккеров» со 122-миллиметровыми орудиями на прицепах. Семь километров до переезда через железную дорогу все обгоняли и обгоняли эту колонну, но так и не обогнали.

«Студебеккеры» были новые, орудия тоже. Судя по всему, к фронту двигалась артиллерийская дивизия прорыва, или вновь сформированная, или получившая новую материальную часть. Разгрузились там, в Рославле, а дальше шли своим ходом.

Серпилин прикинул по часам: артиллерия шла по такому графику, чтобы немец не засек с воздуха. Как видно, разгружались еще прошлой ночью, день, рассредоточившись, ждали и двинулись дальше с таким расчетом, чтобы к прифронтовой полосе подойти в темноте, за ночь добраться до места, а к утру исчезнуть в лесах — как ничего и не было!

Впереди показался переезд, мимо которого медленно полз, тоже в сторону фронта, к Кричеву, длинный состав с замаскиро-

ванными на платформах «тридцатьчетверками». Машина Серпилина остановилась рядом с шедшим в голове артиллерийской колонны «виллисом». У шлагбаума стояли сошедшие с «виллиса» артиллеристы — два подполковника и майор.

Увидев подъехавшего генерала, они издали откозыряли, но не подошли.

И он не стал подзывать их — удержался от соблазна спросить, кто, куда и в чье распоряжение, тем более что отвечать ему на это не обязаны, даже напротив. Да и спрашивать, по сути, не о чем: раз выгрузились в Рославле и идут на Кричев, значит, поступят в распоряжение их фронта; а в какие пункты идут — проезжим генералам, будь ты хоть командарм, знать не положено. С этим у нас в последнее время порядок почти образцовый.

Посидев в машине, он все же вышел размяться, но пошел в другую сторону, а не в ту, где стояли офицеры. От долгой езды побаливала голова, но чувствовал себя лучше, чем ожидал. И это радовало: действительно подлечили, время не потерял.

Интересно, кто его встретит там, на развилке, за Кричевом, и какие новости сообщит? В душе хотелось, чтоб Захаров. Бывает, что и дольше живут на войне бок о бок командарм с членом Военного совета, а все не притрутся друг к другу. Приходилось слышать про такое. А они с Захаровым и не притирались, само собой вышло.

Когда Серпилин вернулся к «виллису», Гудков и Евстигнеев уже поменялись местами: Гудков сидел за баранкой, а Евстигнеев — сзади.

Мимо шлагбаума, громыхая на стыках и вдавливая в насыпь шпалы, тянулись последние платформы с танками.

За переездом километра три проскочили быстро и опять потащились черепашьим шагом, то и дело съезжая на обочину, обгоняя еще один артиллерийский полк на «студебеккерах». У этого материальная часть уже побывала в боях. На кузовах машин, на лафетах и щитах орудий царапины, вмятины, следы осколков.

Обогнав и этот полк, снова километров пятнадцать ехали свободно, только иногда придерживали ход, разъезжаясь со встречными машинами, пока уже вечером не настигли колонну тяжелых 203-миллиметровых гаубиц на гусеничной тяге. Эти занимали чуть не всю ширину дороги, и Гудкову пришлось попотеть, объезжая их в темноте одну за другой.

«Все по графику,— снова подумал Серпилин. — Этих пустили вперед, с интервалом, чтобы не создали пробки».

Радость, которую он испытывал, обгоняя артиллерию, была сильней досады на задержки в пути. На их фронт двигалась такая сила, какую не под каждый праздник дают!

Гудков наконец обогнал голову колонны и, вырвавшись на свободу, снял пилотку и отер пот: на последнем десятке километров ему досталось — обгоняя, шел левыми колесами по обочине, на волосок от того, чтобы забуриться в кювет.

«Смело водит!» — с удовольствием подумал Серпилин, окончательно решив, что не станет заменять Гудкова.

Пока добрались до Кричева, пришлось обгонять ночью тылы еще какого-то хозяйства, судя по количеству бензозаправщиков — танкового.

Хозяйство — слово не военное, скорей мужицкое, и в прежнее время его в военном обиходе не было, а в войну оно как-то незаметно укоренилось. Сначала возникло как средство маскировки — чтобы не называть по номерам ни полки, ни дивизии, ни армии,— хозяйство такого-то... по имени, и все тут: хозяйство и хозяйство... А потом постепенно стало самым что ни на есть военным, необходимым словом. Отвечало сути дела.

Действительно, как еще назвать все то, что у тебя на войне в руках, будь ты большой или маленький начальник? Все, что нужно не только для самой войны, но и для людей на войне,— все при тебе. И то, чем воюют, и на чем едут, и чем землю роют, и чем людей кормят, и поят, и моют, и раны перевязывают — все должно быть при тебе, в твоем хозяйстве. Все. От боекомплекта до индивидуального пакета в кармане шинели.

А если чего нет или не хватает, значит, плохой хозяин.

За Кричевом, на втором километре, на повороте вправо, замигали фонариком. Наверное, не им первым — как-никак ждут уже третий час!

«Вот и мое хозяйство»,— подумал Серпилин и при свете фонарика, продолжавшего гореть в руке регулировщика, увидел вылезавшего из «виллиса» Захарова. Все-таки встретил Захаров.

— Начальник штаба после обеда в штаб фронта укатил,— сказал Захаров после того, как, помня о сломанной ключице, осторожно обнял Серпилина. — Начальник оперативного отдела трудится. А у нас, членов Военного совета, как некоторые считают, свободное время всегда есть — куда захотел, туда и поехал!

— Ладно клепать на себя,— сказал Серпилин. — Много у тебя свободного времени!

Захаров даже при свете фонарика выглядел усталым.

— Сильно достается?

— По правде говоря, делов невпроворот. Особенно в последнюю неделю,— пояснил Захаров и кивнул на стоящего рядом подполковника: — Вот, взял с собой на всякий случай Прокудина. Если захочешь, оператор тебе по дороге всю обстановку доложит, какая на восемнадцать часов была.

— На месте по карте посмотрим, дотерплю,— сказал Серпилин, здороваясь с Прокудиным.

Он огляделся, может, еще кто стоит, с кем не поздоровался, и спросил о своем заместителе:

— Иван Васильевич не приехал?

— Хотел, да я отговорил, в полуприказном порядке,— сказал Захаров. — Приболел он.

— Опять рана открылась? — с тревогой спросил Серпилин.

— Нет, просто ангина старика прихватила. При его натуре завтра на ногах будет. Поедем?

— Поехали!

— А как?

— Как хочешь.

— Тогда к тебе назад сяду.

— А не вытряхнет тебя с заднего сиденья? Дорога-то, как я помню...

— Давно не был. Дорога теперь у нас лучше, чем Варшавское шоссе. Потрудились.

— Разрешите в вашу машину перейти, товарищ член Военного совета? — спросил Евстигнеев.

— Переходи. Небось заскучал там, в Москве, по фронту? Ничего, теперь снова поездим!

Евстигнеев не ответил, промолчал. Знал, что теперь не поездит.

Захаров и Серпилин сели в «виллис» и проехали первые несколько минут молча, привыкая к присутствию друг друга. Впереди шла машина с заместителем начальника оперативного отдела Прокудиным.

— Дорога действительно неплохая,— заметил Серпилин.

— Через семь километров на собственную армейскую свернем. Это пока еще фронтовая. Ну и наша дорога, пожалуй, не хуже... Уехал наш Бойко в штаб фронта, к начальнику штаба. А завтра с утра и нас с тобой вызывают к новому командующему фронтом. Поедем представляться.

Захаров чему-то усмехнулся. Серпилин не понял чему. Его поразило, что назначен новый командующий фронтом.

— А кого назначили?

— Неужто не знаешь, в Москве не сказали?

— Не знаю.

— Генерал-полковник Батюк. Вчера прибыл и принял фронт.

— А куда же... — начал было Серпилин, имея в виду прежнего командующего фронтом.

— Пока не ведаем. А ведаем то, что едем завтра с тобой знакомиться с новым командующим — генерал-полковником Батюком. Чего на свете не бывает!

«Так вот куда он вдруг исчез из санатория! — подумал Серпилин. — Стало быть, Батюк...»

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Новый командующий фронтом генерал-полковник Батюк ожидал приезда Серпилина, которого после вступления в командование фронтом еще не видел.

С Серпилиным должен был приехать и член Военного совета армии Захаров. Его Батюк не видел со Сталинграда; простился с ним, когда был отозван в Москву без объяснения причин, и потом задним числом выяснял, знал тогда Захаров что-нибудь или правда не знал. Хотел проверить, не ошибся ли, считая его откровенным человеком. Оказалось, не ошибся.

«Везет Серпилину, что он с таким членом Военного совета!» — подумал Батюк, вспомнив о первом члене Военного совета фронта — Львове, которому только что звонил.

Порученец Львова ответил, что товарищ Львов лег в шесть утра и еще спит. Даже не спросил, как сделал бы на его месте всякий другой: не надо ли разбудить? Спит — и все тут! Видно, считает, что хоть и командующий звонит, а Львова все равно будить не положено. Так и не услышав этого привычного для слуха вопроса, Батюк сказал сам: «Не буди. Как встанет, доложи, что я звонил». И положил трубку.

Львова он будить и не собирался. Наоборот: вызвав к себе Серпилина и Захарова на девять утра, почти наверное знал, что Львов будет в это время спать. Но позвонить ему счел нужным, чтобы иметь потом возможность сказать: «Командующий армией и член Военного совета представлялись, хотел принять их вместе с вами, но пожалел будить». Со Львовым надо было держать ухо востро. И сам с ним встречался до войны, и от других наслышан достаточно, и, еще едучи сюда, заранее решил: впервые командуя фронтом, с самого начала не позволять Львову сесть на голову: если сразу не отучишь, пропадешь. С другой стороны, конечно, и Львову нельзя было давать поводов для упреков, что не считаешься с ним и так далее. Львов не Захаров. С Захаровым, бывало, и на басах столкнешься, и наговоришь, и услы-

шишь лишнее, а потом все же к чему-то придешь. И тогда все! Захаров у тебя за спиной, какой ты плохой, докладывать не будет. А этот, говорят, любит писать. А что ему не писать? Вон он когда ложится-то? Пиши хоть всю ночь!

Почему освобожден его предшественник, Батюк не спрашивал ни в Москве, ни здесь. Считал это лишним. Тебя назначили — твое дело принять хозяйство и воевать. А за что сняли — пусть думает тот, кого сняли. В свое время, когда тебя снимали, поломал над этим голову. Теперь не твоя очередь.

Так он считал. А все же разные мысли в уме возникали: уму не прикажешь. Что предшественник снят не за ошибки в оперативных вопросах — было ясно. Предложенный им план операции утвержден Ставкой без особых изменений и продолжает считаться правильным. Уже прибыв сюда, Батюк почувствовал, что приехавший вместе с ним представитель Генерального штаба не только не ждет от него перемен в плане, а, хотя и деликатно, дает понять, что самое лучшее, если новый командующий фронтом не будет предлагать Ставке ничего нового.

Нет, предшественник пострадал не за оперативные промахи. Считается, что освобожден по болезни, но, когда сдавал фронт, больным не выглядел. Знакомил с обстановкой не торопясь, без нервов. Уехал и бровью не повел, проявил выдержку.

Об этой выдержке Батюк думал с уважением, хотя сам бы поступил по-другому: раз освобожден по болезни, уехал бы в госпиталь — и все! Пусть того, кто прибудет, здоровые в курс дел вводят!

Другого такого случая, как с предшественником, даже и на памяти нет. И если Львов тут руки не приложил, тогда вообще мало что понятно.

Но сколько бы ни гадать о своем предшественнике и о Львове, не это было главным в мыслях Батюка. Сильней всего это была прямая радость от своего назначения. Оно могло объясниться только одним: тем, что товарищ Сталин оценил его действия на юге и переменил свое прежнее несправедливое отношение. И главное, о чем думал Батюк первые двое суток, проведенные в новой для него роли командующего фронтом, было то будущее, за которое он здесь отныне первый ответчик.

Хотя в масштабах всей операции, с замыслом которой он был теперь ознакомлен, его фронту отводилась второстепенная роль и для выполнения ее соответственно выделялись более скромные, чем у соседей, силы, но все же привычка командовать армией — это привычка именно к армии, а фронт есть фронт! И какой бы ни был твой опыт на войне и сколько бы ни думал до этого о себе, что мог бы и фронтом командовать, а все же, когда

взяли и назначили, за один день не освоишь! Руки намного подлиннее стали, и как ими двигать, надо еще привыкнуть! А планы будущих действий утверждены до тебя. И пусть чужая голова была не дурней твоей, а все же вступать в готовую чужую мысль трудно. Дают понять, что передумывать поздно! А желание кое-что передумать появилось.

Позавчера, после докладов начальника штаба и начальников родов войск, Батюку показалось сомнительным: почему участок для прорыва выбран на правом фланге, где еще до Днепра надо форсировать три реки, а не на левом, где все же одной рекой меньше — еще зимой перелезли через нее и держим плацдарм на том берегу?

Едва он задал этот вопрос, как его сразу же стали убеждать в несколько голосов, что ничего не надо менять, что хотя здесь и лишняя речка, но зато наш берег господствует, и местность просматривается, и артиллерии будет легче подавить оборону противника — словом, облюбовали для прорыва такой участок, что лучше нет и быть не может! А представитель Генштаба напомнил, что все это уже утверждено. Хотя Батюк и сам знал, что теперь с любым принципиальным изменением придется заново входить в Ставку.

Вчера утром, перенеся встречу с Серпилиным и Захаровым на сутки, Батюк поехал в левофланговую армию: хотел посмотреть там своими глазами заинтересовавший его плацдарм. Если действительно невыгодный, выбросить из головы! А если ошиблись, то, пока не поздно, доложить в Ставку о необходимых изменениях.

Батюку хотелось, чтобы с его приездом на фронт в план предстоящей операции были внесены поправки к лучшему. Однако, переправясь вчера на этот плацдарм и проверив все на местности, он решил: копья ломать не из-за чего — господствующие высоты прямо над плацдармом были в руках противника, местность ничего хорошего не обещала.

Батюк был доволен, что съездил туда вчера и отсек сомнения. Да и для Серпилина тоже лучше: и лишние сутки получил, чтобы познакомиться с обстановкой, и разговор с ним теперь можно вести окончательный — прорыв, как и намечено, будет в полосе его армии.

Правда, вчера подпортил настроение Львов. В двадцать три часа Батюк, вслед за начальником штаба, подписал итоговое донесение в Генштаб, и оно пошло на подпись к Львову. Ходивший к Львову офицер вернулся и, ни слова не сказав, положил донесение на стол перед командующим. Батюк посмотрел сначала на офицера, потом на донесение и долго молчал. Подпись

Львова под донесением стояла. Но кроме подписи в тексте были поправки и вычерки красным карандашом. Или Львов так поставил себя здесь раньше, или хотел приучить к этому его, Батюка, или вообще неизвестно, что думал: как это так — черкать текст донесения после подписи командующего? Если с чем не согласен, зайди или позвони, докажи, что надо внести поправки, наконец, откажись подписать, напиши свое особое мнение, если уж коса на камень... Но крестить донесение красным карандашом после командующего! Да где и когда это видано?..

Батюк побагровел, но пересилил себя и сказал только:

— Оставь меня.

И когда офицер вышел, еще раз посмотрел поправки Львова. Ничего особенного в них не было — не понравилось ему изложение — в двух местах поправил, а в третьем вычеркнул вторую половину пункта: посчитал лишним. В общем, отредактировал своим красным карандашом.

Как поступить? Подумав несколько минут, Батюк приказал отправить донесение в таком виде, а Львову позвонил и пригласил зайти, когда освободится.

Львов освободился только через час. Разговор был короткий. Львов сказал, что не видит повода для споров. Если б он был принципиально не согласен, вернул бы без подписи и сказал почему. А объясняться по поводу трех фраз, из которых одна лишняя, а две недостаточно хорошо изложены, не счел нужным: берег свое и чужое время. Отредактировал и подписал.

На это Батюк ответил, что в грамотности со Львовым тягаться не собирается, если статьи писать, а если речь об оперативных документах, то как их писать — знает, обучен. И привык, что в них после подписи командующего никто и ни единого слова без согласия командующего не исправляет. Так это принято на всех фронтах. И их фронт исключением не будет. Пусть это запомнит на будущее товарищ генерал-лейтенант Львов.

Львов встал и вышел. Но Батюк ни тогда, ни сейчас не жалел о своих словах. Рано или поздно пришлось бы столкнуться из-за этого красного карандаша, и лучше рано...

В первый же день, когда Батюк услыхал по телефону от Бойко, что Серпилин уже в дороге, он с радостью сказал Львову: «Теперь все командармы на месте». Но Львов, скривившись, словно ему муха в суп попала, процедил: «Если возвращается вполне здоровый, то хорошо, но если не долечившись...»

— Если даже и не долечившись малость, все равно рад, что едет,— сказал Батюк. — Приедет — долечится на свежем воздухе.

И, заметив, как Львов опять скривился, спросил:

— Чем он вам не понравился?

— Ничем. Просто хочу видеть на этой должности вполне здорового человека.

— А я его в Архангельском пять дней назад встречал. Он уже и тогда почти здоровый был, если не отсюдова на него глядеть, а вблизи. — Батюк поддразнил Львова, ожидая, что тот заспорит.

Но Львов не заспорил. Не считал возможным заострять эту тему после того, как Сталин, приняв во внимание первый пункт его записки — о командующем фронтом, не поддержал второго — о Серпилине — и недовольно сказал ему по ВЧ:

— Не слишком ли много вы берете на себя, товарищ Львов? Все у вас больные: один у вас больной, другой у вас больной. Только вы один здоровый. Подумайте о своем здоровье. И не учите нас бдительности. Как и на чьем здоровье что отразилось, нам, если понадобится, врачи скажут. Не пишите больше об этом. Надоело.

Не знавший всего этого Батюк с удивлением услышал, как Львов в ответ на его слова о здоровье Серпилина сказал: «Тем лучше»,— хотя на лице его в эту минуту было такое выражение, словно думал: «Тем хуже...»

— Чего тебе, Барабанов? — спросил Батюк адъютанта, прервавшего своим появлением его мысли о Львове.

— Товарищ командующий, водитель просит разрешения заменить два ската. Новые привезли. Никуда в ближайший час не поедете?

— Пусть меняет. Не поеду. — Батюк посмотрел на Барабанова. — Генерал-лейтенант Серпилин сейчас приедет. Твой друг. Вспоминали с ним о тебе в Архангельском.

— Вы мне говорили,— хмуро сказал Барабанов.

— А сейчас опять вспомнил, как он пострадал тогда через твою дурость. Задержался, чтоб взять этот ваш хреновый бугор, и жену в живых не застал.

— Для чего вы мне это вспоминаете, товарищ командующий? — все так же хмуро спросил Барабанов.

— А чтоб не помнил зла. Не только ты из-за него хлебнул, но и он из-за тебя. А то я знаю тебя: ты, черт, злопамятный!

— Я тогда злопамятный, когда не виноватый,— сказал Барабанов. — Обед на сколько человек заказать?

— Ни на сколько,— взглянул на часы Батюк. — С ними закончу, будем с начальником штаба работать, а там посмотрю, когда еще обед... Пойди встреть,— добавил он, услышав через открытое окно голоса.

Барабанов выскочил за дверь, а Батюк поднялся из-за стола и, быстро пройдясь взад-вперед по комнате, повел плечами, с

удовольствием сознавая, что он еще крепок, здоров и неутомим. Встреча со старыми соратниками в новой для себя и для них роли радовала его.

Встретив вошедших, Батюк первому пожал руку Серпилину — тот и вошел первым,— а Захарова обнял со словами:

— С твоим командующим пять дней назад кефир пили, а с тобой как-никак почти полтора года не виделись.

Потом повернулся к Серпилину и оглядел его с головы до ног:

— Совсем хорошо выглядишь!

— Не только выгляжу, но и чувствую себя хорошо, товарищ командующий.

— Что нам и требуется! А то тут один товарищ опасался, как бы тебя к нам больного не выписали. А ты вон какой! Здоровей, чем был. Часом, не женился за это время?

— Пока нет.

— Звонил Львову,— повернулся Батюк к Захарову,— хотел вас принять вместе с ним. Но, к сожалению, спит. Поздно ложится... А он как у тебя,— теперь обращаясь уже к Серпилину, кивнул Батюк на Захарова,— подъема не просыпает?

— В чем, в чем, а в этом пока не замечен,— улыбнулся Захаров.

— Значит, после меня от рук не отбился,— сказал Батюк. — А то хуже нет: один уже встал, а другой только лег, один уже лег, а другой еще телефоны крутит. Все — не разом!

Он махнул рукой, перекрестив эту тему, и пригласил Серпилина и Захарова к своему рабочему столу.

— Докладывайте ваше решение. Как думаете наносить удар? Начнем с этого.

Серпилин разложил на столе поверх лежавшей на нем карты свою и стал докладывать предварительное решение, над которым работал штаб армии. В основном оно осталось таким, каким подготовил его Бойко, до приезда Серпилина.

Когда Серпилин закончил, Батюк задал несколько вопросов о деталях и спросил:

— Как оцениваете намеченный для вас участок прорыва? Действительно как наилучший во всей полосе фронта?

— За всю полосу фронта не берусь ответить,— сказал Серпилин. — А в полосе нашей армии считаем: выбран правильно. Но имеем дополнительное предложение. Разрешите доложить?

Это дополнительное предложение возникло у Серпилина вчера, когда он осматривал участок прорыва на своем крайнем правом фланге, на стыке с соседней армией. Суть была проста, но сама армия решить этого не могла, мог только фронт. Весь

участок будущего прорыва, шириной в двенадцать километров, целиком приходился на правый фланг армии Серпилина и заканчивался на севере точно по разграничительной линии с соседней армией, которой в будущей операции отводилась вспомогательная роль. Она должна была сначала держать оборону на широком фронте, а потом, когда противник под нашими ударами начнет отступление, преследовать его.

За разграничительной линией, перед соседом, в глубь немецкого расположения тянулась цепочка небольших высоток, по мнению Серпилина, очень для нас неудобных. Если все останется без перемен, то сразу же после прорыва правому флангу армии придется или наступать несколько километров под немецким фланговым огнем с этих высоток, или на ходу разворачиваться и брать их, теряя при этом темп.

Предложение Серпилина было — отодвинуть еще на два километра к северу разграничительную линию с соседом, так, чтобы правый фланг прорыва с самого начала охватывал эти высотки, не оставлял их вовне, а загребал внутрь.

Серпилин вчера прикинул все это вместе с Бойко и артиллеристами, вчерне спланировал, сегодня с утра ввел в курс дела Захарова и, едучи сюда, помня характер Батюка, считал: чем раньше доложим, тем лучше, пусть командующий фронтом почувствует себя причастным к этой идее с самого начала, с азов.

Батюк выслушал внимательно, не перебивал, как любил это раньше, вопросами. Молча постояв уже не над картой Серпилина, а над своей, на которой был нанесен передний край соседней армии, он быстро оценил выгоды, которые все это сулило. Схватил суть дела быстрей, чем в былые времена. Серпилин отметил это про себя.

— Соблазн большой,— оторвавшись от карты, сказал Батюк. — Поработайте сегодня над этим вариантом, а я завтра посмотрю на местности и решу. Соображения вашего соседа справа тоже послушаю. Как-никак хочешь вторгнуться в его полосу, два километра у него отобрать. А вдруг он заявит: «Дайте мне хотя бы часть тех силенок, что Серпилину подкидываете, и я сам правей этих высоток ударю». Что тогда? — Батюк усмехнулся.— На это, конечно, не пойдем, растопыря пальцы не воюем, но узнать соображения соседа следует. Тоже старый вояка.

— С вашего разрешения, прежде чем начинать работать, я сам к нему съезжу,— предложил Серпилин. — Поделюсь тем, что вам докладывал, и участок вместе посмотрим. А то до сих пор все мои наблюдения — с моих НП, в чужую полосу без спроса не залезал.

— Это можно,— сказал Батюк и на минуту задумался.

Предложение Серпилина казалось ему настолько разумным, что при взгляде на карту странно было, как оно не пришло в голову раньше. Одно дело — ты только прибыл, не разом во всем разберешься. А как предшественнику в голову не пришло? Думал все же с конца апреля! Направление удара выбрал верно, а подвинуть его еще чуть правей, как подсказывала местность, разграничительная линия между двумя армиями помешала. Мыслим иногда еще этими разграничительными линиями, как будто они что-то незыблемое. А ее надо подвинуть — и все.

Мысль, что он внесет в свое фронтовое решение этот корректив, с одной стороны, заметный, а с другой — все же не таких масштабов, чтобы все наново утверждать в Ставке, привела Батюка в хорошее настроение.

— А других предложений в связи с этим у тебя не будет? — спросил он Серпилина.

— Не будет.

— Это хорошо,— сказал Батюк,— а то я было подумал: раз прибавим тебе два километра справа, попросишь настолько же убавить слева. Имей в виду: за счет соседа справа расширю, а за счет соседа слева полосу армии не сужу. Вся прибавка за твой счет.

— Об этом не просим, Иван Капитонович,— сказал Захаров. — И при лишних двух километрах все равно остаемся богатыми.

— Да, воевать теперь можно,— сказал Батюк. — И вы действительно будете богатыми, не сравнить с тем, что мы когда-то с вами имели. — Он усмехнулся. — Тем более раз наносите главный удар,— и правого и левого соседа грабим в вашу пользу. Левого — еще ничего, а правого — догола. Он уж мне плакался!

Батюк взял телефонную трубку и приказал соединить себя с командармом, к которому хотел ехать Серпилин.

— Сам ему скажу, что ты приедешь.

И Серпилин понял и по его словам и по лицу, что Батюк твердо решил принять их предложение. А раз так, желает с самого начала взять все в свои руки. Поэтому сам и звонит.

— Здравствуй, Николай Семенович,— сказал Батюк, когда его соединили. — Твоего соседа слева сейчас пришлю поделиться с тобой соображениями и выслушать твои... Куда?.. А ты где сейчас?.. А!.. — Батюк искоса глянул на карту. — А он прямо туда к тебе и поедет. Жди его... Когда? — Батюк взглянул на часы. — Сейчас девять сорок пять. К одиннадцати тридцати будет... Ко мне ничего нет? После того, как встретитесь, позвони мне. Бывай здоров...

Слушая все это, Серпилин внутренне улыбнулся.

«Сам за меня решил — и куда поеду, и когда выеду, и за сколько буду. Даже и не подумал спросить меня, хотя я и командарм. Ума война прибавила, а характера не изменила».

— Он как раз там, где тебе надо,— в левофланговой дивизии в триста пятой, командный пункт — роща, южней Дятькова. — Батюк положил трубку. — Обедать не приглашаю. Время раннее — вам недосуг и у меня работа. Завтра у вас в корпусе или в дивизии пообедаем, если покормите. Приеду прямо с утра, к девяти.

— Разрешите... — Серпилин приподнялся, подумав, что разговор окончен и надо прощаться.

Но Батюк задержал его:

— Погоди. Мне в десять ровно к начальнику штаба работать идти; еще двенадцать минут имеем поговорить на вольные темы.

«Вон как,— подумал Серпилин. — Раньше у него это не было заведено. Удобно или неудобно для дела, а считал, что все идти и все тащить должны только к нему, раз он первый. Это новость!»

— Был вчера у вашего соседа слева, дал ему разгон,— сказал Батюк. — А знаете, за что? По тылам у него проехал — кругом медали блестят! Чем от войны дальше — тем больше! А когда в двух его полках людей построил, вижу, во всем строю ни у солдат, ни у сержантов наград нет. На двадцать человек — одна! Стал спрашивать: оказывается, больше половины давно воюют! А почему наград нет — дело известное: большей частью госпитали помешали! В госпитале награда не каждого офицера догонит, что говорить о солдате! Но... — Батюк вдруг, может даже незаметно для себя, так повысил голосом на этом «но», что Серпилин понял, как он вчера разносил соседа слева. — Здесь-то время было! Здесь-то второй месяц стоим! Себя-то небось не забыли, наградных листов целые горы понаписали! А солдат молчит, свет не застит! Где же тут о его награде вспомнить! — Батюк посмотрел на Серпилина и, все еще не выйдя из вчерашнего возбуждения, громко, с угрозой сказал: — Завтра у тебя по полкам поеду... Смотри! Если и у тебя так же — при всех пристыжу!

— Возможно, и у нас есть промахи,— спокойно сказал Серпилин, подумав про себя, что есть и даже наверное. — Будем исправлять.

Батюк сердито посмотрел на него, но вспомнил, что Серпилин только что вернулся в армию.

— С тебя взятки гладки. Ты сам из госпиталя,— миролюбиво сказал Батюк, вместо того чтобы повысить голос, как собирался. — Но ты все время был,— повернулся он к Захарову,— с тебя и спрос. Если такая же картина, как у соседа,— достанет-

ся тебе на орехи! И смотри: после моего предупреждения мне там товар лицом не выстраивай, кто с медалями — тех вперед! Меня не надуешь!

— А вот это вы зря, Иван Капитонович,— сказал Захаров.

— Там зря или не зря, а предупреждаю.

— А я говорю, это вы зря, Иван Капитонович,— повторил Захаров, в пределах допустимого, но все же достаточно заметно для Батюка повысив голос.

— А ты теперь поменьше говори, побольше слушай,— сказал Батюк.

Пожалуй, слово «теперь» сорвалось у него помимо воли. Просто от воспоминания о том, как Захаров раньше, в армии, во время их споров, бывало, и стоял на своем, и оставался при своем. Слово «теперь» значило, что теперь этому не бывать, потому что теперь их обоюдное положение несоизмеримо с прежним. И все же давать волю этому слову не надо было! Батюк почувствовал это по наступившему в комнате молчанию и по лицу Серпилина. Мог бы, конечно, и скрыть свое неодобрение! Но не скрыл, не пожелал.

— А ты тоже хорош,— обратившись к Серпилину, чтобы как-то выйти из этого молчания, заговорил Батюк о том, о чем сегодня не собирался. — Смотрел список руководящих кадров, вижу, кого же он себе в замы подобрал! Генерала Кузьмича! Нашел себе, понимаешь, зама, не мог подобрать помоложе да пограмотней. Думаешь, если некуда его па войне деть, так надо к себе взять?

— Ничего, он нам обедни не испортит,— сказал Серпилин.

— Раз уж дали ему по старости лет генерал-лейтенанта, так и отправили бы командовать суворовским училищем! Самое ему место. И остатки здоровья бы там сохранил! А то опять на фронт полез, понимаешь, и опять, как на грех, у меня оказался.

— Практически все же у меня,— не удержался Серпилин.

— Он у тебя, а ты у меня.

Серпилин хотел было сказать, что независимо от их разных мнений о Кузьмиче заместитель командующего особой погоды в армии все же не делает, но вовремя вспомнил, что Батюк еще недавно сам сидел на такой же должности, только во фронтовом масштабе, и, чего доброго, примет это на свой счет.

— Как его здоровье-то? Подставки хоть держат? — спросил Батюк, смягчаясь от молчания Серпилина, потому что ему на его характер молчание чаще всего казалось знаком согласия.

— Чувствует себя неплохо,— сказал Серпилин. — Кроме прочих обязанностей, возложили на него наблюдения за оперативной маскировкой. Сам летает, смотрит сверху — как с точки

зрения немцев,— не видать ли у нас чего, нет ли нарушений. Уже двенадцать часов налетал. Вчера докладывал.

— Только этого не хватало, еще и летает! Скажи ему, пусть завтра не прячется, хочу его в натуре посмотреть, какой он теперь есть. — Батюк встал.

Если бы он мог пересилить свою натуру, то, наверное, сказал бы сейчас Захарову: «Не обижайся, Константин Прокофьевич, зря я с тобой так...» Но пересилить свою натуру он не мог и поэтому, прощаясь, только чуть покрепче пожал руку Захарову, а Серпилину сказал:

— Сосед твой, учтя мой звонок, думаю, возражать не будет...

Хотя Батюку было тоже пора идти и, чтобы пересечь улицу, отделявшую его дом от дома начальника штаба, он мог бы выйти сразу вместе с Серпилиным и Захаровым, однако остался еще на минуту у себя: не хотел, чтобы выглядело так, словно он вышел из дому провожать подчиненных. Вообще-то Батюк не был особым любителем субординации, но после вступления в командование фронтом все время помнил о своем новом положении.

Он задержался на минуту, и на столе, как нарочно, затрещал телефон.

— Первый слушает,— Батюк поднял трубку.

— Здравствуйте, говорит Львов. Вы мне звонили?

— Звонил. Прибыл представляться Серпилин. Хотел принять его вместе с вами...

— А где он? У вас?

— Уже уехал. — Батюк был доволен, что Львов позвонил ему сам, проглотил вчерашнюю пилюлю.

— Ничего другого у вас ко мне нет? — спросил Львов.

— Пока нет.

— Я буду у себя. — Львов первым положил трубку.

«Мало все ж спит,— подумал Батюк о Львове,— в шесть лег, теперь только десять...»

Батюк надел фуражку, уже совсем собрался идти, но снова затрещал телефон. На этот раз звонил начальник штаба фронта.

— Иван Капитонович, десять пять. Как прикажете? Может, мне к вам прийти?

— Сам иду. — Батюк положил трубку.

«Десять пять! Тоже мужик с характером, напоминает, чтоб не опаздывал. Кругом у всех характеры...»

Он подумал про Серпилина, что и у этого характер не из легких, но хотя бы заранее известный. От него знаешь, чего можно и чего нельзя ждать. Можно ждать стремления поставить на своем, но нельзя ждать обмана. И хорошо, что человек с таким,

достаточно известным ему характером стоит у него на направлении главного удара.

Батюк радовался завтрашней поездке в свою бывшую армию. Его радовало, что именно ей предстояло наносить главный удар в том первом наступлении, которое он проводил в роли командующего фронтом. Батюк ее формировал, он с ней начинал в самое трудное время, и во всем том, что она теперь совершит, есть доля его заслуг, не только нынешних, но и прошлых: их тоже из истории не вынешь.

— Что делать будем? — спросил Серпилин у Захарова, когда они, выйдя от Батюка, пошли по улице к своим стоявшим за углом машинам. — Если прямо в Дятьково,— Серпилин открыл планшет и взглянул на карту,— самое большее пятьдесят минут, с запасом — час. А время впереди — полтора часа. Поедем, выберем по дороге местечко, сядем под елку и обсудим вопросы. Есть что.

— Обсудить согласен,— сказал Захаров. — Но к соседу с тобой не поеду. Зачем мне около вас отсвечивать? Съезжу тем временем к начальнику Политуправления фронта, это мне действительно нужно. До развилки вместе, там посидим, а потом — ты направо, я налево. Лады?

— Давай теперь на моей,— сказал Серпилин, когда они подошли к стоящим в тени домов «виллисам»; сюда они ехали на «виллисе» Захарова.

Захаров сел сзади, и «виллис» тронулся. Второй шел следом.

Пока ехали, говорили о том, о чем считали возможным говорить при водителе Серпилина — Гудкове. При нем можно было на все темы, кроме тех, на которые ни при ком не положено.

— Забыл тебя спросить: чего без адъютанта поехал? Уже отпустил? — спросил Захаров про Евстигнеева.

— Простились утром. Пошел в сто одиннадцатую. Беру вместо него Синцова.

— Это хорошо,— сказал Захаров,— если тебя его рука не смущает.

— Меня не смущает. Не в носильщики беру. Он, кстати, с этой своей рукой, оказывается, даже машину водит.

— Евстигнеев сильно переживает?

— Сам за него переживаю. Ну-ка, случись, убьют! Сноха по второму разу вдова, внучка по второму разу сирота... А что делать?

— Авось минует его чаша сия,— сказал Захаров. — Потери, надо надеяться, будут не те, что раньше. Ехали с тобой сюда

утром, и опять едем, и ни разу еще на небо не взглянули. А помнишь, как было? Сколько раз за это время из машины бы выскакивали...

Справа к дороге спускалась опушка ельника, впереди виднелась развилка, у которой надо было разъезжаться.

— Возьмите в сторону, Гудков! — приказал Серпилин. — Тут сухо.

Машина съехала с дороги и остановилась. Серпилин и Захаров пошли к опушке.

— Товарищ командующий, может, плащ-палатки дать? — крикнул вдогонку Гудков.

Серпилин оглянулся:

— Боязно: ляжешь да заснешь... Недоспал сегодня... Ладно, давайте.

Гудков принес им две плащ-палатки и разостлал под елкой. Серпилин лег, облокотившись на руку, а Захаров ложиться не стал, сел на посеревший от дождей, старый, но еще крепкий пенек и, улыбаясь, сделал вид, что подсек и тянет из воды рыбу. Показал так похоже, что Серпилин тоже улыбнулся.

— Уже и не помню, когда рыбачил,— сказал Захаров. — Вот до чего война людей доводит. Совсем в каменный век отбросила — рыбу гранатами глушим, как какие-нибудь пещерные люди — камнями.

Он с удовольствием отвлекся в сторону, потому что догадывался, о чем его сейчас спросит Серпилин, и был не рад этому.

— Когда получил в Архангельском твое письмо,— сказал Серпилин,— понял: обстановка требует как можно скорей вернуться. А теперь вижу: что не просто обстановка требовала, а тучи над головой были, а может, и остались.

— О чем разговор, о каких тучах?

Серпилин посмотрел на Захарова и с уверенностью подумал, что тот пусть из благих целей, но лукавит. Бывает с ним и так.

— Вчера Григорий Герасимович Бойко при всем его неразговорчивом нраве все же нашел нужным сказать мне, что десять дней назад Львов пригласил его зайти и час расспрашивал, какой я есть и какое мое состояние здоровья, а также духа.

— Спросил и спросил. Такое его дело — знать кадры. Я бы, например, этому большого значения не придал.

— Ты бы не придал, а Бойко придал, и правильно сделал. И нашел нужным мне сказать, и тоже правильно сделал. А сегодня выясняется, что командующий фронтом, как видно, все тому же Львову объяснял, что я еще способен армией командовать, не дышу на ладан. Теперь я и твое письмо задним числом по-

другому читаю. В письме не мог написать, согласен. Но почему, когда я приехал, не выложил всего, что знаешь?

«Эх, Федор Федорович, слишком много ты от меня захотел! — подумал Захаров, глядя на Серпилина и вспоминая свой разговор со Львовым. — Слишком многое пришлось бы рассказать, если все подряд. А тебе надо к наступлению готовиться, а через две или три недели сто тысяч человек в бой вводить. И не время отвлекаться от всего этого на воспоминания о товарище Львове и о тучах над головой».

Подумал, но вслух спросил только одно:

— Веришь мне?

— Дурацкий вопрос, извини.

— Извиняю. Но раз дурацкий, скажу тебе коротко: тучи над головой если и были — их нет. А вся наша жизнь — там. — Он махнул рукой в сторону передовой. — А что Бойко даже из лучших побуждений этим мусором с тобой делился, не вижу ничего хорошего. Лучше б со мной поделился. Дальше меня не пошло бы.

— А что в прятки-то играть?

— А я, когда надо делать, в прятки не играю,— сказал Захаров. — А когда закончено, не возвращаюсь. И если меня кто не любит, но при всем желании сделать со мной ничего не может, мне от этого жить веселей! Чего и тебе желаю!

— Ладно. Проведем операцию, после нее, живы будем, поговорим.

— А еще бы лучше — после Берлина,— усмехнулся Захаров.

Серпилин ничего не ответил, поднялся с плащ-палатки и прислушался к тишине: где-то далеко-далеко полз не то танк, не то гусеничный трактор.

— А все-таки лето пришло в полном смысле этого слова,— сказал Серпилин и, подразумевая войну, добавил: — Считай, уже четвертое...

Гудков подошел, забрал плащ-палатки и понес их к машине.

— Как ты Батюка нашел? — спросил Захаров.

Серпилин ответил не сразу, вспомнил не только сегодняшний разговор с Батюком, а еще тот, первый, в Архангельском, заставивший почувствовать в Батюке что-то новое, раньше незнакомое, выросшее в нем на войне и вместе с войной.

— Думаю, трудно ему сейчас. Но стремится быть на высоте своего нового положения.

— Невыдержанный он все же мужик,— сказал Захаров.— Боюсь, как бы срываться не начал, если что не так пойдет.

— Поживем — увидим. Тем более что и от нас зависит, как все пойдет.

Серпилин уехал первым, а Захаров с минуту постоял у своего «виллиса», не садясь и продолжая глядеть вслед Серпилину.

«Запал ему теперь в память Львов! Разозлился, что я не посвятил его во все подробности. А зачем его посвящать? Вот начальника Политуправления фронта по старой дружбе посвятить в свой разговор со Львовым — это надо! И самому просветиться: чего мне в дальнейшем ждать, раз принял огонь на себя... Не много ли мнит товарищ Львов о собственной личности? Наверное, в душе считает, что после того, как там, в Москве, в ПУРе уже не он главный, все политработники по всей армии уже не те! Все без него стали хуже работать! Всё теперь не так, как при нем!»

Мысль была, может, и не до конца справедливая по отношению к Львову, но Захаров был слишком сильно задет им. Не только недоверием к себе, но и недоверием к Серпилину, к человеку, за которого он, старый армейский политработник, лично отвечал и готов отвечать до конца войны! Обида за Серпилина была для Захарова частью личной обиды; но в его негодовании против Львова присутствовало что-то еще, самое главное, более глубокое, чем личная обида: уж больно не ко времени и не к месту все это затеяно Львовым! Не об этом люди думают, не этого хотят, не этого ждут сейчас, готовясь к наступлению. Не об этом их мысли! Не за это они умирают и не для этого жить остаются!

«И мы с ним — тоже!» — подумал Захаров о себе и о Серпилине.

Его взяла такая досада, что он даже заколебался, ехать ли сейчас к начальнику Политуправления фронта, говорить обо всем этом или отложить до другого раза, вернуться прямо в армию, где и без Львова дел полон рот.

Но, пересилив себя, решил, что все-таки нужно поехать и рассказать, и сел в «виллис». Машина разворачивалась, скользя по склону, вдавливая в землю молодую траву.

«Еще сыровато по этому времени года. Хорошо бы, к началу наступления как следует просохло»,— подумал Захаров, глядя на следы от колес.

Захаров был прав. Серпилину действительно запала в память забота Львова о его состоянии здоровья. Но хотя и запала — думать об этом было совершенно некогда до самой ночи!

Встреча с соседом вместе с дорогой туда и назад отняла почти пять часов. Сосед поначалу с долею горечи пошутил, обозвал «захватчиком». «Сперва на целый корпус в твою пользу огра-

били, а теперь еще территориальные требования ко мне предъявляешь!» Но потом согласился с целесообразностью этой передвижки разграничительной линии между их армиями и обещал в таком духе доложить командующему фронтом.

Вернувшись в середине дня, Серпилин сразу же сел работать вместе с Бойко, по ходу дела вызывая всех, кто требовался, а требовались многие. Раз полоса наступления армии расширялась на два километра вправо — это касалось почти всех. Но особенно много нового вносилось в артиллерийское и инженерное обеспечение операции. Планировались и новые секторы огня, и новые колонные пути для движения войск, и новые переправы. Серпилин, как и все трудившиеся вместе с ним, хотел завтра, к приезду командующего фронтом, показать, как далеко зашла их работа. Убедить, что эти коррективы при всей их трудоемкости не вызовут проволочек и не отразятся на сроках готовности армии к наступлению.

Еще вчера, поделившись возникшим у него предложением, Серпилин почувствовал, что для Бойко это была не такая уж неожиданность. А сегодня, пока весь день до ночи вместе работали, окончательно убедился, что начальник штаба и раньше думал об этом — в слишком уж готовом виде выскакивали из него разные предложения. Голова у Бойко была хорошая, но и при самой хорошей голове — одно дело мысли, которые только сейчас явились, а другое дело те, которые давно в ней ворочаются.

— Слушай, Григорий Герасимович,— сказал Серпилин, когда они, закончив работу и отпустив всех, остались вдвоем. — Сдается мне, что я вчера велосипед выдумал. Ты и до меня держал такой план в голове?

— Держал.

— А почему не доложил?

— Думал доложить после того, как вы своими глазами весь передний край увидите. А вы едва вернулись — сами с этого начали.

— Положим, так. А почему все же не сказал, что моя идея для тебя не новая? На мозоль, что ли, мне боялся наступить? Зря! Второй год знакомы.

— Была бы идея. А в чьей голове зрела — не суть важно. — В словах Бойко была та скромность паче гордости, без которой нет настоящего штабного работника.

Сам побывав в роли начальника штаба, Серпилин знал: на войне все идеи в конечном итоге под одну крышу подведены: «Командующий решил...», «По замыслу командующего...». А сколько и чьих мыслей и усилий вложено в этот замысел — поди потом разберись. Всякий раз по-разному! И не всегда сами

об этом помним. Даже в приказах Верховного только недавно стали вслед за командующими начальников штабов называть. А до этого словно их и не было...

Разговор с Бойко так и закончился на этих его словах — «не суть важно». Ничего к ним не добавив, он простился и ушел к себе.

А Серпилин, прихватив с собой полковника Гущина — армейского разведчика, поехал глядя на ночь в шестьдесят второй корпус, в полосе которого, на участке будущего прорыва, уже имелся неплохо оборудованный армейский наблюдательный пункт. Намерение было обернуться до приезда Батюка; переночевать поблизости от передовой, в полку, и с рассвета понаблюдать еще раз, как все это выглядит там, на переднем крае,— и в пять утра, и в шесть, и в семь. Понаблюдать и подумать. А попутно и поговорить. Когда приезжаешь без свиты, такие разговоры больше дают, лучше уясняешь себе не только действительное настроение солдат, но и их собственное мнение о противнике, сложившееся в трехстах метрах от него, на расстоянии голоса.

Серпилин ехал, и у него не выходил из головы разговор с Бойко. Почему Бойко, выносив ту же идею, что и ты, не сделал этого предложения фронту раньше, пока исполнял твои обязанности?

Самый простой ответ — не хотел рисковать, можно и по носу получить!

Но, зная его, верней предположить другое: боялся рискнуть не собой, а идеей. Если что-нибудь по первому разу отвергнут, пойди-ка выдвинь по второму! Может, и хотел бы выдвинуть как лично свою, но удержался, поберег идею, чтоб провести ее в жизнь общими усилиями.

Поднеся в темноте руку к глазам, Серпилин посмотрел на подаренные Барановой часы и подумал, что через несколько минут будет двое суток, как он снова в армии. Пока ехал из Москвы, беспокоился за себя — не за дух, а за плоть,— как выдержит, не будет ли с отвычки уставать сверх обычного. И вот двое суток, в которые и спал по четыре часа и работал почти по двадцать, а ничего не болит, не ноет, не ломит, не напоминает о себе — ни голова, ни ключица, ни прежние раны. И усталости нет, наоборот, такое чувство, что горы сворочу!

Он вспомнил слова Барановой, что ее существование на свете должно помогать, а не мешать ему на войне.

Наверное, так и есть. Только как бы ни хотелось ее видеть, а раз есть война, должно быть и расстояние. Он попробовал представить себе ее где-то здесь, рядом с собой, досягаемой не только в мыслях. И не смог. Ей не было здесь места.

Серпилин полуобернулся на сиденье и чуть было по привычке не окликнул: «Евстигнеев!» — хотя знал, что там, сзади, в «виллисе» сидит уже не Евстигнеев, а Синцов.

— Как ты там, не спишь?

— Не сплю, товарищ командующий.

— Забыл днем спросить — жену свою встретил?

— Нет, видно, еще не добралась до армии, в дороге...

— Когда доберется — доложишь.

— Слушаюсь, товарищ командующий.

— Может, должность полегче ей подыщем, если еще слаба здоровьем. Нас, мужиков, в армии вон сколько, а таких женщин, как твоя жена...

Серпилин не договорил: с нахлынувшей в душу теплотой вспомнил, как тогда, в окружении, после смерти Зайчикова шел, опираясь на ее плечо.

— С наблюдательного пункта на рассвете тот брод через реку Проню увидишь, где в сорок первом году переходили с первого на второе августа, в ночь. Дни стояли сухие, и воды было мало. Сейчас намного больше. Будем вместе смотреть — проверю, какая у тебя зрительная память.

Гудков сбавил скорость.

— Правильно делаете,— повернулся к нему Серпилин. — Сейчас поворот будет. Во второй раз не проскочите, как вчера днем проскочили!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Отпуск для свидания с женой Синцов получил, когда уже и не надеялся,— почти в канун наступления.

Они возвращались с Серпилиным вечером из поездки в войска. Моросил дождик. Серпилин, как выехали с передовой, за всю дорогу не сказал ни слова. Сидел впереди и думал; и Синцов незаметно для себя задремал на заднем сиденье «виллиса», держась здоровой рукой за перекладину тента. Две недели непривычной адъютантской службы измотали его сверх ожидания. Он и сквозь сон сознавал, что они продолжают ехать, и что-то путаное, отрывочное неслось в мыслях вместе с дорогой.

— Как жена? Неужто все еще не прибыла? — раздался с переднего сиденья голос Серпилина.

— Прибыла,— вздрогнув и проснувшись, сказал Синцов.

— Когда же? Помнится, неделю назад тебя спрашивал.

— На другой день после этого прибыла.

— Долго добиралась. Говорил, что самолетом обещала.

Синцову пришлось объяснить, что Тане не удалось улететь из Ташкента самолетом. Ехала поездом до Москвы, потом до Смоленска, потом на попутных автомашинах до штаба фронта, оттуда в армию.

— Обязан доложить, что жена явилась.

— Не до моих докладов вам было, товарищ командующий.

— Повидались хоть за эти дни?

Вопрос лишний. Синцов всякий день, с подъема до отбоя, был безотлучно с ним, но и ночью не позволил бы себе отлучиться без доклада. Но кто знает, может, Серпилин подумал иначе.

— Пока нет,— сказал Синцов. — Только по телефону.

— А где она теперь?

— Как и раньше, в эвакоотделении. Ездит по госпиталям, готовится к приему раненых.

— Хотя и ездит, но ночевать-то куда-то возвращается? Как только принесешь мне метеосводку, бери запасной «виллис» и съезди повидайся. Потом времени действительно не будет. Разрешаю отсутствовать до девяти ровно.

Последнюю метеосводку полагалось приносить в двадцать три часа. Значит, отпуск на целых десять часов!

Но Синцов, хотя и огорошенный такой щедростью, все же напомнил:

— Вы завтра на пять тридцать наметили выезд в войска.

— Что я себе наметил — мое дело,— сказал Серпилин. — Потребуется выехать — выеду и без тебя.

Когда в двадцать три Синцов принес метеосводку и, вытянувшись перед Серпилиным, спросил: «Разрешите отбыть?» — Серпилин, подняв на него глаза от карты, несколько секунд молча смотрел так, словно бы вдруг позавидовал ему, и, ничего не сказав, махнул рукой — отпустил.

Синцов сел в уже стоявший наготове «виллис» и поехал.

Ехать было недалеко. Санотдел армии вместе с другими отделами штаба тыла перешел трое суток назад туда, где раньше стоял штаб армии. Синцов не только знал, куда ехать, но и знал, где там искать Таню. Санотдел разместился в деревне, в ближайших к лесу домах — раньше там, неподалеку от своего закопанного на опушке узла связи, жили связисты.

Где Таня, было известно, а когда удастся увидеть ее, до сегодняшней ночи так и не знал.

Сначала она через своего начальника дозвонилась до дежурного по оперативному отделу, передала, что приехала. Потом Синцов через двое суток — раньше не удалось,— вернувшись ночью с передовой, вызвонил ее там, в санитарном отделе, ждал, прижав трубку к уху, пока сходят, разбудят, приведут к теле-

фону, и боялся, как бы кто не прервал, не занял линию. Потом пришла от нее с оказией записка. Писала, что туда, где теперь находится он, ее, видимо, не пустят, и как трудно вырваться ему к ней, тоже понимает...

Когда женщина понимает, что ты через минное поле перебежал бы — только б ее увидеть, но все равно не можешь, потому что служба не дает,— такое понимание на войне уже само по себе половина счастья. А когда ты все же вырываешься к ней, к этой женщине, и считаешь оставшиеся до встречи минуты, то какого тебе еще надо счастья?

Сколько бы ни думал раньше Синцов о случившейся с Таней беде, боясь тех внешних и внутренних перемен, которые могли с ней произойти, сейчас у него все это вылетело из головы, и он ехал к ней совершенно счастливый.

Он считал, что проскочит эти пятнадцать километров за тридцать минут, в крайнем случае за сорок. Но дорога заняла час. В одном месте ждали, пока пройдут танки, в другом пришлось делать объезд, потому что на этом участке, еще с прошлой ночи, установили одностороннее движение в сторону фронта. Он знал об этом, но, занятый своими мыслями, забыл предупредить водителя.

Доехав до Аверовки, бывшей штабной деревни, и оставив «виллис» у шлагбаума,— штаб тыла тоже установил здесь свой шлагбаум,— Синцов пошел к третьему с края дому. Здесь, не то в самой хате, не то в пристройке, судя по ее записке, жила теперь Таня.

Подумал: куда тыкаться? Но повезло! Из темноты, с крыльца, его окликнул женский голос:

— Синцов, что ли?

— Я,— отозвался Синцов, вглядываясь в темноту.

На ступеньках крыльца сидела Зинаида Сергеевна, или просто Зинаида, с которой Таня всегда старалась жить вместе, в любом закуте, но вдвоем, ценя ее мужской товарищеский характер и готовность, если надо, выручить, уйти безо всякого.

— Сразу увидела тебя,— сказала Зинаида. — Длинный, тебя не спутаешь. Садись, покурим...

Синцов сел рядом с ней и в темноте пожал ее жесткую и широкую мужскую руку.

— Где Таня? — спросил он, уже понимая, что Тани здесь нет; иначе Зинаида не сказала бы ему: «Садись, покурим». И тревожно подумал: вдруг, как назло, как раз сегодня заночевала в госпитале...

— Здесь она,— сказала Зинаида. — Дежурит по отделу. В двадцать четыре сменится — придет.

— Уже двадцать четыре.

— Подождешь. Ты дольше к ней не являлся.

Зинаида давно привыкла и к Тане, и к Синцову, и к тому, что должна помогать им своим отсутствием. Синцова она звала на «ты» и говорила с ним покровительственно, как старшая, хотя была моложе его.

— Бросил курить или табака нет?

— Есть. — Синцов вынул из планшета папиросу и прикурил.

Зинаида перед тем, как дать ему прикурить, затянулась папиросой, и при свете этой затяжки он различил ее лицо с крупными красивыми губами и немного приплюснутым носом. Зинаида была русская, но Таня за этот приплюснутый нос звала ее калмычкой.

— Почему не являлся? — спросила Зинаида. — Мы, женщины, этого не любим. Тем более после родов... Как только узнал, что вернулась, должен был на карачках приползти!

— Если бы мог, приполз бы.

Синцов не сердился на Зинаиду за ее слова: знал, как бы она ни ругалась, все равно всегда все готова сделать для него, раз он с Таней. А была бы Таня не с ним, а с кем-то другим, сделала бы все для другого...

— Я ей так и объяснила,— сказала Зинаида,— хорошо, если не врешь.

— Как Таня?

— Придет — увидишь. Сколько терпел, еще потерпи. Движок у нас после двадцати трех только штабу энергию дает. А свечка есть. При свечке увидишь какая.

— Пойду водителя отпущу,— подымаясь, сказал Синцов.

— Переночевать можешь?

— Могу. Сегодня разрешили.

— До скольких?

— В девять должен вернуться.

— Смотри-ка! — Зинаида вздохнула. — А у Татьяны подъем в шесть: в семь за нами уже машина будет, поедем в эвакогоспиталь.

— Учту.

Сказав водителю, чтобы ехал ночевать к себе в автороту и был здесь завтра к семи, Синцов вернулся, но Зинаиды на крыльце уже не застал.

«Наверное, ушла в хату, соображает, как оставить нас вдвоем»,— с благодарностью подумал он о Зинаиде, которая сама была мужняя жена, но, по словам Тани, сердилась за неверность на своего мужа, начальника госпиталя где-то на другом фронте, и,

хотя продолжала любить его, от времени до времени назло ему крутила несчастливые романы. Свидетелем этих романов Синцов не был, а что все они несчастливые, слышал от Тани — ей лучше знать.

Он сидел на скамейке и прислушивался. Внутри в хате стояла тишина. И на дороге, там, откуда должна была прийти Таня, тоже ничего не было слышно, лишь вдали стучал движок.

Ему захотелось пойти туда, навстречу ей, но он удержал себя. После дежурства могли выйти гурьбой, а ему хотелось увидеть Таню одну. Он был рад, что Зинаида не сидит здесь и не курит рядом с ним на крыльце, а ушла в хату.

Как подошла Таня, он не увидел, а услышал. И даже сам не понял, что́ услышал: то ли особенную легкость именно ее шагов по прибитой дождем пыли, то ли именно ее быстрое дыхание на ходу. Неизвестно, как все это можно отличить издали, но он отличил. И когда она подошла ближе, заранее знал, что это она.

Подняв руки, крепко и больно обхватив его за шею, она повисла на нем всей своей легкой тяжестью, знакомой и в то же время забытой. Сначала повисла, оторвав ноги от земли, а потом, стоя на носках, тянулась к нему и, нагнув к себе его голову, долго целовала в губы. Наконец сказала первое за все время слово — «сядем» и стала толкать его в грудь, чтобы он сел. А когда он сел, сама села рядом, не прикасаясь к нему и зажав лицо руками, вдруг так жалобно заплакала, что у него все перевернулось.

Но когда он обнял ее, сбросила его руку и опять, схватясь за лицо, продолжала плакать. Потом всхлипнула, перестала плакать и, найдя в темноте своей рукой его руку, крепко сжала и сказала: «Не сердись».

Он не сердился и не мог сердиться. Он просто не знал, что делать с ней, потому что она никогда при нем не плакала, только раз, очень давно.

Продолжая крепко держать его за руку, она шмыгнула носом и вдруг сказала другим, счастливым голосом, словно она и не плакала только что:

— Какая радость, что ты на всю ночь! Мне Зинаида сказала. Она мне навстречу пошла. Увидела у нее одеяло через плечо — и сразу поняла, что ты приехал.

Он сидел и ждал, вдруг она все-таки спросит: что же не приехал к ней раньше? Вдали от нее, там, у них на КП, можно было это объяснить и себе и ей. А здесь нельзя было. Но она, наверно, сама понимала это и сидела молча, продолжая держать его за руку. А потом сказала не о нем, а о себе:

— Я понимаю, ты сердишься на меня, что так долго ничего не сообщала, так долго тебя мучила...

Он хотел перебить ее, сказать, что не сердится, но она не дала ему ничего сказать, продолжала сама:

— Я просто не могла написать тебе про это, не было сил, так верила, что она будет жива, что все обойдется... Мне врачи обещали. Обещали-обещали, обманывали, потом стали говорить, что какая-то инфекция у нее, поэтому нельзя принести ко мне... А я все не догадывалась, что они меня обманывают, только потом поняла, что боятся за меня и поэтому лгут. Ты не сердись, я сама долго не знала. А потом, когда узнала, вдруг стало такое равнодушие — подумала: уже не вернусь к тебе! Зачем? А потом самой сделалось плохо, чуть не умерла. А когда осталась жить, так захотелось тебя увидеть и объяснить, как все было. Пусть даже ты рассердишься, что не писала, пусть хоть побьешь меня, только бы самой увидеть и все сказать...

Он снова попытался остановить ее, начал говорить, что все понимает... Но она опять не позволила, перебила:

— А потом, когда самолет не улетел, я даже маме не сообщила, так и сидела там на аэродроме, ждала еще пять дней. Сначала погоды не было, потом народу много — так и не взяли. Пока ехала на поезде, так хотела тебя видеть, что даже перехотела где-то по дороге и опять захотела...

Она в темноте улыбнулась, еще крепче сжала пальцами его руку и тихонько потянула:

— Пойдем туда, к нам...

И они пошли туда, к ним. Через сени, через комнату, где спали и дышали во сне, в какой-то летний чуланчик на другой стороне избы, похожий на те, какие пристраивают иногда в крестьянских домах для дачников. Это он увидел, уже когда она зажгла ту самую свечку, про которую говорила Зинаида.

Чуланчик был крохотный, дощатый, в щелях, с занавешенным мешком окном и щелястой дверью наружу. Он так и не понял, почему Таня повела его через дом, мимо спящих женщин, а не впустила через эту другую дверь.

На полу лежали вещевые мешки и стояли один на другом два знакомых чемодана — Танин и Зинаидин. На чемоданах стояло зеркальце — вот и все женское богатство.

У стены стоял на скорую руку сбитый топчан, и на нем — сенник, наполовину накрытый одеялом, а наполовину ничем не накрытый,— наверное, там лежало одеяло, которое унесла с собой Зинаида. Значит, они спали обе вместе на этом сеннике.

Не поворачиваясь к Синцову, глядя в зеркало и поправляя волосы, Таня виновато сказала:

— Извини, что такой свинюшник, у нас никогда такого не

было. Три дня, как приехали,— с утра до ночи, с утра до ночи... Только спали тут. Даже ничего не прибрали.

Все еще не поворачиваясь к Синцову, она подошла к топчану, откинула с сенника одеяло, выпростала из-под него простыню и взбила подушку. Словно все это непременно надо было сделать, прежде чем повернуться к нему.

— Совсем на себя рукой махнули,— сказала она, наконец повернувшись к Синцову.

Сказала про их неприбранный чулан, а не про себя, но вышло так печально, как будто и про себя тоже.

— Я уже примирилась, что не увижу тебя за эти дни. Нет, неправда. Просто боялась об этом думать, не хотела готовиться, чтоб не сглазить. Поэтому все так...

Она говорила, а он смотрел на нее, против его ожиданий не исхудавшую, а, наоборот, словно бы даже успевшую немножко поправиться за эти несколько дней на фронте. Смотрел на ее почти не изменившееся лицо, на котором, однако, было какое-то несвойственное ей отчаянное выражение.

У нее было такое лицо, словно она готовилась не к встрече с ним, а к прощанию, такое лицо, что он почти вскрикнул:

— Да что с тобой?

— Ничего со мной. — Она бросилась к нему на шею и ничего уже больше не говорила, молчала.

Все, что было потом, было молча и торопливо. Он почувствовал ее нетерпеливую поспешность и какую-то беззастенчивую, непривычную открытость; ее лихорадочную тягу, которую она не сдерживала и не хотела сдерживать.

Он чувствовал это тем сильнее, что сам, помня все, что с ней было, и зная себя и силу своей тоски по ней, заранее зарекся — не позволит себе быть нетерпеливым, будет думать о ней, а не о себе. Но ее словно бы даже сердила та нежность, с какой он с ней обращался. И когда он, все еще не уступая ее торопливости, спросил шепотом: «А тебе все можно?» — она ничего не ответила вслух, а, прижимаясь к нему, сердито и быстро закивала, словно злясь на него, что он может еще что-то спрашивать у нее в эту минуту.

И он не решился ни о чем больше спрашивать. Ни о том, как она себя чувствует, ни о том, что можно и чего нельзя,— ни о чем. Он понял: она не хочет никаких вопросов. Хочет одного: чувствовать, что она живая и здоровая и что ему хорошо с нею. И хочет этого с такой требовательной силой, словно старается что-то доказать себе, или ему, или обоим вместе... Она была какая-то шалая, жадная, непохожая на себя. И, нисколько не скрывая этого, спешила исполнить все свои желания.

Потом, обняв его, прижавшись горячей щекой к его груди, стала сердитым шепотом ругать его за то, что пошел в адъютанты к Серпилину, вдруг, ни с того ни с сего, как будто этот разговор нельзя было отложить, как будто непременно сейчас должна была сказать ему это.

Он сначала не хотел отвечать. Гладил ее по голове и молчал. Но она, хотя и поняла, что он хочет ее остановить, продолжала шептать свое:

— Ну зачем, зачем ты согласился?

А когда он ответил, что как раз перед этим просился у Серпилина в строй, и рассказал, как ездил в полк к Ильину, зашептала:

— Вот это и надо было! Я давно чувствовала, что тебе это надо, только не говорила, потому что не знала, можно ли. Но раз это можно, как же ты согласился пойти адъютантом? Ты должен был настоять на своем...

Он стал объяснять, что в конце концов все равно настоит на своем, но сейчас это нельзя, потому что он нужен Серпилину — человеку, которому обязан своим возвращением в армию.

— Ничем ты никому не обязан,— сказала она и снова зашептала свое: — Ну зачем, зачем ты согласился? — с таким укором, словно его согласие пойти в адъютанты не совпадало с ее представлениями о нем.

— Как ты не понимаешь,— наконец сказал он,— что я сам не хотел этого?

— Эх ты, христосик! Не хотел, а пошел...

— И ты бы пошла, если б тебе сказали, что ты нужна.

— Не пошла бы,— сердито сказала Таня.

Он был уверен, что пошла бы, но спорить не стал.

— Ты должен уйти, все равно должен.

— Я и уйду. Будет затишье после боев, и уйду.

— А когда это будет?

— Не знаю.

— Вот видишь, ничего ты не знаешь... — на самом деле хорошо поняв его, придралась она к слову. — А ты сделай так, чтобы он сейчас тебя прогнал.

— Что значит прогнал? Холуй я, что ли?

— Все равно хочу, чтоб он тебя прогнал.

— Не прогонит. Раз я делаю и буду делать все, на что способен, не прогонит.

— Неужели он не видит, что это совсем не по тебе?

— Может, и увидел бы в другое время, а сейчас навряд ли. Сейчас ему привыкать вместо меня к другому человеку уже некогда. Знаешь, какая у него работа?

— Я знаю, какая у тебя работа. Принеси, подай...

— Не совсем так,— сдержался он.

— Не совсем, но так. Все-таки так,— горько прошептала она.

И он почувствовал, что нет, она не разуверилась в нем и понимает, что он не мог в такой момент не пойти адъютантом к Серпилину, не к кому-то вообще, а именно к Серпилину. Но она не может пересилить себя — сердится, потому что боится унижений для него.

Кто знает, может, они все-таки поссорились бы из-за этого адъютантства, потому что она наговорила ему много жестоких глупостей. Но она шептала их, продолжая прижиматься щекой к его груди. Если бы отодвинулись друг от друга, может, и поссорились бы. А так — не могли. Она ссорилась с ним, а ее прижатое к нему тело говорило, что оно не сможет и не захочет быть без него.

В том, как она упрекала и уговаривала его, было какое-то странное ожесточение, словно она уже никогда потом не сумеет убедить его в том, в чем не успеет убедить сегодня.

Он подумал об этом мельком, потому что нелепо было думать об этом. Но все-таки подумал...

И вдруг она замолчала, как будто вспомнила что-то другое, гораздо более важное.

Замолчала и сказала уже не прежним быстрым шепотом, а тихо и спокойно:

— Ах, в конце концов твое дело. Кем хочешь, тем и будь. В общем-то все равно.

— Почему все равно?

— Да так, все равно,— повторила она.

Его удивило, что она вдруг потеряла всякий интерес к тому, из-за чего только что так сердилась. Но что она замолчала, был доволен, потому что разговор бессмысленный: что бы она ни говорила, он не мог переменить своего решения. В этом и состояла его правота перед ней. Ей казалось, что его может унизить кто-то другой, а для него самым главным унижением была бы собственная неспособность сдержать свое слово.

А потом Таня, в первый раз за все время оторвавшись от него, лежа на спине и закинув за голову руки, вдруг сказала:

— А я там, когда была без сил, в госпитале, думала, что после всех моих страданий мне уже никогда ничего не захочется и ни с кем не будет хорошо.

— Что значит «ни с кем»? — невольно спросил он. Не в самой фразе, а в том, как она произнесла ее, было что-то заставившее его спросить.

— Ни с кем,— повторила она.— Ни с тобой, ни с кем! Если б ты ушел от меня, а мне бы пришлось быть с кем-то другим... Ни с кем не было бы хорошо.

— Почему у тебя мысли об этом?

Она долго молчала.

— Не знаю.

Он чувствовал, что она сказала неправду. Просто чтобы что-то ответить. Потом помолчала и сказала, словно продолжая давно, молча, внутри себя начатый рассказ:

— И Кольку моего убили.

Это показалось ему странным: она никогда раньше не называла так при нем своего бывшего мужа...

— Зимой под Корсунь-Шевченковским... Вот так и всегда медиков убивают. Когда немцы прорываются из окружения, тогда чаще всего и убивают. Выходят из окружения, на наши госпиталя напарываются — и убивают...

— Кто тебе о нем сказал?

— Моя мама сказала. А ей его жена сказала... И старый парторг умер, который меня тогда, в сорок третьем, на заводе встречал. Тоже мама сказала, уже когда я поправлялась. Даже поплакали о нем с мамой — хороший был человек!

Она сказала «старый парторг», как и раньше, не называя его по фамилии. И Синцов так и не узнал, что в Ташкенте, на заводе, где в литейке работала мать Тани, прямо там же, на территории, в заводском околотке, умер Малинин — человек, сделавший для него когда-то больше всех остальных людей...

Таня сказала про парторга «поплакали о нем с мамой» так, словно она часто плакала, словно это самое обыкновенное для нее дело — плакать.

И Синцов подумал, что это, наверное, совсем разные для нее слезы: те слезы, про которые она вспомнила,— женские слезы, их женщины между собой за слезы не считают; а слезы при нем, при мужчине, это другие — редкие, тяжелые слезы...

Синцов стал расспрашивать, как все с ней было, из-за чего получились преждевременные роды и как все вышло потом. Но она, видно, так перемучилась со всем этим, что сейчас говорила нехотя. Словно один раз уже все рассказывала ему, а теперь приходилось повторять.

И врачей, и медсестер, и санитарок в роддоме — всех подряд хвалила, хотела подчеркнуть, что никто во всем, что с ней случилось, не виноват, кроме нее самой. Даже про пассажиров в поезде, когда ехала беременная туда, в Ташкент, не забыла сказать, что заботились о ней и за кипятком бегали, не выпускали из вагона, чтоб не поскользнулась и не упала.

А о себе самой сказала сердито, словно о ком-то другом, к кому давно приглядывалась:

— Бывают же такие несчастные, нелепые женщины... Ничего-то у них не выходит, ничего-то не получается, все не как у людей...

Потом сказала про девочку, вдруг сама — он не спрашивал, боялся спросить — сказала, что девочка была не такая уж маленькая, хотя и недоношенная.

— Хорошая девочка. Чистенькая. Когда приносили, показалась здоровенькой. Поэтому и поверила им, что живая, когда потом сказали, что не приносят из-за инфекции. — И горестно заключила: — Никто ни в чем не виноват. Я одна виновата. Дохлая, не смогла тебе родить. Она из-за меня не выжила. Из-за того, что я дохлая такая.

Синцов, придвинувшись к ней, целовал ее руки, лицо и голову. Целовал нежно и долго, стараясь дать ей почувствовать всю свою любовь к ней, заставить понять, насколько он ее любит.

А она лежала неподвижная и печальная. Лежала и молчала. Потом сорвалась с места и изо всей силы прижалась к нему сама. И не хотела отрываться, хотела, чтобы он был с ней. И даже говорила шепотом такие вещи, которых раньше никогда не говорила. Потом снова, как прошлый раз, положив голову ему на грудь, стала рассказывать, как, явившись после возвращения к начальнику медико-санитарной службы, почувствовала себя виноватой, что на три месяца уезжала с фронта.

— А для чего уезжала? Ни для чего! Просто так. А там, в тылу, знаешь, как тяжело живут... Даже говорить не хочется. И перед ними стыдно, что приезжала. И здесь стыдно, когда ни с чем вернулась. Попросила у начмеда, чтобы он меня в полк послал.

— Со мной бы до этого поговорила!

— А что с тобой говорить? Ты же со мной не говорил? А мне было стыдно, хотелось как-то загладить. Все-таки там, считается, тяжелей. Хотя у нас тоже много работы. Работать везде одинаково, а... — Она не договорила, но он понял: речь шла не о тяжести работы, а об опасности.

— Ну и что он? — спросил Синцов про начмеда, вспомнив этого хмурого, бровастого генерал-майора, приезжавшего только вчера к Серпилину с докладом.

— Выгнал. Сказал: «Работай, где работала, а будешь трепыхаться, рапорта подавать — я тебя в чистую упеку. Назначу комиссию и признаю ограниченно годной». Вынул из гимнастерки зеркальце и сунул мне в нос: «Погляди, на кого похожа». А мне как раз казалось, что я неплохо выгляжу.

Синцов услышал, как она усмехнулась, дрогнула щекой у него на груди.

— Разве я плохо выгляжу?

— Нет,— сказал он. — Хотел даже сказать тебе, что хорошо.

— А чего же не сказал?

— Побоялся.

— Ну и глупый,— счастливо сказала она. — Я так рада, что сегодня хорошо выгляжу. Я это сразу поняла, когда свечку зажгла, а ты стоял и смотрел на меня. Но все равно хотела от тебя это услышать. Я тебе записку написала такую спокойную, потому что конверта не было, так просто сложила вчетверо. Я, конечно, не думала, что Росляков может ее прочесть, а все-таки неловко, когда незапечатанная. Понял, да?

— Конечно. — Синцов вспомнил завезшего ему записку заместителя начальника медслужбы армии, горбоносого, щеголеватого подполковника Рослякова. — Он никогда не пробовал за тобой ухаживать?

— Только раз,— сказала Таня. — Когда тебя еще не было. А потом понял и переключился. Он хороший, у него только вид такой — бабника.

Но Синцов думал сейчас не о том, хороший или нехороший человек Росляков и какой у него вид, а о ее словах «когда тебя еще не было». В самом деле, было время, когда его еще не было! Смотря что считать этим временем?

Он рассказал ей, как Серпилин во время поездки в войска вспоминал про нее и про то, как они тогда, в сорок первом, все вместе переходили вброд Проню.

— Сказал, что, если у тебя со здоровьем будет плохо, надо полегче должность подыскать.

— Ничего мне от него не надо,— ожесточенно сказала Таня. — И ни от него, и ни от кого. Три месяца проболталась в тылу в свое удовольствие, а теперь мне еще должность будут полегче подыскивать!

— Зачем так говоришь о себе?

— Затем говорю, что так и есть. Три месяца в том отпуску пробыла, который на войне никому не положен.

— Как будто от тебя зависело... Что ты себя мучаешь? Ведь если бы...

Но она не дала ему договорить:

— Что «если бы»? Если бы по-другому — не здесь бы я сейчас была и не тебя бы нянчила. — Она сказала это почти враждебно к нему, а в то же время тихонько притянула его голову к своей груди. Снова оторвавшись от него, она полусидела, прислонясь к стене, приткнув за спину подушку. — Вскакивала бы сей-

час кормить. У меня знаешь сколько молока было? Когда не надо, так оно бывает!

И он вспомнил, как она, уезжая, говорила ему с тревогой: «А вдруг у меня молока не будет? Единственное, чего боюсь».

— Бабой была бы, с ребенком бы по ночам сидела, а не майора, подругу прогнав, принимала,— сказала она, не отпуская его голову.

— Чего ты плетешь?

— Конечно, плету. Потому что к одному себя приготовила, а другое вышло. Вот и бросаюсь сама на себя. И на тебя тоже, как дура какая-нибудь. Как будто ты в чем-то виноват!

— Никто ни в чем не виноват.

— Конечно, никто ни в чем не виноват. Так легче всего думать,— сказала она таким далеким и отчужденным голосом, словно в эту минуту вспомнила что-то совсем другое, чем все то, о чем они говорили.

И он тоже, может быть из-за этого ее вдруг отчужденного голоса, подумал о другом.

— Когда с Павлом виделся перед своей поездкой в Москву, смотрели с ним по карте. Не исключено, что наша армия прямо на Гродно выйдет...

— А я почему-то чем дальше, тем все больше верю, что ты ее найдешь,— сказала Таня про дочь Синцова с какой-то даже чрезмерной горячностью, словно должна была убедить его, что правда верит в это. — Найдешь! Ничего с ней не случилось.

Он заговорил о своей дочери, потому что не боялся этой темы. В последний раз они говорили об этом с Таней незадолго перед ее отъездом. «Не бойся, что я теперь сама рожу,— шутила она тогда. — Ты меня не знаешь. Меня на всех вас троих хватит. И накормлю, и обошью, и на службу не опоздаю!»

Но сейчас, заговорив о дочери, он и сам был не рад, потому что Таня никак не могла остановиться, для чего-то все повторяла и повторяла свое: найдешь, найдешь! Как будто это ее уже не касалось, а касалось только его. Как будто это он найдет, а она теперь тут ни при чем. Как будто, когда она раньше сама говорила про его дочь, надеясь, что у нее будет от него вторая, своя, это было одно, а теперь совсем другое.

— Не найдешь, а найдем. Если найдем,— сказал он.

Она ничего не ответила.

— Наверно, я зря заговорил с тобой про это,— сказал он.

— Наверно,— как эхо, отозвалась она и снова замолчала.

Он знал за ней это упрямое молчание, когда она вдруг вот так останавливалась. Это значило, что она может молчать сколь-

ко угодно. Нужных слов, чтобы ответить, не находит, а ненужными отвечать не хочет.

Так и молчали. Пока Таня не спросила:

— У Нади там, в Москве, был?

— Был.

— Как у них сейчас с Павлом?

— Не знаю. — Он уклонился от разговора. — Меня встретила хорошо. Накормила и даже ночевать оставляла.

— Почему ж не остался?

— В комендатуру пошел, у меня уже там койка была.

— А ты бы мог с ней? — вдруг непохоже на себя неожиданно грубо спросила Таня.

— При чем тут это?

— Ни при чем. А все-таки мог бы?

— Не приходило в голову,—сказал он, подумав про себя, что, наверно, мог бы, но это действительно не приходило в голову.

И вспомнил, как Надя прищемила пальцы ящиком комода, когда хотела достать белье для их девочки, а он сказал: «Не надо, как бы беды не накликать!»

То, что спросила Таня, было так непохоже на нее, что он ждал продолжения. Но она не продолжала. Помолчала и, следуя какому-то своему ходу мыслей, словно пропустив несколько вопросов и ответов, спросила:

— А мне ты веришь?

Верит ли он ей? На нее можно было злиться или не понимать, почему она делает так, а не иначе, но не верить ей было нельзя. Было в ней что-то исключавшее эту возможность. Да у них как-то и не было таких разговоров: верю, не верю! До сих пор, по крайней мере.

— Требуется ответ? — сердито спросил он. — Или обойдешься тем, что промолчу?

— Обойдусь.

— И на том спасибо.

— Только ты не сердись на меня,— виновато попросила она.

Но, даже услышав этот тихий, виноватый голос, он все равно сердился на нее, не понимая, что с ней; хотел спросить, но удерживал себя. Потому что, наверно, нельзя спрашивать женщину, с которой ты впервые вместе после того, как она потеряла ребенка, почему она какая-то не такая, какая была раньше.

— Не сердись на меня, хорошо? Поспи немножечко,— говорила она все так же виновато и тихо. — Тебе так удобно? — Она снова подоткнула за спиной подушку и подвинула у себя на груди его голову.

В окно сквозь мешковину пробивался пасмурный утренний свет. Было уже половина шестого, но по свету чувствовалось, что на улице нет солнца.

Синцов дремал, подложив левую руку с изувеченной кистью под Танину спину, обняв ее за плечи другой, здоровой рукой и приткнувшись головой к ее груди. А она полусидела-полулежала, не шевелясь, одной рукой придерживая у себя на груди его тяжело лежавшую голову.

Она не заметила, как он проснулся, и Синцов успел увидеть ее смотревшие в стену глаза, остановившиеся и несчастные.

Вышло так, словно он подглядел что-то такое, чего не имел права подглядывать, что-то такое, чего она еще не хотела или не могла разделить с ним. И он снова, закрыв глаза, притворился, что только еще начинает просыпаться.

Она почувствовала, как он пошевелился. Отпустив его голову и соскользнув вниз, тесно прижалась к нему всем телом, торопя его скорее проснуться и именно в эту минуту с ужасом понимая, что все это будет в последний раз.

«Как мужик,— прижимаясь к нему, с грубостью отчаяния подумала она о себе. — Досплю с ним последнюю ночь до конца — и все. И сама уйду от него».

Синцов вдруг спросонья, увидев ее глаза, верно почувствовал, что она не готова разделить с ним всю меру своего несчастья. Но он подумал о том, о чем только и мог подумать,— о несчастье с ребенком. А несчастье, случившееся с ней, было совсем другое и такое огромное, что оно как бы погребло внутри себя все остальное.

Несчастье с ребенком, о котором знали оба, они когда-нибудь могли вместе исправить или вместе забыть.

А о том, другом несчастье знала только она, и оно было только ее несчастьем, а не его. Для него это, наоборот, даже могло оказаться счастьем. А для нее, для того, чтобы это несчастье перестало существовать в ее жизни, должен был перестать существовать другой человек, ни в чем перед ней не виноватый. И в этом состоял весь ужас ее положения.

Несчастье началось с удачи. Она добиралась до своей армии через тыл фронта и в той деревне, где стояло медико-санитарное управление фронта, прямо на улице встретила бывшего командира своей партизанской бригады Каширина. Уже выяснив, что утром в их армию пойдет грузовая машина с перевязочными материалами и можно будет на нее подсесть, шла пристраиваться на ночлег и на деревенской улице нос к носу столкнулась с Кашириным — покруглевшим, веселым, теперь уже не бородатым, как в партизанской бригаде, и не бритым, как в последнюю их

встречу в Москве, а с лихими черными подкрученными усами. И еще с двумя орденами на гимнастерке, полученными за то время, что они не виделись.

Каширин, несмотря на то что шел не один, а еще с какими-то командирами и был одет в свою полковничью форму, увидев Таню, сначала вскрикнул от удивления, а потом обнял, расцеловал и, крутанув вокруг себя в воздухе, поставил обратно на землю. Такой уж он был человек. Таким, значит, и остался. Поставил на землю и стал спрашивать, какими она тут судьбами. Таня рассказала, какими судьбами. Сказала все, как было, потому что Каширин — из тех людей, которым надо говорить все. Он ненадолго пригорюнился, даже сдвинул фуражку на лоб и огорченно почесал в затылке, но почти тут же улыбнулся и сказал, что ничего, как только войну закончим, у всех все само собой получится! Сказал с такой уверенностью, что и Таня невольно улыбнулась. И впервые после всего, что с ней случилось, подумала: если война кончится и они с Синцовым останутся живы-здоровы, то она рискнет еще раз.

Узнав, куда направляется Таня, Каширин забрал у нее чемодан — она шла с чемоданом,— повел ее к своей стоявшей за домами «эмке» и сказал, чтоб ждала его в машине: сейчас он сходит, обговорит с медиками то дело, из-за которого сюда приехал, а через полчаса повезет ее в соседнюю деревню, к ним в штаб партизанского движения, и уже оттуда, утром, отправит ее в армию.

У Каширина всегда все выходило хорошо и просто, и притом так, что, казалось, иначе и быть не могло. Вернулся он от медиков не через полчаса, а через десять минут и Таню, сидевшую впереди с шофером, так и оставил там: «Сиди, чтоб тебя поменьше трясло после всего этого». И водителю сразу же приказал, чтобы на случай, если другие машины не пойдут, завтра в восемь был наготове, отвезти капитана медицинской службы. А приехав на место, подняв палец, как учитель в школе, спросил:

— Как мы с тобой ужинать будем, с водкой или без?

И когда она сказала «без», согласился:

— Тогда и я без. Передохну от нее, проклятой.

Вызвав пожилую симпатичную женщину, машинистку Надежду Фроловну, и познакомив с Таней, попросил:

— Лично к себе ее заберите переночевать, чтоб лишних разговоров не было!

Но, несмотря на то что не хотел лишних разговоров, все же поужинал с Таней вдвоем в своей хате, потому что радовался встрече с ней и хотел поговорить с ней именно с глазу на глаз.

И хотя за ужином вспомнил о невеселом — о гибели нескольких товарищей, которых они оба знали,— даже эти воспоми-

нания смягчила его знакомая Тане привычка говорить обо всем тяжелом как о давно прошедшем, а о будущем как о чем-то таком, где уже не будет ничего тяжелого. Он говорил о будущем так, словно, чтобы кончить войну, осталось только собраться с духом и проскочить под обстрелом еще один кусок дороги, а там все! И хотя Таня знала, что это не так и что сам Каширин лучше ее понимает это, но его привычка веселого и сильного человека весело и бесстрашно смотреть в будущее увлекла ее.

Все было хорошо до той минуты, когда Каширин вдруг наморщил лоб и, вспомнив, улыбнулся:

— Каких чудес с людьми не бывает! Веронику помнишь? — И, увидев неподвижное лицо Тани, подумав, что она не вспомнила, повторил: — Ну, Вероничка наша, твоя подружка, вместо которой ты потом в Смоленск на явку пошла. Помнишь?

— Конечно, помню,— все с тем же, остановившимся выражением лица сказала Таня.

— Так она, вполне возможно, живая. Еще прошлой осенью, когда Смоленск освободили, разбираясь там с людьми и документами, заимел такие сведения. Одна женщина после освобождения Смоленска сообщила, что видела ее живую.

«Живую!» — чуть не вскрикнула Таня. Но не вскрикнула, наоборот, промолчала.

— А потом проверили, оказалось, действительно подменили ее документы,— объяснил Каширин. — В партию, которая тогда под расстрел пошла, включили по ее документу умершую в ту же ночь в тюрьме девушку. А ее под документом этой умершей воткнули в ту партию, которую в Германию угоняли. Женщина, которая мне рассказывала это, видела ее, уже когда их в телячьем вагоне везли на Варшаву... Вот какие дела! Думали с тобой: расстреляна,— а она, вполне возможно, живая! Окончательно узнаем, когда в Германию войдем, навряд ли раньше. Они тех, кого на работу к себе угнали, даже в Восточной Пруссии, в пограничной полосе, теперь не держат — дальше на запад отсылают. Работает там, вполне возможно, как и другие, на производстве или арбайтерин — батрачит у какого-нибудь помещика ихнего. Жизнь, конечно... — Каширин вздохнул. — Но все же не мертвая, а живая...

Он посмотрел на Таню и увидел ее белое, без кровинки, лицо. В Тане все дрожало от усилия взять себя в руки. Однако Каширин этого не понял; ему показалось, она сдерживается, чтобы не заплакать.

— Чего ты? Реветь, что ли, собралась? Чего ради? Человек-то, скорей всего, живой. Не реветь, а радоваться надо.

— Я радуюсь,— продолжая дрожать всем телом, сказала Таня и, поднявшись из-за стола, сцепив руки, несколько раз прошлась взад и вперед по комнате и только после этого села, держа теперь сцепленные руки перед собой, на столе. — Иван Иванович, это я сообщила ее мужу, что она погибла. — Таня глядела в глаза Каширину, не сознавая, что, в сущности, еще ничего не сказала.

— Ну и что ж тут такого? — пожал плечами Каширин. — Мало ли мы людей за войну сперва схоронили, а потом обратно оживили. Хуже, когда наоборот: считаем, еще живой, а он уже мертвый. А что же ты еще могла ему сообщить? Сообщила, что знала. Допустим, даже если он, считая себя холостым, нашел себе кого-то за это время, когда с живой женой наново встретятся, все, что было, спишется! Уже имеем такие случаи.

Он говорил все эти слова, лишние, ненужные, не имевшие никакого значения; говорил о каких-то людях, которые встретятся или не встретятся, с которыми что-то может, а чего-то не может быть, а Таня в ужасе сидела напротив него и ждала, когда он замолчит. Ей даже не хотелось прерывать его, потому что и это — будет ли он говорить дальше или остановится и замолчит — тоже не имело теперь для нее значения.

— Я за него замуж вышла,— сказала Таня, когда Каширин замолчал.

— За мужа ее? — остолбенело сказал Каширин.

— Да! За мужа ее.

— Положение... — сказал Каширин и долго молчал. Потом спросил о муже, кто он и где находится.

Таня объяснила. Сказала, что муж работает в оперативном отделе их армии. О том, что Синцов перешел адъютантом к Серпилину, она тогда еще не знала.

Каширин молчал, обдумывая, что ей теперь посоветовать, и, обдумав, стал убеждать, что она до конца войны ничего не должна говорить обо всем этом своему мужу.

— Не знаю, какой он у тебя,— сказал Каширин,— но какой бы ни был — не надо! Только свою жизнь с ним разрушишь. И возможно, зря. Говорим про нее: живая. А кто за это может поручиться? Тем более угнанная в Германию. Сколько из них живыми вернется, этого никто не знает. — Он подумал и привел еще один довод, показавшийся ему важным: — А если и живая, но за три года жизни там, может, с каким-нибудь нашим же угнанным арбайтером тоже встретилась, не хуже тебя, что тогда?

Таня покачала головой. Не потому, что не верила в возможность этого, а потому, что не хотела искать для себя оправданий.

— Зря головой качаешь! Вполне возможная вещь. Что, у тебя с Дегтярем разве не было тогда?

— Было.

— Ну и у нее так же могло быть, как и у тебя. Что ты, плохая, что ли? Наоборот, хорошая. А бывает же! Не рассказывай. Не порть жизни ни себе, ни человеку, пока, по сути, еще ничего неизвестно.

Таня сидела, все еще онемевшая, и смотрела на него. Разве она думала, когда шла сюда к нему, что ее ждет горе? Да, горе. Когда считали, что человек умер, а он на самом деле жив — разве это горе? Да, горе. Вот такая странная жизнь, что это оказывается вдруг горем. Как это может быть? А вот так и может быть.

— Ты ни в чем не виновата. — Каширин принял ее молчание за согласие с собой. — Допустим, так вышло, что именно ты рассказала ему про нее. Но ты же, как и я, действительно считала тогда, что ее нету. Была в этом больше чем уверена!

Он так и сказал: больше чем уверена. Да, больше чем уверена! И он был больше чем уверен. И ты была больше чем уверена. Только одна разница, что ему, мужчине, говорящему все эти, может, и правильные слова, не встречаться с Синцовым, а тебе, женщине, встречаться. Тебе обнимать его, и ложиться с ним в постель, и быть с ним.

«Больше чем уверена». Ее почему-то особенно терзали эти слова: больше чем уверена. Была больше чем уверена и рассказала ему, как умерла его жена, и он стал тоже больше чем уверен. А теперь, когда он больше чем уверен, надо рассказать ему, что его жена не умерла...

Каширин поднялся расстроенный и сказал, что пойдет к себе в штаб. Таня тоже встала.

— Слушай,— вспомнил он, уже надевая фуражку,— я же, наверно, могу до него дозвониться. Не до него, так до дежурного по оперативному отделу. Дозвонюсь и предупрежу, что ты завтра на месте будешь.

— Не надо,— испугалась Таня. — Не надо,— повторила она так, словно Каширин может все-таки сделать по-своему.

Когда Каширин предложил позвонить Синцову, ей пришло в голову: как только она вернется, пойти к начальнику медслужбы и все объяснить и попросить, чтобы ее сразу же, избавив от встречи с мужем, перевели куда-нибудь в другую армию; написать ему обо всем этом уже оттуда.

Начальник медслужбы, наверно, мог бы это сделать для нее, но она сама, оказывается, не могла!

Вместо этого, когда была у генерала, внезапно для себя попросилась, чтобы ее отправили врачом в полк, в санроту. Вспо-

мнила, как в прошлом году одна женщина-врач из их отдела настояла на этом, и пошла в санроту, и уже через неделю погибла. Лихорадочно подумала в ту минуту: «Вот и меня пусть так убьют, и очень хорошо, и лучше всего!»

Но когда генерал, старый и умный человек, отругал ее и высмеял, она не настаивала на своем, потому что все это была только вспышка отчаяния. А она не любила этого ни в себе, ни в других людях — когда на войне что-то делают или хотят сделать с отчаяния.

Всю эту неделю она и ждала и боялась встречи. То убеждала себя, что скажет ему все сразу — как с моста в воду! То, потеряв решимость, виновато представляла себе, как все будет, если она ничего не скажет. Даже встретив Зинаиду с одеялом через плечо, все еще не знала, как будет. И, только потянувшись и прижавшись к нему в темноте на улице и почувствовав, что не может отказаться от этого, поняла, что сейчас ничего не скажет.

Она дала ему этой ночью почувствовать, как ей хорошо с ним, и старалась доказать, что и ему лучше, чем с нею, никогда и ни с кем не будет.

Да, она думала об этом и хотела, чтобы он это почувствовал, и не удерживалась этой ночью от того, от чего раньше часто удерживалась.

Ей хотелось быть такой, чтобы он был не способен думать о других женщинах. Поэтому она так грубо и спросила его про Надю. Хотела услышать от него, что ни о ком, кроме нее, не думает и не может думать.

Когда он заговорил о Гродно и о своей дочери, она поняла, что уже не может думать о его дочери так, как думала раньше. Не может, потому что хотя сама еще по-прежнему здесь, с ним, но там, за линией фронта, у него теперь не только его дочь, но и его жена. О них можно думать, что они умерли и что они живы, но она должна надеяться, что они живы. Не только эта его девочка, но и мать этой девочки, его жена. Или его н а с т о я щ а я жена, как она беспощадно подумала о самой себе.

«Да, я не виновата. Ни в чем не виновата,— вспоминала она слова Каширина. — Да, если она там не осталась жива, а умерла, я действительно ни в чем не виновата. Ну, что же тогда, мне хотеть ее смерти? Хотеть, чтобы она не спаслась, для того чтобы я была не виновата? А я уже почти хочу этого. Потому что я с ним. И хочу и дальше быть с ним. И только если я заставлю себя не быть с ним, только тогда я, даже в глубине души, не буду хотеть ее смерти. А если я останусь с ним и ничего не скажу ему, то — как это ни ужасно — я все равно не смогу хотеть, чтобы она спаслась. Буду только уговаривать себя, что хочу этого.

Я не должна больше быть с ним. И все это, что было сегодня, все это должно быть в последний раз»,— подумала она, и ей стало безмерно жалко себя и своего тела, которое последний раз прикасалось к нему, которое он в последний раз обнимал, которое будет теперь одно, без него. Если она сделает так, как решила. Так, как она должна сделать.

Она думала о нем, как если бы они этим утром навсегда прощались. Может быть, у нее не хватит на это сил. Но все равно это будет только отсрочка, все равно она не сможет с ним дальше жить, не сказав. И не сможет, сказав. Даже если бы он сам потребовал этого.

«А сможет ли он быть со мной после того, как я скажу ему это?» — подумала она уже не о себе, а о нем.

Ей пришло в голову то, чего никогда не приходило раньше: ведь они сошлись с ним, думая, что той женщины нет на свете; и это совсем другое, чем если бы та женщина была жива, а он все-таки, хотя она была жива, любил бы не ту женщину, а тебя?

Она мысленно с ужасом соединила несоединимое — себя, лежащую с ним здесь, в постели, и ту женщину, т а м, в Германии, которая среди т о й жизни, может быть, только и существует силою веры в свое будущее. И даже мысленно лишить ее этой веры — все равно что убить. Одно оправдание, что она ничего не знает. Но достаточное ли?

Она ужаснулась себе и тому, что все-таки встретилась с ним и легла с ним в эту постель, так ничего и не сказав ему. Но в следующую секунду с такой же силой пожалела себя, с какой только что осудила.

«Что ж, мне нельзя было даже и этого, даже в последний раз? Почему мне нельзя? Что, кому плохого я этим сделала?» — с какой-то почти предсмертной тоской подумала она о себе как раз в ту минуту, когда Синцов проснулся и увидел ее несчастное лицо.

Утро было тихое и серенькое. Таня вышла вместе с Синцовым через ту же комнату, через которую он проходил ночью, только сначала выглянула и сказала кому-то: «Накройся». Нары, стоявшие в этой комнате, были пустые, все уже встали и ушли. Только в углу Синцов мельком увидел высунувшееся из-под одеяла женское лицо.

— Пришла с дежурства и спала бы,— оглянувшись, сказала Таня. — Сказали тебе, а ты даже с головой не могла накрыться.

Сказала не сердито, а спокойно, с усмешкой и, когда вышли с Синцовым на улицу, продолжая улыбаться, добавила:

— Вот так и на войне все равно бабами остаемся.

Машина, с которой ей надо было ехать, уходила в семь часов. Они вышли раньше, и она предложила проводить Синцова до его «виллиса». А если «виллиса» еще нет, все равно там и проститься, пусть он останется и подождет. А она пойдет.

— Много тебе ездить сегодня? — спросил Синцов.

— Много. В нескольких точках будем. Сейчас каждый день так.

Шла с ним по деревенской улице, нисколько не таясь, и даже взяла его под руку, спросив при этом:

— Больше ни разу не ушибал?

Как раз незадолго до ее отъезда, в марте, он, попав на передовой под обстрел, выскакивая из машины, зашиб свою изуродованную кисть о стойку...

— Не ушибал. Вообще никаких происшествий не было. Только с одного фронта на другой переехали.

— Я, когда мне мама в госпиталь твое письмо принесла, сразу поняла, что вы переехали. Прочла, что теперь живешь там, где с тобой познакомились, и все поняла. Только не представляла себе, что это действительно так близко.

Она говорила все это, слегка улыбаясь. Была какая-то притихшая и спокойная. Даже странно, до чего спокойная.

Ночью Синцову несколько раз казалось, что все-таки с ней произошло что-то, чего он не знает. Сейчас, утром, глядя на ее спокойное лицо, он не думал этого. Думал, что она просто ужасно устала, и мысленно выругал себя. Даже пусть она всего этого сама хотела, он должен был помнить, что она недавно из больницы. Как-то нужно было ее хоть немножко, сколько можно, поберечь! Но говорить об этом сейчас было бы глупо, и он не сказал, только крепче прижал локтем ее руку.

— Так рад, что ты снова здесь!

— И я рада. — Она вытащила свою руку у него из-под локтя, откозыряла шедшему навстречу военврачу и снова взяла его под руку. — Пока была в больнице, отвыкла козырять. А теперь каждый день езжу, козыряю, козыряю... Хоть бы война кончилась. А хотя, может, и война кончится, а меня в кадрах оставят...

— Кончится — разберемся. — Синцов подумал не о том времени, когда кончится война, а о том все приближающемся дне, когда она, наоборот, со всею силой снова начнется у них на фронте.

— Оставят в кадрах — опять козырять буду,— так, словно не слышала его, сказала она, занятая собственными мыслями о своей отдельной от него судьбе.

Когда они вышли за шлагбаум, «виллис» уже стоял на опушке под деревьями. Синцов еще издали увидел его.

— Еще несколько шагов пройдем. — Таня оглянулась на стоявшего у шлагбаума солдата.

Они прошли еще несколько шагов.

— А теперь остановимся.

Так уж у них сложилось за время их жизни на фронте: когда она бывала у него, он распоряжался, решал, докуда ее проводить и где с ней проститься, а когда он бывал у нее, решала она. Так было и сейчас.

— До свидания, Ваня! — Она вздохнула и закинула ему за шею руки.

Он наклонился и крепко поцеловал ее в губы. Но она оторвалась, отвела губы, словно почему-то не хотела сейчас этого, и несколько раз поцеловала его в глаза неторопливыми, легкими поцелуями.

Он не стал говорить ей, когда они встретятся. Было и так ясно, что до начала наступления уже не встретятся. И в начале наступления — тоже. Не встретятся, пока не будет остановки. Если вдруг встретятся раньше этого, значит, повезло. Но они уже привыкли не говорить заранее о том, что будет, если им вдруг повезет.

«Плохо себя чувствует»,— подумал он, увидев у Тани на чуть подрагивавшей губе усталые капельки пота.

— Что ты? — спросил он. Ее глаза показались ему необычно печальными.

Прежде, когда он задавал какой-нибудь зряшный, как ей казалось, вопрос, она отвечала ему, улыбаясь: «Сам дурак». Но сейчас не улыбнулась и, так ничего и не ответив, осталась стоять и смотреть ему вслед, пока он шел к «виллису».

Он сел рядом с водителем и, когда развернулись, помахал ей рукой. Потом еще раз помахал, уже на повороте. А она стояла все так же неподвижно. Стояла и ждала, когда он уедет.

Он подавил в себе чувство тревоги и еще раз подумал о ней, что это все просто от усталости, да и нервы у нее после всего пережитого — на живую нитку. Достаточно вспомнить, как набросилась на него за то, что пошел в адъютанты. Конечно, не о себе при этом думала, а о нем. Расстроилась, что ему, наверно, нелегко привыкать к этой должности. И правильно догадалась. Работая адъютантом у Серпилина, только поспевай слушать, записывать, передавать, уточнять, наносить на карты и при этом еще держать наготове в памяти не одно, так другое. А к ночи такое чувство, словно весь день, восемнадцать часов подряд, шел в затылок начальству, никогда не зная заранее, сколько шагов оно сделает и через сколько остановится, где поспешит и где задержится, где встанет, где сядет, где опять пойдет. Все-таки

плохая это должность, даже при хорошем человеке! Будешь относиться к ней по совести, как к исполнению своего долга на войне, значит, никогда и ни в чем не будешь самому себе принадлежать. А будешь относиться к ней как нерадивый раб, выйдет, что ты и есть раб при начальстве, а не солдат на войне.

Вспомнив, как рассердилась на него Таня, Синцов подумал, что им все-таки надо понять друг друга. Надо объяснить ей, что рад или не рад, но презирать себя за то, что пошел на эту должность, не можешь. И не искал себе легкого хлеба, и не нашел.

Направо в лес уходили колеи машин, виднелись следы гусениц. Вдоль дороги лежали вялые ветки — свалившаяся на обочину маскировка проходивших здесь ночью танков. А может быть, реактивных установок. И еще колеи в лес, и еще. Указка направо — в чье-то хозяйство, потом указка налево — в чье-то другое. И вдали шлагбаум, где надо будет предъявлять пропуск. Дальше без пропуска днем не проедешь.

Было последнее утро растянувшегося на два месяца затишья...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

До начала Белорусской операции оставались считанные часы.

Три фронта должны были начать ее завтра утром, 23 июня, а четвертый — сутками позже.

Наступление начиналось в третью годовщину войны именно там, где немцы три года назад нанесли нам самое жестокое поражение. Немецкая группа армий «Центр», которая когда-то доходила почти до самой Москвы, теперь стояла перед нами на прямой дороге к Берлину, и это чувствовали не только мы, но и немцы.

Из допросов пленных стало известно, что за немецкой оборонительной линией в Белоруссии утвердилось название «Фатерлянд» — родина! Официальным или солдатским было это название, в конце концов, не имело значения, так или иначе оно говорило о самоощущении немцев, что Берлин у них за спиной.

По-особому воспринималось предстоящее наступление и нами самими. Почти все географические пункты, упоминавшиеся при планировании операции, были связаны с войной двенадцатого года, с движением Наполеона к Москве и гибелью его великой армии. Планировавшие операцию генералы и офицеры были не склонны к символике, но именно об этом напоминали им названия городов и рек: Витебск, Могилев, Борисов, Минск, Гродно, Днепр, Друть, Березина, Неман...

И не плодом ли этих воспоминаний было то известное строго ограниченному кругу лиц кодовое название предстоящей операции «Багратион», которое еще весной, месяц назад, дал ей Сталин?

Те из участников операции «Багратион», кто дожил до конца войны, потом смогли прочесть сочинения немецких историков, назвавших случившееся крахом немецкой армии, по своим масштабам и последствиям превзошедшим даже катастрофу под Сталинградом.

Однако тогда, в июне 1944 года, всего этого еще не было написано ни в немецких, ни в наших военных историях. Разгром немецкой группы армий «Центр» в лесах Белоруссии существовал только в замысле; и на всех четырех готовившихся к наступлению фронтах, на всех ступенях командования предпринималось множество разнообразных усилий, чтобы как можно дольше оставить немцев в заблуждении относительно времени, места и направления наших будущих ударов.

К операции «Багратион» готовилось без малого полтора миллиона человек, больше тридцати тысяч артиллерийских стволов, шесть тысяч самолетов, пять тысяч танков и самоходных орудий. Полностью скрыть приготовления такого масштаба невозможно. Оставалось создать у немцев ложное впечатление, что хотя подготовка идет повсюду, но главный удар, с которого начнется наше большое летнее наступление, будет нанесен все-таки не здесь, в Белоруссии, а южнее — на Украине.

Для этого был разработан план дезинформации огромных масштабов, включавший в себя и ложные переброски войск, и их ложное сосредоточение на юге. Это соединялось со строжайшей маскировкой всех видов, радиомолчанием и радиодезинформацией. Исчезнувшая еще зимой армия, которую немцы давно разыскивали, числя ее в резерве Ставки, вдруг «неосторожно» давала засечь по радио свою переброску на юг, именно на то направление, где немцы считали вполне логичным ждать ее ввода в бой. Хотя на самом деле эта армия была давно расформирована и существовала лишь как набор радиосигналов. А реально существовавшие танковые корпуса, направлявшиеся на север, были переименованы в стрелковые; их командирам временно дали другие фамилии; на документах ставились другие, временные, печати; танки перевозились на платформах, замаскированных под вагоны, и даже в местах прибытия танкисты носили общевойсковые погоны и временно становились на довольствие, числясь как стрелковые части.

А когда в результате всего этого у немцев стало складываться впечатление, что наш главный удар будет наноситься не в Белоруссии, а южнее, и они заблаговременно стали смещать часть

своих резервов с севера к югу, партизанам было дано указание на время ослабить действия на рокадных дорогах, по которым шли переброски немецких войск. Удар по этим дорогам — начало большой «рельсовой войны» — был приурочен к тому моменту, когда начнется операция «Багратион» и немцам понадобится срочно перебрасывать свои резервы обратно с юга на север.

Конечно, считать, что мы в каждом случае введем в заблуждение немцев, было бы неосмотрительно. Но вся эта кропотливая работа обмана велась долго и неотступно; она была одной из тех предпосылок победы, которыми нельзя пренебречь, готовя наступление.

Неотступность в требованиях — уже заранее всем, чем возможно, обеспечить успех — была не только результатом выросшего за три года войны умения воевать, но и свидетельством острой потребности сделать как можно больше действительно малой кровью.

Страна вступала в четвертый год войны в сознании близости окончательной победы, но каждое новое усилие стоило ей великого труда. А значит, напрасных усилий не имело права быть. Ни напрасных, ни непродуманных. Они были бы преступлением перед этой страной, которая своими усталыми от войны, натруженными руками делала там, в тылу, в четыре раза больше танков и в шесть раз больше самолетов, чем три года назад. И в той непреклонной тщательности, с которой готовилось наступление в Белоруссии, участвовало сознание всего этого. Оно существовало и в обществе и в армии и в чем-то самом главном определяло собой поведение людей и на фронте и в тылу.

Сама смертельная опасность заставляет всякого воюющего человека всегда хотеть, чтобы он был как можно лучше вооружен и защищен. На третьем году войны человек на фронте все больше отвыкал думать о том, о чем так мучительно думал в начале; теперь у него уже не было чувства, что ему недодано против немца. Ему и додали все, чего не хватало раньше, и дали многое из того, чего теперь, наоборот, не хватало у немца.

Конечно, даже при неоспоримом превосходстве в качестве и количестве оружия не всякий бой оказывается удачным для того, кто обладает этим превосходством,— так бывало раньше с немцами, бывало теперь и с нами. Да и опасность, что могут убить, все равно остается для каждого, кто по-прежнему находится под огнем. Но все же общее чувство, что теперь мы живем в таком военном достатке, о каком и не мечтали в сорок первом году, намного облегчало жизнь людей на войне.

Понятие «умеем воевать» — о всех нас, вместе взятых,— или понятие «умеет» — о ком-то, взятом отдельно,— в ходе войны ста-

ли связываться со все более высокими требованиями и к себе и к другим людям. И хотя готовность к самопожертвованию оставалась на прежней высоте, рядом с ней возросло и понятие цены человеческой жизни. А с возрастанием этого понятия военные люди разных рангов стали много строже, чем раньше, относиться к вопросу об оправданности или неоправданности тех непрерывных смертей, которые все вкупе носят на войне название потерь. И эта возросшая строгость к себе сейчас, в канун операции «Багратион», тоже была составной частью того общего духа войска, о котором когда-то писал Толстой.

Хотя армия Серпилина была всего лишь одной из двух десятков общевойсковых армий, которым предстояло принять участие в огромном белорусском наступлении, в ней насчитывалось ни мало ни много — сто тысяч человек. А если точней, то со всеми приданными частями, по списочному составу на вчерашний день, 98 992 человека.

«Три наших Рязани»,— с усмешкой подумал Серпилин вчера, вспомнив свою молодость, когда начиналась не эта, а еще та, первая мировая война. Рязань была еще губернским городом с тридцатью пятью тысячами жителей, а он кончал в ней фельдшерскую школу.

В полосе армии было сосредоточено около трех тысяч орудий и минометов, триста танков и самоходок, и почти все это было нацелено на тот узкий четырнадцатикилометровый участок прорыва, где предстояло решаться делу. По двести орудий и минометов на каждый километр. По стволу на каждые пять метров. И по пятьдесят метров на каждый танк или самоходку, если бы роздали эти танки и самоходки всем поровну, чего, конечно, делать не будем.

Танки будут главным образом поддерживать пехоту; исключение составит одна бригада, которую намечено уже после форсирования Днепра включить в подвижную группу и резануть ею в обход Могилева. А более крупных танковых сил Ставка не дала ни твоей армии, ни фронту. Видимо, на главных направлениях будут действовать соседние фронты — справа и слева. Им и даны мехкорпуса, а возможно, танковые армии. Этого тебе, командарму, знать не положено, но предполагать не возбраняется; и по нынешнему времени было бы странно не предполагать: теперь без танков на главных направлениях не воюют.

А вообще-то все это, как говорится, вольные мысли при взгляде на большую карту. Как бы ни планировалось все в целом, а здесь, на вашем фронте, главный удар доверено наносить тебе и

с самого возвращения в армию ни о чем другом думать некогда. Поставлена задача на пятый день операции освободить Могилев. А чтобы освободить, надо еще до него дойти, а по дороге четыре реки одна за другой, и каждую надо форсировать, и каждая кусается — поймы заболочены!

Можно, конечно, догадаться, что твоя задача здесь, в центре немецкой обороны, не только взять Могилев, но и привлечь на себя как можно больше сил противника, пока там, севернее и южнее, взломав оборону, другие фронты рванут вглубь, навстречу друг другу, и замкнут клещи где-то под Минском. И это не праздные размышления для командарма: когда предвидишь общий размах событий, сильней чувствуешь ответственность за то, что выпало на твою долю. И все же лишнего времени на эти мысли нет. И не от чего оторвать его. Только от сна. Но спать тоже надо. Тот, кто взял на войне в привычку не спать по ночам, сам себя обманывает. Конечно, день на день не приходится, а все же чудес не бывает: что ночью недоспано, досыпают днем. А если не досыпают, то какую-то часть работы делают вполглаза. Лучше уж, за самым крайним исключением, свои шесть часов ночью взять, а остальные — работать. Не только для здоровья лучше, но и для дела. Проверено.

Событий за те семнадцать дней, что вернулся в армию, произошло много. На Карельском перешейке за десять суток проткнули и смотали линию Маннергейма, все три ее полосы, а вчера взяли Выборг. Вспоминая все, что слышал про Финскую войну, как тогда до этого же Выборга шли не десять суток, а десятью десять — больше трех месяцев,— лишний раз думаешь, что воевать все же научились. И от тебя здесь ждут такого же умения ломать оборону.

На Западе союзники наконец-то высадились во Франции. Хотя вчера в сообщении Информбюро об итогах трех лет войны и сказано про их высадку, что она блестящая, но пока что уже третью неделю воюют все на том же полуострове Котантен, на котором высадились. На простор еще не вырвались. Конечно, если вникнуть, дело нелегкое. Где-нибудь за речкой плацдарм захватишь, и то, пока его удержишь, семь потов прошибет. А тут море. Правда, готовились к этому не один год. Времени было достаточно, чтобы любую «мощу́» собрать. Но, видимо, моща́ мощо́й, а немцы не больно-то поддаются. Дают почувствовать, что значит немец и с чем его едят. Ничего, пусть покорячатся. Если б там у союзников слишком легко пошло, было бы даже обидно. Хотя и желаешь им победы, но при этом в душе хочешь, чтоб хоть немного испили из той чаши, из которой мы по горло сыты.

Но об этом много думать некогда. Сначала приказал Синцову достать карту французского побережья, следил по ней, разбирался, а в последние дни недосуг. Услышишь, что без особых перемен, и этим ограничиваешься.

Даже на свое личное, о чем еще недавно в Москве думал и днем и ночью, тоже какая-то, черт ее знает, диета. Подумаешь, не удержишься, а потом заставляешь себя — из головы вон! И ничего, получается. Количество дел помогает.

За эти дни пришло два письма, длинные, по нескольку листов, с двух сторон. Такие, каких еще никогда в жизни не получал. Как будто продолжение разговора. Как будто не считается с тем, что она там, а ты здесь, а сидит перед тобой и так все подряд и говорит, что без тебя надумала.

Читал оба письма на ночь глядя, после всех дел, а отвечал с утра, до всех дел. О том, чем был занят, разумеется, не писал. Писал, что жив и здоров, придерживается режима, как обещал, старается спать шесть часов и продолжает гимнастику для ключицы.

Если бы повернулась рука, написал бы, что любит ее, как еще никого не любил. Но написать это не повернулась рука, перед собственным прошлым.

В конце второго письма была полевая почта... «Отвечай сюда. Послезавтра еду». Раз послезавтра еду, значит, пока письмо шло, она уже там, в госпитале, на соседнем справа фронте. Сделала, как собиралась.

Читая письмо, вспоминал ее слова: «Как, возьмете меня к себе в армию?» И свой ответ: «Не возьму». И нестерпимо захотелось, чтобы она была здесь, а не там.

Еще никогда, кажется, он не работал с таким напряжением, как в эти семнадцать суток после возвращения в армию.

Как и всякому командиру, ему всю войну хотелось иметь в своем распоряжении больше сил и средств, чем у него было. На войне никогда не считаешь, что у тебя чего-нибудь в избытке. И все же он не мог скрыть от себя — от других скрыть сумел — того волнения, которое испытал, когда, вернувшись в армию, принял ее заново во вдвое большем составе, чем была. Таким хозяйством он еще не командовал. У него только один раз было восемь дивизий — на Курской дуге. Бывало и шесть и пять. Но тринадцати дивизий еще не бывало. Поддерживать наступление к нему пришло двенадцать тяжелых артиллерийских полков, артиллерийская дивизия прорыва, несколько бригад гвардейских минометов, две противотанковые бригады. Хотя армии и не придали мехкорпуса, но все же в ее составе теперь оказалось кроме своих штатных танков еще три танковые бригады и два полка

самоходок. А прибытие саперных батальонов, понтонных и других инженерных частей снова и снова напоминало о водных преградах, которые предстояло преодолеть.

Армейское хозяйство в канун наступления... Как представить себе, что это такое? И с чем это сравнить, не на войне, а где-нибудь в мирной обстановке? Наверно, не с чем сравнивать. Потому что нет такого вида ответственности, которая бы не лежала на человеке, стоящем во главе этого хозяйства.

И для людей, которые были над Серпилиным, командовали им, и для людей, которыми командовал он, сейчас, перед началом операции, не имела значения его собственная личность вне того дела, которое ему предстояло сделать. Сейчас для всех них имело значение лишь одно: способен или не способен ты сделать то, что от тебя требуется? И при этом, строго выполняя все, что требуется, способен ли уберечь какое-то количество человеческих жизней вопреки ожидавшимся потерям или потерять еще кого-то сверх ожидавшихся потерь?

И он считал справедливым такой взгляд на себя, потому что сам точно так же смотрел на других. И все, что у него было за душой, все нажитое опытом и воспитанное жизнью, все приобретенное в строю, в академиях и в боях за тридцать лет службы, все пережитое и перетерпленное, все самое хорошее и сильное, что было в нем, включая его веру в людей,— все это без остатка он вкладывал сейчас в подготовку операции. Все взятое из войны снова вкладывал в войну.

Что значит хорошо подготовиться к будущему наступлению? Прорвать немецкие позиции, разбить немцев, форсировать четыре реки, взять Могилев, уложиться при этом в сроки, которые даны? Да, так. Но это еще не все. При этом требуется выполнить приказ с наименьшими потерями в людях и технике. Прийти в Могилев не при последнем издыхании, а готовым к дальнейшим действиям. Обойтись без напрасных потерь — общие слова, а в бою все конкретно: в одном случае те же самые потери напрасные, а в другом — не напрасные. За этими словами должна присутствовать мысль и работа. Не просто требовать от подчиненных: берегите людей. Такое требование на войне, если оно ничем другим не подкреплено,— сотрясение воздуха! Скажи, пожалуйста, какие слова генерал говорит: берегите людей! От таких слов, если за ними дело не стоит, только дурака слеза прошибет. Какой же начальник скажет: не берегите людей? Такого во всей армии не найдешь. А вот сделать так, чтоб добиться победы и действительно сберечь людей,— это и есть военное искусство.

Действительная забота о людях в то же время есть и забота о деле: если сегодня в этом наступлении потеряешь людей боль-

ше, чем строго необходимо, завтра с кем воевать будешь? Если армия снабжена к началу наступления всем, чем только возможно было ее снабдить,— это и есть начало заботы о людях. И то, что за их спиной на участке прорыва двести орудий на километр будут молотить по немцам,— забота о людях. И что танки на участке прорыва вместе с пехотой пойдут — тоже значит, что этим людей сохраним. И что со снарядами голодать не придется — забота о людях, лишних потерь не понесем. И что, не считая фронтовых госпиталей, в самой армии, как сегодня доложили, семь тысяч шестьсот коек подготовлено — тоже имеет отношение к потерям: значит, сумеем всех, кто ранен, сразу на койку! И где передовые медицинские пункты разместим, от этого жизнь людей зависит. А не только от того, скольких из них осколками зацепило. Скольких зацепило, стольких зацепило. А вот через сколько минут и часов после этого он на стол попал — вот в чем вопрос! Чтобы самому прочувствовать, как подготовилась медицина, сегодня ранним утром, в последний день перед наступлением, еще раз вызвал к себе начсанарма для личного доклада. Слушали его вдвоем с Захаровым и внесли несколько поправок в планы эвакуации раненых, так же как за три дня до этого — в планы инженерного обеспечения.

За сколько времени проходы в немецких заграждениях и минных полях сделаем, вручную будем их рвать или закатим туда подрывные заряды на тележках, а потом ударим по всей минной полосе так, чтобы от детонации рвануло эти заряды и расчистило проходы,— от этого тоже зависит и сколько саперов потеряем, и как быстро через проходы пройдем. То же самое и с переправами: какие средства для них заготовлены и в каком количестве? Чем быстрее перелезем, тем дешевле за это заплатим!

И наконец подготовка самой пехоты к наступлению, вся та учеба, которой полтора месяца занимались у себя в тылу с теми, кому завтра наступать. Как их подготовили? От этого зависит, как пойдут. Если впритык за огневым валом, больших потерь не понесут. А если отстанут, залягут — упустишь время и потом головы не подымешь! Хотя при учебном форсировании водных преград и движении за огневым валом своей артиллерии в условиях, приближенных к боевым, потеряли из-за недолетов четырех человек убитыми и двадцать ранеными; как ни горько, но даже и эти потери ради того, чтобы потом не понесли несравнимо больших.

И прав был Батюк, когда позавчера, во время рекогносцировки на участке прорыва, послал по матери того подхалима, который, рассчитывая польстить, стал говорить ему, что командующий фронтом слишком мало бережет свою жизнь, что при всей

его храбрости не вправе ползать по переднему краю. Правильно оборвал его Батюк, почувствовал фальшь. Надо или не надо — в таких случаях самому решать. Если чувство такое, что тянет еще раз своими глазами примериться на местности, где твои люди в рост встанут и пойдут в атаку,— как можно отказать себе в этом?

Жизнь командующего фронтом или армией, конечно, дорога. Если убьют, вместо него другого из хлебного мякиша враз не слепишь. А все же как отказаться от того, чтобы еще раз посмотреть своими глазами передний край противника, когда еще в твоей власти что-то учесть или исправить? Как пренебречь этим? Рисковать жизнью никому не охота, но как вообще воевать, если раз навсегда не заставить себя считать этот риск второстепенным делом? Что значит быть храбрей других? Без колебания оружие поднять и убить? Но разве не считаем храбрым того, кто сам первым вызовется расстрелять дезертира? Разве он храбрый? Храбрый — это не тот, кто убить способен, а тот, кто убитым быть не боится. Верней, хотя и боится, но не остановится перед тем, чтобы быть убитым, выполняя то, что должен.

А дезертир — за что его под расстрел ставят и изменником родины называют? За то, что он изменить хотел? Или немцам добра хотел, а нам — беды? Чаще всего не так. И немцам добра не желал и нам беды не кликал, а просто жить хотел больше, чем другие. Другие пусть вместо него умрут, а он пусть вместо них жив будет. Вот и все. И за это расстрел. И нельзя иначе. И как самое малое — штрафная рота; иди искупай кровью, будь храбрым поневоле.

А такие, что любят на́ людях храбрость начальства подчеркнуть, укорить его, что мало бережет свою драгоценную жизнь,— чаще всего сами трусы. Потому что храбрый и заботливый не станет напрасных слов говорить, а молча рядом пойдет и молча телом закроет.

Подготовка к армейской операции, изнурившая всех, кто ею занимался в штабе армии, в политотделе, в штабах родов войск, в штабе тыла, и занявшая почти два месяца, была, в общем, закончена. Все войска уже стояли на позициях, артиллерия — тоже; оставалось только завтра утром, уже под грохот артподготовки, перебросить часть танков и самоходок с выжидательных позиций на исходные.

До последнего времени на участке прорыва занимала оборону 111-я дивизия — бывшая дивизия Серпилина. Теперь ее вывели в тыл, в третий эшелон, а на ее место выдвинули войска четырех стрелковых дивизий.

Головные батальоны полков, которым предстояло наступать в этом первом эшелоне, сели на передний край в окопы, занятые раньше сравнительно редкой цепочкой частей 111-й дивизии. Смена войск шла в течение двух ночей. Были приняты все предосторожности, чтобы эта смена происходила в тишине, незаметно для немцев. Вновь прибывшие части, вчера и сегодня, ничем не обнаруживая своего присутствия, старательно наблюдали за немцами.

Командиры дивизий и полков, да и большинство командиров батальонов, уже бывали здесь на рекогносцировках. Но командиры рот и взводов, сержанты и солдаты пришли сюда, на этот передний край, впервые; а именно им предстояло первыми подниматься завтра в атаку, и они тоже должны были освоиться и привыкнуть к тому, что лежало перед ними.

Вслед за дивизиями первого эшелона, в затылок им, были придвинуты, за эти же две ночи, дивизии второго эшелона.

Чтобы все это произошло точно в назначенные сроки, быстро и тихо, потребовалось особенно большое напряжение в работе всех штабных и тыловых служб.

Серпилин провел в войсках целый день вчера и все утро сегодня и возвращался оттуда с ощущением, что машина войны на участке его армии отлажена, заправлена, смазана, теперь только остается пустить ее в ход.

Несмотря на то что за эти полтора дня пришлось дать несколько разгонов по поводу разного масштаба погрешностей — без этого не обошлось,— возвращаясь, он испытывал чувство благодарности к людям. В общем-то, глядя правде в глаза, без самоотверженных стараний тысяч людей, которые, каждый на своем месте, делают свое дело, ты один, сам по себе, ничто, ты бессилен. Хотя этому трезвому признанию, казалось бы, и мешает своя должность командующего армией и связанная с этой должностью и необходимая для дела привычка говорить и писать «я приказал», «я решил».

Сделав крюк, Серпилин заехал на полчаса в прежнее расположение штаба, куда теперь передвинулся штаб тыла.

Поговорив со своим заместителем по тылу, он отдал несколько распоряжений, связанных с тем, что видел за эти дни на передовой, и посмотрел последнюю сводку материальных средств на сегодняшнее утро — 22 июня.

Сводка, за редкими исключениями, соответствовала тому, что запланировано иметь. Особенно хорошо — и это порадовало Серпилина — обстояло дело со снарядами для дивизионной и тяжелой артиллерии. От трех с половиной до девяти боекомплектов на каждое орудие! Бензина было четыре с половиной заправки, а

это опять-таки обещало своевременный подвоз снарядов в ходе наступления. Были овес и ячмень для лошадей на семнадцать суток. Значит, и на конной тяге двигаться можно. Лошадка на себе пока что многое тащит, без нее по белорусским хлябям далеко не уедешь, особенно если дожди.

Поблагодарив заместителя по тылу, которому всегда в такое время достается больше всех и которого столько понукали, что он даже удивленно прищурился в ответ на неожиданную благодарность,— Серпилин поехал в штаб своей бывшей 111-й дивизии; после вывода с передовой она стояла тут же неподалеку.

И командир дивизии Артемьев и начальник штаба Туманян были на месте. Две ночи не спали, выводя с переднего края свои части, а сейчас, наверно только встав, сидели и завтракали вдвоем у командира дивизии.

Серпилин от завтрака отказался, но стакан чая сказал, чтоб дали.

Лица у обоих — у командира и у начальника штаба — были недовольные. Уже давно понимали, что, раз столько времени сидят на широком фронте в обороне, значит, перед началом наступления их сменят, выведут в резерв, чтоб люди передохнули. Но понимание пониманием, а когда сдаешь свой участок другим и знаешь, что завтра-послезавтра они пойдут в бой и первыми ворвутся в те самые немецкие траншеи, до которых тебе два месяца было рукой подать,— радости мало.

— Вижу, в обиде на командование армии?

Туманян промолчал, а Артемьев признался:

— Так точно, в обиде, товарищ командующий.

— Вон как, даже «так точно»,— усмехнулся Серпилин. — И надолго ваша обида?

— Пока в деле не окажемся.

— Коли так, значит, ненадолго.

— Ненадолго, товарищ командующий? — спросил Артемьев. За вопросом была надежда, что Серпилин уже заранее прикинул, когда будет вводить в бой их дивизию.

Ответить на такой вопрос непросто. Как бы ни хотел командир дивизии скорей принять участие в наступлении, у командующего армией — надежда обратная. Чем позже придется пустить в дело оставленные в резерве дивизии, тем лучше. На каком рубеже их введешь, на ближнем или на дальнем, с нетронутыми резервами дойдешь до этого дальнего рубежа или уже растрясешь их — большая разница!

Про себя Серпилин рассчитывал, что хорошо бы использовать дивизии третьего эшелона попозже, после Днепра. Чтобы форсировали Днепр за чужой спиной свеженькими, а задейство-

вать их — как выражаются военные люди — только при захвате Могилева, или, еще лучше, преследуя противника уже за Могилевом.

Эти его надежды разделяли и Бойко и Захаров, но объяснять заранее командиру и начальнику штаба дивизии, что как можно дольше постараешься их не задействовать, лишнее.

— Что вам по старому знакомству сказать? — Серпилин перевел взгляд с Артемьева на Туманяна. — Как вы какой-нибудь свой батальон хотите подольше в кулаке подержать, так и я. Не дурей вас. Но сражение, как нас с вами в академиях учили, складывается не из одного нашего хотения, а еще и из усилий противника воспрепятствовать нам при осуществлении наших хотений. Чего я хочу, знаю, но противник-то обратного хочет — вот ведь какое дело! Отсюда вывод: быть ко всему готовыми, как и всегда на войне.

— Это понимаем,— сказал молчавший до этого Туманян. — Сегодня дали дневку, отдых, а на завтра уже назначили занятия.

— Какие? — спросил Серпилин.

— Те, которых не имели возможности провести в условиях передовой,— сказал Туманян. — Наступление батальона за огневым валом...

— Это правильно,— одобрил Серпилин. И помрачнел от воспоминания.

Шесть дней назад в другой дивизии во время как раз вот таких батальонных учений был убит осколком мины старейший командир полка полковник Цветков, недавно взятый отсюда, из сто одиннадцатой, заместителем командира дивизии.

— Осторожней только,— хмуро сказал Серпилин.

— Приказ читали, товарищ командующий,— сказал Туманян. — Учтем.

В дивизии, как и всюду в армии, знали об этом случае.

Серпилин кивнул все с тем же мрачным выражением лица. То, что учтут, понятно. А что Цветкова уже не вернешь, это все равно остается.

— Тем, кто последнее время без смены на переднем крае был, все же не одни, а двое суток полного отдыха дайте! — помолчав, приказал Серпилин. — Вам самим можно, конечно, и без отдыха. Сколько бы по переднему краю ни лазили, а все же у себя в штабе на коечках спали. А солдаты в окопах. Устали и недоспали за это время.

Серпилин снова замолчал. Если бы высказал свою мысль вслух до конца, сказал бы, что и те, из минометного расчета, который, ударив с недолетом, убил Цветкова, тоже были и уставшие и недоспавшие.

— Скажи-ка мне лучше вот какую вещь, командир дивизии,— после молчания обратился Серпилин к Артемьеву. — И ты, начальник штаба,— повернулся он к Туманяну. — Вот вы два месяца в четыре своих глаза за немцем смотрели. Что он, по-вашему, сейчас из себя представляет? Что вы за ним заметили?

— Все, что замечали, доносили, товарищ командующий,— с недоумением сказал Туманян.

— Все, что доносили,— читали. Или я, или Бойко. Вы о том, чего не доносили, скажите. Перед зимним наступлением вы тоже полтора месяца стояли на переднем крае. И теперь стояли. Какой он сейчас, немец? Одинаковый с тем, осенним, или нет?

— «Языки» сообщали... — начал было Туманян, но Серпилин прервал его:

— Что «языки» сообщали, тоже знаю. Имеет, конечно, значение. Но все же приходится поправку на плен делать. Когда — мешок на голову и к русским на допрос приволокли, у него одно настроение. А пока он там, у себя,— другое. Как они службу несут, по вашим двухмесячным наблюдениям? Какой порядок, дисциплина? Все так же по часам, как раньше?

— «Языков» взяли больше, чем осенью,— сказал Артемьев. — И легче брали. Нелегко, но все же легче.

— Это, согласен, показатель,— сказал Серпилин. — А в остальном?

У Туманяна лицо стало озабоченным. Видимо, перебирал в памяти все, что было за эти два месяца, чтобы как можно точней ответить на неожиданные вопросы командующего.

— Не старайся, Степан Авакович, не вспоминай подробностей. Ответь, что сразу на ум пришло.

— Меньше маскировочной дисциплины стало,— сказал Туманян. — И огневой тоже. В режиме огня нарушения отмечались. А раньше это у них как часы. С подвозом пищи тоже засекали опоздания.

— А я бы добавил, что они теперь больше нервов тратить стали по мелким поводам,— сказал Артемьев.

— Что значит: больше нервов?

— Острей на все реагируют. «Языка» заберем — стрельба не только там, где взяли, а по всему фронту полка. Ночной поиск сделаем, они потом много ночей подряд психуют — чувствуется, нервы натянуты.

— А нервы отчего? — спросил Серпилин. — Оттого, что наступления нашего ждут?

— И оттого, что наступления ждут, и вообще, думаю, устали.

«А мы не устали?» — мысленно спросил себя Серпилин, в то же время подумав, что в словах Артемьева есть важная для бу-

дущего наступления истина. Хотя устали и мы и немцы, но усталость эта разная. Мы устали от перенесенного, от всего того самого страшного, что было у нас уже позади. И эта уверенность, что самое страшное уже позади, при самых разных настроениях у самых разных людей все-таки в конце концов была у всех у нас. А поэтому и усталость у нас была совсем другая, чем у немцев.

У немцев, конечно, тоже накопилась за годы войны усталость, но вдобавок к ней у них была еще и усталость от ожидания будущего. У них-то не было чувства, что самое страшное позади...

Насчет нервов слова командира дивизии верные. Нервы у них натянуты. И это хорошо.

— Сегодня на рассвете три года войны кончились,— вдруг сказал Артемьев.

— Где война застала? Помнится, на Дальнем Востоке? — спросил Серпилин.

— В Забайкалье. А начал, надо считать, в декабре под Москвой.

— Ту встречу помню. — Серпилин и в самом деле отчетливо вспомнил, как ехал тогда ночью по заметенной дороге принимать дивизию и встретил Артемьева, расшивавшего на подъеме пробку.

По глазам было видно, что Артемьев рад этому воспоминанию, но в ответ промолчал, не сказал того, что другой поспешил бы сказать командующему: «Как же, и я вас помню и век не забуду!»

Самолюбивый. Мельтешить перед начальством не любит. Недавно проверено. Пять дней назад маршал Жуков приезжал в армию, заслушивал доклады о подготовке к операции, в том числе доклады нескольких командиров дивизий, среди них Артемьева. После доклада давал вводные, усложнял обстановку, спрашивал, как поступите в этой обстановке, как в той. И, довольный докладами, нашел потом время побеседовать с командирами дивизий и корпусов, как говорится, в положении «вольно». А когда перед самым отъездом Жуков пил чай в столовой Военного совета, вдруг выяснилось, что он лично знает Артемьева. Захаров в ответ на вопрос, кто у них самый молодой по возрасту командир дивизии, назвал Артемьева: «С двенадцатого года. Но начал воевать раньше других, еще на Халхин-Голе».

Жуков, услышав это, наморщил лоб: «Вспомнил его теперь... Когда докладывал, мелькнула мысль: не он ли в разведотделе там у меня был?»

Воткнуться с воспоминаниями о том, как он служил под началом у Жукова на Халхин-Голе, Артемьев возможность имел.

Но не воткнулся. И Серпилин, исходя из собственных воззрений, поставил ему это в плюс.

— А ты, Степан Авакович, по-моему, с первого дня?

Туманян кивнул:

— На этом же направлении. Строго на запад. Недалеко от станции Сокулька штаб нашего полка стоял, пятьдесят километров юго-западней Гродно.

— Что ты в первый день войны начал,— помнил, а что на этом направлении, не знал.

— Договариваемся с командиром дивизии,— без улыбки сказал редко шутивший Туманян,— просить командование, как ближе подойдем, нас под Гродно послать. Я там первый бой принимал. И у него причина есть.

Серпилин поднял глаза на Артемьева.

— У меня мать осталась в Гродно, в первый день войны,— сказал Артемьев. — Вместе с племянницей. Вам ваш адъютант Синцов не говорил? Это его дочь там осталась. Он до войны на моей покойной сестре был женат.

— Я говорил комдиву: будем вместе искать! Как так — свою мать потерять? — сказал Туманян с какой-то особенно горькой и цепкой силой привязанности к своему роду, которая в крови у армян.

Артемьев промолчал, и Серпилин тоже ничего не ответил. Разве скажешь — кто теперь жив и кто умер там, за немецкой линией фронта, которую завтра утром будем наконец проламывать!

Не ответив Туманяну, сказал о себе:

— А мое первое поле боя — теперь рукой подать, на окраине Могилева...

И, сказав это, подумал о том, как много людей в его армии начинали войну здесь, в Белоруссии. И Туманян, оказывается, начинал под Гродно. И начальник штаба Бойко рассказывал о себе, что принял тогда полк после гибели командира под Домачево, южней Бреста. И командующий артиллерией Маргиани вспоминал, как подрывал тогда свои стодвадцатидвухмиллиметровые гаубицы под Слонимом, не мог переправить их через реку Щара. И Синцов был под Могилевом. И докторша его тоже была...

«Да,— с внезапно вспыхнувшей злобой на немцев подумал Серпилин о завтрашнем наступлении,— считали тогда, что уже нет нас: стерли в порошок, проехали по нас — и нет нас! А мы — вот они!»

— Пора к себе. — Он поставил на блюдечко второй, недопитый стакан чая. И, уже встав, спросил Туманяна: — Как тут у вас Евстигнеев себя показал?

— Как докладывал вам, в оперативное отделение зачислили. Может, хотите его увидеть? Он здесь рядом, за пять минут найдем!

— Не за этим спросил. — Серпилину не понравилась готовность Туманяна искать Евстигнеева. — Как показал себя? Не жалеете, что согласились взять?

— Показать себя не успел,— сказал Артемьев. — Случая не было. По мнению начальника штаба, служит исправно. А я пока не сталкивался.

— Сразу как прибыл, просил меня в полковую разведку его направить,— выжидательно сказал Туманян.

— Ну и что? — спросил Серпилин.

— Пока вакансий нет, но просил. — Сказано было в ожидании, что Серпилин сам даст понять, как поступить с его бывшим адъютантом.

Но Серпилин словно бы и не услышал этой интонации в голосе Туманяна. Пожал обоим руки и уехал.

По дороге из сто одиннадцатой Серпилин продолжал думать о людях, с которыми только что расстался.

Туманян, при своей плохой привычке слишком поспешно говорить начальству «есть», слов на ветер не бросал: то, что обещал, непоколебимо исполнял. И хотя был самолюбив и неравнодушен к поощрениям, зарабатывал их честно, докладывал без преувеличений. И с должности начальника штаба, учитывая его упрямство и волю, по мнению Серпилина, со временем мог быть выдвинут на командира дивизии.

В Артемьеве Серпилин ценил опыт, соединенный с молодостью. Много успел. За плечами и академия, и штабная работа, и полк, и уже второй год дивизией командует. А лет всего — тридцать два! По возрасту может еще двадцать пять лет служить и продвигаться. Война,— хотя Ольга Ивановна и считает, что грех об этом каркать,— все же навряд ли последняя. А раз так, надо почаще думать о тех, у кого побольше лет впереди!

Оказывается, Синцов был женат до войны на его сестре. Артемьев сказал «покойной»,— значит, или умерла, или погибла уже во время войны. Синцов никогда не говорил об этом. Уже давно, со Сталинграда, считаются в армии со своей докторшей мужем и женой.

«Да,— подумал Серпилин не о Синцове и его покойной жене, а о себе самом,— так и бывает: сперва считаешь — век не забуду, а потом оказывается по-другому».

Дорога шла через лес, потом выходила на открытое место. На выезде из леса, у шлагбаума, стоял «виллис»; из него выскочил офицер и, размахивая руками, препирался с автоматчиком.

Режим передвижения по дорогам был строго регламентирован. Каждой части выдали жестко ограниченное количество пропусков на машины. Пропуска были разные: для одних дорог одни, для других — другие, чтобы нигде не происходило заметного немцам скопления.

В светлое время по всей полосе армии должно было передвигаться не больше машин, чем два месяца назад, а все остальные — только ночью! Кузьмич, надо отдать ему должное, мотался по дорогам с утра до вечера и порядок навел образцовый.

Подъехав поближе к шлагбауму, Серпилин приказал водителю Гудкову затормозить и, искоса взглянув направо в лес, заметил, что под деревьями уже стоят загнанные туда машины — чей-то штабной автобус и две «эмки».

— Подойдите ко мне! — высунувшись из «виллиса», крикнул Серпилин офицеру. Тот, все еще не заметив начальства, яростно ругал сержанта, упрямо стоявшего перед ним с автоматом наизготовку. — Подойдите сюда, слышите, что вам говорят?

Обернувшись и увидев генерала, офицер подбежал. Это был рослый майор с багровым от злости лицом, в танкистском шлеме и накинутой на плечи поверх комбинезона плащ-палатке.

— Инженер-майор Булыгин, помпотех сто восьмой отдельной танковой бригады, — представился он, не забыв при этом отрапортовать, что их бригада не просто бригада, а гвардейская, краснознаменная, ордена Александра Невского, Карачевская!

— Что гвардейская — это хорошо, танкистов мы уважаем... А вот почему вы сержанта при исполнении служебных обязанностей матом крестите? Он выполняет приказ командования. Мой. Может, и меня перекрестите, раз вам мой приказ не нравится?

— Товарищ командующий... — Танкист не знал Серпилина в лицо, но уже сообразил, что перед ним командующий армией. — Командир бригады приказал мне к пятнадцати часам лично доложить о выходе из ремонта двух поврежденных танков. Не доложу — с меня с самого шкуру спустят. А он задерживает!

Танкист продолжал стоять по стойке «смирно», только резким движением головы показал в сторону шлагбаума.

— На вашу бригаду, как и на другие, дано два пропуска для дневного проезда, — сказал Серпилин. — Если вас командир бригады вызвал, зная, что у вас нет машины с пропуском, — значит, сам виноват. А если у вас есть машина с пропуском, а поехали без пропуска, придется объяснить командиру бригады, почему не прибыли к сроку.

— Была машина, товарищ командующий, — сказал танкист, — я ее с запчастями вперед отправил, а сам...

— А сам решил на бога. Как же, большой начальник, и глотка здоровая... — Серпилин усмехнулся и перешел на «ты». — Как так не прорваться через солдата! А вот не прорвался, солдат службу знает, а ты нет! Ему благодарность, а тебе выговор. Машину с дороги — в лес! До двадцать одного часа.

— Разрешите выполнять, товарищ командующий?

— Погоди. — Серпилин оглядел танкиста. — Почему в танкистском шлеме? Приказ о мерах маскировки доводили до вашего сведения?

— Так точно, доводили.

— Но для вас закон не писан? Спешите обнаружить свое присутствие? Чтобы немцы узнали, что ваша гвардейская, краснознаменная, Александра Невского, Карачевская здесь появилась? Хотите заранее напугать их своим прибытием? Так нам этого не требуется!

Серпилин мог бы и покруче взять в оборот этого инженер-майора и взял бы, случись все это три дня назад. Но наутро предстояло наступление, в котором с первых же часов участвовать и этой танковой бригаде, и не хотелось портить перед боем настроение ее командованию, дав несколько суток ареста помпотеху, который завтра будет нужен до зарезу.

В последнюю неделю за нарушения маскировки уже несколько офицеров отправились под арест. А один злостный нарушитель даже пошел под трибунал. Но с этого сегодня хватит и острастки...

— Идите! — Серпилин еще раз усмехнулся, увидев, как шедший к своему «виллису» танкист на ходу вытащил из комбинезона пилотку, нацепил ее на голову, а шлем спрятал под плащ-палатку.

Серпилин подъехал к шлагбауму и подозвал сержанта.

— Кроме этой, были за ваше дежурство попытки не подчиниться?

— Еще одна была, товарищ командующий.

— Будут повторяться — записывайте и докладывайте по команде.

— Есть докладывать по команде! — сказал сержант.

— Спасибо за службу! У нас все в порядке. — Серпилин показал на прикрепленный к ветровому стеклу «виллиса» пропуск. — Можем ехать?

— Так точно, товарищ командующий!

Приехав на командный пункт, Серпилин зашел к себе. Оперативная группа штаба теперь сидела в лесу. Рассчитывая через несколько дней перейти еще дальше вперед, Серпилин приказал блиндаж не рубить, а собрать на скорую руку трофейный

штабной металлический домик, который захватили у немцев в прошлом году, осенью. Он растягивался, как гармошка, и быстро устанавливался. Зимой эта металлическая гармошка оказалась холодной, а сейчас, летом, годилась.

Домик стоял под шатром деревьев, внутри было прохладно. Серпилин опустился на складной стул и позвал Синцова:

— Докладывай, что тут без меня. Где командующий фронтом?

— У Кирпичникова. Оттуда пока не выезжал. Не звонили.

Кирпичников — командир корпуса, которому предстояло действовать на правом фланге прорыва.

— Ясно,— сказал Серпилин. — Обед подготовлен?

— Нач. АХО доложил, что все готово.

— Кто звонил?

— Прокурор звонил, спрашивал, нет ли перемен. Вы его на пятнадцать часов вызывали.

— Что ответил?

— Что других приказаний не было.

— Жену повидал?

— Повидал.

— Как ее здоровье?

— Здорова.

Синцов расстегнул планшет и положил перед Серпилиным лист метеосводки. Он уже привык, что Серпилин интересуется прогнозом погоды по нескольку раз в день и любит смотреть метеосводки сам.

— Хорошо, иди.

Метеосводка отражала реальность. Погода тихая и пасмурная, а что предвещает такая погода в дальнейшем, почти всегда сказать трудно. В метеосводке после цифр атмосферного давления стояло: «Ночью возможен туман».

«Да, возможен туман,— подумал Серпилин. — И если он будет плотно стоять до утра, как это уже несколько раз бывало — все же тут много болот, и это сказывается,— придется переносить и начало артподготовки и час атаки. Такая возможность не только не исключена, но и предусмотрена. Хотя лучше бы, конечно, не переносить».

Если ночью будет сильный туман, это отразится на действиях авиации. По тылам противника должна нанести удар авиация дальнего действия — три дивизии. Но если будет сильный туман, еще вопрос: всем ли, кто запланирован, дадут «добро» на вылет, а если и дадут, какая будет эффективность их бомбового удара в условиях плохой видимости? Если за ночь хорошо пробомбим немецкие тылы — это нам завтра для наступления

еще одно очко плюс. А если не пробомбим, наоборот, одно очко минус.

Как тщательно ни готовь операцию, а погода все равно может в самый последний момент внести свои коррективы не в твою пользу.

Серпилин позвонил начальнику штаба.

— Григорий Герасимович, я на месте. Если ничего особо срочного нет, сам зайду к тебе через полчаса... Это знаю!

Бойко сказал ему по телефону, что особо срочных дел нет, а командующий фронтом еще не выезжал от Кирпичникова.

О том, что командующий фронтом Батюк вместе с членом Военного совета Львовым приехал сегодня с утра в армию, Серпилин узнал сразу же, хотя и был в тот момент далеко от штаба, на наблюдательном пункте одного из полков.

Батюк, приехав утром в штаб армии и не застав там Серпилина, сказал Бойко, чтоб командующего армией не отрывали — пусть занимается в войсках своими делами. А Львов сказал то же самое о Захарове, который с утра был в другой дивизии.

Взяв с собой оказавшегося на командном пункте генерала Кузьмича, Батюк и Львов поехали с ним в корпус к Кирпичникову.

Командующий фронтом приезжать сегодня не собирался. Наоборот, вчера, уезжая из армии, сказал Серпилину: «Занимайся доделками. Теперь приеду к тебе только за час до музыки».

«За час до музыки» — значит, прямо к артподготовке. В ста метрах от окопчиков с козырьками, которые там на НП подготовили для Серпилина, был готов и наблюдательный пункт для командующего фронтом, такой же. И связь туда была протянута, и все, что положено. Не захочет завтра быть вместе, захочет наблюдать отдельно — все готово!

Но, оказывается, не выдержал, приехал еще и сегодня!

Серпилин, когда узнал, был не рад этому. Мало ли что там может выйти, пока будет ездить, что-то не понравится или, еще хуже, что-то новое в голову придет перед самым началом дела!

Но в то же время в душе не осуждал Батюка за этот сегодняшний приезд. Возможно, и сам на его месте не выдержал бы, приехал. Все же главный удар именно здесь. И впервые он наносит такой удар в роли командующего фронтом. Не удивительно, что ему не сидится.

Серпилин не испытывал зуда спешить навстречу начальству. Наоборот, узнав по телефону, что Батюк приказал не тревожить командарма, продолжал действовать, как запланировал:

побывал сначала в одном полку на переднем крае, потом в штабе одной из дивизий второго эшелона, потом на позициях тяжелой артиллерии. С артиллеристами речь шла не об артподготовке, не о начале, а о конце первого дня наступления: за сколько времени рассчитывают сменить позиции и выдвинуться вслед за пехотой.

Оттуда поехал к танкистам, в ту самую Карачевскую бригаду, откуда был майор-помпотех, которому пришлось делать выволочку. Всюду предупреждал, куда двинется дальше, и всюду ему звонили, где находится командующий фронтом и что сейчас делает.

Кстати, таким образом заодно проверил и связь. Со связью был порядок, работала без осечек.

Если от Кирпичникова командующий фронтом поедет прямо к соседу справа, не заезжая в штаб армии, Кузьмич вернется, расскажет, как ездили, какие замечания были. А если станет возвращаться через командный пункт армии, на всякий случай в палатке, в столовой Военного совета, готов обед.

Побывав с утра в войсках, Серпилин почувствовал, что там, внизу, так же как и он сам, ждут завтрашнего дня с затаенным волнением. Но суеты не было. И перед начальством не мельтешили, вели себя с достоинством, как люди, сознающие, что они вполне приготовились к своему решительному часу.

Серпилин не стремился сегодня объехать побольше частей; побывал лишь в нескольких, хотел ощутить настроение в войсках и на выборку проверить, как подготовились не только к моменту атаки, а и к дальнейшему. Войск было много, график движения многоэтажный. Некоторые тонкости этого дела он и проверял сегодня. Рвануть сразу даже на большую глубину после удачной артподготовки — это еще не все. В глубине могут возникнуть и, наверное, возникнут многочисленные осложнения, которые требуется предусмотреть.

Сейчас, вернувшись, он вспомнил о танкисте-помпотехе и позвонил командующему АБТ полковнику Свиридову. Сказал ему сначала, что был в Карачевской гвардейской танковой бригаде и что ее командир полковник Галченок, которого раньше не знал, произвел самое наилучшее впечатление, а потом добавил, чтобы Свиридов взял на заметку и доложил после операции, как проявит себя в ходе боев помпотех этой бригады инженер-майор Булыгин.

Свиридов по телефону сказал только: «Есть», о причине звонка не спросил, видимо, сам догадался — у Серпилина была слабость: он любил, когда чем-нибудь проштрафившиеся люди потом, вопреки ожиданиям, хорошо проявляли себя в боях.

— Товарищ командующий, к вам прокурор армии,— доложил Синцов.

— Пусть заходит.

Серпилин посмотрел на часы. Ровно пятнадцать. Прокурор никуда не делся, явился точно.

И хотя, казалось бы, в самый канун наступления на эту встречу можно было времени и не найти, Серпилин нашел. Хотелось воевать на свежую голову, освободить ее от того тяжелого вопроса, по которому пришел прокурор.

— По вашему приказанию явился.

— Садитесь,— сказал Серпилин, поднимая глаза от метеосводки на вошедшего подполковника юстиции, которого он видел впервые.

Прокурор прибыл десять дней назад вместо Полознева, служившего в армии бессменно с начала ее формирования. Как раз в тот день, когда Серпилин вернулся из Москвы, Полознев был ранен на передовой осколком. Ранение было неопасное для жизни, но неудобное — ни встать, ни сесть!

И хотя он был хороший человек и к нему хорошо относились в штабе армии, но, как обычно в таких случаях, все равно не могли удержаться от шуток, говорили, что немец все же подвел прокурора под трибунал!

А на плечи нового прокурора сразу, как прибыл, легло из ряда вон выходившее дело: гибель на учениях заместителя командира дивизии полковника Цветкова и ранение находившегося рядом с ним командира полка от осколков одной и той же злосчастной мины.

Дело тяжелое для всех еще и потому, что хотя прямых доказательств злого умысла обнаружено не было, но не было и доказательств обратного, а масштабы последствий требовали суровой кары виновному.

Кроме всего прочего, для тех, кто занимался этим делом, не осталось в секрете, что командующий армией, человек обычно уравновешенный, узнав о гибели полковника Цветкова и тяжелом ранении командира полка, вышел из себя и потребовал строжайшего расследования. Не только принял к сердцу сам факт, который действительно не лез ни в какие ворота, но и никак не мог пережить, что погиб Цветков, с которым он еще в должности комдива прошел через весь Сталинград.

А командующий армией есть командующий армией. Какой бы ни вынесли приговор — утверждать ему! И при таком заведомо крутом отношении начальства пойти на смягчение буквы закона будет трудно. Даже если и захочется. А на фронте этого часто хочется людям, особенно когда речь идет о возможности

смертного приговора. И так кругом столько смертей, что добавлять к ним еще смерть по приговору редко кто стремится. Почти всегда это делается скрепя сердце.

И это дело тоже разбирали скрепя сердце. Виновного обнаружили сразу, да он и не думал отпираться.

Обстоятельства дела были такие: третий день шли учения в обстановке, максимально приближенной к боевой. Незадолго до этого командованию дивизии досталось от Серпилина за то, что занимались показухой, наводили на дивизию лоск, а настоящие трудовые учения не проводили, к боям, по сути, не готовились. Замкомандира дивизии сняли, назначили на его место Цветкова, и Цветков взялся за дело с двойным старанием — хотел доказать, что не зря пришел. Несколько дней подряд так гонял людей на учениях, что все были в мыле.

И в этот день с утра назначили батальонные учения — наступление за огневым валом. Огневой вал создавали артиллерией и минометами. Цветков, взяв с собой командира полка, шел в цепи батальона, показывая личным примером, что на таком удалении можно безопасно двигаться за огневым валом.

Потом цепь пошла дальше, а Цветков с командиром полка стали возвращаться, хотели побывать еще в одном батальоне. В это время и произошел проклятый выстрел.

Минометы вели огонь, как и положено на дальнюю дистанцию, с дополнительными зарядами. При очередном выстреле произошла осечка. Мину извлекли из ствола — причиной осечки оказалось то, что перед этим на бойке осталась часть шляпки гильзы.

Приведя боек в порядок, миномет установили снова, но заряжающий в спешке схватил мину без дополнительного заряда. Командир расчета, заметив это, приказал прекратить огонь и стал ругать заряжающего за оплошность.

И тут-то и произошло непонятное и непоправимое — наводчик сержант Никулин, которому это было вовсе не положено, сам схватил еще одну мину и произвел выстрел. И мина эта оказалась тоже без дополнительного заряда — была взята не оттуда... Недолет получился большой, в цепи никого из солдат не задело, мина разорвалась за их спинами, на поле, как раз там, где в это время шли Цветков и командир полка. Командиру полка оторвало ступню, а Цветкову — семь осколков в живот. Умер на операционном столе, не приходя в себя. Удивительно, как еще прожил полтора часа.

Строго говоря, никто, кроме наводчика, не виноват. Что командир расчета приостановил огонь, отвлекся для выговора оплошавшему солдату, было в порядке вещей. А что наводчик

как раз в этот момент вдруг проявит такую инициативу, сам произведет выстрел, никто ждать не мог.

Допросив командира батареи и командира расчета, состава преступления в их действиях не нашли, рекомендовали обойтись дисциплинарными взысканиями. Так и было сделано. Старшего лейтенанта, раз, на его несчастье, выстрел произвела его батарея, за халатность — из старших лейтенантов в младшие, с батареи — на взвод. Командира минометного расчета — из сержантов в рядовые. А наводчик, тоже сержант, предстал перед трибуналом.

В ответ на вопрос, почему самовольно произвел выстрел, объяснил, что спешил продолжить огонь. А как не заметил, что взял мину без дополнительного заряда,— ничего вразумительного сказать не мог. Только, удивляясь самому себе, разводил руками и повторял: «Что ж теперь делать! Раз виноват — отвечу». Был как в воду опущенный. Пока сидел под следствием, прокурор даже забеспокоился: как бы не наложил на себя руки. Приказал обыскать: нет ли при нем чего-нибудь такого, чем себя жизни лишают?

Когда обыскивали его, поняв, почему обыскивают, сказал: «Зря на меня подумали, не Иуда, чтоб вешаться. Моя вина, но суда не боюсь!»

Трибунал признал наводчика минометного расчета сержанта Никулина виновным в преступном нарушении приказа, что в результате самовольно произведенного им выстрела миной без дополнительного заряда привело к гибели заместителя командира дивизии и ранению командира полка. Учитывая тяжесть последствий, сержант Никулин был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу.

Выслушав приговор, Никулин только глубоко вздохнул, но ничего не сказал. Наверное, было бы легче, если б хоть что-нибудь сказал. А он не сказал ни слова. О том, что приговор трибунала подлежит утверждению Военным советом армии, сержант Никулин во время объявления ему приговора или не услышал, или не придал значения. По лицу его было видно, что он ждал такого приговора. Не потому, что считал себя преступником, а привык к мысли: раз вышло так, что убил человека, значит, и сам должен быть готов к ответу по всей строгости.

Два дня назад приговор трибунала был доложен командующему армией. Человеку на этой должности приходится сталкиваться со многими необходимостями, в том числе и такой тяжелой, как утверждение смертных приговоров, вынесенных трибуналом.

К счастью, эта необходимость бывала редкой. За полтора года командования армией Серпилин вставал перед ней только

трижды. Два приговора утвердил не колеблясь. Третий не утвердил, вернул. И дело кончилось впоследствии штрафным батальоном и смертью в бою.

Этот приговор был четвертым. Серпилин прочел подписанное председателем трибунала и прокурором представление и, не утвердив, отложил в сторону — захотел сам ознакомиться с делом.

Зацепило что-то в приговоре. Да и формулировка — «Преступное нарушение приказа»,— может, по букве закона и верная, не вполне отвечала сути. Преступно нарушил,— значит, приказали идти вперед, а вместо этого побежал назад. А тут вся беда, что выстрелил без приказа! Цветков уже похоронен, и над могилой его на городской площади в Кричеве сказаны слова прощания, и салют дан из двадцати винтовок, и письмо вдове написано — все это уже в прошлом, уже затмилось и перехлестнулось другими делами, и предстоявшая теперь смерть виновного в смерти Цветкова солдата стала уже чем-то отдельным от смерти Цветкова, на что и смотреть необходимо было отдельно. Заставила отложить в сторону приговор и мысль, имевшая отношение к предстоящему наступлению: что это не дезертир и не членовредитель, и расстреливать его перед строем не станут, потому что ни сам случай, ни обстановка этого не требуют. Наоборот, обстановка перед наступлением требует этого не делать. Значит, просто приведут в исполнение приговор, и человека не будет. А что это за человек, которого не будет?

Вчера глядя на ночь Серпилин прочел привезенное ему дело. Из него можно было узнать, что виновник смерти полковника Цветкова сержант Никулин Петр Федорович имел тридцать девять лет от роду и происходил из Пскова, где его семья, состоявшая из жены, тещи и троих детей, еще и по сей день находилась в фашистской оккупации. Оттуда же, из Пскова, где работал складским рабочим на товарной станции, он и пошел по призыву на войну, на которой был один раз награжден медалью «За боевые заслуги» и трижды ранен: под Тихвином в ноябре сорок первого, на верхнем Дону в июле сорок второго и под Белгородом в марте сорок третьего, после чего направлялся на излечение в госпитали, а после излечения в госпиталях возвращался в действующую армию.

Выходило, что сорокалетнего Цветкова, тоже не раз побывавшего в госпиталях, и тоже после них возвращавшегося на фронт, и тоже семейного и многодетного, но только успевшего эвакуировать в начале войны свою семью, убил солдат, как и он, уже немолодой и семейный и продолжавший воевать после всех своих госпиталей.

Прочитав все это, Серпилин не только пригласил к себе прокурора, но и сказал, чтоб доставили осужденного. Доставлять его сюда было не положено, и он знал, что не положено, но приказал сделать.

Про себя уже почти решил не утверждать приговора. Дочитав вчера дело, даже снял трубку и обговорил такую возможность с Захаровым. А все-таки оставалась потребность самому увидеть этого невольного убийцу, опереться в своем решении на личное впечатление о нем. Бывает в жизни: увидишь человека — и что-то меняется в тебе. Раньше решил так, а тут решаешь иначе. Как отказаться от проверки самого себя, тем более в таких обстоятельствах?

— Не видел вас до сих пор,— сказал Серпилин, когда прокурор сел. Подполковник юстиции был еще молодой, лет тридцати пяти, не больше.

— Я только одиннадцатый день в армии, товарищ командующий.

— И сразу такое дело тяжелое,— сказал Серпилин. — Вот задержал утверждение приговора.

— Знаю, товарищ командующий. Ждем.

— Чего? Чтобы утвердил или чтобы не утвердил?

— Чтобы не утвердили, товарищ командующий.

Ответ был таким же прямым, как и вопрос. Видимо, сорвалось с языка то, что было на душе.

— А зачем тогда такой приговор вынесли? — спросил Серпилин, неодобрительно, как показалось подполковнику, глядя на него.

Но, несмотря на этот неодобрительный взгляд, подполковник не отступил:

— Колебались, товарищ командующий. И председатель трибунала и я, когда представление вместе с ним подписывал. Не хотелось идти на такую кару, но и преступление такое, что приходилось учитывать всю тяжесть последствий.

Серпилин посмотрел ему в глаза и вдруг явственно вспомнил то, что в самую первую секунду, еще до всех размышлений, толкнуло его задержать утверждение приговора. Там, в бумаге, которую они ему представили,— сейчас он вспомнил это,— было написано: «Никулина Петра Федоровича, сержанта, ранее не судимого, трижды раненного и после излечения трижды возвращавшегося в строй...»

Глядя сейчас в глаза подполковнику, Серпилин понял, что это последнее — про возвращение в строй после трех ранений, то, что по букве закона упоминать было не обязательно, вписано, чтобы он на этом задержался, когда будет утверждать, чтобы его задели эти слова. Написали и достигли того, чего хотели.

— Осужденного привезли?

— Так точно, привезли. Я его в своей «эмке» с конвоиром привез, чтобы внимания не привлекать.

— Ну и правильно. Что ж его, на черном вороне, что ли, везти? Да его, наверно, у вас и нет, по штату не положено.

— По штату у нас грузовик крытый.

Серпилин кивнул:

— Давайте осужденного.

Через минуту подполковник вернулся с осужденным. Больше никто не вошел, видимо, конвоира оставил там, за дверью.

Осужденный сержант стоял не так, как стоят солдаты перед начальством — руки по швам,— а руки за спину. Кто его так научил, конвоир, что ли? Гимнастерка у него, как и положено, была без пояса и без погон. Только ниточки видны. Гимнастерка старая, выгоревшая. На плечах — темные следы от погон и на груди — от снятой медали. А три нашивки за ранение — две золотых, хотя какие они золотые, давно уже выгоревшие, рыжие, и одна красная! — их оставили. Насчет этого, наверно, нет таких указаний, чтоб нашивки за ранение спарывать. Накрепко вшиты, сидят, как железо в теле.

Сержант был среднего роста, худой, обстриженный под машинку, но уже с отросшими черными с проседью волосами и чисто выбритый.

«Наверно, перед тем, как ко мне везти»,— догадался Серпилин.

Осужденный стоял и смотрел не в землю и не на Серпилина, а куда-то вбок, в стенку, словно никого не хотел тревожить своим взглядом. Словно сам уже примирился с тем, что с ним будет, но не хочет, чтобы люди глядели ему в глаза, чтобы им было совестно из-за этого.

Однако все эти не шедшие из головы у Серпилина мысли в то же время не могли заставить его забыть, что перед ним стоит не просто попавший в беду и ждущий смерти человек, а что именно он, а не кто-то другой своими руками, своим самовольно произведенным выстрелом — как сказано в приговоре, и правильно сказано,— убил полковника Цветкова и сделал инвалидом командира полка.

— Скажите, Никулин,— спросил Серпилин,— почему вы, старый солдат, почти три года воюете в минометных частях, почему, зная порядок, все же произвели выстрел без приказа командира расчета? Тем более вы наводчик, а не заряжающий. И не боевая обстановка, когда потери — и один другого вынужден заменять! Как это могло получиться?

— Хотел поддержать темп огня,— ответил сержант и посмотрел на Серпилина с безнадежной усталостью человека, уже не способного сказать ничего нового.

— Желание верное,— сказал Серпилин,— но без команды производить выстрел никто не имел права. И вы это знаете. Почему же произвели?

— Сам не знаю, товарищ командующий.

На неподвижном, усталом лице сержанта промелькнуло что-то такое, словно он неожиданно для самого себя что-то вспомнил:

— Карасев только вернулся в тот день, три недели желтухой болел, в медсанбате был, может, от этого... — сказал он фразу, сначала показавшуюся Серпилину нелепой.

— Карасев — это командир их минометного расчета,— объяснил подполковник.

— Я заменял его, за командира расчета оставался три недели,— сказал сержант, почувствовав, что его не поняли, и пробуя объяснить свою так и не высказанную полностью мысль: возможно, он потому без приказа произвел выстрел, что на нескольких предыдущих стрельбах, исполняя обязанности командира расчета, сам подавал команду «огонь». Сказал и замолчал, больше ничего не добавил.

По тому, как он замолчал, так и не постарался покрепче схватиться за это вдруг возникшее объяснение, оправдаться им, Серпилин почувствовал, что перед ним стоит человек, не способный ко лжи и не умеющий защитить себя. А может, уже и не желающий.

— Да как же ты, черт тебя дери, без дополнительного заряда мину сунул? Где твоя башка была в ту минуту? — крикнул Серпилин.

И в той горячности, с которой он все это крикнул, была такая досада на случившееся, такое желание сделать все это не случившимся, не бывшим, что именно в эту минуту подполковник понял, что командующий не утвердит приговора.

— Кто его знает,— сказал сержант. — Сколько раз спрашивали, сколько раз думал,— не могу вспомнить, как так вышло.

— Не можешь вспомнить, а человек-то погиб! — сердито сказал Серпилин.

— Моя вина. — Сержант снова стал смотреть мимо Серпилина в сторону, туда, куда смотрел сначала. И, так и продолжая смотреть туда, в сторону, добавил: — Разве я не знаю? По нам в сорок втором, у Софиевки, по нашей позиции своя гаубичная батарея залп дала. Два убитых, девять раненых. Мы потом ходили к ним, сказали им про их грех. А что говорить? Мертвых все одно не воротишь. Мы это знаем,— добавил он печально,

словно говорил это уже не от собственного имени, а от имени всех других людей — и живых и мертвых.

«Да, если бы за каждый недолет, за каждую бомбу или снаряд, который в горячке боев — по своим, судить виноватых,— многих бы недосчитались»,— подумал Серпилин и снова вспомнил Цветкова, уже неживого, лежавшего около могилы в не заколоченном еще гробу, за несколько минут перед тем, как крышку забьют и на нее посыплются первые комья. И лицо Цветкова — желтое, неживое, запавшее на щеках.

Вспомнил на этот раз без злобы на виновника этого, а просто с жалостью и к Цветкову и к другим людям, которые умирают, вместо того чтобы жить. Как надоело узнавать об этом!

«Какими словами и когда сказать о своем решении? — подумал Серпилин, посмотрев на подполковника. — Сейчас, или пусть сперва выведут осужденного?»

Встретившись взглядом с Серпилиным, подполковник встал, приоткрыл дверь и, окликнув конвоира, приказал осужденному выйти.

Серпилин пододвинул к себе лежавшие на столе бумаги.

— Пишу вам так: «Приговор не утверждаю. Считаю меру наказания чрезмерной...» Как вам дальше писать: «Возвращаю на новое рассмотрение»? Или «Предлагаю пересмотреть»? Как там у вас полагается?

— Лучше напишите прямо, чем предлагаете заменить,— сказал подполковник.

— Чем заменить? Штрафною ротою. Это имею в виду. Что же другое? В Сибирь его, что ли, отправлять? Получите подпись члена Военного совета; думаю, будем с ним одного мнения. А после этого сразу делайте,— сказал Серпилин, подумав о завтрашнем наступлении.

Он написал: «Предлагаю направить в штрафную роту для искупления вины кровью», скупо, без росчерка, подписался и, поставив по привычке не только день, но и час, отдал бумаги.

И только когда за прокурором закрылась дверь, вдруг вспомнил, как зимой сорок третьего, как раз в тот первый день, когда он приступал к обязанностям начальника штаба армии, Батюк в его присутствии тоже не утвердил смертного приговора.

Долго держал бумагу перед глазами и, словно вдруг вычитал в ней что-то новое, спросил тогдашнего их прокурора Полознева: «Как думаешь, Полознев, если оставим его жить, он еще одного фашиста убить может?..»

Встав из-за стола и сделав несколько шагов взад и вперед по тесному немецкому домику, Серпилин позвонил по телефону Бойко.

— Григорий Герасимович, иду к тебе... Тем лучше, что он у тебя.

Бойко сказал, что у него находится командующий артиллерией армии.

Надев фуражку и велев Синцову остаться здесь и дежурить у телефона, Серпилин пошел к Бойко. В лесу было прохладно, и Серпилин, пока шел, принюхивался к лесной сырости. Небо, видневшееся между купами деревьев, было серое, низкое, ровное, без просветов.

Погода, как всегда на войне, планированию не поддавалась и продолжала беспокоить Серпилина.

Бойко приказал срубить для себя маленький блиндажик — спал там, а работал в большой, двойной палатке. Он любил работать просторно и при всякой возможности старался отхватить себе рабочее помещение побольше и привести его в наилучший порядок. Просторное помещение требовалось еще и потому, что Серпилин обычно не вызывал начальника штаба к себе, а сам ходил работать к нему, считая это более полезным для дела и экономным по времени. Увидел такой порядок работы в штабе фронта у Рокоссовского и с тех пор завел у себя. А теперь оказалось, что не он один последовал хорошему примеру. Батюк тоже к своему начальнику штаба работать ходит. В былое время только заглядывал посмотреть обстановку, а теперь, видимо, в систему взял.

Когда Серпилин вошел в палатку, Бойко и командующий артиллерией генерал Маргиани стояли над рабочим столом Бойко, во всю длину которого была развернута схема. Оба разогнулись навстречу Серпилину, и Бойко почти достал головой до брезента палатки.

«Вымахал же дядя!» — уже в который раз подумал Серпилин, с удовольствием глядя на Бойко, на его очень высокую, но пропорционально широкую в плечах, атлетическую фигуру, на белокурую курчавую, надменно посаженную голову. Лицо Бойко, правильное и красивое, было, однако, из тех лиц, которые красивыми не называют: этому мешает выражение силы, которое, преобладая на таких лицах, заставляет забывать обо всем другом.

Маргиани, худощавый и тоже довольно высокий, сейчас, когда Бойко вытянулся во весь рост, казался рядом с ним малорослым. Бойко вообще привык вытягиваться, словно аршин проглотил. И когда докладывал начальству и когда ему докладывали подчиненные, вытягивался одинаково, это у него было в крови. И спал тоже вытянувшись во весь свой рост. Хозяйская ли кровать где-то в деревне или раскладная койка, которую возил с собой, все равно ординарец пристраивал табуретку, чтобы

все сто девяносто пять сантиметров несгибаемого даже во сне начальника штаба армии могли уместиться по прямой.

Серпилин не стал спрашивать, чем они занимались; подойдя к столу между расступившимися Бойко и Маргиани, увидел, что схема была та самая, какую он и предполагал увидеть,— план артиллерийского наступления.

Как и в каждой сложной военной задаче, в перемещении артиллерии вслед за наступающей пехотой была своя диалектика; недаром говорят: «огнем и колесами». С одной стороны, развитие боя требовало постоянной поддержки огнем артиллерии. А с другой стороны, если, удовлетворяя эти запросы, беспрерывно сопровождать пехоту огнем на все большую дальность, все с тех же позиций, не перемещая артиллерии, можно в конце концов дойти до предельной дальности и оставить пехоту вообще без поддержки.

Учитывая и то и другое, приходилось составлять для наступления такой график, при котором одна треть артиллерии передвигается вперед и временно безмолвствует, а две трети стоят на месте и ведут огонь.

Когда-то, в начале войны, и по недостатку артиллерии и по приверженности к старым уставным порядкам, перемещали артиллерию на новые позиции побатарейно, внутри каждого дивизиона. Две батареи вели огонь, а одна передвигалась; потом, когда она вставала на новое место, начинала передвигаться вторая... Теперь от этого отказались: слишком мелкое членение запутывало дело, создавало лишнюю суету. Количество стволов, несравнимое с тем, какое имели в начале войны, позволяло осуществлять тот же принцип, перебрасывая артиллерию уже не батареями и даже не дивизионами, а по возможности целыми полками и бригадами. Одни полки продолжали бить со старых позиций, другие передвигались, третьи готовились к движению. Все это и было отражено на той схеме, которую смотрели Бойко с командующим артиллерией.

— А это тот полк, что у тебя на срубах стоит? — спросил Серпилин, увидев на схеме артиллерийские позиции, от которых не шло пунктира дальнейшего движения.

— Да,— сказал Маргиани.

Артиллерийский полк, о котором шла речь, был посажен прямо в болото. Были сделаны срубы, забучены камнем, и на эти срубы поставлены орудия. Все это было сделано скрытно, по ночам, в какой-нибудь тысяче метров от передовой.

Этот полк должен был открыть неожиданный и убойный огонь с кратчайшей дистанции. А затем в течение всех первых суток увеличивать дальность огня почти до предела, не двигаясь

с места; вытянуть оттуда, из болота, тяжелые орудия было не так-то просто.

В общих чертах все это уже было известно Серпилину, но, раз он спросил, Маргиани еще раз подробней доложил ему про этот полк.

— А схему огня по тыловым рубежам смотрели? — спросил Серпилин.

— Смотрели,— сказал Бойко и повернулся к командующему артиллерией.

Тот открыл портфель, вынул еще одну схему и развернул ее на столе поверх первой. Она была уже знакома Серпилину в разных вариантах — первоначальном, уточненном, окончательном, но сейчас он снова смотрел на нее и думал, как много зависит от того, на сколько процентов проведем все это в жизнь.

Если наступление пойдет хорошо, прорванные и сбитые в течение дня с первой позиции немцы постараются за ночь сесть вот на эту свою вторую полосу, нанесенную на нашей схеме с максимально доступной нам точностью. Не дать им сесть туда ни за ночь, ни утром — одна из главных задач; с ее решением связан дальнейший ход операции. И значит, надо уже к концу первого дня двинуть артиллерию вперед так, чтобы у нее хватило дальности ударить несколькими сотнями стволов по этой второй полосе, когда немцы только начнут садиться на нее.

Добавить к запланированному было нечего, Серпилин просто стоял и еще раз смотрел на эту схему. В планировании боя есть разумный предел, за которым излишнее предугадывание будущего переходит в самообман, в неготовность перестроиться и принять те мгновенные решения, которых потребует обстановка, вдруг сложившаяся вопреки плану.

И все же схема завораживала. Трудно было оторваться от нее, потому что очень хотелось, чтобы все пошло именно по этому так хорошо составленному плану.

— Ладно, складывайте,— сказал Серпилин, заставляя себя оторваться от схемы.

— И вторую тоже. Больше смотреть не будем,— сказал Бойко.

Командующий артиллерией привычно и быстро сложил схемы по сгибам и спрятал их в портфель.

— Что дает ваша метео? — спросил Серпилин, пока Маргиани занимался этим. — Есть разночтения с нашей?

У командующего артиллерией был свой штаб, в нем свой оперативный отдел, а в этом оперативном отделе—своя метеослужба.

— Уже сверялись друг с другом,— ответил Маргиани. — Расхождений нет, а опасения одинаковые. Погода сложная.

— Ну как? — посмотрел Бойко на командующего артиллерией. — Кто из нас доложит? Я, что ли?

Маргиани кивнул.

— Полчаса назад уехал начальник штаба воздушной армии,— сказал Бойко. — Уточняли с ним последние данные авиаразведки. Авиаторы настаивают, что штаб корпуса у немцев все же выдвинут сюда и находится: северная окраина Коржицы, южная опушка леса. — Бойко показал по карте, освободившейся теперь от лежавших поверх нее артиллерийских схем. — Авиаразведка засекла вторую, дополнительную дорогу через лес, которая, считалось, обрывается, а на самом деле на последних километрах она просто закрыта масксетью. И еще одну линию связи обнаружили; штурмовики на бреющем сегодня утром над ней прошли. Так что прежние выводы подтверждаются.

— И что же вы решили тут без меня? — чуть-чуть усмехнулся Серпилин.

Он уже понял, что Бойко, поговорив с авиатором, решил, прежде чем докладывать, посоветоваться с командующим артиллерией и заранее установить с ним общую точку зрения.

Укорять их в этом не приходилось; все это было, на взгляд Серпилина, вполне нормально, но он не мог удержаться от человеческой слабости — дал им понять, что знает ход их мыслей.

— Если нанести сюда — будем считать, что тут их штаб корпуса,— бомбовый удар ночью,— сказал Бойко,— результат сомнителен. У них в штабах хорошие укрытия, они теперь с этим не шутят. Если еще сегодня, до темноты, пустить штурмовики с прикрытием истребителей, немцы, может, и понесут потери, но у них останется ночь на то, чтобы после такой штурмовки переместиться на не установленный нами запасной командный пункт. Наилучший вариант — ударить дальнобойной артиллерией одновременно с началом артподготовки, а потом перемежать артналеты и беспокоящий огонь, не давать штабу работать, рвать связь, мешать управлению.

— Все хорошо,— сказал Серпилин,— но как с дальностью? Дальности-то не хватит! Пока не двинемся вперед, на самом пределе будем стрелять. Только снаряды зря расходовать.

Сказал с уверенностью, потому что все это однажды уже прикидывали. Наша артиллерия с нынешних ее позиций практически туда не доставала.

— Вот Маргиани сообщил,— кивнул Бойко на артиллериста,— что в распоряжение фронта из резерва Ставки поступил новый артполк большой мощности. Если поставить его сюда,— Бойко показал на карту,— штаб корпуса окажется в зоне действительного огня.

— Куда? — Серпилин надел очки и посмотрел на карту. — Здесь у вас позиции реактивных установок.

— А мы их переместим сюда,— показал уже не Бойко, а Маргиани.

— Ладно,— сказал Серпилин. — Допускаю. Поставите, переместите и даже успеете все вовремя сделать. А кто нам этот полк даст? Я о нем, например, еще ни от кого не слышал.

— Есть он,— сказал Маргиани. — Вчера прибыл в распоряжение фронта. Только его не предполагают в первый день наступления вводить. Хотят пока в резерве оставить.

— И что вы мне предлагаете? — усмехнулся Серпилин.

— Попросить этот полк, товарищ командующий,— сказал Бойко.

— У кого?

— Прямо у командующего фронтом.

— Если приедет к нам?

— Если приедет. Я у Кирпичникова про него узнавал, он с самого утра нигде даже не перекусил. Видимо, перекусит здесь, у нас.

— Да-а,— протянул Серпилин.

Предложение было заманчивое, но обращаться к Батюку с просьбой дать этот дальнобойный полк не хотелось. Ставя себя на его место, хорошо представлял, что, несмотря на все соблазны, все же при достаточном количестве артиллерии в армии мог бы придержать у себя в резерве такую силу, как этот полк. Вполне можно нарваться на отказ Батюка — не будет ничего удивительного.

А нарываться на отказ — дело не просто в самолюбии: не хочется и самому привыкать и начальство приучать к тому, чтобы оно тебе отказывало.

Но, с другой стороны, если там действительно штаб немецкого корпуса и если организовать по нему такой огонь...

— Хорошо, будь по-вашему,— сказал Серпилин. — Только сразу уточним. Сколько времени ему к нам идти, если нам его дадут, посчитали?

— Посчитали,— сказал Бойко. — Сейчас стоит здесь, в районе выгрузки. — Он показал на карте. — За три часа после получения приказания может дойти на своей гусеничной тяге и стать на место.

— И когда же его перемещать, ночью?

— Нет, днем,— сказал Маргиани. — Желательно, чтобы еще засветло стал на позиции.

— А если немцы засекут его днем в движении?

— А я на всякий случай дал авиаторам заявку,— сказал Бойко. — Если прикроем маршрут движения беспрерывным патрулированием истребителей — не дадим немцам наблюдать, это в наших силах. День длинный, в двадцать один час можно еще успеть пристрелку произвести. Сразу, как на место прибудут.

— А как планируете пристрелку?

— Пристреляемся. Выберем для пристрелки отметку не перед собой, а перед соседом справа, а потом пересчитаем данные,— сказал Маргиани. — Конечно, не будем их там, в штабе корпуса, тревожить своей пристрелкой!

— Это-то понятно,— сказал Серпилин. — Ну, а как с тем, что мы прибытие к нам таких больших калибров своей пристрелкой обнаружим?

— А когда обнаружим, товарищ командующий? — возразил Маргиани. — Обнаружим, когда немцам уже поздно будет. И притом не на участке прорыва. Ну, прибыли на фронт эти калибры! Что немцы за ночь успеют? Доложат, что прибыли, только и всего.

— Да, соблазн велик,— сказал Серпилин.

В эту минуту затрещал телефон. Бойко взял трубку и передал Серпилину:

— Вас.

Синцов доложил ему, что звонили от Кирпичникова. Батюк и Львов выехали из корпуса сюда.

Едва Серпилин положил трубку, как телефон снова зазвонил. На сей раз о том же самом звонили Бойко.

— Пойду к себе,— заторопился Маргиани. — Разрешите?

— Хочешь, чтобы у командующего фронтом без тебя для тебя артиллерию просил? В случае чего—мне отказ, а ты в стороне? Не знал раньше за тобой такого восточного коварства.

— Я буду у себя наготове,— не отвечая на шутливый упрек Серпилина, сказал Маргиани. — А своего оператора пошлю в наш четвертый артиллерийский парк; он рядом с этим хозяйством. Как только позвоним ему туда, он через пять минут будет у них.

— Смотри, как у тебя все рассчитано,— сказал Серпилин. — Иди. Только на всякий случай скажи, откуда агентурные сведения получил об этом хозяйстве? Ссылаться не буду, а знать хочу.

— В крайнем случае можете и сослаться,— сказал Маргиани. — Блинов сообщил.

— Почему Блинов? — недоумевая, спросил Серпилин.

Начальник связи армии Блинов, как и все связисты, был человек хорошо информированный, но все же почему именно

он первый узнал о только что прибывшем из резерва Главного командования хозяйстве, было непонятно.

— А они, когда пришли на место, свою связь еще не протянули, на нашу сели, чтобы доложить командующему артиллерией фронта. Имели дело с нашим Блиновым.

— Ну, раз имели дело с нашим Блиновым, то конечно... — кивком головы отпустив Маргиани, полунасмешливо-полуодобрительно сказал Серпилин о Блинове, который, по его мнению, хорошо исполнял свое дело, но при этом был чересчур уж ловок. — А командующий фронтом продолжает считать, что мы в неведении. Может нагореть командиру полка, хоть он и из резерва Главного командования.

Были и другие вопросы, над которыми следовало подумать вдвоем с Бойко, но сейчас начинать эту работу не имело смысла. Дороги в полосе армии приведены в порядок, и хотя Батюк не любит ездить особенно быстро, все равно скоро будет.

— Лавриков! Лавриков! — два раза, второй раз погромче, крикнул Бойко.

В дверях палатки появился его ординарец Лавриков, старшина по званию, заодно исполнявший при нем и обязанности адъютанта. Все время работая с офицерами штаба и выезжая в войска всегда с кем-нибудь из них, Бойко не считал нужным иметь адъютанта в офицерском звании: пробывший с ним всю войну и дослужившийся до старшины расторопный Лавриков вполне удовлетворял его.

— Сбегайте в столовую Военного совета, скажите, что через десять минут придем. Шесть человек... или семь,— подумав, добавил Бойко. — И чтобы горячее было наготове, только в тарелки оставалось разлить.

— Кто, считаешь, седьмой? — спросил Серпилин.

— Возможно, Маргиани придет.

— Навряд ли. Постарается не прийти. Не сказать, чтоб мы с тобой до слез любили начальство, но уж он... Не грузин, а отшельник какой-то. Мцыри... Возможно, и не будет обедать,— помолчав, сказал Серпилин о Батюке. — Просто заедет, чтоб выслушали все замечания лично от него. Он в этом щепетильный. Сколько его помню, мимо меня не проезжал. И всегда, когда обстановка позволяла, предупреждал, что приедет. Сегодня исключение. И правильно, что исключение. Армия не ларек с пивом, тут внезапных ревизий не требуется: сколько пива недоливаем? Не терплю таких ревизоров.

— Я тоже.

— Если, конечно, заранее на всех нас смотреть как на очковтирателей, тогда дело другое. А если ты сам действительно воен-

ный человек и к военным людям едешь, в том-то и сознание твоей силы, чтобы не бояться предупредить: приеду, будьте готовы! А потом, несмотря на всю их готовность, все равно увидеть все, что у них недоработано... Завтра на НП поедешь смотреть, что будет делаться? — спросил Серпилин у Бойко, подумав о завтрашнем дне.

— Не предполагал. Необходимости в моем присутствии, думаю, не будет.

— Ну, а соблазн, если даже без необходимости? Я, например, когда начальником штаба армии под Сталинградом был, не мог удержаться, ездил вместе с Батюком на НП, посмотреть своими глазами.

— Думаю, на этот раз удержусь,— сказал Бойко. — Охотников в бинокли глядеть и без меня хватит. А если по делу — мне отсюда по телефонам видней будет.

— Отчасти верно,— согласился Серпилин.

Он знал, что начальник штаба неодобрительно относится к излишнему сидению на наблюдательных пунктах, считает, что в таком звене, как армия, не говоря уж о фронте, в современном бою поле обзора слишком малое по сравнению с масштабом происходящего, и выгода личных наблюдений чаще всего не перекрывает тех невыгод, с которыми связано пребывание на наблюдательном пункте человека, управляющего боем. Все равно всего не видит, а быстрота и четкость в отдаче приказаний ухудшаются, когда они дублируются в два этажа — и на наблюдательном и на командном пунктах. Кроме того, у Бойко была еще целая теория, которую он уже высказывал Серпилину: личное наблюдение приводило, по его мнению, к перекосам в оценках происходящего. То, что ты сам непосредственно видишь, сильней на тебя воздействует, чем все другое, возможно более существенное, что происходит в это же самое время вне поля твоего зрения. И бывает, что в результате с наблюдательного пункта идут назад, в штаб, скороспелые приказания как вывод из лично наблюдаемой обстановки, а не из оценки всей обстановки на всем поле боя.

Бойко считал, что за его точкой зрения — будущее, что она все равно когда-нибудь станет общепринятой. Не на этой войне, так потом!

Серпилин, находя его точку зрения крайней, сам любил ездить вперед, в войска, и возможность лично, своей рукой пощупать пульс боя считал необходимой предпосылкой для отдачи общих, а не только частных приказаний. Умом признавал, что истина где-то посредине, но не мог отрешиться от уже сложившейся привычки помногу бывать там, впереди.

Во время рекогносцировок Бойко считал для себя, как для начальника штаба, необходимым вместе с командующим облазить передний край, но, когда приходила пора управлять боем, почти не двигался с места, считая, что только в штабе все нити боя безотказно сходятся в его руках.

— Я Блинова еще раз послал,— сказал Бойко,— лично проверить оттуда, с вашего наблюдательного пункта, на слышимость и надежность всю вашу связь с командирами корпусов, чтобы нам как можно меньше пришлось дублировать.

— Это хорошо, благодарю,— одобрил Серпилин.

Бойко был самый настоящий фанатик бесперебойной связи, выматывал жилы у связистов, требовал с них беспощадно, но и помогал им всем, на что был способен. «Что такое штаб без связи?—любил говорить он.—Отрубленная голова. Глазами еще моргает, но не видит. Руки-ноги еще дрыгаются, но уже не живут».

— Думаю, если все будет нормально, пораньше лечь сегодня,— сказал Серпилин. — Сразу, как только итоговое донесение подпишем. Еще неизвестно, сколько потом спать доведется...

Они оба услышали шум подъезжавших машин и вышли из палатки встречать.

Машин было две. Открытый «виллис» командующего фронтом и «эмка»-вездеход с двумя ведущими осями, на которой, предпочитая ее «виллисам», ездил Львов.

Из «виллиса» вылез Батюк в полевой фуражке и в надетой поверх кителя плащ-палатке. Вслед за ним с заднего сиденья вылезли его обычный спутник, которого он всегда возил с собой с тех пор, как принял фронт, заместитель начальника оперативного управления полковник Ланской и генерал Кузьмич.

«Воп как! Даже в свой «виллис» сегодня Кузьмича забрал»,— подумал Серпилин, здороваясь с командующим фронтом.

Из «эмки» вылез Львов и, прихрамывая, подошел к Батюку, уже успевшему поздороваться с Серпилиным и Бойко. Наступило минутное молчание, словно все стоявшие здесь, в лесу, перед палаткой, не знали, что им теперь делать. Кто его знает, отчего такие занятые сверх меры люди вдруг способны на такую потерю времени? Может, как раз оттого, что все они так долго были заняты сверх меры и столько всего переговорили за последние дни, что уже и говорить почти не оставалось сил. Оставалось лишь ждать завтрашнего утра, когда начнется то, ради чего все они столько работали.

— Вот, захромал у нас,— кивнув на Львова, сказал Батюк. — Еле ходит сегодня.

— Может, нашего хирурга вызвать? — спросил Серпилин.

— Ушиб ногу. Не имеет значения,— сказал Львов.

— Не ушиб, а связки растянул,— поправил Батюк. — Хирург вчера смотрел и мне докладывал, что в другое время и другого человека уложил бы на неделю, не дал ходить.

— Оставим это,— сказал Львов с какой-то сердитой неловкостью, за которой чувствовалось, что он не только не любит, но и не умеет говорить о себе; не привык к тому, что у него, как и у всякого другого человека, может что-то болеть и кто-то помимо него, да еще вслух, может обсуждать этот вопрос.

Он сделал три шага, обойдя сзади Батюка, с таким совершенно неподвижным лицом, что было ясно: другой на его месте скрипел бы зубами от боли.

— Заехали к вам ненадолго,— сказал Батюк. — От вас — к соседу справа. Все же как-никак, хотя он и ограблен в вашу пользу, а и ему воевать. По всему, что раньше у вас видели, раньше разговоры были. А сегодня, по ходу дела, указания вот,— он кивнул на Кузьмича,— соратнику Фрунзе в дороге дал; он тебе их доложит. Серьезное предупреждение одно, еще раз тебе лично повторяю,— обратился Батюк к Серпилину с изменившимся, сердитым лицом. — Районы сосредоточения для двух танковых бригад далековаты от исходных. Предупреждал тебя своевременно, но ты на своем настоял,— якобы другого места не нашли! Еще раз обращаю твое внимание. Не дай бог, если своевременно на исходные позиции не прибудут, опоздают поддержать пехоту,— пеняй на себя.

— Ясно, товарищ командующий.

— Что тебе ясно? — хмуро спросил Батюк.

— Ясно, что взял на себя ответственность за это. Сделаем все вовремя, согласно своим расчетам.

Батюк сердито посмотрел на Серпилина, наверно, хотел другого ответа, но сдержался. То ли так устал за эти дни, что не было сил сердиться, то ли копил гнев на завтра. Как бы хорошо ни пошли дела, а для гнева в течение дня боя поводы все равно будут.

— Приглашаем отобедать, товарищ командующий,— сказал Серпилин.

— Сколько займет? — спросил Батюк.

— Тридцать минут, если спешите.

— Раз так, согласны. Хотели бы не спешить, но спешим. Где у вас руки помыть?

Начальнику столовой Военного совета было приказано поставить к приборам стаканы, а на стол кроме обычного хлебного кваса, который всегда был у него,— бутылку коньяка. Командующий фронтом обычно не пил за обедом ни дома, ни в гостях, но если уж пил, то коньяк.

— Это как понимать? — сказал Батюк, первым садясь за стол и показывая на коньяк. — Предлагается выпить? А за что? Пока ничем не отличились. Ни вы, ни мы с членом Военного совета,— кивнул он на Львова.

— Можем убрать, чтобы глаза не мозолил,—сказал Серпилин.

— Раз уж поставил, поздно убирать,— сказал Батюк. — Что впереди — там увидим, кому и какие будут салюты. А позади, как ни считай, три года войны. Как бы за это время ни костили друг друга — сверху вниз — вслух, а снизу вверх — про себя, а все же три года провоевали, блицкриг-то у немцев длинный вышел. Есть причина выпить. Тем более отсырел сегодня. Места все же болотистые, и лето сырое. Только уж пить, так всем,— повернулся он к Львову.

Тот молча кивнул, потянулся к бутылке, налил себе четверть стакана и передал бутылку Батюку.

— А вы, я вижу, вовсе больной нынче,— сказал Батюк так, словно ему доставляло удовольствие вспоминать о нездоровье Львова.

Серпилин посмотрел на Львова. Его худое треугольное лицо с темными мешками под глазами было истомлено усталостью и действительно имело нездоровый вид. Еще более нездоровый, чем обычно.

Пока остальные вслед за Львовым и Батюком разливали себе коньяк, а подавальщица Фрося ставила на стол закуску — селедку с винегретом,— Батюк, держа в руке стакан с коньяком, налитый чуть повыше, чем у Львова, заговорил о том, что вчера на севере перешел в наступление еще один фронт. И первая оперативная сводка хорошая.

Фронт, о котором заговорил Батюк, был тот самый, где он почти год пробыл заместителем командующего, прежде чем его перебросили на юг командовать гвардейской армией.

— Застоялся там народ. Пока я там был, если не считать частных операций, почти все время стояли. Как в такой обстановке себя проявишь, при всем своем желании? Ну что? Кто три года отвоевал и жив — тем и дальше желаю. А кто не жив — земля пухом! — сказал Батюк и, оглядев всех, выпил.

Львов тоже выпил, равнодушно, как лекарство. Выпили и остальные.

— Кто его знал, что первой границей, на которую обратно выйдем, против ожиданий окажется румынская, а второй — финская? Сперва на юге, теперь на севере... — сказал Батюк и сделал паузу.

Договорил он до конца то, что было на уме, оставалось сказать: теперь дело за нами. Но он промолчал, не захотел вслух

говорить о том, что им всем предстояло и что существовало в их сознании так неотвратимо и близко, что даже время отсчитывалось уже спереди назад: считали, сколько его еще осталось до того условного момента «Ч», когда все начнется.

— Считаем до этого и после этого, как до и после рождества Христова,— пошутил на днях Серпилин.

Подавальщица Фрося принесла и поставила перед каждым дополна налитые тарелки с вермишелевым супом и кусками курицы в нем.

— А чего после этого? — спросил Батюк, подняв на нее глаза.

— Что пожелаете — котлеты или бефстроганов.

— Ничего больше не пожелаем. Суп твой съедим, куру погрызем, кого чем оделила, и поедем. А чаю у соседа выпьем, чтоб не обижался. Как? — повернулся Батюк к Львову.

Тот кивнул.

Серпилин вспомнил, как прошлый раз Львов приказал во время обеда своему порученцу принести что-то из машины, и как тот принес и отдал ему сверток в пергаментной бумаге, и как Львов доставал оттуда какие-то свои диетические капустные котлетки; ел сам и предлагал другим. Сейчас он никого не позвал, котлетки на столе не появились. Ел то же, что и другие.

— Маскировка у вас неплохо поставлена. До конца додержали порядок,— сказал Батюк во время супа. — И дисциплина движения на дорогах на высоте. Это соратник Фрунзе тут строгость такую навел? — кивнул Батюк на Кузьмича, обращаясь к Серпилину.

— Да, Иван Васильевич приложил много усилий,— сказал Серпилин, радуясь, что совместная поездка с Батюком, видимо, не вышла Кузьмичу боком.

— Строгости большие,— усмехнулся Батюк и снова кивнул на Кузьмича: — Хотел было нас с членом Военного совета в одну машину сселить. А как нас сселить? Я дышать люблю, со всех сторон открытый езжу. А Илья Борисович, как в машину — сразу на все стекла закручивается. Как нам вместе? А с другой стороны, у вас приказ по армии — вблизи передовой не больше двух машин вместе. Ничего не оставалось, как только генерала Кузьмича к себе взять. Раз обещаете хорошо воевать, приходится соглашаться на ваши условия.

— Обещаем, товарищ командующий,— сказал Бойко, хотя и негромко, но так серьезно, что все невольно обратили внимание.

— А мы сегодня с товарищем Львовым доискалися,— обращаясь к Серпилину, сказал Кузьмич, обрадованный общим хо-

рошим настроением за столом,— что здесь, на Западном фронте, в двадцатом году соседи с ним были. Я Двадцать девятым имени Московского пролетариата полком у начдива-семь, у Сергеева, командовал, а он,— повел Кузьмич головой в сторону Львова,— левей нас шел, комиссаром Четырнадцатой Железной бригады. Почти до самой Варшавы, можно сказать, рядом шли. И обратно, правда, больше ста верст катилися. Чего на войне не бывает!

— Если бы не Тухачевский, не катились бы,— коротко и зло сказал Львов. Сказал, как выстрелил.

За столом наступила тишина. Казалось, Львов скажет сейчас что-то еще, такое же холодное и резкое, но он ничего больше не сказал, а, придерживая левой рукой куриную ножку, обернув ее кончик кусочком линованной бумаги, по случаю гостей нарезанной из тетрадок вместо салфеток, счищал с нее мясо вынутым из кармана маленьким перочинным ножом.

С середины 1937 года Тухачевский считался предателем, и к этому уже привыкли. Но чем дальше шла война, тем меньше в армии любили говорить на эти темы. Они все дальше отодвигались куда-то не то в прошлое, не то в сторону. И от внезапных слов Львова всем стало не по себе.

— А ты где был тогда? Помнится, на Перекопе? — нарушив молчание, обратился Батюк к Серпилину.

— В северной Таврии и на Перекопе, полком командовал,— сказал Серпилин.

Ему показалось, что, хорошо зная, где он в то время был, Батюк нарочно задал этот вопрос после слов Львова.

Он посмотрел на Львова — все еще держит бумажкой, чтоб к пальцам не прилипло, и стругает своим перочинным ножом курицу...

— Я тогда в тифу лежал,— сказал Батюк. — Первая конная с Западного Буга на Каховку пошла, а я как дурак — в тифу.

Он встал, так и не дав Львову достругать свою курицу.

— Если вопросов нет, поехали. — Батюк застегнул верхний крючок на кителе и разгладил пальцами усы.

— Товарищ командующий, есть срочный вопрос,— сказал Серпилин; он помнил, что вопрос надо задать как можно скорей, но ждал, когда кончится обед.

— Какой?

— Может, пройдем к начальнику штаба? Хотел бы на карте...

— Давай здесь,— сказал Батюк. — Я твою карту наизусть помню. Слушаю.

Серпилин начал с того, что авиаторы сегодня еще раз подтвердили пункт расположения штаба немецкого армейского корпуса.

— Тебе еще раз подтвердили, а мне еще не докладывали,— ревниво сказал Батюк.

— Это в моей полосе,— сказал Серпилин. — А вас на месте не было.

— Ладно,— усмехнулся Батюк. — Вернемся — разберемся, почему такие вещи тебе раньше меня докладывают. В чем твой вопрос? Хочешь, чтоб ударили по этому штабу?

— Да.

— Ударим.

По выражению его лица было видно, что он настроен сейчас же ехать. Но Серпилину еще предстояло самое трудное.

— У нас есть предложение и просьба,— сказал он.

— Просьба?

На недовольном лице Батюка можно было прочесть тот упрек, которого Серпилин заранее ждал: «Сколько тебе дали, всех соседей раздели, чтобы тебе дать! Себя самих раздели, фронтовых резервов в обрез оставили — все тебе! Какие еще у тебя просьбы?»

Но Серпилин все равно сказал то, что собирался: о прибывшем в распоряжение фронта дальнобойном артиллерийском полке и о необходимости временно подчинить его армии для удара по штабу немецкого армейского корпуса.

Пока Серпилин говорил все это, Батюк медленно багровел. Сдерживал себя, но не сдержал.

— Не дам! — отрезал он и, надев на голову фуражку, которую до этого держал в руках, дернул ее за козырек, надвинув на лоб.

— Товарищ командующий, разрешите... — начал было Серпилин.

— Не разрешу! Совсем обнаглели. Думаете, одна ваша армия на весь фронт? Слали им, слали,— как в ненасытную прорву, чего только не дали! А ему еще надо! Полк, понимаешь, ко мне вчера пришел! Вчера пришел, а сегодня уже тебе его отдай? А откуда вам известно, что к нам этот полк пришел? Кто вам эти сведения сообщил? Ты, что ли, Ланской, сообщил им? — спросил Батюк, повернувшись к стоявшему позади него полковнику.

— Оперативное управление ничего никому не сообщало, товарищ командующий,— сказал полковник. — Прибытие резервов из Ставки Главного командования по положению строго секретно.

— Для кого секретно, а для кого и нет! Для них, выходит, не секретно. — Батюк уже пошел к машине, но на ходу повернулся и сказал: — По делу надо бы еще спросить — откуда об этом знаете?

— А может, и в самом деле надо спросить,— сухо сказал молчавший до того Львов.

— Надо бы, да неохота,— махнул рукой Батюк. — Все равно начальники сухими из воды выйдут, а какой-нибудь стрелочник виноват окажется. Не хочу мараться перед самым наступлением, а то бы спросил. А полка не дам, и не думай! — еще раз повторил он.

И когда повторил это «не дам» во второй раз, Серпилин подумал: Батюку все же запала в голову мысль, что полк просят для дела. Но в том состоянии гнева и даже обиды на Серпилина, в каком он сейчас находился, не мог дать хода этой здравой мысли.

— За хлеб-соль спасибо,— сказал Батюк, садясь в машину. — Думал, даром нас похарчили, оказывается, не даром! Завтра на НП встретимся. — Он приложил руку к фуражке.

— Товарищ командующий фронтом,— подал голос стоявший у самой машины Кузьмич,— разрешите вас проводить до границы армии?

— Провожайте, коли вам больше делать нечего,— сказал Батюк,— только на своей,— и махнул водителю:— Давай!

Львов сухо и не спеша простился за руку с Серпилиным и Бойко и сел в свою «эмку». По выражению его лица Серпилин понял, что он все же выяснит, откуда у них в армии сведения об этом полке из резерва Главного командования.

Кузьмич насмешливо мотнул головой, крякнул по-стариковски и полез в свой «виллис», запасливо оказавшийся тут же рядом, у столовой...

— Ты, Федор Федорович, не слыхал еще в ту мировую войну рассказ: что есть субординация?

— Не слыхал,— сказал Серпилин.

— Вернусь доложить, как сопроводил, расскажу.

Машина Кузьмича развернулась и ушла вслед за двумя первыми. Серпилин и Бойко остались вдвоем.

— Чего вы расстроились, Федор Федорович? — спросил Бойко, глядя на Серпилина. — Плюньте.

— На форму плюнуть могу. А на содержание — не вправе. Пусть бы хоть обматюкал, но полк дал. Не хочу с этим мириться, что не внял голосу рассудка. Конечно, отсюда, из армии, не все видно, но убежден, что этот полк завтра нигде с большей пользой не задействует, чем там, где мы предложили! Вот вроде меняется человек на твоих глазах к лучшему, а потом вдруг наткнешься и видишь: в одном изменился, а в другом какой был, такой и есть.

— Пойдемте поработаем,— предложил Бойко.

— А что же еще делать? Слезы лить? Пошли.

Они проработали минут тридцать. Раздался звонок, и Бойко взял трубку.

— Бойко слушает. Да, здесь. А ты бы после позвонил, не отрывал сейчас. Работает командующий, не до тебя,— сказал Бойко с той властной повадкой, которая замечалась у него и раньше, а после того, как исполнял обязанности командарма, еще усилилась. — Никитин звонит. — Бойко повернулся к Серпилину, держа трубку в руке. — Говорит, всего на минуту вас оторвет.

Серпилин взял трубку, подумав, что начальник особого отдела армии Никитин, скорее всего, звонит в связи с неутверждением приговора над тем сержантом. Но Никитин звонил совсем о другом.

— Извините, товарищ командующий, что оторвал,— быстро сказал он в трубку. — Ко мне временно прибыл один человек. Уверен — вы его увидеть захотите. Прошу назначить время, когда могу с ним зайти.

Серпилин чуть не поддался первому желанию спросить, что это за человек, имя и должность которого почему-то не назвал Никитин, но удержался и, сказав, чтобы Никитин зашел в двадцать один час, добавил:

— Сперва один. — Когда клал трубку, заметил скользнувшее по лицу Бойко выражение любопытства и мимолетно улыбнулся: — Секреты разводит. Видимо, лично, а не по телефону доложить хочет.

Они проработали еще полчаса, когда раздался второй звонок. Бойко снова взял трубку и сразу передал ее Серпилину:

— Командующий фронтом!

— Принимай то хозяйство, о котором просил,— с места в карьер, не называя Серпилина ни по фамилии, ни по имени и отчеству, сказал Батюк. — Уже приказал, чтоб отдали завтра до конца дня в твое распоряжение. Но на дальнейшее не рассчитывай, отберу. — Батюк ничего не добавил и, не прощаясь, положил трубку.

«Нелегко ему далось пересилить себя, а все же, пока доехал до соседа, пересилил!» — подумал Серпилин и весело сказал Бойко, чтоб тот звонил Маргиани — пусть начинает действовать по плану.

— Даже «спасибо» не успел сказать командующему фронтом. Сразу трубку бросил!

Бойко позвонил Маргиани и, переговорив с ним, озабоченно сказал Серпилину:

— Помяните мое слово, как только займем эту рощу, командующий фронтом сразу же пошлет лично от себя проверять, что там стояло и как мы ударили — в яблочко или нет.

— Ну и правильно, что пошлет,— сказал Серпилин. — Не задарма же давать такое хозяйство!

Они радовались, что получили артиллерийский полк, который ударит по штабу немецкого корпуса, и в то же время заранее беспокоились: что покажет проверка после того, как мы займем этот нынешний пункт расположения немецкого штаба.

И в том, как они запросто говорили об этом сейчас, накануне наступления, незаметно для них самих сказывались все те перемены, которые произошли в армии к четвертому году войны.

— Разрешите, товарищ командующий? — входя в палатку, спросил Кузьмич.

В принципе, когда Серпилин думал не о себе лично, а вообще, он осуждал привычку «тыкать» подчиненным, но избавиться от нее уже не мог. Да и не очень задумывался над этим.

В первые годы после гражданской войны навсегда воспитал в себе правило, в то время строго соблюдавшееся, обращаться на «вы» к красноармейцам — «товарищ боец» и к младшим командирам — «товарищ младший командир». Даже когда и рявкал, рявкал на «вы»: «Как стоите?!»

В обращении же между командирами повседневное товарищество приучало вне службы почти всегда говорить друг другу «ты». Но на службе это «ты» как-то незаметно превратилось и у него и у других в «ты» сверху и «вы» — снизу. Так и осталось, хотя по закону не положено и, если вдуматься, неправильно. Но уж так!

Кузьмич — исключение: ты ему «ты», и он тебе «ты». В годах человек. Только если, как сейчас, обращается к тебе официально по занимаемой должности, тогда, конечно, на «вы». Придерживается.

Кузьмич присел к столу и сказал, усмехаясь:

— Проводил командующего фронтом. Поостыл немного по дороге, поручкался со мной с одним за вас за всех и сказал на прощание: «Берегите здоровье, чтобы опять подставки не подвели». Вспомнил мне Сталинград, ту историю,— Кузьмич подмигнул Серпилину. — Весь день на «вы» меня звал.

— А чем плохо? — сказал Серпилин. — И всем бы нам так! Сами не заметили, как разучились.

— Конечно, неплохо,— согласился Кузьмич. — Если из уважения, от души. А скорей всего просто решил: ладно, буду звать на «вы», пока тебя, старого хрыча, еще ноги носят! А между прочим, член Военного совета фронта не моложе меня, мы с ним одногодки, с восемьдесят шестого.

Услышав это, Бойко с недоверием взглянул на Кузьмича: как так — ровесники с членом Военного совета фронта! Кузьмич в

ощущении Бойко был старик; из-за своего маленького росточка даже старичок. А Львов — совсем другое. И хотя тоже немолодой, но про него нельзя было сказать ни «старичок», ни «старик». Было в нем что-то противопоказанное этому. Может быть, та привычка к власти, которая и зримо и незримо исходила от него и мешала другим людям воспринимать как старика этого уже давно не молодого человека.

— Какие у тебя планы, Иван Васильевич? — спросил Серпилин, знавший, что при всей исполнительности Кузьмича за ним водился стариковский грешок: наработавшись до отказа и чувствуя себя вправе немного отдохнуть, он бывал словоохотлив, не глядя на то, расположены или нет к этому его собеседники.

— План мой простой. Чаю выпью, на три часа глаза смежу, а потом, глядя на ночь, поеду по дорогам, чтобы нигде беспорядку не было. А то славяне как? До последнего часа соблюдают, стараются, а потом кто-нибудь возьмет и в остатние минуты всю обедню испортит. Пойду,— сказал он и, уже надев фуражку, вспомнил: — Все думаю, чего ж я недосказал? Что есть субординация, обещал вам объяснить.

— Ну, ну,— улыбнулся Серпилин.

— Это еще в старой армии ходило. Фельдфебель новобранца учит, говорит ему — запомни, что есть субординация: я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак!

Серпилин и Бойко даже рассмеялись от неожиданности.

— Неужто ни разу не слыхали?

— Слыхал — не забыл бы,— сказал Серпилин. — Формулировка диалектическая, есть что запомнить.

— Ну вот и ладно! А я пойду.

Кузьмич уже вышел, когда Бойко вдруг досадливо махнул рукой.

— Забыли его обрадовать, что хозяйство это получили...

— Завтра узнает,— сказал Серпилин, привычно не придавая особого значения тому, что его заместитель не в полном курсе всех дел.

И в этой привычности сказывалось само положение, которое занимал Кузьмич в их армии, а в других армиях многие другие, такие же, как он, заместители командующих. Так уж чаще всего выходило, что на этих должностях задерживались люди, которые командовать армиями не станут и в начальники штаба не пойдут — далеки от штабной работы. На дивизию их тоже не пошлешь — уже откомандовали там свое, а если открылась вакансия командира корпуса — на нее обычно стремятся лучшего из командиров дивизий выдвинуть.

До Кузьмича у Серпилина было два заместителя. Один, оставшийся после Батюка, человек хороший, но в военном отношении отсталый, честно сложил свою голову, выполняя очередное поручение, как и всегда на самой передовой, под огнем.

Вместо него после ранения из госпиталя прислали заместителем молодого генерала. Рвался скорей на фронт, на любую должность и, пробыв три месяца, показал себя с самой лучшей стороны. В это время один из корпусов остался без командира: увезли прямо с поля боя с прободением язвы — скрывал свою болезнь до последнего. Командиры дивизий, по мнению Серпилина, до командования корпусом тогда еще не дозрели, а заместитель Кирпичников был под руками, и Серпилин предложил назначить его, предпочел остаться без заместителя, чем без командира корпуса.

А тут как раз Кузьмич прислал письмо. Получил после Сталинграда и госпиталя звание генерал-лейтенанта и сам напросился на эту должность. И Серпилин взял. Верней, не взял, а дал понять, что будет согласен. И когда запросили — подтвердил. И не каялся в этом. Кузьмич был человек беззаветный и добросовестный. В чем возникала необходимость, то и делал. А в общем, строго говоря, был в штабе армии генералом для поручений, хотя такой должности нет и не положено.

Когда Серпилин временно выбыл из строя, ни у кого не возникало мысли, что командовать за него армией может Кузьмич. Кандидатура была одна — Бойко. Даже и вопроса ни о ком другом не стояло.

И сам Бойко, чувствуя свою молодость, силу и способности и понимая, что только он и есть и будет первым заместителем командующего, относился к Кузьмичу, даже при своем крутом характере, можно считать, бережно. Не обижая старика, сумел поставить себя с ним правильно не только в присутствии Серпилина, но и в его отсутствие, пока исполнял обязанности командарма. Об этом сам Кузьмич, по своей прирожденной справедливости, поспешил сказать Серпилину в первые же дни после приезда.

— Что-то Захаров о себе знать не дает,— вспомнил Серпилин после ухода Кузьмича. — С утра в войсках и ни разу не позвонил.

— Бродит там где-нибудь по переднему краю и еще не знает, что Львов уже уехал,— сказал Бойко. — Как узнает — вернется. А я,— добавил он, помолчав,— хотя о нем разное говорят, все равно уважаю Львова. Довелось и с начальником штаба фронта об этом говорить, и с начальником штаба тыла — Львов ни одному эшелону не дал мимо носа к соседям проехать. Что

нам — то нам, никому не отдал! А охотники оттяпать были. Сидел на снабжении фронта дни и ночи. И что мы сейчас столько заправок и боекомплектов и суточных дач имеем, если хотите знать, Львова заслуга.

Серпилин промолчал. Вспомнил сегодняшнее истомленное лицо Львова и подумал: конечно, и его заслуга, и немалая, наверное. Нравится или не нравится тебе человек, а надо быть к нему справедливым, тем более на войне.

Проработав с Бойко еще около часа и сказав ему, что вернется в двадцать два тридцать, Серпилин пошел к себе.

Рабочий день начался рано — с пяти утра — и продолжался больше четырнадцати часов, но дел оставалось еще много. Он приказал соединить себя с двумя командирами корпусов, чтобы доложили об исправлении недоделок, которые были им замечены сегодня во время поездки. Потом выслушал вызванного за этим же начальника инженерной службы армии, или, как это по-старому называлось, начальника инженеров полковника Соловьева. Соловьев был военным инженером еще в первую мировую войну и не принадлежал к числу тех, кто спешит доложить, что у него все в порядке. Все, что было запланировано сделать к началу наступления, он сделал; сделал и сверх этого, по своей инициативе. И недоделки, на которые обратил его внимание Серпилин, тоже исправил. Но сам все еще оставался недоволен инженерным обеспечением предстоящей операции и после доклада, уже уходя, не удержался, сказал:

— Нам бы еще трое суток, товарищ командующий... Или хотя бы двое.

— Ишь чего захотел,— усмехнулся Серпилин. — Теперь нам не трех суток, а трех часов сам господь бог не добавит.

После начальника инженеров явился начальник разведотдела. Что ночью в тылу у немцев было отмечено много взрывов, сообщала и артиллерийская звукометрическая разведка и авиаторы-ночники, засекшие свыше десятка пожаров. Но сейчас начальник разведотдела пришел с картой, на которой он, согласно последним данным, поступившим из штаба партизанского движения, пометил в полосе будущего наступления армии все пункты, где за минувшую ночь были произведены диверсии на железных дорогах в тылу у немцев.

— Надрезали им уже вены,— сказал начальник разведотдела, человек молодой и любивший образные выражения. — А нынешней ночью разрубят им все движение — ни взад, ни вперед!

— Ну, все не все,— сказал Серпилин. — На войне ведь так: один рубит, другой чинит. Так у нас, так и у немцев. Но если таким путем сократят у них хотя бы на треть пропускную способ-

ность железных дорог — огромное дело сделают! Даже затрудняюсь назвать меру нашей благодарности товарищам партизанам!

Отпуская разведчика, посмотрел на него медленным взглядом. Так уж оно обычно бывает перед началом операции — в последний раз смотрят таким взглядом разные начальники, каждый на своего разведчика, и думают: сколько процентов его предсказаний исполнится и сколько нет? И с какими допусками ты на них положился? Какой была мера твоей веры и неверия в том окончательном сплаве расчета и риска, который заложен в плане всякой операции?

Разведчик выдержал медленный взгляд Серпилина и не стал вдруг высказывать всякие дополнительные соображения, на которые тянет в таких случаях не уверенных в себе людей. Выдержал взгляд и, продолжая радоваться тому, что узнал от партизан, поднялся с места и встряхнулся, как утка,— молодой, толстенький и веселый.

Отпустив его, Серпилин позвонил командующему воздушной армией, с которым когда-то учился на командном факультете Академии Фрунзе.

— Как, тезка,— спросил Серпилин по телефону (командующего воздушной армией тоже звали Федором),— что слышно у Костина? Не переменил он своих намерений?

«Костин» по разработанной для наступления кодовой таблице был псевдоним командующего дальней бомбардировочной авиацией.

— Не переменил. И навряд ли уже переменит. Будет работать,— ответил командующий воздушной армией.

— И у тебя все здоровы, никто не заболел?

— У меня все здоровы, болеть не привыкли,— усмехнулся авиатор. — До скорого свидания...

Уже позвонив, Серпилин мысленно обругал себя за это.

Звонок авиаторам — лишний звонок, а все же не удержался, позвонил! Ничего не попишешь. Чем ближе к делу, тем сильней беспокоишься. И как ни держи себя в руках, все равно это внутреннее беспокойство найдет действительный выход только завтра, в самом сражении.

Серпилин посмотрел на часы. Захаров все еще не звонил. Наверно, был в дороге. До прихода Никитина оставалось несколько минут.

Серпилин оглядел рабочий стол. Как ни странно, на нем ничего не оставалось. Все, что к этому времени было намечено сделать, было уже сделано.

«А вообще-то война в голове помещается, только когда ее по частям берешь,— подумал Серпилин, устало заводя обе руки

за голову и несколькими движениями — взад и вперед — пробуя, не болит ли сломанная ключица. — Сейчас об одном подумаешь, потом о другом, потом о третьем, потом о четвертом. И так вот день за днем, год за годом мозг забит всем этим — то одним, то другим, то третьим, одно за другое цепляется, одно другим движется... А если бы взять все, что пережито, да обо всем сразу подумать: что она такое, война, из чего состоит? Голова лопнет! Никакие обручи не удержат».

— Входи,— сказал он навстречу появившемуся в дверях домика полковнику Никитину. — Садись. Рассказывай, какие у тебя секреты.

— Могу и стоя доложить, товарищ командующий. Секреты у меня короткие, на три минуты,— сказал начальник особого отдела — так его по привычке мысленно называл Серпилин, хотя особые отделы еще в прошлом году были переименованы в «Смерш».

— Ничего, не спеши,— сказал Серпилин,— кто-кто, а ты меня редко тревожишь. Не помню, когда и был...

Пока полковник Никитин, на вид молодой, а на самом деле совсем не такой уж молодой, красивый блондин, придвигал себе табуретку и садился напротив, Серпилин, глядя на него, подумал, что вряд ли за все два года совместной службы с Никитиным у них наберется хотя бы два часа разговору.

Человек молчаливый и хладнокровный, куда ему не положено, носа не сует, но и свои права помнит. Такой и должен быть контрразведчик. На глаза не лезет, докладывает редко, и то большей частью Захарову. Так уж повелось. Делает свое дело без лишних слов, а входить в подробности — как и что — нет оснований.

— Извините, товарищ командующий,— с каким-то непривычным для него выражением лица сказал Никитин. — Может, отругаете меня, что в такой день, но все же решил доложить. Когда мы весной сюда перемещались, вы в моем присутствии сказали члену Военного совета, что дорого бы дали встретить здесь кого-нибудь из тех, с кем в сорок первом из окружения шли...

— Сказал, а что? — спросил Серпилин, в душе веселея от предчувствия чего-то еще неизвестного, но хорошего. — Не одни божьи угодники в чудеса верят, а и мы, военные люди. Какая же война без чудес?

— Чудо не чудо,— сказал Никитин,— а недавно переправили к нам из Могилева одного работавшего там по нашей линии человека. Учли ошибки прошлого, чтобы, начав территорию освобождать, от недостатка информации не наломать дров, как ино-

гда бывало с нами раньше,— не покарать тех, кто под видом службы у немцев на нас работал.

— Это умно. Нет хуже, чем зазря пропасть. — Серпилин вспомнил слышанный им зимой от Захарова рассказ, как в полосе их армии вешали старшего полицая, а он уже в петле крикнул: «Да здравствует Советская власть!»

— Хотели было, получив информацию, этого работника обратно по воздуху перекинуть, а потом отдумали: еще подобьют, захватят, начнут за язык тянуть... Решили перед началом операции не рисковать, оставили у себя до освобождения Могилева. А сегодня он вдруг ко мне с ножом к горлу: «Дайте возможность увидеть командующего, я с ним из окружения шел...»

Серпилин прикинул — кто бы это мог быть? — но удержался, не стал спрашивать за минуту до того, как увидит самого человека.

— Могу предъявить для опознания,— усмехнулся Никитин, так и не дождавшись вопроса,— в моей «эмке» сидит, с вашим адъютантом разговаривает.

— Ну что ж, предъяви! — сказал Серпилин.

Никитин вышел из домика, а Серпилин встал и заходил взад-вперед. Он не был суеверен, но встреча с одним из тех, с кем выходили тогда из-под Могилева, теперь, накануне наступления на тот же Могилев, казалась счастливой приметой. И, увидев за плечом вошедшего Никитина лицо человека, которого мысленно давно похоронил, он с удивительной простотой подумал, что завтра все непременно пойдет так, как надо.

— Здравия желаю, товарищ командующий,— выдвигаясь из-за плеча отступившего в сторону Никитина, сказал этот знакомый человек, со все еще юным лицом и курчавыми волосами. Он держал пилотку в левой, прижатой к телу руке, наверное сняв ее для того, чтобы Серпилин сразу узнал его по шевелюре. — Капитан Сытин явился в ваше распоряжение.

— Здравствуй, Сытин. Обрадовал. Даже не верится...

— Самому не верится, товарищ командующий.

Серпилин шагнул к нему, обнял и, оторвавшись, посмотрел ему в лицо так, словно там могло быть написано все, что случилось с ним за три года.

Но на лице его как раз и не было ничего написано. Это неправда, что на лице всегда все написано. Просто проходят годы, и люди старше становятся. А этот даже и старше не стал — все такой же, как в то утро, когда, переправившись через Днепр, шли лесом и встретили уполномоченного особого отдела 527-го полка капитана Сытина и старшину Ковальчука с группой бойцов и знаменем дивизии.

Старшина Ковальчук потом так и пронес через все окружение на себе, под гимнастеркой, это знамя. Сытин за неделю до выхода был тяжело ранен миной в бедро и в ногу. День тащили его за собой и оставили без сознания ночью в глухой смоленской деревне. «Плохой он,— сказал тогда при докладе Серпилину старшина Ковальчук, сам заносивший Сытина в избу. — Но уж эти женщины, товарищи комбриг, так его пожалели, такой, говорят, молоденький, кучерявенький! Может, все же выходят?»

Все же выходили. И все тот же молоденький, кучерявенький, совсем не изменившийся за три года войны Сытин стоял теперь перед Серпилиным.

— Значит, сразу узнали меня, товарищ командующий? — обрадовался Сытин.

— А как тебя не узнать? Тем более все тот же чубчик носишь.

— И чубчик брил, товарищ командующий, и бороду запускал, родная мама не узнала бы!

— Первый его доклад знаешь какой был? — Серпилин повернулся к Никитину. — «Вышли девятнадцать человек, вынесли знамя дивизии». Такого доклада, если он в окружении сделан, век не забудешь. Даже если бы лысый, как колено, стал, все равно бы вспомнил за такой доклад. Не знаю, какой он у вас, а у меня молодец был.

— И у нас тоже ничего,— сказал Никитин. И по тому, как сказал, Серпилин понял: Никитин рад услышать от него похвалу человеку из своего ведомства.

— Хорошо, что привел его ко мне,— сказал Серпилин.

— Прошу разрешения отбыть,— сказал Никитин; как человек опытный, сразу понял то, что было недоговорено: спасибо, а теперь оставь нас вдвоем!

Никитин вышел, а Серпилин показал рукой на табуретку, стоявшую по другую сторону стола, и, облокотясь, молча смотрел на Сытина.

— Скажи, Сытин, как там люди живут?

— Живут. А что им еще остается? — ответил Сытин.

Сказал так, словно вдруг бросил в колодец камень, глубоко, на всю глубину людского горя. Как люди живут? После того как армия отступила, людям остается одно — жить там, где их оставили...

— Не обиделся на нас, когда оставили тебя раненого?

— Не обиделся. Только когда очнулся — страшно стало. А потом отлежал два месяца и понял: жить остаюсь. А раз жить остаюсь, чего-то делать надо. Документы откопал и снова службу начал. Сначала был начальником разведки в партизанской

бригаде. Потом ранили, на Большую землю вывезли, а оттуда уже по линии органов забросили для работы в подполье. Сначала в Орше, потом в Могилеве.

— Сам вызвался, чтобы снова забросили?

— В общем, сам. С одной стороны, не хотел, а с другой — как туда не вернешься, раз там люди остались? Могилевщину начнете освобождать, даже на мелочах увидите, сколько все эти годы народ старался! Одну только немецкую связь взять — сколько этих столбов со связью поспиливали! Немцы вместо спиленного столба из ближнего леса притащат дерево, только сучья обрубят, даже кору не стешут и воткнут рядом. Пройдет неделя — опять спилили! Они опять ставят... Сами где-нибудь увидите — столб, а около столба, как грибы, шесть или семь пеньков. Так и во всем! Посмотрите, какие здесь железные дороги у немцев в тылу — как тришкин кафтан, все в латках! Ну, а немцы, конечно, лютуют. Иногда говорим сами про себя: провели операцию без потерь! Вроде и правда, а все равно за каждую из них головами платили. Немцы, если не убьют того, кто сделал, все равно убьют того, кто под руку попал.

— Об этом можно догадаться,— угрюмо сказал Серпилин и спросил после молчания: — Из нашей сто семьдесят шестой никого за все годы не встречал?

— Никого,— сказал Сытин. — Могилы, возможно, установим. Жители в Могилеве передавали: у кирпичного завода во рвах, где ваш полк тогда оборонялся, есть братские могилы. Немцы заставили там пленных закопать трупы; наверное, из вашего полка. Около городской больницы тоже могилы рыли: там из разных полков нашей дивизии — и кто от ран умер, и медики, которых немцы потом расстреляли за то, что в больнице пленных прятали. У железной дороги, у водокачки, еще одна могила, железнодорожники рассказывали. Это три места, где, надо считать, люди из нашей дивизии. А живых никого не видел. И про вас, что вы живы, не знал. Только в прошлом году, после Курской дуги, вашу фамилию в приказе встретил: читал и думал: вы или не вы? Потом уже здесь, в штабе партизанского движения, сказали, что вы. Решился время у вас отнять...

— Что ж тут решаться,— сказал Серпилин. — Как иначе! Понял по выражению лица Сытина, что тот стесняется отнимать время, но сам еще не был расположен отпустить его. И хотелось и надо было кое-что спросить о Могилеве.

Наиболее существенные сведения, которыми располагали партизанские соединения, базировавшиеся в будущей полосе наступления, были заблаговременно переданы на Большую землю и хорошо известны Серпилину. Они касались как раз тыловых

укрепленных районов, в том числе Могилевского. Партизанам было легче проникать туда, чем на немецкий передний край. А население, которое немцы сгоняли на постройку тыловых полос, было еще одним источником информации.

Поступали сведения и по количеству войск, и по грузообороту, и по состоянию дорог и мостов, и по сохранности городских объектов: что цело, что разрушено, чем можно и чем нельзя будет воспользоваться.

Но Серпилину в дополнение ко всему этому хотелось узнать от Сытина еще некоторые подробности о немецких позициях севернее Могилева, по берегу Днепра, там, где предполагалось его форсировать.

Однако ответы Сытина не выходили за пределы того, что Серпилин уже знал, и, сам почувствовав это, Сытин виновато пожал плечами:

— Все данные, что общими силами собирали,— суммировали и в центр отправляли. А я лично последние месяцы божий свет редко видел, был подпольный житель в буквальном смысле.

— А как те женщины, у которых тебя оставили? Что-нибудь знаешь про них?

— В прошлом году живы были,— сказал Сытин. — Я их осенью видел, когда Смоленск освободили. После госпиталя в штаб партизанского движения ехал, и как раз почти мимо них! Завернул на своей полуторке. От всей деревни — один дом. Живут в подвале. Старуха лежит, не встает, а дочь ее, когда ходила за мной, еще была женщина как женщина, под сорок лет. А тут — от голода и сырости и ноги и руки — вот... — Сытин показал, какие опухшие были у женщины ноги и руки. — Ни запасу, ни припасу, ни одежи — ничего. Государство немного помогло, армия в первое время тоже дала, из тылов. Но к моему приезду все поели, а свой хлеб еще когда будет — на тот год? Люди все терпят, пока освобождения ждут... Спичка — на четыре щепочки, а то и забыли, что такое спичка. В хлеб чего только не кладут! Чай забыли, ягоды заваривают. Иголка — самоделка. Нитку, чтобы пуговицу пришить, из старой ряднины выдергивают... Когда лежал у этих женщин, поправлялся, думал про них: жив буду, немцам, даст бог, голову свернем,— чего только для вас тогда не сделаю! А увидел их после освобождения — что я для них мог? После госпиталя едешь — лишнего с собой нет. Все, что в сидоре было, отдал. А больше ничего не имел. Тяжеловатая жизнь у людей, войну скорей кончать надо...

— Будем стараться,— сказал Серпилин. — Гляжу на тебя и думаю: добрая у тебя все же душа, Сытин.

— Хотя и по линии контрразведки работаю,— не то с вызовом, не то с иронией сказал Сытин.

— А это уж не я, а ты за меня досказал. Откуда взял?

— Так, почудилось.

— И зря! Сказал тебе потому, что война три года людей прямо по душам бьет и таких мозолей набила, что иной уже ни своей, ни чужой боли не чувствует. А ты все еще чувствуешь,— значит, душа добрая, человек хороший. А контрразведчик, черт тебя знает, какой ты есть? Может, даже и вовсе плохой. Моих мыслей, например, прочитать не смог!

Серпилин посмотрел на Сытина и вспомнил то существенное, что хотел сказать ему еще вначале, но не сказал, отвлеченный ходом разговора.

— Обязан перед тобой отчитаться.

Сытин удивленно посмотрел на него. В устах командующего армией это было странное начало.

— За знамя, которое вы тогда вынесли,— объяснил Серпилин. — До конца его сохранили и сдали в дальнейшем в штаб Западного фронта. Я после госпиталя ставил вопрос, чтоб, раз мы со знаменем вышли, возобновили нашу дивизию под тем же номером. Тогда не прислушались: немец под Москвой был... А недавно из одного документа узнал, что снова есть сто семьдесят шестая стрелковая. И раз сформировали заново под тем же номером, думаю, что и наше знамя ей вручили. Написал туда, на Третий Украинский фронт, но пока ответа не имею,— закончил он так, словно считал своим долгом доложить бывшему подчиненному все, что знал сам.

Да, в сущности, так оно и было — считал.

В домик вошел Захаров, без шинели, в надетой поверх гимнастерки байковой меховой безрукавке, и с порога сказал:

— Зашел за тобой; Бойко сказал, ты к нему собирался.

— Да, пора. — Серпилин, поднявшись с места, пожал руку Захарову. — Еще не видались с тобой. — И кивнул на вскочившего из-за стола Сытина: — Вот капитан Сытин объявился, с которым три года назад из-под Могилева выходили.

— Никитин заходил ко мне, уже доложил, кто у тебя сидит. — Захаров поздоровался с Сытиным. — Если еще не закончили беседы, с твоего разрешения послушаю...

— Раз ты пришел, закончили,— сказал Серпилин. — И вообще время вышло.

Он, не садясь, покрутил телефон и сказал, чтобы зашел Синцов.

— Синцова уже видел?

— Так точно.

— Опознали друг друга?
— Опознали.
— Забирай от меня Сытина,— сказал Серпилин навстречу входившему в домик Синцову,— организуй поужинать и по чарке. Считайте, что я при сем присутствую. И проводи, пусть едет. А сам в двадцать три ровно зайдешь ко мне.

Когда Сытин, откозыряв и повернувшись на каблуках, вышел вслед за Синцовым, Серпилин посмотрел ему в спину и сказал:
— Хотя и в подполье был, а как поворачиваться через левое плечо, еще не забыл. Пропавшим без вести его считали. Может, не поздно поправить — за вынос знамени дать орден?
— Почему поздно? — сказал Захаров. — В нашей власти!
— Строго по закону — не наш.
— Зато в твоем лице живого свидетеля — командарма — имеем. Скажем Никитину, чтоб наградной лист писал, и включим в первый же список.
— Ладно. Никитину ты, что ли, скажешь?
— Могу я сказать.
— Пойдем в штаб, уже опаздываем против назначенного.
— А ты опоздай раз в жизни! Сделай Бойко такой праздник. Он же любит, чтоб все в ажуре! А у него сейчас, как на грех, не в ажуре — последнего донесения ждет, чтоб все подбить,— с Кирпичниковым связь порвалась. Понтонеры стали в темноте со своим хозяйством передвигаться и где-то зацепились. Сейчас вкруговую дублируют.
— Это плохо,— сказал Серпилин.
— От Бойко уже всем и каждому досталось; можем не добавлять,— усмехнулся Захаров. — А как тут у вас с начальством было — все тихо?
— Почти. — Серпилин рассказал, как было дело с артполком из резерва Главного командования.
— Это еще хорошо,— обрадовался Захаров, узнав, что Батюк позвонил Серпилину о своем согласии. — Быстро превозмог себя. Раньше у него на это больше времени уходило. Ну, а как Львов? Котлетками своими угощал?
— Сегодня нет. Наоборот, сам коньяку выпил.
— Все же, значит, не мы одни волнуемся, и у него тоже душа болит. Только черт ее знает, где она у него есть, в каком-то не в том месте, как у всех людей: никак ее не ущупаешь. Откровенно говоря, бегал от него сегодня, прятался в войсках. Настроение такое: чистое белье надеть — и в бой! Не хотел, чтоб испортили.

Когда Серпилин услышал это, его вдруг охватило порой отодвигаемое куда-то в сторону и им и другими военными людьми ощущение великости предстоящего им дела. И не военной его

великости, которую они чувствовали даже за всеми мелочами и подробностями подготовки. О военной великости своего дела они помнили. А это была другая великость, еще более великая — человеческая, напоминавшая, что у них впереди не просто война, а когда-то оставленная ими земля и оставленные на ней люди.

От мысли об этом Серпилин вдруг почувствовал себя не только сильным всею той силой, которая была в его готовой к наступлению армии, но еще и виноватым перед теми людьми, там. Однако, как ни странно, это чувство своей вины перед ними делало его сейчас нравственно не слабее, а сильнее. Он чувствовал себя просто-напросто неспособным обмануть их великие и долгие ожидания.

— И верно, Костя, надо к завтрему чистое белье надеть,— сказал он Захарову, хотя при всей близости их отношений еще никогда не называл его так.

И тот, почувствовав его волнение, ничего не ответил, только, когда стали выходить из домика, молча и крепко, выше локтя, сжал ему руку.

— Что это, не накрапывает? — подняв голову, спросил Серпилин.

— Мне тоже, когда вылезал из машины, показалось. Ветер, листья шумят.

Они уже подошли к штабной палатке, когда где-то правей, очень далеко, возник чуть слышный гул самолетов.

Оба остановились и долго прислушивались, ничего не говоря друг другу.

Бойко, когда они зашли в палатку, стоял у стола и говорил по телефону:

— Все ясно. Понятно! И вам желаю того же!

Он положил трубку и, повернувшись к Серпилину и Захарову, сказал:

— От Костина звонили. Две дивизии уже в воздухе. Пошли на цели.

— Теперь надо считать — начали,— сказал Серпилин.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Четвертые сутки наступления Серпилин встретил на новом командном пункте, в лесу, где еще три дня назад был один из наблюдательных пунктов немцев. В лесу стоял густой запах смолы, шедший от обрубленных и расщепленных осколками сосен.

Но и этот новый командный пункт сегодня предстояло менять, поспешая за продолжавшими наступать войсками.

Вернувшись сюда ночью и мертвым сном проспав четыре часа, Серпилин получил донесение, что один из выброшенных к Днепру передовых отрядов переправился и захватил плацдарм.

Ночью командир корпуса и командир дивизии клялись и божились, что к утру сделают это. И вот зацепились, выполнили свое обещание.

Нет ничего лучше, как узнать от подчиненных, что выполнили обещанное. Если б всегда так, война была бы легким делом, только успевай глядеть на часы. Но, к сожалению, на войне далеко не все выходит по часам и у других и у тебя самого!

Те, кто первым прыгает через реку, всегда прыгают налегке. Теперь все и у немцев и у нас будет построено на выигрыше во времени. Подбросим быстро все, что требуется, сумеем поддержать огнем — удержатся, не сумеем — спихнут.

Серпилин позвонил командующему воздушной армией и просил взять плацдарм под защиту штурмовой авиации. Не подпускать к нему немцев, особенно танки и самоходки. Авиатор обещал послать штурмовики, но попозже: местность пока плохо просматривается, над Днепром еще висит ночной туман...

«Вот они в этом тумане и перелезли,— с одобрением подумал Серпилин о тех первых, кто уже был там, впереди, за Днепром. — Они свое дело сделали, остальное зависит от нас...»

Он позвонил Кирпичникову, командиру корпуса, потребовал, чтобы тот как можно скорей шел своими главными силами вперед, к Днепру, и сказал, что сейчас сам приедет в корпус.

— Где вы? Там же, где вчера?

— Пока там же,— сказал командир корпуса.

«Жаль, что там же»,— хотелось сказать Серпилину, но он удержал себя. Жаль-то жаль, но задача не в том, чтобы командир корпуса после твоих попреков сорвался с места. Дело в продвижении войск, а не в том, чтобы каждые пять минут скакать со своим командным пунктом все вперед и вперед. Иной, бывает, так далеко заберется, что без риска для жизни до него и не доедешь. Но сам впереди, а войска его топчутся. Что в этом проку?

По твоему же собственному плану действий, который утвержден наверху и после этого стал для тебя законом, предполагается захватить Могилев к исходу пятого дня операции. И, несмотря на все трудности и задержки, особенно в первый день, эта возможность остается еще реальной. Если не позволим сбросить себя с первых плацдармов, а, наоборот, захватим новые, за день подойдем к Днепру главными силами, а за ночь переправимся,— завтра к вечеру можно быть в Могилеве!

Серпилин взялся за трубку — отдать перед отъездом последние распоряжения Бойко, но в это время в дверях домика по-

явился сам Бойко, одетый в дорогу; на плаще у него были капли дождя.

— Все еще моросит?

— Продолжается. Явился доложить, что, согласно плану, отбываю на новое место. Связь проверена: начальник оперативного отдела уже там.

— А Захаров? — спросил Серпилин.

— В пять часов уехал к Воронину. Все еще топчемся.

Серпилин поморщился. Он с вечера знал, что на левом фланге, где наступал корпус Воронина, сильное сопротивление, и знал, что топчемся, но, хотя и поморщился, теперь уже меньше переживал эту задержку.

«То, что немцы особенно зло дерутся на левом фланге, прямо против Могилева, на поверку может оказаться даже хорошо,— подумал он. — Значит, они недооценили возможность нашего удара севернее, на правом фланге. Поэтому мы там и вышли уже к Днепру. И именно там и решится дело, если сами не испортим его проволочками».

— Как скоро прибудешь на новое место? — спросил Серпилин, посмотрев на часы, потому что от этого зависело время его собственного отъезда. И по писаному и неписаному закону им с начальником штаба одновременно находиться в дороге не полагалось.

— Через сорок пять минут буду там.

— Позвони по прибытии. Поработаю пока с командующим артиллерией и прямо отсюда поеду к Кирпичникову.

Бойко кивнул. Он так и думал, что командующий поедет на правый фланг, где уже зацепились за Днепр.

— А ты, Григорий Герасимович, как прибудешь на новый КП, продолжай заниматься подвижной группой. За день наведем там, у Кирпичникова, переправу, к утру перебросим за Днепр подвижную группу — и пусть вырывается на простор, обходит Могилев, режет сзади него и Минское и Бобруйское шоссе. Если за день еще плацдармы захватим, создадим угрозу форсирования на большом отрезке, немцам придется затыкать дыры. Здесь задержат, там задержат, а остановить нашу подвижную группу уже силенок не хватит.

— Будем готовить,— сказал Бойко.

Разговор о подвижной группе у них возник вчера, когда Серпилин вернулся с передовой. Первоначально, в масштабах фронта, ее не спланировали, и Серпилин решил сколотить ее сам и получил на это «добро» только в разгар наступления, когда стало ясно, что армия заходит к Днепру правым плечом намного

севернее Могилева и переправленные там за Днепр подвижные части смогут быстро и глубоко обойти Могилев.

— Где сейчас танкисты? — спросил Серпилин, имея в виду ту еще не воевавшую танковую бригаду, которая должна была войти в состав подвижной группы как главная ее сила.

— Пока не двинулись, по-прежнему на восточном берегу Баси.

— А почему не перешли?

— Я разрешил отложить,— сказал Бойко. — Боятся посадить танки в пойме. Хотят вступить в бой в полном составе. Я это их желание разделяю. — Он расстегнул планшет и показал по карте. — С ночи работают вместе с саперами — улучшают переправу. Сосредоточиться на исходных вполне успеют, зачем же спешить с риском для техники.

— С этим согласен,— сказал Серпилин. — Хорошо бы компактно сосредоточить к середине дня в одном районе все части, которые включим в подвижную группу.

— Так и будет сделано.

— Сколько пехоты, считаешь, сможем посадить на машины? — спросил Серпилин.

— Начальник тыла обещал до трех батальонов. Сам подгребает машины, взял это на себя.

— Будем считать — полк. Временно отнимем его у Артемьева. Начнем следовать дурному примеру командиров корпусов, тратить резервы раньше, чем собирались,— усмехнулся Серпилин.

— А какой полк? — спросил Бойко.

— Пусть сам командир дивизии скажет, какой у него полк лучший. Больше чем уверен, даст Ильина.

— А кого на группу? — снова спросил Бойко.

Он спросил это еще вчера, сразу же, потому что любил как можно раньше получать распоряжения на будущее. Чем раньше получишь, тем больше останется времени, чтобы в ходе разработки подправить и улучшить первоначальное решение командарма. Но Серпилин вчера не ответил, сказал, что обдумает. Не сразу ответил и сейчас.

Кого назначить командовать подвижной группой, состоящей из танковой бригады, самоходного артиллерийского полка, стрелкового полка и саперного батальона? Вопрос не так прост. Можно дать им начальника сверху, а можно найти внутри. Можно послать заместителя командующего армией, как это часто делают, и в этом есть преимущества — звание, должность, права. Но есть и недостатки: группа собирается из разных частей, а командовать ею сажают человека нового для каждой из них.

— Думаю все же назначить командира танковой бригады. Для своих он — привычный, а остальных за собой потянет. Раз надеемся на моторы, на скорость — пусть танкисты и играют первую скрипку. Если до середины дня обстановка не внесет поправок, позвоню тебе от Кирпичникова, подтвержу.

Бойко кивнул. Он достаточно хорошо знал Серпилина, чтобы не придавать значения слову «думаю». Вопрос был решен.

— Главная задача авиаторам на весь сегодняшний день — защита плацдармов. Если штурмовики будут действовать, как вчера,— никакой черт нас с плацдармов не спихнет,— сказал Серпилин, прощаясь с Бойко.

Когда через час, поработав с командующим артиллерией над тем же самым — над обеспечением плацдармов,— он сел на «виллис» и поехал в войска, за его «виллисом» пристроились еще два. На одном — рация и связисты, на втором — автоматчики. По приказу за командармом при выездах на передовую должен следовать бронетранспортер. Но бронетранспортер позавчера застрял в болотистой пойме реки Прони, и, хотя его вытащили, Серпилин не желал после этого с ним связываться.

«Виллисы» гуськом выскочили из лесу и пошли на север, вдоль реки Прони.

Дождь перестал, но утро по-прежнему было серое. Над головой низко висели облака. Хорошо видная сверху, с шедшей вдоль бывших немецких позиций рокадной дороги, болотистая и широкая, почти в полтора километра, пойма напоминала о том труде, которого стоило преодолеть ее в первый день наступления. Всюду были видны следы этого труда — не столько боя, сколько именно труда. Воронок было много, но почти все старые, заросшие осокой,— следы прошлогодних осенних боев, когда фронт остановился здесь, на Проне. Свежих воронок в пойме почти не было: артиллеристы не мазали, били без недолетов, прямо по траншеям немцев на возвышенности. А немцы, подавленные нашей артподготовкой, во время атаки почти не стреляли. Только потом, когда пехота уже захватила и вторую и третью линии траншей, немцы начали бить отдельными орудиями из глубины. А позже, к вечеру, неудачно бомбили переправу.

Эти следы были свежие, а остальное все старое. Зато следов того, как волокли через пойму артиллерию, самоходки, танки, как они вязли и как их вытаскивали, щитов и настилов, в крошево расщепленных бревен и досок — всего этого было предостаточно.

Сейчас все уже вытащили, все колеса и гусеницы пошли и поползли дальше. А в первый день, когда в поту и в мыле до самой ночи преодолевали пойму, минутами казалось, что не

успеют вытащить, что техника безнадежно отстанет, так и не догонит рванувшуюся вперед пехоту.

Опоздание наверстывали два следующих дня, а вернее, два дня и две ночи. В разгар наступления люди, можно считать, не живут, только воюют. Едят и спят — все на ходу, когда придется и где придется.

Трудности хочешь не хочешь, а заставляют думать: верно ли было с самого начала твое решение? Там ли ударил, где лучше всего было ударить?

Когда в первый день задержались на Проне, Серпилин тоже думал об этом. Трудности преодоления поймы недоучли, но остальное оценили верно: направление главного удара было для немцев неожиданным — ждали его ближе к Могилеву и держали там более плотную оборону. Дальнобойный полк тоже выпросили у Батюка не впустую. Попали в точку — по штабу немецкого корпуса. Серпилин, как только захватили эту рощу, послал туда вместе с разведчиком своего адъютанта — вдвоем проверить, стоял или не стоял там штаб. Доложили: стоял и уходил оттуда в спешке, даже побросал кое-какие бумаги, хотя и несущественные. Прямые попадания и в блиндажи и в штабные домики.

— На обратном пути встретил машину из разведотдела фронта. Уточняли у нас, как туда проехать,— сказал Синцов.

— Вон как! — усмехнулся Серпилин.

И когда приехавший в армию Батюк мимоходом обронил: «Не обманул меня, действительно по штабу корпуса в первый день бил, а не по пустому месту»,— не удержался, съязвил в ответ: «Так точно, товарищ командующий. Первым делом, как заняли, проверил это». — «А почему сразу не доложил?» — «Узнал, что вы своего проверяющего туда послали, не хотел лишать его возможности порадовать вас личным докладом». — «Ох и вредный у тебя характер, командарм»,— сказал Батюк. Сказал без особого зла; сам не любил, чтобы ему наступали на ноги, и уважал это в подчиненных.

Вчера все глубже загребали правой рукой. Там, на правом фланге, к утру первыми форсировали на широком фронте вторую реку — Басю, там же вчера к вечеру вышли на третью — Ресту и, в нескольких местах перескочив ее с ходу, пошли к Днепру.

Кирпичников действовал особенно напористо, не задерживался. Где протыкал — там и шел напролом своими передовыми отрядами, продолжая воевать у себя в тылу с еще не отступившими немцами. Один подзастрявший полк сегодня с утра был у него еще на Басе, а передовые отряды уже на Днепре.

Год назад Серпилин, наверно, в такой день, как сегодня, поехал бы не на правый фланг к Кирпичникову, где глубже всего

рванулись вперед, а в левофланговый, поотставший по сравнению с другими корпус. Стал бы подгонять, чтоб выравнивали фронт, не отставали. Это, конечно, тоже делалось. Но все-таки главным для Серпилина было сейчас другое: чтоб Кирпичников вышел за Днепр, расширил плацдармы и дал возможность перебросить туда подвижную группу, а за ней и другие войска.

Не обязательно каждому корпусу наводить свои переправы. Если займем надежные плацдармы севернее, можно потом перекантовать туда часть войск с юга и пропустить их на тот берег через уже наведенные переправы. И быстрей и без лишних потерь.

В этом смысле дела пока неплохие; по донесениям первых трех дней, потери не идут в сравнение с теми, какие несли в прежние годы в схожих обстоятельствах и при меньших успехах. А идет все не так гладко потому, что война вообще палка о двух концах: и ты за нее схватился, и противник из рук не выпускает. А противник сильный, цепкий, на этом направлении с зимы сорок первого года как следует не битый.

Серпилин думал обо всем этом в дороге, попутно привычным глазом сопоставляя разные приметы общего хода дел. Эти приметы говорили, что дело движется, и создавали то настроение постепенно развивающегося успеха, которое владело и Серпилиным, и теми, кто ехал с ним, и теми, кто делал свое дело здесь, на дорогах наступления.

С просеки на дорогу вытягивали на тракторах пушки — тяжелая артиллерия меняла позиции и шла вперед. Два танка, наверно после ремонта в подвижной мастерской, с открытыми люками нагоняли своих. Почти непрерывным потоком шли машины со снарядными ящиками, в поле виднелись флажки, огораживающие минные поля. Какой-то капитан из трофейной команды с несколькими шоферами осматривали колонну немецких машин, застигнутых нашими штурмовиками на выезде из лесу. В начале и в конце колонны все было сожжено, а в середине застряли целые машины, их пробовали завести.

Облака немного поднялись, и в небе невысоко с ревом прошла сначала одна шестерка штурмовиков, потом еще три и над ними — истребители.

«Туда, к плацдармам»,— успокоенно подумал Серпилин. И повернулся к сидевшему сзади Синцову.

— Люблю штурмовики! — сказал так, как говорят люди про что-то, что в их жизни уже навсегда: «Люблю степи», «Люблю березы»... — Немцы называют их «черная смерть», а для нас это жизнь. Всякий раз смотришь и думаешь: сколько они за этот вылет солдатских жизней спасут?

В сторону фронта пошла еще одна шестерка. Серпилин, высунувшись из «виллиса», проводил ее глазами.

— Погода разгуливается. Если после июньских дождичков тепло постоит, такой ранний гриб-колосовик пойдет — только лукошки готовь. Когда в тридцать первом году в Бобруйске полком командовал, тоже такое лето выдалось, грибов набирали — неимоверно. Особенно на стрельбище, куда никто не ходит.

Синцов с удивлением услышал это отступление о грибах. Впервые за трое суток командующий заговорил о чем-то постороннем, дал себе передышку хотя бы в мыслях.

Синцову, четырежды лежавшему в госпиталях, Серпилин в эти дни наступления чем-то напоминал хирурга. Наступление было похоже на операцию, когда хирург стоит в резиновых перчатках, в маске, со скальпелем в руке и торопит: «Тампон! Зажим! Тампон! Шелк! Проверьте пульс!» Командует людьми, которые помогают, а у самого нет времени ни на что постороннее, разве что один раз за все время затянется папиросой, да и ту сунут ему прямо в рот, и зажгут, и вынут после того, как затянулся.

Похоже или не похоже, но Синцову казалось, что похоже. И сегодня, несмотря на трехсуточный недосып, Серпилин так ни разу и не задремал по дороге. То смотрел на карту и о чем-то сам с собой спорил: видно было, как крутит там, впереди, головой; то останавливал людей, расспрашивал, и приказывал, и снова ехал, глядя по сторонам, словно боялся пропустить что-то важное для будущих своих решений.

Вдоль дороги потянулась шестовка. Серпилин спросил сидевшего сзади с Синцовым заместителя начальника оперативного отдела:

— Прокудин, куда, по-твоему, связь? Не к Талызину? — И ткнул пальцем в лежавший на коленях планшет. — Через пятьсот метров будет поворот налево, к хутору. Вчера в двадцать три часа он был еще там, если не переместился за ночь.

— Шестовка туда, больше некуда, товарищ командующий,— сказал Прокудин.

Но Серпилин уже увидел шедшего вдоль линии связиста.

— Остановите,— приказал он Гудкову. — Синцов, спроси, куда связь.

Синцов выскочил из «виллиса», подбежал к связисту и, вернувшись, доложил, что связь идет в штаб дивизии. Вернее, шла, а теперь ее приказано смотать.

— Это у них со своим тылом связь, ее и сматывают,— сказал Серпилин,— а сами — чувствую — еще на месте! Заедем.

Свернув с дороги, заехали в приткнувшийся к рощице хутор. Крайнюю хату разнесло прямым попаданием, а у соседней — це-

лой — стоял «виллис»; за рулем сидел водитель, а под деревьями топтались автоматчики.

Серпилин зашел в хату. Командир дивизии Талызин сидел за столом, небритый, в нательной рубахе, в подтяжках, и хлебал суп из котелка.

— Извините, товарищ командующий,— вскочил он. — Приехал немного отдохнуть, сейчас обратно,— и, схватив с лавки гимнастерку, стал натягивать ее на голову.

— Не спеши, Андрей Андреевич. — Серпилин сел. — Одевайся. Солдату и то положено две минуты на одевание.

Но Талызину, несмотря на миролюбивый тон командарма, было неловко, что его в восемь утра застали в таком виде, за завтраком, и не впереди, на наблюдательном пункте, а здесь, в штабе дивизии. И он, подпоясываясь и застегивая пуговицы, стал объяснять, что всю ночь был в полках и впервые за трое суток заехал поспать. Велел через два часа разбудить, а проснуться не смог — пока суп хлебал, просыпался.

— Это зря объясняешь,— сказал Серпилин. — Это мне понятно. Лучше объясни то, что мне непонятно. Почему до сего времени дивизия Талызина, как я считал, лучшая в корпусе, идет не впереди соседей, а сзади?

Талызин повторил, что ночью побывал во всех полках, толкал вперед, и стал объяснять, что и вчера и позавчера сопротивление было сильное; там, где прошла дивизия, противник оставил на поле боя семь самоходок и более двадцати орудий.

— И не в донесениях, а в натуре — проверено!

— Что ты добросовестный, не сомневаюсь,— сказал Серпилин. — А вот как объяснить, что из трех дивизий вашего корпуса медленней всех идешь? Правый фланг корпуса уже за Днепром, а ты все еще на Ресте копаешься.

— Зато сплошняком на нее вышел, товарищ командующий. Немцев сзади себя не оставил.

— Вот и плохо, что сплошняком! Я тебе объясню, почему ты копаешься — потому что промежутков не ищешь. Вытянул полки в одну линию и прешь грудью. А у немцев нет перед тобой сплошного фронта, они только имитируют его перекрестным огнем, стараются создать у тебя это представление. А ты и поверил! Промежутки надо уметь находить. Нашел — и двинул туда! Нашел — и двинул! Прошел вперед, быстро свернулся, в походных колоннах пустое пространство преодолел и опять развернулся — для боя... К вечеру жду от тебя другого доклада. В сорок третьем за Днепр Героя получил. И где? В среднем течении, где он махина. А здесь, в верховьях, где его можно чуть не вброд перейти, никак до него не дотянешься. Не узнаю вас! — сердито,

на «вы» закончил Серпилин. Но вслед за этим, хотя и хмуро, все же пожал командиру дивизии руку. — Желаю успеха.

Отъезжая, услышал, как почти вслед за ним тронулся и «виллис» Талызина.

Синцову всегда бывало жалко людей, попадавших в неловкое положение. А в должности адъютанта часто видишь, как люди чувствуют себя неловко. Правда, Синцов успел заметить, что и сам Серпилин не любил, когда подчиненные оказывались перед ним в неловком положении. Услышав неправдивый доклад или суесловное обещание — в два счета все исправить! — он морщился от этого и дергал головой, как лошадь, которой лез в ноздри слепень, и на лбу у него вздувалась жила, в другое время незаметная.

Пока добирались от Талызина к Кирпичникову, над головами снова прошли штурмовики. Серпилин высунулся, и Синцов считал вместе с ним: одна шестерка «горбылей» возвращалась целиком, а в другой недоставало двух самолетов.

Кирпичникова на его прежнем командном пункте не застали. Он недавно уехал на новый, только что подготовленный ему уже за рекою Рестой, как доложил Серпилину остававшийся на старом командном пункте капитан-сапер.

— Дорогу вперед знаете? — спросил Серпилин.

— Оставлен командиром корпуса, чтобы проводить вас туда, если поедете.

— А что он, сомневается, что ли? — усмехнулся Серпилин.— Куда-куда, а до командира корпуса добраться нам по закону положено. Потеснитесь там,— добавил он через плечо и, приказав офицеру лезть в «виллис», стал по пути расспрашивать его, как у них происходило форсирование рек, что держало. Ради этих расспросов и посадил сапера к себе.

Капитан отвечал честно, что Проня и Бася дались трудно, а через Ресту, там, где он был, даже сами не заметили, как перепрыгнули. Видимо, обогнали в междуречье отходивших от Баси немцев и попали под их огонь только на том берегу.

— Ну, это они уже из глубины резервы подтянули,— сказал Серпилин. — В том-то и суть, что вы немцев обогнали. А те, кто прочикался, те и в третий раз под огнем будут переправляться! Понтонно-мостового батальона не видели, еще не подошел к вам?

— Лично я не видел, товарищ командующий. Может, пропустил, не заметил.

— Такое хозяйство не заметить трудно. Значит, еще на подходе. — Серпилин приказал Прокудину пересесть в задний «виллис», связаться по рации со штабом армии и выяснить, где сей-

час находится понтонно-мостовой батальон, который приказано направить в распоряжение Кирпичникова. — Выяснишь — догонишь нас.

Прокудин вылез, и Гудков погнал «виллис» дальше.

Синцов, когда Серпилин отправил Прокудина, подумал, что они скоро будут у Кирпичникова,— там телефон — почему не позвонить оттуда? Но потом понял, что Серпилин хочет проверить, как обстоят дела с этим понтонно-мостовым батальоном, раньше, чем доедет до командира корпуса.

Серпилин вообще любил радио: и сам ездил всегда, имея на втором «виллисе» рацию, и приучал пользоваться радио всех, к кому ездил. Находил поводы напомнить о его существовании.

Шутя называл начальника штаба армии Бойко фанатиком связи, но сам был такой же, как он. А как-то, вспомнив при Синцове о сорок первом годе, сказал: «Если бы нам тогда во всех звеньях надежную радиосвязь, да к этой радиосвязи — привычку сю пользоваться,— много бы трудней немцам пришлось — с их клещами и клиньями. Половину бы пообрубали, зная друг о друге, где кто находится. И кто сейчас, имея радиосвязь, плохо ее использует — тот сам себя обкрадывает».

Серпилин сидел впереди и вспоминал смущение Талызина, случайно застигнутого им вдали от передовой.

«Интересная все-таки наша психология: чем дальше добираться до нас начальству, тем смелей смотрим ему в глаза! Застанешь какого-нибудь командира дивизии на тычке, в окопчике на переднем крае, и хотя воюет неудачно и надо бы дать ему выволочку — заслужил! — а что-то удерживает: вон он где, оказывается, сидит! Пока до него добирался, сам страху натерпелся!»

Серпилин заметил, что их догоняет второй «виллис», и сказал Гудкову:

— Остановись.

Прокудин пересел и доложил:

— Ответили, что понтонно-мостовой батальон следует по графику.

— Кто ответил?

— Начальник инженерных войск.

— Тогда дело надежное.

Командный пункт Кирпичникова был на холме, на той стороне реки, в полукилометре от недавно законченного саперами нового моста через Ресту, по которому шли сейчас тяжелые артиллерийские системы на гусеничном ходу.

Выйдя из «виллиса», Серпилин увидел на холме обращенные в нашу сторону окопы. Кирпичников, оказывается, использовал

под командный пункт один из захваченных с ходу узлов немецкой обороны, куда немцы так и не успели сесть.

На новом командном пункте все было уже в полном порядке; в одном из укрытий для машин стоял знакомый штабной автобус Кирпичникова, смонтированный на «студебеккере» и покрытый маскировочными пятнами; имелась и зенитная защита — счетверенные установки на грузовиках и арликоны. Само помещение командного пункта было устроено, как всегда у Кирпичникова, находчиво и разумно. Здесь был немецкий блиндаж, но его расширили, сверху накрыли брезентом и маскировочной сеткой, а внутри поставили стол и складные табуреты.

Когда Серпилин вошел, Кирпичников сидел спиною к нему и, молотя кулаком по столу так, что подпрыгивал телефон, ругал кого-то на том конце провода. «Прикладывал», как он сам любил выражаться:

— А я бы на месте командующего по-другому с вами поговорил. И сами сзади сидите, и войска вперед не идут! Позор! С ночи всего на два километра продвинулись. Где у вас стыд и совесть? Я вас спрашиваю, хоть капля совести у вас осталась?

Кирпичников повернулся и поднялся навстречу, продолжая держать трубку. Хотел положить ее, собираясь докладывать, но Серпилин махнул рукой:

— Заканчивайте.

— Еще раз повторяю: позор вам! — не сбавляя тона в присутствии командарма, громко и зло крикнул в трубку Кирпичников. — Если к вечеру не выполните задачу дня, поставлю вопрос об отстранении от командования дивизией. У меня все!

Он еле сдержался, чтобы не швырнуть трубку. Серпилин несколько секунд молча смотрел на него, на его злое лицо с красными пятнами на скулах, и медленно обернулся. Вошедшие было Прокудин и Синцов поняли и вышли.

— Кого это ты отстранять собрался? Талызина, что ли?

— Отстранять не отстранять, а пригрозить пришлось. Второй день из рук вон действует!

На лице Кирпичникова оставалось злое выражение, с которым он говорил по телефону.

— Всю обедню портит, от всех отстал,— добавил он все тем же взвинченным голосом, не пробуя справиться со своим возбуждением, а может, и не считая это нужным.

— А ты не допускаешь, что один быстрей другого идет не всегда только за счет собственной доблести? — спросил Серпилин. — Возможно, у немца там, против Талызина, поближе к Могилеву, поболее силенок, чем против других твоих дивизий. Но сплошной обороны у немца и там нет. Есть промежутки! И Та-

лызин действует ненаходчиво. О чем ему и сказано. Был у него по дороге. Не прямо с тебя начал.

— А он как раз на свой наблюдательный пункт приехал и докладывал мне, за что вы его ругали.

— Вот видишь — докладывал,— сказал Серпилин. — Другой бы на его месте не поспешил. Значит, честный человек. Зачем же ты его так, с маху: «Стыд, позор...»? Я бы не вошел, еще бы чего-нибудь похлестче добавил. Откуда у тебя такой террористический стиль руководства, скажи, пожалуйста? Неужели без этих слов не в силах добиться требуемого результата?

— Брань на вороту не виснет, товарищ командующий. Чего в горячке не скажешь. И сам не обижался, когда слышал, и у других обид на это не признаю! — угрюмо, с уверенностью в своей правоте ответил Кирпичников.

— Не знаю, от кого ты сам такое слышал,— сказал Серпилин, и у него заходили желваки на скулах. — От меня не слышал и, пока уважаю тебя, не услышишь. А ты, командир лучшего в армии корпуса, судя по твоему разговору, командиров своих дивизий не уважаешь.

— Почему не уважаю? Я Талызина как раз уважаю,— сказал Кирпичников.

— Как же так, уважаешь, а бесчестишь?

— Не каждый день так, товарищ командующий.

— А раз не каждый день, значит, терпимо? Видимо, не понимаем друг друга. — Серпилин сел за стол. — Докладывай новости, ты сегодня герой дня.

Кирпичников развернул карту и стал докладывать.

Если не считать отставания Талызина, дела в корпусе шли хорошо. Уже закрепились за Днепром на втором плацдарме и только что захватили третий.

— Авиаторам сообщили об этом третьем плацдарме? — сразу спросил Серпилин.

Кирпичников на секунду замялся, но доложил, как было. Оказывается, не он сообщил авиаторам об этом третьем плацдарме, а авиаторы ему. Возвращаясь после штурмовки, увидели, как наши еще в одном месте переправляются через Днепр, и сразу радировали своему командованию. А командир штурмовой дивизии сообщил в корпус.

— Молодцы! — сказал Серпилин. — А на много ли ты первый свой плацдарм, северный, расширил за эти часы?

Кирпичников показал по карте — на сколько.

— Пока не густо!

— Немцы сильно жмут. Если бы не штурмовики — спихнули бы.

Из дальнейшего доклада выяснилось, что один из офицеров штаба авиационной дивизии еще утром добрался до плацдарма, сидит там, за Днепром, со своей рацией и наводит самолеты на цели.

— Молодцы,— повторил Серпилин, услышав это. — А ты, Алексей Николаевич, там, на плацдармах, на штурмовиков, конечно, надейся, но и сам не плошай.

— Мы не плошаем,— сказал Кирпичников. — Тяжелая артиллерия — два полка,— он назвал номера полков,— с этого берега поддерживает, две батареи противотанковых орудий на понтонах туда, за Днепр, доставили и роту танков переправляем. Пока не подтвердили, но думаю, и они уже там.

— Синцов,— окликнул Серпилин,— возьми «виллис», поезжай обратно до поворота на Гусевку. Понтонно-мостовой батальон уже должен вытянуться на эту дорогу. Как головные машины встретишь — ищи командира! Батальон пусть следует к Ресте, а командира — ко мне... Отдельный понтонно-мостовой батальон, который обещал утром, через полчаса придет в твое распоряжение,— сказал Серпилин Кирпичникову, когда Синцов вышел. — Как собираешься с ним поступить?

— Уже продумали,— сказал Кирпичников. — В семи километрах за Рестой, где у нас с немцами «слоеный пирог» начинается, держу наготове роту танков, дивизион противотанковых орудий и роту автоматчиков на «студебеккерах». Дам все это понтонерам как прикрытие, и пусть ломят прямо по дороге к плацдарму.

— А ведь это правильно,— сказал Серпилин. — С воздуха прикрытие предусматриваешь?

— Предусматриваю, но с авиаторами еще не уточнял, пока не имею в руках этого мостового батальона.

— Решение верное,— одобрил Серпилин. — Батальон мощный, к ночи должен навести первый мост через Днепр. А завтра к полудню — второй. Твоя задача — за ночь переправить по крайней мере четыре полка. К семи утра обеспечишь, чтобы через мост и через твои порядки прошла армейская подвижная группа, мы ее сейчас заканчиваем формировать. Хотим резануть по немецким тылам в обход Могилева. Смотри на карту. Вот рубеж за Днепром, на который ты обязан выйти к семи ровно. У подвижной группы ни один волос не должен упасть до этого рубежа. Сюда чтоб пришла за твоей спиной, пороха не понюхав! А дальше — ее дело! А ты всеми тремя дивизиями пойдешь прямо к Березине. Твое дело — Березина. Если у Талызина опять задержка выйдет, пусть плацдармов не завоевывает, перебрасывай его по уже захваченным переправам. И торопись! Если твой сосед

слева до ночи не выйдет к Днепру, предупреждаю — и его начнем перебрасывать через твои плацдармы. И армейский резерв тоже через твои мосты пущу...

— Да... — Кирпичников даже почесал голову.

— Затылок чешешь? — усмехнулся Серпилин. — Кому много дано, с того много и спросится. В чем тебе отказали? Ни в чем. Мостовой батальон дали. Танковый батальон добавили, самоходный полк из резерва — тебе! Целая штурмовая дивизия на тебя — больше ни на кого — работает. Вправе и от тебя потребовать...

— А я снисхождения не прошу, товарищ командующий,— самолюбиво возразил Кирпичников. — Думаю, как лучше выполнить.

— Что ж, думай, это полезно,— сказал Серпилин. — И пусть штаб твой подумает и график составит, чтобы всякая требуха, которой пока на том берегу не требуется, дорогу не забила. А я пока к себе в штаб позвоню.

— Разрешите отлучиться, товарищ командующий? — спросил Кирпичников.

Серпилин кивнул. Понимал, что командир корпуса спешит отдать срочные распоряжения.

Кирпичников вышел, а Серпилин соединился с Бойко.

Бойко доложил обстановку. В ней были неясности: между Басей, Рестой и Днепром немцы на одних направлениях отступали, на других упорно дрались. Позади наших прорвавшихся частей образовалась чересполосица. Но даже эта путаница свидетельствовала, что наступление набирает ход.

От своих дел Бойко перешел к соседним армиям. Сосед справа ведет разведку боем, но немец перед ним пока стоит как вкопанный, не отходит. Сосед слева успешно наступает. Командующий фронтом звонил оттуда, спрашивал Серпилина, но, узнав, что он в дороге, удовлетворился разговором с Бойко. Приказал передать командарму, что хотя главный удар наносит он, но как бы не вышло, что Могилев возьмет сосед.

— Ругался или подначивал? — спросил Серпилин.

— Как я понимаю, пока второе. Но если не выполним задачу дня, будет и первое.

— Постараемся лишить его этой возможности,— усмехнулся в трубку Серпилин. И спросил, как дела с подвижной группой.

Бойко, никогда не упускавший случая дать понять, что о некоторых вещах ему излишне напоминать, ответил, что все в движении и к шести часам, как приказано, будут там, где приказано. Из 111-й дивизии взят полк Ильина. Он тоже в движении.

— Отдайте письменное приказание на имя танкистов,— сказал Серпилин.

— Уже готово.

— Укажите сразу не только ближайшую, но и дальнейшую задачи.

— Указаны и ближайшая и дальнейшая.

— Проставьте время ввода в прорыв завтра в семь ровно. И пошлите туда к ним с этим приказанием Дурдыева.

Дурдыев был заместителем начальника разведотдела армии.

— Пусть ждет меня там, приеду не позже восемнадцати и сам поговорю с исполнителями.

— Ясно,— сказал Бойко. — Где будете и когда вернетесь?

— Отсюда к Миронову. Потом в подвижную группу, к двадцати часам вернусь. Предупреди, чтоб и артиллерист и инженер были на месте. Сразу начнем работать над завтрашним днем. Где Захаров?

— У Миронова.

— Позвонит — передай, что и я там буду. Пусть сам решает, ждать меня или дальше ехать.

Кирпичников, как только разговор закончился, вошел и предложил пообедать: обед привезли.

— Рано. У Миронова пообедаю.

День распогодился, и Серпилин, выйдя на воздух, вдруг заметил, что для командного пункта выбрано на редкость красивое место: сзади в зеленой пойме течет река, а на изрытом окопами желтом песчаном холме, как свечки,— молодые, прямые сосны.

— Даже жалко, что такой командный пункт скоро бросать придется! — сказал Серпилин Кирпичникову и чуть улыбнулся. — Раз обещаешь, что утром далеко за Днепр уйдешь, наверно, завтра и сам туда переедешь?

Кирпичников пока что не обещал уйти завтрашним утром далеко за Днепр, но что ответишь командарму?

— Так точно, товарищ командующий. Приезжайте, будем встречать вас за Днепром.

Серпилин еще раз глубоко вдохнул запах сосен, и ему захотелось задержаться здесь, пообедать, как предложил Кирпичников. Но появление Синцова и майора с саперными топориками на погонах удержало от соблазна.

— А вот и мостовик! — сказал он.

Маленький, чернявый сапер-очкарик картавой скороговоркой доложил, что он, командир отдельного двадцать девятого понтонно-мостового батальона майор Горелик, по приказанию командующего прибыл.

— Что сам прибыл — хорошо. С чем и поздравляю,— сказал Серпилин, пожимая руку саперу. — А вот где ваш батальон та-

щится? Сам лично, один, без него мостов через Днепр нам не наведешь?

— Никак нет, товарищ командующий, не тащимся, а движемся, как приказано. На рубеж Реста приказано выйти к тринадцати ровно, а сейчас без двадцати. — Майор засучил рукав на поросшей черным волосом руке и так сердито стукнул по стеклу пальцем, словно делал выговор Серпилину за его несправедливость. — А вон моя головная машина,— радостно добавил он, показывая рукой на выползавший из-за поворота дороги грузовик с понтоном.

— Выходит, наоборот, с опережением,— сказал Серпилин. Ему понравилось, как смело разговаривал с ним майор.

— Так точно, с опережением, товарищ командующий.

— Ну что ж, Алексей Николаевич,— обратился Серпилин к Кирпичникову,— значит, поступает в твое распоряжение майор Горелик со своим батальоном. Начальства, как вижу, не боится, будем считать, что и Днепра не испугается. И немецкого огня тоже. — И уже без улыбки, серьезно сказал саперу: — Командир корпуса отдаст вам все необходимые приказания, а от меня напутствие такое, передайте его вашим саперам: в ближайшее время должны быть на Днепре, к ночи — один мост, утром — второй. Сделаете — вся армия будет благодарна, не сделаете — всю армию подведете!

— Понятно, товарищ командующий.

— А теперь поехали,— сказал Серпилин.

— Разрешите узнать ваш маршрут, как поедете? — спросил Кирпичников, подходя с Серпилиным к «виллису».

— Поеду к Миронову. В его полосе — не твоя забота, а в твоей полосе — поедем, учитывая твой доклад о твоем продвижении. Командиру корпуса привык верить; адъютант на карте отметил, где ты, а где немец.

Проселок, по которому поехали от Кирпичникова к Миронову, петлял вдоль Ресты и через полчаса вывел ко второй переправе. Мост здесь был меньшей грузоподъемности и кряхтел под колесами орудий.

Серпилин задержался у переправы, подозвал командира артиллерийского полка, выяснил у него, когда, из какого пункта тронулись и где и когда приказано быть, и, удовлетворенный ответом, поехал дальше.

Дорога, сначала шедшая вдоль берега, все больше уклонялась к западу, огибая лесной массив. Вдали, справа, тоже темнел лес. Судя по карте, оставалось уже немного до того большака, по которому, перейдя Ресту, должна была двигаться талызинская дивизия.

А дорога поворачивала все правей, к дальнему лесу. До сих

пор с юга и с запада слышался лишь отдаленный гул артиллерии. А тут вдруг донеслись близкие и частые выстрелы из танковых пушек. Потом несколько хлопков из «сорокопяток», еще несколько выстрелов из танковых пушек и недружный, вразброд, грохот «эрэсов». Прошло несколько минут, и там, впереди, увесисто, с оттяжкой стали бить наши стодвадцатидвухмиллиметровые орудия.

— Товарищ командующий,— сказал Прокудин, глядя на карту,— может, повернем? Тут левей еще одна полевая дорога...

— Понадобится — и полный назад дадим,— сказал Серпилин. — Воевать с немцами в таком составе не будем. Нечем! — И в ответ на вопросительный взгляд Гудкова кивнул, чтоб продолжал ехать. — Видимо, эпизод какой-то разыгрался. Сейчас на большак выскочим, станет ясно.

Однако ехал теперь, внимательно вглядываясь в даль и прислушиваясь к выстрелам.

Полевая дорога уперлась в разбитый мостик через ручей. Пришлось повозиться минут десять, прежде чем все три «виллиса» перебрались на ту сторону. И почти сразу же выскочили на большак.

Вблизи уже не стреляли, снова слышался только отдаленный гул. По большаку на запад двигалась тяжелая артиллерия.

— Спроси их, сколько они от реки отъехали? — приказал Серпилин.

Синцов выскочил из «виллиса» спросить и заодно уточнил, какая это часть. Он уже привык: где бы и кого бы они ни останавливали, требовалось отметить у себя, чье хозяйство, место и время встречи с ним. Потом, вечером, возвратясь на командный пункт, Серпилин сам смотрел эти заметки адъютанта: где, когда и с кем встречались в течение дня. И не дай бог тому, по чьим донесениям выходило, что его части в такой-то час находились не там, где были в действительности. На бумаге — одно, а на деле — другое! Этого Серпилин никому не спускал и, даже если дела шли хорошо, все равно беспощадно отчитывал за неправдивый или неточный доклад. Впрочем, он не делал разницы между этими двумя словами. Говорил: то, что неточно, то и неправдиво! Приблизительность в донесениях — первопричина глупых решений. Если не знаешь истинного положения своих частей, имей смелость доложить: «Не знаю, но приму меры, чтоб знать!» А если, не зная, делаешь вид, что знаешь, неизвестно, где конец твоей лжи. Потому что все, кто примет на веру твою ложь, будут потом по восходящей обманывать друг друга, сами того не ведая!

Синцов вернулся и доложил, что до реки шесть километров, добавив номер полка.

Серпилин удовлетворенно кивнул: полк находился там, где ему и следовало быть,— и сказал Гудкову, чтоб ехал к переправе.

Едва развернулись и поехали на восток, как навстречу выскочил обгонявший артиллеристов «виллис». Водитель гнал его так, что чуть не столкнулись бампер в бампер.

Увидев командарма, из «виллиса» выпрыгнул полковник. Оказывается, он сам сидел за рулем и стал докладывать Серпилину, так заплетаясь, словно был пьян.

— Отставить,— перебил Серпилин, узнав в нем Земскова — начальника штаба талызинской дивизии, человека вообще-то уравновешенного. — Почему сами за рулем? Для вас что, приказ не писан?

— Товарищ командующий, сам сел за руль, хотел успокоиться, пока доеду... — непохоже на себя почти выкрикнул Земсков.

— Приведите себя в порядок и доложите, что случилось,— сказал Серпилин и вылез из «виллиса» на дорогу.

Земсков поправил на лысой голове фуражку, сдвинул назад съехавший на живот пистолет и уже открыл рот, чтобы доложить, но Серпилин снова остановил его:

— Пуговица...

Земсков, не глядя, потянулся пальцами и застегнул пуговицу на вороте.

— Теперь докладывайте...

— Товарищ командующий, командир дивизии убит... — И, проглотив слюну, добавил: — Только что...

— Там? — ткнув пальцем назад, на дорогу, спросил Серпилин. Его уже насторожило, когда он услышал, как нескладно, вразброд стреляли «эрэсы». И эта зацепившаяся в сознании нескладица заставила сейчас подумать, что одно к другому — командир дивизии убит именно там.

— Прямо на дороге, товарищ командующий. «Фердинанды» из лесу выскочили... Донесли, что прямым попаданием снаряда. Еду туда.

— Командиру корпуса доложили?

— Так точно, доложил. Получил приказание временно исполнять обязанности командира дивизии.

— Сколько отсюда? — спросил Серпилин. — Два с половиной?

— Так точно.

— Поедем вместе. Гудков, развернитесь. — Серпилин повернулся к Синцову: — Вот это самое мы и слышали. Подвиньтесь, пустите полковника.

— Карта с собой? — спросил он у Земскова, когда «виллис» уже тронулся.

— С собой.

— Доложить обстановку в состоянии?

— В состоянии. Всю последнюю обстановку имею.

— Обстановку имеете, а командира дивизии у вас прямо на дороге убивают... Докладывайте! — Серпилин раскрыл планшет.

Но от его слов, что командира дивизии убивают прямо на дороге, Земсков спохватился, куда он везет командарма, и вместо доклада сказал:

— Товарищ командующий, обстановка неясная, прошу остановиться. Я вам здесь доложу. И один поеду.

— То все ясно, то все неясно,— сердито сказал Серпилин.— Что неясно, доедем — выясним. А пока докладывайте то, что вам ясно.

Земсков, как положено, стал докладывать обстановку начиная с правого фланга, от этой привычной механичности все больше приходя в себя. Из его доклада следовало, что обстановка в дивизии с утра изменилась к лучшему, продолжается продвижение к Днепру по трем дорогам сразу.

Через несколько минут доехали до места происшествия. Дорога втягивалась в лес. Сначала с обеих сторон появились рощицы, потом открылась заросшая кустарником лощина, за которой начинался большой лес. Тут все и произошло.

В кювете лежала опрокинутая сорокапятимиллиметровая пушка. Вторая пушка, выстрелы которой, наверно, и слышали издалека, стояла на обочине. У нее был сбит щит.

Посреди дороги зияла воронка. В стоявший у воронки грузовик заканчивали класть раненых. Тут же на дороге топтались младший лейтенант-артиллерист и пехотный капитан, первым подскочивший к «виллису», когда из него вылез Серпилин.

Капитан доложил, что он командир батальона.

— А где командир дивизии? — озираясь, как о живом человеке, спросил Серпилин.

— Пока вот...— сказал капитан и показал рукой в сторону.

Там, в заросшем травой кювете, скорчившись, сидел какой-то человек, а рядом с ним лежал сверток. Короткий. Что-то завернутое в почерневшую, промокшую плащ-палатку.

— Собрали... — сказал капитан, когда Серпилин перешел через дорогу и уставился взглядом в эту плащ-палатку.

Сидевший рядом со свертком человек поднялся на ноги и медленно вытянул руки по швам. Это был немолодой, лет сорока, лейтенант с неживым, отсутствующим лицом. Синцов узнал адъютанта Талызина, с которым они когда-то вместе зимой на Слюдянке подбирали после боя в снегу раненых.

— Прямое попадание,— сказал капитан.

Серпилин кивнул и оглянулся на дорогу. Он уже заметил на ней следы крови. Но сейчас оглянулся и посмотрел еще раз. Потом повернулся к тому, что было завернуто в плащ-палатку, и сказал лейтенанту:

— Откройте...

Тот нагнулся и, взявшись за концы плащ-палатки, откинул их в разные стороны.

Талызина просто не было. Была память о нем, но ничего, что могло бы напомнить о его существовании на земле, уже не было.

Серпилин снял с головы фуражку и с полминуты постоял молча, глядя на этот открытый перед ним сверток. Потом сказал:

— Закройте... — Надел фуражку и повернулся к капитану: — Присутствовали, когда произошло?

— Так точно, присутствовал, товарищ командующий.

— Доложите!

Из доклада и дополнений полковника Земскова выяснилось то, что и можно было предполагать. Талызин после встречи с Серпилиным ездил с места на место, подгоняя наступавшие части. Он и так отличался хорошо всем известной храбростью, но встреча с Серпилиным и обидный разговор с командиром корпуса, наверное, подкрутили его еще больше. Первую половину дня он делал все, что мог, чтобы ускорить продвижение дивизии, — и ускорил. И, довольный этим, решил еще ускорить: приказал шедшему вслед за передовым отрядом полку двигаться прямо в походной колонне.

Так и двигались. Командир полка, не будь рядом начальства, наверно, сам принял бы меры охранения, но командир дивизии не только нажимал на быстроту движения, он при этом еще и сам лично шел с колонной. В результате достаточных мер охранения так и не приняли.

Сперва Талызин шел с первым батальоном, подбадривал и торопил солдат. Это было не в новинку, за ним знали привычку на походе двигаться пешком то с одной, то с другой колонной. Потом перебрался во второй батальон, потом в третий, в этот. Шел в голове батальонной колонны и разговаривал с командиром батальона, когда между опушкой большого леса и рощей вдруг вывернулись из зарослей три «фердинанда» и открыли огонь. Батальон залег. Талызин приказал развернуть шедшие в колонне пушки. Одну, прежде чем она развернулась, «фердинанд» разбил прямым попаданием, а вторая успела сделать несколько выстрелов. Талызин сам подскочил к ней и управлял огнем — немецкий снаряд ударил прямо в щит.

Расчеты двигавшихся позади батальона «катюш» увидели происходящее и открыли огонь по «фердинандам». Стреляли вразнобой, потому что шли с интервалами. Залпы «катюш» поражения не нанесли, но испугали немцев. «Фердинанды» скрылись в лесу.

Артиллерия, шедшая сзади «катюш», била уже вдогонку.

В результате семь раненых и один убитый на месте — командир дивизии. А «фердинанды» надо будет еще ловить и добивать, с земли или с воздуха.

Земсков доложил, что, уезжая сюда, связался с ушедшим вперед танковым батальоном — дал ему координаты «фердинандов», а также сообщил их авиаторам. Услышав это, Серпилин внимательно посмотрел на него: несмотря на пережитое потрясение, Земсков не забыл в первую же минуту сделать все необходимое. Такой человек, наверное, сумеет командовать дивизией.

— Догоняйте свой батальон,— сказал Серпилин капитану.

— Есть, товарищ командующий. Я только ждал... — Капитан почувствовал себя виноватым, но Серпилин прервал его:

— Догоняйте батальон и немедля примите меры охранения.

— Уже приняты, товарищ командующий...

— Уже... Дорого приходится платить за такие «уже»... Идите! — Серпилин повернулся к Земскову: — Что думаете делать...— хотел сказать «с телом», но сказал: — с прахом командира дивизии?

— Не думал еще, товарищ командующий...

— И не думайте, это наша забота. Выделите грузовик и дайте сопровождающих. Пусть проделают все, что требуется медицинской, все их формальности, а потом явятся к начальнику тыла армии, у него уже будут указания. А вам надо идти вперед. Могилев брать. Задача дня известна?

— Так точно, известна.

Серпилин сделал паузу. Она значила: мало сказать «известна», надо еще и повторить задачу дня. Земсков повторил.

— Правильно,— сказал Серпилин. — И сделать осталось еще много, иначе до ночи на Днепр не выйдете. Берите дивизию в свои руки. Покажите, на что способны!

Сказав это, посмотрел на Земскова, безрадостно ответившего: «Понял вас!», и положил ему руку на плечо.

— И я вас понял. Не в такую минуту вступать бы в командование дивизией, но мы над этим не властны, вступаем, когда война прикажет!

Серпилин сел в «виллис» и поехал обратно к Ресте, навстречу продолжавшей двигаться оттуда артиллерии.

Синцов, сидя сзади, видел его широкую, ссутулившуюся спину.

Завернувшись в плащ-палатку и сцепив под ней руки, Серпилин ехал и думал о том, о чем не имел ни времени, ни права думать там, на шоссе. Вернее, подумал и там, но отклонил эти мысли как несвоевременные, не идущие к тому главному, что он обязан был сделать. И сама эта за долгие годы воспитанная в себе способность отложить, оттеснить в сторону лезущие в голову, но несвоевременные мысли, которые можно оставить «на потом», была одной из главных черт его истинно военной натуры, черт, куда более важных, чем поворотливость или выправка, которые прежде всего бросаются в глаза в военных людях.

Первое потрясение от неожиданной гибели Талызина привычно оттеснилось неотложными мыслями: дивизия набрала темпы и должна была двигаться дальше. То, на что употребил свои последние усилия Талызин, не должно было прерваться с его смертью, наоборот! Иначе сама его смерть становилась еще более бессмысленной. Даже распоряжение отправить прах Талызина прямо в тыл армии было вызвано желанием подтолкнуть вперед дивизию и ее нового командира, заставить их думать над тем, что дальше, а не над последствиями того, что произошло. Лишить их необходимости думать сейчас об этом. Потом подумают!

Талызин, бирюковатый по натуре и казавшийся по первому впечатлению малообразованным, на самом деле был хорошо начитан, знал службу и командовал своей дивизией хотя и не безошибочно, но честно: не раздувал успехов и не прятал неудач. И вообще, по составившемуся у Серпилина мнению, был человек высокопорядочный.

Сегодня утром у Серпилина и в мыслях не было, что Талызин кривит душой, отсиживается. Просто застал его в такой неудачный момент — всякий человек два часа в сутки отдохнуть должен, хоть он командир дивизии!

Сейчас, когда Талызин погиб, Серпилин вспоминал утренний разговор с ним: не сказал ли ему чего-то несправедливого, такого, что толкает людей к гибели. Нет, не сказал! Да и Кирпичников, хотя и в своем крикливом стиле, по сути, требовал от него дела.

Ну не изругал бы его Кирпичников, так что он, вперед бы не полез? Все равно полез бы. Не из-за ругани, а по совести! И не впервые это, черт его знает в какое пекло лазил, а жив оставался...

Конечно, когда человек погибает, тем более подчиненный, хочется задним числом, чтобы ты его перед смертью хвалил, а не ругал. А если в последний раз ругал — пускай правильно,—

потом, после смерти, все равно кажется, что надо было сказать ему что-то другое...

— Синцов!

Серпилин так долго молчал, что казалось, будет молчать всю дорогу. Синцов даже вздрогнул.

— Слушаю вас, товарищ командующий!

— Когда в оперативном отделе работал, бывал у Талызина?

— Много раз. — Синцов подумал, что Серпилин хочет что-то спросить про Талызина.

Но Серпилин ничего не спросил. Помолчал и сказал:

— Жаль потерять командира дивизии. Но если взять его самого, такая смерть для военного человека, можно считать, хорошая! Посреди дела. Не успев подумать о смерти. Думал в последнюю секунду, как бы немцу в бортовую броню снаряд влепить! А то, что видели с тобой, что в могилу кладем, сам человек этого уже не знает. Хуже, когда война человеку время оставляет подумать, что он умирает, а дело недоделанное. — И теперь, когда Синцов уже не ожидал, вдруг спросил: — Говоришь, хорошо знал Талызина? Ну и какой он, по-твоему, был?

— Из всех командиров дивизий, к которым мне приходилось ездить, самый бесстрашный.

— Бесстрашием отличался, это верно,— сказал Серпилин и снова замолчал.

Он знал о Талызине то, чего не знал и не должен был знать Синцов, и это знание заставляло его видеть бесстрашие Талызина в другом свете, чем видел Синцов.

Никто, кроме Серпилина и еще трех-четырех человек в армии, не знал о командире дивизии Андрее Андреевиче Талызине, что это тот самый, который в июле сорок первого года вместе с несколькими другими генералами был отдан на Западном фронте под трибунал. Талызину предъявлялось обвинение в трусости и утере управления дивизией. За это он был приговорен к расстрелу, замененному десятью годами лишения свободы. Из лагеря писал письма, просился на фронт, летом сорок второго был освобожден, послан воевать заместителем командира полка и за полтора года снова стал генерал-майором, командиром дивизии и даже Героем Советского Союза.

Отраженная в личном деле быстрота, с которой все это произошло, даже насторожила Серпилина. Но, увидев Талызина в деле, он понял, что это человек, не способный получать задаром награды или звания. Кто его знает, как у него там было в действительности в сорок первом году, почему и как потерял управление дивизией. Но та настойчивость, с которой Талызин пока-

зывал на личном примере, что значит не бояться смерти, та щепетильность, с какой он докладывал о своих неудачах, и та горечь, с какой переживал их,— об этом дважды сообщал Захарову замполит Талызина, беспокоясь за жизнь комдива,— все это заставляло Серпилина думать, что доля вины, тогда, в сорок первом году, за Талызиным все же была. И он ее помнил и не прощал себе. Другие забыли, а он помнил.

Один раз струсить или растеряться может даже самый храбрый человек. Кто думает иначе, тот войны не знает. Что же, никто на всем Западном фронте так и не был тогда виноват в том, что произошло? Все были ни в чем не повинные? А если бы ты сам тогда там, под Могилевом, не устоял, отступил, бросил позиции,— что тогда?

Теперь находятся такие, что, вспоминая сорок первый год, говорят: вот, дескать, генерал Самсонов в Восточной Пруссии в четырнадцатом году потерпел поражение, взял на себя за это ответственность — и пулю в лоб! А у наших у многих ответственность была потяжелее, а на то, чтоб пулю в лоб,— не хватило!

Задним числом легко говорить! На тот свет себя отправить не так долго, если рука твердая. Но разве в этом был тогда вопрос? Вопрос был в том, как немцев остановить! На этом свете, а не на том.

Пока Талызин был жив, Серпилину не приходило в голову спросить его: что было с ним тогда, в сорок первом году? Был ли в чем-то виноват и как сам смотрит на это? А сейчас, когда он умер, захотелось спросить.

Но что он мог бы на это ответить — уже никогда не узнаешь...

Генерала Миронова на командном пункте корпуса не оказалось. Он выехал в одну из дивизий вместе с членом Военного совета армии и должен был вот-вот вернуться.

— Раз скоро будет, подождем,— сказал Серпилин.

Начальник оперативного отдела доложил обстановку. Мироновский корпус тоже пробился передовыми отрядами на Днепр и сейчас шел к нему главными силами.

— А сами до завтра здесь будете сидеть? — спросил Серпилин, окинув взглядом стоявший прямо при дороге длинный барак, в котором разместился командный пункт корпуса. Здесь были торфоразработки, и барак, наверно, служил раньше общежитием.

Начальник оперативного отдела ответил, что новый командный пункт подготовлен в семи километрах отсюда, за Ресгой,

ждут возвращения командира корпуса, чтобы получить «добро» на перемещение.

— Ну это еще так-сяк,— сказал Серпилин. — А то выбрали под командный пункт какую-то лачугу. Зимой бы ладно, а то летом, лучшего места не нашли? Как у вас связь с армией?

— Все в порядке. В шестнадцать докладывали генералу Бойко обстановку.

— Вот и я с ним поговорю, пока Миронов не вернулся. — Серпилин пошел вслед за начальником оперативного отдела.

Барак внутри выглядел лучше, чем снаружи. Но когда Серпилин сел на лавку и устало прислонился к засыпной стене барака, там за досками зашуршала и посыпалась земля.

— Григорий Герасимович,— сказал Серпилин, когда его соединили с Бойко,— обстановка у Кирпичникова и Миронова мне известна. Доложи, как у Воронина.

Бойко докладывал обстановку на левом фланге, а Серпилин сидел, по-прежнему привалясь к стене, и чувствовал боль в ключице. «Черт ее знает, не болела, не болела, а сегодня вдруг заболела. От езды, что ли?»

Выслушав обстановку и спросив, как подтягивают вперед артиллерию, Серпилин сказал:

— Вопросы все. Теперь слушай меня...

Но Бойко прервал его:

— Разрешите раньше доложить — командующий фронтом снова звонил от соседа слева в пятнадцать десять. Приказал, как только вас найду, связать с вами.

— Буду ждать здесь,— сказал Серпилин. — А теперь слушай меня. От Кирпичникова уже знаешь, что случилось?

— Знаю,— сказал Бойко. — О Землякове уже отдал в приказе.

— Что отдал — хорошо,— сказал Серпилин,— а вот другой приказ срочно готовить надо. Озаглавь «О мерах охранения в период преследования противника» и жестко напомни: не снижая требования к быстроте продвижения, оставляем в силе все требования по разведке и охранению. Чтобы такого движения очертя голову, как Талызин, никто больше не позволял. К ночи разошлем приказ, а пока от моего имени — устно!

— Талызин сам виноват,— сказал Бойко. — Сколько раз предупреждали!

В голосе его прозвучала непримиримость. В свое время, после боев на Слюдянке, он предлагал отстранить Талызина от командования дивизией.

Серпилин поморщился:

— Все так, Григорий Герасимович, но тягать его с того света не станем. Выводы выводами, они будут в приказе, а сформули-

руем как положено, что погиб смертью храбрых. Я приказал его прах в штаб тыла вывезти. Выбери минуту, позвони начальнику тыла.

— Сейчас свяжусь,— ответил Бойко. И вдруг радостно сказал: — Кирпичников только что донес: понтонно-мостовой батальон уже на Днепре, приступил к наводке первого моста.

— Замечательно,— сказал Серпилин и озабоченно добавил: — Позвони авиаторам, поставь задачу прикрыть эту переправу, как ничто другое. И зенитки туда подбрось! Это нам теперь важней всего! Эту переправу и для других корпусов используем.

— Понятно,— подтвердил Бойко. — Если у вас все, буду связывать вас с командующим фронтом.

— И прямо с ходу доложи ему про мост, чтобы мне этот вопрос уже не задавал! — Серпилин положил трубку, вспомнил, что не обедал, но обедать уже не хотелось.

В барак вошли командир корпуса Миронов и Захаров, оба забрызганные грязью.

— Где это вас так? Машину, что ли, сами толкали?

Захаров рассмеялся:

— Шли, там у него на наблюдательный пункт дивизии — торфяник, стежка узкая, а немец мину врезал. Как вошла в болото — аж хлюпнула! Осколками не зацепила, а грязью — с головы до ног!

— «Хлюпнула»,— сердито повторил Серпилин. — Талызина полтора часа назад на большаке, у Веденеевки, прямым попаданием так хлюпнула — все, что осталось, в плащ-палатку увязали! «Хлюпнула»... — еще сердитей передразнил он Захарова и, повернувшись к Миронову, повторил то, что уже говорил Бойко о соблюдении правил охранения во время преследования немцев.

Потом спросил Захарова:

— Как в дивизии?

— Между передовыми частями и главными силами, не доходя Днепра, еще болтаются группы немцев с танками и бронетранспортерами. Но с НП уже видели Днепр своими глазами, в четырех километрах.

— Если разрешите, товарищ командующий,— сказал Миронов,— я сейчас при вас другим командирам дивизий позвоню, заслушаю их доклады... Или сами хотите заслушать?

— Что же я буду через вашу голову... Обстановка не требует. А мы пока с членом Военного совета выйдем воздухом подышим, а то вы тут в какую-то нору залезли!

Когда вышли, Захаров стал расспрашивать подробности гибели Талызина.

— Сам не присутствовал, только результаты видел. — Серпилин посмотрел в глаза Захарову. — Не знаешь, как это бывает? Убит — значит, убит! — И тронул Захарова за рукав гимнастерки: — Почисть!

— Ждал, когда подсохнет. Сейчас почищу.

Захаров пошел к своему «виллису». А Серпилин, проводив его глазами, снова тревожно подумал про ту мину в торфяном болоте. «Хлюпнула...» И недовольно потянул носом:

— Черт его знает, Миронова, устроил себе КП посреди болота! Лето одно на всех. У Кирпичникова хвоей пахнет, а у этого — гнилью.

Он огляделся и поманил к себе стоявшего, как обычно, наготове, не слишком близко и не слишком далеко, в десяти шагах, Синцова.

— Слушаю вас, товарищ командующий.

— По-моему, у нас с тобой там еще чай в термосе остался? Есть неохота, а попить надо. Принеси.

Синцов принес из «виллиса» термос. Левой рукой в перчатке прижав его к телу, отвинтил крышку, вытащил пробку, перехватил термос в правую руку, а крышку, опять же ловко, прижал к телу левой рукой и, налив в нее чай, подал Серпилину. Сделал все это споро, но Серпилин уже не в первый раз испытал неловкое чувство — не то хотелось помочь, не то сделать самому.

Он выпил несколько глотков начавшего остывать чая, протянул пустую крышку Синцову и, пока тот шел обратно к «виллису», подумал про него: «Адъютант есть адъютант. Хотя, когда брал, обещал, что в денщика превращать не буду, а на практике без «принеси, подай» не обходится. Все же, когда брал, недоучел его увечье. Сам того не хочешь, а ставишь себя с ним в неловкое положение».

Захаров вернулся почищенный, даже сапоги блестели.

— Теперь другое дело,— улыбнулся Серпилин. — Как новенький! Ты куда отсюда?

— Домой. Хочу вызвать к себе тыловиков, проверить, как с подачей боеприпасов. Сегодня этим вопросом еще не занимался. А ты?

— Подожду здесь. Батюк приказал ждать его звонка. А после этого по дороге домой заеду в подвижную группу — она в лесу, восточней Замошья,— Серпилин посмотрел на часы,— уже сосредоточилась. — И, взяв Захарова об руку, еще дальше отойдя с ним в сторону, спросил: — Константин Прокофьевич, какое у тебя мнение о Миронове складывается? Ты и в первый день у него был, и сегодня. Правильно мы сделали, что после первых неудач не отстранили его?

— Полагаю, правильно,— сказал Захаров. — Как-то он в первый день слишком идеально подошел: считал, что раз все так хорошо расписано — столько залпов туда, столько залпов сюда,— значит, все само собой и сделается. И когда завяз в пойме, растерялся. А теперь у него уже материалистический взгляд на вещи: на план надейся, но и сам не плошай!

— А как с подчиненными? — спросил Серпилин. — Достаточно требователен?

— Требовать требует, но тон профессорский.

— Тон еще ничего,— сказал Серпилин. — А что в первый день, как ты выражаешься, «слишком идеально подошел» и считал, что все пойдет как по расписанию,— вот это меня в нем испугало...

— Ты сам профессор, тебе виднее,— улыбнулся Захаров.

— Это когда было! — сказал Серпилин. — А за него боялся: только на третьем году войны из академии на фронт выпросился...

Из барака вышел командир корпуса и направился к ним.

— Товарищ командующий, могу доложить последнюю обстановку...

Лицо Миронова со впалыми щеками, со щеточкой усов над тонкими, неулыбающимися губами и раньше казалось худым. А сейчас воротник генеральского кителя так отстал от шеи, что казалось: китель с чужого плеча.

«Да, досталось за эти дни профессору! Сколько ему лет-то? Помнится, моложе меня...»

Миронов продолжал стоять, ожидая ответа. И Серпилин вдруг заметил у него следы от дужек пенсне. С тех пор как Миронов пришел со своим корпусом в армию, за все три недели ни разу не видел его в пенсне. Значит, раньше носил, а сейчас не носит. Почему? Профессорского вида иметь не хочет, что ли?

— Докладывайте, Виталий Викторович.

— Предпочел бы на карте.

— Пойдем,— сказал Серпилин. — Очень уж КП у вас неприглядный. Кто его только выбирал!

Они вошли в барак. Миронов, стоя над картой, поднял остро очиненный карандаш концом вверх и задержал его в воздухе так, словно хотел привлечь общее внимание к тому, что сейчас будет говорить и показывать. И этим сразу напомнил Серпилину того прежнего Миронова, молодого, подающего надежды адъюнкта академии, читавшего им, слушателям, лекции по истории военного искусства. Волосы он еще тогда, в двадцать девятом, носил на прямой пробор, под Шапошникова. И недавно вышедшая книга Шапошникова о генеральном штабе — «Мозг армии» — была его евангелием.

— Обстановка по сто сорок третьей дивизии... — начал Миронов и прицелился карандашом в карту.

Но в этот момент затрещал телефон, и Прокудин протянул Серпилину трубку с лицом, не оставлявшим сомнений, кто звонит.

Услышав обращение по имени-отчеству и вопрос: «Как себя чувствуешь?» — Серпилин ответил тоже по имени-отчеству.

— Спасибо, Иван Капитонович, чувствую себя хорошо.

— А я на твоем месте как раз чувствовал бы себя плохо,— сказал в трубку Батюк. — Сосед-то твой слева на шестнадцать часов вышел ближе тебя к Могилеву!

— Принимаю все меры, чтобы в течение завтрашнего дня быть в Могилеве,— сказал Серпилин.

— Доложи, какие меры.

Серпилин доложил. Батюк там у себя, глядя на карту, два раза уточнял положение. Потом спросил:

— Что мост приступили строить, уже слышал от твоего начальника штаба. А когда будет готов, хотел бы услышать от тебя самого.

— Надеюсь, не позже двадцати двух часов доложить вам, что мост готов.

— Так и запишем. — В голосе Батюка послышалось прояснение — «барометр пошел вверх», как выражался в таких случаях Бойко.

— Товарищ командующий,— сказал Серпилин,— докладываю: следуя в походных порядках своей дивизии, погиб смертью храбрых...

Но Батюк перебил:

— Что погиб смертью храбрых, уже понял из всех докладов. А почему и как — пока не уяснил. Бомбят вас, что ли? Тогда почему не доносишь?

Серпилин объяснил, почему и как, и добавил, что приняты меры на будущее. Приказ по армии за ночь будет доведен вплоть до командиров полков.

— Приказа по армии мало по такому случаю. Что вам это, понимаешь, сорок первый или сорок второй год?! Приказом по фронту отдадим и тебе в нем укажем! А теперь слушай последнюю новость: твой сосед справа перешел к преследованию -- немец перед ним отходит, и ему догонять немца нечем! К девяти утра, как только у тебя Кирпичников главными силами перейдет за Днепр, приказываю: взять у него сто вторую дивизию и передать ее твоему соседу справа. А с тебя хватит и того, что останется,— наверно ожидая от Серпилина попытки возразить, добавил Батюк.

Но Серпилин не возразил — считал, что все правильно, хотя отдавать дивизию — радость маленькая!

— Будет исполнено. К девяти часам ровно передадим дивизию.

— Только смотри не раскулачивай ее перед этим,— сказал Батюк. — А то иногда в таком виде соседу передают, что и принимать нечего! Все, что вот сейчас, на семнадцать часов, при ней есть, чтоб при ней и было! Предупреждаю.

— А почему вы меня предупреждаете, товарищ командующий? Совести пока не терял. Или вышел у вас из доверия?

— Ты это брось,— сердито сказал Батюк. — Вышел бы из доверия, я бы не так с тобой говорил. Где бы я ни был, лично мне доложи, как только мост наведете. И не просто наведете, а первую колонну техники по нему пропустите. Тогда, значит, действительно навели. А то...

Хотел сказать что-то еще, но, видимо, сдержал себя.

— У меня все...

Серпилин положил трубку, устало потер лицо руками и снова взял трубку, приказав соединить себя с Кирпичниковым. И, ожидая, когда соединят, улыбнулся Захарову.

— Зачем дразнишь? — тихо спросил Захаров, оглянувшись на Миронова, который во время разговора с командующим фронтом деликатно отошел в сторону.

— Не дразню. — Серпилин перестал улыбаться. — Напротив, намного выше ценю, чем раньше. Но пусть не забывает, что я командарм, и мне о порядочности напоминать не требуется. Пусть напоминает тем, кому требуется, если у него есть такие.

— Все так,— сказал Захаров. — Но не хотелось бы, чтоб отношения испортил.

— Будем хорошо воевать — не испортим. А провалим дело — о каких отношениях речь? — сказал Серпилин и, услышав в трубке голос Кирпичникова, стал объяснять ему про дивизию, которую — ничего не поделаешь — придется отдать соседу.

Потом положил трубку и подозвал Миронова.

— Извините, Виталий Викторович, что прервал вас. Продолжайте. Наверное, что-нибудь хорошее от вас услышим, раз сами спешите доложить.

— Не совсем так, товарищ командующий,— сказал Миронов.

Оказалось, что его левофланговая дивизия опять застряла, отбивая контратаки немецкой пехоты с самоходками.

— Хочу сам туда выехать,— сказал Миронов. — Прошу разрешения.

— Если верно вас понял, спешите нас спровадить? Мешаем уехать?

Миронов молчал, но в глазах у него можно было прочесть: «Да, мешаете. Не будь вас тут, уже поехал бы в дивизию».

— Прав, надо и нам с членом Военного совета трогаться,— сказал Серпилин.

Но Захаров неожиданно для него вдруг обратился к Миронову:

— А я, пожалуй, тоже в дивизию съезжу. Вместе посмотрим: почему там немцы не по закону действуют? Что-то самоходок у них больно густо стало! Что ни донесение — самоходки! Когда начинали, разведка нам так много самоходок не показывала...

Услышав, что Захаров снова собирается ехать вместе с командиром корпуса, Серпилин сначала подумал неодобрительно: не слишком ли много опеки! Но потом решил — Захарову виднее. И в первый день, во время неудачных действий Миронова, не вылезал от него, и сегодня с утра у него. И, может быть, лучше тебя знает сейчас, чем поддержать его дух. Захаров вообще знает, что делает.

— С тобой вечером встретимся,— кивнул Серпилин Захарову. — А вам, Виталий Викторович,— пожимая руку Миронову, сказал он,— на прощание совет: не забывайте бога войны! Хорошо, конечно, самому комкору в дивизию приехать, но если у него при этом еще в запасе, в кулаке, два-три артиллерийских полка зажаты, которыми он без долгих разговоров способен помочь,— еще лучше. И намного! Боюсь, что ваших подчиненных немец успешно контратакует не потому, что так уж силен, а потому, что артиллерия у вас все еще только едет к переднему краю. А пора бы доехать!

Простился и сел в «виллис»; и, как только двинулись, спросил у сидевшего сзади Прокудина:

— Вчера вы в оперативном отделе проектировали, что немец против нашего правого соседа сегодня с утра отход начнет. Так?

— Так точно,— сказал Прокудин.

— А он с утра не начал. Рассуждал, наверное, как и вы, но приказа еще не имел. А теперь получил.

— Кирпичников все же за утро сильно углубился,— сказал Прокудин. — Им ничего другого и не оставалось делать, как начинать отход, раз Кирпичников к Днепру вышел...

Думать так, как думал сейчас Прокудин, было приятно: что именно мы, наши успехи — причина тому, что немец начал отступать не только перед нами, а и справа от нас. Но, как ни сладко так думать, главная причина все же другая: оба соседних фронта, наносящих главные удары, прошли так далеко вперед, что немец почувствовал угрозу мешка. Отсюда и его приказ на отход!

Серпилин с тревогой вспомнил о Могилеве — что немец и оттуда может начать отход по приказу раньше, чем мы перережем у него в тылу и Минское и Бобруйское шоссе. Вот чего не должна ему позволить подвижная группа! Вот что главное! А чьи раньше других полк и дивизия ворвутся в Могилев — твоя или соседа слева, хотя и хочется, чтоб твоя,— все же дело второе...

Приехав в подвижную группу, Серпилин смог убедиться, что Бойко с обычной своей дотошностью проследил за выполнением задуманного. Все части подвижной группы были уже сосредоточены в лесах, по обе стороны большака, откуда они могли быстро выйти к переправе, а командиры частей собраны у командира танковой бригады.

Полковник Галченок встретил Серпилина на опушке леса. Ждал там.

— Разрешите сопроводить к штабу бригады?

— А далеко он у вас?

— Триста шагов отсюда, товарищ командующий.

— Раз триста шагов — дойдем. Надоело за день ездить.

Серпилин вылез из «виллиса» и пошел по наезженной колее через лес рядом с командиром бригады.

— Когда Дурдыев привез вам приказание?

— В шестнадцать ровно.

— А где он сейчас?

— У меня в штабе. Знакомим с приказанием командиров и самоходного и стрелкового полков. Они позже прибыли.

— А саперы где?

— Командир саперного батальона уже был у меня, когда приказание привезли. Отправил его вперед с моим помпотехом. Дал им два танка, бронетранспортер, два «студебеккера» для роты саперов — и послал вперед. Пусть сами лично всю дорогу испытают на проходимость. Задачу поставил — до самого Днепра. А если, пока доберутся, там уже мост наведут, пусть и этот мост лично проверят, переправятся!

— Умно. Хороший у вас помпотех? — спросил Серпилин, вспомнив трепку, которую дал этому самому помпотеху.

— У нас все хорошие, товарищ командующий. Плохих не держим.

— В принципе верно,— усмехнулся Серпилин. — У меня тоже все хорошие. А все же сколько танков из тех, что имели в канун наступления, в полной исправности? Сколько пойдут?

— Сколько имели — столько и имеем. Все пойдут.

— Раз так, согласен, что помпотех хороший.

— Они вдвоем с сапером ревнивей всякого другого все проверят. Если что не так — на их же шею!

— Тоже верно,— сказал Серпилин и, повернувшись, искоса взглянул на размашисто, но неторопливо шагавшего рядом с ним полковника.

У танкиста были голос и повадки человека, уверенного, что все, что он делает, он делает хорошо, иначе и быть не может.

Танкисты чаще всего хотя и крепыши, но невысокие. А этот — большой, с вылезающими из обшлагов гимнастерки длинными руками, с тяжелым длинноносым лицом, на котором выражение упрямства и сосредоточенности. Движется по этому молодому леску сам чем-то похожий на танк.

В прошлую встречу, перед началом наступления, произвел впечатление человека опытного. А сейчас показался еще и сильным.

Идя рядом с танкистом, Серпилин вспомнил, как Жуков, когда приезжал в армию перед началом операции, заговорил об одной из неудач в начале войны и отозвался о ее виновнике: вообще-то генерал неплохой, но танковыми качествами не обладает!

Что оно такое — танковое качество? Это не просто храбрость. Храбрых людей много. Это заведомая решимость встретиться со многими неизвестными. Общевойсковые начальники все же управляют наступлением, двинут его вперед, сами находясь сзади. Так оно и должно быть, если не возникло исключительных обстоятельств. А танковый начальник — не сзади, он внутри той силы, которая ему дана в руки. Внутри нее входит в прорыв, внутри нее движется по немецким тылам, управляет своим железным кулаком, сидя внутри него!

— Сколько вам надо времени, чтобы собрать командиров батальонов и рот, ваших и самоходчиков? — спросил вслух Серпилин.

— Десять минут,— ответил танкист. — Допускал, что вы захотите собрать их перед рейдом,— выразился он вдруг по-кавалерийски.

— Не в кавалерии начинали? — спросил Серпилин.

— Нет, товарищ командующий. С конем не знаком! Как пришел в двадцать шестом году на действительную механиком-водителем на танк «рено», с тех пор в танке.

— А из стрелкового полка, хотя бы комбаты, за сколько могут прибыть?

— За двадцать минут. Они тоже наготове.

— Раз так, отдайте приказание собрать всех,— сказал Серпилин, довольный тем, что Галченок исправил его собственную оплошность — с утра сам хотел приказать, чтобы собрали заранее, а потом, когда убили Талызина, вылетело из головы.

В палатке стоял стол, сбитый из свежеспиленных досок. За этим столом, разложив каждый свою карту, работали четверо офицеров: Дурдыев из разведотдела, майор-танкист — начальник штаба бригады — и два подполковника — командир самоходного артиллерийского полка и Ильин, которого Серпилин так давно не видел, что не сразу узнал. Чем занимались — спрашивать не приходилось, — готовились к будущему.

Серпилин поздоровался с офицерами, последним — с Ильиным.

— Не узнал тебя, богатым быть.

— Постараюсь, товарищ командующий,— весело сказал Ильин. — Трофеев не упустим.

— Да, возможности для этого открываются,— сказал Серпилин и оглядел палатку. Кроме стола, в ней стояло несколько длинных скамеек.

«Все готово, прямо хоть занятия проводи»,— подумал Серпилин.

— Где это вы столько леса напилили? Пилораму, что ли, с собой возите?

— Пилораму не пилораму, а малую циркулярную пилу в хозяйстве имеем...

— Синцов, дай карту,— сказал Серпилин. — А вы — приказание,— повернулся он к Дурдыеву, который хотя и привез приказание, подписанное Бойко от имени командарма, и познакомил с ним исполнителей, но вручать не вручал, ждал Серпилина.

Серпилин велел Дурдыеву еще раз прочесть приказание и сам во время чтения следил по карте. Потом осведомился: есть ли вопросы?

У Галченка оказался один вопрос: что считается более вероятным исходя из общей обстановки — по какому шоссе будут прорываться немцы из Могилева, по Минскому или Бобруйскому?

— Об этом немцы пока не докладывали,— сказал Серпилин. — Но думаю, это зависит не столько от них, сколько от вас. Если в назначенное вам время перережете только Минское шоссе и не перережете Бобруйское, будут прорываться по Бобруйскому. Если перережете и Бобруйское, но при этом увлечетесь и на Минском оставите слишком слабый заслон,— будут прорываться по Минскому. Как из окружений прорываться, насчет этого немец не дурак. Тем более опыт имеет. Все чаще ставим его перед этой необходимостью. А если почувствует, что на обоих шоссе некрепко стоите,— и тут и там будет пробовать. Где нащупает слабину, туда и перегруппируется. Уяснили?

— Так точно, уяснил, товарищ командующий,— ответил Галченок. — Выполним задачу полностью.

— Что уяснили — хорошо, а теперь я вам кое-что добавлю,— сказал Серпилин.—Общая обстановка—прорыв соседних фронтов в глубь Белоруссии — облегчает вашу задачу. Немцы навряд ли будут пытаться деблокировать Могилев. Видимо, наоборот, приложат все силы, чтобы вырваться из него. На всякий случай примите меры, чтобы прикрыться и с запада, но главное ваше внимание — на восток, лицом к Могилеву! Помните, что будем глядеть за вами в оба глаза с воздуха. И глядеть и, если надо, помогать! За Днепром к вам присоединится авиатор со своей рацией. Будет идти с вами, а держать связь со своими. Так что войдете в прорыв со всеми удобствами, но это не исключает необходимости потрудиться. Задача предстоит серьезная, сопротивление — тоже. К нему, надеюсь, готовы. А от ненужных трудностей избавим.

Вопросов больше не было. Серпилин уже слышал краем уха, как там, за брезентом палатки, собираются люди.

— Если командиры собраны — пусть заходят.

Так и не переучился — уже второй год положено называть офицерами, но гораздо чаще говорил по-старому — командиры.

Галченок вышел, скомандовал: «Заходить!» — и палатка заполнилась офицерами.

— Долго говорить не собирался, но раз приготовлены скамейки, садитесь. — Серпилин, подождав, пока расселись, взял со стола приказание и протянул его Галченку. — Товарищи командиры, при вас вручаю приказ на предстоящие действия командиру ордена Красного Знамени, ордена Александра Невского гвардейской Карачевской танковой бригады полковнику Галченку, которому доверено возглавить вашу подвижную группу. Задача армии: освободить Могилев. Вкратце ваша задача: с того берега Днепра, с уже захваченного трудом и кровью других плацдарма, утром войти в прорыв и к середине дня перерезать Минское и Бобруйское шоссе, закрыв противнику выход из Могилева. До сего дня воевали другие. А вас мы берегли для этого удара. Ждем от вас, что не выпустите из Могилева ни одного танка, ни одного «фердинанда», ни одной машины, ни одной пушки. Ничего и никого! Кто из вас с первых дней войны воюет? Поднимите руки. — Почти треть офицеров подняли руки. — Это хорошо. И хорошо, что живы остались; немцы на другое рассчитывали. От вас и ваших товарищей завтра требуется только одно: сделать здесь, под Могилевом, немцам сорок первый год наоборот! И не просто наоборот, а еще покруче! Вы через сорок первый год прошли — и живы и не в плену, и я тоже, как и вы. А немцы чтоб завтра от вас такой сорок первый год получили, чтоб, кто не мертв, тот в плену, а кто не в плену, тот мертв! Понятно или что-нибудь еще объяснить?

— Не надо, товарищ командующий!

— Командир самоходного артиллерийского полка подполковник Гусев, так? — Серпилину врезалась в память эта фамилия, еще когда подполковник представлялся. — Где начали воевать, товарищ Гусев?

— Под Перемышлем, товарищ командующий.

— А я здесь, под Могилевом. И здесь же, под Могилевом, узнал тогда вашего однофамильца, тоже артиллериста, капитана Гусева, который вышел сюда из-под Бреста с боями с последней пушкой своего дивизиона. И погиб здесь. И последние пять солдат его в землю опустили. И ко мне явились, чтоб дальше воевать...

Серпилин остановился и, проглотив стоявший в горле комок, глядя в лица людей, которые почти все были намного моложе его, сказал неожиданным для них тихим голосом:

— Сам даже не знаю, для чего вспомнил. Для вас и без этого все ясно. Но раз пришло на память — куда денешь? Желаю вам успеха в завтрашнем бою.

— Товарищ командующий,— сказал Галченок,— от имени личного состава бригады и приданных ей частей обещаю: выполним присягу до конца!

Ничего больше не добавил, и это понравилось Серпилину. Когда слишком много сил тратят на обещания — слишком мало оставляют на исполнение.

Отпустив собравшихся в палатке на перекур, Галченок вышел проводить Серпилина.

— Может, задержитесь, товарищ командующий, отведаете у танкистов хлеба-соли?

— Спасибо. Отведаем, когда задачу выполните!

— Теперь придется пообедать у них где-нибудь за Могилевом,— уже в дороге сказал Серпилин Синцову. — Раз пообещал — врать неудобно. Бывает, конечно, и другой взгляд у нашего брата — что только подчиненные нам врать не вправе, а мы им вправе! Когда был до войны журналистом, не замечал этого за людьми? — И, не дождавшись ответа, спросил у Синцова то, о чем уже не раз думал: — Что, если, закончив операцию, подберем на твое место другого, а тебя — на старую стезю, в нашу армейскую газету?

— Не хотел бы этого, товарищ командующий,— сказал Синцов. — Остаюсь при своей прежней просьбе — в строй!

— А почему не в газету? Войне уже конец виден, а при демобилизации — глядя правде в глаза — навряд ли со своей рукой

в кадрах задержишься. Как и многим другим, предстоит возвращаться к довоенному делу. Раньше или позже...

— Вместе со всеми — согласен, товарищ командующий, а раньше всех — нет желания!

— Нет так нет... А до войны, наверное, думал, что так всю жизнь и будешь в газете сидеть, статьи печатать?

— Не совсем так, товарищ командующий, до войны — ждали войны. На всю жизнь вперед не думали!

— Тоже, положим, верно,— кивнул Серпилин и вдруг сказал о себе: — А я вот никогда ничего не писал так, чтоб потом напечатали. Только курс лекций по тактике в свое время размножили на этом, ну, как его... — Он забыл слово и искал помощи у Синцова.

— На ротаторе?

— Да. Не знаю, где это теперь. А может, к лучшему, если пропало. После войны над многим из того, что до нее писалось, только головой качать будешь... Ты смотри, какой день сегодня...

День действительно после полудня выдался на редкость. Солнце, даже клонясь к закату, светило так, словно этому шестнадцать часов назад начавшемуся дню не будет конца.

День был такой невообразимо длинный и столько в нем всего было, что даже смерть Талызина, которая в другой день продолжала бы казаться только что, вот-вот случившейся, отодвинулась далеко назад, и воспоминания о ней столько раз за день были прерваны разными соображениями, приказаниями, докладами, что тоже казались уже давними. Война пошла дальше и с каждым часом все больше заставляла думать о другом, а не о том, завернутом в плащ-палатку, что было раньше Талызиным...

Бойко прямо с порога встретил Серпилина докладом, что мост наведен, а плацдарм за Днепром Кирпичников продолжает расширять.

Известие — самое важное за день. Если уж у Бойко откровенная радость на лице — а это бывает раз в год по обещанию,— значит, и он ждал с нетерпением! И, чтобы как можно раньше получить это донесение, в течение всего дня, как безотказный насос, качал отсюда, сзади, туда, вперед, и технику, и людей, и транспорт, и приказы, и напоминания.

— Мост навел, а техника прошла у него по этому мосту? — спросил Серпилин.

— Об этом не доносил.

— Свяжись с ним, спроси.

— Зачем его зря от дела отрывать, Федор Федорович,— возразил Бойко. — И без того ясно: раз навел мост, значит, и технику по нему переправляет.

— Тебе ясно, мне ясно, а может быть, кому-то и не ясно,— сказал Серпилин. — Прикажи, чтоб соединили. — И пока соединяли, спросил: — Из штаба фронта много было звонков?

— Не дергали, все в норме,—сказал Бойко.—Только последний звонок малоприятный. Переспрашивали, сколько пленных и сколько трофеев за день. Наверно, для итоговой фронтовой сводки хотели бы выжать из нас побольше. Недостает для эффекта.

— Что ответил?

— Ответил: сколько есть — столько есть. Пленных можем только взять, родить не можем.

— Ничего,— сказал Серпилин. — Еще не захлопнули их. Захлопнем, все наше будет!

Бойко взял трубку. На проводе был Кирпичников.

— Сами будете с ним говорить? — прикрыв трубку рукой, спросил Бойко.

— Сам.

На вопрос «Что переправлено?» Кирпичников ответил:

— Два дивизиона тяжелой артиллерии уже на том берегу, а третий на мосту.

— Раз так, других вопросов нет,— сказал Серпилин. — Осталось поблагодарить тебя за мост. Командира отдельного понтонно-мостового батальона представь к награде сегодня же. А то заберут от нас и не получит должного. Об остальных сами не забудем. Желаю успеха.

Серпилин положил трубку, но, прежде чем докладывать командующему фронтом, приказал соединить себя с командиром левофлангового корпуса Ворониным, у которого сегодня не был...

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Когда на исходе пятых суток белорусского сражения командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Буш был снят со своего поста, назначенный вместо него фельдмаршал Модель сразу же вылетел в Бобруйск, в штаб окруженной девятой немецкой армии, еще надеясь предотвратить катастрофу.

По иронии судьбы ровно за три года до этого, двадцать восьмого июня тысяча девятьсот сорок первого года, тогда еще не фельдмаршал, а генерал-лейтенант Модель, командир третьей танковой дивизии, прорвав русский фронт, первым ворвался в тот же самый Бобруйск.

Теперь, через три года, совершив свой рискованный полет в Бобруйск и с трудом выбравшись оттуда, Модель вынужден был начать свою деятельность с приказов отступать, оставлять города и любой ценой вырываться из окружения.

В наших войсках в это утро, двадцать восьмого июня, еще не знали ни о замене генерал-фельдмаршала Буша генерал-фельдмаршалом Моделем, ни о первых приказах нового немецкого командующего.

Зато знали другое, вполне очевидное, что, прорвав оборону немца, уже пятые сутки идем вперед по двенадцать — пятнадцать километров в день и что немцу приходится плохо. И это чувство, что немцу плохо, постепенно становилось всеобщим, сверху донизу.

Серпилин, выехавший утром с командного пункта в войска, не только разделял это чувство, которое у него, как у командующего армией, опиралось к тому же на огромное количество разнообразной информации, но и был счастлив им, и испытывал прилив уверенности, что и дальше все должно пойти как нельзя лучше. Надо только ни в коем случае не дать немцам оторваться. Это — самое важное, даже важней, чем то, через сколько именно часов освободим Могилев.

Вчера вечером отрезанные в Могилеве немцы отвергли наше предложение — сдаться. Ответили молчанием. А вслед за этим совершили две попытки прорваться из Могилева сначала по Минскому, а потом по Бобруйскому шоссе, которые седлала с запада подвижная группа. Сегодня можно было ожидать и новых попыток вырваться и дальнейшего ожесточенного сопротивления в самом городе.

Хотя командование фронтом и требовало как можно скорее покончить с Могилевом, Серпилин представлял себе, что если немцы там, в Могилеве, будут драться до конца, то при всем нашем старании на их полную ликвидацию в уличных боях может уйти и день и два. Город есть город, а Могилев — город губернский, и в нем, особенно в центре, много и крепких старых домов с толстыми стенами, и подвалов, и всяких иных возможностей, чтобы драться — была бы решимость!

Левофланговый корпус армии, сегодня с утра продолжая наступать на Могилев, воевал уже на окраинах. Там вчера полдня сидел сам Серпилин, там оставался Захаров, туда же с утра поехал и Кузьмич. А Серпилин с рассветом двинулся в свои два правофланговых корпуса, которые после окружения Могилева спешили теперь прямо на запад, на Друть и Березину, вслед за отступавшими немецкими частями, оставшимися вне могилевского котла.

Очень хотелось поскорее развязаться с Могилевом, но, если все внимание уделим этому, а преследовать отходящие немецкие части будем вяло, можем оказать услугу немцам, дадим им сесть на такой удобный для обороны рубеж, как Березина.

Могилев был для Серпилина первым большим городом, который они освобождали в этой операции. Там окружены немцы, и там их предстояло взять в плен. Там успех приобретал осязаемые очертания, он как бы уже существовал! Но хотя и подмывало увидеть своими глазами с наблюдательного пункта одной из дивизий, как врываемся в тот самый Могилев, где ты начинал войну, Серпилин все-таки поехал туда, где считал себя нужней,— в корпуса к Миронову и Кирпичникову.

Ехать туда надо было прямо с утра, не теряя времени. Надо, потому что идет шестой день тяжелой и трудоемкой операции, с форсированием четырех рек. А впереди еще одна — Друть, а за ней еще одна — Березина... И, несмотря на весь свой порыв и приподнятое настроение, люди в такой операции с каждым днем все больше устают и недосыпают. Не так-то просто каждое утро с рассветом заводить еще на одни сутки всю эту машину, которая при любом количестве техники все равно движется вперед волею людей. Когда позади уже несколько дней наступления, армии, как усталому человеку, трудно сразу, с утра, браться за работу. Ей надо заново раскачаться, разойтись, чтобы постепенно набрать скорость...

Серпилин сознательно выехал сегодня особенно рано, с вечера предупредив командиров обоих корпусов. Хотел своим присутствием воздействовать на них, чтобы пораньше начали раскручивать машину наступления.

Немного схитрил при этом — сказал обоим, что будет к пяти утра, а потом, приехав к первому, к Кирпичникову, позвонил от него Миронову, что будет позже.

Но и у Миронова тем временем машина была уже заведена, и он, считая, что к нему с самого утра приедет командующий, действовал, сообразуясь с этим.

Серпилин не преувеличивал значения своего присутствия,— за всем везде и всюду не уследишь — и нельзя и не надо, потому что усталость усталостью, но добросовестных людей при всем при том намного больше, чем недобросовестных. А все же для пользы дела не пренебрег на сей раз маленькой хитростью.

А начал не с Миронова, а с Кирпичникова — и потому, что тот по-прежнему шел быстрей всех и мог первым вырваться к Друти, и потому, что представлял себе настроение этого молодого и честолюбивого командира корпуса, который первым завоевал плацдарм за Днепром, первым навел мост и пропустил через

себя подвижную группу, отрезавшую Могилев. Все это его успехи, их у него не отнять! Но общий ход событий и общая польза неумолимо потребовали сначала отобрать именно у этого, лучше всех действовавшего командира корпуса одну дивизию в соседнюю армию, а потом заставили, не поворачивая в обход Могилева, без передышки толкать его корпус вперед, на запад. И если смотреть по карте, выходило, что он вроде бы уже непричастен к освобождению Могилева, хотя вначале сыграл в этом первую скрипку!

Серпилин чувствовал не только необходимость, но и личную потребность побывать у Кирпичникова, внедрить в его сознание, что теперь нам важней всего форсировать Друть и безостановочно идти до Березины: Могилев у нас и так в кармане! Немец, который в Могилеве, теперь не уйдет, а вот тот, что прямо перед ним, Кирпичниковым, может уйти. И если корпус сегодня, на хвосте у немца, выйдет к Друти, то Кирпичников опять сделает этим главное дело, как сделал его два дня назад, когда первым вышел к Днепру.

Приказанное Кирпичников и так выполнит! Но надо, чтоб он до конца понял свою роль в операции,— что как был, так и остается на главном направлении. Так оно и есть, если не думать, что кончаем войну в Могилеве!

Мы на этом не кончаем воевать, а как раз начинаем! Именно так и выразился Серпилин, когда говорил с Кирпичниковым. Была в этом разговоре, как и потом в разговоре с Мироновым, еще одна тонкость. Вошедшее в правило после Курской дуги наименование частей по названиям освобожденных ими городов удовлетворяло законное желание славы. Но тут имелась и своя трудная сторона. Выросшее за войну оперативное искусство чаще всего требовало не брать города в лоб, а обходить, окружать, вынуждать немца самого бросать их. И порой выходило, что как раз тот, кто сыграл главную роль — заставил немца поспешно бросить город,— не попадал в приказ. А получали наименования лишь те, кто первыми ворвались!

Формулировка: «Такие-то при содействии таких-то...» — тоже не всегда соответствовала мере усилий. Бывало и так, что «содействующие» выполняли как раз самую тяжелую работу войны.

Правда и другое: на войне сегодня — одному вершки, другому корешки, а завтра — наоборот! Но это не всякого утешит. И хорошо, что эти приказы с наименованием частей теперь все тоньше отрабатывались, приводились в соответствие с действительным ходом дел и мерой трудов.

Конечно, в сознании жителей — их освободитель тот, кого первым встретили! Но на войне хорошо знают, как часто бывают

у города и другие освободители, которые даже не заходили в него, даже ни улиц, ни окраин его не видели, но без их усилий он никогда бы не был свободен!

Серпилин не раз думал об этом, иногда находя в приказах оплошности, а иногда радуясь их справедливости. Все это он выложил Кирпичникову, уже отдав все распоряжения, перед отъездом, за стаканом чая. Не хотел открывать торговлю, прямо обещать, что будут твои дивизии могилевскими, хоть ты и оказался далеко от Могилева. Но взгляд свой Кирпичникову высказал. И, только высказав, почувствовал, насколько это кстати.

С Мироновым в этом смысле было проще. Меньше в нем было того честолюбивого огня, которым горел Кирпичников. И вообще меньше, чем нужно. Воевал Миронов добросовестно, выполнял приказы беспрекословно, с ним было проще, чем с Кирпичниковым. Но проще — еще не всегда лучше! Если будешь про себя считать, что с кем проще — с тем и лучше, прохлопаешь... У Миронова при всех его знаниях и добросовестности исполнительность — только на длину полученного приказа. А от Кирпичникова при всех его недостатках можно ожидать, что, дойдя до конца приказа, не остановится, на свой риск пойдет дальше.

Пробыв до полудня в корпусах Кирпичникова и Миронова и оставив там командующего артиллерией армии довершать начатое, ускорять выдвижение артиллерии к Березине, Серпилин повернул на юг и ехал теперь, повторяя путь, по которому шла вчера, в обход Могилева, подвижная группа армии.

Бывает так, что, как командарм продолжая отвечать за все, за какую-то часть целого чувствуешь себя в двойном ответе. Так было для Серпилина и с этой подвижной группой. Он сам, на свой риск настоял создать ее в необычно краткие сроки, уже в разгар сражения, отбросив опасения, что она недостаточно мощная по составу,— как бы чего не вышло! Сформировал так, что действительно, а не на бумаге была подвижная — вся до последнего солдата — на колесах и гусеницах. Верил, что в таких случаях — велика Федора, да дура, мал золотник, да дорог! Сам вчера утром приехал на плацдарм ввести ее в прорыв, ревниво следил за каждым ее шагом, а теперь хотел лично убедиться, как выполнены приказания, которые отдал вечером, получив донесения о том, что немцы пробуют прорваться.

Узнав об этих попытках, он не заколебался и не отменил своего распоряжения корпусам Миронова и Кирпичникова — двигаться, как и двигались, на запад, к Березине. Не поддался и первому желанию повернуть налево, в тыл Могилеву, хотя бы одну из дивизий Миронова. Не стал путать карты командиру корпуса, раздваивать его внимание.

Но остававшейся в резерве армии сто одиннадцатой дивизии, которую еще раньше, днем, двинул с плацдарма вслед танкистам, приказал ускорить движение, встать позади подвижной группы лицом к Могилеву и в случае чего тоже вступить в бой.

Чутье подсказывало, что немцы не спихнут танкистов ни с Минского, ни с Бобруйского шоссе. Но чутье чутьем, а бережeного бог бережет. То, что возьмем Могилев на несколько часов позже приказанного, как только возьмем — спишется. Тем более что, судя по самому последнему разговору с Бойко перед отъездом от Миронова, уже треть города в наших руках. А вот если позволим хотя бы части немцев вырваться из Могилева, тут и сраму не оберешься и сам себе не простишь!

Глядя на дорогу, по которой вчера прошла подвижная группа, можно было визуально проверять по ней вчерашние донесения полковника Галченка. Одно за другим по пути возникало все, что было в них перечислено. Сначала в глаза бросились несколько сожженных немецких бронетранспортеров и три разбитых штурмовых орудия «фердинанд» — первый немецкий заслон, по которому ударил Галченок после того, как рванул с плацдарма.

Потом на скате холма показалась разбитая, раскрошенная танками позиция немецкой противотанковой батареи. Одна брошенная пушка торчала хоботом вверх, как зенитка, другие были расшвыряны, перевернуты кверху колесами. За ними потянулось поле, по которому, не высидев в окопах, стал отступать немецкий пехотный заслон, застигнутый прямо на поле танками.

Никто ничего, конечно, еще не убирал, все так и осталось, как было вчера днем...

Потом, с перерывом в несколько километров, дорогу загромоздило то, что осталось от застигнутой на марше немецкой артиллерийской колонны.

Еще через два километра доехали до перекрестка с полевой дорогой, по которой двигались вчера на запад немецкие тылы. Как доносил Галченок — около ста машин, так они и стояли на целый километр вдоль этой полевой дороги — и до перекрестка и после него. Танки, наверное, вышли сюда веером и разом ударили по всей колонне. Открытые и крытые грузовики, штабные автобусы и легковые машины — все сгоревшее и изуродованное.

Колонна была длинная, но на перекрестке танки расчистили в ней проход, разбросав в стороны остатки разбитых машин.

— А это не походная их типография? — спросил Серпилин у Синцова, глядя на опрокинутый автобус, возле которого были рассыпаны ящики с тускло поблескивавшими свинцовыми пластинками.

— Да, набор валяется,— подтвердил Синцов.

— Запиши и позвони потом в политотдел,— может, им пригодится. А то пропадает добро! — сказал Серпилин и снова покосился на дорогу: на одном из грузовиков немцы везли продовольствие—в пыли был рассыпан рис, похожий на нерастаявший град.

За перекрестком, на взгорке, стояла разбитая зенитная батарея. Тут немцы успели изготовиться, вели огонь по танкам прямой наводкой. Путь подвижной группы и раньше был отмечен нашими сгоревшими машинами. Но их было немного, сказывалась неожиданность удара. А тут на какие-то мгновения преимущество неожиданности, наверно, оказалось за нерастерявшимися немецкими зенитчиками,— и результат налицо: сразу четыре сгоревших танка, кучно, один недалеко от другого.

Всего, судя по донесению Галченка, вплоть до выхода на Бобруйское шоссе подвижной группой было потеряно одиннадцать машин. Не так много, если соотнести с результатами. Но четыре из них сразу, здесь, перед этими зенитками!

Галченок доносил только о сгоревших. О поврежденных пока не доносил. В таких случаях уверенный в себе командир поспешности не проявляет. Удастся восстановить своими силами — восстановит, не удастся — еще успеет донести.

Попадаются и, напротив, любители пораньше и погромче сослаться на свои потери, чтобы потом, в случае неудачи, остался документ: несу потери, прошу помощи, докладывал, не помогли — вот и потерпел неудачу! Но Галченок к таким не принадлежал.

Скоро должно было показаться и шоссе Могилев — Минск. Связавшись по рации с командиром сто одиннадцатой дивизии, Серпилин приказал ему ждать себя на перекрестке, хотел выслушать личное донесение. По радио командир дивизии уже донес, что вышел в назначенный район, но соприкосновения с немцами пока не имеет.

Туда же, к шоссе Могилев — Минск, куда ехал Серпилин, двигались разные хозяйства второго эшелона сто одиннадцатой дивизии. Только что обогнали ее медсанбат, а сейчас обгоняли колонну грузовиков со снарядными ящиками. Раз везут снаряды, значит, артиллерия уже на позициях.

Минуя разбитый мост, переехали по руслу ручей, вскарабкались на раскрошенный гусеницами откос, проехали еще метров сто, и Серпилин приказал Гудкову остановиться.

Бронетранспортера с автоматчиками не было видно.

— Погляди, где они там опять застряли,— досадливо сказал Серпилин.

Синцов выскочил из «виллиса» и пошел узнавать. Серпилин тоже вышел размять затекшие ноги. Ездить с бронетранспортером он не любил, но после случая с Талызиным пришлось брать.

Вечером того дня было сразу два неприятных разговора на эту тему — и с Бойко и с Захаровым.

Первый выговор получил от Бойко. По форме все было в пределах допустимого при их служебных отношениях — Бойко вообще никогда не выходил за эти пределы,— а по сути все же выговор от подчиненного.

— Товарищ командующий, считаю своим долгом обратить ваше внимание на случившееся. Считаю неправильным, что вы сами иногда подвергаете себя опасности без достаточной для этого необходимости. Ездите из дивизии в дивизию через угрожаемые участки при недостаточно ясной обстановке. А практически результат не столь велик. Вам бы и в корпусе ведь доложили все то, что вы в дивизиях узнали, без того, чтобы вы подвергали опасности свою жизнь...

Высказался длинно, даже непохоже на него. Видимо, нервничал — начальству выговоры не так-то просто делать!

Слушая все это, Серпилин злился на Бойко, но уважал в нем то, что стояло за его словами,— решимость выполнить свой долг хотя бы ценой порчи отношений.

— Два раза за день связь с вами терял,— добавил Бойко.

— Насчет связи — виноват, исправлюсь.

— И разрешите повторить, что на неоправданный риск вы не имеете права...

— Права мои мне известны,— покоробленный словами Бойко, жестко начал Серпилин. Но, снова вспомнив, как нелегко Бойко в его положении высказываться с такой прямотой на такую скользкую тему, закончил мягче, чем начал: — Права известны, а вот свои обязанности получше выполнить хочется, как я привык их понимать.

И, пожав руку Бойко, добавил:

— За прямоту признателен, и на том закончим.

Говоря так, знал, что дело не только в несчастье с Талызиным, а в том внутреннем споре, который существовал между ними. Бойко считал, что командарму вообще надо поменьше ездить и побольше сидеть на командном пункте. Тогда и штабу будет легче работать.

Серпилин понимал, что в этом споре у Бойко была своя правда. Нежелание Бойко, чтобы войсками управляли минуя штаб армии, было понятно, и Серпилин в значительной мере считался с этим, тем более что сам когда-то в роли начальника штаба армии познал неудобства излишне частого отсутствия командарма. Да и то, что штаб армии работает слаженно и роль его стала намного больше, чем в начале войны, все это показывает, что воюем более правильно и умело.

Но, считаясь со всем этим, он все же не мог и в глубине души не хотел переделывать себя. Чувствовал, что от его пребывания в войсках проистекают некоторые сложности в работе штаба, которые он, правда, стремился уменьшить, все время выходя на связь с Бойко. А в то же время в этих поездках не только в корпуса, но и в дивизии, а случалось, и в полки, в этом воздухе боя, в собственном знании всего того, что происходит и на дорогах, по которым ехал, и на передовых командных и наблюдательных пунктах, было нечто такое, без чего лично он не мог бы командовать армией, не мог бы принимать до конца уверенных решений. Может, другие могут, а он не мог! И хотя кое в чем поправлять себя можно, и он поправлял себя, но переделывать поздно. Есть такие вещи в натуре, которые если переделаешь, потеряешь уверенность в себе, станешь от этого только хуже, а не лучше.

Все это было для него ясно и давно решено, поэтому он и не стал входить в объяснения с Бойко, тем более что сам про себя считал, что ездит смело, но аккуратно, потому и жив-здоров по сей день.

Разговор с Захаровым вышел уже ночью, когда, поужинав, по предложению Захарова пошли пройтись по лесочку, где стоял КП.

Захаров взял его под руку и сказал:

— Федор Федорович, после сегодняшнего подумал о тебе самом, что слишком рискуешь, когда ездишь.

Серпилин усмехнулся, подумав про себя, что все же для командарма главный и постоянный риск в том, что он принимает решения, от которых зависит успех или неудача всего дела, а не в том, что вдруг сам ненароком заедет под пули.

— Не рисковал и рисковать не намерен,— сказал он вслух. — А вообще-то риск на войне исключить невозможно. Тем более в условиях преследования противника.

— Невозможно, но хотелось бы,— сказал Захаров. — Прошу тебя, сведи риск к минимуму. Говорю, потому что отвечаю за тебя.

— Что значит — отвечаешь за меня? — неласково спросил Серпилин.

— А вот то и значит. Такая уж моя должность! Ты, что ли, за меня отвечаешь? Ведь не скажешь же этого сам о себе. А я говорю, потому что вправе, так оно и есть. И по-братски тебя предупреждаю: или дружба врозь, или с завтрашнего дня, пока идет наступление и преследование, без бронетранспортера не выезжай!

— Отстает он. С ним меньше за день успеешь.

— Достаточно и того, что успеваешь.

— Ты же его не берешь с собой!

— А он мне не положен,— сказал Захаров. — Он тебе, командарму, по приказу положен. А мне не положен! По букве приказа ты его обязан с собой брать, а я не обязан.

— Ладно. Не будем об этом, даже глупо как-то,— сказал Серпилин.

Ему стало не по себе от слов Захарова. Словно и правда его жизнь может считаться дороже жизни Захарова или чьей-то другой. Словно это может быть выведено по приказу.

И хотя действительно может быть выведено по приказу, но думать так о себе самом было нельзя.

Так появился этот бронетранспортер, сейчас наконец одолевший подъем и показавшийся на взгорке.

Серпилин подождал, пока Синцов добежал до «виллиса», недовольно оглянулся на бронетранспортер и поехал дальше.

Вдоль дороги Могилев — Минск, до которой они через несколько минут доехали, лес был вырублен шагов на сто в каждую сторону. Причина ясна: партизаны! Как бы немцы ни старались здесь, в Белоруссии, заставить людей жить так, как нужно было им, немцам, в конце концов выходило наоборот — белорусы заставляли немцев, несмотря на всю их силу, жить здесь, в Белоруссии, не так, как они хотели, и не так, как привыкли. И эта похожая на просеку дорога была одним из следов беспощадного трехлетнего спора.

Серпилин приказал остановиться. Через минуту рядом остановился «виллис» командира сто одиннадцатой Артемьева.

— Извините, товарищ командующий! Ждал, как приказано, а потом вижу, вас нет, сгонял к другому проселку, на перекресток — и опоздал.

— Не ты опоздал, а я опоздал,— сказал Серпилин, кивнув на бронетранспортер. — Вот эта дура задержала!

— Может, к нам в штаб? Мы тут близко,— предложил Артемьев.

— Недосуг. Здесь поговорим.

Серпилин оглянулся и увидел сбитую из молодых березок беседку, под ней стол из березового горбыля и три березовых же скамейки.

— Видно, у них тут остановка транспорта была,— сказал он с тем чувством досады, которое при виде разных немецких художеств с березой испытывали все в армии, от мала до велика.

Артемьев доложил, что, став за подвижной группой, перекрыл двумя стрелковыми и двумя артиллерийскими полками оба шоссе, и Минское и Бобруйское; основные силы развернул лицом на восток, к Могилеву, а два батальона — лицом на запад, на

случай, если немцы предпримут попытку деблокировать свои окруженные в Могилеве войска. Артиллерию, если будет необходимо, можно всю повернуть и на восток и на запад, смотря по обстановке...

— Все верно,— сказал Серпилин. — Перестраховаться надо! Правда, авиаторы с утра доносят, что никаких признаков движения немцев к Могилеву нет. Но места здесь лесные, спрятаться от авиации есть где. Кстати,— спросил вдруг Серпилин,— как у вас с обозначением переднего края? Ракеты, дымы и прочее? Чтобы свои штурмовики вас тут не стукнули, как вчера у Нестеренко.

Вопреки заведенному порядку обозначать для авиации сигналами с земли только тот рубеж, на котором головные части, в дивизии у Нестеренко вдруг начали давать ракеты из второго эшелона. И медсанбат себя обозначил, и какая-то хозрота себя обозначила — всем вдруг захотелось показать, где они есть. В результате запутали девятку штурмовиков, которые, считая по сигналам, что летят уже над немцами, рубанули по своим. Пришлось повторить строжайший приказ по армии: чтобы показывали авиации свое положение лишь те, кто идет впереди!

Артемьев ответил, что приказ получен, и доложил, как он исполняется.

Серпилин спросил о приказе не потому, что сомневался, получен ли, а просто пользовался своим пребыванием в войсках, чтобы лишний раз проверить, как поняты приказы. Иногда внизу неточно понимают тот или другой приказ потому, что сам он неточен,— отдан без учета обстоятельств, очевидных внизу и неочевидных наверху. Так тоже бывает, и приходится ругать за это уже не подчиненных, а самого себя. Если, конечно, хватает чувства самокритики, которая в армии тем трудна, что требовать ее от тебя никому не положено, и, значит, она целиком на твоей совести!

Работу штурмовиков здесь, на участке подвижной группы, сегодня с утра не планировали. Почти вся авиация фронта работала севернее, там, где, преследуя немцев, шли к Березине правофланговые корпуса Серпилина, а сюда могла быть вызвана только в случае критического положения. Ничего не поделаешь, над каждым солдатом по самолету все равно никогда не будет...

— Как у вас, пока тихо? — спросил Серпилин.

— Тихо. Пока выдвигались, слышали, уже в темноте, звуки боя, а пришли — все закончилось. Самоходки и саперы без нас немца остановили.

— На Бобруйском шоссе ближе к ночи тоже пытался прорваться, знаешь об этом?

— Знаю. Ильин там вместе с танкистами воевал, сразу мне донес.

— Значит, хотя временно и перешел в другое подчинение, тебе доносить не забывает! С командиром подвижной группы связь имеешь?

— И связь имею, и ездил к нему сегодня. Познакомился и поле боя посмотрел. Они там, на Бобруйском, не меньше, чем тут, наворочали.

— О чем с ним договорились?

— Договорились, чтоб самоходный полк оставил передо мной здесь, на этом шоссе. А там, на Бобруйском, попросил меня, чтоб я погуще поддержал артиллерией. Считает, что немец, скорей всего, будет еще раз на Бобруйск прорываться.

— Возможно! По словам пленных, у них штаб армии был там, в Бобруйске,— сказал Серпилин. — Где командир самоходного полка?

— Впереди, в лесу, в километре отсюда.

— Связь имеешь?

— Имею,— сказал Артемьев. — Только надо назад повернуть, ко мне на КП.

— Чем назад, лучше вперед,— сказал Серпилин. — Тем более по телефону все же хуже видать! Садись в свой «виллис», показывай дорогу, я за тобой. — И, повернувшись к Синцову, приказал: — Синцов, сядь к полковнику! — Заметил, что Синцов с Артемьевым переглянулись, как хорошо знакомые люди, и вспомнил разговор накануне наступления, что они свояки. «Пусть проедутся вместе. При командарме не больно-то поговоришь!»

— Как жизнь, Паша? — спросил Синцов, сев в «виллис» позади Артемьева.

— Пока плохая,— сказал Артемьев. — Будем ли действовать, неизвестно. Возможно, и без нас обойдутся. Хорошо, хоть Ильин вчера повоевал! Под чужой командой, а все же наш полк! В остальном — нормально! От Надежды вчера письмо получил. Просит узнать про Козырева: когда его тело в Москву не сумели вывезти — может, с дороги вернулись и все же где-то здесь похоронили. А где и у кого я буду это узнавать, мозгами не пошевелила!

Синцов вспомнил, как Надя говорила о Козыреве там, в Москве, и промолчал. Когда после возвращения из Москвы увиделся накоротке с приезжавшим в штаб армии Артемьевым, ничего, конечно, не сказал ему про то, что видел у него дома. Даже порадовался краткости свидания, которая позволила меньше кривить душой. Спешка в таких случаях помогает.

И сейчас, когда Артемьев заговорил о Наде, Синцов был рад, что они почти тут же свернули и остановились в лесу.

Артемьев выскочил и пошел навстречу Серпилину.

Командир самоходного полка спал в палатке. Было слышно, как его будят: «Вставайте, товарищ подполковник, командующий прибыл». Серпилин стоял перед палаткой и ждал. Артемьев поспешил объяснить, что командир самоходного полка не просто так валяется, а, наверно, лег, ослабев от потери крови. Вчера ему осколком целый лоскут на предплечье вырвало, глубоко, до кости.

Подполковник выскочил из палатки одетый и подпоясанный, в кожанке с полевыми погонами. Но гимнастерки под ней, кажется, не было: надел прямо на белье.

Докладывая, с трудом держал руку у козырька.

— Вольно, опустите руку. Ранены, а в донесении командира подвижной группы не читал об этом! Вы ему не докладывали или он мне?

Серпилин с насмешливым сочувствием смотрел на подполковника: как выкрутится? Как ни ответь, все плохо! Сказать — не доложил,— взять вину на себя. А сказать — доложил, перевалить на другого — тоже нехорошо!

— Так точно! — глядя в лицо Серпилина, после секундного колебания отчеканил подполковник.

Серпилин рассмеялся и, сбросив напускную строгость, сказал Артемьеву:

— На вид подполковник Гусев с ног не валится, но там, по дороге, я обогнал, подходит твой медсанбат. Пришли все же сюда, прямо на позиции, Никольского Павла Павловича. Он у вас по-прежнему?

Артемьев подтвердил, что ведущий хирург медсанбата все тот же, что был при Серпилине.

— Пусть осмотрит подполковника Гусева и решит его судьбу. А то у Гусева по штату в полку врач один, и тот небось в горсти у командира. Какое Гусев ему прикажет написать заключение, такое и напишет! А все остальное, кроме своего ранения, донес точно? — продолжая улыбаться, спросил Серпилин у Гусева. Ему нравился этот подполковник в кожанке, молодой, наверно, смелый и рукастый и, несмотря на ранение, счастливый тем, что вчера сделал.

— Все точно, товарищ командующий!

— Тогда покажи на местности.

Ехать было недалеко, до опушки. Лес кончался, переходил в открытое поле, на котором и разыгрался вчера вечером бой с немцами. Следы боя были налицо. Оглядывая поле, Серпилин

насчитал на нем тринадцать подбитых немецких танков и самоходок.

— А сколько немцы у вас вывели из строя?

— Семь машин,— сказал Гусев. — Пять безвозвратно, а две заканчиваем восстанавливать.

Серпилин вспомнил, как, проезжая по лесу, услышал стук кувалды по железу. Самоходчики клепали порванные гусеницы.

— Вчера поработали хорошо,— сказал Серпилин. — А сегодня положение ваше еще более твердое. За спиной вон какая сила! — Он кивнул на Артемьева.— Но требуется неусыпное внимание. На лаврах не почивать!

— Никак нет. Сам не знаю, как заснул, товарищ командующий. Виноват! — Смущенный Гусев принял «неусыпное» и «почивать» на свой личный счет.

— Что поспал, наоборот, верно. Тем более после ранения. Я не об этом, а о дальнейшем наблюдении за противником.

Когда вернулись на перекресток, Артемьев попросил разрешения сопроводить Серпилина до танкистов, но Серпилин не разрешил, сказал: «Оставайся».

— Тогда разрешите обратиться с вопросом, товарищ командующий.

— Слушаю.

— Товарищ командующий, мы тут обменялись мнениями с командиром подвижной группы, прикинули свои силы. Могли бы не ждать немцев на этом рубеже, а повести наступление в сторону Могилева, ускорить события. Просим одобрить нашу инициативу.

— Так,— сказал Серпилин. — Значит, обменялись мнениями с танкистом, а доложить взялся ты, из чего заключаю — инициатива твоя?

— Так точно.

— Скорей бы ожидал ее от танкистов; у них это в натуре и даже в характере самой техники — нежелание на месте сидеть! Значит, хочешь ускорить, сам лично войти в Могилев и доложить, что две улицы занял! От кого-нибудь другого ожидал, а от тебя — нет! Хотя и молодой годами, но старый уже командир дивизии, академик, мог бы пошире двух собственных улиц думать! Да мы, больше чем уверен, потому и возьмем к вечеру Могилев, что заслон им тут поставили! Думаешь, все эти самоходки и танки, что мы им здесь побили, легче было бы там, в городе, на улицах уничтожать? Я сплю и вижу, чтобы они на вас еще полезли, чтобы их тут, на открытом месте, расщелкать, доказать им, что бессильны вырваться! А тебе этой задачи мало. Тебе надо лично две улицы взять! Да еще танкиста в это вовлек!

С Бережным небось вместе придумывали? Чувствую его влияние — поперед батьки в пекло лезть! Отставить эти идеи! Пойдут на вас, сделаете свое дело. А не пойдут, все равно сделаете свое дело тем, что здесь стоите, где вам и надо стоять. А где, кстати, Бережной? Почему не видно?

— К танкистам поехал.

— А что ему там делать? Ну, хорошо, я его там еще увижу!

Закончив разговор этой не сулившей ничего доброго фразой, Серпилин поехал к танкистам. Бережного там уже не застал. И полковник Галченок, как и ожидал Серпилин, ни словом не обмолвился о том, о чем говорил Артемьев. Отчитывая Артемьева резче, чем тот заслуживал, Серпилин хотел сразу похоронить эту идею и уже не возвращаться к ней у танкистов. Был уверен, что Артемьев позвонит и предупредит.

Галченок, встретив Серпилина, доложил о потерях, нанесенных противнику, о своих потерях, теперь уже чувствительных, и подтвердил, что связь и взаимодействие с командиром сто одиннадцатой стрелковой дивизии налажены и на случай дальнейших действий все лично согласовано. В конце доложил, что правофланговый батальон приданного ему стрелкового полка находится южнее шоссе Бобруйск — Могилев, в локтевой связи с тысяча сорок четвертым стрелковым полком соседней армии. Теперь кольцо вокруг Могилева полное.

— Условились с соседом, что стык с ним не только он, а и мы страхуем. У нас все же коробочки,— сказал Галченок о своих танках.

За утро он продвинул свои танки и пехоту, и поле вчерашнего боя осталось у него позади. Картина поражения немцев и здесь была примерно та же, что на шоссе Могилев — Минск. Только подбитые немецкие танки и самоходки, разбросанные на более широком пространстве, чем там, не были видны все сразу.

— У них, в самом Могилеве, считаем до двух дивизий,— сказал Серпилин,— одна из них танковая. Кроме того, несколько самоходных дивизионов и другие приданные части. Как, если всей этой силой на тебя надавят? — испытующе спросил Серпилин, хотя знал — всей силой немцы уже не навалятся: слишком завязли там, в Могилеве.

Галченок объяснил, что часть танков зарыта на удобных для ведения огня позициях, а часть стоит за лесом, в резерве. Пехота окапывается впереди, вдоль опушки леса. Полковые пушки стоят на прямой наводке, а от артиллерийского стодвадцатидвухмиллиметрового полка сидит впереди наблюдатель, который с утра уже производил пристрелку по возможным направлениям немецкого движения.

— Шоссе заминировали?

— Заминировали, товарищ командующий. Не на переднем краю, а в глубине. Если пойдут прямо по шоссе — сначала пропустим, а потом, когда на мины нарвутся, откроем огонь из засад, с двух сторон. Будем в борта бить.

Выслушав все это, Серпилин поехал лесом, через который петляла от дерева к дереву слабо наезженная колея.

Три года назад он ездил по этим же местам, не на «виллисе», а на коне,— машины, как командир полка, тогда не имел. Бои шли западней, на Березине, а их дивизии было приказано заранее занять оборону вокруг Могилева. И они вместе с покойным командиром дивизии Зайчиковым выбирали здесь позиции...

Колея вывела к наблюдательному пункту Галченка. Между деревьями начался сперва мелкий, а потом более глубокий ход сообщения, по которому вышли за опушку, в окоп, прикрытый мелким кустарничком. Так его и вырыли, чтоб прикрывался этим кустарничком. Все сделали грамотно. Раздвинув кусты, Серпилин оглядел открывавшееся впереди длинное, в две версты, колосившееся тогда рожью, а теперь заросшее бурьяном поле, справа и слева от которого под углом сходились к Могилеву Бобруйское шоссе и железная дорога. И когда увидел, как что-то темнеет вдали, наверное разбитая будка обходчика, а еще дальше к Могилеву высится башня элеватора,— воспоминания с такой силой овладели им, что в ответ на какое-то объяснение, сделанное Галченком, сказал:

— Погоди... — и еще долго молча стоял в окопе. Дела шли хорошо, а в душе переворачивалось что-то тяжелое, словно все не дожитое и не додуманное тогда, в сорок первом году, доживало свою жизнь сейчас...

Взяв из рук Синцова бинокль и наведя его на элеватор, он увидел пробоины от снарядов; они были уже тогда, в сорок первом, в первый же день боя. Артиллеристы устроили на элеваторе наблюдательный пункт и, несмотря на прямые попадания, так и сидели там до конца.

Он перевел бинокль на будку обходчика, от которой осталась горка кирпича, а потом еще правее — на неровности почвы там, на гребне холма, где угадывались козырьки старых окопов — его тогдашних окопов, а за ними темнела дубовая роща.

Все было на этом поле почти как тогда. Только не хватало стоявших тогда на нем сожженных немецких танков и бронетранспортеров, их немцы убрали.

«Свое они всегда убирают,— со злостью подумал Серпилин. — Наши сожженные ими в сорок первом коробочки, хоть им и нужен железный лом, за всю войну так и не убрали. А свои

сразу с глаз долой! Как будто мы тогда так ничего у них и не сожгли!»

И еще чего-то не было на этом поле. Чего-то, что уже не вернешь обратно. Тебя самого, каким ты был здесь тогда, и тех, кто был с тобой. Может, они и есть где-то, но только не здесь. Хотя и здесь есть один. Не твой, но ставший тогда твоим.

Бранивший себя в последние дни за то, что взял Синцова в адъютанты, Серпилин был сейчас рад, что этот человек рядом.

— На, посмотри! — оторвался он от бинокля и отдал его Синцову.

Синцов долго смотрел в бинокль. Слишком долго для адъютанта, которому командующий передал бинокль, чтобы тоже взглянул. Галченок укоризненно покосился на Синцова и, сняв со своей широкой груди, протянул Серпилину собственный бинокль.

Но Серпилин остановил его. Серпилину не казалось, что Синцов слишком долго смотрит туда, в сторону Могилева, на это поле.

— Как, узнал? — спросил он, когда Синцов опустил бинокль.

— Узнал.

— Та же самая позиция, только в перевернутом виде. Могилев не позади, а впереди, и немцы не войти в него хотят, а выйти из него!

— Сегодня, товарищ командующий, вроде и выйти не хотят! Слышим все утро, как там, в Могилеве, бой гремит, а здесь у нас тихо,— сказал Галченок. — Разрешите предложить завтрак? Позавчера обещали, если выполним задачу, отведать танкистского хлеба-соли.

Серпилин посмотрел на часы.

— Отказаться не могу, но накоротке. Я к вам и так противозаконный крюк сделал.

Он кивнул в сторону доносившейся из Могилева канонады и повернулся к Синцову:

— Сбегай сообщи по рации, где находимся и что сейчас выезжаем обратно, на КП армии. Сообщишь — возвращайся. Приглашаю от имени полковника к завтраку.

Они подошли к палатке, полог ее был открыт, чтоб продувало.

— Однако расторопный вы народ, танкисты,— сказал Серпилин, увидев, что у палатки к сосне прибит умывальник и на гвозде висит полотенце.

Он, засучив рукава, расстегнул ворот гимнастерки, вымыл руки, лицо и шею и, шлепнув за ворот две горсти холодной воды, с наслаждением чувствуя, как она струйкой потекла по хребту,

подумал о себе: «Да, вот, живой и здоровый, вернулся сюда через три года, и не с полком, а с армией, с такой силой в руках, о которой тогда и мечтать не смел!»

О расторопности танкистов пришлось еще раз вспомнить, когда вошли в палатку: на лавках по бокам стола лежали мягкие автомобильные сиденья.

— Трофейные?

Галченок кивнул:

— Трофеев много, товарищ командующий, только некогда ими заниматься. Шли не задерживаясь.

— Ничего. Вы не задерживались, другие задержатся. И раскулачат все, что вы не успели, да еще как свои трофеи по второму разу запишут!

— Супу покушаете, товарищ командующий? — спросил Галченок. — Вчера сухим пайком выдали, а сегодня суп сварили.

— Для себя или для всего войска?

— Для всего войска.

— Тогда попробую, чем войско кормят. Но сперва нальем. Хотя завтрак, а не ужин, но раз хлеб-соль—сделаем исключение.

— Можно считать ужином, товарищ командующий,— сказал Галченок. — Вчера провоевали, пришлось на утро отложить.

— Доложил, где находимся? — спросил Серпилин остановившегося у палатки Синцова.

— Так точно. Сообщил, что сейчас выезжаем.

— Покривим душой на пятнадцать минут, не более того,— сказал Серпилин. И, показав глазами на четвертый прибор, спросил Галченка: — А это для кого?

— Командир стрелкового полка должен вернуться. Поехал на стык с соседом, увязать взаимодействие, но что-то задержался.

— А может, он там на радостях, что две армии соединились, как мы с тобой, увязывает? — кивнул на флягу Серпилин.

— Не похоже на него, товарищ командующий.

— А на нас похоже? — усмехнулся Серпилин. — Ладно, семь бед — один ответ, налей по полстакана! — И, повернувшись к Синцову, кивнул: — Садись.

Галченок налил ровно по полстакана, не перелил. Как сказано, так и сделано. Серпилин хотел было сказать, что есть двойная причина выпить: и то, что подвижная группа выполнила задачу, и то, что он сам вернулся туда, где начинал войну. Но говорить этого не стал. Каждый где-нибудь начинал войну и помнит свое начало.

Он выпил за успех подвижной группы и, облупив крутое яйцо, обмакнув в крупную соль, закусил. От выпитой водки

захотелось потянуться. А еще лучше бы лечь под сосной, глядя сквозь ветки в небо и забыв, кто ты и что тебе надо в следующую минуту делать.

— Только что поздравил командира подвижной группы с выполнением задачи,— сказал Серпилин, когда появился опоздавший Ильин. — Садись! По второй не будем, а первую, если до этого не принимал, прими.

— Спасибо, товарищ командующий, не пью. Обещание дал.

— Кому?

— Сам себе.

— Как там, на стыке? Да ты не докладывай — за столом сидим. Просто расскажи.

Но Ильин по своей натуре не мог не доложить. Доложил и номер дивизии, и номер того полка соседней армии, с которым вошел в соприкосновение, и фамилию и звание командира дивизии и командира полка, и точные координаты — где именно проходит стык, и какие меры сообща приняты, чтоб стык был надежный, поскольку направление все же танкоопасное, и как перекрыли эту проселочную дорогу огнем с двух сторон, внакладку.

— Значит, силами двух армий этот проселок обороняете,— усмехнулся Серпилин. — То-то ты задержался!

— Не люблю стыков, товарищ командующий,— сказал Ильин. — Половина неприятностей на стыках.

«Вот они, молодые командиры полков,— подумал Серпилин, с удовольствием глядя на Ильина, который всегда, еще летом сорок второго года, когда из писарей стал начальником штаба батальона, казался ему прирожденным военным. — Вот они, эти молодые командиры полков! Сколько ему сейчас? От силы двадцать семь, двадцать восемь,— думал он, забыв, какого года рождения Ильин, и мысленно прибавляя ему лишних три года. — Быстро двигает людей война. Хорошо бы, довоевал и ничем не зацепило. Многообещающий!»

— Уже не помню, ты раненый был? — спросил Серпилин у Ильина.

— Ни разу не был, товарищ командующий.

— Вот правильно, вот это я и вспомнил. Что-то в тебе такое из ряда вон выходящее, про что мне говорили. Четвертый год воюешь и ни разу не раненный. Какого ты года?

— С девятнадцатого, товарищ командующий,— с неудовольствием сказал Ильин.

В душе гордясь своей молодостью, он не любил, когда о ней говорили другие, ему казалось, что это как бы ставит под подозрение его военную опытность.

Показалось и сейчас, когда Серпилин, услышав его ответ, о чем-то задумался.

Но Серпилин задумался совсем не о военной опытности Ильина. А вспомнил о своем сыне, который был старше Ильина и которому, будь он жив, было бы сейчас не двадцать пять, как Ильину, а двадцать девять...

— А вы с какого? — спросил он, повернувшись к Галченку.

Что-то помешало ему, только узнав возраст Ильина, спросить об этом же самом на «ты» уже немолодого человека.

— С четвертого.

— Где войну начали?

— На Юго-Западном, от границы, от Владимира-Волынского до Припяти отходили с боями,— сказал Галченок с оттенком гордости: не отступали, а отходили с боями...

«Так оно и было»,— вспомнил Серпилин. Ему довелось слышать от тех, кто воевал там, на самом северном участке Юго-Западного фронта, что они до самой Припяти отходили только по приказу.

— В составе пятой армии? — спросил он.

— В пятой.

— А родом откуда?

— А тут недалеко,— мотнул головой Галченок, как будто родился где-то в этом лесу. — Сегодня сводку передавали, что вчера на Минском направлении взяли станцию Бобр... Я как раз оттуда. Между Бобром и Крупками на разъезде родился. Отец путевым обходчиком был. Там и жили. Сперва на разъезде, а потом в Крупках.

— А где теперь родители? — спросил Серпилин.

— Не знаю. Когда война началась, в Крупках оставались...

Галченок сказал это спокойно, словно не желая давать волю чувствам, которые уже ничему не могли ни помочь, ни помешать. Выпустить или не выпустить немцев из Могилева — зависело от него. А останутся ли живы там, в Крупках, его отец и мать — не зависело.

— Мы ведь как,— после молчания с нотой самоосуждения в голосе сказал Галченок. — Один год отпуска не дали, другой — не дали, а на третий — куда путевку получил, туда и махнул. Так и проокладывал. С тридцать шестого года родителей не видел. Вчера, когда через немцев шли, одного хлопца — он разведчикам дорогу показывал — взял потом к себе в машину. Тринадцати лет хлопец. Чего только от него не наслушался, что тут немцы делали...

Он вздохнул. Несмотря на его спокойствие, чувствовалось, что тревога за отца и мать неотступно грызет этого сильного и уверенного в себе человека.

Им к этому времени принесли по полкотелка супа.

— Хороший суп сварили,— сказал Серпилин.

— Простыл немного,— пробуя суп, сказал Галченок.

Серпилин глянул на часы. Пятнадцать минут, которые он себе положил на завтрак, вышли. Чаю пить уже нет времени, а суп хотя и остывший, но вкусный — придется потрудиться над котелком, пока дна не увидишь.

Снаряд разорвался близко, в лесу, с треском и гулом. Первый снаряд от неожиданности всегда громче других, и кажется, что разорвался ближе, чем это есть на самом деле. Следующие три или четыре разорвались уже дальше. А если и ненамного дальше, все равно тише, потому что уже не так неожиданно.

Как это бывает с людьми, у которых вдруг возникает сразу несколько обязанностей и которые помнят о каждой из них, произошла короткая заминка.

Начало обстрела означало новую попытку немцев прорваться, и Галченку надо было срочно принимать меры. Но рядом в палатке находился командарм, и следовало позаботиться о его безопасности. Разрывы удалялись, но могли снова приблизиться.

— Товарищ командующий, предлагаю, пока обстрел, укрыться в моем танке. Он в ста метрах.

— Еще чего,— сказал Серпилин. — Пошли на НП!

Серпилин шел быстро, но Синцов через несколько шагов обежал его и пошел впереди. Глупое желание, с которым часто сталкиваешься на войне,— хотят в минуту опасности прикрыть собой старшего начальника, оказаться между ним и противником, забывая, что мина или снаряд с таким же успехом могут разорваться сзади. Но об этом вспоминают потом, а инстинкт действует сразу.

— Синцов! — недовольно крикнул Серпилин. — Не болтайся под ногами. Не в атаку идем!

Но Синцов, словно не услышав, продолжал идти впереди до самого хода сообщения, выводившего в окоп наблюдательного пункта.

Отсюда было хорошо видно все, что происходило впереди. Вернее, начало того, что должно было развернуться на этом поле, между темневшей там, на пологой возвышенности, дубовой рощей и этим лесом. Сейчас, под прикрытием перекатывавшегося вдоль опушки артиллерийского огня, оттуда и прямо из дубовой рощи, и левее ее за насыпью железной дороги, и правей по шоссе развертывались немецкие танки и штурмовые орудия. Сзади них показались бронетранспортеры и цепи пехоты.

С одной, даже такой выгодной, как эта, точки не увидишь всего. Часть панорамы закрывали слева и справа складки местности, но в расширявшемся сюда и суживавшемся к Могилеву треугольнике между шоссе и железной дорогой в поле зрения сразу оказалось около двадцати танков и самоходок.

Наверное, не меньше их было и левее и правее, за складками местности. Некоторые из них то появлялись, то исчезали из виду. Судя по интенсивности артиллерийского огня, немцы не жалели снарядов.

Разрывы вновь стали приближаться. Несколько снарядов прошли над головой. Сзади в лесу раздался громкий взрыв.

— Не твой танк, куда меня приглашал? — с некоторым усилием, потому что над головой опять просвистело, пошутил Серпилин.

— Не мой,— хмуро сказал Галченок. — Мой левей стоит.

— Доложите по рации в армию. И штурмовую авиацию вызовите. Авиатор с вами?

— Со мной.

— А в остальном действуйте по разработанному вами плану, от меня дополнительных приказаний не ждите,— сказал Серпилин, стремясь поскорей разбить ту скованность, которая была вызвана его присутствием и опасениями за его жизнь. — Работайте,— уже сердито добавил он. Не сказал, а прикрикнул, потому что это и надо было сделать! И, не обращая больше внимания ни на Галченка, ни на Ильина, тщательно навел бинокль и стал смотреть туда, где, все увеличиваясь, двигались немецкие танки и штурмовые орудия.

Ему было не чуждо чувство опасности, которое с особенной остротой дало о себе знать, когда сзади ударило прямым попаданием не то в танк, не то в машину. Это чувство опасности и чувство начавшегося боя привычно требовали от него действий. Но то действие, которое именно сейчас, в эти первые минуты, он должен был предпринять, состояло как раз в бездействии, в том, чтобы своим присутствием не помешать людям как можно скорей начать делать все то, что они должны были сделать. Подавив в себе потребность самому распоряжаться, инстинктивно возникающую в такие минуты у человека, привыкшего командовать, он наблюдал, не вмешиваясь в заранее обдуманные действия своих подчиненных.

Он стоял в окопе, расставив ноги, уперев локти в бруствер, чувствуя ими прохладность сыроватой, только недавно, ночью, вывороченной земли, и наблюдал в бинокль за немцами, а люди, освобожденные от необходимости спрашивать и ждать его

приказаний, быстро и старательно делали свое дело, к которому они достаточно хорошо подготовились, хотя, как бы ты ни приготовился, первые минуты боя, первые близкие разрывы все равно взвинчивают нервы, и эта нервозность преодолевается только деятельностью, только цепью предусмотренных и не предусмотренных заранее, но необходимых поступков.

Эта деятельность начала приносить первые результаты. Справа, с опушки леса, по немецким танкам вели огонь две полковые пушки, а еще правее — целая батарея.

Сзади, из глубины, уже начали пристрелку по немецким батареям наши стодвадцатидвухмиллиметровые орудия. Вчера во время ночного боя у немцев шли только танки и самоходки, немецкая артиллерия не обнаружила себя, и поэтому ее не засекли. Засекали сейчас. Били не по танкам, а именно по огневым позициям немцев, чтобы задушить немецкую артиллерию, оставить танки без поддержки.

Разрывы там, в глубине у немцев, иногда были видны, а иногда только слышны. Снаряды падали за дубовой рощей. Когда-то у Серпилина стоял там на огневых позициях один дивизион. Наверное, и немцы выбрали это же место. И теперь их там ищут, стараются накрыть.

А двумя орудиями ведут огонь по элеватору, заподозрили, что там немецкие наблюдатели. Вполне возможно, что и так! Но пока снаряды ложатся левее, правее, опять левей, опять правей. Вот наконец один попал в башню и еще один — вниз, под корень.

«Неплохо»,— одобрительно подумал Серпилин.

А полковые пушки все бьют и бьют по танкам, но дистанция еще большая, и хотя, наверное, есть и попадания, но пока безрезультатные. Задымил только один танк. А немецкая артиллерия, хотя теперь уже засекли ее огневые позиции, бьют по ним, еще продолжает вести огонь, обрабатывает наш передний край. Правильно чувствует, что где-то здесь и пехота закопалась и танки стоят. Хочет оглушить, создать предпосылки для прорыва, который своим острием пойдет, наверное, по дороге.

— Синцов,— оторвался от бинокля Серпилин,— сбегай к «виллисам». Распорядись, чтобы не сидели по машинам в готовности номер один, а укрылись. А то стукнет шальной снаряд, и поминай как звали! Но особенно далеко чтоб тоже не расползались. Как только тут прояснится, поедем!

— Может, по рации сообщить, товарищ командующий? — спросил Синцов.

— Кому и что? Что бой завязался, уже доложено. А что мы с тобой здесь находимся — спасите наши души! — пока нет причин! Сбегай и возвращайся.

Серпилин проводил глазами побежавшего по ходу сообщения Синцова и усмехнулся. Ему самому пришло в голову дополнительно, еще и по своей рации, связаться с авиаторами. Но подумал и отказался от этой мысли. Было в ней что-то претившее ему: «Увидел, как ползут на тебя немецкие танки и штурмовые орудия, попал под огонь артиллерии — и дублируешь уже сделанное, торопишься поскорей увидеть над головой штурмовики, чтобы они тебя прикрыли!»

А там, впереди, немецкие танки и штурмовые орудия все приближались и приближались, не стреляя. В былое время начинали стрелять раньше, спешили еще издали заставить нас вздрогнуть!

А сейчас, пока не стреляли, давали выкладываться артиллерии; сами же берегли снаряды для близкой дистанции, чтобы под прикрытием огня артиллерии подойти вплотную и сокрушить все живое.

Но и наши тоже из танков, поставленных в лесу в засадах, огня пока не ведут, не обнаруживают себя. Тоже выдерживают характер, хотят подпустить поближе.

А артиллерия лупит по немецким позициям со всей силой — два дивизиона бьют! Третьего пока не слышно, а два бьют! И немецкий огонь слабеет. Или разбили их батареи, или заставили менять позиции.

— Товарищ командующий! Разрешите доложить!

Серпилин опустил бинокль и повернулся к подошедшему Галченку.

Галченок доложил, что артиллеристы стреляют двумя дивизионами по огневым позициям немцев, а третий дивизион перемещается. Учитывая, что немцы все же бросили в бой много техники, командир сто одиннадцатой дивизии приказал этому дивизиону срочно встать на прямую наводку за спиной у танкистов на шоссе Могилев — Бобруйск, на случай, если часть немецких танков и самоходок прорвется дальше. И дивизион «эрэсов» перебрасывает — бить по живой силе.

— Значит, не надеется на тебя, что ты немцев удержишь?

Галченок еле заметно пожал под кожанкой плечами. Хотя и надеялся сам удержать немцев, но действия командира дивизии тоже считал правильными. Не стал уверять командующего, что удержит сам, как сделал бы на его месте другой, а продолжил доклад. Доложил, что рубеж в шестистах метрах отсюда пристреляли сегодня перед рассветом двумя дивизионами и, как только немцы подойдут к нему, артиллерия перенесет свой огонь туда.

— Товарищ командующий! — после короткой паузы сказал Галченок, и веко у него заметно дернулось. Казалось, не может

на таком лице дернуться веко, а дернулось! Видимо, его все же нервировало присутствие здесь, в окопе, командующего армией. — Мы приказ выполним. А вас все же прошу сесть в мой танк и проследовать на командный пункт сто одиннадцатой дивизии. И командир дивизии тоже вас просит! Там все: и средства связи, и видать тоже... — неуверенно добавил Галченок, сознавая, что лжет и командующий понимает это.

— Хрен чего видать оттуда,— возразил Серпилин. — Танк мне твой не нужен, у меня свой бронетранспортер есть. Если драпать начнете и ничего другого не останется, найду на чем. А если драпать не думаете, куда же я от такого боя уеду? Окоп у тебя хороший, приказ обещаешь выполнить, куда же мне от тебя уходить? Чего для? — спросил Серпилин. И добавил серьезно и спокойно: — Не могу сейчас от тебя уехать, сам должен понимать. Как только переломишь бой в свою пользу, сразу уеду. Доделывай без меня!

— Считаю, управимся,— сказал Галченок. — Авиацию вызвали и получили подтверждение.

— Все правильно,— согласился Серпилин. — Одно неправильно: что я суп недохлебал, испугался.

— Можно сюда?..

— А вот и начали! — недослышав вопроса, воскликнул Серпилин.

Высоко над их головами просвистела выпущенная из немецкой танковой пушки болванка и, задев где-то сзади, в лесу, за дерево, заныла, словно там, за спиной, ударили по какому-то чудовищному ксилофону.

Вслед за этой болванкой, уже не над головами, а правее, ближе к шоссе, стали рваться осколочные снаряды.

— И тем и сем лупит,— сказал Серпилин. — А вы когда начнете?

— Как только пересекут,— Галченок показал на невысокую полоску не то кустарника, не то бурьяна на старой меже,— начнем сразу из всех видов оружия. А правее оставим им коридор, пусть втянутся, дойдут до наших мин. А как остановятся, кинжальным огнем с двух сторон.

— Иди распоряжайся,— сказал Серпилин, подумав про себя: «Посмотрим, как ты все это разыграешь, насколько у тебя нервов хватит. Дело не простое!»

Галченок ушел, а Серпилин снова стал смотреть на приближавшиеся немецкие танки и самоходки.

До этого они маневрировали, ползали по местности, поджидая пехоту, боясь, чтоб ее не отрубили от них огнем. А теперь, когда и бронетранспортеры и цепями шедшая между ними пехота под-

тянулись, танки двигались быстрыми короткими рывками, останавливались, стреляли, делали рывок вперед и снова стреляли.

Поначалу казалось, что их главная масса идет прямо в лоб, между шоссе и железной дорогой, а теперь они скапливались клином к Бобруйскому шоссе, правее наблюдательного пункта, на котором находился Серпилин.

«Да, близко все-таки,— подумал он и еще раз повторил про себя мысленно: — Близко уже!»

И в этом мысленно сказанном «уже», хочешь не хочешь, присутствовало чувство страха.

Находясь на войне в разной обстановке и в разном должностном положении, к чему-то привыкаешь, а от чего-то отвыкаешь. И от того, чему Серпилин сейчас становился свидетелем, он за последнее время все же отвык. Так близко от себя видеть немецкие танки ему не приходилось с Курской дуги. Тогда атака застала его на наблюдательном пункте дивизии, и он тоже не уехал. Командующий не ищет для себя опасности, это было бы глупо и вредно для дела! Но почти ежедневные поездки в войска помогают понимать подчиненных. То здесь, то там напоминают тебе самому, что такое опасность.

Человек, не знающий или считающий, что он не знает страха смерти, не может разумно управлять войсками. Не испытывая страха смерти сам, он не будет знать, чего можно и чего нельзя потребовать от подчиненного. А когда приказываешь, необходимо знать, какое место занимает страх при исполнении твоего приказа.

Преувеличивая значение этого страха, мирясь с ним в подчиненном, не потребуешь от него того, что обязан и можешь потребовать. А преуменьшая, будешь требовать лишнего, невыполнимого и, значит, бесполезного.

Примерно так выглядели бы мысли Серпилина, владевшие им в последние две или три минуты, пока он наблюдал все ускорявшееся движение немецких танков, если бы можно было выстроить их, эти мысли.

Но выстроить их в такой последовательности было нельзя, потому что его мысли о том, чего можно и чего нельзя требовать от человека на войне, прерывались собственным чувством нарастающей опасности, которое, подавляя его в себе, испытывал Серпилин при виде все ближе подходивших танков и самоходок.

— Товарищ командующий, ваше приказание выполнил.

Это вернулся по ходу сообщения Синцов.

— Рация цела?

— В порядке.

— А люди?

— Тоже.

Синцов отвечал, а сам напряженно смотрел вперед, на немецкие танки.

— Товарищ командующий,— вдруг сказал Синцов,— вам принесли...

Серпилин сначала не понял,— оказывается, за спиной у Синцова стоял ординарец Галченка с котелком. Котелок был накрыт перевернутой крышкой, на крышке лежали ложка и хлеб. Ординарец стоял, держа в руках котелок, и лицо у него было такое же напряженное, как и у Синцова. А глаза хотя и смотрели прямо на Серпилина, но все равно на самом деле смотрели сквозь него, туда, в поле, на немецкие танки...

— Поставьте,— сказал Серпилин, мысленно выругав Галченка за то, что не понял шутки.

Ординарец поставил котелок в утрамбованную земляную нишку.

— Спасибо, идите,— сказал Серпилин.

И тот повернулся кругом, пошел, но пошел так, словно и сейчас, идя по ходу сообщения спиной к немецким танкам, продолжает смотреть на них, туда, в поле...

В эту минуту между немецкими танками и вплотную позади них, отсекая шедшие следом бронетранспортеры и пехоту, легла целая серия разрывов стодвадцатидвухмиллиметровых снарядов. Ударили сразу двумя дивизионами. Перестали бить по немецким батареям, перенесли весь огонь сюда. Один залп, потом второй, потом третий... Несколько бронетранспортеров с пехотой вырвались вслед за передними танками на дорогу и исчезли из поля зрения Серпилина за изгибом опушки.

Два бронетранспортера загорелись, загорелся танк, пехота стала ложиться, кто-то побежал назад.

И вдруг справа, близко — Серпилин раньше не заметил, что один из наших танков стоит в засаде так близко,— ударила танковая пушка. Резко, с отдачей, потом еще одна и еще...

Танковые пушки заговорили вдоль всей опушки леса — и левей и правей. Одни немецкие танки затоптались на месте, другие на большой скорости рванулись вперед по дороге, стреляя на ходу. Ударившая в наш танк болванка срикошетировала и с визгом пошла низко над землей.

Какая-то еще не задушенная немецкая батарея продолжала бить по лесу.

Три или четыре минуты казалось, что там, впереди, на поле, перед опушкой леса, у немцев какая-то каша — не разберешь, куда же они двигаются. Но постепенно эта каша расползлась. Пехота побежала назад. Два бронетранспортера спешили обратно,

вихляя между разрывами и воронками. Семь или восемь танков и самоходок горели прямо перед опушкой леса, а с десяток машин на разных скоростях отползали назад.

Стена артиллерийского огня как бы разорвала немцев на две части, и те танки, что проскочили ее, теперь были не видны Серпилину, но хорошо слышны. Они двигались и стреляли где-то недалеко, справа, за лесом, там, где им была устроена засада и где наши — это чувствовалось по звукам боя — расстреливали их с двух сторон встречным огнем.

С глухим сильным стуком били танковые пушки, и наши и немецкие. Потом воздух колыхнуло тяжелым взрывом противотанковой мины. И вдруг из всего этого смешанного грохота донесся надсадный, задыхающийся рев мотора. Из лесу вырвался немецкий тяжелый танк и на предельной для него скорости понесся назад по полю, догоняя отставшую пехоту и уже ушедшие туда, к Могилеву, уцелевшие штурмовые орудия и танки. Он проскочил через густую сетку разрывов и пошел дальше. Один снаряд вкось ударил его в кормовую броню, другой попал прямо в башню; даже видно было, как танк содрогнулся, но опять пошел вперед.

— Ушел все-таки,— с досадой сказал Серпилин. И посмотрел на побледневшего от возбуждения Синцова.

Одна немецкая батарея все продолжала бить по лесу. Сзади донеслось несколько выстрелов из танковых пушек, потом еще один. Опять несколько и снова один. И все! Только кто-то еще стрелял из пулемета...

Серпилин вздрогнул от рева. Над опушкой леса, пикируя на поле, пронеслась шестерка наших штурмовиков.

— Вот это уже хуже,— сказал Серпилин. — Как бы по нам не дали.

Но вдоль опушки сразу взвилось несколько сигнальных ракет, обозначивших передний край. Видимо, не один Серпилин подумал о том, чтобы не дали по своим...

А штурмовики спикировали прямо над головами отступавшей уже на том краю поля немецкой пехоты, над уже почти доползшими до дубовой рощи уцелевшими немецкими танками. Два из них вспыхнули. Загорелось что-то еще, отсюда не понять что. Штурмовики развернулись и снова низко прошли над немцами, над той стороной поля. Часто и отчетливо застучали немецкие эрликоны. Один из штурмовиков развалился в воздухе, но остальные продолжали поочередно пикировать над полем... И, только израсходовав боезапас, пошли вкось, над лесом, назад...

А немецкая батарея, словно пытаясь отомстить за происшедшее, все еще била по лесу. Пока над полем пикировали штурмо-

вики, казалось, что она замолчала, а сейчас снова стали слышны разрывы ее снарядов за спиной в лесу.

И Серпилин вдруг подумал: «Вот сейчас, когда уже все кончилось, кого-нибудь непременно там, в лесу, убьют последним или предпоследним снарядом. Так оно почти всегда и бывает, как назло».

Наши артиллеристы, продолжавшие до этого бить по полю, снова перенесли часть огня вглубь, за дубовую рощу, стараясь вывести из строя эту последнюю немецкую батарею.

Серпилин прислушался. Сзади, в лесу, было тихо. Все кончилось. Дымный полог, оторвавшись от земли, поднимался над верхушками деревьев.

Потом невдалеке послышался скрежет остановившихся гусениц, и в окоп наблюдательного пункта спрыгнул Галченок.

— Товарищ командующий, остановили и полностью уничтожили,— сказал он хриплым, еще не человеческим, не остывшим от боя, содрогающимся голосом, таким, как будто он не стоял на твердой земле, а его еще трясло и дергало там, внутри танка.

— Ну, положим, не полностью. Частично обратно удрали, да иначе и быть не могло по условиям боя,— сказал Серпилин, махнув рукой в сторону Могилева.

Он не хотел укорить Галченка. Наоборот, человека можно только хвалить за такой бой. Но привычка уточнять сработала даже и в эту минуту. Полностью — это значит полностью: сколько появилось в поле зрения, столько и осталось на поле боя.

— Я про тех, что прорвались на дорогу, товарищ командующий, семь танков, из них четыре «тигра», четыре штурмовых орудия, четыре бронетранспортера, до роты пехоты — этих всех полностью. Сорок семь пленных...

— И тоже не полностью,— сказал Серпилин. — Один «тигр», своими глазами видел, ушел от вас. И от штурмовиков ушел.

— Один ушел, да,— согласился Галченок. — Забыл о нем!

— А может, на этом «тигре» сам их командующий Могилевским укрепленным районом — или кто там у них главный — спасался? — сказал Серпилин. И усмехнулся: — Ничего, теперь уже никуда не денется. Считаю, это было последнее их усилие!

— Мы спросим, кто на том танке был,— пообещал Галченок. — Сорок семь пленных взяли, из них пять офицеров. Спросим у них.

— А сколько всего машин уничтожили, не только на дороге, а всего, еще не посчитали?

— Еще не посчитали, товарищ командующий. В горячке одному кажется, что он подбил, а другому — что он! Подсчитаем — сообщим.

— И сам повоевать успел? — спросил Серпилин.

Прежде чем подойти к нему, Галченок вытер лицо, но на шее у него оставалась пороховая копоть.

— Немного,— сказал Галченок. — Вышел на танке понаблюдать за боем. Несколько выстрелов дал.

— Ну что ж, спасибо. — Серпилин обнял Галченка. — За все, включая этот бой! Будете представлены Военным советом армии к высокой награде. Заслужили ее. Передайте благодарность всему личному составу от имени Военного совета. И приданных вам частей не забудьте, они тоже заслужили!

— Не поглядите, как мы их там накрошили? — спросил Галченок. Чувствовалось, как ему хочется, чтоб Серпилин поглядел.

— Извини, не могу. Надо ехать. Считаю, что благодаря вашим действиям Могилев сегодня наверняка падет. Так что сам виноват: спешу туда!

Но, несмотря на то что сказал «спешу», остановился и, словно боясь выпустить из памяти, еще раз посмотрел в сторону Могилева, на поле, на дымы, стоявшие над еще не догоревшими танками,— высокие, длинные. День был безветренный... И только после этого вместе с Галченком и Синцовым пошел в лес, к оставленным там машинам. Избитые и обожженные осколками сосны сочились смолой. Резко пахло хвоей и гарью. Только что расщепленные снарядами стволы белели среди темной зелени, как голые кости, торчащие из открытого перелома.

Оба «виллиса» и бронетранспортер были наготове. Но когда Серпилин уже подошел к «виллису», показался быстро шагавший Ильин. Сзади него, подгоняемый двумя автоматчиками, шел немецкий капитан-танкист.

— Товарищ командующий, разрешите доложить,— оставив немца позади себя, отрапортовал Ильин,— бойцами вверенного мне триста тридцать второго стрелкового полка захвачен в плен капитан немецкой армии, командир дивизиона штурмовых орудий. При допросе после взятия в плен дал важные показания!

— Какие?—спросил Серпилин. Ему не верилось, что в горячке, сразу после боя, этот капитан мог дать важные показания.

— Сообщил при допросе, что приказ во что бы то ни стало прорваться из Могилева получен командованием Могилевского укрепленного района по радио, непосредственно от генерал-фельдмаршала Моделя.

— Что-то ты путаешь.

Сказал «путаешь» потому, что знал — Модель никакого отношения к Могилеву иметь не может: командует группой армий «Северная Украина». А группой армий «Центр» командует фельдмаршал Буш.

— Кто допрашивал?

— Я допрашивал.

— Значит, напутал. Подведите немца.

Немца подвели. Теперь он стоял в двух шагах от Серпилина, между двумя автоматчиками, обезоруженный, с черной расстегнутой кобурой парабеллума на ремне слева, с рыцарским Железным крестом на шее, с лицом, темным от пороховой копоти, как у наших; тоже еще не остывший, весь перевернутый, перекрученный после боя. Плечи и руки подергиваются, словно ему холодно, но стоит прямо, даже голову задрал вверх. Молодой и с рыцарским крестом.

— Капитан,— медленно подбирая немецкие слова, которые хорошо помнились, но со скрипом, не сразу составлялись одно с другим, сказал Серпилин,— вы после взятия в плен сообщили, что приказ на прорыв из Могилева получили от фельдмаршала Моделя. Очевидно, это ошибка?

— Господин генерал, я сказал правду. Нам перед боем прочли приказ фельдмаршала Моделя.

— Вами командует не Модель,— сказал Серпилин.

— Не знаю, господин генерал. Нам прочли приказ фельдмаршала Моделя. Нам сказали, что он вступил в командование группой армий «Центр».

Известие было важное, во всяком случае заслуживающее внимания. Когда меняется командующий группой армий, это косвенно говорит и о сложившейся обстановке, и о том, как оценивают эту обстановку сами немцы. От хорошей жизни командующих не меняют!

— Почему сдались в плен?

— Мой дивизион перестал существовать, а я был обезоружен.

— Дрался до конца, ничего про него не скажешь,— подтвердил Ильин, который, как теперь убедился Серпилин, действительно понимал по-немецки.

— Где начали воевать? — поддавшись не до конца осознанному чувству, спросил Серпилин: ему вдруг почему-то подумалось, что и этот немец мог тоже тогда, в сорок первом, быть здесь, под Могилевом...

Но немец произнес какое-то название, которое Серпилин сначала даже не понял. Понял, только переспросив и вспомнив то, о чем часто как-то само собой забывалось: что война началась не в сорок первом, а в тридцать девятом году. И немец назвал не наш город, а Динан в Бельгии, где немецкие танки прорвали фронт французов.

— Накормите, если захочет, и отправьте в штаб армии, в разведотдел,— приказал Серпилин. — Потребуется там сегодня же для подтверждения данного им показания. Ясно?

Сказал строго, напоминая Ильину, что никаких случайностей не имеет права быть.

— Ясно, товарищ командующий.

— За успешно проведенный бой благодарю личный состав полка. Тех, кто отличился, представьте к наградам,— сказал Серпилин. И, садясь в «виллис», остановил собиравшегося лезть на заднее сиденье Синцова: — Садись к радистам. Как выедем из лесу, будет получше слышимость, передашь Бойко, что действительно едем, и тот факт о Моделе, что пленный сообщил. Пусть доложит в штаб фронта, не дожидаясь нашего приезда.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

К вечеру Могилев был взят и окончательно очищен от немцев. Но Серпилину пришлось и после этого работать еще много часов, планируя будущее — все то, что возникало и требовало срочных решений в связи с новой, дополнительной директивой Ставки. Их фронту было приказано, развивая успех, с ходу форсировать Березину и вместе с соседними фронтами стремительно наступать на Минск.

В итоге рабочий день растянулся почти на сутки — с четвертого часа утра, когда встал, чтоб ехать в войска, до третьего часу ночи, когда, простившись с начальником штаба, пошел к себе в избу спать.

И хотя наконец мог себе это позволить, все равно не спалось — против природы и здравого смысла.

Уже и ординарцу сказал, чтоб разбудил в шесть утра. И гимнастерку стащил, осталось только снять сапоги, раздеться, лечь на разобранную койку да выключить работавшую от движка лампочку. Уже два раза собирался это сделать, но что-то мешало.

Как подсел к столу, уже без гимнастерки, на минуту, чтобы выпить на ночь стакан пустого чаю, так и сидел, не отдыхая, а думая, словно нельзя обо всем этом подумать позже, когда-нибудь, а не сегодня. Да, видно, нельзя, видно, мысли приходят не по расписанию. События дня сменяли друг друга в памяти и путались во времени. Что было раньше, вспоминал потом, и наоборот. А то и вообще вспоминал вещи, не имевшие отношения к этому дню. Но выходит, имевшие, раз вспоминал...

Говорят, на новом месте не спится. Но эта поговорка не для войны, по ней вообще спать разучишься. Только за шесть дней

наступления третье место. Дело не в новом месте, а в новых мыслях, которые лезут в бессонную голову вперемежку с воспоминаниями о прошлом.

И хотя завтра продолжение того же, что было сегодня, того же самого наступления, но в твоей собственной жизни освобождение Могилева что-то одно заканчивает, а что-то другое начинает. Наверно, потому и не спится!

Предугадывая дальнейшую задачу, они еще вчера ночью наметили с Бойко эту, только что взятую тогда деревню у дороги Могилев — Минск как удобное место для будущего командного пункта. Вчера, в это время, с ходу взяли — потому и деревня цела,— а сегодня уже ночуем в ней, в семнадцати километрах к северо-западу от Могилева.

А Могилев, о котором последние дни столько было говорено, что казалось, само это слово висит перед тобой в воздухе, остался позади, в прошлом. И, по новой разгранлинии, даже не в полосе твоей армии, а у соседа слева. И его дивизия там останется, и его комендант! А тебя нацелили прямо на Минск.

Хотя шоссе Могилев — Минск отсюда, от конца деревни, в двух километрах, все равно слышно, как ревут на объездах грузовики. Всю ночь идут и войска, и техника, и тылы. А шоссе — только название! По сути, улучшенная грунтовая, которую немцы при отступлении и размесили и запрудили своей разбитой с воздуха и с земли техникой; вся дорога — один сплошной объезд...

Генералов в Могилеве взяли только двух — командующего укрепленным районом и командира дивизии. Показывают, что вчера, когда замкнули кольцо окружения, генералов было пять. Одного раненого ночью вывезли на «шторхе» с могилевского аэродрома в Минск. Долетел или нет, неизвестно. Второго наши штурмовики сожгли на дороге в машине. А еще про одного сами не знают, куда он девался. Считают, что погиб где-то под городом.

Можно поверить! Бывало, что и мы не знали.

Досадно, конечно, что обоих генералов взял не ты, а сосед слева. Когда днем рассекли город пополам, а потом еще переполовинили, генералы оказались в тех кварталах, которые брал сосед.

Когда потом встретились в Могилеве, сосед сказал про командира немецкой дивизии, что тот в свое время, командуя полком, участвовал во взятии Могилева, признался в этом разведчику.

— Какой полк? — спросил Серпилин.

Сосед подозвал своего разведчика, чтоб назвал полк.

— Правильно,— сказал Серпилин,— участвовал. У меня первые за войну пленные были из этого полка.

Такое событие, как первые пленные, западает в память надолго.

— Значит, именно с тобой дрался,— сказал сосед. — Я их еще в штаб фронта не отправил,— может, поговоришь со старым знакомым?

Серпилин отказался. Был соблазн, но была и неловкость. Чего ж допрашивать чужих пленных? А чуда никакого нет: был немецким полковником, командовал полком, брал Могилев. Потом стал генералом — стал командовать дивизией на этом же направлении. Сначала шел вперед, потом назад...

Если и есть чудо, так в нас самих. Как все же выдержали, вынесли тогда их первый удар? Как не дали им войти в Москву? А дальнейшее закономерно! Хотя есть, конечно, и процент случайности — что тебе выпала судьба брать именно Могилев, который тогда оставил. А в остальном у всех, кто жив с сорок первого года, как их ни перетасовывала война, чувство одинаковое: каждый вспоминает сейчас, наступая, где он был тогда и что оставлял...

Сосед заспешил в комендатуру, проверить, как там разворачивается назначенный им комендант города, а Серпилин встретил Батюка, приехавшего посмотреть, какой он есть, взятый войсками его фронта город Могилев.

Разговор с Батюком подтвердил предположение Серпилина о дальнейшем движении армии на Минск.

И раньше и сегодня, когда еще на несколько часов оттянулись сроки взятия Могилева, Батюк нажимал только на это. Не слезал с этой темы — и по телефонам и когда приезжал. А сейчас, когда Серпилин доложил ему последние данные о продвижении Кирпичникова, который за день уже прошел двадцать верст и дал слово к ночи передовыми отрядами форсировать реку Друть на полпути к Березине, Батюк не возвращался к прежним упрекам из-за Могилева, не считал, сколько кварталов взял ты и сколько сосед...

Об этом разговора уже не было. Было молчаливое признание того, что ты правильно действовал — и сегодня с утра и до этого, когда нажимал на продвижение своих правофланговых корпусов на запад, к Березине.

Документа еще не было, его ждали с часу на час. Но Батюк, который не любил наводить тень на плетень, тем более со своими командармами, сразу, как встретились в Могилеве, сказал Серпилину, что уже предупрежден по ВЧ — их фронту во взаимодействии с соседями предстоит развивать успех прямо на Минск!

— Как ты и предчувствовал,— сказал Батюк. — Думаешь, я не видел? Видел. Я с него стружку снимаю, что затянул с Могилевом, а он себе и в ус не дует, уже о Минске думает.

— А вы сами разве не думали, товарищ командующий? — спросил Серпилин.

— Мое положение проще. Мне какая армия ни возьми Могилев, обе мои! А ты характер в этом деле проявил — не переперпичал! За Могилев ругал тебя, а за то, что о завтрашнем дне успевал думать, хвалю!

Львов приехал в Могилев позже Батюка, присоединился, когда зашли выпить чаю, к командиру дивизии, бравшей последние дома, в том числе вокзал. Командир дивизии по такому случаю, как освобождение Могилева, имел в виду, конечно, не чай, но Батюк от другого отказался:

— Приглашал на чай — чай и будем пить. До ночи работы много. Ты свое на сегодня закончил, а я только начинаю. — И повернулся к Серпилину: — Правильно или нет, командарм?

Львов чай пить не стал. Зашел в прибранную на скорую руку комнату с побитыми стеклами, посмотрел на кружки, из которых пили чай,— может, ему кружки не понравились, показалось, что гигиена не соблюдена, а может, и правда не хотел пить,— сел в стороне на край стула и так и сидел отдельно, ждал, когда освободится Батюк. Когда садился, поморщился. Как перед наступлением растянул ногу, так и не прошла: перетерпливал.

Оказывается, Львов — Серпилин этого не знал, каким-то образом вышло так, что в горячке не доложили,— был сегодня днем там же, где он сам. Сделал целый круг, доехал до стыка с соседней армией и вернулся в Могилев через соседа слева.

— Как мне доложили, разъехался с вами на двадцать минут,— сказал Львов.

— Значит, всего ненамного боя не застали,— сказал Серпилин. — Я сразу после боя уехал. А результаты видели?

— И результаты видел и бой застал. Только в разных местах с вами.

— Да,— вмешался в разговор Батюк. — Когда мне утром доложили, что командарма на месте нет, находится там, где ему не положено, хотел было вынуть тебя оттуда и накачку дать. А тут почти подряд докладывают, что и член Военного совета фронта тоже там, звонит оттуда начальнику штаба, чтобы обратили внимание на работу трофейных команд. Требует, чтобы начальник трофейной службы фронта лично, срочно, немедленно прибыл туда, на поле боя! Выручил тебя Илья Борисович,— кивнул Батюк на Львова. — Если тебя ругать, надо и члена Военного совета фронта критиковать. А его критиковать себе дороже. А критиковать одного тебя несправедливо...

Львов слушал, не моргнув глазом, словно все это его не касалось. И сказал о том единственном, что его интересовало:

— Давно считаю, что начальник трофейной службы или должен быть смелым человеком, способным навести порядок с трофеями по горячим следам, под огнем, или он вообще не годится. Кладбищенские сторожа на этой должности нам не нужны!

Батюк не ответил. То ли был своего мнения о начальнике трофейной службы фронта, но не хотел спорить при Серпилине, то ли вообще не придавал значения этому разговору.

— Хочу знать ваше мнение, товарищ Серпилин, о заместителе начальника политотдела вашей армии Бастрюкове,— неожиданно для Серпилина спросил Львов. — Сталкивались с ним?

— А какие у меня с ним могут быть столкновения?

Скорей всего, Львов употребил слово «сталкивались» в другом его значении, но Серпилин счел нужным уточнить.

— Я не в том смысле,— нетерпеливо сказал Львов.

— Служу с ним в одной армии давно, но повседневно и непосредственно дела не имею. Думаю, член Военного совета армии обоснованней, чем я, может доложить вам о его служебных качествах.

Уклонившись от ответа, Серпилин не брал особого греха на душу: что скажет Захаров о Бастрюкове, известно!

— Имел это в виду,— сказал Львов. По его лицу нельзя было понять, удовлетворен или не удовлетворен он ответом Серпилина. — А ваше мнение хотел знать лишь по одному вопросу. Проявлений трусости за ним не наблюдали?

— С вашего разрешения, сформулировал бы по-другому: проявлений храбрости с его стороны не наблюдал.

Батюк расхохотался такой аттестации, а Львов, не увидев в ней ничего смешного, счел ее ответом по существу и, коротко кивнув, спросил Батюка, собирается ли тот ехать обратно в штаб фронта. Услышав, что командующий задержится в Могилеве, дал всем своим видом понять, что хочет остаться с ним вдвоем. Серпилин вышел, как водится в таких случаях, попросив у Батюка разрешения пойти распорядиться...

Распоряжаться в данный момент было нечем; выйдя из дому, Серпилин сказал подошедшему командиру дивизии, чтобы тот продолжал заниматься своими делами, а сам, стоя у крыльца, на разбитом тротуаре, продолжал глядеть на эту улицу, которая вела на юго-западную окраину Могилева и по которой в сорок первом, еще до боев с немцами, когда готовили оборону, много раз ездил из полка в штаб дивизии. И улица тогда была целая, и люди еще жили на ней где-то между миром и войной, не отвыкнув от одного и не привыкнув к другой. Не только у гражданских и у военных — у тебя у самого в голове еще не умещалось, что здесь целых три года могут пробыть немцы, что через

два дома наискосок отсюда будет их, немецкая, комендатура, от которой осталась теперь только груда развалин: подпольщики затащили в подвал адскую машину; подняли в воздух и комендатуру и коменданта.

Люди в городе и сейчас живут. И встречали, и красные флаги, оказывается, сохранили. Группа партизан прошла по улицам с оружием и красным знаменем. И женщины вылезли из подвалов, и дети. И слезы были, и объятия. И бедная хлеб-соль откуда-то взялась — испекли каравай из муки с лебедой. Командир дивизии расплакался и от этой хлеб-соли и от женских слез, когда передавали ему тот каравай на полотенце. Такие слезы — как зараза. Серпилин и сам это почувствовал, когда худая, как жердь, плачущая старуха обняла его и, не считаясь с тем, что он спешил, три раза медленно поцеловала, поворачивая за голову к себе, как будто он не генерал, а блудный сын.

Стоя у крыльца, Серпилин повернулся на скрип тормозов. Из «виллиса» выскочил куда-то ездивший по приказанию Батюка его адъютант Барабанов. Серпилин мельком видел его много раз, но вот так, вплотную, столкнулся впервые. И впервые заметил, как постарел и похудел Барабанов; кожа так туго облегала скулы, словно ее перестало хватать.

Барабанов козырнул, хотел пройти мимо, к командующему, но Серпилин остановил его:

— Что с тобой, Барабанов, болеешь?

— Болею. Язва открылась.

— Надо в госпиталь.

— Пока могу, терплю. Запить боюсь, если из-за этой язвы опять в госпиталь.

— Почему же запить?

— Я себя знаю, товарищ генерал,— сказал Барабанов.

Серпилин вдруг почувствовал себя не то чтобы виноватым перед этим человеком,— нет, виноватым он себя не считал, но, раз столкнул случай, хотел, чтоб между ними не оставалось такого, чего не должно оставаться между людьми на войне.

— Не хочу, чтобы ты был на меня в обиде, Барабанов.

Барабанов поднял глаза, до этого смотрел себе под ноги.

— Аттестат его вдове, как вам обещал, высылаю. Считал бы, что вы не правы, не стал бы этого делать. — И попросил: — Разрешите пройти?

С крыльца, прихрамывая, спустился Львов, кивнул Серпилину, сел в свою высокую, нескладную «эмку» с двумя ведущими осями и уехал.

Когда Серпилин зашел обратно, Батюк еще сидел за столом, а Барабанов докладывал ему,— оказывается, ездил по его прика-

занию за орденами. Батюк хотел прямо здесь, в Могилеве, вручить ордена и медали тем солдатам и офицерам, которые взяли в плен двух немецких генералов.

— А реляцию к завтрему оформим,— вставая, сказал Батюк. И уже уезжая, наверно, потому, что ехал награждать, заговорил о своем сыне, воевавшем на Ленинградском фронте: — Про сына по ВЧ сегодня позвонили. Оказывается, второй раз ранен. Мы с тобой двадцать третьего только еще начинали, а его как раз в тот день под Мусталахти, уже за Выборгом, осколком в руку. Вторично в строю остался и медаль «За отвагу» получил. Он здоровый у меня, штангист. До войны на третьем курсе у Лесгафта учился.

И Серпилин почувствовал по его голосу, что храбрится, а за сына страшно. Тем более страшно, что знает: малость покривив душой, мог бы на той же самой войне приискать сыну место поближе к себе и подальше от смерти. А может, и жена — мать есть мать — твердит об этом в письмах...

Батюк уехал к соседу, а Серпилин остался в той части города, которую брали его войска, проехал по улицам, проверил, как они снимаются, выходят из города. Не так-то это просто: шесть дней только и думали, как взять город, а теперь, когда взяли, сразу, даже не переночевав, уходить из него дальше. Поздравил нескольких командиров полков, кого еще на отдыхе, кого уже на марше; расспросил о потерях, о которых уже составил себе первое представление. Больше всего убитых там, где не сразу проткнули оборону, затоптались на одном месте, подставили себя под огонь какой-нибудь вдребезги разбитой потом немецкой огневой точки.

На братских могилах в лучшем случае пишут на дощечке химическим карандашом имена, а откуда кто, не пишется. Но и по именам можно догадаться, кто откуда. На одной такой, темно-серой, примоченной брызнувшим под вечер дождем дощечке, где похоронены не сегодняшние, а еще вчерашние,— среди одиннадцати имен были не только русские, и украинские, и белорусские — как всегда и всюду,— но тут же и казахская, и какая-то похожая на иностранную, наверно, эстонская, фамилия, и кавказская — Джатиев,— может, осетин, а может, чеченец. И все на одной и той же доске, против одного и того же разбитого пулеметного гнезда.

Бой в городе, конечно, дает дополнительные преимущества обороняющимся. Все время, пока их выковыриваешь, несешь жертвы. Но сила, которую мы имели теперь в своих руках, преодолевала и это преимущество — выжигали немцев залпами «катюш», штурмовали их тянувшиеся по окраинам позиции с воз-

духа, гнезда и опорные пункты в домах разбивали прямой наводкой,— делали все, что могли, чтобы уменьшить свои потери. И в результате даже в черте города потеряли меньше, чем немцы. Итог неплохой.

По предварительным данным, пленных в самом Могилеве взяли около двух тысяч. Если бы немцы вчера пошли на капитуляцию, еще несколько тысяч остались бы живы. И мы тоже сегодняшних потерь не понесли бы!

Когда предъявляешь ультиматум и ждешь, не воюешь, а потом, не получив ответа, продолжаешь молотить, пока не кончишь, чувство у военного человека двойное. Досада за собственные потери, которых могло не быть, если б в ответ на твои условия вышли с белым флагом. И, конечно, злость на противника за эти потери, за то, что он продолжал, как это говорится, бессмысленное сопротивление. Но как ни злись, бессмысленное-то бессмысленное, да не совсем! Потому что те, кого он убил у тебя в этот последний день, лежат в земле и уже не пойдут с тобой дальше, ни на Минск, ни на Варшаву, ни на Берлин. И в этом самая горькая горечь!

Немецкой техники набили много и вчера и сегодня. И в Могилеве и за Могилевом. Особенно по дороге на Минск. Пришлось давать своей пехоте колонные пути слева и справа от этой дороги, а то не пройдешь! А чтоб протащить по ней артиллерию, сейчас саперы работают — разграждают.

Когда проезжал по городу, на главной улице, среди разбитых и полуразбитых домов, увидел уцелевшие вывески. При немцах тут, в Могилеве, водилась кое-какая торговлишка, лепились по магазинчикам вылезшие из подполья лавочники; было здесь и свечное производство, и комиссионный магазин какого-то А. Дуплака, и чье-то, не разобрать чье, потому что полвывески оторвано снарядом, кафе...

Увидел все это и вспомнил двадцатый год — ноябрьский, холодный не по-крымскому день, когда после Перекопа, догоняя бежавших белых, вошли в Симферополь и увидели главную улицу с заколоченными, ободранными, но все же побогаче этих, могилевских, магазинами, лавками и лавчонками с еще оставшимися на вывесках следами всего того, что жило там при Врангеле...

Вспомнил тогдашние свои чувства — молодого, двадцатипятилетнего человека, только недавно взорвавшего старый мир и добивавшего его там, в Крыму. Вспомнил и подумал о том, о чем среди всех военных забот порой забывалось: нет, не просто — мы и немцы! Не только это! Есть еще и свои тараканы, свои клопы! Дохленькие, уж, казалось, так присушенные временем, что одна шелуха осталась, а все же ожившие, сумевшие, открывшие свою

небогатую торговлишку. Жили при немцах навряд ли так уж сладко — в страхе и на цыпочках. А все же хоть и на цыпочках, но питали надежду на возвращение старого, разбитого в семнадцатом году... Хоть какого-никакого, на любых условиях...

Когда около вокзала командир дивизии представлял отличившихся солдат, которые взяли в плен самых последних немцев, Серпилин в одном из них, сержанте, по фамилии и выговору угадал касимовского татарина, земляка матери, и заговорил с ним по-татарски. Сержант от неожиданности смотрел на Серпилина так, словно стоящий перед ним командующий армией — это одно, а говорит внутри него по-татарски кто-то другой. Только потом сообразил и откликнулся. Оказался и правда касимовский.

Отвечал вперемежку по-русски и по-татарски. Военное по-русски: «Так точно, товарищ генерал», «Служу Советскому Союзу, товарищ генерал!» А остальное, не военное, по-татарски. Говорить по-татарски Серпилину давно не приходилось.

Потом, когда поехал дальше, все думал о матери. А воспоминаниям этим было ровно столько же лет, сколько командиру дивизии, который брал город,— тридцать девять лет назад в последний раз говорил с матерью по-татарски, перед ее смертью. Тридцать девять лет. Для другого человека — целая жизнь.

Да, детство далеко. Так далеко, что уже и не видать, где кончилось...

В только что взятый город стремились найти причину заехать почти все. Не только те, кому надо было по службе, но и кому вовсе не надо.

Серпилин встречал и тех и других, но замечаний не делал: не было настроения. Ну дал человек крюку, проехал, поглядел на Могилев... Понять можно! Только потом посмеялся над этим, когда съехался в городе с Захаровым.

— Кого только не видел! Только Бастрюкова не встретил, даже удивляюсь! Он ведь у тебя любит в города входить. И когда последним входит, все равно вид такой, что первым...

— Бастрюкову сегодня не до того,— махнул рукой Захаров. — Он сегодня на Львова так напоролся, что до смерти не забудет.

И рассказал историю, которая объяснила Серпилину неожиданный для него вопрос Львова о Бастрюкове.

Оказывается, Львов, продолжавший прочить Бастрюкова в начальники политотдела, сегодня с утра забрал его с собой на передовую. Как это часто с ним бывало, никому не сообщил, куда едет и где будет, посмотрел в оперативном отделе обстановку, сел в свою знаменитую «эмку», взял «виллис» с автоматчиками и поехал. Не заезжая ни в штаб дивизии, ни в подвижную груп-

пу, по собственной карте махнул прямо на стык двух армий, хотел лично проверить, как обеспечен!

Обычно хорошо ориентировался, а на этот раз спутал направление, полным ходом выскочил из лесу за передний край, правей Бобруйского шоссе, и как раз попал под огонь немецкой артиллерии.

«Эмка» его завалилась в старый окоп, но уцелела. «Виллис» с автоматчиками, у которого перед этим, на развилке, спустил скат, отстал, и Львов оказался на поле вчетвером — со своим порученцем Шлеёвым, Бастрюковым и водителем, которого ранило в голову: поэтому он и не удержал, загнал машину в окоп. Водителя Львов сам лично перевязал и, забрав из «эмки» полуавтомат, с которым всегда ездил, и гранаты, залег тут же в кустарнике вместе с сопровождавшими его лицами, готовый принять бой, если немцы подойдут ближе.

Немцы к ним не подошли, были заняты другим. Шлеёв, который, находясь при Львове, привык к передрягам, лежал рядом с ним, а Бастрюкова, когда бой затих и немецкие танки и бронетранспортеры пожгли и остановили, поблизости не оказалось.

— Ты на НП слева от шоссе был,— сказал Захаров, закончив свой рассказ,— а Львов правее, километрах в полутора. Пока они оттуда шофера раненого вывели, сами выбрались, взяли у танкистов другого водителя, вытащили «эмку», тебя уже не было, ты уехал, а командир дивизии Артемьев явился пред светлые очи. Он мне все это и изобразил в лицах. Бастрюков, оказывается, на целый километр назад рванул через лес, не знаю уж, на что надеялся! Может, со страху считал, что все, кроме него, погибнут — и концы в воду? Но только Львов обнаружил его на дороге, около «виллиса»,— «виллис», когда скат сменили, остался на месте,— автоматчики не знали, куда тыркаться, и пошли вперед — искать Львова. А Бастрюков как раз на этот «виллис» выбежал или выполз, уж не знаю! Но рассказывают, когда Львов его около «виллиса» засек, картина была сильная! Бастрюков пробует выкрутиться, объясняет, что прибежал к «виллису» за подмогой, чтобы на помощь к товарищу Львову ехать, а водитель отрицает, говорит: никаких приказаний от полковника не получал... Ну, Львов, надо сказать, быстро разобрался. Бастрюков, наверное, подумал, что кривая вывезет, как уже не раз вывозила,— выслушал смирненько все, что на его долю досталось, и стоял, как чижик, в стороне, пока Львов с командиром дивизии говорил. Потом видит: Львов уезжать собрался. В «эмку» к нему, конечно, не посмел, но на «виллис» с автоматчиками бочком-бочком и полез... Львов «эмку» остановил, дверцу открыл да как крикнет ему: «Вон из машины!» Тот в первый момент не понял.

Львов ему еще раз: «Вон из машины!» Захлопнул дверцу так, что стекло треснуло, и поехал двумя машинами, только пыль из-под колес!

— Да, не знал я,— сказал Серпилин,— когда там, на наблюдательном пункте, смотрел на этот бой, что член Военного совета фронта в таком критическом положении. Как это вышло, что под огонь заехал? Как пропустили? Все же настоящего порядка, значит, не было! Придется спросить за это.

— Только не слишком строго,— сказал Захаров, увидев, как Серпилин задним числом не на шутку рассердился. — Что это с ним, первый раз, что ли? Никого не слушает, ни у кого не спрашивает, любит — как снег на голову! Правда, надо отдать ему должное, когда попадает в такие переплеты, то и к ответу никого не требует. Считает для себя в порядке вещей: заехал и заехал, что тут такого? Даже гордится после! — рассмеялся Захаров и спросил, не собирается ли Серпилин возвращаться на командный пункт армии. — Может, вместе?

Но Серпилин сказал, что у него есть еще дело в Могилеве. Какое, объяснять не стал.

Захаров уехал, а Серпилин, оставив и бронетранспортер и радистов в центре Могилева, приказал им ждать, взял с собой лишь Синцова и автоматчика и поехал через город на его юго-западную окраину.

Ехал быстро, не колеблясь, без расспросов, только командовал, где поворачивать. Гудков и автоматчик не знали, куда едут, только Синцов догадывался...

Когда подъехали к развалинам кирпичного завода, вылез из машины и постоял. Искал глазами те ямы, про которые говорил Сытин, что немцы заставили население хоронить в них убитых. Посмотрел и увидел их в ста шагах. Ямы там же, где и были. Тогда и прятались в них от бомбежек и хоронили убитых — сами это начали. «Восемьдесят седьмые» так пикировали до самой земли, что одних прямых попаданий в щели и окопы было по десятку за день...

Постоял у этих ям и поехал дальше, к дубовым посадкам, на третий километр Бобруйского шоссе, где когда-то принимал со своим полком первый бой. Утром смотрел на это поле боя оттуда, с той стороны, а сейчас хотел посмотреть отсюда. Оттуда — одно чувство, отсюда — другое!

Оставив «виллис» на дороге, прошел триста шагов до овражка, где у него тогда, в первый день, был первый перепаханный потом бомбами командный пункт.

Сейчас здесь стояли покалеченные немецкие орудия, те самые, которые сегодня утром обстреливали отсюда опушку леса.

Зенитки, тоже разбитые и опрокинутые, валялись у самой дороги, а среди дубовых посадок вразброс стояли сгоревшие и брошенные немецкие танки и самоходки. И около них и около разбитых орудий лежали еще не убранные трупы немцев.

Но он глядел и словно не видел всего этого, видел не то, что сейчас, а то, что было тогда. И даже, казалось, слышал самого себя, свой тогдашний голос, свои поспешные приказания и радостные доклады первых часов боя, когда в первый раз своими глазами увидел, как останавливаются и горят немецкие танки.

И то, что пора было возвращаться в штаб и продолжать войну и уже не оставалось времени стоять тут и думать, только усиливало его чувства. Сила воспоминаний обостряется, когда на них мало времени...

Он оглянулся и увидел переходившую через дорогу колонну пленных немцев; их конвоировали партизаны. Изловили где-то здесь, в лесах, в окрестностях Могилева, и куда-то вели. Наверное, на ночлег: дело к вечеру, и пленные тоже будут где-то и кормиться и ночевать. В хвосте колонны, подгоняя немцев, шел бородач в выгоревшей пограничной фуражке, в немецком офицерском мундире с красной повязкой на рукаве и в развевавшейся за плечами пятнистой трофейной плащ-палатке.

— Поехали,— сказал Серпилин стоявшему за его спиной Синцову.

И это «поехали» было единственным, что он сказал за все время.

На новом командном пункте армии Серпилин на скорую руку перекусил вместе с Захаровым и Бойко. Из штаба фронта только что позвонили, что к ним уже выехал офицер оперативного управления с приказом на дальнейшие действия.

Обычно ужинали попозже, когда главные заботы с плеч! А тут решили нарушить порядок, чтоб потом уже не отрываться.

Бойко один из них троих так и не побывал сегодня в Могилеве.

— Ну и выдержка у тебя, Григорий Герасимович! — с удивлением перед проявившейся даже и в этом последовательностью характера начальника штаба сказал Серпилин. — Как все-таки не посмотреть было Могилев?

— Будет случай, посмотрю,— сказал Бойко. — Необходимости не возникло, а дел весь день было выше головы. И ко всему, штаб фронта с телефонов не слезал, каких только данных от нас не требовал!

— Да еще, добавь, я проштрафился перед тобой...

— Я за вас волновался сегодня,— не приняв шутки, ответил Бойко.

Слова «волновался» Серпилин в лексиконе Бойко не помнил. Услышал впервые и даже посмотрел на него.

Бойко молча выдержал взгляд; как бы напоминая, что и отсюда, издали, держал в поле зрения все происходившее там, где был Серпилин, сказал:

— Того капитана, которого при вас в плен взяли, я после допроса в разведотделе приказал привести к себе до отправки в штаб фронта. Хотел проверить на нем их состояние духа — чего от них можно ожидать в дальнейшем.

«Оказывается, и на это время нашел»,— отметил про себя Серпилин.

— Держался смело, но подавленность чувствуется. В ответ на мой вопрос: как вышло, что пришлось сдаваться в плен? — нервничал и напирал на наше преимущество в силах: ссылался в свое оправдание, что у нас всего намного больше, чем у них. Даже заявлял, что в пять раз больше! Пришлось спросить его: откуда знает, что именно в пять? Может, у страха глаза велики?

— Не без этого,— сказал Серпилин. — А вообще-то, естественно, каждый свое поражение стремится чем-то оправдать. Теперь немцы стремятся — тем, что у нас всего больше, чем у них. И численный перевес над ними имеем, и материальный создали! Все так. Но их самих, как военных, это ни на волос не оправдывает. Нападающий обязан знать, на кого меч поднял. И какие будут расстояния, и какие дороги, и какой климат, и с какими людьми иметь дело придется. И вообще, и здесь, в Белоруссии, в частности.

Тема была такая, на которую тянуло поговорить именно сегодня, когда за спиной остался только что освобожденный Могилев. Но приехал из штаба фронта офицер оперативного управления с приказом, и все, наспех допив чай, сразу же пошли работать, как обычно, к Бойко.

Хотя на этот раз командный пункт был в деревне, Бойко и здесь приказал поставить ту же самую большую палатку, в которой работал на прежних командных пунктах. По летнему времени предпочитал ее избе.

— Думаешь так до осени и возить с собой эту резиденцию? — спросил Серпилин.

Бойко кивнул:

— Для работы полезно, когда привыкаешь к чему-то одному.

Приказ, в соответствии с которым армия должна была участвовать в Минской операции, продолжавшей собой Могилевскую, был немногоречив. То, о чем думали и раньше, особенно вчера и сегодня, теперь было изложено как прямое требование: стреми-

тельно преследовать немцев всеми наличными силами, обходя их опорные пункты, нигде не задерживаясь, выигрывая время и пространство, идти вперед, к Березине, а после ее форсирования к Минску.

С этой ближайшей задачей, как поскорее дойти до Березины и форсировать ее, и было связано почти все, о чем говорили в штабе до глубокой ночи.

Офицеры оперативного отдела с приказами о спланированных на завтра действиях уехали в корпуса. Подписав приказы, среди ночи уехал вперед, в войска, и Захаров. А Серпилин с Бойко и с командующим артиллерией все еще работали над дальнейшим. Надо было заранее заправить в огромную армейскую машину со всеми ее штабами и разветвлениями все, что ей предстояло за остаток ночи и завтрашнее утро переварить в себе, расчленить на десятки различных документов, приказаний, распоряжений и довести до исполнителей,— без этого даже самый хороший приказ остался бы только сотрясением воздуха. И хотя Серпилину, и Бойко, и другим работавшим с ними в эту ночь людям нужно было время, чтобы думать и решать, они самоограничивали себя, зная, что и там, внизу, в штабах корпусов, дивизий и дальше по нисходящей, тем, кто на основе их приказов будет отдавать последующие, свои, тоже надо успеть подумать, прежде чем приказывать. А между тем операция уже началась, уже переросла за этот вечер и ночь из одной в другую...

Не удивительно, что после такой работы чувствуешь себя усталым. Удивительно другое: что, несмотря на усталость, уже разобрав койку, все-таки сидишь и не спишь. Бывает у человека такое сочетание душевного подъема с глубокой усталостью, когда он до последней секунды не верит, что заснет...

Вспомнив, как Батюк говорил ему сегодня в Могилеве о втором ранении своего сына, служившего в противотанковой артиллерии, Серпилин подумал о том, другом, тоже старшем лейтенанте, тоже служившем в противотанковой артиллерии, только не на Ленинградском, а на Третьем Украинском, о сыне Барановой, которого знал лишь по маленькой карточке, присланной матери с фронта...

На Третьем Украинском пока затишье, но не за горами время, когда и они начнут. И его мать, наверное, думает об этом в свои свободные минуты. Там, где она теперь, на соседнем фронте, который глубже всех вклинился в Белоруссию, у нее, как у хирурга, сейчас не меньше работы, чем у командарма. Каждому свое...

На столе затрещал телефон, и Серпилин поднял трубку. Звонил Бойко.

— Вы приказали оперативному дежурному, если Кирпичников позвонит раньше трех, доложить вам.

Серпилин взглянул на часы: без одной минуты три.

— Что там?

— Докладывает, что две его разведывательные группы вышли на Друть и переправились. Одна дала радиограмму и замолчала, больше на связь не вышла. А другая еще раз подтвердила, что находится за Друтью, и соединилась там с партизанами.

— Хорошо, даже замечательно! Теперь можно и спать,— сказал Серпилин, которому вдруг показалось, что он не мог заснуть, не получив этого донесения от Кирпичникова. — А ты что делаешь?

— Дорабатывали с Маргиани артиллерийские вопросы. Только закончили.

— Значит, я, считается, сплю, а ты еще работаешь.

— Закончили,— повторил Бойко.

— Пойдете гулять? — спросил Серпилин.

Он знал: чтобы там ни было, Бойко вышагивает свои пятнадцать минут перед сном. И Маргиани тоже часто ходил вместе с ним.

— Будете гулять — пройдите мимо меня, я перед сном на лавочке посижу...

Положив телефонную трубку и не одеваясь, в заправленной в бриджи нательной рубашке, Серпилин спустился с крыльца и сел на лавку, еще чуть влажную после вечернего дождика.

Дежуривший у крыльца автоматчик отошел и стал ходить в отдалении.

Серпилин вынул из бриджей коробку «Казбека» и закурил. Сразу после Архангельского, как и обещал, придерживался, а теперь выкуривал по полпачки. Закурил и увидел переходившего дорогу Бойко.

— Присаживайся, Григорий Герасимович.

Бойко присел, вытянув свои длинные ноги, и, покосившись на белевшую в темноте рубашку Серпилина, спросил:

— Не прохладно ли? Смотрите, плечо застудите!

— Да нет, вроде тепло. Докурю и пойду. А Маргиани где?— спросил про командующего артиллерией. — Имел в виду, что оба подойдете.

— Пошел к себе, постеснялся. Знаете его натуру!

Серпилин знал натуру Маргиани — твердый в деле, но в личном общении с людьми застенчивый до нелюдимости. Воевал громко, а жил молчаливо, можно сказать, по-монашески, ничем не напоминая собой такого грузина, каким обычно их себе пред-

ставляют. Носил в глазах какую-то печаль, словно когда-то где-то случилось с ним что-то такое, о чем он никак не может забыть.

— Ну что ж, к себе так к себе,— сказал Серпилин. — Артиллеристам тоже иногда спать надо.

Бойко сдержанно зевнул и прикрыл рот рукой.

— Устал? — спросил Серпилин.

— Времени ровно по часу в день не хватает!

И, услышав эту вырвавшуюся у Бойко сердитую жалобу, Серпилин со вспышкой благодарного чувства подумал о нем: «Дает почувствовать масштаб своей личности не тем, что якает или суется на глаза, а тем, что при всей строгости к другим к себе самому еще строже! И в смысле выносливости — вол. А вдобавок ко всему молод!»

Бывало, думал об этом с завистью, а сейчас вдруг с другим чувством — с облегчением, что ли? — что вот есть в свои тридцать пять лет такие, как Бойко! Подумал в эту минуту не о себе и о нем, а о чем-то намного более важном, имевшем отношение не к старости и молодости, не к тебе и к нему, а к войне, к армии, ко времени, в которое живем и еще будем жить. А вслух сказал только:

— Спать, что ли?

Не потому, что захотелось спать, а потому, что почувствовал: Бойко сидит рядом принужденно, спешит походить перед сном. Что ж его на лавке возле себя держать?

— Пошагаю,— сказал Бойко. — Спокойной ночи!

Серпилин, оставшись один, погасил окурок и посмотрел перед собою в темноту.

Небо — в облаках. Ночь — хоть глаз выколи. И где-то там, в тридцати километрах отсюда, за рекою Друтью, люди, первыми переправившись через нее на чем пришлось, лежат мокрые на том берегу. А может, не просто лежат, а отбиваются сейчас от немцев. Или погибли. Одна группа подтвердила второй раз по радио, что переправилась и находится там, а другая сначала передала, но почему-то не подтвердила...

...Из сорока человек той разведгруппы, которая, переправившись через Друть, один раз дала о себе знать по рации и больше не выходила на связь, за три часа, прошедших после переправы, осталось в строю немногим больше половины. Остальные были за это время убиты или ранены. Раненых некуда было деть, и они тоже вместе со всеми лежали здесь, на пятачке, под немецким минометным обстрелом. И некоторых ранило уже по второму разу.

Несмотря на потери, неослабевавший немецкий огонь и ожидание, что немцы, как только рассветет, снова, в третий раз, полезут в атаку, солдаты, перебравшиеся на западный берег Друти, уже считали его своим и верили, что не отойдут. Хотя это не мешало им с тоской и нетерпением ждать помощи и ругаться, что ее до сих пор нет.

Батальонная рация, которую придали группе, была разбита прямым попаданием мины вскоре после переправы, но лейтенант, командир группы, тогда еще живой, сразу отправил двух оставшихся без дела радистов, чтобы добрались до своих и сообщили обстановку. Пошутил, когда заходили обратно в воду:

— Имели позывной «Олень», значит, должны — одна нога здесь, другая там!

Заменивший командира группы старшина был час назад ранен, лежал в забытьи, и после него команду над оставшимися людьми принял сержант Никулин, последние три дня бывший связным при командире группы. Уже под его командой отбили вторую атаку немцев, когда они, прекратив минометный обстрел, спустились с двух сторон и пошли низом, по берегу.

Встретили их огнем из трех ручных пулеметов — станковый, как и рация, был разбит миной,— наводили по вспышкам их автоматных очередей, и немцы, как и во время первой атаки, не пошли дальше. В темноте по стонам было слышно, как они оттаскивают назад своих раненых.

Поначалу все шло даже легче, чем ожидал Никулин. Выход к пойме реки преграждала полоса густого леса. Группу подбросили на двух грузовых машинах. Машины прикрывал танк. До леса проскочили без помех, только раз вдали, в овражке, танкисты заметили скопление немцев и обстреляли их, разогнали. На опушке машины развернулись и пошли назад, танк тоже.

Разведгруппа, миновав лес, подошла к Друти без единого выстрела с той стороны. Хотя середку реки пришлось преодолевать вплавь, переправились быстро. Уже прыгали до этого через четыре реки, и каждый раз первыми, держали при себе на такой случай разные подручные средства; даже две пустые бочки тащили, чтобы, пустив их стояком вплавь, сложить внутрь гранаты, диски, другое хозяйство. А тут в лесу, на краю поймы, еще наудачу стоял ветхий сарайчик; разметали его и связали плотики, потратили на это моток трофейного телефонного провода. Некоторые набили сухим прошлогодним сеном из этого сарайчика гимнастерки, шаровары, плащ-палатки, застегнули, завязали и с ними, как с поплавками,— в реку. Шедшая с группой медсестра не пожалела бинтов, порвала на куски, чтобы солдаты продели в ушки сапог — и на шею... Опыт имели, не растерялись...

А бой начался, когда уже оказались на западном берегу. И сами переплыли, и «максим», и два 82-миллиметровых миномета на плотиках переправили. И вдруг, переправившись, уже в полутьме увидели, как сзади, выше по течению, из лесу густо высыпали на тот, на восточный берег немцы, чуть не батальон,— значит, почти одновременно спешили через этот лес к Друти, но немного отстали.

Увидев немцев, командир группы, не считаясь с их превосходством в силах, приказал открыть по восточному берегу огонь из обоих минометов. Было видно, как рванулись первые мины — и на берегу и в воде, среди переправлявшихся немцев. Продолжали вести по ним огонь и в темноте, наугад, до последней мины, а мин с собой было немного.

Немцы сначала растерялись, но вскоре открыли ответный минометный огонь с того берега, а потом и с этого, из глубины. Клали мины густо и оттуда и отсюда, а после того как переправились, наверно, получили приказ уничтожить русских пока не поздно и, не дожидаясь рассвета, два раза ходили в атаку.

А после всего этого каждые две-три минуты — мина, если не рядом, так близко. И от мин тоска берет, и раненые стонут... Медсестра, которая рвала бинты, чтобы сапоги связали за ушки, давно лежит мертвая на песке...

Никулину почему-то казалось, что именно рассвет принесет спасение. Вот ночь кончится, рассветет — и на подмогу подойдут наши! Хотя рассвет мог, наоборот, принести гибель, потому что немцы, скорей всего, когда рассветет, и пойдут в новую атаку.

Но после пережитого за ночь об этой утренней атаке Никулин думал как-то бестрепетно: хотя бы увидишь немцев в глаза! Ночью жутче: бьешь по ним, а не видишь, остановил или нет. Может, не остановил? Может, какой-то из них через минуту рядом окажется! А когда рассветет — все на виду!

Никулин уже два раза обползал всех, кто лежал в круговой обороне: проверял, как окапываются. Особо подгонять не приходилось: сами понимали, что в одном спасение — залезть поглубже в землю. Рыли и саперными лопатками, у кого были, и кинжалами, котелками, пряжками от ремней, своими и снятыми с убитых касками, благо почва податливая — песок.

Никулин скомандовал вырыть в песке траншейки и для раненых — для тех, кто не мог для себя постараться; а раненому старшине сам отрыл окопчик рядом с собою. И теперь лежал, передыхая, на спине, сняв для удобства ремень, и протирал подолом гимнастерки затвор автомата, в который набился песок. Делал то же, что приказал и всем другим,— проверял оружие.

Лежал, сожалея, что у них не осталось в запасе ни одной мины. Один из минометов цел, а мины ни одной. А если бы иметь хоть несколько и, как только немцы пойдут, ударить по ним, когда они уже считают, что у нас ничего нету,— другое дело!

Провоевав большую часть войны минометчиком, Никулин верил в свое оружие и жалел, что лейтенант, командир группы, когда был жив, позволил израсходовать все до одной мины. Если бы он, Никулин, распоряжался еще тогда, как распоряжается теперь, оставшись за старшего, он хоть несколько мин, а оставил бы про запас.

Старшину, который стонал, лежа в беспамятстве, Никулин не успел узнать, что тот за человек, и жалел его не больше всякого другого — всех жалко! А особенно жалко медсестру за то, что она, не такая уж молодая женщина, на вид ровесница его, Никулина, жены, безотказно шла с ними все эти дни, как солдат, и повязки и шины накладывала, и раненых на себе таскала не хуже санитара, и все время невредима... А тут на берегу от немецкой мины сразу как и не было женщины!

Убитого лейтенанта Никулин тоже жалел с особенной силой: лейтенант был еще молодой годами, но войну прошел всю насквозь, взад и вперед. И Никулина, пришедшего к нему три дня назад с пополнением, сразу хорошо понял. И хотя Никулин не скрыл, что побывал в штрафбате, лейтенант не посчитался с этим, а сразу же, как опытного солдата, взял к себе в связные. Посчитался не с тем, что Никулин угодил в штрафбат, а с тем, что после штрафбата из команды выздоравливающих поспешил в бой.

Разговор о прошлом зашел с трех нашивок за ранения. Узнав, что Никулин до штрафбата был сержантом, лейтенант так и звал его — не по фамилии, а «сержант», и смеялся: «Считай, что тебе уже обратно присвоили, еще неделю повоюем, так и будет!» Вообще был смешливый, веселый. Но при этом помнил, что Никулин намного старше. Сам был быстрый и требовал, чтобы все — быстро! Но зазря не торопил. Да и причин не имел при том старании, которое привык проявлять на войне Никулин.

«Из-за того старания и попал в беду»,— думал Никулин о себе теперь, после того как кровь — на счастье, малая,— которую он пролил в атаке в первый же день наступления, и собственное желание пойти обратно в строй из команды выздоравливающих сняли с него ту вину, которая была за ним и которую после всего этого он сам считал уже не виной, а бедой.

Он лежал под немецкими минами вместе с другими солдатами на западном берегу Друти, впереди всех в целой армии, чего сам, конечно, не знал; знал только, что впереди всех в ба-

тальоне,— и тосковал оттого, что ничем не может ослабить этот немецкий огонь. Он не хотел быть убитым, так же как и все другие, лежавшие вместе с ним, и ждал подмоги еще нетерпеливее, чем они. Не потому, что больше, чем они, хотел жить — жить хотели все,— а потому, что, после того как принял команду над этими двумя десятками людей, чувствовал себя не только ответственным за их жизнь, но и как бы отчасти виноватым перед ними за то, что до сих пор не пришла подмога.

Война, на которой Никулин теперь уже четырежды был ранен и видел столько повседневных опасностей, сколько приходится лишь на долю солдата, больше ни на чью,— заставила его притерпеться и к виду чужой смерти и к мысли о собственной.

Но эта же война, ожесточившая его чувства, приучила его не унывать, приучила, что солдаты остаются живы, когда и сами не ждут, и выходят из безвыходных положений, и получают помощь, когда ей уже неоткуда взяться.

Никулин лежал и думал о тех двух радистах, посланных к нашим, что они уже должны были дойти. Он хорошо знал, что на войне бывает всякое: могут и заплутать, и после двух переправ туда и назад не осилить усталости и ночного страха и перележать где-то остаток ночи, пока обстановка не прояснится. Знал, что и такое бывает. Но, имея веру в людей и сам не приученный обманывать этой веры, считал в душе, что оба посыльных, если только живы, дошли и сообщили. А почему наши до сих пор не идут—тоже не потому, что не хотят, а потому, что пока не успели: может, натолкнулись на дороге на немцев — стрельба идет не только здесь, а и там, на восточном берегу Друти. И если даже посыльные не добрались, погибли, то, что немцы все бьют и бьют из минометов и уже несколько раз светили ракетами, должно объяснить нашим, что мы тут не умерли, ведем бой, немцы над пустым берегом светить не станут. И минные разрывы все же слышны, звук над водой далеко бежит, тем более среди ночи...

Сразу после переправы, когда передали по рации свои координаты, лейтенант радостно сказал Никулину: «Все в ажуре, уже знают про нас — где!» Никулин вместе с ним порадовался: какая хорошая вещь — радио. Почти все он знал па войне и почти все умел, а вот с радиосвязью соприкасаться не пришлось — так уж вышло. Другое дело — проводная!.. Тогда, сначала, порадовался вместе с лейтенантом, а теперь, когда и рация разбита и лейтенанта нет, под разрывы немецких мин с тоской вспоминал о проводной связи. Вспоминал, как в сорок третьем году на Украине, на Псле, тоже участвовал в переправе — и солдата, который плыл рядом с ним, посреди реки ранило, хотели помочь этому солдату доплыть обратно, а он просил, наоборот,

пособить добраться вперед, на западный берег. И его, как на поплавки, пристроили на лямку между двумя пустыми снарядными ящиками, поддержали и вытащили, хотя у самого берега его еще раз стукнуло, уже насмерть. И только когда вытащили, увидели, что он телефонист — конец провода обмотан вокруг пояса: «Хотел с этим концом доплыть, доставить связь — и доставил!» — подумал Никулин с уважением к этому давно погибшему человеку и к проводной связи, которая для него по-прежнему оставалась самой надежной из всех.

Для тех, кто, подобно Серпилину или Бойко, командовал армией, управлял всем ее большим механизмом, убеждение в нашем превосходстве над немцами основывалось на общем успешном ходе операции, на количестве захваченных пленных и трофеев и на тех цифрах, которыми выражалось все ухудшавшееся для немцев соотношение сил: пять к одному — в авиации, три к одному — в артиллерии, два к одному — в танках... В этих общих масштабах тот неполного состава немецкий минометный дивизион, который всю ночь вел огонь по пятачку за Друтью, где сидел Никулин и его товарищи, был ничтожной частью целого — всего семь или восемь стволов из нескольких сот, еще остававшихся у немцев перед фронтом армии.

Но на той полоске низкого песчаного берега, где лежал Никулин с товарищами, немецких минометов было восемь против одного. И этот один молчал, потому что кончились мины, а те восемь продолжали стрелять всю ночь, добивая раненых и прижимая к земле уцелевших, порождая у них то сознание несправедливости происходящего, которое возникает у солдата в минуты тяжелого боя, особенно если эта тяжесть оказалась неожиданной.

И если бы Никулин и его товарищи поддались этому опасному чувству несправедливости, которое — поддайся ему — прямой дорогой ведет к отчаянью, они не удержались бы в эту ночь там, за Друтью, а бросились бы назад, через реку, неизвестно, погибнув или оставшись при этом в живых. Потому что обостренный отчаянием инстинкт самосохранения далеко не всегда спасает человека, иногда, наоборот, губит как раз в ту минуту, когда он сам уже считает, что спасся.

Но Никулин, испытывая это чувство несправедливости, не поддался ему и, хотя знал, что немцы здесь, на этом берегу Друти, сейчас сильнее его, продолжал действовать так, как будто он оставался сильнее немцев.

За шесть суток наступления он уже прошел сто километров. И большую часть этого пути шел, сознавая, что его берегут, хотя по нескольку раз в день подвергался то одной, то другой опас-

ности, которых, как бы ходко ни наступали, все равно не минуешь, если идешь впереди.

Хотя Никулин сам был легко ранен в первый же час наступления, он помнил, как мало было других раненых поблизости от него и вообще как мало было у нас потерь после того, как авиация и артиллерия перепахали немцам весь их передний край. Он помнил, как, обгоняя его, уже раненного, шли вперед самоходки и танки, и как били через голову «эрэсы», и как впереди и на второй и на третьей немецкой позиции снова дыбом вставала земля... А когда, пробыв два дня в медсанбате, вернулся в строй и пошел опять вперед под командой убитого сегодня лейтенанта, то снова почувствовал, как его берегут, как сбивают перед ним немцев с позиций плотным артиллерийским огнем, как подавляют сопротивление танками, как немцы перестают стрелять по нему после того, как в их сторону прошли над головой наши «горбыли» и устроили там свою карусель.

Все, что так долго и многотрудно готовилось перед началом операции, не без осечек и промахов, но все же сработало и продолжало работать, подпирая Никулина и помогая ему идти вперед.

Но настал час, без которого на войне не обходится, и немец, о котором Никулин уже привык думать в эти дни наступления, что он слабей, вдруг оказался сейчас и здесь сильней. И хотя Никулин верил, что это ненадолго, но нужно было на это время собрать все силы, какие только есть в запасе у человека, чтобы немец не успел почувствовать себя сильней, чтобы не дать ему этого почувствовать!

Сегодня на рассвете полковой агитатор добрался к ним в батальон, накоротке пересказал вчерашнюю сводку и объявил, что взят Витебск, а здесь, как он выразился, «повсеместно» наши войска вышли на восточный берег Днепра и ведут бои за Могилев.

Весь день после этого были в движении, и, взят или не взят Могилев, Никулин так и не узнал, хотя в Москве уже несколько часов назад было дано в честь этого события двадцать артиллерийских залпов из двухсот двадцати четырех орудий. Но, не зная многих важных событий, и уже происшедших и продолжавших происходить на фронте, Никулин чувствовал значение этих событий с той внутренней силой, которая дается личной причастностью к ним.

Когда утром агитатор сказал, что по сводке «повсеместно вышли на восточный берег Днепра», то говорилось это уже за Днепром, на его западном берегу. И это «повсеместно» для Никулина было уже где-то позади, а не впереди. А когда он сам еще два дня назад переправился через Днепр, то это было не «повсеместно», а именно они-то первыми и переправлялись!

Еще не зная, что Могилев освобожден, но собственными ногами сосчитав все сто километров, которые за шесть суток пронаступала их армия, Никулин сознавал, что освободил и оставил у себя за спиной целую землю, три года лежавшую под немцем,— двенадцать деревень! — «вёсок» — как по-здешнему называл их лейтенант, сам тоже здешний, из-под Минска. Никулин считал только те деревни, что сам прошел за эти дни, никаких других не считал, только их — и совсем спаленные немцем, и наполовину спаленные, и целые,— и в них все уже возвращаются или будут возвращаться жители.

Он спросил полкового агитатора, не слыхать ли чего про Псковщину, как там идут дела. И ответ не обрадовал его: агитатор сказал, что Псков пока не освободили и, как там идет наступление, в сводках нет. Но хотя ответ агитатора огорчил Никулина, вид тех освобожденных деревень, через которые он шел со своими товарищами, от мыслей о своей оставшейся там, на Псковщине, семье приобретал для него особенно глубокое, можно сказать, личное значение.

В полученной сегодня дополнительной директиве Ставки уже прямо предусматривались и окружение всех отступавших здесь немецких войск и срок взятия Минска.

Горсточка людей, воевавших вместе с Никулиным на пятачке за рекой Друтью, разумеется, ничего не могла знать об этом секретном документе, пришедшем глубокой ночью в штабы фронтов. Но прямая связь одного с другим состояла в том, что сама эта дополнительная директива Ставки была следствием того, как воевал Никулин и другие такие же, как он, люди здесь и во многих других местах, на всех четырех наступающих в Белоруссии фронтах.

И тот, кто не понял или не захотел бы понять этого, ничего бы не понял в том, почему одни приказы оказываются на войне исполнимыми, а другие — нет. А тем самым не понял бы и что такое война в ее конечной, солдатской реальности — одновременно и высшей и низшей. Низшей, потому что директивы спускают сверху вниз, и когда они доходят до самого низа, это и значит, что они дошли до солдата. А высшей, потому что у директив, с какой бы высоты они ни шли, нет высшего исполнителя, чем солдат. И они становятся реальностью лишь после того, как он примет задуманное к исполнению и, невзирая на опасность и страх смерти, в конце концов исполнит. И вроде бы казенное, суконное слово «исполнители», употребляемое в армии по отношению к тем, кому предстоит исполнить полученный свыше приказ, на самом деле есть слово, исполненное высокого значения и уважения к человеку, делающему на войне свое дело.

«Исполнитель» — тот, от кого зависит исполнение. И если он не исполнит, то ничего и не исполнится.

Один из этих исполнителей — Никулин Петр Федорович, тридцати девяти лет от роду, семейный, многодетный, судимый, смывший вину кровью и теперь раненный уже четырежды,— лежал на западном берегу Друти, озябнув от сырости в своем не успевшем просохнуть после переправы обмундировании, и, находясь во главе двадцати других солдат, исполнял свой долг, состоявший в том, чтобы удержаться здесь, на захваченном клочке берега, до получения подмоги или умереть в бою.

Неделю назад Серпилин по своей должности командарма и по праву, присвоенному этой должностью, не утвердил слишком сурового приговора Никулину и тем самым, по сути, спас ему жизнь. Но эти слова «спас жизнь», которые, когда о них думают, а тем более когда произносят вслух, связываются с представлением о каком-то сделанном человеку благодеянии, не приходили в голову ни Серпилину, когда ему во время одной из поездок в войска показалось, что в строю батальона мелькнуло знакомое лицо сержанта Никулина, ни самому Никулину, когда там, на дороге, солдаты вдруг заговорили, что мимо них проехал командующий.

Тогда, перед началом наступления, Серпилин просто осуществил по отношению к попавшему под трибунал сержанту ту справедливость, которую Никулин день за днем подтверждал в боях каждым своим поступком, не думая при этом о прошлом, потому что думать о нем значило бы думать о себе, а он все эти дни меньше всего думал о самом себе.

И только сейчас, когда в начинавшем сереть рассвете оттуда, с восточного берега, раздались выстрелы наших орудий и над головами Никулина и других лежавших на пятачке за Друтью людей, окаймляя их огнем, прошли и разорвались в глубине у немцев первые снаряды,— только в эту минуту он впервые за все дни ясно вспомнил тот чудной железный гофрированный домик, в котором без ремня и сержантских погон стоял перед командующим армией. Вспомнил, наверное, потому, что именно в эту минуту подумал о двух посыльных — что не зря верил в них, и о самом себе — что теперь, наверно, останется жив...

Командиру корпуса генералу Кирпичникову донесли, что переправившаяся через Друть передовая группа, с которой была потеряна радиосвязь, продолжает бой на том берегу, ей уже оказана помощь огнем артиллерии, а вскоре вслед за ней переправится пробившийся за ночь к реке головной батальон.

Но генерал Кирпичников, который сам не спал всю эту ночь, торопя свои войска к Друти, и не давал спать своим коман-

дирам дивизий, нажимая и покрикивая на них по телефону, все-таки не стал в четыре часа утра доносить в штаб армии об одном этом факте, оставил его для утреннего донесения, тем более что в полосе его корпуса переправились через Друть еще три группы, войска подходили к реке на широком фронте, и весомей было в шесть утра донести обо всем сразу...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Вечером того же дня, когда Таня рассталась с Синцовым, она с маху написала ему длинное письмо, в котором просила прощения за то, что промолчала, провела с ним ночь, так и не сказав ему всего того, что делало невозможной их дальнейшую жизнь.

Но, уже написав, выругала себя за трусость и, сунув неотправленное письмо под белье, на дно чемодана, поклялась себе, что при новой встрече скажет ему все сама, в глаза. А утром началось наступление, отодвинувшее эту новую встречу неизвестно насколько.

Бровастый генерал, начальник медслужбы армии, вызвал ее к себе в первое утро наступления, когда даже у них, за двенадцать километров от передовой, был хорошо слышен сплошной рев артиллерии, спросил, как себя чувствует, совсем ли пришла в норму после неудачных родов, и сказал, что временно заберет ее от Рослякова. И она будет ездить уже не по госпиталям второй линии, как до наступления, а поближе к фронту: займется проверкой, как доставляют раненых от медсанбатов до передовых госпиталей. Принято считать, что там, внизу, все идет без задержек, но бывают задержки и там. Она считается у них в эвакопункте самой боевой, вот он и заберет ее специально для этого дела.

— Будешь вроде моего личного инспектора, хотя по штату не положено. — Генерал насупил свои брови, но при этом улыбнулся. — Если, конечно, не боишься.

Таня не боялась. Наоборот, была рада. После того послабления, которое сделала себе сама, уехав с фронта рожать, теперь не хотела никаких послаблений.

Наверно, потому и заслужила похвалу своего бровастого начальника. Он вообще-то хвалить врачей не любил. Говорил, что им так и положено — не щадить себя. «Кто желает иначе — тот не медик и напрасно выбрал себе на всю жизнь дело, от которого зависит жизнь других людей».

Наступление началось и без перерыва продолжалось уже одиннадцатые сутки. Таня каждый день кочевала взад и вперед,

голосовала на перекрестках, ездила на попутных грузовиках вместе с ранеными и одна, и в кабинах, и в кузовах на снарядных ящиках, и бывала в госпиталях, и добиралась до медсанбатов и ПМП, и видела убитых, и несколько раз сама попадала под обстрелы.

Потеряв ребенка, она душевно надорвалась, и, казалось бы, новое горе — неизбежность разлуки с Синцовым — должно было совсем повалить ее, но, наоборот, не повалило, а приподняло с колен и поставило на ноги. И хотя она и во время наступления продолжала думать о Синцове, себе и Маше и о безвыходности своего положения, люди, вместе с которыми она работала, ездила, разговаривала, лежала под обстрелами, не замечали ее состояния. Ее мысли о самой себе были зажаты в ней вместе со всеми остальными делами, потребностями и необходимостями и в этом зажатом, спрессованном виде продолжали опасно существовать, как та вода, которая, превратясь в лед и расширившись, может разорвать каменные плиты, если не получит никакого другого выхода.

Ночью, на четвертый день боев, вернувшись к себе в санитарный отдел, она за ужином узнала, что всего два часа назад убило начальника аптечного склада Веру Петровну, с которой раньше дружили даже больше, чем с Зинаидой. И убило не там, впереди, а в тылу, по дороге из аптечного склада. «Юнкерс» перед самой темнотой пролетел над дорогой и сбросил бомбы...

И, как это бывает, когда вдруг убьют кого-то, о ком совершенно не думаешь, что он может быть убит, она подумала о себе.

Утром, когда встали и Зинаиде надо было ехать в одно место, а ей в другое, она достала из чемодана свое неотправленное письмо Синцову, заклеила его, надписала и дала Зинаиде:

— Пусть будет у тебя. Отдашь ему, если со мной что-нибудь случится.

— Случится? — разозлилась Зинаида. — А если со мной случится?

— Прошу — значит, возьми.

— А что у вас с ним стряслось-то?

— Ничего не стряслось.

Так и не сказав, что у них стряслось, все-таки заставила Зинаиду взять письмо.

А ночью, когда они снова съехались, Зинаида, увидев Таню, сначала бросилась ее обнимать, как будто уже не думала увидеть живой, а потом сунула ей обратно письмо.

— Весь день сегодня боялась за тебя из-за этого письма дурацкого. Не буду у себя держать. Плохая примета. Что это ты себя хоронить вздумала?

— Ничего я не вздумала.

— А не вздумала, так порви. Или я порву.

— Отдай!

Поняв, что Зинаида заупрямилась и не будет держать у себя письмо, Таня положила его в карман гимнастерки.

После того как ей пришло в голову, что она может умереть, а Синцов так и не узнает всего, что должен узнать, порвать это письмо было уже нельзя.

«Если что-то случится, все равно найдут при мне и отдадут ему. Не разорвет же меня на куски, так не бывает»,— подумала она о себе, хотя хорошо знала о других, что так бывает.

Она то забывала о лежавшем в кармане письме, то вспоминала. А один раз целый день не могла отвязаться от этих мыслей, потому что увидела Артемьева. Ехала вместе с ранеными в кузове на порожнем грузовике в тыл, а он промелькнул навстречу на «виллисе».

Увидела его и подумала, что оказалась без вины виноватой не только перед Синцовым, но и перед ним. Вспомнила, как в Москве зимой прошлого года, когда он пришел к ней, рассказывала ему про гибель сестры. И как он, стискивая кулаки и хромая, метался взад-вперед по кухне, а потом, когда она уезжала, привез на вокзал и дал ей с собой Машины платья, чтобы она поменяла на еду на барахолке в Ташкенте. Почему-то эти платья, которые он привез ей тогда на вокзал, было невыносимо сейчас вспоминать.

Дважды за эти дни она видела в госпиталях раненых женщин: радистку, которую из партизанского госпиталя доставили в армейский, чтобы вынуть опасный для жизни осколок, не извлеченный при первой операции, и женщину, подорвавшуюся на мине, когда возвращалась из лесу к себе в деревню. Не партизанку, а просто жительницу, как она о себе сказала, хотя потом, в разговоре, оказалось, что она и еду партизанам носила и связной бывала. Другая бы на ее месте считала себя партизанкой. А эта — нет, не считала, потому что не была в отряде, только помогала.

Радистка рассказывала о том, как много эшелонов с угнанными на работы в Германию шло мимо них по железной дороге. Немцы нарочно путали, меняли график движения, эшелоны с угнанными пропускали через опасный участок дороги, когда должен был идти воинский, а воинский — наоборот. Один раз из-за этого партизаны по ошибке взорвали путь перед эшелоном с угнанными, и в первых трех сошедших с рельсов теплушках погибло несколько женщин. Но все равно среди всей этой беды те женщины, что остались целы или были только ранены, уходя

с партизанами в лес, говорили, что пусть лучше так: мертвых не вернешь, зато все, кто жив, в неволю не попали. А то какая бы жизнь была там, в Германии? Разве это жизнь?

— Мы тогда намного больше их переживали,— вспоминая об этом, рассказывала радистка, и у нее на глазах были слезы не то от воспоминаний, не то от ожидания новой встречи с хирургом: уже оказавшись на Большой земле, было страшно опять ложиться под нож!..

А Таня, слушая ее, мучительно думала о женщине, которую тоже угнали на работы в Германию, и которая, может быть, тоже когда-то ехала в эшелоне через эти места, и про которую теперь уже, наверно, до конца войны никто не скажет, жива она или нет...

В госпиталях и медсанбатах, когда каждый день кочуешь из одного в другой, чего только не наслушаешься!

Вчера в одном из госпиталей Тане непременно требовалось поговорить по службе с ведущим хирургом, но ту вдруг среди разговора оторвали для срочной операции, и Таня пошла за ней в операционную. Там, на столе, с тяжелой раной в живот лежал командир артиллерийского дивизиона, молодой и, как сказали операционные сестры, неженатый. Перед тем как ему дали наркоз, он, перекатывая из стороны в сторону потную курчавую красивую голову, в предчувствии, что умрет, просил привезшего его в госпиталь лейтенанта, чтобы там, в полку, товарищи не забыли — позаботились о матери. До последней секунды, пока не заснул под наркозом, повторял: «Только об одном прошу, только об одном...»

И было во всем этом что-то такое, что и женщина-хирург, делавшая ему почти безнадежную операцию, плакала и медсестры плакали... А он так и не проснулся — умер.

И Таня вдруг с какой-то острой, граничившей с отчаянием завистью к умершему подумала:

«Вот так бы и мне последнюю минуту думать только о матери, а больше ни о ком. Чтобы не было у меня никого, кроме матери, о ком думать».

Сегодня утром — на одиннадцатый день войны, как после долгого затишья полусерьезно-полушутя выражаются на фронте,— Таня в одиннадцатый раз поехала вперед, теперь уже за Березину, которую форсировали вчера утром. Весь вчерашний день и всю ночь войска, преследуя немцев, шли дальше и дальше, и теперь там, за Березиной, уже было и несколько медсанбатов, и с утра должны были развернуться два передовых госпиталя, и бровастый Танин начальник и не вылезавший из передовых госпиталей Росляков требовали, чтобы, несмотря на все труд-

ности и опасности, возникающие во время такого стремительного наступления, как это, несмотря на бродящие по лесам группы немцев, медицина не отставала, прижималась к войскам, чтобы раненые не лежали и не ждали своей очереди, а вовремя попадали на операционный стол. Вчера на летучке, рассерженный несколькими совершенными за день оплошностями, генерал взывал к совести медиков, кричал, что в медицине потерянное время — это потерянная жизнь... Но дело было не только в совести медиков, а во всем том сложно оборачивавшемся ходе эвакуации раненых, который, если бы начертить его на бумаге, напоминал собой часовой механизм из многих соединенных между собой и вращающих друг друга шестерен и шестеренок. Но только весь этот механизм не был уложен в маленький и компактный часовой футляр, а, наоборот, был во время наступления растянут на десятки километров — от передовых медицинских пунктов вблизи переднего края и до санитарных железнодорожных летучек, отправлявшихся со станций армейского снабжения еще дальше к курсировавшим в глубине страны и делавшим еще один свой собственный круг санитарным поездам. И Таня по своим служебным обязанностям должна была проверять ход самых первых, ближайших к бою колесиков этого растянувшегося на десятки километров механизма.

Совесть людская была нужна везде и всюду, от начала до конца всей этой цепочки — от санитара на передовой до подсаживавшего раненых водителя попутной машины, от коменданта на переправе, который должен через «не могу», при любом встречном потоке, перебросить раненых в тыл, до военных железнодорожников на станции снабжения, которые обязаны гнать вперед, к фронту, вне всякой очереди составы со снарядами, а в то же время должны исхитриться прицепить и порожние санитарные летучки, потому что, если не загнать их вперед, не на чем будет вывозить в тыл следующие партии раненых.

И если бы не общая людская совесть, почти у каждого человека усиленная чувством, что и ты можешь оказаться раненым, одним медикам никогда бы не сделать на войне всего того, что им удается делать.

Сегодня Таня доехала почти до самой Березины на «виллисе» вместе с Росляковым. У переправы Росляков ссадил Таню и поехал по просеке в лес.

Удалявшийся «виллис» прыгал, как заяц, на колдобинах и петлял влево и вправо, объезжая разбитые и сожженные немецкие машины. Чего тут только не было: и огромные грузовики, и штабные автобусы, и мотоциклы, и вообще не понять что, — так тут все перепахала на этой просеке позавчера наша авиация.

И на просеке, и в лесу, у новой переправы, которую навели вместо разбитой нами немецкой, и по обеим сторонам дороги, которая вела к переправе,— всюду было столько еще не убранных мертвецов, что сегодня, на утро второго дня, и вокруг переправы и на подъездах к ней стоял тяжелый трупный смрад. Такой, что его с трудом выносили даже медики, про которых думают, что они ко всему привычны.

Вчера был жаркий день — 27 в тени,— и уже к вечеру стало ясно, что здесь, у переправы, надо что-то сделать: или выделить людей, и сразу много людей — целые тысячи, для того чтобы все это разобрать, растаскать и закопать, или ту, основную переправу, по которой идет беспрерывное движение взад и вперед, перенести хотя бы на два-три километра в сторону.

Росляков как раз и поехал сегодня с утра сюда, чтобы, как он говорил, «железно» обосновать доклад Военному совету армии о необходимости, как это ни сложно, перенести переправу, если мы не хотим идти на риск, связанный с постоянным проездом и проходом тысяч людей через эту страшную полосу.

Остановившись невдалеке от моста, Таня два или три раза безуспешно проголосовала. Через мост шли машины, груженные по самые борта снарядными ящиками. Один грузовик остановился, но оказалось, что он сразу повернет вправо, а Тане надо было ехать прямо.

Потом, обгоняя затормозивший грузовик, промчался «виллис», и ей махнули оттуда рукой. Она не разглядела за тентом кто, но, когда вслед первому «виллису» проскочил второй, с радиоантенной, а за ним бронетранспортер, поняла, что это, наверно, Синцов проехал с командующим: рукой махнул, а остановиться по своей воле не мог...

...Когда «виллис» огибал остановившийся грузовик и Синцов увидел сзади, за этим грузовиком, стоявшую у дороги Таню, было уже поздно. Она мелькнула, и ее снова закрыл грузовик. И Синцов, хотя и успел махнуть ей рукой, не был уверен, что она заметила.

Но сидевший впереди Серпилин заметил — наверно, в переднее зеркальце,— как он там сзади махнул рукой, и повернулся:

— Кому махал?

— Жене.

— Останови,— сказал Серпилин Гудкову,— пропусти вторую и третью машины вперед. Вот так.

И, дождавшись, пока их обогнали «виллис» с рацией и бронетранспортер, приказал дать задний ход.

Не поворачивая, поехали задним ходом, пока не поравнялись с продолжавшей стоять у дороги Таней.

«Виллис» остановился так, что Таня оказалась совсем рядом с Серпилиным, вплотную, лицом к лицу с ним, и прямо перед собой увидела его чуть прищурившиеся в усмешке глаза. Усмешка была добрая. Бурое, обветренное и загорелое лицо, а глаза — голубые, светлые, словно бы выцветшие.

Раньше она не замечала, какие у Серпилина глаза, потому что он всегда смотрел на нее с высоты своего роста, а сейчас, когда она стояла на дороге, а он сидел на переднем сиденье «виллиса», они оказались словно бы одного роста и смотрели друг на друга, глаза в глаза. И оказывается, глаза у него были голубые.

— Здравствуй, военврач,— сказал Серпилин. — Давно тебя не видел. — И, вылезши из «виллиса» на дорогу, уже снова сверху, с высоты своего роста, подал ей руку и улыбнулся. — Что здесь делаешь?

— Голосовала,— сказала Таня. — По медсанбатам езжу.

Ей показалось, что Серпилин сейчас скажет: «Садись к нам, подвезем». Но он сказал совсем другое:

— Под Могилевом была — узнала знакомые нам с тобой места?

— Узнала.

— Теперь уже по незнакомым идем. Так до самого конца войны и придется — по незнакомым...

Сказал и потянул носом: услышал тягостный трупный запах.

— Не думай, что про тебя не вспоминал. Только за весь год времени не выбрал увидеть. Такая наша служба. А его про тебя спрашивал,— кивнул он на Синцова, сразу вслед за ним выскочившего из «виллиса» и стоявшего рядом с Таней, касаясь ее плеча. — Не жаловался тебе, что в адъютанты заставил его пойти?

— Не жаловался,— сказала Таня и вдруг, сама от себя не ожидая, что решится сказать это, добавила: — Я сама его за это ругала.

И хотя Серпилин, казалось бы, мог в ответ на ее слова удивиться и даже обидеться — как так, за что и почему ругала? — он не удивился и не обиделся, а, словно сразу все поняв, сказал:

— Больше не ругай. Кончим операцию — пошлю, как он и просил, на самостоятельную... Уже обещал это ему.

И, поглядев на Синцова, заметил, как тот касается Таниного плеча.

— Дается вам пять минут в положении «вольно». Я вперед проеду, над речкой постою, а вы пешком догоняйте.

И, больше ни слова не сказав им, сел в «виллис», проехал двести метров до реки, вышел и остановился на самом берегу, спиною к ним, закинув за спину руки.

Серпилин был сегодня с утра в хорошем и даже, как он иногда по-старомодному выражался, в самом наилучшем настроении. Его радовало, больше того, делало счастливым то стремительное, превосходившее самые смелые наши ожидания развитие событий, которое вот-вот должно было привести к освобождению Минска. В последние дни казалось, что здесь, в Белоруссии, сама земля горит под ногами у немцев. Хотя земля — везде земля, дело не в земле, а в людях...

Как почти всякому военному человеку, ему свойственно было желание действовать на войне там, где совершается самое главное,— желание, которое у людей недалеких и несправедливых в оценке чужих усилий подчас превращается в опасную для дела убежденность, что самое главное там, где они.

На войне все трудно, и тяжесть этого труда сама по себе толкает на соблазн переоценки сделанного тобой и теми, кто тебе подчинен, и недооценки того, что делается другими в других местах.

Серпилин обычно находил в себе силы противиться такому соблазну. Нашел и сейчас.

Как ни хотелось делать самое главное,— и его армия и весь их фронт, в огромных, с каждым днем все разраставшихся масштабах Белорусской операции, выполняли по сравнению с другими фронтами все-таки вспомогательную задачу. Не щадя сил и труда, помогали главному. И два соседних фронта, совершавших сейчас это главное, сегодня к утру сомкнули руки позади оставшихся в мешке немецких армий, перерезав с севера и с юга шоссе Минск — Вильнюс и Минск — Барановичи.

По еще не успевшим попасть в сводки первым донесениям летчиков Серпилину было уже известно, что окружение стало свершившимся фактом: Минск заключен в кольцо, и наши танкисты на его западной окраине. Сегодня к ночи можно ожидать известий о взятии. И все это на целых четыре дня раньше, чем намечалось по тому приказу, который получили после взятия Могилева!

Немцам, окруженным в лесах восточнее Минска, теперь некуда деться, и это чувствуется сегодня с еще большей силой, чем вчера. И испытывать на себе это все ожесточающееся сопротивление немцев — есть и будет удел твоей армии и сегодня и в ближайшие дни.

И не количество оставшихся у тебя в тылу трофеев и даже не эти три тысячи уже пересчитанных трофейщиками немецких

машин, забивших все дороги и просеки до самой Березины, а именно все усиливающееся сопротивление немцев есть первый признак того, что твоя армия успешно, так, как это от нее и требуется, выполняет свою задачу. Пусть второстепенную в масштабах всей операции, но для нее-то самой главную!

И пусть ты позже других выйдешь на подступы к Минску, зато чувствуешь, как идешь по пятам за противником, как настигаешь его, как он уплотняется перед тобой, как его сопротивление становится все более отчаянным, потому что именно ты бьешь его в самое больное место, молотишь по той самой густой, самой плотной его группировке, которую он с разных сторон стащил в эти леса и которую надеялся, оторвавшись от тебя, вытянуть за Минск, успеть пролезть в еще оставшуюся дыру. А ты вцепился и не дал. Не дал и не дашь и в дальнейшем!

Настроение было хорошим еще и потому, что Серпилин получил вчера хорошее письмо. Это некому докладывать, и никто не обязан об этом знать, кроме тебя самого. Но и это личное, доставившее ему личную радость письмо было тоже связано для него с мыслями о войне и о том, что она может кончиться скорей, чем думали, когда начинали операцию.

Синцову и его маленькой докторше перепала часть того добра, которое переполняло душу Серпилина, когда он вышел из «виллиса» на дорогу и смотрел сверху вниз на Таню. Ему даже захотелось одной рукой снять с нее пилотку, а другой погладить по волосам, как будто она девочка, а не мужняя жена, взрослая женщина, хлебнувшая за три года войны столько лиха, что хватило бы на пять таких, как она. Но все равно, какое оно ни глупое, а такое желание было: стащить пилотку и погладить ее, как маленькую, по голове.

И когда Серпилин, глядя там на дороге на Таню, улыбнулся чему-то, он улыбнулся не ее виду, как подумала она сама, а собственной, может, и доброй, но глупой мысли.

Теперь он стоял у реки и глядел на ее широкое и медленное в этом месте течение. И хотя, не глядя на часы, по привычке к точному счету времени, знал, что прошло уже не пять минут, а, наверно, шесть или семь, но, жалея не Синцова, которого видел рядом с собой каждый день, а именно Таню, которую давно не видел, за краткость времени, отпущенного ей для свидания с мужем, все еще не поворачивался. Смотрел на реку и думал: как интересно получилось с его армией, с ее наступлением как раз по этой дороге от Могилева к Березине. Не только немцы переправлялись здесь позавчера, пока мы не раздолбали им мосты — и один и другой, но и французы тоже когда-то переправлялись через Березину почти здесь же, чуть выше по течению.

При желании можно было бы представить себе всю ту панораму, которая была тогда, в начале зимы двенадцатого года, при переправе французов. Хотя трудно. И время было другое, и война была другая, и было начало зимы, снег, лед, оттепель, а сейчас лето, жарко, лес по берегу курчавый, густо-зеленый, как всегда после сырой, обильной водою весны.

Красивый, а тянет из него трупным смрадом.

Серпилин повернулся от реки и пошел к «виллису»...

Когда Серпилин отъехал и оставил Синцова вдвоем с Таней, Синцов несколько секунд стоял неподвижно, а потом сразу притянул ее к себе, поцеловал в губы и, с трудом заставив себя оторваться, почти неслышно сказал:

— Соскучился!

Хотя они стояли на дороге и мимо них, обдавая их гарью и горячим воздухом, одна за другой проскакивали машины, сказал это так, как говорят об этом друг другу лежа в постели.

— Неудобно,— сказала Таня, когда он захотел потянуться к ней еще раз. — Пойдем.

Она с силой прихватила левой рукой его правую, здоровую руку, потянула вниз, крепко сжала пальцы и, тесно прижимаясь к нему плечом, пошла рядом по обочине дороги.

— Звонил, узнавал про тебя,— сказал он.

Она кивнула — знала, что Синцов один раз позвонил прямо Рослякову. Может быть, и еще как-то узнавал, но ей не сказали. У него сейчас стало больше возможностей, чем раньше, все-таки адъютант командующего.

— Беспокоился за тебя больше, чем когда-нибудь,— сказал он.

И это была правда; он никак не мог выбить из памяти некстати сказанные ею тогда, в последнюю ночь, слова про ее бывшего мужа: «Вот так всегда медработников и убивают, когда немцы из окружения прорываются».

Наверно, она сама давно забыла эти свои слова, а он помнил.

— А я за тебя в этот раз почему-то совсем не боялась,— сказала Таня.

И это тоже было правдой. Ей почему-то казалось, что теперь, когда он стал адъютантом Серпилина, с ним ничего не должно случиться. Раньше, когда был офицером оперативного отдела и ездил на фронт один, могло случиться, а сейчас, когда ездит вместе с Серпилиным, не могло.

Она шла рядом с ним, стискивая его руку и помня о пись-

ме, которое было у нее с собой, лежало в кармане гимнастерки, и о том, что сегодня они увиделись с ним во второй раз и она обязана сказать ему все, что не сказала тогда, в ту ночь.

И у нее еще оставалось две или три минуты, чтобы сказать ему это, прежде чем они подойдут к Серпилину.

Но после того как она услышала от него слово «соскучился», решиться стало еще труднее.

Она шла рядом с ним, вцепившись в его руку и уже понимая, что ничего не скажет ему за эти оставшиеся минуты, в то же время испытывала странный страх перед собой: а вдруг все-таки скажу? И, боясь себя, хотела, чтобы эти минуты кончились еще скорее, чем они кончатся.

Они шли и молчали, а чтобы эти минуты скорей кончились, ей надо было поскорей сказать что-то другое вместо того, что она должна была ему сказать.

— А Серпилин сегодня в хорошем настроении,— вдруг заговорила она, потому что это было первое, что ей пришло в голову, первое, что спасало от необходимости тех, других слов; заменила те необходимые слова про его жену этими необязательными — про Серпилина.

Синцов кивнул и придержал ее руку, заставив идти медленней.

— Не спеши. Ничего. Как только оглянется, сразу подойдем... — И повторил: — Не спеши.

И когда он повторил «не спеши», она вдруг остановилась, подняла на него глаза и сказала то, что еще минуту назад, казалось, уже не скажет: и про Каширина, и про Машу, и про то, что после всего этого им больше нельзя быть вместе.

И он, все еще продолжая держать ее за руку правой здоровой рукой, вдруг поднял левую в черной перчатке, словно хотел закрыть лицо, защититься от того, что услышал. И когда она остановилась, замолчала, вдруг сказал какие-то показавшиеся ей нелепыми слова: «Уже садится, скорей».

Она не сразу поняла, что это — про Серпилина, который перестал смотреть на реку и пошел к своему «виллису».

— Наговорились или нет, а отпуск кончился, продлить не могу. — Серпилин кивнул на Синцова, но обратился к Тане. — Теперь уже до Минска навряд ли увидитесь.

И, посмотрев на нее, заметил, что она какая-то другая, чем только что была, вдруг побледневшая, как это бывает с людьми после ранения.

— Товарищ командующий, разрешите доложить,— сказала Таня, и Серпилин, поморщившись, подумал: «Неужели после разговора с мужем о чем-нибудь личном будет просить?»

— Ну, что у тебя?

Но Таня, против его ожидания, торопливо, даже как-то лихорадочно быстро заговорила не о личном, а о том, о чем беспокоились в их санитарном отделе,— что это место опасно для переправы в санэпидемическом отношении: слишком много кругом разложившихся немецких трупов, могут быть заражения. Надо, пока не очистили от трупов лес и просеку, хотя бы временно перенести переправу.

— Дело говоришь,— сказал Серпилин,— только тараторишь быстро, чувствуется, что еще не умеешь докладывать начальству. А что ж твои начальники? Почему чешутся, не доложат своего мнения?

Таня сказала, что ее начальники готовят материал, чтобы доложить об этом сегодня же.

— Значит, готовишь почву для их доклада? — усмехнулся Серпилин. — Видимо, так и сделаем. Сами уже начали думать об этом. Спасибо за службу. Будем в Минске — увидимся. — Он снова посмотрел на Таню. — Только из медсанбата в медсанбат езди поаккуратней. Услышишь обстрел — не проскакивай, лучше в кювете перележи, целей будешь. В Сталинграде в последние дни у немцев техники еще много было, а стрелять почти нечем! А тут обстановка иная: у них в этом районе как раз склады боеприпасов. Не жалеют, наоборот, спешат побольше истратить! Бьют из лесов во все стороны. А мы от этого неприцельного огня людей теряем! — добавил он сердито, подумав уже не о Тане, а о том, что, учитывая эту особенность обстановки, передовые госпитали совсем-то уж впритык к войскам пододвигать опасно. Надо будет немного придержать медицину!

Он сел в машину, оглянулся на Синцова, уже успевшего сесть позади, и махнул рукою Гудкову:

— Поехали!

Синцов, высунувшись из «виллиса», смотрел с заднего сиденья на Таню, стоявшую у дороги, на ее все уменьшавшуюся фигуру, смотрел до тех пор, пока там вдруг не притормозил какой-то закрывший ее грузовик, который она, наверно, остановила, чтобы тоже ехать сюда, за Березину, вслед за ними.

— Все же поговорили? — не оборачиваясь, спросил Серпилин.

— Поговорили,— сказал Синцов таким странным голосом, что Серпилин повернулся и посмотрел на него.

Но Синцов, не справившись с голосом, успел справиться с выражением лица. И Серпилин, увидев его обыкновенное лицо и подумав: «Показалось», отвернулся и стал смотреть на дорогу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В этот же самый день капитана медицинской службы Овсянникову ранило при исполнении служебных обязанностей.

Обстоятельства ранения в другое время показались бы необычными, но в эти дни наступления к таким обстоятельствам уже привыкли и в медсанбатах и в госпиталях, куда то и дело попадали солдаты и офицеры, раненные во время передвижения по дорогам при стычках с выходившими из окружения группами немцев. Обстоятельства таких ранений то и дело мелькали в медицинских рапортичках, но когда Тане самой пришлось столкнуться с тем, о чем она столько слышала, все это вышло так неожиданно, что она не успела ни удивиться, ни опомниться, как уже была ранена.

Она ехала среди бела дня на грузовике из медсанбата. Сидела в кабине с водителем, а сзади, в кузове, было восемь раненых и санитар.

Раненный в руку и в лицо лейтенант, которого Таня хотела посадить вместо себя в кабину, отказался и ехал вместе с другими ранеными в кузове. Если бы он не заупрямился, Таня, наверно, была бы убита вместо него. И вообще все могло бы выйти иначе. Кто знает как? А в жизни все вышло очень просто и глупо. Так, во всяком случае, казалось ей самой в первые минуты после этого.

У грузовика спустил скат, а запаски не было. Водитель сделал уже два конца — снаряды туда, раненых обратно — и не имел времени ее смонтировать. Ему пришлось снимать колесо, латать камеру и вдвоем с санитаром ставить колесо обратно. Лейтенант, раненный в руку и в лицо, сидел на заднем борту грузовика и, высовываясь из-под брезента, подавал советы. Остальные раненые сидели и лежали в кузове, под брезентом, не вылезали оттуда.

Таня подошла к водителю и санитару. Санитар с веселым круглощеким лицом, помогавший водителю монтировать скат, оказался старым знакомым. Еще под Сталинградом, когда отбили у немцев лагерь наших военнопленных, Таня вместе с этим санитаром оказывала первую помощь оставшимся в живых и с тех пор запомнила его фамилию: Христофоров.

Таня стояла на дороге и смотрела, как водитель и Христофоров монтируют скат, но потом, чувствуя себя бесполезной — водитель и так злился на докучавшие ему советы лейтенанта,— присела на подножку грузовика у открытой дверцы кабины. День был жаркий, дверца нагрелась от солнца, и Таня, прислонившись к ней плечом, чувствовала, какая она теплая.

Сидела и думала о том, что теперь нужно порвать лежавшее у нее в кармане письмо. Зачем оно после того, как уже все сказала? Она вспомнила лицо Синцова и как он заслонился от ее слов своей изуродованной рукой в черной перчатке и, хотя только что перед этим курила, снова свернула цигарку. И едва свернула, как сразу раздалось несколько слившихся громких выстрелов.

Водитель лежал плашмя на дороге около заднего колеса с гаечным ключом в руке, а из лесу на дорогу выходили немцы с винтовками.

Может быть, потому, что у нее прямо перед глазами лежал на дороге водитель, Таня, увидев выходивших из лесу немцев, вспомнила не о маленьком трофейном «вальтере», висевшем у нее на поясе, а о немецком автомате, лежавшем сзади нее в кабине грузовика. Винтовка водителя была аккуратно приспособлена в гнездах самодельными пружинками так, чтобы ее сразу можно было выхватить из этих гнезд над ветровым стеклом. А этот лежавший на полу кабины трофейный автомат, пока ехали, несколько раз попадал Тане под ноги, и водитель объяснял ей, что и для автомата сделает удобное гнездо, только не как для винтовки — впереди, а справа, на дверце.

Вспомнив об этом автомате, лежавшем у нее за спиной, она дернула его к себе за ремень и, так не встав, продолжая почему-то сидеть на подножке грузовика, прижала автомат к животу и дала из него очередь по немцам. Сначала длинную — по всем, а потом успела еще одну, короткую, по немцу, подбежавшему совсем близко к машине и замахнувшемуся гранатой. Не их немецкой — длинной, а какой-то другой, может быть нашей. Когда Таня дала по нему вторую короткую очередь, немец уже бросил гранату. Ей так показалось. Сначала бросил, а уже потом упал. А может, это было и не так, может, в него сначала попала ее очередь, а потом он уже не бросил, а уронил гранату под колеса машины.

Под машиной раздался взрыв. Таню встряхнуло и сбросило с подножки. Она больно ударилась обо что-то головой и, поднимаясь с земли, еще не поняла, куда ранена: ей казалось, что в голову. Но на самом деле она просто ударилась головой и поцарапала лоб и щеку о борт грузовика, а ранена была осколком гранаты. Осколок вылетел снизу, из-под машины, пробил подножку и застрял у нее под ребром, выше почки и ниже легкого.

Все это ей сказали уже потом, в госпитале, после операции, объясняя, что она в сорочке родилась! И, наверное, были правы, если не считать всего другого, что у нее было в жизни и о чем она знала, а они нет.

Уже поднявшись с земли, Таня вспомнила про автомат и, нагибаясь за ним, почувствовала боль в спине, от которой чуть не упала, но все-таки подняла его. Один немец лежал совсем близко, головой к ней, тот, который бросил гранату. Два других, в которых она стреляла первой длинной очередью, лежали рядом около пня, у самой дороги. И еще один, чуть подальше, и еще дальше, в лесу, кто-то полусидел-полулежал ничком.

Водитель по-прежнему лежал с гаечным ключом в руке, только теперь под головой у него натекла лужа крови. Тогда не было, а сейчас натекла. И с грузовика из-под борта тоже капала кровь. А борт был расщеплен—торчали отколотые белые щепки.

Сзади, из-за грузовика, раздался выстрел. И Таня, еще прижимая к животу автомат, про который она не знала, что он уже пустой, сделала шаг вперед, посмотрела направо и увидела, что это, прислонившись плечом к заднему борту грузовика, стреляет куда-то в лес из своей винтовки Христофоров. «Наверное, вдогонку немцам», — сообразила она. И пошла к нему.

Он увидел ее, опустил винтовку и сказал:

— Ушли!

У Тани было окровавленное лицо; Христофоров подумал, что она ранена в голову, и торопливо, прислонив винтовку к борту грузовика, полез за индивидуальным пакетом. Но Таня, опять почувствовав сильную боль в спине, села на корточки над лежавшим у машины водителем и, приподняв его голову, поняла, что он мертвый: пуля попала ему сзади, прямо в мозжечок. Она опустила его голову и, все еще сидя на корточках, повернулась к Христофорову, который рвал зубами обертку индивидуального пакета.

— Посмотрите, что там, в кузове?

И в эту минуту сзади них затормозил «студебеккер», к которому была прицеплена противотанковая пушка.

Потом, на этом же «студебеккере», который отгонял пушку на ремонт, они добрались до госпиталя. У их грузовика от разрыва гранаты, оказывается, был расколот картер. Если б граната не попала туда, под картер, вообще неизвестно, что было бы. А так только Таню ранило одним осколком, да еще другим, пробившим снизу кузов, убило лежавшего по этому борту в беспамятстве тяжелораненого. Так в беспамятстве и добило!

А все остальные раненые, ехавшие в кузове, оказались живы. Кроме того лейтенанта, раненного в руку и в лицо, который сидел на заднем борту и смотрел, как монтируют скат. Его немцы застрелили.

А в Христофорова не попали. И он, схватив винтовку, которая стояла у него под рукой, прислоненная к кузову, стал стре-

лять в немцев и убил первым выстрелом, как потом оказалось, офицера, капитана. И Таня убила троих. И Христофоров застрелил еще одного, уже в спину, когда немцы побежали назад.

В передовом госпитале, куда Таня и так собиралась попасть по служебным делам, а теперь попала раненая, хвалили обоих: и ее и Христофорова. Помимо того, что они действительно не растерялись, они еще были оба свои, медики. А своих в таких случаях особенно хвалят. Вроде им и воевать-то не положено по штату, а вот пришлось — и не растерялись!

Пока Таню готовили к операции, зашел начальник госпиталя, старый военный врач, служивший еще в ту германскую войну. Она давно знала его, но побаивалась и с трудом перебарывала себя, если приходилось спорить с ним по службе из-за эвакуации раненых.

Обычно сердитый, на этот раз он пришел такой добрый, прямо как дед-мороз, только бороды не хватало. Спрашивал, не хочет ли она перед операцией глотнуть коньячку,— у него есть! Но она не захотела.

А потом стал говорить, что сегодня же напишет реляцию и на Христофорова и на нее.

— Одно Красное Знамя имеешь, будет и второе! И раненых защитила и трех немцев сама лично из автомата уложила! Даже трофейное оружие освоила, не растерялась, повела из него огонь!

Таня в ответ сказала, что она знает этот автомат, у него только отдача сильная, а так он хороший. Хотела добавить, что в своей жизни много раз и разбирала, и собирала этот автомат, и стреляла из него, когда была в партизанской бригаде. Но потом не стала говорить об этом, чтоб не вышло так, словно она не просто объясняет про автомат, а хочет еще похвастать своим прошлым, сверх того, за что ее и так сейчас все хвалят.

Когда услышала от начальника госпиталя, что он напишет реляцию, с удовольствием подумала, как, если правда наградят, будет носить два ордена Красного Знамени. Чтобы кто-то из женщин носил два ордена Красного Знамени — она сама еще не видела. Наверно, у летчиц есть, а так не видела.

Женщина-хирург, показывая ей после операции вынутый осколок, сказала, что у нее просто-напросто счастливое ранение: осколок не маленький, прошел бы чуть выше — порвал легкие, а чуть ниже — почку. А он словно специально просунулся, чтобы ничего не задеть. Ранение надо считать средней тяжести, а могло — «сама понимаешь, что тебе объяснять»,— сказала женщина-хирург и, держа пинцетом осколок, спросила:

— Оставить тебе на память?

— Ну его, брось,— сказала Таня.

Женщина-хирург была та самая, у которой Таня три дня назад присутствовала на операции, когда умер на столе артиллерийский капитан, вспоминавший свою мать.

Тогда плакала над тем капитаном, а сейчас радовалась, какое счастливое ранение у Тани.

А Таня, еще не зная, какое у нее счастливое ранение, когда ее собирались оперировать, вспомнила про того капитана и впервые за последние дни подумала о своей матери.

Ей сделали операцию, а голову перевязывать не стали. Ниже виска просто сорвало лоскут кожи, когда она ударилась головой о борт машины. Промыли, помазали и заклеили пластырем.

Дали немного отдохнуть после операции и вместе с другими отправили на санитарной машине в тыл.

За вторую половину дня она вместе с другими ранеными совершила тот путь, который так хорошо знала по своей работе у Рослякова, тот самый путь, за которым всегда следила сама, чтобы раненые на нем не задерживались.

В том, чтобы на этом пути не было никаких проволочек, в сущности, и состояла почти вся ее служба на войне, начиная со Сталинграда. Но теперь, когда она проделывала этот путь раненой, он казался ей длиннее, чем когда она была врачом.

Во втором эшелоне армии, в госпитале, куда она попала уже к вечеру, хорошо знакомый ей начальник отделения, прочитав историю болезни, которая теперь следовала вместе с Таней, сказал ей, что по характеру ранения хотя и с натяжкой, но можно сделать так, чтобы она застряла тут, у них, не выходя за пределы армии.

— Не надо,— неожиданно для него сказала Таня. — Пусть как будет, так и будет.

— Имей в виду, через полчаса повезем грузить раненых на летучку, и тогда уже... — Он не договорил, было и так ясно, что если из санитарной летучки попадешь во фронтовой госпиталь, а оттуда вывезут, как это называется у медиков, в госпитальные базы внутренних районов, то вернешься сюда не скоро, только после окончательного выздоровления.

Начальник отделения знал про Таню, что у нее здесь, в армии, муж. Поэтому, желая сделать лучше, готов был нарушить общий порядок. И удивился, когда Таня так решительно отказалась от этого. Не понял, что отказалась именно потому, что у нее здесь, в армии, был муж.

Сначала, после ранения, она думала о другом: радовалась, что жива, переживала за убитых, особенно за водителя машины, с которым перед этим так хорошо ехали и разговаривали, думала о себе и о том, что с ней случилось сейчас, только что. И лишь

потом, после операции, уже по пути сюда, стала думать о том, что случилось с ней не сейчас, а до этого.

Это и заставило ее сказать «пусть будет, как будет». Надо было только, сказав это, так и сделать, не передумать за то время, что еще оставалось до отхода санитарной летучки. Главное — найти в себе силы не передумать сейчас, а потом, когда уже поедешь в тыл, передумывать будет поздно.

Господи боже мой, конечно же она и во сне не видела, что все это случится именно сегодня! И не думала об этом. И не хотела этого. А все-таки вышло так, словно подала ходатайство самой судьбе. Генералу тогда не решилась, не подала ходатайства, чтобы ее перевели отсюда в какую-нибудь другую армию, а судьбе подала. И судьба распорядилась так, как нужно, и не отняла у нее при этом жизни, а только ранила. «Ранение средней тяжести...»

Таня с тоской вспомнила Синцова и шесть нашивок за ранения, которые были у него на гимнастерке, три — красные, три — золотые. Всего полдня назад, там, у переправы через Березину, когда он притянул ее к себе, поцеловал и хотел еще раз, а она оторвалась, сказав «неудобно», она увидела у него под правым карманом гимнастерки, прямо перед глазами, эти нашивки и даже почему-то сосчитала их в тот момент, хотя хорошо знала, что их шесть, а не пять и не семь, и знала все его ранения, за которые была каждая из этих нашивок. Не только слышала от него, а знала сама. Знала на ощупь и шрам на боку, выше третьего ребра, от первого ранения, и шрам под волосами на голове — после второго, и шрам от третьего, самого тяжелого, от которого он чуть не умер, большой, на спине — от позвоночника до бедра; все это было еще до нее, вернее, до того, как они стали вместе. А его рука — это уже потом, когда она уже была с ним.

«Была с ним, была с ним»,— беззвучно, печально повторяла она про себя.

Таня знала, что там, на станции, где формировались и отправлялись санитарные летучки, все это время, все одиннадцать дней наступления, работала Зинаида. Ее потому туда и послали, что она как раз подходила для этого с ее громким, мужским голосом и женской неотвязной заботой о раненых. Там, на станции, на скорую руку сбивали в составы порожняк, только что освободившийся от прибывших на фронт грузов, грузили в этот порожняк заранее приготовленные нары, тюфяки, одеяла, прицепляли к составу перевязочную, кухню, вагон для медперсонала и гнали без проволочек подальше от фронта, для перегрузки в сортировочные эвакогоспитали.

Погрузкой раненых занималась Зинаида, про которую говорили, что она лучше любого другого находит общий язык с военными железнодорожниками.

Таня знала, что Зинаида и сегодня должна быть там, на станции снабжения, но все-таки переспросила у начальника отделения, там ли доктор Барышева.

— Там, как всегда. Увидишь ее.

Зинаиду там, на станции, она увидела сразу. И окликнула издали, но слишком тихо, и та не услышала и пронеслась мимо, ругаясь на ходу с каким-то капитаном.

А второй раз увидела Зинаиду лишь в последние минуты, когда лежала уже в теплушке у двери на положенном поверх сена тюфяке; попросила положить себя поближе к двери, чтобы, когда поедут, видеть дорогу, если даже задвинут двери, смотреть хотя бы через щели.

Таня боялась, что так и не встретится с Зинаидой, но этого не могло случиться и не случилось, потому что Зинаида обходила одну за другой все теплушки, начиная с хвоста, проверяя, как разместили раненых.

Только что на отдельной машине привезли какого-то летчика и, подвинув других раненых, положили в теплушку. Таня услышала, как Зинаида еще издали, подходя к их теплушке, спросила:

— Летчика положили, как я сказала?

И кто-то ответил:

— Все сделано, положили.

— Ну, как? — спросила Зинаида, подходя к теплушке и обращаясь к летчику, лежавшему рядом с Таней.

— Спасибо,— сказал летчик.

— Выздоравливайте,— сказала Зинаида и увидела Таню, и лицо у нее было такое, словно она сейчас спросит: «А ты что тут делаешь?»

Но удивилась она, оказывается, не тому, что Таня ранена, а тому, что лежит в этой теплушке. Она уже все знала про Таню и распорядилась, чтобы ее устроили рядом, в первый от паровоза вагон, к медикам, но кто-то что-то напутал. Зинаида выругалась и только после этого поцеловала Таню и виновато сказала, что теперь уже поздно.

— Мне и так хорошо,— ответила Таня.

— Здесь плечо короткое, к утру уже будете на месте,— пообещала Зинаида. И вдруг спросила: — Почему не осталась у нас в госпитале? Тебе разрешили бы.

— Не хочу,— сказала Таня.

Когда ее прооперировали и перевязали, на нее снова надели гимнастерку, потому что ранение позволяло это, и ее письмо, написанное Синцову, по-прежнему лежало в кармане.

Но сейчас, после того как она была ранена, ей уже не хотелось порвать это письмо! Теперь ей казалось, что там, на переправе, все вышло так коротко, что Синцов мог не до конца понять ее. А надо, чтобы он понял все до конца, иначе ему будет еще тяжелее. Пусть лучше прочтет еще и это письмо, раз оно написано...

— Мне уже звонили из госпиталя про тебя, у меня с ними телефон,— сказала Зинаида, словно объясняя, почему ничего не расспрашивает у Тани про ее ранение. — Зря не осталась у них. Сразу же напиши мне оттуда, куда попадешь.

— Хорошо,— сказала Таня.

И, отстегнув пуговицу на кармане гимнастерки, вынула письмо и оттого, как вдруг трудно оказалось это сделать, почувствовала, какая она стала слабая.

— Отдай Синцову.

— То самое? — спросила Зинаида, хотя уже видела, что это то самое письмо. Ее поразило, что Таня хочет сейчас отправить Синцову письмо, которое написано давным-давно, когда все было по-другому, когда она еще не была ранена.

— Отдай Синцову,— повторила Таня.

— А что еще? Может, припишешь, хотя бы на конверте? Я дам тебе карандаш. — Зинаида стала рыться в планшетке.

— Не надо,— сказала Таня. — Добавь на словах, что ничего серьезного, он тебе поверит.

Зинаида, хотя ей очень не нравилось, что придется отдавать Синцову это давно написанное письмо, взяла его, не сказав больше ни слова. Только вздохнула и еще раз поцеловала Таню. Уже была дана команда отправлять состав, и сопровождавшие теплушки санитары стали изнутри закрывать двери.

— Эй, дядя, не до конца,— сказал летчик.

— Положено.

— Мало что положено. Душно будет.

И усатый санитар послушался молоденького летчика, потому что это был летчик, и закрыл дверь теплушки не до конца, и поэтому, когда теплушка тронулась, Таня еще раз увидела Зинаиду.

Зинаида говорила с Таней так, словно ничего не случилось, а сейчас, не зная, что Таня ее видит, стояла и плакала.

Полуоткрытая дверь теплушки протащилась мимо Зинаиды, мимо санитаров и железнодорожников, мимо только что выгру-

женных из этих же самых теплушек штабелей снарядов, мимо разбитой водокачки и тоже разбитой кирпичной будки с полустертой надписью «кипяток».

Таня ехала в тыл после того, как с ней проделали все, что называется в медицинских документах «первичной обработкой». Ехала рядом с другими такими же, как и она, ранеными, лежавшими справа и слева от нее.

Так она еще никогда не ездила. Когда-то, после первого ранения, когда ее вывозили на Большую землю, она летела. И не на санитарном «У-2», а на обыкновенном, скрючившись в кабине позади летчика. А сейчас впервые в жизни ехала на летучке и тоже рядом с летчиком, только раненым.

Таня лежала на животе — лежать так было удобнее, меньше чувствовалась боль в спине — и смотрела сквозь приоткрытую дверь теплушки на небыстро проезжавшую мимо землю.

Земля эта была то живая, то мертвая, то снова живая. То воронки и колья с ржавой проволокой, то зеленые поля и дальний лес, и над лесом, до самого верха теплушки, во весь проем темно-синее, начинающее чернеть небо. То сброшенные с путей сгоревшие, исковерканные вагоны, разбитые путевые будки с сорванными крышами, трубы от сгоревшего жилья, то выбегающие к самой дороге курчавые березовые рощи, такие, словно нет и не было на свете никакой войны...

Все это чем-то походило на ее собственную жизнь, вернее, на ее ощущение своей собственной жизни. Она вспомнила, как Зинаида с сомнением брала у нее это давно написанное и заклеенное письмо, и подумала, что с Зинаиды станется расклеить и прочесть его, не потому что любопытная, наоборот, она не любопытная, а потому, что считает, что всегда все делает так, как лучше. И если прочтет, может решить, что лучше не отдавать письма, и не отдаст, не зная, что он все равно уже знает.

Таня вдруг представила себе, что она снова рядом с Синцовым, что ее не ранило и она еще в армии и они опять увиделись. И он говорит ей тем хорошо знакомым ей, особенно спокойным голосом, которым разговаривает, когда с трудом держит себя в руках: «Зачем ты мне все это сказала? Не могла подождать хотя бы, пока мы кончим наступать?» — «А когда мы кончим?» — «Не знаю когда, но когда-нибудь кончим. Не вечно же мы будем наступать...» — «А как же я могла тебе этого не сказать? Я должна была сказать!» — «Почему?» — «А почему я должна знать все это одна? Почему я должна, а ты нет?» — мысленно ответила она на его воображаемый вопрос, но ответила уже не в разговоре с ним, а про себя, потому что даже в воображаемом разговоре не могла ему так ответить. Могла только подумать.

«Значит, решила уехать от меня. И что ж ты будешь делать?» — спросил он. Спросил снова вслух в том воображаемом ею разговоре.

И она ответила ему тоже вслух, дерзко и даже грубо: «Что буду делать? Замуж выйду. Законный муж у меня убит, а тебя теперь все равно что нет. — И еще раз повторила: — Замуж выйду».

И самое странное, что не только с вызовом сказала это в том, воображаемом разговоре, но и действительно подумала сейчас об этом. Подумала серьезно и отчаянно, как о чем-то вдруг ставившем непреодолимую преграду между ней и Синцовым, спасавшем не только ее от него, но и его от нее. И после этого несколько минут лежала, уже не глядя в дверь теплушки, закрыв глаза.

А когда снова открыла их и увидела снова выбежавшую к самой железной дороге зеленую опушку леса, подумала о себе, что все это неправда, все то, о чем она только что подумала как о спасении. Ничего этого не будет, и никакое это не спасение.

«Я все равно буду в душе надеяться, что, если она не найдется, мы будем опять с ним. Да, буду надеяться. Ну и что? И кому какое до этого дело? Раз я сразу, когда выпишусь, попрошусь на другой фронт, в другую армию и буду отдельно от него до конца войны, совсем в другом месте, никто уже не будет иметь права требовать от меня еще чего-то. Мало ли на что я могу в душе надеяться... Раз не буду с ним, раз сама отказываюсь быть с ним — это уже будет мое дело!»

Она вспомнила, что ее могли сегодня убить, а она осталась жива, и не только осталась жива, но вдвоем с Христофоровым спасла от смерти других людей. И растроганно подумала о себе как о человеке, только что сделавшем что-то очень хорошее и у которого поэтому у самого все должно быть хорошо. Иначе будет несправедливо.

И в полном противоречии с тяжелыми мыслями, которые только что ею владели, бессмысленно подумала, что у них с Синцовым в конце концов все будет хорошо. Как и почему будет хорошо и что должно произойти, чтобы им снова стало хорошо, она сейчас уже не думала. Отбросила эти вопросы так, словно кто-то вдруг дал ей на это право...

Она лежала усталая и притихшая, ослабевшая от потери крови, готовая вот-вот заснуть. В вагонном проеме стало темно, санитар закрыл дверь и, пройдя в угол теплушки, присел и закурил там в уголке.

А летчик, лежавший рядом с Таней, после того как санитар отошел от них, тихо сказал ей:

— А я вас помню. Я вас возил один раз.

И Таня тоже вспомнила, как она летела с этим летчиком в прошлом году зимой на «У-2», когда нужно было срочно доставить кровь, медикаменты и перевязочный материал в один из медсанбатов, оказавшийся тогда на несколько дней отрезанным вместе со всей дивизией. Не удавалось туда проехать, можно было только лететь. И она вызвалась и полетела с этим летчиком.

Но тогда он был одет по-зимнему, поэтому она его не сразу узнала.

— Что с вами, доктор? — спросил летчик.

— Немец напал на санитарную машину на дороге,— сказала Таня. И больше ничего не добавила; ее клонило ко сну.

— А мне с земли ногу прострелили,— сказал летчик. — Возвращался с офицером связи. Еле машину дотащил. Только сел, подбегают, говорят: «Не выключай мотора, члена Военного совета повезешь». А я на вид вроде ничего, сижу, а сапог полный крови!

Он подвинулся на своем тюфяке ближе к Тане и добавил тихо:

— Командующего убили. Член Военного совета туда, на место полетел, где его убили. Хотел со мной, а я не смог.

— Как командующего? — Таня даже не сразу поняла. — Какого командующего? — повторила она, подумав, что, может быть, погиб командующий воздушной армией, про которого — неизвестно, правда или нет,— но рассказывали, что он сам участвует в боевых вылетах. «Может, он погиб?» — подумала она. — Какого командующего?

— Какого? Серпилина. Кого же еще. Ехал на машине, и немцы из засады убили,— все так же вполголоса сказал летчик.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

То, о чем Таня услышала от летчика и чему в первую минуту не поверила, произошло на самом деле, только не так, как сказал ей летчик, а по-другому.

Серпилин не был убит из засады, а был смертельно ранен осколком снаряда в три часа дня третьего июля, за Березиной, в районе Червеня, сравнительно далеко от передовой, на рокадной полевой дороге, почти у самого пересечения ее с шоссе Могилев — Минск, и умер, не приходя в сознание, через пятнадцать или двадцать минут после этого. Точнее установить было некому, потому что, когда все это вышло, врача не оказалось. А когда через двадцать минут Серпилина довезли до медсанбата и положили на операционный стол, он был уже мертв.

Немецкий крупнокалиберный снаряд разорвался на дороге, между машиной, на которой ехал командарм, и отставшим от нее бронетранспортером. В бронетранспортер не попало ни одного осколка, а в «виллис» — всего один. Но этот единственный осколок пробил заднюю стенку «виллиса» пропорол карту, которую в этот момент держал Синцов, сидевший позади Серпилина вдвоем с заместителем начальника оперативного отдела Прокудиным, пробил спинку переднего сиденья «виллиса», попал в спину Серпилину, вышел наружу спереди, ударился в передний щиток и уже после этого удара рикошетом перебил кисть водителю Гудкову.

Выстрел был одиночный. Немцы вели по дорогам беспокоящий огонь, но как раз на этой, все время, пока ехали по ней, было тихо. Машина остановилась не потому, что был смертельно ранен командарм — этого в первую секунду как раз не заметили,— а потому, что, удержав руль одной рукой, Гудков закричал, поднял вверх другую, окровавленную, и круто затормозил — не мог дальше вести машину.

Когда машина затормозила, Серпилин начал валиться вперед и вбок из «виллиса». Синцов едва успел прихватить его за плечи и прижать к спинке переднего сиденья. В первую секунду, когда Серпилина бросило вперед и он начал валиться, Синцов все еще не понял, что случилось. Ему показалось, что командарма просто сильно тряхнуло от слишком резкого торможения. И, только уже крепко обхватив Серпилина руками, прижав его бессильно валившееся тело к спинке сиденья, понял, что командующий или убит, или тяжело ранен.

Второй «виллис», со связистами, шедший на этот раз впереди, заметил и разрыв снаряда и остановку машины и сдал назад. Отставший бронетранспортер остановился рядом.

— Гудков, в ту машину... Выходи! А ты — за руль! — крикнул Синцов, когда «виллис» со связистами поравнялся с их «виллисом».

Крикнул, продолжая обнимать обеими руками обвисшее тело Серпилина.

Гудков вылез, держа правой рукой окровавленную левую и глядя на Серпилина, словно все еще не понимая, что произошло. А водитель со второго «виллиса» вскочил на место Гудкова, и Синцов крикнул ему «Давай, вперед!» таким голосом, что было ясно: надо гнать вовсю.

Так, гоня вовсю, проскочили метров пятьсот, пока Синцов не приказал: «Стоп!» Пока гнали эти пятьсот метров, он думал только об одном, что Серпилина, если он еще жив, может добить вторым попаданием. Если это не одиночный снаряд, а огневой

налет, надо выскочить как можно скорее из зоны огня, а все остальное — потом!

Бронетранспортер шел сзади впритирку, Синцов увидел это, обернувшись. Второй «виллис» немного отстал; за рулем сидел командир рации.

Когда остановились, Синцов, продолжая держать тело Серпилина, повернулся к неподвижно сидевшему рядом, словно окаменевшему, Прокудину:

— Давай на рацию, сообщи в штаб, что тяжело ранен. А мы — прямо в медсанбат. Тут всего четыре километра. В Плесенки, где утром были, в этот. Передай по рации, чтоб туда главного хирурга армии на самолете послали. Там у них площадка, можно сесть.

Прокудин, так и не сказав ни слова, вылез из «виллиса» и пошел к рации. В такие моменты не играет роли, кто старше по званию. Кто первым почувствовал в себе силы распорядиться, выйти из состояния шока, тот и распоряжается.

У Синцова мелькнула мысль так и довезти эти четыре километра Серпилина, как он сидит. Посадить в ноги одного из автоматчиков, держать его и везти, чтобы не стронуть. Но потом испугался, что так будет хуже, что Серпилин может изойти кровью, и, когда Прокудин пошел к рации, приказал подбежавшим к «виллису» автоматчикам — класть на плащ-палатку! Вытащил ее из-под себя с сиденья и бросил на траву.

Серпилина вынули и положили. Он слабо дышал. Совсем слабо, но все-таки дышал. Раздирая зубами, приготовили сразу несколько индивидуальных пакетов — все, сколько нашлось, расстегнули ремень на гимнастерке, приподняли раненого за плечи, подсовывая ему под лопатки руки, положили с обеих сторон раны марлевые подушечки, обкрутили рану бинтами. Рана кровоточила. Когда обвязывали, марля сразу набухла от крови.

Синцов приказал накидать шинели и все, что было при себе мягкого, на дно бронетранспортера, а после этого, вшестером, держа за края плащ-палатку, перенесли в бронетранспортер раненого. Положили и сразу же, не дожидаясь, когда тронется рация, по которой еще только связывались со штабом, поехали в медсанбат.

Дорога впереди была известна, проезжали по ней и, где медсанбат, знали. Но все-таки Синцов не остался там, в бронетранспортере с Серпилиным, а перешел обратно в «виллис» и сел впереди на его место показывать водителю дорогу, чтобы сгоряча после всего происшедшего не потерять времени, не заплутаться.

В этом медсанбате уже были сегодня. Вчера командир стрелкового полка подполковник Шевчук первым в армии взял в плен

немецкого генерала. Был при этом легко ранен и, попав в медсанбат, просил разрешения вернуться в строй. Серпилин, когда ему доложили, велел, чтобы командира полка оставили лечиться, но пообещал, что сам заедет вручить ему орден Красного Знамени. «Пусть лежит и ждет в медсанбате».

Так и было сделано. Заехали в медсанбат, Серпилин вручил орден, воспользовавшись случаем, поговорил с врачами; еще заметил, что медсанбат хорошо стоит, в удачном месте. При возможности и медсанбаты и госпитали первой линии так и надо располагать, чтобы где-нибудь поблизости или луг, или полянка, или хоть какая-нибудь проплешина в лесу — «У-2» посадить, если вдруг кого-то надо срочно привезти или вывезти. Всяко бывает!

Тогда Синцов и заметил то, о чем сказал теперь Прокудину,— что там есть куда посадить «У-2». А теперь сами ехали в этот медсанбат!

Синцов разрывался между двумя желаниями — поскорей доехать и поаккуратней везти Серпилина. Растрясешь — больше крови потеряет. А позже на пять минут привезешь — опоздаешь с операцией, может из-за этого погибнуть. В таких случаях неизвестно, что лучше, что хуже. Все-таки решил ехать побыстрей, хотя каждый раз, когда на лесной дороге под колеса попадало какое-нибудь корневище, вздрагивал, словно его самого били телом о землю. И, не сознавая нелепости того, что говорил, несколько раз повторял водителю:

— Выжимай, выжимай сцепление, выжимай... Что ты дергаешь? — как будто Серпилина везли в этой машине. Хотя его везли на бронетранспортере и там был другой водитель, который по-другому выжимал сцепление на этих ухабах.

Пока человек жив — про него никогда не говорят «смертельно ранен». Только задним числом, после смерти. А до этого, как ни безнадежно положение, все равно говорят: тяжело ранен.

Именно так и сказал Бойко Захарову, найдя его по телефону на командном пункте корпуса, откуда Серпилин уехал меньше часа назад.

За десять минут перед этим Бойко звонил туда же, к Миронову, и, разговаривая с Захаровым, спрашивал, где командарм. Захаров ответил, что, прилетев на «У-2» из дивизии, уже не застал Серпилина, тот не дождался, уехал один к Кирпичникову. Узнав, что командарм в дороге, Бойко сказал, что ничего сверхсрочного нет, позвонит к соседям, когда Серпилин туда доедет.

И вдруг снова позвонил. С Мироновым говорить не стал, попросил сразу передать трубку члену Военного совета, если он еще

там, и без предисловий сказал по телефону то, что только что сам услышал по рации от Прокудина: «Первый тяжело ранен, находится без сознания, и его везут от места ранения на хутор Плесенки». От себя Бойко добавил, что хутор этот располагается в треугольнике между дорогой Могилев — Минск, лесной дорогой на Буйничи и опушкой урочища Вербово. «Как сообщил Прокудин, там есть посадочная площадка для «У-2». Главному хирургу армии уже приказано вылететь. В санитарное управление фронта сейчас звонят одновременно по другому телефону».

Захаров несколько секунд молчал, держа трубку. Молчал и Бойко на другом конце провода.

— Командующему фронтом доложили? — спросил Захаров.

— Как только закончу разговор с вами, доложу. У меня все.

— Сейчас полечу туда, раз там есть площадка,— сказал Захаров. — У меня самолет здесь.

— Ясно,— сказал Бойко. И повторил: — У меня все.

Наверное, спешил доложить во фронт, да и как иначе, раз командарм выбыл из строя,— должен сразу же брать командование на себя!

Захаров положил трубку и посмотрел на командира корпуса Миронова, уже понявшего, что произошло что-то чрезвычайное.

— Где летчик? Вызывайте его, полечу,— сказал Захаров.

— Вы его покушать отпустили,— напомнил адъютант Захарова.

— Беги за ним немедля! — крикнул Захаров. — Пусть все бросит — и к самолету. Летим!

Он оглянулся. В палатке кроме них был офицер оперативного отдела, наносивший на карту последнюю обстановку. Взяв под руку Миронова, Захаров вышел из палатки. И, только отойдя несколько шагов, сказал:

— Командарма тяжело ранили. Везут сейчас в медсанбат в Плесенки. Полечу туда.

За последние дни при небольших сравнительно потерях в боях было особенно много всяких случайностей из-за того, что все плотней окружали немцев, а те все отчаянней вырывались и мелкими и большими группами. И летчики гибли, и офицеры связи, и самые неожиданные люди оказывались убитыми или ранеными в самых неожиданных местах. Но сколько ни привыкай к этому, а все равно с Серпилиным — как обухом по голове.

— Как, где? — растерянно повторял Захаров, идя с Мироновым к своему стоявшему на краю поляны «У-2». — Только что у тебя был. Какой дорогой его отправили? Не знаете, что у вас в собственном расположении происходит! — не в силах сдержаться, крикнул Захаров. — Подвели командующего под пулю...

Бойко не сказал ему по телефону, как ранен Серпилин, но Захарову почему-то казалось, что именно — под пулю.

Миронов стал объяснять, что наоборот: это едучи к нему, командующий спрямил, прибыл от соседа по дороге, которая с утра обстреливалась. А он как раз отговорил ехать обратно по этой дороге, просил не спрямлять, показал по карте объезд. И командующий, уезжая, согласился, сказал: «Ладно, себе дороже. Объедем».

— Вот и объехали! — горько сказал Захаров, думая о том, куда все же ранен Серпилин, какая это рана, если сразу — без сознания! И, содрогнувшись, впервые подумал: возможно, даже и убит, только не захотели сообщать открытым текстом.

И, продолжая идти об руку с Мироновым, которого, как взял, так от растерянности и не отпускал, все сжимал рукой под локоть, услышал над головой стрекот самолета — на полянку садился еще один «У-2».

Летчика, с которым прилетел Захаров, еще не нашли. Захаров вспомнил, как, отпуская, разрешил ему час отдохнуть. Может, и есть не пошел, а лежит под деревом и спит. Ищи его теперь!

— Кто это прилетел, как думаешь? — спросил Захаров у Миронова, показывая на самолет, который чуть не задел при посадке за деревья. — Я с ним полечу.

— Должно быть, мой оператор, в дивизию летал. Да, «восьмерка», наш... — сказал Миронов и заторопился навстречу самолету. — Может, и заправлять не надо... Тут всего лететь-то минут двенадцать!

Но когда подошли к самолету, оказалось, что лететь нельзя. Летчик доложил, что его обстреляли с земли немцы, ранили в ногу, сапог полон крови; доложил смущенно, словно провинился.

Это был тот самый летчик, который потом сказал Тане, что Серпилина убили из засады. И кто его знает, может, путаница вышла из-за кем-то услышанных слов Захарова: «Подвели под пулю!»

Захаров уже решил ехать на машине, уже крикнул водителю, чтоб подгонял «виллис», но в это время прибежал летчик с другого «У-2». Минута ушла на то, чтобы уточнить по карте расположение медсанбата,— летчик сказал, что найдет безо всяких и сядет при всех случаях. Захаров залез в кабину, самолет поднялся, развернулся и пошел на северо-восток, к шоссе Могилев — Минск.

Летели над лесом, на высоте двухсот метров. Сверху было видно все то же самое, на что Захаров уже насмотрелся сегодня, пока летал в дивизию и обратно. Сквозь кроны берез и елок тут и там были видны следы немецкого отступления и разгрома, все эти разбитые и искореженные машины, брошенные орудия, ми-

пометы, снаряжение, снарядные ящики, неснятые, так и брошенные в лесу палатки — следы торопливо покинутого ночлега... Все это пятнами просматривалось по всему лесу, пока летели над ним. Просматривалось и утром, когда летал до этого, и сейчас. Все было то же самое, только смотрел на все это совсем по-другому, чем с утра,— безрадостно, как будто это уже ни к чему.

Нелепо, конечно. Как так ни к чему? Ничье ранение или даже смерть не может изменить ни того, что происходит, ни того настроения, которое все равно есть и будет в армии от всего происходящего. Но уж там нелепо или не нелепо, а сейчас, когда Захаров летел, ему и смотреть на все это не хотелось!

Самолет сильно закачало над лесом, один раз, казалось, совсем бросило на верхушки берез. И Захаров почему-то подумал о себе, Серпилине и Львове и о том, как Львов перед началом наступления, по сути дела, хотел разъединить их с Серпилиным. Хотел, но не разъединил. А теперь вот война разъединяет... Раз тяжело ранен — армией уже не командовать. И сразу же подумал о худшем: а вдруг не застану?

Но, отбросив эту мысль, вытолкав ее из головы, словно она сама по себе была какой-то опасностью для жизни Серпилина, принудил себя думать о делах.

Дела сегодня весь день шли как нельзя лучше, и вдруг именно в такой день — такая беда!

Ну, а в другой день, что же, это не беда была бы? Беда дней не выбирает, когда приходит, тогда и приходит. День сегодня хороший не тем, что он легкий. Наоборот, день трудный. Еще с утра поняли по ожесточению немцев, что густо их зацепили, много окружили.

«Сосед слева как раз сегодня легче пошел вперед. А мы тащим, тащим, заводим все глубже, и уже чувствуется, что вся рыба внутри, в бредне».

Говорили об этом с Серпилиным в корпусе у Миронова, перед тем как Захаров улетел в дивизию. Серпилин предполагал, что, возможно, в этом бредне, в мотне его, или штабы двух корпусов, или даже штаб армии. Чувствуется по характеру сопротивления немцев, когда одни вдруг сдаются, а другие воюют до последнего, что там, внутри, есть какой-то центр, к которому одни стягиваются, а другие, наоборот, оторвавшись от него, уже не видят надежды и поднимают руки. «Загребли что-то там, внутри, чувствую»,— говорил Серпилин всего несколько часов назад.

Из последней оперативной сводки теперь уже известно, что соседние фронты не только замкнули кольцо, но и ведут бои в самом Минске. И об этом уже говорили с Серпилиным и радовались этому. Даже уговорились: глядя на ночь за такое дело по

чарке... Серпилин последние дни, вопреки обыкновению, даже и по вечерам не брал ни капли в рот. Как Могилев освободили, сказал: «Теперь до Минска. Пока за Минск салюта не будет». И объяснил, что хотя и кажется, что лучше спишь, приняв полстакана, но при слишком большой усталости это самообман.

Захаров вдруг вспомнил, что перед операцией раненым иногда дают спирт или водку. Есть хирурги, которые считают, что никакого в этом худа нет. Наоборот! В том числе и главный хирург армии.

Подумав об операции, которую сейчас, возможно, уже делают или вот-вот начнут делать Серпилину, Захаров с надеждой вспомнил этого главного хирурга армии, которого, несмотря на все его хорошие качества, приходилось несколько раз, как мальчишку, ругать за нарушения в быту. Но сейчас Захаров подумал о нем со слепой, безраздельной верой. Сам готовый на все, чтобы спасти Серпилина, он ничем не мог помочь, и ему оставалось только верить, что Серпилина спасет кто-то другой. И все его нравственные силы превратились сейчас в эту непреклонную веру в того, другого человека, который сделает то, чего ты сам не можешь. «Только бы скорее прилетел!» — подумал Захаров так, словно жизнь Серпилина зависела от того, когда прилетит главный хирург армии.

Летчик заложил вираж. Они оказались над маленькой полянкой. Никакого другого самолета на полянке не было,— значит, хирург еще не прилетел... Пилот пошел вкось, над самыми макушками деревьев, показалось даже, что ветки хлестнули по колесам машины. А в следующую секунду самолет уже катился по траве и остановился, не докатившись до опушки. Полянка оказалась не такой коротенькой, как выглядела с самолета.

Едва Захаров вылез, как с опушки к самолету подъехала полуторка. На подножке ее, держась за открытую дверцу, ехал капитан-военврач.

— Ну... что?!! — крикнул Захаров сквозь шум еще не выключенного мотора.

— Не знаю, как... товарищ член Военного совета,— сказал, спрыгивая с подножки, военврач. — Меня сразу послали ждать здесь с полуторкой, чтобы к операционной подвезти...

Захаров сел в кабину рядом с водителем, так и оставив ногу на подножке, только придерживая дверцу рукой. И они поехали через лес.

Медсанбат стоял в лесном хуторе. Рядом с избами были разбиты две большие палатки.

Первым, кого увидел Захаров, был Гудков. Он сидел на пеньке у входа в операционную палатку и, когда Захаров выскочил

из полуторки, встал навстречу, прижимая к груди левую забинтованную, подвешенную на лямке руку. Глаза у него были как мертвые. И Захаров, увидев эти глаза, понял, что Серпилина нет на свете, еще раньше, чем Гудков, с трудом шевеля губами, сказал еле слышно:

— Помер.

Кроме Гудкова, у палатки никого не было. Вдали стоял бронетранспортер, и около него — автоматчики Серпилина. Захарова не ждали, его никто не встречал. Ждали главного хирурга, которого уже тоже незачем было ждать. Захаров шагнул в палатку, прошел через предоперационное отделение, в котором кто-то стонал, и только у входа в операционную встретил командира медсанбата.

В операционной стояло два стола: слева — пустой, справа — накрытый простынею. У пустого стола, привалясь к нему боком, сидел на табуретке военврач в белой шапочке и халате и, макая ручку в школьную чернильницу, что-то писал на листе бумаги. Синцов, сидевший около другого стола, закрытого белой простыней, увидев Захарова, встал.

— Товарищ член Военного совета... — начал доклад командир медсанбата, но Захаров остановил его:

— Когда?

Командир медсанбата не успел ответить. Хирург, сидевший на табуретке и писавший, поднялся и, подойдя к Захарову, сказал, что командующего положили на стол в пятнадцать часов двадцать четыре минуты, уже имея к тому времени все признаки клинической смерти, а после осмотра, в пятнадцать часов тридцать одну минуту, констатировали смерть, последовавшую от разрыва осколком аорты примерно за пятнадцать минут до этого, по дороге между местом ранения и медсанбатом.

Хирург устало и как-то отрешенно добавил, что ранение было с самого начала безнадежное и через сколько минут после него наступит момент клинической смерти — от принятых мер не зависит. Оперативное вмешательство, когда положили на стол, было бесполезно. Остается сделать вскрытие — здесь, в медсанбате, или в другом месте. Рана такая, что смерть могла быть и мгновенной. Но, судя по показаниям сопровождавших лиц, произошла уже в дороге.

— Все это я изложил в заключении. Как раз закончил,— сказал хирург.

— На черта вы годитесь! — горько сказал Захаров. — Говорят про вас, что мертвых оживляете, а тут через двадцать минут вам на стол положили — и ничего не смогли сделать!

— Товарищ генерал,— то ли не узнав Захарова, то ли не придавая значения, как и к кому обращаться, все тем же усталым голосом сказал врач,— главный хирург армии приедет, свои выводы вам доложит. Но через мои руки за войну не меньше людей прошло, чем через его. Кого могли оживить — оживляли, а из мертвого живого не сделаешь, как бы ни хотел. Неужели не сделали бы всего, что могли? Неужели вы сами этого не понимаете? Что ж нам, вид делать, что оживляем, раствор вводить, массировать мертвого? Для чего, для какого доклада, кому и зачем?

Сказал так убежденно хриповатый этот, невидный, немолодой, усталый медик в белой докторской шапочке и забрызганном мелкими каплями крови халате, что Захаров так ничего и не возразил ему. Понял, что тот прав. Для врача есть человек, которого можно спасти, а есть, которого нельзя. Есть живой человек, а есть мертвый — и ничего с этим не поделаешь.

— Ранение показать вам? — спросил хирург, глядя на молчавшего Захарова.

— Покажите.

— Сейчас... Климова,— повернулся хирург к сестре,— давайте на стол, готовьте к операции того сапера с оторванной стопой. Он из шока вышел?

— Вышел, стонет.

— Готовьте.

И только после этого пошел с Захаровым к накрытому простыней столу.

Открыв простыню и показав Захарову, где вошел и где вышел осколок, убивший Серпилина, хирург хотел снова накрыть тело простыней, но, когда он уже натянул простыню до плеч, Захаров задержал его движением руки. Тот понял и отпустил простыню.

Теперь Серпилин лежал на операционном столе, как лежат на койке больные, в беспамятстве, в жару, накрытые только простынею. Одно плечо было совсем накрыто, а другое, голое, немного высовывалось из-под простыни, как живое у живого, небрежно укрывшегося человека. Лицо Серпилина было не закинуто назад, как чаще всего бывает у мертвых или, вернее, чаще всего кажется. А, наоборот, было даже чуть наклонено вперед и при этом повернуто в ту сторону, с какой стоял Захаров. Отчего так? Кто его знает! Так вынесли из машины, так положили на стол или так повернули голову, когда осматривали уже мертвого...

В ожидании главного хирурга с телом Серпилина еще не стали делать всего того, что принято делать, чтобы мертвое тело потом хорошо выглядело в гробу. Не подвязывали подбородка

и не накрывали ничем тяжелым веки. Поэтому он лежал как живой, немного повернув в сторону лицо, словно хотел прислушаться к тому, что ему мог сказать Захаров. Он часто так поворачивал голову при разговоре. Только сейчас не сидел и не стоял, а лежал, повернув ее, и смотрел обоими глазами наверх, в угол палатки, куда-то мимо Захарова, далеко отсюда. Лицо было еще живое, а глаза уже мертвые, уже не видящие или, наоборот, видящие то, чего Захаров не видел и не мог увидеть.

Захаров неподвижно простоял несколько минут над этой живой головой с мертвыми глазами. Думая в эти минуты не о том, что вышло и почему вышло, а привыкая к чувству, что этого человека больше нет и не будет.

От этого чувства, к которому Захаров старался привыкнуть, у него выступили слезы на глазах, и он, наверное бы, расплакался, если бы его не отвлек шепот за спиной. Голос хирурга, с которым они вместе подошли к телу Серпилина, и чей-то другой.

— Николай Иванович, может, я его прооперирую,— сказал этот, другой голос.

— Нет, я сам,— сказал голос хирурга.

— Давайте лучше я.

— Нет, я сам.

Захаров повернулся и понял, что они говорят о той операции, которую нужно делать раненому, уже лежащему на соседнем столе. Он посмотрел на хирурга и кивнул — не то одобряя, что тот именно так делает, как надо, не то отпуская,— чтобы шел, оперировал. Потом еще раз посмотрел на повернутое к нему лицо Серпилина и увидел Синцова, о котором знал, что он стоит с той стороны, но не видел его все эти минуты. А теперь увидел и сделал ему жест рукой, означающий: «Все. Выйдем отсюда!»

Они вышли из палатки, и последнее, что, уходя, услышал там, за спиной, Захаров, был голос хирурга. Не тот, усталый, которым он говорил про Серпилина, а другой, которым он сказал кому-то: «Перчатки!» Другой, повелительный голос, относившийся уже к другому делу, которое ему надо было делать.

— Вот так, Синцов,— выйдя и остановившись, сказал Захаров. Сказал так, словно надо было поставить еще какую-то точку на всем этом, как будто эта точка не поставлена самой смертью.

Синцов ничего не ответил. Вспомнил, как осенью сорок первого, после выхода из окружения, под Ельней, вез того же Серпилина в медсанбат, и стоял, и ждал, пока оперировали. Держался, держался, и вдруг затрясло от этого воспоминания, как будто он виноват — тогда сделал все, что мог, а сейчас не сделал!

— Где Прокудин? — спросил Захаров, еще не видя лица

Синцова. И, подняв глаза, увидел его лицо. Но вместо того, чтобы остановиться, как сделал бы на его месте другой, еще раз повторил громко и строго: — Где Прокудин, я вас спрашиваю? — Не потому, что не заметил, что делается с Синцовым, а потому, что заметил, и знал: только так и приводят в чувство готового зарыдать человека.

— На рации,— совладав с собой, ответил Синцов. — Пошел радировать о заключении врачей.

— Он уже передал, он сдублировать пошел — на телефон, к командиру медсанбата,— высунулся вперед из группы стоявших невдалеке людей молоденький младший лейтенант, переводчик, которого Серпилин в последние дни брал с собой на машину связистов, чтобы переводил перехваченные немецкие переговоры. В последние дни немцы много работали открытым текстом — искали друг друга, давали команды, куда уходить, где собираться. На все махнули рукой, на всякие шифры и коды, только бы найти друг друга...

— Пусть сразу ко мне подойдет, как вернется,— сказал Захаров о Прокудине. — Раз его нет, доложишь ты,— повернулся он к Синцову и сделал несколько шагов в сторону от палатки, так что они оказались вдвоем.

Захаров слушал, а Синцов докладывал, как все вышло. Хорошо помнил все, что было до этого, и все, что было после этого, а самого «этого» не помнил. Не помнил самой секунды, когда это вышло. Услышал ли разрыв до того, как у него в руках пропороло осколком карту, или услышал после того... О самом моменте, когда все вышло, доложил путаясь...

Но Захаров не перебил. Может быть, знал по себе, как это бывает, что ту самую секунду, когда все вышло, как раз и не можешь вспомнить.

Все, что «до» и «после», Синцов доложил по порядку. Сначала — то, что «после»,— какие отдал приказания, как перевязали, переложили в бронетранспортер и доставили сюда... Потом — то, что было «до». Об этом, собственно, и рассказывать было нечего — всего за полчаса перед тем выехали из корпуса, но Захаров все равно велел рассказать шаг за шагом. Начал с вопроса, как поехали — тем маршрутом, как обещали командиру корпуса, или другим?

— Как обещали, так и поехали. — Синцов вспомнил слова Серпилина: «Ладно, себе дороже, объедем». Слова, которые, когда он их сейчас повторил вслух, стали совсем другими, чем тогда, когда Серпилин, улыбаясь, сказал их командиру корпуса. Тогда это были одни слова, а сейчас совсем другие, хотя они и были те же самые.

А другими они стали потому, что, если бы Серпилин не сказал этих слов, и не улыбнулся, и не послушался командира корпуса, а поехал бы назад, как ехал туда, ничего бы этого не случилось. И сейчас, после его смерти, это было настолько же ясно, насколько тогда, при его жизни, было никому не известно.

Синцов рассказал, как они остановились на открытом месте на безлесной высотке и как Серпилин вылез покурить, а радистам велел попробовать еще раз поймать немцев. И они поймали,— немцы снова передавали открытым текстом направление, по которому надо выходить из котла.

Задержались на этой высотке всего три минуты. И опять-таки сейчас было ясно, что именно из-за этой задержки все и вышло: не задержись — успели бы проехать то место, где разорвался снаряд.

Синцов рассказывал, и ему одно за другим приходило в голову все то, о чем обычно не думает сколько-нибудь привыкший к войне человек. Потому что, если все время думать об этом, воевать невозможно. Все это приходит в голову только после чьей-то внезапной гибели, когда сопоставляешь все случайности войны со смертью именно этого человека, который из-за сцепления всех предшествующих обстоятельств встретился со своей смертью именно в том месте и в ту минуту.

Хотя во всех этих обстоятельствах, взятых по отдельности, не было ничего особенного, ничего такого, что предвещало бы гибель Серпилина или толкало к ней. Наоборот. Как раз сегодня ездили даже сверхаккуратно.

Захаров, который еще ни разу не перебил Синцова, вдруг спросил:

— Ну, а в самую, в самую-то минуту перед этим что было?

Синцов не сразу понял вопрос; ему казалось, что он уже все объяснил. И вдруг вспомнил то, что почему-то пропускал до этого,— как в последнюю минуту Серпилин повернулся с переднего сиденья к нему с Прокудиным и сказал: «А все-таки, Прокудин, помяни мое слово, и по радиоперехватам и по пленным видно, что в этом мешке, который завязываем, у них все-таки два ядра, два больших штаба идут. И никак не могут соединиться,— мешаем им, не даем...» И приказал Синцову посмотреть по карте — если взять направление, которое дают немцы по радио, от Буды на Матвеевку, куда оно дальше выйдет, по азимуту, на какие населенные пункты.

Синцов развернул карту, стал смотреть, и в этот момент все и произошло...

— Товарищ член Военного совета... — вытянулся перед Захаровым подъехавший и соскочивший с «виллиса» Кирпичников.

Но Захаров только сказал:

— Иди, прощайся, там... — и махнул рукой на палатку.

Кирпичников прошел в операционную, и сразу вслед за этим рявкнула тормозами полуторка — наконец-то прилетел главный хирург армии и тоже потянул руку к козырьку, чтобы доложиться. Но Захаров и ему не дал:

— Прибыли все-таки. Идите там, делайте, что от вас требуется...

И главный хирург, не знавший, что Серпилин уже мертв, и, наверно, понявший эти слова: «Делайте, что от вас требуется» — так, что ему предстоит делать операцию, не пошел, а побежал туда, к палатке.

Захаров вытащил платок из кармана, накрепко, словно хотел что-то содрать с себя, вытер этим платком лицо и круглую седую голову и, все еще продолжая держать платок в руке, задумался. И, вспомнив, что он без фуражки — как снял, так и оставил ее в хирургической,— повернулся к Синцову:

— Фуражка-то там осталась...

Синцов пошел в палатку и, еще раз увидев на столе голое до пояса тело Серпилина, над которым склонился главный хирург армии, что-то говоривший другому хирургу, стал искать, где фуражка. Она лежала под столом; никто и не заметил, как Захаров, сняв, уронил ее.

— Спасибо,— сказал Захаров, когда Синцов принес ему фуражку, но, взяв, не надел, продолжал держать в руке.

Пока Синцов ходил в палатку, вернулся Прокудин, и Захаров расспрашивал его о том, как он связывался по рации.

— Сообщил, не называя: прошу передать Третьему, врачи констатировали состояние смерти.

— А в тот раз, когда радировал, что тяжело ранен, указывал, что Первый? — спросил Захаров.

— Да.

— Если немцы поймали и сопоставят, могут понять, что командарма у нас убили,— сказал Захаров. И махнул рукой: — А, хотя им теперь не до этого!

— Извините, товарищ член Военного совета,— сказал Прокудин,— сам понимаю. Но... растерялись!

Захаров снова махнул рукой и повернулся навстречу вышедшему из хирургической палатки командиру корпуса:

— Простился?

— Простился.

По лицу Кирпичникова видно было, что он тяжело переживает случившееся. Может быть, еще тяжелее оттого, что все это случилось в полосе его корпуса.

— Ты откуда сюда приехал? — спросил Захаров.

— Из двести второй, с их КП.

— Какая последняя обстановка?

— Последняя обстановка — дивизия сомкнулась своим заходящим флангом с соседом. Еще один мешок завязали, четыре на четыре километра. Но немец не смирился — хочет прорваться. Обстановка острая.

— Ясно,— сказал Захаров. — Я тут главного хирурга послушаю, что скажет. А ты поезжай, не жди, раз обстановка острая. Будем возвращаться к исполнению своих обязанностей.

Сказал, не понять кому — не то Кирпичникову, не то самому себе.

Когда Кирпичников уехал, Захаров повернулся к Прокудину:

— Бронетранспортер здесь оставим, а сами с тобой в штаб армии двумя «виллисами» поедем. Подгоняй их сюда.

Из палатки вышел главный хирург армии в надетом поверх обмундирования халате и белой шапочке на голове. Захаров посмотрел на него, словно недоумевая, зачем он так вырядился, зачем это нужно, когда речь идет уже о мертвом.

— Заключение верное, товарищ член Военного совета,— сказал главный хирург. — Ранение при всех условиях смертельное. Спасти было невозможно. Можем подтвердить это с чистой совестью.

— Вот и подтвердите. Напишите все, что требуется, чтоб никто в виноватых не был, раз никто не виноват,— хмуро сказал Захаров.—Все напишите, спрашивать будут и с вас и с нас. Уже, наверное, звонят там из фронта и из Москвы... Идите пишите.

И снова остался вдвоем с Синцовым.

Вывертывая между деревьев, «виллисы» выходили на полянку к госпитальным палаткам.

— Мы поедем,— сказал Захаров,— а ты оставайся. Пришлем за телом, еще не знаю что, автобус, наверно. Бронетранспортер тебе оставим, сопровождать на нем будешь. Куда — позвоним, пока они тут все опишут — решим. Наверное, сразу во второй эшелон. На КП куда ж везти, он на колесах... Сопровождай, куда будет приказано, такое уж твое дело.

Захаров шагнул к «виллису», но Синцов задержал его:

— Товарищ член Военного совета, Гудков просил разрешения сопровождать тело до места.

— Так он же раненый! Его тут, в медсанбате, и надо оставить.

— Он просил,— повторил Синцов, вкладывая в эти слова всю силу просьбы самого Гудкова.

Захаров повернулся, увидел Гудкова с его белой, подвязанной на груди рукой и окликнул:

— Гудков!

Тот, несмотря на раненую руку, не подошел, а, как всегда, подбежал и остановился в двух шагах от Захарова.

Захаров хотел сам спросить его, как он себя чувствует и может ли ехать, но, увидев Гудкова и разом вспомнив все, что было за эти годы связано и с Гудковым, и с Серпилиным, и с тем, как ездили в одной машине, и что говорили, и как было все это, то, чего больше уже не будет, шагнул навстречу и вместо того, что собирался сказать, сказал:

— Что же это такое, а, Гудков? — всхлипнул, махнул рукой, повернулся, пошел к «виллису», сел в него и уехал, отвернувшись в сторону, так что был виден только его содрогавшийся от плача затылок.

А Синцов, растерянно проводив глазами уехавшие «виллисы», подумал, что, хотя командующий весь день казался даже веселей, чем обычно, была сегодня такая минута, когда его посетило предчувствие смерти.

Это произошло рано утром, когда они только-только выехали с КП, еще до встречи с Таней на переправе — до всего. Выехали и ехали минут пятнадцать в лесной тишине, и Серпилин, на памяти Синцова не так уж любивший слушать песни и сам никогда ничего не певший, вдруг там, на переднем сиденье, замурлыкал себе под нос что-то тягучее, странное, с незнакомыми словами. Сначала тихонько напевал, а потом обернулся и с непохожей на него, виноватой улыбкой сказал:

— От тишины, что ли, вспомнил нашу татарскую колыбельную, которую мать в детстве пела. Всю не знаю, а два куплета вспомнил.

И, снова повернувшись, пожал плечами. Словно сам себе удивляясь, как это вспомнил, и не только вспомнил, но и запел при других.

«Вот это и было предчувствие смерти»,— подумал Синцов.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Вышло так, что Захарову в этот день пришлось от начала и до конца делать все, что выпадает в таких случаях на долю душеприказчика.

Да так оно и должно было случиться. Все эти посмертные хлопоты были для Захарова лишь естественным продолжением

той прижизненной заботы о Серпилине, на которую он смотрел как на неотъемлемую часть своей служебной доли.

Взаимоотношения между командующим армией и членом Военного совета — при том, что права и обязанности каждого из них непререкаемо записаны в утвержденных там, где выше некуда, положениях,— все равно дело человеческое, а не только служебное. Выясняют эти отношения чаще всего, когда они складываются плохо или неправильно. Когда складываются хорошо — не выясняют. На тему — кто ты для меня и кто я для тебя? — Серпилин с Захаровым за время войны, пожалуй, ни разу не объяснялись. Но если бы спросить самого Серпилина — случись что с тобой, кого тебе в душеприказчики? — он наверно бы выбрал Захарова, хотя такие вопросы при жизни задают редко, а после смерти их задавать поздно. И выбрал бы не по должности, а по близости к себе, хотя между должностью и близостью в данном случае не было противоречия, наоборот, была связь.

Для Серпилина еще с гражданской войны повелось, что самый близкий ему человек по службе — тот, кого он мысленно зовет своим комиссаром. Так это было на гражданской войне с Василием Яковлевичем Толстиковым, погибшим под Царицыном, так сложилось в начале этой войны со Шмаковым. Так было и последние полтора года с Захаровым.

А когда случалось на протяжении долгой военной службы, что тот, кто оказался рядом с ним на этой должности, не соответствовал его пониманию слова «комиссар», тогда, конечно, близости не было и не могло быть, хотя бы уже по одному тому, что человек, к которому слово «комиссар» идет как корове седло, не политработник, а несчастье для дела.

Когда-то вначале, еще в гражданскую войну, по-другому могла бы повернуться и собственная судьба Серпилина. Была где-то на его боевом пути та незаметная развилка, где он со своим первоначальным образованием военного фельдшера и партийным стажем — с весны семнадцатого года — мог бы волей судьбы, а точней сказать, партии, пойти в те годы не по строевой, а по комиссарской стезе.

Прослужив четверть века в строю, уже трудно представить себя в какой-то другой роли, но в душе он считал, что хорошо знает комиссарскую работу, понимает ее как человек, который, повернись по-другому, сам бы с ней справился. И наверное, это тоже имело свое значение в их взаимной близости с Захаровым.

Прямых разговоров об этом у Захарова на памяти не осталось, но все время, пока служили вместе, он твердо знал про себя и Серпилина: не только ты понимаешь его работу, но и он

понимает твою, не только ты доверяешь ему как самому себе, но и он тебе — тоже.

Всякий, кто переносил тяжелую для себя потерю среди неотступности продолжающихся служебных дел, знает, что бездействие еще тяжелее.

Сначала, в первые часы, кажется, что нет сил вынести, когда то одно, то другое отрывает тебя от мыслей о только что ушедшем человеке. Кажется, голова и сердце лопаются от этой несовместимости исключительного с повседневным — того, что случилось, с тем, что ты все равно, несмотря на случившееся, обязан делать. И только потом, когда отойдет время, понимаешь, что все наоборот: именно заботы и распоряжения, которые ты давал, и бумаги, которые ты подписывал, и разговоры с людьми о совсем других делах, оказывается, и помогли тебе вынести первый напор горя.

А дел у Захарова было невпроворот, потому что операция шла своим ходом и армии предстояло довершить начатое: как можно тесней обжать скопившуюся восточней Минска многотысячную массу немцев, не дать ей разогнаться, набрать скорость и выпрыгнуть из кольца.

Весь конец дня до глубокой ночи это требовало все новых усилий, распоряжений, приказаний, вызова людей, звонков по телефону, шифровок, донесений, ответов на запросы сверху и ответов на вопросы снизу, разговоров с заместителями командиров корпусов и дивизий по политчасти и с работниками седьмого отделения, приносившими все новые немецкие документы.

Захаров занимался всем этим и в другие дни. Но сегодня ему было трудней, чем всегда, потому что, кроме всех дел, которые все равно продолжались — жив или умер Серпилин,— появились еще и другие дела, связанные именно с тем, что Серпилина не стало.

Надо было не только устно, но и письменно доложить о случившемся во фронт, который требовал этого и от которого, в свою очередь, требовала этого Ставка, потому что гибель командарма в разгар победоносно завершавшейся операции — событие чрезвычайное.

Надо было прочесть заключение главного хирурга, прежде чем оно пошло дальше, и вызвать лично его и начмеда армии, и отдать приказание, как и куда везти тело Серпилина. И говорить о гробе, который уже сколачивали там, в тылу, и о временном памятнике, который, где б ни решили хоронить Серпилина, надо сразу поставить, и о порядке похорон в зависимости от того, где они будут.

Армия — как человек — без головы не живет. Врачи, подтверждавшие смерть Серпилина, еще не отошли там, в медсанбате, от операционного стола, а Бойко, временно вступивший в командование армией, уже подписывал распоряжения и приказы не от его имени, как начальник штаба, а от своего, как исполняющий обязанности командарма. Сегодня еще нет, а завтра в армии сверху донизу все равно станет известно о гибели прежнего командующего, и приходилось думать над тем, как и в какой форме об этом сказать.

А с похоронами до позднего вечера еще не было решено. И хотя затягивать с этим во время боев нельзя, сегодня погиб, завтра простились, и надо воевать дальше — это понимали все, не хуже других понимал и Захаров,— но в их армии командарм погиб впервые, и появились разные мнения: как и где его хоронить?

Сам Захаров, зная от Серпилина про его первый бой в Могилеве, считал, что в Могилеве и надо хоронить. Или на окраине, где он когда-то, командуя полком, держал оборону, или в центре, над обрывом к Днепру,— тоже хорошее место.

Все это Захаров высказал еще днем, когда позвонил о случившемся Львову. Львов не возразил, но велел изложить письменно.

Батюк, который вскоре позвонил сам и расспрашивал у Захарова подробности гибели, оказался другого мнения. Сказал, что надо внести предложение похоронить Серпилина в Минске, поскольку армия под его командованием сыграла большую роль не только в Могилевской, а и во всей Белорусской операции. В оперсводках уже есть, что Минск свободен, в Минске ему и лежать! Воевал бы похуже, позволил бы немцам оторваться от себя — сейчас бы всю эту группировку в Минске добивать пришлось!

В том, что говорил Батюк, чувствовалось желание подчеркнуть: хотя сам Минск выпало брать другим, но и у их фронта роль такая, что погибший в этой операции командарм вправе быть с почестями похоронен в столице Белоруссии.

И хотя Захарову не приходила раньше в голову мысль похоронить Серпилина в Минске, теперь она показалась ему справедливой — и для Серпилина, и для армии, и для фронта.

— Буду в Ставку докладывать,— сказал Батюк. — И по ВЧ с белорусами соединюсь. Больше чем уверен, что они поддержат.

У Бойко оказалось свое мнение. Как это часто с ним бывало, не только собственное, но и неожиданное для других.

— Надо через Москву, через штаб тыла, родственников известить. Запросить их соображения. У него все же отец жив и

внучка на иждивении. Где б ни решили хоронить, надо послать самолет за родными, хотя бы за отцом.

Захаров согласился с Бойко и взял это на себя: позвонил командующему воздушной армией и спросил: сможет ли он завтра с утра выделить «дуглас» для рейса в Рязань за отцом Серпилина, чтобы привезти его туда, где будут хоронить сына, скажем, в Могилев? Командующий воздушной армией обещал самолет и стал расспрашивать о подробностях, как погиб Серпилин. Пришлось рассказать еще и ему.

Где все же хоронить Серпилина, не знали до ночи. Уже в одиннадцатом часу позвонил Львов и вдруг поинтересовался, как намерен Захаров поступить с личным имуществом, личными документами и, возможно, перепиской Серпилина, как все это оформляется? Захаров ответил, что попозже займется всем этим сам, а завтра с утра доложит. Ожидал, что последуют возражения, но Львов не возразил, сказал: «Буду ждать».

Тогда Захаров спросил его: нет ли новостей насчет похорон?

— Отправил шифровку товарищу Сталину. Сообщил оба имеющихся у нас предложения: Минск и Могилев. Ответа пока не имею. Если считаете, что вам быстрей ответят, обратитесь по вопросу похорон вашего командарма как член Военного совета армии. Сами...

В первый момент слова насчет того, кому быстрей ответят, показались Захарову издевкой, но потом по тону Львова стало ясно, что тот почему-то всерьез допускает такую возможность.

Закончив разговор со Львовым, Захаров задумался, снял трубку и сделал то, чего еще никогда не делал: вызвал по ВЧ Москву, а там, назвав свою должность, попросил доложить товарищу Семенову — таким в то время был кодовый псевдоним Сталина,— что просит соединить с ним.

Трубку взял не Сталин, а его помощник и сказал, что Сталин занят, но, когда освободится, ему будет доложено о звонке.

Захаров объяснил, что от имени Военного совета армии обращается к товарищу Сталину с просьбой разрешить похоронить погибшего сегодня, в день освобождения Минска, командарма в столице Белоруссии, городе Минске.

И, только положив трубку, догадался, почему Львов сказал ему «обратитесь сами». Наверно, они там разошлись с Батюком, поэтому Львов и вынужден был изложить в своей шифровке оба мнения. Счел ниже своего достоинства заранее спрашивать Захарова, о чем тот будет теперь ходатайствовать: о Минске или о Могилеве, но, наверно, считал, что по-прежнему о Могилеве...

Захаров не знал, ответят ему или нет и что ответят, но, сейчас же после этого зайдя к Бойко подписать итоговое донесение,

сказал ему о своем звонке, чтобы Бойко был в курсе дела, не оказался в неловком положении, если его запросят.

Бойко ничего не ответил, только недовольно покачал головой, не скрыл того, что не любит таких звонков в обход установившегося порядка.

Итоговое донесение подписали — за день еще сорок взятых орудий, девятнадцать танков, две тысячи семьсот пленных,— а подписи — не три, а две...

Захаров вернулся к себе и едва успел к звонку из Москвы. Помощник Сталина сказал, что товарищ Семенов просит передать свое соболезнование Военному совету и штабу армии, а в их лице всем солдатам, сержантам, офицерам и генералам в связи с гибелью преданного Родине военачальника, командующего армией, генерал-полковника Серпилина и сообщает, что решено похоронить его с воинскими почестями в Москве на Новодевичьем кладбище, рядом с женой, о чем уже дано распоряжение коменданту города Москвы.

Помощник Сталина говорил все это подряд, так, будто каждое слово записано у него на бумажке. Наверное, так оно и было. И Захаров, держа левой рукой трубку, правой записывал все, что слышал.

— Все поняли? Или повторить?

— Все понял,— сказал Захаров,— повторите только звание.

— Генерал-полковник,— повторил помощник. И уже другим голосом, своими словами объяснил, что это звание было присвоено Серпилину сегодня утром в числе других генералов. — Вы этого еще не знаете, но до фронта уже должно было дойти.

Захаров положил трубку. Все-таки оно состоялось, это присвоение званий! Несколько дней назад сразу после освобождения Могилева через политуправление дошел слух, что несколько генералов с их фронта повысят в званиях. Но потом слух замер, не подтвердился, и Захаров считал, что отложили до освобождения всей Белоруссии. Оказывается, нет, не отложили!

О себе он не думал ни тогда, ни сейчас. Ему, как политработнику, на быстрое повышение рассчитывать не приходилось, а о Бойко подумал: присвоили или нет ему генерал-лейтенанта? Задержится ли Бойко снова только на исполнении обязанностей командарма или на этот раз пойдет дальше, станет командармом? Присвоение звания генерал-лейтенанта могло подтолкнуть решение вопроса. А это, по мнению Захарова, было бы хорошо для армии.

О том, что Серпилин так и не узнал о присвоении звания генерал-полковника, почему-то сейчас не подумалось. Подумалось о другом, о житейском, связанном с похоронами. Раз дана

такая команда от самого Сталина, тело завтра же утром надо будет отправлять самолетом в Москву. И надо, чтоб Серпилин лежал в гробу в форме, соответствующей новому званию. А где и у кого взять для этого погоны? На всем фронте генерал-полковник один — Батюк. Не у него же просить!

«А хотя почему не у него? — вдруг подумал Захаров. — Как раз у него и просить — есть же у Батюка запасной китель с погонами. И ничего странного в такой просьбе он не увидит. Уж кому-кому, а ему в этом смысле человеческое не чуждо. Барабанова, адъютанта, на своих плечах из окружения вытаскивал, там, где другие родного отца бросили бы. А Серпилина обрядить в последний путь свои погоны не отдаст? Если б даже дурной приметой считал, все равно бы отдал...»

Подумав так, он не откладывая позвонил в штаб фронта. Бывает, что, казалось бы, мелочь, а в эту минуту важней важного.

Батюка не оказалось на месте.

— Уехал к вам,— сказал дежуривший у телефона Барабанов.

«Значит, все-таки вырвался. Говорил, что обстановка не пускаёт. Теперь, значит, пустила!» — подумал Захаров, знавший, что несколько часов назад на тылы соседней армии вышла из лесов еще одна трехтысячная группировка немцев и штаб фронта принимал срочные меры, чтобы она не успела наломать дров.

— Слушай, Барабанов,— сказал он. — У командующего запасные погоны есть?

— Есть,— ответил Барабанов после паузы, значения которой Захаров тогда не понял.

Захаров начал объяснять, но, оказывается, Барабанов уже знал об указе.

— Я знаю, для чего,— сказал он.

— На себя возьми,— сказал Захаров,— пошли эти погоны с кем-нибудь к нам в штаб тыла. Чтоб за ночь на китель пришили. А командующему на меня сошлись.

— Зачем ссылаться, товарищ генерал? Что тут такого? Наоборот, дураком обозвал бы меня, если б не сделал.

— Тогда делай. — Захаров положил трубку, сразу же поднял ее и позвонил Бойко о решении хоронить Серпилина в Москве, на Новодевичьем.

— Кого выделим от Военного совета армии? — спросил Бойко. — Ни вы, ни я по обстановке не сможем завтра уехать.

— Пусть фронт решает. По мне, раз сами не можем, надо Кузьмича послать. Заместитель командующего, генерал-лейтенант...

— Сам подумал,— сказал Бойко. — Но не будем пока напрашиваться. Командующий фронтом приедет — решим вопрос здесь.

Оказывается, Бойко уже знал, что Батюк едет к ним.

Едва Захаров кончил разговор с Бойко, как позвонил Львов. Спросил без предисловий:

— Вам сообщили о решении?

— Сообщили.

— Я передал приказание в воздушную армию,— сказал Львов. — К десяти ровно подготовят на могилевском аэродроме самолет.

— Ясно. — Захаров ждал, не добавит ли чего-нибудь Львов. Но Львов ничего не добавил.

И Захарову пришел на память разговор с Серпилиным про Львова, только что положившего сейчас трубку.

Многого не говорят друг другу люди на войне. И время не позволяет, и обстановка неподходящая, а вдруг, придется к случаю, такое скажут, что ахнешь, не ожидая услышать.

Тогда, в тот вечер, незадолго до наступления, вернулись с передовой и заговорили об артснабжении, о том, сколько снарядов придется выкладывать прямо на грунт в районе артиллерийских позиций, потому что, если складировать их далеко в тылу, при быстром продвижении не успеешь подать вперед. И вдруг Серпилин сказал:

— Пойдем вперед, вполне возможно, что и на Могилевщине и дальше увидим свои довоенные склады...

И стал после этого рассказывать, как гулял по дорожкам Архангельского с другим выздоравливающим, с генералом интендантской службы, и тот вспоминал про Львова — что когда мы в начале войны, отступая, потеряли в западных округах много складов вооружения, особенно винтовок и пулеметов, то вышло это отчасти по вине Львова. В сороковом году Львов написал докладную записку против предложений некоторых военных о более глубоком тыловом складировании и боеприпасов и вооружения и поставил в этой записке вопрос на политическую почву: доказывал, что стремление к глубокому тыловому складированию связано с пораженческими настроениями, и, напротив, выдвигал предложение складировать все это ближе к границе, чтобы в случае войны дополнительные перевозки не вызвали задержек в нашем наступлении. Захаров, услышав об этом, только крякнул от злости. А Серпилин неожиданно для него сказал про Львова:

— Надо признать, что своя логика у него была: раз абсолютно уверен, что с первого дня пойдем наступать по чужой территории,— значит, надо и склады поближе, а то потом вези все с Урала! Если взять его логику за основу, по-своему прав был.

— Он прав, а кто же неправ? — спросил Захаров.

— А это уже более сложный вопрос, кто неправ,— сказал тогда Серпилин. — Как потом война показала, все мы оказались в том или ином неправы. Многое — как вспомнишь — по-другому бы перевоевал!

— Что значит «все»? — возразил Захаров. — Вот ты конкретно, если б с твоим участием обсуждалось, за что бы голос подал?

— Смотря когда,— сказал Серпилин. — Сейчас, когда знаем ход войны, конечно, проголосовал бы безошибочно. А тогда, не предвидя хода войны, не знаю. Скорей всего, исходя из своих представлений о силах противника, насчет размещения складов стоял бы за золотую середину. А вообще-то, кто его знает... Когда задним умом думаешь, надо стараться быть справедливым не только к себе, но и к другим.

«Это верно,— подумал Захаров о Серпилине. — Ты-то всегда старался быть справедливым к другим, а не только к себе».

И мысленно увидел там, на другом конце телефонного провода, только что говорившего с ним Львова, его треугольное лицо. И подумал о себе, что теперь, после гибели Серпилина, у Львова отпадет желание перевести его, Захарова, из этой армии в другую. Теперь не для чего! Тот, с кем он, Захаров, по мнению Львова, спелся, того уже нет. Кончилась спевка.

Сказанное Львовым про самолет требовало немедленных действий, и Захаров стал действовать. Позвонил всем, кому требовалось, что завтра в десять гроб с телом Серпилина должен быть доставлен к уходившему в Москву самолету. Предупредил начальника штаба тыла, который непосредственно занимался всем этим, что привезут генерал-полковничьи погоны и надо пришить их на китель покойного. Приказал прислать сюда на КП Синцова и стал выяснять, вернулся ли с передовой Кузьмич. Оказывается, еще не вернулся. Велел поскорей разыскать, чтоб ехал, а то у Кузьмича была привычка ночевать в частях, любил это.

И, сделав все, что было нужно, вернулся к той же мысли, на которой прервал себя, к мысли о том, что Серпилин — справедливый человек. Еще не привык думать о нем — «был», все еще думал в настоящем времени. Конечно, как всякий привыкший к власти человек, Серпилин не любил, когда что-нибудь вдруг делалось вопреки его намерениям. И когда в его власти оставалось переделать по-своему, переделывал и через чужое самолюбие способен был перешагнуть без колебаний. Но привычка к власти не погасила в нем чувства справедливости. Не считал про себя, что всегда прав — потому что власть в руках. Ломал сопротивление подчиненных и гнул по-своему, только когда дей-

ствительно был уверен, что прав. А с другой стороны, если был уверен в своей правоте, без остатка использовал все допустимые возможности, чтобы доказать эту правоту тем, кто над ним. В этом и была его сила.

«Да, в этом и сила»,— словно кому-то доказывая это, еще раз мысленно повторил Захаров. А тот, кто гнет только потому, что у него власть, тот и сам легко гнется, как только на него с верхней ступеньки надавят. В таком человеке не сила, а тяжесть: сколько на него сверху положат, столько он и передаст вниз, по нисходящей.

А Серпилин — человек сильный, но не тяжелый.

Захаров снова по привычке подумал о Серпилине в настоящем времени — как о живом.

Главный хирург, когда приезжал, показывал осколок, которым убило Серпилина, как говорится, приобщил к делу, но сначала показал. Оказывается, этот осколок после того, как убил Серпилина и покалечил пальцы Гудкову, упал на дно «виллиса»; сделал все, что было в его силах, и упал,— вот и все, что потребовалось, чтобы лишить армию командующего.

Захаров снова вспомнил лицо Серпилина, как-то неловко повернутое к нему там, на столе, и подумал, что было на этом лице такое выражение, словно Серпилин так и не успел заметить происшедшего с ним.

Для других его смерть — смерть человека, который погиб, не успев доделать до конца самого главного за всю свою жизнь дела. Но если он сам не успел этого осознать, не успел понять, что убит,— может быть, для него самого это и есть самая счастливая смерть. Если можно сказать про смерть, что она счастливая. Про какую бы то ни было смерть вообще.

Захаров вспомнил, как Серпилин только сегодня днем, незадолго до смерти, смеясь, говорил ему: «Смотри, Константин Прокофьевич, береги на «У-2» мягкую часть тела, а то немцы снизу в самое беззащитное у начальства место целят, когда оно летит на «русс-фанер». У них инструкция такая!» Об опасности не думал и в последний раз пошутил над ней.

А самое последнее, чему обрадовался,— известию о Минске, что бои на окраинах. А больше уже ничего не услышит, ничему не обрадуется, ничего не узнает из того, что будем знать мы. Хотя, как и все другие люди, думал не только о том, что будет на войне, но и о том, что после...

Даже позабылось, в какой связи, недавно сказал:

— Надо и после войны жить по чести. На войне при всех своих недостатках все же честно живем. Надо и после нее не хуже жить.

Сказал, конечно, не в том смысле, чтобы жить после войны не хуже, чем во время нее. После войны будем жить намного лучше. Какой может быть вопрос! Сказал о себе, как самому после войны жить, не утратив того, с чем жил в войну. «Чтобы в любой, какой хошь момент преставился и перед своим коммунистическим богом чист был»,— вдруг вспомнил Захаров слова не Серпилина, а Кузьмича, сказанные в другое время и про другого человека. Но сейчас казалось, что про Серпилина.

Почему все же решено хоронить его в Москве?

Раньше Захаров не думал об этом. Был занят тем, чтобы сделать все необходимое для выполнения этого приказания. А сейчас подумал. И вспомнил, как это было сказано: «На Новодевичьем, рядом с женой». Не только было передано решение Сталина, а именно его слова, те самые, которые он сказал. Никто другой, кроме него, этих слов не сказал бы. Не в Могилеве и не в Минске, а в Москве, на Новодевичьем, рядом с женой. Может быть, именно поэтому. Значит, Сталин откуда-то знал, что Серпилин полтора года назад похоронил там свою жену, или кто-то сообщил это, когда Сталину докладывали о смерти Серпилина, а он, возможно, спросил о родных, хотел распорядиться о пенсии или о чем-то еще. Кто мог там, в Москве, сказать Сталину, что Серпилин полтора года назад приезжал хоронить жену? Из хорошо и давно знавших Серпилина людей там, в Генштабе, в Москве сейчас никого нет. Иван Алексеевич, его корешок с гражданской войны, уже давно не в Москве, стал из стратегов практиком, сформировал в сорок третьем году танковую армию и командует ею. А больше у Серпилина в Москве близких друзей вроде бы и нет. Ну да Сталин, если захотел узнать, располагает возможностью узнать все, что ему надо. Могли и про смерть жены сказать при докладе, а могли и про ту женщину-врача, о которой Серпилин недавно говорил, делился.

«Про нее могли сказать, а похоронить приказано на Новодевичьем, рядом с женой». Мысленно связав одно с другим, Захаров решил, что все могло иметь значение, даже и это.

В последнее время по ряду признаков чувствуется, что Сталин уже начал думать, как будет после войны с теми, кто от старых семей оторвался, а новые на фронте завел. Война не только смертями, но и разлуками много семей надломила. Как после войны: доламывать или чинить? И по проекту закона о браке, который недавно напечатан в газетах, похоже, что там, наверху, настроение чинить, а не доламывать, не считаясь с личными желаниями.

К Серпилину это не относится, ему чинить давно нечего. И все-таки Захарову казалось, что настроение там, наверху, име-

ло отношение к переданным по телефону словам Сталина: «На Новодевичьем, рядом с женой».

Захаров снова подумал о женщине, про которую Серпилин говорил, что получает от нее письма с другого фронта. Надо будет собрать и отправить ей обратно эти письма. Пусть не гуляют по рукам. Женщина, судя по словам Серпилина, заслуживает уважения. И не такая уж молодая — старший сын на фронте. Как ни тяжело, а придется самому написать ей.

И по своей дружбе с Серпилиным, и по своему положению члена Военного совета Захаров лучше чем кто-нибудь другой знал, что Сталин несколько раз имел личное касательство к судьбе Серпилина. Сталин перед самой войной, после ходатайства старых друзей Серпилина, дал указание разыскать его там, где он тогда находился, и вернуть в армию. Сталин осенью сорок первого года, получив письмо от Серпилина из госпиталя, приказал не посылать его после ранения на подготовку резервов, а дать дивизию и отправить на фронт. Сталин вызвал его к себе после Сталинграда, по его письму о Гринько, и поставил на армию и не дал снять потом, после истории с Пикиным. И перед этой операцией снова сохранил на армии, решил по-другому, чем предлагал Львов, а что Львов писал Сталину, у Захарова не было сомнений.

Так уж случилось в жизни Серпилина, что он оказался одним из тех, кто в силу сложившихся обстоятельств был на памяти и на примете лично у Сталина. Сталин сам решил его судьбу, сам распоряжался ею. Еще сегодня утром, подписывая указ о присвоении званий, в последний раз распорядился при жизни. Распорядился и теперь, после смерти, приказав похоронить в Москве, рядом с законной женой. Этого не сказал помощник Сталина, когда передавал его слова по телефону. «Законной»,— подумал уже сейчас сам Захаров.

То, что помощник так быстро позвонил Захарову после его звонка, доказывало, насколько большое внимание уделил случившемуся сам Сталин, тем более что он и раньше хорошо относился к Серпилину и делал ему в его жизни одно только хорошее.

Подумав: «Одно только хорошее», Захаров почувствовал, как что-то зацепилось за эту мысль, помешало ей гладко пройти вслед за всеми другими. И это «что-то» было памятью о том, что случилось с Серпилиным за четыре года до того, как Сталин приказал найти его и вернуть в армию. Это «что-то» было тоже связано со Сталиным и мешало думать об одном только хорошем. И если бы Захаров знал больше, чем он знал, и мог бы поглубже задуматься над этим «что-то», мысль его, наверно, потеряла бы

свою спасительную прямоту и ясность. Но он не задумался, а только на секунду приостановился перед чем-то невидимым и непонятным. И мысль его осталась такой, какой и была первоначально,— мыслью о том, что Сталин делал Серпилину в его жизни одно только хорошее.

Вошел адъютант и сказал, что в армию приехал командующий фронтом и находится у Бойко.

«Раз не пригласил меня, значит, хочет сначала с глазу на глаз поговорить с Бойко»,— подумал немного задетый этим Захаров.

Тотчас после адъютанта зашел Бастрюков, по сути без необходимости; придумал себе дело, чтобы получить возможность сказать, что вернулся с передовой и был там под обстрелом. Может, и так — чего не бывает! Но как самые свежие новости принес то, о чем Захаров знал и без него, еще днем. Очки не втер, но время отнял.

После него зашел редактор армейской газеты. Захаров не особенно совался в его дела, давал думать самому, но сегодня хотел посмотреть статью, которую просил подготовить. Не снижая ненависти к врагу, надо было в то же время подчеркнуть, что брать его в плен, и побольше,— дело полезное и притом такое, за которое не скупясь награждают. Позавчера вместе с Серпилиным слушали соображения об этом начальника отделения по работе среди войск противника.

В статье говорилось о фактах особенно удачного захвата пленных и о награждении отличившихся при этом солдат, сержантов и офицеров. Просмотрев ее, Захаров снова вспомнил Серпилина, при котором, когда сидели вместе, зародилась мысль дать такую статью, и молча возвратил гранки редактору, кивнув, что все в порядке.

Редактор задержался, понимал, что в армейской газете не могут и не будут печатать извещение о гибели командарма, но все же вопросительно посмотрел на Захарова: неужели так ничего и не дадим в своей газете? Редактор до войны не служил в армии, и логика у него в некоторых случаях жизни оставалась еще гражданская.

Захаров понял его немой вопрос и молча покачал головой: иди и не трогай эту тему, без тебя тошно.

Редактор ушел, а Бойко позвонил по телефону. Захаров подумал, что надо идти к Батюку, но оказалось, наоборот.

— Константин Прокофьевич, командующий к вам пошел.

«Вон как! И со мной тоже хочет с глазу на глаз. С ним, со мной, а потом вместе, что ли?» — подумал Захаров и вышел встретить Батюка.

Идти от Бойко — всего ничего! Дольше на «виллис» садиться и слезать. Ночь была темная; адъютант — не Барабанов, а второй — шел рядом с Батюком, держа фонарик.

— Захаров! — окликнул Батюк, подходя.

— Я, товарищ командующий.

Батюк подал ему в темноте свою тяжелую руку и сказал:

— Пойдем к тебе в избу. А ты останься, подыши воздухом,— повернулся он к адъютанту.

Питание от движка было хорошее, и, когда Батюк сказал: «Сели» — и первым опустился на лавку напротив, Захаров на свету мог хорошо разглядеть его лицо. Утомленное лицо человека, впервые присевшего после тяжелой работы. «Да, работа была тяжелая. Была и остается»,— глядя на Батюка, подумал Захаров не только о нем одном.

Батюк сидел, подперев кулаком свое тяжелое, усталое лицо. Как сел, как упер локоть в стол, а подбородок уткнул в кулак, так и продолжал сидеть молча, словно собираясь с силами.

— Лежит как живой,— после долгого молчания сказал Батюк и пожал плечами, будто удивился собственным словам. Захаров тоже удивился, но не тому, что было сказано, а тому, что Батюк еще по дороге сюда, никого не предупредив, заехал в Теребеньки, в штаб тыла, проститься с Серпилиным.

— Ты-то уже простился, а я нет. И завтра времени не будет... Все же чересчур много вы давали ему ездить, верно мне Бойко сказал!

«Сказал все же! Этого и следовало от него ожидать. Говорил самому Серпилину, говорил при жизни, сказал и после смерти. В этом весь его неуклончивый характер. Сживемся, но будет нелегко»,— подумал Захаров о себе и Бойко, как будто тот уже назначен командармом вместо Серпилина.

А вслух доложил, что сам опросил тех, кто был при этом. Все в один голос подтверждают: случай! Как раз в эту поездку ни на какой риск не шли. Поехали из корпуса в корпус кружным путем, где прицельного огня ни по одному участку не велось.

— Это уже слышал,— прервал Батюк. — Так и бывает на войне. Рискует подряд год, второй, третий — и с рук сходит. А потом за все разом отольется. Не могу примириться, что такого командарма лишился! Сделал в этой операции для ее успеха больше всякого другого, а даже до Минска не дошел, не увидел плоды усилий! Поставил вопрос, чтобы в Минске похоронить его, заслужил это. Может, и согласились бы, да,— он досадливо поморщился,— где сразу два мнения, ни одно не проходит. Я — чтобы в Минске, а Львов уперся — чтоб в Могилеве. В Минске — «чрезмерно», видишь ли! Человек помер, а он все еще меряет его

своими мерками, боится лишнего передать. Я уж не удержался, спросил: что вы, гробовщик, что ли, гроб ему примеряете? Пропустил мимо ушей и все равно уперся.

Батюк говорил о Львове не так, как это положено при подчиненных, но, видимо, не вызвав к себе Захарова, а, наоборот, сам придя к нему, считал себя сейчас как бы вне службы и держался по-товарищески.

— Ну, а где два мнения снизу, третье — сверху!.. Бойко предлагает Кузьмича сопровождающим от армии послать. Как ты смотришь?

— Так же, как и он.

— Так и сделаем,— сказал Батюк. — Возложим на него, чтобы и фронт представлял вместе с заместителем начальника политуправления. Другого в таком же звании, как он, сейчас некого оторвать. Пусть проводит своего командарма. Тот его взял из Москвы сюда к нам, пусть теперь этот его до Москвы проводит. Вернется, решим, как дальше. Если Бойко командармом утвердят — староват для него в заместители, в отцы годится.

Сказав это, Батюк поднял глаза на Захарова. То, как он сказал про Бойко, значило, что он уже решил просить Москву об утверждении Бойко командармом. Но хотя уже решил, вопросительный взгляд значит, что желает для очистки совести знать мнение Захарова.

— Генерал-лейтенанта получил,— добавил Батюк про Бойко, как бы еще и этим подкрепляя правильность своего решения.

Захаров сказал то, что думал: Бойко можно и нужно выдвигать в командармы. Хотя есть не только «за», но и «против». «За» — то, что он первоклассный начальник штаба армии, показал себя на штабной работе не слабее, а, может, даже сильнее Серпилина, когда тот был в этой же роли под Сталинградом.

— Равнять не для чего,— перебил Батюк. — С тех пор все ума набрались. Многих не узнать!

Захаров добавил еще одно «за»: исполняя перед наступлением обязанности командарма, Бойко хорошо с ними справлялся; всем — сверху донизу — дал почувствовать, чтоб послаблений не ждали, настоять на своем способен.

«Против», с точки зрения Захарова, было то, что Бойко мало ездит, не стремится бывать в войсках. Принципиально считает, что поездки в войска должны быть сведены до минимума, что управление современным боем почти постоянно требует присутствия на командном пункте. Поэтому в армии хотя уважают Бойко и знают, что у него рука твердая, но самого знают больше по голосу, по телефону, чем в лицо.

— Это поправим,— сказал Батюк. — Потребуем бывать в войсках. Про свои теории пусть после войны в академиях книги пишет. Такая вещь поправима, когда не трус.

— Чего нет, того нет,— сказал Захаров. — Когда не ездит, то из принципа.

— Будем представлять,— сказал Батюк. — А на тебя, понимаешь, имею жалобу по вопросу о трусости. От Львова.

Захаров удивился. Уж чего-чего, а такой жалобы на себя от Львова не ожидал.

Батюк усмехнулся, довольный его удивлением.

— Не о твоей трусости, твоя трусость известная, а из-за Бастрюкова. Говорит: «Захаров непринципиально себя вел: сам знал про Бастрюкова, что трус, а мне не сообщил». А я ему на это говорю: тут, Илья Борисович, наш общий с Захаровым ответ. Бастрюков еще при мне в армии был, оба знали, что храбрости в нем с недоливом. Но, с другой стороны, куда ж их девать, таких? Тех, кто храбрый,— под пули, а тех, у кого поджилки слабые, — в тыл, что ль, списать? Хотим или не хотим, а процент со слабыми поджилками имеем на всех должностях. Никуда не денешься. Только знать надо, от кого и чего можно ждать. Вот мы про Бастрюкова знали, какой он, и жили без происшествий, а вы не знали. А что сами узнали, а не от Захарова, тоже, считаю, правильно с его стороны! Так и отрезал. Тебя в обиду не дал, но Бастрюкова, думаю, на днях лишишься.

— Спасибо, Иван Капитонович.

— За что — за то, что Бастрюкова лишишься? — усмехнулся Батюк. — За это не меня, Львова благодари. А меня поздравь. Генерала армии получил.

— Поздравляю!

— Спасибо. Всех троих в один день. И меня, и Бойко, и покойника. Шут его знает, почему так? Вот погибнет человек, думаешь о нем и о себе, и вроде бы самое время все то добро вспомнить, что ты ему сделал,— тем более есть чего. Так нет! Стоял там над ним, глядел, а в память влезло, как приехал тогда севернее Сталинграда к нему в дивизию, когда он прорвать немца не мог, и крестил его так, что еще немного — и, кажется, или застрелил бы, или ударил. А он стоял и молчал, ни слова не говорил. Бледней, чем теперь в гробу... Вспомнил — и словно бы виноват перед ним. Почему мы перед мертвыми чувствуем себя виноватыми, скажи, а, Захаров?

— Наверно, потому, что уже ничего для них сделать не можем.

— Может, и так. А может, просто потому, что они мертвы, а мы живы, а не наоборот. — Батюк встал. — Пойдем к Бойко.

Уже предупредил его, чтоб накоротке ужином угостил. И кого нет, помянем, и новые погоны обмоем. Да и не ел я с утра. Что бы ни было, а есть хочется.

После короткого ужина, когда проводили Батюка, а Бойко вернулся в штаб доделывать еще что-то — как он сказал — недоделанное, Захаров пошел к опустевшей избе Серпилина.

«Всего вчера сюда переехали, а сегодня уже дом без хозяина»,— подумал Захаров, заходя в избу, где, сидя на табуретке, повалясь головой на стол, спал дожидавшийся его Синцов.

Захаров сел за стол на место Серпилина и, велев Синцову сесть напротив, сказал, что похороны состоятся в Москве, на Новодевичьем; их армию будет представлять генерал Кузьмич, а Синцов пусть готовится к вылету вместе с ним, в десять утра. В шесть утра придет капитан из отдела кадров; Синцов должен вместе с ним составить опись личных вещей, которые надо отвезти родственникам, а также перечень орденов и медалей, с тем чтобы взять их с собой в Москву под расписку для похорон.

— Будешь при нем до конца,— сказал Захаров про Серпилина, словно все, что было, еще не конец, а будет еще какой-то конец, при котором надо быть.

— Ясно! — Синцов понял, что рухнула его надежда завтра среди всего связанного с похоронами, которые, как он считал, будут в Могилеве, все-таки вырваться к Тане и сказать ей, что он сам думает об их дальнейшей жизни. Но хотя этого никак нельзя было откладывать, это все равно откладывалось теперь до возвращения из Москвы.

— А сейчас дай мне те письма, которые он получал. Знаешь, о чем говорю? — сказал Захаров.

Синцов кивнул. Он знал о письмах, которые приходили сначала из Архангельского, а потом с соседнего фронта, и, когда сам сдавал на полевую почту письма, которые Серпилин отправлял в ответ, видел на конвертах имя и фамилию той женщины — лечащего врача, которую видел в Архангельском у Серпилина.

Он уже отложил все четыре ее письма, лежавшие у Серпилина в кармане запасного кителя. Сам собирался спросить у Захарова, что делать с этими письмами, и сейчас достал их, завернутые в газету и перевязанные. У Серпилина они лежали в кармане просто так; это уже Синцов обернул их после того, как достал.

— Извещу ее,— сказал Захаров, взяв письма. — Надо объяснить, как вышло. Полевая почта есть?

— Там на конвертах написано... — Синцов замялся, но все-таки сказал о том деликатном деле, о котором уже думал. Серпилин писал вчера вечером ей письмо, но не докончил и положил

в китель вместе с ее письмами. И Синцов, когда брал их, нашел и это недописанное письмо и сначала сам хотел отправить ей, приписав от себя, как все случилось... Он подошел к стенке, где на гвозде висел запасной китель Серпилина, достал письмо — всего полстранички — и положил перед Захаровым.

— Вчера ночью начал писать...

Захаров медленно прочел письмо, низко нагнув над ним седую круглую голову. Потом сложил листок пополам и еще пополам, словно запечатал.

— Пошлю вместе с ее письмами. Пусть все у нее будет. — И, покосясь на Синцова, добавил: — А ты напиши ей после похорон, как хоронили.

— Напишу. — Синцов подумал про себя, что этой женщине нужней всех быть на похоронах Серпилина. Увидеть его в гробу — последнее, что ей остается. И Захаров не такой человек, чтобы не подумать об этом. Но сделать это, наверно, не может, потому и молчит.

— Вернешься, расскажешь, как было,— сказал Захаров. — Выясни, как с его родственниками — в чем нуждаются, что для них сделать, послать из армии. Утром, в семь, зайди ко мне. Может, еще что придет на память, что сейчас из головы вон! Где ночуешь?

— В соседней избе.

— Иди, спи. — Захаров пошарил взглядом по столу: есть ли на столе чернильница и ручка — и, увидев их, добавил: — Еще тут посижу, напишу ей. До завтра отложить — неизвестно, какой завтра день будет.

Синцов вышел со странной тревогой в душе, словно он делал что-то не то, уходя и оставляя другого человека здесь, в этой комнате, за этим столом, за которым сидел Серпилин.

Но было приказано, и вышел.

Захаров остался один и несколько минут, обхватив голову руками, неподвижно просидел за столом, собираясь с силами, чтобы еще раз перечесть недописанное письмо Серпилина, а потом написать ей.

— Дописать вместо него,— сказал он вслух, в тишине. Серпилин успел написать всего десять строчек. Ничего такого особенного в них не было — что жив и здоров, что все идет наилучшим образом,— так и написал — «наилучшим», что погода хорошая и плечо не болит. Раньше, когда дождило, побаливало, а сейчас, правда, не болит, все прекрасно. Обращался к ней по имени — «милая Оля».

«Как и не было человека»,— подумал Захаров не о Серпилине, который умер, а о ней, которая была жива, но которой

теперь тоже не было. Не было «милой Оли», которой писались эти письма. Некому было дальше их писать. Он знал от Серпилина, что ей уже сорок лет, и поэтому особенно жалел ее. Чем старше женщина, тем меньше у нее остается времени, чтобы называли «милой Олей».

На столе лежал блокнот Серпилина. Тот самый, на листке из которого он писал вчера вечером. Даже вмятины от букв остались, прошли через бумагу, потому что писал не ручкой, а, по многолетней военной привычке, карандашом и сильно нажимал на карандаш. Захаров вырвал два листа, чтобы не оставалось следов этих букв, и стал писать письмо, обдумывая каждое слово, чтоб вышло покороче, считая, может быть и превратно, что горе в подробностях не нуждается.

Дописав письмо и положив его вместе с четырьмя ее письмами и неотправленным письмом Серпилина себе в планшет, Захаров подумал, что все это надо послать не полевой почтой, а с оказией. Но как лучше это сделать, сейчас на ум не приходило, голова устала.

Он поднял трубку телефона и приказал соединить себя с Бойко, если еще не спит. Оперативный дежурный доложил, что генерал-лейтенант Бойко вместе с командующим артиллерией выехал в Теребеньки, в штаб тыла, прощаться.

Захаров звонил Бойко, чтобы спросить, появился ли у него Кузьмич. Дежурный сообщил, что генерал Кузьмич еще в дороге. Был в триста седьмой дивизии, а недавно проехал на машине через штаб корпуса.

— Вот оно что. — Захаров, положив трубку, подумал, что Кузьмич сегодня забрался дальше всех. Триста седьмая затягивала горло мешка, и офицеры связи добирались до нее только самолетами. А Кузьмич все же пропер и туда и обратно на машине...

Захаров поднялся из-за стола, собираясь идти, и заметил лежавшую с краю пустую, без бумаг, красную папку. И вспомнил, как не в этой, а в другой избе сидели вместе с Серпилиным и смотрели лежавшие тогда в этой красной папке, пустой сейчас, выборки из разных политдонесений, которые перед наступлением сделаны были для сведения Военного совета армии. В тех выборках, что смотрели тогда с Серпилиным, резюмировались настроения последних недель и отмечался их общий здоровый характер, говоривший об уверенности в победе и готовности разгромить фашистов. Но приводились — как выражались авторы донесений — и отдельные примеры нездоровых настроений. Воевавшие по три года люди порой боялись поверить себе, что они и в будущем наступлении останутся живы. А иногда и в их разговорах и в том, что они писали домой, проглядывала как бы за-

таенная надежда, простившись перед уходом в бой с близкими, потом все-таки обмануть смерть — остаться живым.

— Ну что ж,— сказал тогда Захаров, довольный, что выборки лишний раз подтверждали, что, несмотря на усталость от войны, настроение в армии перед наступлением хорошее. — В общем, надо считать, документ неплохой!

И вдруг его поразило какое-то странно печальное выражение лица Серпилина.

— В общем-то неплохой,— сказал он. — А еще лучше, если оправдаем возложенные на нас надежды, обойдемся в этом наступлении меньшими потерями, чем когда-нибудь. Столько всего получили, такая сила за плечами, что грех не постараться! «Слишком большие потери» — говорим, а «слишком малые» — разве скажешь? Про какую людскую жизнь язык повернется сказать, что она слишком малая потеря? Как ни мало потеряем, а кто-то все же умрет... Когда возмещаем убыль, заменяем, перемещаем,— говорим и себе и другим, что незаменимых нет. Верно, нет — все так. Но ведь и заменимых тоже нет. Нет на свете ни одного заменимого человека. Потому что как его заменишь? Если его заменить другим — это будет уже другой человек, а не он.

«Да, это будет уже другой человек, а не он»,— мысленно повторив слова Серпилина, немного удивившие его тогда, а сейчас показавшиеся такими понятными, подумал Захаров, глядя на эту пустую теперь красную папку, лежавшую на пустом столе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

В Москву Синцов не полетел. Бойко ночью принял другое решение. Вспомнил, почему Серпилин расстался с Евстигнеевым — потому что родственник,— и решил: раз родственник, его и послать в Москву на похороны; и дольше, чем Синцов, был адъютантом и лучше его знает семейные дела покойного.

Утром, идя к Захарову и увидев на лавочке возле избы понуро сидевшего Евстигнеева, Синцов подумал, что полетят вместе. Но Захаров объяснил ему, почему решили послать в Москву не его, а Евстигнеева.

— Все, что должен был сам везти, передай ему, а до самолета проводи. Пока не взлетят... Когда вернешься, сразу явись к командующему. Сказал мне, что сам, лично, определит твою дальнейшую судьбу.

«Сам, лично! Почему сам, лично?» — подумал Синцов.

— Проводи, пока не взлетят,— повторил Захаров. — А мы с командующим в войска. Такое наше дело,— сказал так, словно,

несмотря на необходимость этого дела, испытывал неловкость перед покойным, что не сможет проводить его до самолета.

Захаров назвал Бойко командующим с таким чуть заметным, но все же заметным оттенком в голосе, по которому Синцов понял: назначение Бойко — дело решенное.

Так оно и было. Еще ночью и Батюк и находившийся в штабе фронта генерал-лейтенант — представитель Ставки — звонили в Москву и высказали единое мнение: назначить командующим армией генерал-лейтенанта Бойко, и чем скорей, тем лучше, учитывая, что смена командующего происходит в разгар операции.

Это было доложено тут же ночью Сталину и утверждено им.

— Пойдем, передам тебе все... что в Москву собрали... — выйдя из избы, сказал Синцов поднявшемуся навстречу Евстигнееву.

Мимо них с крыльца спустился Захаров, сел в «виллис» и подъехал к избе Бойко. В ту секунду появилась длинная фигура Бойко. Новый командующий, не здороваясь с Захаровым,— наверно, уже виделись сегодня,— шагнул к своему «виллису», стоявшему первым, сел в него, и обе машины рванули с места.

Синцов и Евстигнеев молча смотрели вслед уходившим вдаль, по деревенской улице, машинам. Месяц назад, принимая от Евстигнеева несложную адъютантскую канцелярию, Синцов, хотя и не был ни в чем виноват, все-таки испытывал неловкость, занимая его место. Но сейчас этого места уже не существовало. И человека, при котором они с Евстигнеевым состояли, больше нет, и ему уже не нужны ни помощники, ни адъютанты, ни ординарцы, вообще никто не нужен.

Лицо у Евстигнеева опухло от слез, но голова работала нормально и руки тоже; отметил по списку все, что следовало, забрал у Синцова чемодан, который надо было везти в Москву, и портфель с орденами, которые понесут на подушках перед гробом. Чемодан пристроил в ноги и, не выпуская портфеля из рук, сел в «виллис» на заднее сиденье вместе с Гудковым, попросившимся проводить тело командующего до самолета. Синцов сел рядом с водителем. Но когда подъехали к избе, где ночевал Кузьмич, тот, выйдя, сказал, чтоб Синцов пересел к нему. Хотел расспросить.

Пока ехали, Кузьмич, повернувшись к Синцову и трубкою приложив руку к уху, то и дело удивленно дергал головой, словно никак не мог согласиться с тем, как все это произошло. Потом сказал сердито:

— Война, война, мать ее так... Чего она только не придумывает, чтобы человека жизни решить, уму не поддается! Другой, как я, уже с ярмарки едет, и все ничего, никакой леший его

не берет. Намедни в дивизии был, уже другой раз за неделю, пленных на своем пути опять цельный, считай, взвод взял. Пока построиться им приказал, какой-то ихний хрен из-за куста на меня, на генерала, с автоматом. С трех метров бил — сито бы из меня сделал! Так туточки вам, пожалуйста, автомат у него заело — перекос патрона. Потом, когда застрелили его, приказал поглядеть. Так и есть. Перекос! И через этот перекос обратно — живу. А тут человек в полном расцвете своих сил — и нá тебе — осколком, за пять верст достали! Разве это справедливо? — спросил Кузьмич с такой силой сочувствия к Серпилину, словно где-то в душе взвешивал, кому из них двоих справедливей было бы погибнуть.

Когда приехали в штаб тыла и поставили гроб в автобус, Кузьмич полез туда и махнул рукой Синцову и Евстигнееву, чтобы лезли за ним. Сел сбоку на откидную скамейку, в обычное время служившую в этом штабном автобусе койкой, скинул с головы фуражку и, держа ее в руках, свесив между колен руки и низко нагнув голову, так и просидел всю дорогу до Могилева.

Синцов сидел рядом. Если ехать опустив глаза,— перед глазами обитый кумачом гроб. В штабе тыла, в избе, он стоял открытый, но перед тем, как выносить, его накрыли крышкой и прихватили в ногах и в изголовье гвоздями. Наглухо не заколачивали, еще будут там, в Москве, открывать.

Если бы смотреть на дорогу, можно было бы вспомнить, где и что на ней было за эти дни. Где стреляли из лесу немцы, где встретили колонну пленных, где застряли на объезде. И где остановились и разговаривали с регулировщиком, и где и кому был выговор, и где благодарность, и где, по приказанию Серпилина, записаны в адъютантский блокнот напоминания о представлениях к орденам. И где Серпилин сказал об одном не полюбившемся ему человеке, что ревизоры из таких, как он,— лучше некуда, а поставь его начальником службы тяги — ни хрена не потянет! Каждый день после взятия Могилева садились и ехали по этой дороге все дальше и дальше на запад...

«А теперь возвращаемся ногами вперед»,— горько подумал Синцов и, подняв голову, стал смотреть в окно автобуса.

Окно высоко, и, если глядеть сидя, в него видна не дорога, а только лес да небо...

Все равно, никуда от себя не денешься и того, что сказала Таня, не выбросишь из памяти. И хотя погиб Серпилин, но в голову лезут мысли о собственной жизни, в которой одно воскресло, а другое не хочет умирать, и неизвестно, как дальше жить...

Аэродром в Могилеве уже подправили после наших недавних бомбежек. Затрамбовали воронки и уволокли с поля остатки

сгоревших немецких самолетов. За краем летного поля торчали их плоскости и фюзеляжи.

В Могилеве базировались «ИЛы»; автобус подъезжал к стоявшему на краю поля «дугласу» под рев взлетавших штурмовиков.

Синцов подумал, что не нынче-завтра наступление заставит штурмовиков пересесть куда-нибудь позападнее. Расстояние до целей становится все длиннее...

У «дугласа» возникла та неизбежная суета, какая бывает при погрузке непредусмотренных габаритов. Сначала считали — гроб пройдет так, а потом оказалось — надо заносить по-другому. Потом стали вынимать из автобуса временные стойки, на которых был закреплен гроб по дороге. Решили приладить их и в самолете. Тем более что летчики обещали болтанку: синоптики предупредили о грозовом фронте между Смоленском и Москвой.

Суета не относилась ни к прошлому, ни к будущему. В прошлом была жизнь, в будущем — похороны. А это все так — перевалка от одного к другому.

Кузьмич, чтоб не обращались то и дело: «Разрешите пройти, товарищ генерал?» — отошел в сторону и шагал там взад и вперед, все так же опустив голову и держа фуражку в руке, как ехал в автобусе.

К смерти — к чужой, к своей ли — он относился достаточно просто, да и не считал, что к ней можно относиться как-то по-другому. Шутил, что смерть — дело военное, все по уставу, до поры был жив, а пришла пора — помер. Но как ни шути над смертью, а в глубине души человек не может с ней примириться.

Серпилин был дорог Кузьмичу и тем, что тогда, в Сталинграде, заступился, отговорил отправлять его в госпиталь раньше конца сражения, и тем, что потом не возражал взять к себе в заместители, не побоялся преклонных лет. Он не испытывал к Серпилину жалкой благодарности людей, знающих о себе, что они не на своем месте, но по слабости души готовых любить того, кто их терпит. При собственном взгляде на роль заместителя как на человека, всегда готового ехать всюду, куда надо, и делать все, что надо, Кузьмич считал себя на месте; и радовался, что не обманул веры Серпилина — старый конь борозды не испортит.

Но сейчас этого верившего в него человека не стало. А заново доказывать кому-то другому, тому же Бойко, то, что один раз уже доказано, тяжело. И эта тяжесть на душе напоминала о возрасте и старых ранах. Улетая в Москву, он понимал, что в разгар операции от войны все же отрывают того, о ком думают, что он меньше других при деле,— скрывать это от себя не приходилось. А насколько ты при деле, зависит не от одной твоей

готовности, но и от тех, кто решает, какое дело тебе дать и какое не дать, что сможешь и чего нет.

После того как закрепили гроб в самолете, Евстигнеев остался внутри, а Синцов спрыгнул на землю. Командир экипажа пошел к Кузьмичу доложить.

— Товарищ генерал-лейтенант, к вылету готовы.

Кузьмич повернулся и испытующе посмотрел ему в лицо:

— Недоволен, что с нами летишь?

— Почему недоволен, товарищ генерал-лейтенант? Выполняем, как нам приказано.

— Мало что приказано. Знаю, вы этого не любите. Не бойся — долетим.

И, сказав это, вспомнил, как познакомились с Серпилиным, когда летели в январе сорок третьего из Москвы в Сталинград. Тоже на «дугласе» и тоже вместе, только оба живые.

У трапа стоял Синцов.

— Прощай,— сказал Кузьмич и, уже шагнув на первую ступеньку, повернулся: — Чего делать будешь?

— Если согласие дадут, в строй пойду.

Кузьмич посмотрел на Синцова, думая не то о нем, не то о самом себе, кивнул и полез в самолет.

Бортмеханик втянул вслед за ним алюминиевую лесенку и закрыл изнутри люк. Воздушные струи от винтов прижали траву и погнали ее назад так, словно сейчас оторвут от земли.

«Дуглас» вырулил по краю летного поля, взлетел и пошел вдоль Днепра на север.

Синцов вынул часы и прикинул по времени — раз Бойко с Захаровым уехали в восьмом часу в войска, раньше пятнадцати часов вряд ли вернутся, а сейчас — десять тридцать. Время позволяло заехать в санотдел, хотя бы оставить записку Тане. Что она среди дня на месте, надежд мало.

— Поехали?

— Поедемте.

Гудков глядел вслед самолету и недовольно оторвался, словно что-то еще видел там, в небе, а ему помешали.

— Как рука? Не растрясло?

— В автобусе маленько зашиб об лавку, а так ничего. Военврач, когда рану обрабатывал, сказал: «Нервы не перебиты, а косточки срастутся. Баранку удержишь».

Синцов пошел было к машине, но Гудков задержал его: хотел обратиться с просьбой, пока вдвоем...

— Командир автобата сочувствует, обещал оставить у себя. «Лишь бы, говорит, тебя медицина куда-нибудь от нас не загнала. Об этом уж сам постарайся!» А как я могу постараться?

Может, вы скажете в санчасти штаба, чтобы мне к ним разрешили на перевязки ходить? А я на это время у нас в автобате, на ремонте пристроюсь. Хотя и с одной рукой, а дело себе найду.

Что Гудков найдет себе дело, сомневаться не приходилось. Без дела сидеть он не умеет. А вот что ответят в санчасти штаба, неизвестно. Гудкову все еще кажется, что ты адъютант командующего. А ты уже не адъютант!

— Поговорю,— пообещал Синцов.— Может, что и выйдет.

И автобус, и «виллис» Кузьмича уехали, а второй «виллис» стоял на месте, ждал.

Синцов перед дорогой вытащил пачку «Беломора» и протянул Гудкову и Сергею, водителю связистов, который как вчера в момент гибели Серпилина заменил Гудкова, так до сих пор и ездил на этом «виллисе».

— Заедем на обратном пути в санотдел. Хочу жене записку оставить,— сказал Синцов, когда закурили.

— А то, ясно, беспокоится за вас,— посочувствовал Гудков, хотя сам Синцов как раз об этом меньше всего думал. В санотделе знают подробности смерти командующего, что только он один погиб, а все остальные целы.

— Незадачливый я все же. Одно на другое...— затянувшись несколько раз подряд, горько сказал о себе Гудков.

— А что вы могли?

— Не мог, а все думаешь: не догадался, как ехать! Чуть нажми — и не настиг бы осколок. Хожу, как виноватый.

И Синцов, глядя на опечаленное лицо Гудкова, подумал: «Хотя и не виноватый, но еще вопрос, захочет ли кто-нибудь в штабе ездить с ним после этого. Вслух в таком суеверии не признаются, а ездить, вполне возможно, не захотят».

— Что, тронемся?

Гудков неловко полез на заднее сиденье — не привык быть пассажиром. Синцов сел впереди. Минуту постояли, глядя на взлетавшие наперерез «ИЛы», и тронулись.

В то утро, когда Синцов ездил на аэродром, Зинаида не отправляла, как вчера, раненых, а сидела в санотделе и по приказанию своего начальника Рослякова готовила данные для Военного совета армии.

Армия все дальше, вперед, уходила от станции снабжения, и, хотя раненых было не так уж много, с летучками возникали трудности из-за все более напряженного потока грузов. Предстояло решить, как быть дальше; может, дополнительно сформи-

ровать свою санитарную колонну из трофейных немецких грузовиков и на ней подавать часть раненых не на станцию снабжения, а глубже в тыл, прямо к сортировочным госпиталям?

Росляков с утра поехал доказывать, что такую колонну можно собрать. Вместо Зинаиды на станцию послал другого врача, а ее засадил подытожить факты задержки летучек.

Пока Росляков еще не уехал, она попросила его помочь связаться с Синцовым,— сказать про Таню. Росляков соединил ее с оперативным дежурным и в ту же минуту вскочил в машину и уехал. Уже без него услышав от дежурного, что Синцова нет,— уехал провожать тело командующего,— Зинаида попросила передать Синцову, когда вернется, что его жена ранена, эвакуирована и оставила для него письмо.

— Будет передано,— обещал оперативный дежурный и положил трубку.

Зинаида передала все это через оперативного дежурного, чтобы там, в штабе, знали, что у Синцова ранена жена. Такое известие облегчало ему возможность вырваться и приехать. А приехать было необходимо. Зинаида, вернувшись со станции, все-таки прочла Танино письмо.

В первый раз, когда Таня всучила ей это письмо, Зинаида продержала сутки и отдала. А теперь прочла. И не жалела об этом.

«Пусть хоть с кулаками бросается,— думала Зинаида про Синцова,— а скажу ему, что прочла! Заклеила обратно так, что не заметит, а все равно — скажу! Потому что без этого нельзя объяснить ему, что он должен удержать Таню, хотя она и уехала».

Ей казалось, что она может его научить, как это сделать. Хотя на самом деле она совершенно не знала, что ей надо говорить Синцову, потому что не знала самого главного — как он сам отнесется к тому, что может быть жива его жена, которая считалась погибшей. А вдруг он любил ее больше, чем Таню? И продолжает любить?

До сих пор в глазах Зинаиды — женщины с неудавшейся семейной жизнью — Таня, несмотря на все свои беды, была счастливая. И из-за того, что Таня, оказывается, тоже несчастливая, Зинаида теперь еще сильнее любила ее и хотела помочь ей. Чем помочь, она сама не знала, но, как свойственно людям с сильным характером, считала, что все это должно выйти само собой, потому что это правильно.

Когда Синцов зашел в избу, где сидела за столом Зинаида и писала какую-то бумагу, она, подняв на него глаза, удивилась, как быстро он появился.

— Здравствуй. Уже передали тебе? — Она встала навстречу Синцову.

— Что передали? Ничего мне не передали. Ездил на аэродром, сопровождал, в Москве будут хоронить. На обратном пути заехал... Знаешь, конечно, что у нас?

— Знаю,— сказала Зинаида, подумав про себя: «Я-то знаю, а ты-то вот не знаешь». — Садись. — И, еще не решив, с чего начать про Таню, оттянула время, спросила: — Ты с ним был, когда это вышло?

— С ним.

— И тебе ничего?

— Ничего. Только его одного... И водителю руку.

— Нам так и говорили.

— Так это и есть.

Зинаида больше не спрашивала, молчала, и он был рад этому.

— Тани нет?

Синцов понимал, что Таня могла быть здесь среди дня только по случайности, но все-таки спросил.

— Нет.

— Я напишу ей записку и оставлю у тебя.

Синцов потянулся за полевой сумкой.

— Погоди,— остановила его Зинаида. — Ее вчера ранило. Опасности нет. Ранение не тяжелое, можно считать — легкое.

Он тупо посмотрел на нее, словно еще не поняв, что она сказала. Потом спросил:

— Где она?

— Увезли в тыл. Сама вчера вечером погрузила на летучку. Искала тебя с утра, звонила через дежурного. Когда ты вошел, подумала: он передал...

— Куда? — спросил Синцов, не отвечая на неважное: «звонила — не звонила», «передал — не передал»...

— В спину,— сказала Зинаида. — Осколок гранаты, небольшой. Внутри ничего не задел, ни почки, ни плевры. Вошел сзади, снизу и застрял под ребром. Чувствовала себя хорошо, когда я ее погрузила, температура невысокая. Очень удачное, можно считать, легкое,— еще раз повторила она.

— А почему, если легкое, не оставили на излечение в армии? Почему в тыл?

Зинаида пожала плечами.

— Что, я врать тебе буду? В самом деле легкое. Считается средней тяжести, потому что в таком опасном месте. А по сути, легкое.

— А почему же не оставили? — снова спросил Синцов.

— Так получилось. — Зинаида помолчала и добавила: — Она сама не захотела.

Ответить так было самое трудное — за этим ответом стояло все, что ей предстояло рассказать, а ему узнать.

Но лицо Синцова осталось спокойным. Он услышал именно то, что и ожидал сейчас услышать.

— Когда ее вчера ранило?

— Около двух часов. — Зинаида рассказала все, что знала сама. — Наш генерал велел реляцию написать. На Красное Знамя!

Но Синцов — это было видно по его лицу — про орден пропустил мимо ушей. Думал о другом: значит, до ее ранения не прошло и шести часов с той минуты, когда она там, на Березине, сказала ему о Маше и о том, что им дальше нельзя быть вместе. Все в один день!

— В голове не укладывается,— сказал он вслух.

И в самом деле не укладывалось. Много раз в жизни боялся за нее, а ни вчера, ни сегодня, после смерти Серпилина, просто не приходило в голову, что еще и с ней что-то может случиться.

— Она мне письмо для тебя отдала,— наконец решилась Зинаида. — Еще раньше, перед наступлением, написала, но все с собой носила. А когда прощалась, отдала для тебя... Посиди прочти, я сейчас вернусь. Мне надо уйти.

Ничего ей не было надо, а просто вышла, потому что не хотела и боялась видеть его лицо, когда он будет читать это письмо.

Синцов держал в руках письмо и почти наверняка знал, что в нем. Только написала раньше, чем сказала. «С собой носила...» Убитой быть, что ли, боялась?

Он посмотрел на самодельный, пожухлый, пожелтевший от клея пакетик с ее письмом и уже хотел вскрыть его, достать письмо, но остановился, пораженный мыслью, что она могла быть убитой. До этого, пока говорил с Зинаидой, все думал про Таню — как она ранена, «нетяжелое, легкое, маленький осколок вошел, застрял...»,— а сейчас представил себе, что могла быть убита! И ему бы отдали письмо от нее, уже не от живой, а от убитой.

Осталась здесь или не осталась, и в какой госпиталь попадет, и когда пришлет оттуда номер своей полевой почты, да и в этом письме, что бы она там еще ни писала вдобавок к тому, что уже сказано,— все равно это ничто рядом с тем, что могла быть убита!

С чувством готовности к чему угодно, раз она жива, он разорвал тесно набитый бумагой пакетик, отцепил приклеившийся к обертке уголок одного из листков письма и начал читать.

«Ваня, я виновата перед тобой: твоя жена, возможно, жива, а я вчера за всю ночь не решилась сказать тебе про это...» — так прямо и начиналось ее письмо. Дальше она писала подробности: как именно узнала все это от Каширина, объясняла, что Каширин работает в штабе партизанского движения их фронта, и Синцов,

если захочет, может сам туда позвонить и поговорить. Как будто он не поверит ее собственным словам и начнет проверять их у Каширина или у кого-то другого!

Все это уместилось на первом, исписанном с двух сторон листке, а на втором начинались объяснения, почему им нельзя теперь быть вместе.

«Для тебя самого должно быть понятно,— писала Таня,— что я больше не могу оставаться с тобой после того, как я сама тебе сообщила, что твоя жена погибла, и ты сошелся со мной как свободный человек. А теперь выходит, что я тебе солгала. Я, конечно, этого не хотела, но все равно, раз так вышло, я больше не могу быть с тобой, не имею права. Как только наступит затишье, попрошу, чтобы меня перевели на другой фронт, объясню, что жива твоя жена, и это для меня сделают».

Нигде в письме не называла Машу по имени, а всюду писала о ней «твоя жена», как будто хотела этим подчеркнуть, что уже лишила себя права называться его женой.

Писала так, словно все уже наотрез. Выбрасывала себя из его жизни напрочь, словно заранее не допускала, что возможно и другое: что он не захочет оставить ее и вернуться к своей жене, даже если та отыщется.

Все решила сама. На его долю оставляла только согласие не возвращаться к этому.

В конце письма так и писала:

«Я кругом виновата перед тобой и ни о чем не вправе просить. Но все-таки прошу: откажись от меня и забудь. А то будем только мучить себя...»

Дальше стояло еще какое-то слово, кажется «зря», и, наверное, подпись.

Этот уголок приклеился к конверту и был оторван.

Но что же делать, если вот эту-то женщину, эту отчаянную, беззаветную, полную страшной для него сейчас решимости все взять на себя, именно ее, способную на все на это, а не какую-нибудь другую, способную на что-нибудь другое, он и любит,— вот где тупик-то! Она уходит от него, потому что не способна поступить по-другому. Но именно ее, не способную поступить по-другому, он и не мог отпустить от себя!

«Оказывается, воскрешение из мертвых не всегда приносит счастье —даже страшно об этом думать, но это так! Дай бог, чтобы Маша действительно оказалась жива. Невозможно и подло думать как-нибудь иначе! Но что же делать тебе? Почему ты должен лишиться человека, без которого уже не можешь жить? Почему этот человек должен лишиться тебя? Почему известие о том, что еще один человек жив, должно непременно убить вас двоих? Поче-

му она так решила? Почему, даже не спрашивая, взяла все на себя?» — со злостью подумал он о Тане.

— Прочел? Видишь, что она придумала? — Зинаида собиралась сказать совсем другое, но, войдя и увидев его лицо, растерялась и сказала это.

— Чего придумала? — переспросил Синцов все с тем же испугавшим Зинаиду странным, остановившимся выражением лица.

— Уходить от тебя придумала,—сказала Зинаида. — Я прочла! Расклеила и заклеила! Что она, рехнулась? На дороге, что ли, валяется такая любовь, как у вас с ней? Жалею, что раньше ничего от нее не знала. Не дала бы ей это письмо оставлять!

Синцов молчал. Ему не хотелось объяснять Зинаиде, что он заранее знал от Тани то самое главное, из-за чего было написано письмо.

— Из летучки бы ее вытащила, здесь бы оставила, не отпустила бы! — бушевала Зинаида. — Я ей все напишу, как только получу от нее номер почты. А ты дурак будешь, если отпустишь! Что бы ни говорила, что бы ни писала, все равно...

— Оставим это,— сказал Синцов и встал.

— Ты должен настоять, пока она еще в госпитале, пока никуда не перевелась. К начмеду сходи, и я к нему схожу! Предупрежу, чтоб не отпускали... Не злись на меня, что я прочла! — вдруг вспыхнула Зинаида.

— Прочла и прочла,— равнодушно сказал Синцов.

И она поняла: он не злится на нее, а просто не может с ней сейчас говорить. Она говорит, а он не слышит или все равно что не слышит. Потому что с ним делается сейчас что-то такое, к чему ей нет доступа. И, минуту назад уверенная, что поможет и ему и Тане, объяснит обоим, как все должно быть, она вдруг поняла: никто и ничего им уже не объяснит и помочь или помешать себе могут только они сами.

— Поеду,— сказал Синцов.

— Я тебе, как только она напишет, сразу сообщу ее адрес. Если запретит, все равно сообщу.

— Так и сделай. Я как раз хотел тебя об этом просить.

Синцов расстегнул карман гимнастерки и, положив туда Танино письмо, пожал руку Зинаиде — не сильно и не слабо, обыкновенно — и поглядел ей в глаза тоже обыкновенно, как будто ничего не случилось. Вышел из избы и уехал.

Зинаида еще слышала с крыльца, как он ровным, обыкновенным голосом сказал водителю:

— Теперь домой...

— А как с вашей женой, товарищ майор, все нормально? — спросил Гудков, когда «виллис» тронулся.

— Не совсем,— сказал Синцов. — Ранили вчера. — И объяснил, что ранение нетяжелое, могло быть хуже.

— Тогда надо считать, что повезло ей. — Гудкову после вчерашнего все другое казалось легким.

— Да, надо считать, что повезло.

Синцов, взявшись рукой за борт «виллиса», откинулся на сиденье и закрыл глаза. Сделал вид, что спит. Не хотелось ни о чем больше говорить.

Бывают мысли, которые, как какой-нибудь секретный документ, хочется поскорей сжечь. Чтобы от них и следов не осталось. Именно такими были сейчас его мысли о случившемся с ним и с Таней, потому что эти мысли были связаны с жизнью другого человека, его прежней жены, и нельзя было думать отдельно об одном и отдельно о другом, надо было думать обо всем сразу. Если его жена окажется жива, это значит, что не должно быть Тани. Он понимал, что есть логика, по которой, если Маша окажется жива, само это сделает как бы не бывшим все, что было с ним после нее. Но ведь все это — не бывшее — было. Было, и уже некуда его деть!

Что жива его прежняя жена, он мог себе представить. А что Тани из-за этого не должно больше быть, не мог.

«Ну, и что будет, если я в самом деле снова увижу ее?» — подумал он. И попытался реально представить себе, что видит свою бывшую жену после конца войны. Она стоит перед ним, а он перед нею, и они — оба живые — видят друг друга...

Нет, он не мог думать сейчас о ней как о женщине, которую хочет снова увидеть, чтобы снова быть с нею. Во всяком случае, сейчас это не умещалось в его сознании.

«А вдруг, когда я ее увижу, во мне что-то изменится, станет другим, прежним?» — подумал он не с надеждой, а со страхом, потому что настоящее оставалось для него сильней прошлого. И насилие над собой, на которое решилась Таня, было насилием и над ним.

Он уже давно открыл глаза и, ничего не видя, смотрел прямо перед собой в ветровое стекло. Ехал и молчал как убитый.

Подъехали к избе, где раньше стоял Серпилин, а теперь никто не жил. Только автоматчик все еще ходил взад и вперед. Комендант штаба почему-то не снял этот пост.

По деревенской улице пропылил «виллис» и затормозил у избы Бойко. Бойко пошел к себе, перед этим встряхнув на крыльце запыленную плащ-палатку.

Помня, что к Бойко приказано явиться сразу как вернешься, Синцов доложился адъютанту.

— Не знаю, только приехал...

Адъютант пожал плечами. Ему казалось, что докладывать не ко времени, но, раз Бойко приказал, рассуждать было опасно.

Адъютант ушел и через минуту позвал Синцова. Бойко стоял во весь рост за большим столом с развернутой на нем картой. Только что приехал, но карту уже развернул, успел.

Синцов доложил, во сколько часов с минутами поднялся в воздух самолет. Бойко кивнул и сказал, что самолет приземлился в Москве, уже сообщили. Потом спросил у Синцова, все ли дела, которые могли остаться у него как адъютанта, закончил и все ли принадлежавшее командующему сдал куда положено.

Синцов ответил, что все сдал. Оперативные документы — в оперативный отдел, все остальное — как приказал Захаров. Но в блокноте имеется несколько записей, сделанных вчера по приказанию Серпилина. Две по замеченным недостаткам и три о награждениях.

— С собой? Покажите.

Синцов достал блокнот и положил перед Бойко.

Бойко посмотрел, одно замечание вычеркнул красным карандашом — то ли не согласился, то ли уже отпало после его сегодняшней поездки. Напротив второго замечания поставил крестик и еще три крестика напротив записей о награждениях. Все это не садясь. Он вообще имел привычку — если накоротке — принимать подчиненных стоя. Когда стоят, говорят меньше лишнего.

Проставив свои крестики, вырвав и оставив у себя листок, Бойко разогнулся и посмотрел на Синцова:

— Теперь о вас. Командующий имел в виду направить вас на строевую работу. Три дня назад сказал мне это. Считаю своим долгом выполнить его волю, если сами не изменили намерения.

— Никак нет, не изменил,— сказал Синцов, испытывая уважение к Бойко и за то, что по-прежнему назвал Серпилина командующим, и за то, как сказал про его волю и про свой долг.

— При первых вакансиях направим заместителем командира стрелкового полка или начальником штаба,— сказал Бойко. — Впредь до этого будете при оперативном отделе.

Затворяя за собой дверь, Синцов еще успел услышать, как Бойко приказывает соединить себя по телефону с оперативным отделом.

«Наверно, обо мне скажет»,— подумал Синцов.

Но, как выяснилось, Бойко сказал о нем еще раньше. Через пять минут заместитель начальника оперативного отдела Прокудин встретил Синцова вопросом:

— Был у нового командующего?

— Был. Послал сюда.

— Он еще с утра, до отъезда в войска, нашему Перевозчикову, когда тот попросил, обещал тебя вернуть. Правда, сказал, что временно... — Прокудин вопросительно посмотрел на Синцова.

Но Синцов не стал объяснять, почему временно. Такие вещи заранее не объясняют. Временно или не временно, а пока работать тут.

Он подошел к карте, на которую Прокудин только что нанес последнюю обстановку.

Продвижение почти по всему фронту армии было значительное, не меньше вчерашнего. Но из-за разграничительной линии с соседом через тылы Кирпичникова шла синяя стрела — пунктиром.

— А это что? — спросил Синцов.

— Остатки той группировки, что ночью шума наделала. За ночь и утро сосед с помощью фронтовых резервов у себя в тылах бил ее, но не добил. И толкнул на нас. Было свыше трех тысяч, теперь считаем — полторы-две... Будешь обедать?

— Пока неохота.

— А я, после вчерашнего, ночью, чтобы заснуть, стакан водки хлопнул... — сказал Прокудин. — Значит, не будешь обедать?

— А чего ты беспокоишься? — спросил Синцов.

Совместные поездки с Прокудиным давно поставили их на товарищескую ногу.

— Да тут приказано послать Саватеева посмотреть обстановку,— кивнул Прокудин на синюю стрелу,— а он где-то в дороге, еще не вернулся. Потому и спрашиваю,— думал, перекусишь и поедешь. Если, конечно, в себя пришел... Вообще-то не собирались тебя сегодня трогать, думали завтра с утра в работу включить...

— Почему завтра? Раз надо, поеду сейчас,— сказал Синцов, подумав про себя, что здесь, в оперативном, надолго не задержится. Пока бои — вакансии почти всякий день, а Бойко слов на ветер не бросает. После всего, что обрушилось на голову, хотя бы одно это желание — пойти в строй — должно все же исполниться...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

И пятого июля, когда до передовой докатилось известие о гибели командарма, и еще несколько суток после этого полк Ильина продолжал воевать в лесах, восточнее Минска. Столица Белоруссии была уже освобождена, а здесь, в лесах, все еще домолачивали остатки так и не прорвавшихся на запад немецких армий.

В оперативных сводках писали про успешные бои и каждое утро сообщали фамилии взятых в плен немецких генералов. Но как бы хорошо ни выходило в общем и целом — а полк есть полк,— трудились днем и ночью, и каждый день теряли людей, и не только наступали, а и контратаки отбивали. И один раз насмерть стояли, но не дали немцам прорваться на участке полка. Несколько противотанковых орудий было раздавлено прямо на позициях, и заместитель командира полка Василий Алексеевич Чугунов погиб под танком на командном пункте батальона. Все висело на волоске и у нас и у немцев. Но наш волосок оказался крепче.

Пленных за эти дни лесных боев сдали в тыл под расписку больше, чем личного состава в полку. А личного состава осталось негусто, особенно в ротах. Первые дни наступления шли во втором эшелоне за чужой спиной, по готовому, а последние пятнадцать суток все время сами — грудью.

Настроение у Ильина было хорошее, но усталость большая, и есть от чего. Если б посадить его за стол и заставить, пока не забыл, записать подряд все, что делал, не хватило бы самой толстой общей тетради.

Трудолюбивый Ильин мог работать без остановки и считал это в порядке вещей: нетрудолюбивому человеку на должности командира полка делать нечего! Но и такую испытанную на войне, безотказную машину, как он, иногда, казалось, вот-вот заест. Один раз во время разговора по телефону с комбатом у него вывалилась из рук трубка. Не то заснул посреди разговора, не то впал в беспамятство. Через два часа отлежался, поднялся и так и не мог вспомнить, как все вышло.

Немцы — противник такой, его и при последнем издыхании шапками не закидаешь!

В наступлении, по сути, не ночевали, каждую ночь — вперед и вперед. Начать вспоминать — не вспомнишь, когда спали. Спали, конечно. Один раз на рассвете прямо во ржи заснули; другой раз — среди дня, как говорится, в паузе. День был жаркий и место открытое, ржаное поле — в Белоруссии вообще много ржи. Ильин лег в старый окоп, оставшийся еще с сорок первого года. Ординарец приволок почерневшей соломы из прошлогоднего стога и на дно подложил и сверху поперек окопа прикрыл, чтоб не пекло. И, как на грех, только Ильин замаскировался и заснул, приказав через час разбудить, явился майор из штаба корпуса уточнять положение полка. Вместо часа — пять минут сна, и вид не сказать, чтоб умный, когда вылез из-под этой соломы.

А вообще, что такое пауза в полку во время наступления? Один бой кончился, а другой вот-вот начнется. Из этой паузы

на сон много не выкроишь. И ночью тоже; ночью — время проверки: что подвезли и чего нет? Утром поздно за это хвататься.

Командир полка, как хозяйка,— всегда в заботах. У кого боеприпасов нет, сразу завопят. А как с харчами, не столь очевидно. Бывает, в горячке и смолчат, что не дополучили. Ильин взял за правило: харчился там, где оказывался. Один раз при этом чуть не остался и без обеда и без головы. Подвезли в роту кухню на лошадке, пошел посмотреть, что в котле, а немцы накрыли из шестиствольного. Бросило взрывной волной на землю; поднимаясь, не мог понять, что случилось: вроде не убит, а весь в кишках каких-то. Поднявшись, нашел в себе силы пошутить, крикнуть командиру роты:

— Лейтенант, погляди, живой я или мертвый!

— Живой, товарищ подполковник.

В лошадь прямое попадание, и все это — на Ильина. Пришлось переодеться в солдатское обмундирование, пока стирали. Но ни одной царапины не получил, хотя про себя подумал: «Лучше бы уж царапину»,— боялся показаться смешным.

Потери в полку и убитыми и ранеными, считая все вместе, сорок — пятьдесят человек в сутки. Но когда день за днем пятнадцать суток подряд, это уже чувствительно. А наступать надо! Значит, еще одна забота: выгребать людей из тылов в роты. Впереди без тех, кто способен оружие носить, не обойдешься. И это всем должно быть понятно. А кому не понятно, приходилось объяснять!

Даже из похоронной команды несколько человек забрали. Заместитель по хозчасти, майор Батюня, старичок сорока восьми лет, возражал; сам же Ильин от него требовал, чтоб ни одного убитого в полку без погребения, а теперь из похоронной команды людей забирает!

Но пришлось огорчить Батюню, этого начальника всех убитых, как звал его Ильин за то, что у него под началом похоронная команда, забрать все же несколько человек. Похоронная команда — величина непостоянная. Сейчас, слава богу, такое время, что можно и сократить.

За эти дни все было, чего только не было! И командир штурмового авиационного полка в одной ямке рядом с Ильиным сидел несколько дней подряд; куда Ильин, туда и он, вместе наводили штурмовики на цели. И самоходки полку придавали и отбирали, перебрасывали на помощь другим. Зато артиллерия все время работала безотлучно. И приданная и поддерживающая.

Один раз артиллеристы приданного полка, на которых все время не мог нарадоваться, вдруг похоронной команде дали работу: когда батальон немцев окружали, через них по своим уда-

рили. Стояли потом перед Ильиным, опустив головы, как повядшие листья: самим больно, сами себе не рады.

А в другой раз боялись, что глубокая, с болотистыми берегами речка задержит. Разведчики попробовали — с головой, а на дне — ил. Уже стали готовиться к переправе. А потом обнаружили спрятанный в зарослях партизанский мост, причаленный к берегу вдоль реки. Один конец закреплен, а другой свободен. Вывели его на середину, а там само течение повернуло его — и готова переправа! Повезло.

Было несколько встреч с партизанами. И молоко из чащобы, куда стада угнали, в полк привозили. И из своей партизанской пекарни печеным хлебом оделяли. Когда-то, в сорок третьем, на границе Брянщины вышли в такой партизанский район, где немцы партизан от всех баз отрезали, заставили кору на хлеб толочь. Тогда сами с партизанами хлебом делились, а тут наоборот. Даже квашеную капусту в партизанских землянках пробовали. С запашком — минеральными удобрениями посолена: соли у партизан не хватало,— но угощали этой капустой от души.

В один из дней рассчитывали по карте найти деревню, даже собирались в ней переночевать; Березинка называлась деревня, вскоре после Березины. На карте была, а на местности не оказалась. Только несколько погребов, и один из них набит скелетами расстрелянных!

Но бывало и так: и населенный пункт как нанесен на карту, так и есть в действительности, и, по донесению соседа, еще вчера вечером взят. А ты утром к нему выходишь — он опять у немцев.

Не обошлось и без выговоров. Туманян один раз по телефону кричал:

— Если к двадцати часам задачу не выполнишь, ты уже не Ильин!

— А кто же я? — огрызнулся Ильин, считавший, что с ним поступают неправильно. Сами там, в дивизии, проволынили с принятием решения, а теперь не дают ему времени подготовиться...

— Не стану говорить, кто ты, но раз отказываешься наступать,— значит, ты уже не Ильин! — кричал в телефон Туманян, который вообще редко кричал.

А иногда так быстро продвигались, что в дивизии и в корпусе, глядя на карту, глазам не верили. Проверяли по телефону:

— Разверни карту.

— Развернул.

— Где находишься?

— Вот здесь нахожусь.

— Не может быть!

С таким недоверием можно и примириться!

Все бывало за эти дни, не было только одного — мало-мальского отдыха, в котором, несмотря на свою молодость и привычку, Ильин все же испытывал необходимость.

Вчера вечером, впервые за время операции, полку не поставили активной наступательной задачи. Уточнили достигнутые рубежи и приказали использовать ночь для приведения себя в порядок и отдыха. Что просто решили дать отдых, Ильин не допускал. Объяснял другим: немецкий котел так сузили, что при дальнейшем, тем более ночном, наступлении наши сблизившиеся между собой части могут нанести потери самим себе.

Получив приказание использовать остановку для отдыха, Ильин весь вечер и половину ночи работал в поте лица над тем, чтобы отдых не принес несчастья. Всем и каждому хотелось и выспаться и отдохнуть, но все на всех полагаться не могут, надо знать: когда, кто и на кого! И только к середине ночи, возвратясь на командный пункт, где в палатке был приготовлен сенник со свежим сеном, Ильин, даже не поев, повалился и заснул, велев разбудить себя в семь ровно. А если позвонят до этого — докладывать, что командир полка спит и приказал без крайней нужды не будить.

Проснулся Ильин сам за полчаса до того, как его должны были разбудить. Человеку, когда он чрезмерно устал, кажется, что проспит невесть сколько и никакая сила его не разбудит. А выходит, нет. Ильин завел часы и с удивлением посмотрел на свои босые ноги.

Он хорошо помнил, как хотел разуться и стащить гимнастерку, но повалился, так и не найдя сил это сделать. А теперь выходило, что спал в трусах и нательной рубахе. Значит, кто-то пожалел его, раздел. А он и не почувствовал.

Ильин сидел на сеннике и с удовольствием шевелил пальцами: надоело жить, не снимая сапог. Глядя на свои босые ноги, он подумал, что хорошо бы искупаться, когда закончим с немцами. Несколько дней назад он допустил мальчишество: явился в третий батальон, бывший свой, как раз когда подошли к реке. Разведчики уже перемахнули, а все остальные замешкались, стали собирать подручные средства. Ильин на глазах у солдат разделся, остался в одних трусах, перевязал ремнем сапоги и обмундирование, сунул туда кобуру с пистолетом, взял еще и автомат, вошел в воду и, гребя одной рукой, переплыл речку, не замочив оружия. Правда, речка была не такая, перед которой останавливаются, вплавь—всего двадцать взмахов, но все же сделал это на глазах у батальона, вылез и оделся. А пока командир полка одевался — полбатальона было уже на том берегу.

Особых причин подавать личный пример не было, просто смальчишествовал, радуясь своей силе и ловкости. Но плыть вот так, на глазах у батальона, это, конечно, не купание. Искупаться надо будет на свободе да посидеть потом на солнышке, не одеваясь.

Думая обо всем этом, Ильин услышал, как Дудкин, помощник начальника штаба полка, взял трубку и отвечает кому-то по телефону, что командир полка спит.

На том конце провода, наверно, сказали, чтоб не будил, потому что Дудкин ответил: «Есть не будить! Ясно, есть не будить». И еще раз повторил: «Есть не будить!» — как дятел. Любит по три раза повторять одно и то же. Имеется у него такая дурная привычка терять время зря.

«Ну и полежу до семи,— подумал Ильин. — Раз сверху не велят будить, значит, не горит. А если б внизу горело, давно бы подняли».

Ильин повернулся с боку на спину и стал с досадой вспоминать: как все же вышло, что немецкий генерал пехоты — если переводить на наши звания, считай, генерал-полковник, командир немецкого армейского корпуса — не попал в плен к нему, к Ильину. Сперва шел прямо на Ильина, но, когда не дали прорваться, пересек чащу, вышел на участок другой дивизии и там — паразит! — белый флаг поднял.

Конечно, с этого генерала не спросишь теперь отчета: почему не захотел сдаться Ильину, а сдался кому-то другому? Но все же Ильин ощущал это как несправедливость по отношению к себе, и к полку, и к погибшему в бою Василию Алексеевичу Чугунову, которого уважал и больно переживал его потерю.

А что это был именно тот генерал, который здесь прорывался, стало известно. На поле боя захватили в плен раненного в ноги адъютанта. Он и рассказал, кто прорывался, какой генерал и что этот генерал в последнее время исполнял обязанности командующего армией.

Ильин вспомнил, как пронесли мимо него на плащ-палатке изуродованное тело Чугунова, а он даже не мог тогда вслед за ним пяти шагов пройти, попрощаться: шел бой! Но представить себе, что нет Чугунова, было и до сих пор трудно. Пока сам был на батальоне, привык, что на третьей роте — Чугунов! Ушел заместителем командира полка, Чугунова — на батальон. Стал командиром полка, Чугунова — в заместители. Как так дальше без Чугунова?

Когда режут рану под местным наркозом, говорят, не больно, только слышно, как плоть под ножом трещит. А потом, когда наркоз отходит, рану начинает тянуть. Сам Ильин так и не был

ни разу ранен, но слышал от других. Тогда, в горячке боя, все как под этим наркозом: погиб и погиб, что сделаешь! А сейчас отошло в прошлое и болит.

Для Ильина близкая, здесь же рядом происшедшая смерть Чугунова заслонила смерть намного более далекого от него по службе человека — Серпилина. То, чего лишаешься сам, лично, больше болит.

Что погиб командующий, сообщать не спешат, тем более в разгар боев. Ильин узнал это лишь на вторые сутки, когда и дивизия и полк продолжали решать задачу, поставленную еще Серпилиным, хотя приказы шли уже за подписью нового командарма, генерал-лейтенанта Бойко.

Недавняя гибель командующего армией не то чтобы успела забыться, а как бы превратилась из гибели в замену, как будто просто один убыл, а другой прибыл и продолжает делать то же самое, что делал до него тот, кто убыл. И значение сделанного Серпилиным при жизни определялось не тем, как часто вспоминали о его смерти, а теми порядками, которые он оставил после себя в армии, где на многих и разных должностях продолжали действовать люди, вместе с ним проходившие школу войны и обязанные ему той или иной долей своего военного воспитания, независимо от того, часто ли они вспоминали его после смерти, как Бойко, или редко, как Ильин.

Лежа на спине и чувствуя тепло желтевшего сквозь брезент палатки солнца, Ильин вдруг вспомнил, как Чугунов накануне своей смерти, когда им обоим наскоро собрали поужинать в батальоне, вдруг попросил у комбата водки: «Надо принять немного, чтобы еду в горло протолкать, пока оно от водки обгорелое, а то от усталости совсем аппетита нет».

Последний разговор был про водку и аппетит! А утром геройски погиб, и дивизия посмертно представила его на Героя. Командиром дивизии еще был Артемьев. А сегодня уже третий день — Туманян.

Артемьев после взятия Могилева получил генерал-майора, и Бойко, заехав в дивизию, поздравил и долго говорил с ним с глазу на глаз. После этого до полка дошел слух, что комдив уходит — начальником штаба армии.

Начальник штаба полка Насонов, сам третий год ходивший в подполковниках, говорил, что Артемьев еще молод на такую должность. А Ильин, наоборот, считал, что ничего не молод. Если достоин выдвижения, чего ждать? Когда прокиснет, что ли?

Так считал Ильин, радуясь собственной молодости, которая до сих пор не мешала его выдвижению.

Слух подтвердился, и Артемьев уехал. С двумя полками перед отъездом простился, а до Ильина не добрался. Связь в то утро была только по рации, обстановка путаная, но Ильин думал про себя, что на месте Артемьева и добрался бы и простился...

Туманян, как только стал командиром дивизии, приехал в полк и сказал, что хочет взять Насонова к себе начальником штаба. Что скажет на это командир полка?

Ильин дал согласие не потому, что так уж спешил расстаться с Насоновым; как раз в ходе боев, когда все в одной упряжке тянули, они лучше относились друг к другу, чем в дни затишья, отбрасывали личное в сторону. Согласился потому, что верил в себя и два-три дня побыть без начальника штаба считал испытанием, с которым справится. Еще раз докажет и другим и себе, на что способен. Но не забыл, конечно, использовать обстановку, попросил, чтобы нового начальника штаба дали побыстрее и подобрали посильнее.

О Синцове при этом вспомнил, но не упомянул. Не понравилось, что Синцов вдруг оказался в адъютантах у Серпилина. Пусть кого дадут, того и дадут. Будет добросовестный и при этом не трусливый — поймут друг друга. Все равно, пока в бою не пощупаешь, не узнаешь какой. Девок и то за глаза не сватают, хотят лично убедиться.

Ильин подумал о женщинах. За две недели боев ни разу не думал, а сейчас подумал. Потянулся на сеннике и вскочил.

В соседней палатке кто-то снова звонил по телефону. «Обрадовались, что связь хорошо работает»,— усмехнулся Ильин.

Дудкин снова ответил: «Спит». Три раза повторил свое «Есть, все понятно!» и положил трубку.

Ильин недовольно посмотрел на пропотевшую грязную рубаху, в которой спал. Стащил ее через голову и, оставшись в одних трусах, до хруста в плечевых суставах несколько раз крутанул руками.

Опять послышался голос Дудкина. Теперь звонил комбат-три. Что у него там? Если бы ничего не было, не звонил бы!

— Сейчас,— крикнул Ильин. Хотел выскочить из палатки как был в трусах, но остановился, сел на сенник и стал навертывать портянки; на плащ-палатке, рядом с сенником, лежали и чистые портянки и выстиранная рубаха.

Ильин стеснялся на людях своих тощих голых ног и вообще своего голого тела, хотя и мускулистого, сильного, но по-юношески тощего. Когда в тот раз разделся и поплыл через реку, забыл об этом, потому что знал о себе, что хороший пловец. А когда человек что-нибудь хорошо умеет, люди не обращают внимания,

какой он, здоровый или тощий. Но сейчас помнил, что тощий, и вышел из палатки, только натянув сапоги и заправив в бриджи грязную нательную рубаху. Чистую надевать не стал — это потом, когда помоется.

Комбат-три докладывал о происшествии. Немец из комитета «Свободная Германия», который уже несколько дней был у них в полку, а сегодня на ночь оставался в третьем батальоне, пошел на рассвете в лес со своим рупором и с лейтенантом из седьмого отделения, как они и раньше ходили, призывать сдаваться. Им навстречу вышли два офицера — хауптман и обер-лейтенант. Хауптман пошел вперед, а обер-лейтенант задержался. И когда хауптман подошел совсем близко, уложил его в спину из парабеллума, а немца из «Свободной Германии» ранил.

— Это вы прошляпили — не прикрыли его! — в сердцах упрекнул Ильин.

Комбат-три начал с предисловия, а когда начинают с предисловий, дело плохо! Начинают с того, что ранен, а кончают тем, что помер. А этого немца приказано было беречь.

— Мы прикрывали,— оправдывался комбат. — Трое автоматчиков с ними пошли. Но они далеко углубились...

— Не тяните резину. В каком состоянии раненый?

Против ожидания, оказалось, что раненый в хорошем состоянии. Ранение в голову, но касательное, уже наложили повязку. А вопрос в том, что немец отказывается идти в медсанбат, хочет продолжить свою работу.

— Пусть продолжает,— разрешил Ильин и, положив трубку, подумал о немце, что работа у него — не дай бог! Только и жди, когда застрелят. Сейчас — касательное, а чуть повел бы головой — дырка во лбу.

Злоба, которую во время войны испытывал Ильин ко всем немцам вообще, вступала в противоречие с его воспитанием в детстве и юности. Из этого воспитания следовало, что хороших или плохих народов не бывает; все народы одинаково хорошие. А логика войны говорила другое: все немцы плохие, и каждый из них, если ты его не убьешь, сам убьет тебя. Война толкала на злобу ко всем немцам подряд.

Но, несмотря на всю злобу, которую давно и привычно испытывал к немцам Ильин, что-то внутри него противилось этому чувству, искало выхода. И удивление перед бесстрашием этого немца из комитета «Свободная Германия» было для Ильина как бы вдруг открывшейся возможностью найти выход из тупика. Его радовало, что имеется вот такой хороший немец, которого он видит собственными глазами и который подтверждает для него что-то важное, полузабытое за войну, но все-таки существующее.

Поговорив с комбатом-три, Ильин спросил Дудкина, кто звонил, пока он спал.

Первый звонок, оказывается, был из штаба армии. Звонил начальник штаба.

— По его поручению или сам? — переспросил Ильин.

— Сам.

Ильин хотел обругать Дудкина за то, что не разбудил, но удержался от несправедливости. Дудкин действовал, как приказано: докладывал, что спит, и спрашивал: будить или нет? А что делать, если позвонит начальник штаба армии, предусмотрено быть не могло. Не за что и ругать!

— Не приказывал позвонить ему? — спросил Ильин.

— Ничего не приказывал. Сказал: пусть спит. А командир дивизии приказал, чтоб вы позвонили ему в семь пятнадцать.

«Щедрый что-то сегодня наш Туманян,— удивился Ильин.— Дал все же пятнадцать минут на побудку и туалет!»

Успев помыться и даже выпить стакан чаю с краюхой хлеба, посыпанной сахарным песком,— любимое с детства лакомство,— Ильин позвонил Туманяну.

Туманян начал с того, что задача пока остается прежней: приводить себя в порядок, занимая прежнее положение.

— Проверьте еще раз всю систему огня. Какие возможности для его быстрого переноса на разные направления перед вашим передним краем. Вам все ясно?

— Ясно. — Ильин хорошо понял, что стояло за сказанными с нажимом словами: «Вам все ясно?»

— Вчера вечером напоминал отделу кадров,— сказал Туманян,— обещали сегодня прислать вам замену Насонову. Видимо, уже в дороге.

«Значит, будем опять с начальником штаба»,— подумал Ильин, положив трубку. Но главные его мысли были отданы сейчас другому — тому, что стояло за словами Туманяна про систему огня.

До сих пор несколько дней подряд жали окруженных немцев на всем фронте дивизии, загоняли их в глубь лесов, во все сужавшийся там котел. А сегодня, значит, принято решение жать их наоборот — с той стороны лесного массива. И можно ожидать, что к вечеру немцы начнут выходить на нас — куда им деться? А какими их увидим — с белыми флагами или с «фердинандами»,— это про немцев заранее никогда не знаешь. Отсюда и требование — держать ухо востро.

Весь следующий час Ильин говорил по телефону с комбатами, а потом уточнял с командиром приданного артиллерийского полка и со своим начальником артиллерии разные варианты ор-

ганизации огня на тех участках, где немцы скорее всего могут выскочить из глубины леса.

Командир артиллерийского полка уехал после этого на огневые позиции: беспокоился, как с боеприпасами; обещали подать к утру, но еще не подали. А свой полковой артиллерист майор Веселов, почти всегда находившийся рядом с Ильиным, под рукой, и сейчас остался с ним.

Первоочередные дела были сделаны, и Ильин колебался, что, впрочем, никак не выражалось на его лице. Его тянуло обойти батальоны, посмотреть, как там у них. Связь связью, но личное общение с подчиненными тоже вид связи, который ничем не заменишь. Однако сразу же после телефонных разговоров со всеми комбатами являться проверять их было рано. Он и сам не любил, когда начальство, едва отдав ему приказание по телефону, тут же сыпалось на голову: ну как, сделал ли все, что приказано? Называл это «нуканьем».

Высоко над головами в воздухе прошла пара «яков». Прошли и скрылись над лесом с тонким далеким звуком. А вообще авиация в последние три дня почти не действовала над котлом. Всю бросили вперед на запад. По сводке уже и Барановичи взяли, и Новогрудок, и в Вильнюсе второй день уличные бои.

Если взять строго на запад, продвигаясь в таком же темпе, через два-три дня будем в Польше. Там и авиация! А тут, считается, и без нее доделаем...

Истребители прошли, и опять стало тихо, только с той стороны котла доносился гул артиллерии, которую ни Ильин, ни Веселов почти не замечали: привыкли.

— Ох и денек! — сказал Веселов, из-под руки поглядывая на солнце. — И стрелять и наблюдать хорошо. А помните, Николай Иванович, как зимой наступали, в ту метель, семнадцатого — восемнадцатого?..

Ильин помнил ту метель семнадцатого и восемнадцатого. Метель была действительно выдающаяся. За пять минут — где солдат, там сугроб.

— Вы приказываете нам усилить огонь, ругаете за неточную пристрелку, а мы на огневых мучаемся, снег прямо лопатами кидает в стволы минометов! Уж так приспособились, что четверо держат плащ-палатку, а один в это время мину подносит. Плащ-палатку уберем, мину в ствол — и выстрел! И опять плащ-палатку держим... А в такую погоду, как теперь,— чего не стрелять,— сказал Веселов и добавил, что вчера свели воедино все донесения за две недели боев; выходит: только своя полковая артиллерия, не считая приданной, нанесла немцам чувствительные потери — до тысячи убитых и раненых!

Ильин недовольно махнул рукой. Не любил таких подсчетов.

— Если все ваши реляции — сколько убили и сколько ранили — собрать,— всей Германии не хватит. А по ихним реляциям — всей России! На бумаге все же легче убивать, чем в натуре. Тем более вам, артиллеристам. У вас кто на землю лег, тот и помер. А он еще потом встал да воевать пошел. Взять хоть меня самого: сколько раз за три года войны немцы, по ихним реляциям, меня убили и тем более ранили. А я все воюю. И не ранен даже.

— Сплюньте,— сказал Веселов.

— А я не суеверный.

— Нисколько?

— Нисколько. Суеверие есть прикрытие трусости. Боишься, что тебя убьют,— так и скажи! А причем тут — с какой ноги встал, с левой или с правой,— немец все равно этого не знает, когда по тебе бьет.

Разговор о суеверии на этом кончился. Если какая-нибудь тема ему не нравилась, Ильин сразу ставил на ней точку и переходил на другое. Так и сейчас перешел от суеверия к материальной части, сказал, что война с материальной частью делает то же, что с людьми. То, что считалось годным, а на самом деле не оправдало себя, отодвигается на второй план, и действительно хорошее выдвигается на первый. Скажем, взять ротные минометы: раньше без них, считалось, ни шагу, а теперь отказались от них — не оправдали себя, слабые. Граната лучший результат даст, чем эта мина! А батальонные минометы, уж не говоря про полковые, те действительно показали себя как оружие, с которым смело идешь везде и всюду...

Они много дней работали без отдыха, а сейчас вот сидели, отдыхали, но при этом все равно говорили о своей работе, потому что оружие было неотъемлемой частью этой работы, их инструментом. Без него можно сделать одно, а с ним — совсем другое. Но в инструменте, которым они пользовались, была одна особенность: от того, какой он и сколько его, зависели не только результаты работы, но и жизнь.

— Все же у вас, у артиллеристов, личный состав дольше сохраняется,— сказал Ильин, вспомнив, что вместе с Веселовым воюет уже второй год, а командиры стрелковых батальонов в полку за это время все до одного сменились.

Так вышла наружу та мысль о цене человеческой жизни, которая с самого начала незримо присутствовала в их разговоре о своем оружии.

Разговор этот прервал звонок.

— Ждите у трубки, будете говорить,— сказал телефонист на промежуточной, и Ильин услышал далекий голос Артемьева.

— Здравствуйте, Ильин. Как дела?

— Здравия желаю. Выполняем приказ!

— Приношу извинения вам и вашему хозяйству за то, что, отбывая к новому месту службы, не успел проститься. Желаю боевого счастья.

Сказал и сделал паузу, ждал, что ответит Ильин.

— И вам также,— пожелал Ильин.

— У меня все,— сказал Артемьев. — Привет Завалишину.

— Начальник штаба армии звонил,— объяснил Ильин Веселову. — Извинялся, что не простился с полком.

Ильину было приятно, что бывший командир их дивизии все-таки позвонил ему и этим звонком простился с полком. Помнить обиды Ильин помнил, но копить не любил.

Они сидели с Веселовым на солнышке, отдыхая от многодневной работы, и, вдруг, как это бывает на передовой, все за одну минуту переменилось. Сначала издали донеслись автоматные и пулеметные очереди, потом выстрел из пушки, и сразу же раздался звонок от комбата-два, стоявшего со своим батальоном прямо впереди командного пункта. Комбат докладывал, что посланная им в лес разведка отходит, разведчики доносят, что по лесу движутся немцы, до тысячи человек, с танками и самоходками.

— Встречайте по первому варианту,— сказал Ильин. — Артиллерист у вас?

— У меня. Только прибыл.

Там, где сидел комбат-два, был и наблюдательный пункт полка и наблюдательный пункт артиллеристов — все вместе. Ильин так и так собирался ехать туда, но теперь события торопили. Хорошо, что командир артиллерийского полка уже на месте...

— Сейчас буду,— сказал Ильин и, приказав Дудкину доложить в дивизию о появлении немцев, сам не стал ждать, пока соединят, сразу же сорвался с места.

Хотя он последние полтора часа наслаждался отдыхом, что-то подспудно тяготило его. Было ощущение чего-то остановившегося, недоделанного, что вот теперь, после этого звонка, предстояло доделать.

Когда через несколько минут Ильин вместе с Веселовым выскочил на своем пятнистом мотоцикле с коляской через лес на КП батальона, впереди не было заметно ничего особенного. Только слышались автоматные очереди. Командир батальона доложил, что это отходит боевое охранение, а немцы еще не вышли: продолжают двигаться по лесу.

— Готовы к открытию огня,— доложил командир артиллерийского полка.

— Что же открывать, пока не увидели,— сказал Ильин. — Еще спугнем, обратно уйдут. Пусть покажутся...

Местность здесь шла немного под гору, и окопы наблюдательного пункта полка и командного пункта батальона были вырыты на пологом спуске, между росших по нему старых сосен. Перед соснами, по склону, тянулась вырубка, пни, а дальше начиналась поляна километр в длину и метров семьсот в ширину, на которой кем-то была посеяна рожь. Возможно, партизанами — тут вообще были партизанские места. И слева и справа от поляны и на том ее краю впереди лес стоял сплошной стеной.

О движении большой группы немцев прямо на нас, на эту поляну, разведчики сообщили сначала по радио, а потом прискакал на коне сержант и доложил, что немцев много, с ними «фердинанды» — лично сам видел один — и танки, два танка тоже видел, правда, издали... Идут прямо сюда.

Ильин переспросил, его брало сомнение, почему немцам вздумалось идти через эту поляну; если хотят прорываться, могли бы и по лесу...

Но разведчик настаивал: идут сюда!

Ильин все же сказал командиру артиллерийского полка, чтобы не забывал про фланги. То же самое повторил и Веселову.

— Возможно, немцы идут без карты, чего в окружении не бывает! Увидят эту лысину и возьмут левее или правее!

Он не полез в окоп, а сел на землю, только спустил вниз ноги. И сразу увидел то, во что до этого с трудом верил.

На опушке, безо всякой разведки, показались немцы. Они шли с автоматами в руках и, как только оторвались на несколько шагов от опушки, сразу стали хорошо видны.

Едва на открытое место вышла первая цепь, как за ней, почти без интервала, появилась вторая. И Ильин понял: в самом деле, идут сюда, через эту поляну, как самоубийцы. Почему решили прорываться через это открытое место? Или думают, тут никого нет, или хотят взять на испуг, или кто-то их так в кулак собрал, чтобы не расползлись по лесам, чтоб легче бросить в бой?

Но думать об этом дальше было некогда. Немцы вышли тремя цепями на открытое место. По флангам, вывалившись из чащи, двигались три «фердинанда» — один слева и два справа. В центре, обогнав расступившиеся цепи, шли два танка. Один старый «Т-3» и один «тигр». Из лесу появилась еще одна цепь, четвертая... И прежде чем Ильин отдал приказание открыть огонь, а верней, разрешил сделать то, чего от него все напря-

женно ждали, немцы начали стрелять первыми. «Фердинанды» ударили осколочными. Выстрелом срезало верхушку сосны, и она ударилась ветвями о землю недалеко от Ильина.

«Могла пришибить»,— подумал Ильин и, приказав открыть огонь, спрыгнул в окоп.

Вслед за «фердинандами» выстрелил немецкий танк, шедший посредине поля, как казалось отсюда, прямо на Ильина.

Передняя немецкая цепь открыла густой автоматный огонь, и в этот момент ударили наши орудия. Несколько снарядов упало с недолетом, а потом разрывы стали ложиться среди продолжавших двигаться немецких цепей.

С флангов стреляли наши пулеметы. Немцы продолжали бежать вперед, обегая воронки и убитых. Потом загорелся один из «фердинандов», а у «тигра» перебило гусеницу, и из него стали выскакивать танкисты.

Немецкая пехота все еще наступала. Одни ложились под огнем, но другие бежали вперед. Старый танк «Т-3», обогнав переднюю немецкую цепь, был уже совсем близко. Два «фердинанда», которые были у немцев на левом фланге, дав задний ход, остановились на опушке и стреляли оттуда, с места. А мы пока не могли по ним попасть.

Немецкие цепи были уже не цепями, а только движущимися островками продолжавших бежать вперед людей и пятнами не то убитых, не то легших на землю. Островков становилось все меньше, пятен все больше, но немецкий танк еще шел вперед.

«Когда же вы его...» — чуть не крикнул Ильин артиллеристам. И только когда танк был уже всего в ста метрах, наш снаряд ударил ему в лоб, под корень башни, и он вспыхнул прямо перед Ильиным, мешая наблюдать поле боя.

Но левей и правее оно было хорошо видно. Немцы лежали на земле или бежали назад, к лесу. Наши разрывы ложились все гуще и гуще; немцы бежали, и падали, и снова бежали, и уже никто из них не стрелял, стреляли только два их «фердинанда». Выпустили еще по несколько снарядов с опушки леса и ушли обратно в лес невредимые или незначительно поврежденные.

Пахло дымом. На поле горела зажженная снарядами рожь, и все оно было в пятнах мертвых тел.

Ильин вылез из окопа и снова сел, спустив в него ноги, как сидел перед боем. Он вытер платком мокрое лицо и шею и, забравшись рукою за спину, почувствовал, что и спина тоже мокрая от пота. «Испугался все-таки этого танка»,— усмехнулся над собой Ильин и, поднявшись, позвав командира батальона, отдал приказание перейти к преследованию немцев: через эту

плешь не идти, чтобы не обстреляли из лесу, а двигаться слева и справа от нее, втягиваться в лес, имея наготове пушки — на прямую наводку. И только после этого, обдернув на себе гимнастерку и затянув на одну дырку ремень, позвонил в штаб дивизии.

Туманян выслушал, одобрил действия и сразу положил трубку: сам спешил донести наверх, в армию, а Ильин, оторвавшись от телефона, вдруг увидел немца из комитета «Свободная Германия», который, оказывается, лежал все это время тут же, в двадцати шагах от него, вместе с лейтенантом из седьмого отделения.

— Лейтенант, подойдите!

Немец подошел вместе с лейтенантом. Лейтенант откозырял, а немец нет. У него не было пилотки; голова в бинтах. Подойдя, резко сдвинул каблуки и бросил руки по швам, как это делается в немецкой армии.

Он был в наших сапогах и обмундировании, только без оружия и погон. А как иначе быть на передовой, если не в нашем обмундировании?

Лицо у немца было белое как мел — или после ранения, или от всего, что только что видел.

— Считаю по действиям этой группы, что кто-то из высшего командования толкнул их на это,— сказал Ильин, не выбирая слов, зная, что немец хорошо научился по-русски в плену, в антифашистской школе, во Владимире.

— Идиотэн! — яростно сказал немец. И его белые губы на белом лице так дрогнули, что Ильину показалось: заплачет!

— Надо заставить их сдаться, чтобы не повторилось. — Ильин повел головой в сторону мертвого поля.

Немец коротко наклонил голову, выражая готовность, и снова выпрямился.

— Идите в лес, попробуйте вызвать там через рупор их командование и уговорить... Дам вам надежное прикрытие, если готовы на это.

Немец сдвинул каблуки, снова наклонил голову и выпрямился. Молча подтвердил: готов сделать то, что от него требуется, ради чего, несмотря на рану, не пошел в медсанбат. Но чувствовалось при этом, что говорить с Ильиным сейчас, здесь, на этом поле боя, или не может, или не хочет, или все вместе.

— Шесть автоматчиков им дайте и расчет с ручным пулеметом для прикрытия,— приказал Ильин подошедшему командиру батальона, показав на немца и лейтенанта.

Командир батальона хотел возразить, что у него мало людей, но, посмотрев в лицо Ильину, возражать не стал.

Батальон, огибая с двух сторон поляну, втягивался в лес. Через несколько минут двинулись вдоль опушки и немец с лейтенантом и автоматчиками.

«Хоть бы не убили»,— глядя им вслед, подумал Ильин о немце.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Синцов ехал к месту назначения на попутных. Сперва до штаба корпуса пристроился к своему товарищу из оперативного отдела. А до дивизии — проголосовал на дороге.

Туманян был в полках, а Насонов, новый начальник штаба дивизии, заставил ждать. Ждал его долго, а разговор оказался короткий.

— Когда, как начальник штаба полка, приступите работать с подполковником Ильиным, советую помнить не только свои обязанности, но и свои права.

— Я Ильина знаю,— сказал Синцов.

— Знаете, когда он вам был подчинен! А теперь вы ему будете подчинены.

Этим Насонов и ограничился. Воздержался, не развил своих взглядов на Ильина.

— Вечернюю сводку дадите в восемнадцать часов. Хотя, сами знаете, порядок общий.

Возможно, Насонов считал, что назначение в полк Синцову устроил Артемьев. На самом деле Артемьев был ни при чем. Все сделалось само собой. Бойко распорядился назначить при первой вакансии, первая вакансия открылась в полку Ильина, а распоряжений генерала Бойко в армии забывать не привыкли.

А с Артемьевым говорили совсем о другом. Когда он пришел вчера в оперативный отдел знакомиться с новыми подчиненными, Синцов обратился официально:

— Товарищ генерал, прошу принять по личному вопросу.

Артемьев посмотрел на него укоризненно, но сказал:

— Найду время — вызову.

И вызвал тою же ночью, встретив упреком:

— Сам бы догадался! Не отправил бы в полк, не повидав. Зачем такой пожар, при всех? И себя и меня поставил в ложное положение.

Синцов объяснил, почему пожар, сказал ему про Машу.

Артемьев сначала ошалело молчал, привыкая к мысли, что давно похороненная в мыслях сестра может оказаться живой, потом, спохватившись, стал расспрашивать Синцова про Таню, про ее ранение, о котором уже слышал от других,— правда ли,

неопасное? И, услышав, что правда неопасное, вдруг вспомнил про только что полученную сводку, по которой войска соседа уже подходили к Гродно, где тогда, в сорок первом, вместе с дочерью Маши и Синцова осталась его мать.

— Если и они живы — опять все вместе будем!

И уже после того, как это сорвалось с губ, увидел лицо Синцова, думавшего о той, которой не было места в этом «все вместе». Увидел, но ничего не сказал, понял, что тут такое, в чем человеку надо разбираться одному.

И правильно понял. Синцов был благодарен ему, что он не распространялся о Тане. Бывают в жизни минуты, когда высшая деликатность как раз и есть в таком, казалось бы, бесчувствии.

Если считать, что хуже всего смерть,— а люди обычно так и считают,— все не так страшно. Наоборот, хорошо! И прежняя жена твоя, возможно, жива, и Таню только ранило, хотя могло убить. И ты сам на четвертом году войны после шести ранений жив и, как выражаются медики, практически здоров. А все же несколько раз приходила в голову шальная мысль, что смерть не самое страшное! И снова пришла по дороге на передовую, когда ехали мимо того места, где убили Серпилина. Хочешь не хочешь, а путь в дивизию лежал через этот лес. О том, как хоронили Серпилина, Синцову рассказал генерал Кузьмич. Прилетев из Москвы, пришел утром в оперативный отдел знакомиться с обстановкой, увидел Синцова и сказал:

— Зайди ко мне в хату, когда пошабашишь.

Синцов зашел в первом часу ночи. Кузьмич сидел вдвоем со своим адъютантом, баянистом Виктором.

— Только вернулись... Чай пьем. Садись с нами.

Пока пили чай, говорил про свою поездку в войска.

— Когда все время впритык, не так видать. А маленько отойдя, глазам не веришь, что мы с немцами сотворили!

О Серпилине заговорил, допив чай и отослав адъютанта.

Пододвинул по лавке оставшийся лежать на ней баян, растянул, свел, закрыл на защелки. И снова отодвинул. Баян выдохнул из себя тягучий, печальный звук и замолк.

— Так и мы,— сказал Кузьмич про баян, словно он был не вещью, а запертым на замок и отодвинутым в сторону человеком, и после этого заговорил про похороны, что там, в Москве, было все как положено: и гроб доставили на лафете, и прощальные слова сказали, и венки возложили, и залп дали — только провожающих было мало. Сослуживцы на фронтах заняты, а родных — кого бог, кого война прибрали...

— Невестка его была, которая теперь за Евстигнеевым. По случаю похорон с работы отпустили. И отца привезли. Из-под

Рязани. С женой. Сперва подумал про нее, неужели мать? А потом, как в голос завыла на все кладбище, понял: мачеха! Мать так выть не будет. Старик как за руку дернул, сразу на полслове встала. Не думал, что у Федора Федоровича еще отец живой, ни разу о нем не слышал. Когда с кладбища шли к машине, об руку отца взял, а он руку выпростал и говорит: «Ничего, трех зятьев и сына схоронил, и куда мне осталось дойтить — сам дойду!»

Сказав это, Кузьмич замолчал. Наверно, подумал о себе.

После того ночного разговора Синцов больше не видел Кузьмича, только знал о нем, что, вопреки всем предположениям, он остается у Бойко заместителем.

С дорог наступления уже много дней подряд стаскивали трофейную технику, а исправную угоняли своим ходом, но все равно кругом оставалось столько следов постигшей немецкую армию катастрофы, что проезжавшие мимо люди — хочешь не хочешь — думали о ней. Думал и Синцов.

Нормальная чувствительность притупляется на войне и не может не притупляться; было бы ненормально, если бы она оставалась такой же, как в обычной жизни. Лежащий на обочине мертвый человек в чужой военной форме уже не может восприниматься как просто мертвый человек, внезапная и насильственная смерть которого, по нормальным людским понятиям,— несчастье. Смерть человека, одетого в чужую военную форму, не может восприниматься на войне как несчастье. И изуродованные взрывами или пожаром, искореженные, врезавшиеся друг в друга машины с чужими опознавательными знаками не могут восприниматься как результат катастрофы, о которой в обычной жизни думают с ужасом. Эти мертвые чужие машины, так же как и мертвые чужие люди, не могут восприниматься на войне как несчастье хотя бы потому, что они есть прямой или косвенный результат твоих собственных усилий, предпринимая которые и ты мог бы оказаться мертвым.

И все-таки, хотя ты и победитель, тяжелый, трупный смрад, которым тянет вдоль дороги от лежащих по лесам бесчисленных мертвых тел в чужой военной форме,— запах несчастья. И этот сопутствующий войне запах несчастья не чужд сознанию людей, наблюдающих зрелище чужой военной катастрофы. Не чужд, несмотря на всю их веру в праведность того отмщения, которое они воздают.

Из дивизии в полк Синцов ехал тоже на попутной машине, которая везла снаряды туда, на огневые.

Едва сел и поехал, как впереди снова послышались звуки боя. Стреляли и минометы, и артиллерия, и, кажется, танковые пушки. Дорога сначала петляла по лесу, а потом вывела к широкой

просеке. По просеке было разбросано полтора десятка разбитых немецких танков, штурмовых орудий и бронетранспортеров, а дальше, в глубине, стояла целая колонна сгоревших машин. У самой дороги были видны перепаханные танками позиции артиллерии, и прямо из земли торчало дуло нашей вдавленной в окоп пушки.

— Тут позавчера сильный бой был,— сказал водитель и, матюкнувшись, остановил машину. — Опять гвоздь, приехали!

Но это был не гвоздь, а осколок снаряда. Треугольный, разогнутый острыми концами во все три стороны, словно его нарочно сделали, чтоб кидать под машины.

Пока водитель менял скат, Синцов ходил около машины, прислушиваясь к звукам боя. Надо бы для скорости помочь водителю, но снимать и ставить скат — как раз такая работа, где от тебя с твоим протезом мало проку.

На обочине стояла полуторка, а по полю между немецкими машинами ходило несколько человек.

«Трофейщики»,— подумал Синцов и, повернувшись, снова увидел странно, как палец, торчавшую из земли пушку. Сам того не зная, он стоял в двух шагах от места гибели своего бывшего комроты-три Василия Алексеевича Чугунова, которого рассчитывал сегодня увидеть.

Когда снова сели в машину, звуки боя вдали так же резко оборвались, как и начались.

«Да, вот так и с Таней,— уже сев в машину, вспомнил Синцов рассказ Зинаиды о том, как ранили Таню. — Проткнуло скат каким-то гвоздем или осколком, и, пока накачали, как снег на голову — немцы...»

Но сейчас не было тут немцев, кроме мертвых, лежавших, сколько видел глаз, на всю глубину просеки...

Он снова вспомнил о Тане, когда, свернув с одной лесной дороги на другую, увидел прибитую к дереву фанеру с надписью химическим карандашом: «Хозяйство Ильина» — и несколько лежавших на траве раненых, а возле них медсестру. Медсестра замахала, а водитель крутанул в ответ рукой: показал, что заберет раненых на обратном пути.

«Когда-то хотела вот так, в санроте, работать,— подумал Синцов о Тане. — Но не разрешили. А если б разрешили, может, все было бы совершенно по-другому...»

Водитель свернул к огневым позициям артиллерии, Синцов сошел и через десять минут ходу был уже на командном пункте, стоял перед говорившим по телефону капитаном Дудкиным, помощником начальника штаба триста тридцать второго полка.

Договорив по телефону, Дудкин вежливо, но по-хозяйски спросил:

— Слушаю вас, товарищ майор...

Это означало: что ты майор — вижу, а зачем явился в полк,— пока не знаю.

Прочитав и вернув документы, Дудкин доложил, что командир полка находится за полтора километра отсюда, на своем наблюдательном пункте, и принимает там после боя капитуляцию группы немцев, выразивших намерение сдаться. Так и сказал: «Выразивших намерение».

Синцов, внутренне усмехнувшись, посмотрел на старательного молодого капитана, которому предстояло теперь быть здесь, в штабе полка, его правой рукой. «Возможно, ты и хороший парень, но больно уж научно выражаешься».

— А результаты боя?

— Уничтожено два танка, самоходка, до батальона пехоты,— без запинки доложил Дудкин. — Наши потери подсчитываются...

Сказал, как на машинке напечатал.

«Да, теперь все наше,— подумал Синцов. — Наше хозяйство, наш пункт сбора раненых, наши потери, наши успехи, штаб нашего полка...»

И было в этой простой мысли что-то очень важное для него. Настолько важное, что, кажется, впервые за последние дни захотелось не только воевать, но и жить. Жить и дожить до самого конца войны, именно вот в этом, нашем полку, уже никуда из него не трогаясь.

Капитуляция немцев вышла не такой, как мечтал Ильин, уверенный, что во главе этой так отчаянно прорывавшейся группы непременно будет генерал.

Вчера Ильину рассказали, как капитулировал тот немецкий генерал, который не захотел сдаваться ему, а вышел к соседям: сперва выслал офицера-парламентера с белым флагом и трубачом, а потом, получив указания, куда выйти, построил на опушке две шеренги с оркестром; оркестр заиграл, и обе шеренги положили у ног оружие.

Ильину хотелось, чтобы сегодня и ему вот так же сдался другой немецкий генерал. Было такое мальчишеское желание. Но ничего похожего не вышло. Просто немец из комитета «Свободная Германия» и лейтенант из седьмого отдела вернулись из лесу с обросшим сивой бородой пожилым немецким майором. И этот майор сказал, что хочет узнать условия капитуляции для всех находящихся в его подчинении офицеров и солдат.

Ильин назвал условия капитуляции: сохранение жизни, помощь раненым, питание — и спросил, сколько человек в готовой капитулировать группе?

Майор ответил, что не может после боя дать точную цифру, но около шестисот человек. Он говорил так медленно, словно вынуждая себя произносить каждое слово, что Ильин почти все понял сам, хотя лейтенант из седьмого отдела переводил.

Ильин спросил, кто у них старший по званию? Он все еще не расставался с надеждой взять в плен генерала. Майор ответил, что боевой группой командует он, Фридрих Хаммерштейн, начальник штаба двести четырнадцатого пехотного полка. И все входящие в группу офицеры и солдаты из других частей подчинены ему.

Ильин, все время помнивший о тех двух «фердинандах», успевших уйти в глубь леса, спросил у майора, где они сейчас и находятся ли под его началом? Майор сказал, что да — штурмовые орудия подчинены ему, но у них кончилось горючее, и они стоят в лесу.

Ильин не стал дальше уточнять вопрос, подумал: пусть сдастся личный состав, а там возьмем и «фердинанды».

Он показал на местности, куда должны выйти немцы,— пусть построятся на опушке с двумя белыми флагами и, сложив у ног оружие, ждут дальнейших команд. И, посмотрев на часы, спросил, хватит ли на все это одного часа.

Немецкий майор ответил, что часа ему хватит, и пошел назад, в лес.

Представителя из комитета «Свободная Германия» Ильин обратно в лес не пустил, приказал остаться. Сказал: «Опять стрельнет какой-нибудь псих, а потом отвечай за вас». Представитель пожал плечами и остался.

Ильин приказал комбату подтащить станковые пулеметы и держать их в готовности, на всякий случай взять на прицел весь участок, куда выйдут с оружием немцы.

После этого стали ждать.

Завалишин, который находился с утра в другом батальоне, появился только теперь, когда началась волынка с капитуляцией, и, отведя в сторону представителя из комитета «Свободная Германия», разговаривал с ним о чем-то по-немецки. До Ильина доносились их голоса.

Отправив комбата распорядиться насчет пулеметов, Ильин стоял один и колебался, как ему теперь поступить: самому ли принимать капитуляцию или довольно и того, что поговорил с их майором, пусть теперь идет и принимает у них капитуляцию комбат — тоже, как и немец, майор.

Когда комбат вернулся и доложил, что распоряжения отданы, Ильин пришел к решению поручить прием пленных ему. Вел бой его батальон — пусть он и принимает пленных.

— А вы? — спросил комбат.

— Отсюда погляжу. Больше говорить не о чем. Должны сложить оружие — и все!

Комбат взял автоматчиков и ушел, а Ильин, напоследок приказав, чтобы комбата сопровождал лейтенант из седьмого отдела, подошел к Завалишину и представителю из комитета «Свободная Германия».

Разговаривая с Завалишиным, представитель стоял вольно, но когда подошел Ильин, по-немецки сдвинул каблуки и прижал к бокам локти.

— В каком вы были звании в германской армии? — спросил его Ильин по-немецки. До этого говорил с ним по-русски, не переходил на немецкий язык, а сейчас перешел.

Представитель комитета ответил по-русски, что последнее звание его в германской армии было обер-лейтенант.

— А когда и где попали к нам в плен? — снова по-немецки спросил Ильин.

Тот снова по-русски ответил, что попал в плен в сентябре сорок первого года у города Прилуки.

— С вами не попрактикуешься,— недовольно сказал Ильин.

И тогда немец, внимательно посмотрев на Ильина и словно приняв вызов, а может быть, просто потому, что ему легче и удобнее было сказать это по-немецки, коротко объяснил, как именно он попал в плен. В одном месте Ильин хотел переспросить Завалишина, правильно ли понял немца, но из самолюбия удержался. Сам же напросился на разговор по-немецки! И, кажется, понял правильно. Да и чего тут было не понять! Немец командовал ротой разведки в танковых войсках, и после того, как они замкнули у Прилук кольцо вокруг Киева, их рота, а может быть, вообще их часть — этого Ильин не уловил — двинулась в разведку на восток от Прилук и там попала под огонь русской артиллерии; он был тяжело ранен и взят в плен.

И когда этот немец, к которому до этого Ильин в душе так хорошо относился, вдруг заговорил по-немецки и в этой немецкой речи появились произнесенные с немецким акцентом русские слова — «рингс ум Киеф», «небен Прилюкки», Ильин, хотя сам же вызвал немца на разговор по-немецки, испытал вспышку гнева. Было в этих сказанных по-немецки словах что-то такое, вдруг напомнившее, каким был он, этот немец, тогда, в сорок первом году. Словно, когда он стал рассказывать по-немецки о том, как воевал под Прилуками, что-то нынешнее отлетело от него, а что-

то тогдашнее вернулось. Тогдашнее для него радостное и победоносное, а для Ильина горькое и страшное, потому что это вокруг него, Ильина, замкнул тогда кольцо этот немец под Прилуками! И хотя Ильин прорвался тогда через это кольцо, мимо этого немца и вышел, но другие не вышли и остались лежать мертвыми там, в этом кольце, замкнутом этим немцем под Прилуками.

Ильин знал, что немец после всего этого был в антифашистской школе и рисковал жизнью, спасая от напрасной гибели других немцев, и остался в строю, несмотря на ранение, но, услышав вдруг на немецком языке его воспоминания о сорок первом годе, все равно не смог удержаться от вспышки злобы. И целую минуту смотрел в землю, пересиливая эту вспышку, о которой не думал сейчас, справедливая она или несправедливая, зная только одно, что для нее не время и не место и он, командир полка, к которому прислан этот немец, не имеет на нее права.

И немец что-то почувствовал. Он тоже стоял, смотрел в землю и молчал.

— У вас есть родные там, в Германии? — пересилив себя, спросил Ильин по-немецки.

— Есть,— ответил немец тоже по-немецки. — Но после того как я поставил свою подпись под документами комитета «Свободная Германия», я не знаю, что с моими родными. Так же как и мои товарищи,— добавил он.

Да, вот это можно было слушать по-немецки: «майне камераден». А «рингс ум Киеф» и «небен Прилюкки» почему-то нельзя было слушать. Это можно, а то нельзя!

— Надо было все же отправить товарища Шелля в медсанбат,— сказал Завалишин. — Он плохо себя чувствует, а особой нужды в нем, думаю, больше не будет.

Ильин заставил себя посмотреть на немца. Тот и правда еле стоял на ногах. Но Ильин заметил это лишь теперь, после слов Завалишина. Он вообще не привык замечать таких вещей: раз остался в строю, значит, остался!

В глубине леса раздался сильный взрыв и за ним через несколько секунд второй, такой же.

— Взорвал, гад! — крикнул Ильин, уже понимая, что опростоволосился, не обговорил с немецким майором, что они обязаны сдать в исправности оба оставшихся у них «фердинанда». А теперь немцы взорвали их; ничего другого эти взрывы значить не могли.

Ильин злился на этого немецкого майора, который в последний момент все-таки обдурил его, Ильина. Злился, хотя знал, что сам на его месте как раз так бы и поступил.

«Ладно, мы с тобой еще поговорим»,— с неостывшим раздра-

жением подумал Ильин, увидев немцев, выходивших на опушку с белыми флагами.

Но говорить с немецким майором уже не пришлось. Комбат доложил, что немцев вывел капитулировать и построил на опушке не этот майор, а какой-то другой, оставшийся командовать после него полковник. А говоривший с Ильиным майор, условясь о капитуляции своих подчиненных, приказал взорвать штурмовые орудия и сам застрелился в лесу, возле них.

«Вот так и бывает,— вспомнив собственные переживания в двух окружениях, подумал Ильин об этом майоре. — Кто сильнее характером, тот и идет до конца...»

...Когда Синцов увидел Ильина, с капитуляцией все уже кончилось. Оружие полосой лежало вдоль опушки, а немцы, вытянувшись в колонну, шли под конвоем нескольких автоматчиков через поляну, по ржи, мимо трупов.

Немца из комитета «Свободная Германия» только что отправили на полуторке в медсанбат. Завалишин вернулся обратно, в первый батальон, где находился с утра, но еще не закончил одного деликатного дела.

— Опоздал! — сказал садившийся на свой трофейный мотоцикл Ильин, увидев Синцова и считая, что тот прибыл в полк в прежней роли офицера оперативного отдела — узнали о новой попытке немцев прорваться и срочно прислали, возможно даже на самолете...

Но Синцов, остановясь в двух шагах и приложив руку к пилотке, отчеканил служебным голосом:

— Товарищ подполковник, разрешите доложить: начальник штаба триста тридцать второго стрелкового полка майор Синцов к месту службы прибыл!

— Всего на немного не поспел к красивому бою,— сказал Ильин, выслушав рапорт Синцова. — Устно уже донес в дивизию, а письменно еще нет. — И, усмехнувшись, добавил: — Дело поправимое, где начальник штаба писучий, там и история полка после него останется...

Они сели там же, где Ильин сидел перед боем, спустив ноги в тот же самый окоп; Ильин показывал на местности, что́ и как было, а Синцов, проставляя пункты и формулируя, записывал это в виде готового донесения.

Так заново началась их совместная служба.

Дописав донесение, Синцов сказал, что только здесь, в полку, от Дудкина узнал, что нет в живых Василия Алексеевича Чугунова.

— Даже Насонов там, в дивизии, ничего мне не сказал.

— Наверно, не пришло в голову, что ты не знаешь. Жизнь быстро идет! Сегодня жив — завтра убит, а послезавтра считается — уже пора привыкнуть, что нету! Вечером, когда хоронили его, гляжу, лежит в своей солдатской шинели. Ниже пояса гусеницей переехало, а голова целая, и шинель как была на два верхних крючка застегнута, так и осталась. Его, если помнишь, малярия, бывало, трясла, и в тот день тоже. Как с утра застегнул шинель на крючки, так в ней и помер. Не хотел носить офицерской шинели с отворотами. И погоны нашивал и перешивал все на ту же, солдатскую... И капитанские и майорские. Говорил: на крюках удобнее! Рассчитывал до конца войны ее доносить...

Ильин откашлялся и вернулся к полковым делам; подозвал комбата — познакомить с новым начальником штаба.

Познакомив, спросил:

— Кто у вас пленных повел?

— Гуреев.

— Про расписку строго ему сказал, не как в тот раз?

— Не повторим ошибки, товарищ подполковник.

— А то они в головокружении от успехов на одну группу пленных расписку взяли, а на другую — нет, и вышло, что сто человек на счет полка не записано. Как начальник штаба, учти на будущее! Пленные, как и денежки, счет любят!

Приказание полку, после утреннего боя, оставалось прежнее: находиться в готовности на занятом рубеже. Знакомя Синцова с полковым хозяйством, Ильин внимательно наблюдал за ним. То, что Синцов пошел в адъютанты, внесло в прежнее отношение Ильина к своему бывшему комбату тень недоверия: уж не настраивался ли на легкую жизнь и не явился ли теперь в строй только потому, что эта легкая жизнь по несчастному стечению обстоятельств оборвалась? Бывает с людьми и так: хотят одного, а соглашаются на другое. Ильин не доверял таким.

Синцов почувствовал оттенок этого недоверия, но не захотел объясняться. С таким человеком, как Ильин, личные отношения — результат деловых. Справишься с делом — растает и лед. А не справишься — словами не растопишь.

Они побывали в двух батальонах и у минометчиков. Остальное отложили на завтра. Ездили и на немецком мотоцикле, который Ильин хвалил за проходимость, и верхом. Конь у Ильина остался тот же, что был весной, такой же сытый и гладкий, несмотря на тяготы наступления.

Человек, который, подобно Синцову, был на войне и командиром роты и комбатом, в общем-то знает, что такое полковое хозяйство, и притом знает снизу. А снизу виднее. Знал он пол-

ковое хозяйство и сверху — как офицер оперативного отдела, бывал в полках. Но и «снизу» и «сверху», даже вместе взятые,— еще не все. Начальником штаба полка он все-таки не был. И, не желая совершать оплошностей в новом для себя положении, знакомился с полковым хозяйством, стремясь ничего не упустить, записывая в тетрадку.

А когда почувствовал, что Ильин недоволен задержками, посмотрел ему в глаза.

— Лучше записать, чем переспрашивать. Первый день начальником штаба, и не хочу делать вид, что все знаю.

Только после этих слов Ильин заговорил о том, о чем думал полдня.

— Сам попросился к нам?

— К вам — нет. Так вышло, что именно к вам. А вообще попросился.

— Когда? После его гибели?

— Еще до этого.

Ильин хотел спросить: как так, еще до этого? Но удержался.

Когда вернулись на командный пункт, Дудкин доложил, что изменений в обстановке нет, сдались еще три мелкие группы, всего только двадцать два человека.

— Заелись,— сказал Ильин. — Всего только... Бывало, за одним пленным ходим, ходим, по пять ночей подряд... — Он проговорил эти последние слова с трудом, удержав зевоту. — Засыпаю. Утром считал, что навеки выспался, а сейчас снова тянет. Лягу на час. Если что — будите!

И ушел в палатку.

— Вот так всегда,— сказал Дудкин, проводив глазами Ильина. — Дохаживает до последнего.

Они проставили в уже подготовленную Синцовым вечернюю сводку общее число пленных за день: семьсот семь человек. Указали свои потери: двенадцать убитых и тридцать семь раненых. Синцов подписал, и Дудкин отправил сводку нарочным на таком же, как у Ильина, трофейном мотоцикле с коляской.

Пока Ильин спал, Синцов позвонил начальникам штабов соседних полков, представился по телефону и обменялся сведениями об обстановке. Вслед за этим позвонил Завалишин. Узнав, что Ильин спит, а у телефона Синцов, сказал:

— Здравствуй, Ваня! Уже слыхал, что ты здесь. Рад! Командира полка не буди, но, как встанет, передай: задержусь еще на полтора часа. Причину он знает.

Сказал «рад», но голос был озабоченный.

Наступила пауза, никто больше не звонил, и самим звонить не было необходимости. Дудкин сказал, что спать Синцову

приготовлено в одной палатке с ним. Чемодан уже отнесли туда.

— Может, и вы отдохнете?

Но Синцову спать не хотелось, да и неудобно было, пока не проснется командир полка.

Ильин вышел из палатки ровно через час. Проснулся сам и выглядел так, словно и не спал.

Услышав о звонке Завалишина, кивнул, позвал Ивана Авдеевича, чтоб приготовил покушать, и сел на телефон. Позвонил подряд трем комбатам и каждому повторил одно и то же: приказание пока прежнее — в глубь леса не продвигаться, но надо все же послать перед собой усиленную разведку, чтобы к наступлению темноты вернулась и доложила. Распорядился, чтоб в разведгруппы включили побольше людей из партизанского пополнения: «Погоны новые, а вояки старые — каждый куст в этом лесу знают!»

Ильина томило бездействие. И он, не переходя той грани, за которой начинается прямое нарушение приказа, вносил в него свои поправки.

Под деревьями, за палаткой, где спал Ильин, стоял врытый в землю столик с двумя скамейками для всего: и для работы и для еды. За этим столиком и ужинали вдвоем с Синцовым. Ели теплую кашу с мясной подливой и пили горячий чай. Про водку Ильин спросил в начале ужина:

— Наркомовскую норму будешь?

Но Синцов ответил, что одному нет охоты.

— Тем лучше. Весной, когда был у нас, сказал тебе: поработаем над полком, сделаем лучшим в армии. Помнишь?

— Помню.

— Зависит от нас. Другие любят Лазаря петь: то не туда его поставили, то плохое пополнение дали... А я не люблю — куда поставили, туда поставили, кого дали, того дали; делай, что от тебя самого зависит! Как в старой солдатской песне: «Всем задачу боевую исполнять надо всегда, надо связь держать по фронту, слышать, видеть впереди!»

Ильин впервые за все время улыбнулся.

— Не слыхал этой песни,— сказал Синцов.

— Мне ее повозочный рассказал, девяностого года рождения. Там в ней и другие хорошие поучения есть: «Если ранят тебя больно, отделенному скажи, отползи назад немного, рану сам перевяжи. Если есть запас патронов, их товарищу отдай. А винтовку, трехлинейку, никому не оставляй...» Индивидуальных пакетов в то время не было, я пробовал сам в нее вставить про индивидуальный пакет — не вставляется. Был бы у нас

с тобой, как в Сталинграде, Рыбочкин, сразу вставил, сочинил бы... — сказал Ильин. И, вспомнив оставшегося под Белгородом без ноги Рыбочкина, вдруг спросил: — Скажи откровенно, тебе с рукой твоей не будет трудно?

— Будет трудно — скажу откровенно.

— А что с женой?

Синцов посмотрел на него. После того весеннего разговора с Ильиным о Тане столько всего было, что неизвестно, с чего начать и чем кончить. Лучше не начинать.

Помолчав, он ответил, что Таня шесть дней назад ранена осколком гранаты и сейчас — в тыловом госпитале. Где — пока неизвестно.

— Тяжело?

— Нет, не тяжело.

— Тогда еще терпимо. В первый раз?

— Нет, во второй.

Ильин покачал головой и сказал о немцах:

— Вот берем, берем их в плен. А они женщину ручной гранатой...

И в этих его словах, почти выкрике, было все, что накопилось, пока шел обратно, на запад, среди повсеместного разорения и неизмеримого людского горя, которое все равно оставалось горем, несмотря на все наши победы и все немецкие поражения.

Завалишин появился как-то неслышно. Подошел и стоял молча.

— Иногда не могу про них спокойно,— оглянувшись и заметив его, сказал Ильин, словно ожидал возражений.

Но Завалишин не возразил. Вздохнул и сказал:

— Сам, бывает, не могу... — И, обнявшись с Синцовым, сел за стол.

— Поужинай,— сказал Ильин.

— Не хочу. Настроения нет.

— Тогда чаю попей. Закончили?

— Закончили.

— Подтвердилось то, что старик говорил?

— Полностью.

— Почему вы так долго? — спросил Ильин.

— А они тогда, в сорок первом, когда закапывали, документы с тела сняли. Сначала хотели у себя оставить, а потом побоялись и тоже закопали там же, вблизи, в солдатском котелке. Но одно дело — тело найти, а другое — котелок.

— А тело как сохранилось?

— Ну как оно могло за три года сохраниться?.. — вздохнул Завалишин. — Но одежда местами целая осталась — китель,

фуражка, часть околышка. А руки, как старик тогда ему на груди по-православному сложил, так и лежат поверх кителя. Кости, конечно.

Ильин повернулся к плохо понимавшему их разговор Синцову:

— Я тебе еще не сказал, считал, зачем, пока не подтвердится. Он тут,— Ильин кивнул на Завалишина,— полдня одним особым делом занимался вместе с Евграфовым. Вчера, глядя на ночь, пришел к нам дед, лесник, не сам лесник, самого лесника немцы на сосне повесили, а отец его, который еще до войны на пенсию вышел, вовсе старый. Рассказал, что в начале войны, когда тут бои были, убитого генерала в лесу нашел. Одного. В трехстах шагах от танка «КВ», который на опушке сгорел. Ноги до колен обожженные, а выше — целый. То ли его бойцы оттащили в чащу и еще живого там спрятали, то ли все погибли, а он сам заполз, но только немцы его так и не нашли, а старик захоронил и сказал нам, что могилу покажет. Так я говорю? — переспросил Ильин у Завалишина. — Ты с ним больше меня говорил, лучше знаешь.

— Так,— подтвердил Завалишин.

— Вот он вместе с уполномоченным и занимался,— кивнул Ильин на Завалишина. — Никто этого не знал, а дед вышел из лесу и сказал. Нам первым.

— Я уже спрашивал его, когда копали,— сказал Завалишин,— почему же вы, дед Антось, партизанам этого не сообщили?

— А как он объяснил? — спросил Ильин.

— Говорит, сын покойный сам до партизан пошел, а мне наказал: никому ничего не сообщай, пока все наше войско обратно не придет. Когда все войско придет, тогда и откроешь.

— Долго ему ждать пришлось,— сказал Ильин. — Генерал-майор?

— Да. Одна петлица истлела, а на другой звездочки остались, только поржавели. А на ордене Красного Знамени даже эмаль не облупилась.

— И документы нашли? — спросил Ильин.

— В том-то и дело, что нашли,— сказал Завалишин. Сказал как-то непонятно, словно лучше было не находить этих документов. И, понизив голос, назвал фамилию генерала, которую по сорок первому помнили и Ильин и Синцов. Фамилия эта была тогда в одном, всем памятном приказе, где объявлялось, что человек этот, бросив свои войска, перешел к немцам. А устная молва добавляла, что не просто перешел, а уехал к ним на танке.

Оказывается, в слухах про танк была доля правды. А все остальное — вымысел кого-то бежавшего, спасшегося, может

быть, бросившего других в беде; вымысел, превратившийся потом по неведению в приказ и сделавший презираемым имя погибшего человека.

— Умер, наверно, от раны в грудь. Ноги сожженные и в груди рана,— сказал Завалишин. — Так старик объясняет, видел все это, когда хоронил. Врачи разберутся. Из медсанбата и из госпиталя комиссию врачей прислали. Из корпуса начальник Евграфова приехал, Бережной явился, пять машин — целая свадьба!

— А где Евграфов? — спросил Ильин.

— Поехал сопровождать,— хмуро сказал Завалишин. — Погрузили все в машину и старика пригласили с собой. Думал, и меня возьмут, но миновала чаша сия. Обошлись Евграфовым.

— А чего ты так,— подняв глаза на Завалишина, спросил Ильин,— как будто что-то плохое открылось. Я, например, считаю, что тут ничего плохого, кроме хорошего. Имели про него сведения, что к немцам перешел, а оказывается — убитый в бою. Все честь по чести.

— Все верно,— сказал Завалишин,— только не знаю, что теперь с тем приказом будет. Возможно, не захотят его пересматривать, возвращаться, не допускаешь такой мысли?

Такой мысли не хотелось допускать ни Ильину, ни Синцову, но они оба, услышав этот вопрос, молчали, потому что ответить, что не допускают, не могли.

— Наша роль в этом деле закончена,— сказал Завалишин. — И лично я в разговоры — кто, что, какие документы и на чье имя нашли — ни с кем вступать не намерен. Только вам двоим сказал. Нашли и нашли, сдали и сдали, а дальше — не моего ума дело.

— Странно это от тебя слышать. Обычно, про что ни заговори, считаешь, что твоего ума дело.

— Странно или не странно, а вот так. Обычно — одно, а в данном случае — другое.

Наступило долгое молчание.

— А я бы, моя воля, приказ в этой его части, даже и не думая, отменил,— сказал Ильин. — Кому от этого плохо было бы?

Завалишин ничего не ответил, а Синцов подумал, что Ильин прав. Так оно и должно быть, как он сказал. И вдруг вспомнил Серпилина тогда, в сорок первом, при прорыве из окружения, когда его, тяжело раненного, все-таки вынесли из боя солдаты. И он лежал на шинели с ромбами на петлицах, одним поколупанным, а другим вырезанным из околыша фуражки, и с орденом Красного Знамени, как у этого генерала, которого нашли сегодня... Почему одно на войне выходит, а другое не получается,

хотя люди каждый раз почти одинаково стараются, чтобы все получилось? Загадок на войне много, о некоторых даже представления не имеем, как с этим генералом, тело которого откопали. Такие загадки, как мины замедленного действия, закопаны глубоко, и неизвестно, когда обнаружат себя...

«И все ли верно потом разгадают, тоже вопрос»,— подумал Синцов, незаметно для себя перейдя от мыслей о настоящем к мысли о будущем. В этом будущем занимали свое место и люди, которых уже не было. Но хотя их уже не было, что-то сохранившееся от них переходило в будущее. Какая-то часть их прижизненной силы и нравственного значения, оказывается, не умерла вместе с ними, а продолжала существовать и влияла сейчас на мысли Синцова о его собственном будущем и о будущем вообще, о том, что после войны все должно быть хорошо и справедливо. И, наоборот, что все смущавшее его душу в начале войны, что всего этого после войны не должно быть и не будет.

Была твердая вера в это. И частью этой веры в будущее была неумершая вера в умершего человека — в Серпилина.

Все трое по-прежнему молчали. Ильин налил себе еще полкружки чаю.

— Перешел на чай,— кивнул на Ильина Завалишин. — Допил неделю назад весь свой компот.

Но Ильин ничего не ответил. Не имел настроения шутить.

— Товарищ подполковник,— издали крикнул Дудкин,— у телефона комбат-два, просит лично вас.

Ильин пошел к телефону. Было слышно, как он говорит:

— Ясно. Мне все ясно.

Его негромкий голос доносился так четко, что из-за этого вдруг с особенной силою почувствовалась тишина. Нигде, даже далеко, не стреляли.

Впервые за много времени Синцову вдруг показалось, что он когда-нибудь еще напишет об этой войне. Сам напишет. Даже неизвестно, что толкнуло на эти мысли, может быть, то, что застал сегодня в полку корреспондента из армейской газеты, который приехал вскоре после боя и, наверно, еще и сейчас где-то в темноте ходил и расспрашивал людей, как они воевали...

В черноте ночи, над лесом, там, где днем был бой, взлетев в небо, зажглась далекая ослепительно белая осветительная ракета. Зажглась, как в первую ночь войны, около Минского шоссе. Тогда она висела прямо над Синцовым, держа его распластанным на земле под своим томительным белым светом.

А сейчас горела над лесом, над погибшими немцами. Но все равно в этом ее далеком горении было и сейчас что-то томительное, напоминавшее о всей длине пути оттуда, из сорок первого, сюда — в сорок четвертый...

Синцов смотрел вдаль, на эту ракету, до тех пор, пока она не погасла, отгорев свой томительный срок.

— Если немцы пустили — непонятно для чего,— сказал Завалишин. — Скорей кто-нибудь из наших пальнул трофейной...

Ильин возвратился, но за стол не сел, от возбуждения был весь как на винтах.

— Курнаков докладывает, что его усиленная разведка, пройдя полтора километра, встретилась с передовыми частями шестьдесят седьмого корпуса. Прочесали лес и вошли зуб в зуб. Выходит — все! Немцев в котле больше нету. А мы были на фронте, оказались в тылу. В последний день с последним котлом закончили. Опять как в Сталинграде! Не слыхал перед отъездом там у вас, в оперативном отделе, хотя бы краем уха, куда нас дальше думают?

— Не слыхал,— сказал Синцов. — О таких вещах в оперативном отделе вслух не думают...

Многие люди задавали себе тот же вопрос, который Ильин задал Синцову. Задавали, но пока не могли ответить. Только два человека во всей армии — Бойко и Захаров, возвращавшиеся этой ночью из штаба фронта, уже знали ответ.

Батюк вызвал их, чтобы сообщить: после ликвидации котла армию перебрасывают на соседний фронт. На переброску дается очень мало времени, дорог каждый час, поэтому и вызвал ночью, а не утром. Отдавать свою армию, да еще ту, которой когда-то сам командовал, в другой фронт Батюку было жалко, и он так прямо и сказал об этом, выразился даже: «в чужой фронт».

Проведя новую разграничительную линию между фронтами, ему взамен взятой давали другую армию. Но Батюк, конечно, хотел бы и другую получить и эту не отдавать.

Прощаясь, сказал:

— Здесь у меня показали себя хорошо. Посмотрим, как покажете себя там, у соседа.

Не удержался от этого — ревновал!

Ехать от Батюка к себе домой было далеко; две другие входившие во фронт армии наступали уже за Минском, и штаб фронта оказался на семьсот километров западнее, чем штаб их армии, воевавшей с окруженными в котле немцами. Завершение этой операции в последнее время считалось вопросом дней и часов, и Батюк, хотя и поздравил на прощание, особенно на

этом не задерживался. Все его внимание теперь было не там, где добивали котел, а там, где две его армии продолжали идти на запад.

— Закончить закончили, но особых поздравлений не услышали,— усмехнулся Захаров, когда они с Бойко подходили к машинам.

Ехали каждый на своей.

Захаров приказал водителю идти за машиной командующего с интервалом в триста метров, чтобы не глотать пыль. Он думал о том же, о чем вспоминал сегодня Ильин в этой вдруг наступившей тишине. Вспомнил о Сталинграде и бывшем Донском фронте, о всех сталинградских армиях, которые заставили в ту зиму капитулировать Паулюса. Где они теперь, после того как прошли по полторы, по две тысячи километров от Сталинграда? Об одной уже давно не слышно,— спрятана где-то в резерве, а остальные — веером по всем фронтам: одна армия на Прибалтийском направлении, две подходят к границам Польши, две на юге, у них впереди — Балканы... А наша отсюда, из Белоруссии, пойдет теперь в Литву, а за Литвой — Восточная Пруссия...

Переброска на новое направление — дело трудоемкое, работы будет много. С утра Бойко начнет вгонять в пот и штаб армии и штаб тыла! Еще перед обратной дорогой позвонил Артемьеву, чтобы завтра в семь утра вызвал всех, кого надо.

Захаров удерживал себя от напрасных сравнений. При жестком характере Бойко охотников сравнивать его с Серпилиным и так хватает. Но делу это мало помогает.

Для политработника важней другое: постараться понять человека и, поняв, пойти навстречу хорошему в нем и стать поперек плохому. Особенно плохого, такого, в чем надо становиться поперек, у нового командующего нет. Но слишком официален, слишком сух с людьми. А когда человек властный, то его сухость сразу бросается в глаза, а его справедливость остается в тени. А хорошее в Бойко то, что он живет только делом, и никто не может угодить ему ничем, кроме хорошо сделанного дела, и никакие привходящие обстоятельства не могут расположить его к человеку или оттолкнуть — только дело! Тем, у кого дело занимает столько же места в жизни, сколько у самого Бойко, работать с ним можно. А тем, у кого меньше, трудно.

Дела у Бойко идут хорошо, не хуже, чем при Серпилине. И это говорит не только в пользу Бойко, но и в пользу Серпилина. Хорошо руководит людьми и делом не тот, после чьего ухода все сразу разваливается, а тот, после ухода которого все остается как было. Только дураки думают наоборот!

На въезде в деревню, где теперь располагался КП армии, догнали «виллис» командующего. Бойко нетерпеливо ходил взад и вперед около него.

— Поджидаю вас. На целых пять минут отстали,— сказал он Захарову. — Хотел вас спросить: чаю попьем? У меня.

Приглашение было необычным. Ужинали вместе в столовой Военного совета, а пьет ли Бойко на ночь чай или не пьет, Захаров даже и не знал. Однако раз зовет, согласился.

Но когда зашли в избу, чаю пить не стали. Бойко достал бутылку коньяка, два стакана, молча открыл бутылку, налил коньяку Захарову и себе и поднялся за столом во весь свой рост.

— Помянем Федора Федоровича. Сегодня с последним выстрелом завершили его операцию.

Бойко одним духом выпил коньяк, сел, откинулся на стуле, и по непривычно взволнованному выражению его лица Захаров понял, что дело не просто в том, что он отдает должное Серпилину, а еще и в том, что сегодня кончил доделывать начатое другим и с этого дня дальше все будет уже его. За операции, которые им предстоят, ответчик уже он — от начала и до конца. Сказав о Серпилине, нажал на слово «его!». «Его операция!» А про следующую подумал: «Моя!»

Подождав, пока Захаров допьет, Бойко потянулся длинной рукой за стоявшим у стены на полу портфелем, достал из него конверт, а из конверта — лист карты-пятисотки, по которой воюют командиры полков и комбаты,— на столе у командующего армией она редкая гостья. На обрезе карты стоял гриф: «Лист 29/31. Домачево. Госграница».

Захаров посмотрел на этот лист-пятисотку с грифом «Домачево» и без объяснений понял, что Бойко начинал воевать по этому квадрату карты. Где начинал войну Бойко, исполняя обязанности командира полка, Захаров знал и раньше; не знал только, что возит за собой всю войну эту пятисотку.

Показав Захарову карту, Бойко снова спрятал ее в конверт и положил в портфель. И только после этого сказал:

— Пока воевали здесь, на Минском направлении, считал, что попаду на этот квадрат. А теперь уже не понадобится! Раз поступаем в распоряжение соседа справа, направление будет на Восточную Пруссию, другого не предвижу. По вчерашней сводке осталось до нее сто сорок километров, если по прямой.

— На юге, чувствуется, тоже скоро начнем,— сказал Захаров.

— Логика подсказывает, что так. Освобождение России заканчиваем. Дальше Европа,— сказал Бойко и, закрыв портфель, щелкнул замками.

Хотя сам был украинец и освобождал Белоруссию, но сказал обо всем вместе, как о России, все разом вложил в это одно понятие, как в ту пору делали и другие, воевавшие на всех фронтах русские и нерусские люди.

Слово «Европа», сказанное Бойко сразу же после слова «Россия», даже как-то поразило Захарова, прозвучало непривычно. Говорили «народы Европы», говорили «там, в Европе». Совсем недавно это было еще слишком далеко, чтобы говорить вот так, как сказал сейчас Бойко,— не все, что сами делали, сразу доходит до собственного сознания! А на самом деле так оно и есть: освободим себя, начнем освобождать от фашистов остальную Европу. Как же еще? Какими другими словами сказать об этом?

— Все чаще думаю о том, какая будет жизнь после войны,— сказал Захаров.

— А я пока не думаю,— сказал Бойко. — Некогда.

— А я думаю,— повторил Захаров. — Раз нигде во всем мире не стреляют, наверно, будет с отвычки казаться, что наступила вечная жизнь. Особенно в первые дни...

Москва — Гульрипш
1965—1970

ПРИМЕЧАНИЯ

Четвертый, пятый и шестой тома Собрания сочинений составил роман в трех книгах «Живые и мертвые». Работа над ним продолжалась с 1955 по 1970 год. За создание трилогии К. М. Симонову была присуждена Ленинская премия за 1973 год.

После выхода ее в свет писатель получал множество читательских писем, содержащих высокую оценку авторского труда и благодарность ему.

В некоторых из них были замечания по тексту, касающиеся, в основном, тех или иных реалий. Автор относился к этим замечаниям с большим вниманием и в случае необходимости после тщательного изучения принимал их.

При подготовке настоящего Собрания сочинений редакцией была продолжена работа по проверке определенного фактического материала, начатая совместно с К. М. Симоновым при его жизни.

Необходимые поправки приводятся в примечаниях.

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ. КНИГА 1. ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ. — Впервые в журнале «Звезда Востока», 1959, № 10—12; то же: «Знамя», 1959, № 10—12. Отрывки: «Красная звезда», 1959, 10—12 марта (под назв.: «Первые сутки»), 30 августа, 3—6, 9 сентября (под назв.: «В конце октября»); «Огонек», 1959, № 37 (под назв.: «Трое»); «Правда Востока», 1959, 19, 23 сентября, 10 октября; «Московский комсомолец», 1959, 18, 20—22, 25, 27—29 октября, 3, 5 ноября; «Ленинская смена» (Алма-Ата), 1959, 24, 25, 27—29, 31 октября, 4, 5, 10—12 ноября; «Красная звезда», 1959, 24—26, 28 ноября, 1, 3 декабря (под назв.: «Перед наступлением); то же — в кн.: «Ради жизни на земле». М., Воениздат, 1959.

ТОМ ПЯТЫЙ. КНИГА 2. СОЛДАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ. — Впервые в журнале «Знамя», 1963, № 8—11, 1964, № 1—5. Отрывки: «Известия», 1962, 13, 14 апреля (под назв.: «Новогодняя ночь»), 15 апреля (под назв.: «Разговор на рассвете»); «Правда», 1963, 1 февраля (под назв.: «Мальчик»); «Волгоградская правда», 1963, 10 февраля (под назв.: «Накануне»); «Известия», 1963, 5, 7, 10 мая (под назв.: «Взятая высота»); «Красноярский рабочий», 1963, 19 мая (под назв.: «Сестра»); «Советская Литва», 1963, 26 мая (под назв.: «Сестра»); «Советский воин», 1963, № 9 (под назв. «Наступле-

ние»); «Московская правда», 1963, 18 августа; «Советская Эстония», 1963, 8 сентября; «Советская Белоруссия», 1963, 1 сентября (под назв.: «Сестра»); «Красная звезда», 1963, 14 сентября; «Ленинградская правда», 1963, 14 сентября; «Правда Востока», 1963, 14—15 сентября; «Коммунист Таджикистана», 1963, 15 сентября; «Красноярский рабочий», 1963, 15 сентября; «Сельская жизнь», 1963, 21 сентября; «Советская Латвия», 1963, 27 сентября; «Рабочий край» (Иваново), 1963, 6 октября; «Правда», 1963, 3 ноября (под назв.: «Огнем закаленные»); «Литературная газета», 1963, 21 декабря (под назв.: «Малинин»); «Советская Россия», 1964, 2 февраля; «Правда», 1964, 23 февраля (под назв.: «Накануне победы»); «Советская Эстония», 1964, 10 марта (под назв.: «Ночная встреча»). Также в «Роман-газете», 1964, № 1, 2, 13, 14.

Стр. 237. *...уполномоченный Особого отдела, или, как его теперь называли, «Смерша»...* — Особый отдел НКВД функционировал в армиях до середины апреля 1943 года. С этого времени он был переименован в отдел «Смерш».

Стр. 528. *Немец остановился и резко выкинул вперед руку.* — Фашистское приветствие в вермахте было введено со второй половины 1944 года.

Стр. 529. *...обратиться ко мне, генералу Советской Армии...* — В тот период (до 1946 года) Советская Армия именовалась Красной Армией.

Стр. 605. *На Сталине была непривычная маршальская форма с широкими золотыми погонами и брюки навыпуск с красными лампасами.* — Воинское звание Маршал Советского Союза было присвоено И. В. Сталину 6 марта 1943 года.

ТОМ ШЕСТОЙ. КНИГА 3. ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО. — Впервые в журнале «Знамя», 1970, № 6, 7, 8. Отрывки: «Книжное обозрение», 1969, № 34 (под назв.: «Встреча». Глава из книги «Последнее лето»); «Ленинградская правда», 1969, 21 июня (под назв.: «Встреча». Глава из книги «Четвертое лето»); «Казахская правда», 1969, 29, 31 мая (под назв.: «Встреча». Глава из книги «Четвертое лето»); «Советская Белоруссия», 1969, 15, 16 мая (под назв.: «Встреча». Глава из книги «Четвертое лето»).

Стр. 489. *Немец из комитета «Свободная Германия»...* — В июле 1943 года был образован Национальный комитет «Свободная Германия».

Первая публикация всей трилогии — впервые в изд-ве «Советский писатель», 1972.

Текст трилогии в настоящем Собрании сочинений был представлен самим автором.

А. Александрова

СОДЕРЖАНИЕ

ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

Роман в трех книгах

Книга 3. Последнее лето 5

Примечания 517

Симонов К. М.

С37 Собрание сочинений. В 10-ти т. — М.: Худож. лит., 1979. —

Т. VI. «Живые и мертвые»: Роман в 3-х кн. Кн. 3; Последнее лето. /Примеч. А. Александровой. 1981. 519 с.

Роман «Последнее лето», публикуемый в настоящем томе, завершает трилогию «Живые и мертвые»; в нем писатель проводит своих героев победными дорогами «последнего лета» Великой Отечественной.

$С\frac{70304\text{-}115}{028(01)\text{-}81}$ подписное 4702010200 Р2

Константин Михайлович
Симонов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том VI

Редакторы
Т. Аверьянова, М. Поляк
Художественный редактор
Е. Ененко
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
Т. Сидорова и В. Брагина

ИБ № 2181

Сдано в набор 10.06.80. Подписано к печати 22.07.81. А 08548. Формат 60×84 1/16. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 30.323 усл. печ. л. 30,323 усл. кр.-отт. 32,5 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 1379. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература» 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

2р. 30 к.